Еремей ПАРНОВ

2

Еремей

ПАРНОВ

Еремей ПАРНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕСЯТИ ТОМАХ

Еремей ПАРНОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ВТОРОЙ

Третий глаз Шивы

СКАМБХА —
ОСНОВА МИРА

САНКХЬЯ —
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ

САМСАРА —
КРУГОВОРОТ БЫТИЯ

КТЕРРА

МОСКВА
ТЕРРА—КНИЖНЫЙ КЛУБ
1998

УДК 882
ББК 84 (2Рос=Рус) 6
П18

Художник
С. ЛЮБАЕВ

Парнов Е. И.
П18 Собрание сочинений: В 10 т. Т. 2: Третий глаз Шивы: Роман. — М.: ТЕРРА—Книжный клуб, 1998. — 432 с.

ISBN 5-300-01851-1 (т. 2)
ISBN 5-300-01818-X

Еремей Парнов — известный российский писатель, публицист, ученый и путешественник, автор научно-фантастических, приключенческих, исторических и детективных произведений, пользующихся неизменным успехом у читателя.

Во второй том включен роман «Третий глаз Шивы» — детективная, полная загадок история бесценного алмаза, украденного еще в XI веке из статуи Шивы и продолжившего свой путь через века.

УДК 882
ББК 84 (2Рос=Рус) 6

ISBN 5-300-01851-1 (т. 2)
ISBN 5-300-01818-X

© ТЕРРА—Книжный клуб, 1998

СКАМБХА — основа мира

Глава первая

СТЕКОЛЬЩИК

Мертвое тело он увидел уже после того, как заполз в комнату. Домушник Фрол Зализняк, по кличке Стекольщик, слыл консерватором. Брал он, как правило, дачи и всегда одним и тем же испытанным способом: через окно. Отыскав достойный объект, Стекольщик приступал к дотошному его изучению. Через неделю-другую он уже знал все привычки безмятежных обитателей отмеченного роком дома. Оставалось лишь улучить благоприятный момент, когда дача окажется без присмотра. Стекольщик отличался завидным терпением и никогда не торопил события. Богатейший жизненный опыт подсказывал ему, что рано или поздно подходящая ночь — надо ли говорить, что это было его излюбленное время суток? — неизбежно придет.

В считанные лихорадочные минуты, проведенные под чужой кровлей, флегматичный и обстоятельный Стекольщик преображался. Он становился быстрым и точным, словно хирург, которому предстоит проделать привычную операцию.

Пока подручный стоял на стреме, или, как говорили в годы постижения юным Фролом тайн ремесла — шухере, Стекольщик любовно обрабатывал заранее намеченное оконце. Он быстро вынимал тяжелое, таинственно поблескивающее в ночи стекло, бережно передавал его подоспевшему на тихий свист корешу и ужом пролезал в комнату. Минут через пять он уже выкидывал из окна барахло. Потом начиналось настоящее дело, которому Стекольщик предавался с истинным упоением. Спрыгнув бесшумно с последним узлом вниз, он тоненькой, до блеска отполированной стамесочкой принимался счищать с пазов старую замазку. Затем разворачивал завернутый в клеенку клейкий, добротно замешанный на олифе колоб и аккуратненько вставлял стекло на старое место. Кто возьмется судить, почему он так поступал? Может быть, потому, что был, повторяем, консерватором и педантом, любил в деле чистоту. Нравилось ему и само стекольное ремесло, в коем он поднаторел до виртуозности и мог бы, если б, конечно, сменил профессию, зашибать большие деньги. Наконец, еще в детстве он прочел в какой-то

детективной истории про труп в запертой изнутри комнате, и этот кошмарный случай, поставивший в тупик самого знаменитого сыщика, произвел на Стекольщика неизгладимое впечатление, запечатлелся на всю дальнейшую жизнь. Не надо думать, однако, что Фрол оставлял за собой трупы. Даже под угрозой высшей меры он не пошел бы на «мокрое». Но хорошо выпотрошенную комнату, причем закрытую изнутри, он за собой оставлял.

И вот теперь такой камуфлет! Впервые за всю многолетнюю практику. Что тут будешь делать? Неужели и впрямь мертвец?

Стекольщик чуть не споткнулся о него, когда мягко спружинил на пол с широкого, заставленного цветочными горшками подоконника. Он даже разогнуться не успел. Инстинктивно метнулся назад и боком задел эти проклятые горшки, от которых зачем-то тянулась в дальний конец комнаты, где стоял большой письменный стол, проволока. И когда один цветок угрожающе накренился, время замерло для Стекольщика и сам он замер. Только сердце гулко стучало где-то под горлом, как последний на земле маятник. Цветок — в сумраке он казался отлитым из золота — закачался в неустойчивом равновесии и рухнул на пол. Фаянсовый, в звездном голубоватом лоске горшок разлетелся, как бомба. Стекольщик так и присел, не отрывая вытаращенных глаз от темного тела на ковре. Но ничего не произошло. Тело не шевельнулось. И вообще ничего не случилось в завороженной Вселенной. Лишь подручный в кустах, обеспокоенный шумом, издал вопрошающий свист.

Только тут понял Стекольщик, что человек на полу мертв, что он не проснется от грохота расколовшегося фаянса, не бросится на грабителя, не позовет на помощь. Туго соображал в ту минуту Фрол, медленно. Сердце все колотилось, и страх надрывно уходил из него. Стекольщик локтем отер похолодевший лоб и, не успев успокоиться, взволновался. На этот раз до тошноты и полного изнеможения, так, что даже на корточки присел. «Теперь все, — подумал он, — покойничка на мою шею навесят. Как пить!»

И он зажег фонарик, что делал лишь в самых чрезвычайных случаях. Теперь и был как раз такой чрезвычайный момент. Куда уж больше!

Дрожащий тусклый эллипс переместился от домашних стоптанных туфель из шотландки к белому, как кладбищенский гипс, лицу. Провалы глаз, заострившийся нос, вздернутый подбородок. Редкие длинные волосы словно только что причесаны. Высокий лоб с залысинами безмятежен и страшен. В одежде полный порядок, не видно следов борьбы и никакой крови нет. «Значит, сам перекинулся», — подумал Стекольщик и чуть дух перевел. Уже легче. Но положение оставалось сложным.

«Скажут ведь, что он это... того... от испуга, от одного вида моего проклятого, — вновь затосковал Стекольщик. — Лет пять, а то и все восемь за непредумышленное убийство накинут... И это ко

всему, что на мне, ко всей катушечке». Хоть иди сейчас прямо на станцию Жаворонки в милицейскую комнатенку. Дескать, так и так. Ни сном ни духом.

Только глупости все это. Покойник — человек не простой, перед государством заслуженный, тут разбираться не станут. Как коршуны набросятся, разнесут на куски раба божьего Фрола. В два счета «мокрое» пришьют, подведут под высшую меру. Смываться надо, вот что, на дно залечь, в тину зарыться — и ни пузырька.

И тут идея мелькнула у Стекольщика. А что, если... Он шмыгнул носом — потекло от волнения — и вновь направил фонарь на мертвое тело посередке вытертого, в текинских ромбах ковра. Соображать начал Стекольщик. Вроде бы он хорошо все повадки жильцов изучил. Как же так получилось, что профессор в эту ночь на даче застрял, ежели завсегда по средам в городе на московской квартире ночует, потому как опыт какой-то проводит? И сестрица его, Людмила Викторовна, в Москву уехала! Стекольщик, можно сказать, лично ее на электричку 17.08 проводил. Как же он самого-то хозяина проглядел? Вот ведь незадача какая... Но коли так вышло, все быстрее стал ворочать шариками Фрол, то значит, что внезапная тут кончина случилась. Выходит, что ждут профессора в Москве — время-то всего ничего, двенадцатый час, — да не ведают, что не прибудет. Так, может, и вообще затеряться ему? Не прибыть?

Погасил Фрол фонарик и невесомой тенью прыгнул к окну. Перевесился через подоконник, свистнул тихонько.

— Тебе чо? — вылез из колючего куста крыжовника кореш.

— Плохое дело, Витек, приключилось, — грустно вздохнул Фрол. — Хозяин-то, Аркадий Викторович, мертвый лежит.

— Ох-хо! — выдохнул Витек. — Так ты его...

— Ты что, очумел? — повысил голос Стекольщик. — Чтоб я... — Он даже задохнулся. — Сам он, понял? Уже давно. Задубел весь.

— Что ж теперь будет? — Витек рванул ворот, словно удушье подступило. — Вот горе-то какое! А? Эх, зачем впутал меня в такое дело, Фрол? Зачем впутал?

— Цыц! — зашипел Стекольщик. — Замажь глотку! Потом причитать будешь. Мотоцикл выводи!

— Ну, так давай вылазь! Чего ждать-то?

— Выводи мотоциклет, говорю! К забору! Потом ко мне — помогать будешь.

— Да чего там помогать, Фрол? Давай сейчас! Гори оно все синим пламенем!

— Ты что, не понял? — Стекольщик замахнулся на стоящего внизу дружка. — Чтоб сей момент был обратно!

— А, чтоб тебя!.. — Витек с руганью скрылся в черных кустах. Зашелестели неразличимые листочки. Закачались чуть отсветы на них.

Стекольщик, высунувшись из окна, проводил его напряженным взглядом. Пропал кореш, растворился в саду. А ночь ничего себе, светлая. Сально поблескивала в углу забора затянутая ряской лужа. На фоне сиреневой остывающей полосы остро чернела зубчатая кайма леса. Самодовольным рокотом отозвались на крик электрички лягушки.

Стекольщик жадно вдохнул сырой, напоенный полынью и густым запахом ночных трав воздух. Когда невдалеке послышался треск заводимого мотоцикла, он поплевал на руки и принялся за работу. Осторожно, чтобы еще чего-нибудь не зацепить, обошел разбитый цветок и склонился над телом. Прикинув, как будет способнее, стал на колени и ловко закатал мертвого профессора в ковер. Затем зажег фонарик и осмотрел работу. Остался недоволен. Ноги в клетчатых туфлях торчали наружу. Тогда Стекольщик зашел с другой стороны и раскатал ковер. Опасаясь коснуться руками мертвого тела, он осторожно подвинул его ногой, чтобы пришлось оно по диагонали ковра. От такого маневра откинулась прижатая к груди рука и с неожиданно громким стуком ударилась об пол. Падучей кометой сверкнул японский магнитный браслет на запястье.

Стекольщик толкнул эту руку носком ботинка, но она не сдвинулась с места, тяжелая, напряженная, словно налитая нездешней силой. Фрол почувствовал себя совсем скверно. Борясь с внезапно подступившей тошнотой, он окончательно махнул рукой на конспирацию и вновь передвинул рычажок карманного фонаря. Серебристую рифленую трубку с воспаленным циклопьим глазом на конце рядом с ковром положил. От близости этого налитого светом глаза загорелись волоски на руке, засветились, как радужные ворсинки.

Отвернувшись от гипсового лица, Фрол поддел непокорную руку острым носком ботинка. Японский браслет жалобно звякнул. Стекольщик обернулся. Рука упала на прежнее место.

Но ковер оказался явно короток. Труп был виден с обоих концов. Тонкие алюминиевые волосы и белизна пролысин меж прядями их, скошенные каблуки и стертая резина подошв. В левую подошву намертво вмялась канцелярская кнопка.

Тарахтение мотоцикла за окном усилилось и вдруг смолкло. Стекольщик свистнул. Сразу же послышался ответный сигнал.

Фрол поднатужился и поднял страшную свою скатку. В ноздрях защекотала душная застарелая пыль. Кряхтя от усилий, с тяжело барабанящим сердцем, он еле дотащил ношу до подоконника. Шумно выдохнул сквозь закушенную губу воздух. Отросшая к ночи щетина на лице сделалась мокрой от пота.

— Принимай, — шепнул он подоспевшему Витьку. — Только осторожно. Тяжелый шибко... Никогда бы не подумал, что он такой тяжелый.

— Да ты что, окончательно, что ли, спятил? — злобно зашепелявил внизу Витек. — Нам только барахла отсюда не хватало! Ишь ты, любитель сильных ощущений!

— Бери-бери, — миролюбиво кивнул Стекольщик, разворачивая скатку перпендикулярно подоконнику. — Погрузим в коляску и займемся окошечком.

— Ни в жисть! — Все сильнее распаляясь, Витек потряс кулаками. — И тряпки отсюда не возьму! Накрыться хочешь?

— Делай, что велено... Мне и самому ничего тут не надо, — вздохнул Стекольщик. — Труп надо вывезти, вот что. Понял?

— Какой? — Испуганный Витек от неожиданности втянул голову в плечи. — Зачем ты его трогал?!

— Надо, Витек, так надо. — Стекольщик обреченно закивал. — Если оставим его здесь, обязательно погорим. «Мокрое» на нас навесят. Понял?

— Нет! — закричал Витек. — Нет! Не желаю!

— Да заткнись ты! — опять замахнулся Стекольщик. — Убью! А ну, бери его за ноги! — Он толкнул скатку вперед, и она тяжело перегнулась к земле. — Бери сей момент! — И уже спокойнее добавил: — Скроем его, к шуту, и дело с концом, не то пропадем ни за грош. Как пить! — Он щелкнул ногтем большого пальца о передние зубы и чиркнул ладонью поперек горла. — Подсоби, Витек.

Дальше все пошло без задержки. Они опустили скатку на землю, ставшую уже сырой и холодной. Потом Стекольщик спрыгнул вниз и помог Витьку оттащить тело к забору, за которым стоял мотоцикл. Ботинки их и штаны внизу сразу стали мокрыми от росы. На них налипли какие-то сухие колючие семена. Руки чесались от крапивы. Острые шипы малины оставили саднящие царапины, отчетливо видимые в беспощадном свете встающей над Западной улицей луны.

— Теперя чо? — отряхивая колени, прошептал Витек.

Был он лет на двадцать моложе тертого калача Фрола, мужика дородного, обстоятельного, и совершенно ошалел от ужаса. Двигался он как во сне, как лунатик, с широко открытыми, но невидящими глазами. Стекольщик же, напротив, почти совершенно оправился и действовал в здравом уме и твердой памяти согласно намеченному, хотя и совершенно безумному в основе своей плану.

От забора он тут же шмыгнул назад к даче. Холодные ветки хлестали его по лицу, тяжело шлепались в траве потревоженные жабы. Ухватившись за подоконник, он хотя и грузно, но ловко подпрыгнул, лег животом и медленно сполз затем на дощатый пустой пол, залитый нудным касторовым светом фонарика. Подхватил этот самый чуть не позабытый им фонарик, обвел для верности чахлым лучом по стенам (в память врезалась почему-то диковинная картина, на которой был изображен улыбчивый человек с волосяной шишкой на темени, стоящий на диковинном цветке) и был таков.

Очутившись вновь на улице, он сразу же приступил к любимому делу, за которым и обрел уже совершеннейшее спокойствие. Бережно расстелил старую газетку, развернул клеенку с замазкой,

достал из бокового кармана стамесочку. Когда все атрибуты почтеннейшей профессии оконного мастера были подготовлены, Фрол вынул специальную щеточку и старательно обмел подоконник. Столь же кропотливо отнесся он и к удалению из пазов окаменевших остатков замазки. Ни крошки наземь не уронил, все до сориночки смел в полиэтиленовый мешочек. И только после бессмысленной этой уборки он затворил пустую раму, защелкнул шпингалет и приступил к главному действу: вмазке стекла. Что там ни говори, а мастер он был выдающийся. Пяти минут не прошло, как на месте черного провала заблестело зеркало, в котором с небольшим искажением отразилась набравшая полную силу луна.

Оторвав от газеты клок, Фрол смял его в комок и, поплевав для порядка, принялся натирать стекло. Вскоре оно засверкало, как новое. Четче обозначилась в нем и зубчатая кайма бора, серебрящаяся в холодном лунном огне.

Стекольщик собрал инструмент и специально припасенной на такой случай кошкой-мотыжкой взрыхлил землю под ногами: чтоб и следа не оставалось. Пусть пребывает запертый изнутри дом (Фрол, уходя, даже крючок накинул) в нетронутом виде. О том, что он, Стекольщик, вынес из дачи завернутое в ковер мертвое тело, думать не хотелось. Так уж получилось! Ничего теперь не поделаешь.

Очутившись в заглушенном крапивой малиннике, Фрол заставил Витька перемахнуть через заборчик и передал ему их опаснейшую — будь она неладна! — добычу. Потом перелез сам, и они вдвоем упрятали ковер в коляску, застегнули на черной клеенке ее все пуговицы.

Витек втихомолку вынул из сумки с инструментами аптечную склянку с каким-то порошком и щедро посыпал на примятую травку. Он уже больше ни о чем не спрашивал, только дрожал, как после ночного купанья в холодном пруду.

— Заводи! — скомандовал Стекольщик. Надев пластмассовый шлем, усевшись на скрипучее седло, он нежно обнял дружка за талию.

— Куда? — еле выдохнул тот.

— На шоссе давай и жми до самой Окружной.

— В Москву?! Да ты...

— До Окружной, я сказал! — оборвал его Стекольщик. — А там видно будет.

Витек завел мотоцикл не сразу. Несколько раз промахивался, бил ногой мимо педали. Наконец мотор затрещал, и Витек, резко прибавив газ, рванул с места.

— Не торопись! — властно поостерег его Стекольщик. — Ехай как надо. Все правила соблюдай. Если гаишник привяжется — нам смерть. Понял? Рублем не отделаешься, так и знай... Да фару, фару включи. Авось проскочим.

Они миновали Западную улицу и по бревенчатому мостику над кюветом свернули на просеку, которая прямиком выходила на ас-

фальтированную дорогу. Поскрипывал шлак под колесами. Вспыхивали под фарой редкие дорожные указатели. Высоко в небе мигал красный огонек самолета. Какая-то ночная птица ухала одиноко. Было тихо на земле, тихо и хорошо.

Стал оживать и Витек.

— Закурить бы сейчас! — мечтательно сказал он, повернув очкастое, как у пилота, лицо к Стекольщику.

— Потом, — бросил Фрол и вдруг хлопнул кореша по спине: — Вертай к станции.

— Это еще зачем?!

— Вертай-вертай, тебе говорят... Надо.

Витек медленно развернулся, и они поехали в сторону Жаворонков, туда, где над лесом еле видимой воспаленной жилкой еще теплился отблеск отлетевшего дня. Под колесами стремительного товарняка стучали и звякали рельсы.

— Теперь стой, — сказал Стекольщик, когда они подъехали к резко белевшему во тьме каменному домику продовольственного магазина. — Притихни туточки. Я мигом.

Он соскочил с седла и, таясь в непроглядной тени, прокрался к пивному ларьку, а оттуда уже к уборной, так же отчетливо белевшей в ночи. Постояв с минуту за загородкой, Фрол вдруг затянул песню:

Ой, цветет калина
В поле у ручья...

Так с песней на устах он и вышел наружу. Воровато огляделся и затрусил к станции.

На платформе дожидались поздней электрички три—четыре подгулявших дачника. С утонувших в тени сирени скамеек долетал ленивый перебор гитары, нарочито заливистый девичий смех.

Стекольщик, не глядя по сторонам, топал к кассе. Шлем на его голове сверкал, как ночной горшок.

— Который час, дядя? — окликнул его женский голос.

Стекольщик даже подскочил от неожиданности, но не сумел сразу остановиться и сделал с разгону несколько лишних шагов. Совладав с собой, он обернулся к лавочке, на которой сидели девица в светлой блузке и лениво попыхивающий сигареткой милиционер.

— А ты у своего кавалера спроси, — внутренне весь сжавшись, нахально осклабился Стекольщик. — Чай, у него будильник имеется.

Милиционер, словно не о нем шла речь, даже ухом не повел. Только огонек его сигареты разгорался и медленно тускнел в душной и благоуханной сиреневой нише.

— У них-то есть, — девица кокетливо повела плечиком, — только они скрытничают. — И вдруг, вся подавшись к Фролу, пробасила: — Говорят, что двенадцать, а уже небось час! Так, дядя?

— Некогда мне тут с вами! — махнул рукой Стекольщик и заспешил под навес, где рядом с жестяной доской расписания была касса.

Постучав в окошечко, он приобрел билет до Москвы и, сторонясь освещенных фонарями кругов, бочком-бочком скользнул в тень. Улучив удобный момент, спрыгнул вниз и, пригнувшись, пошел под платформой обратно. Отойдя от опасной скамейки достаточно далеко, вылез на волю и подался в сторону, в кромешную тьму облетающих прилипчатым надоедливым пухом тополей. Руководствуясь больше обонянием, чем зрением, он отыскал обратный путь и вскоре был уже за магазином, где возле склада из ящиков сидел, намертво вцепившись в резиновые ручки мотоцикла, кореш.

— Где ты был? — Витек поминутно облизывал пересохшие губы.

— Билет покупал. — Стекольщик уже елозил, устраиваясь на заднем сиденье.

— А разве ты... Разве ты не со мной? — Витек был явно не способен к трезвой оценке сложившейся ситуации. — Я что, один с ним? — Он покосился на коляску. — Или ты сам.

— Вот заладил — «я», «ты»... Поехали!

Витек покорно вырулил на дорогу. Лишь потом, когда они выехали на шоссе и понеслись к Окружной, он осмелился вновь спросить:

— Зачем же тебе билет нужен?

— Мне не нужен, — последовал ответ. — Ему нужен. — И Стекольщик похлопал по коляске.

Глава вторая

ПРОИСШЕСТВИЕ

В четверг к концу рабочего дня старший инспектор МУРа Владимир Константинович Люсин подумал о предстоящем уикэнде. Суматошная, изнурительная неделя явно близилась к концу. Если не будет никаких авралов — так и не расставшись в душе с траловым флотом, Люсин предпочитал морскую терминологию, — надо выбираться на природу. Генрих Медведев вот уже который раз зазывает его к себе в Малино. Не худо бы, конечно, и с Юрочкой повидаться. Но он, как это у них, писателей, говорят, весь сидит в романе, и лучше его не трогать. Пусть себе сидит. Значит, решено, подаемся в Малино. Тем более, что и Володя Шалаев там ожидается. Расскажет, что нового в мире.

С внезапной обостренной четкостью представил себе Люсин белый, несущийся по течению пар над утренним озером, глинистую пустошь, поросшую желтой сурепкой, и костерок под закопченной кастрюлей, в которой булькают в коловращении пены, лаврового листа и черных горошин перца жирные и сладкие бычки. Знамени-

тые малинские пресноводные бычки! Впрочем, с костерком, видимо, ничего не получится. Лето стоит знойное, сухое. Того и гляди, опять загорятся болота и едкая торфяная мгла окутает город. И так дышать нечем. Асфальт под ногами ползет. Но бычки и на электроплитке хороши. Генрих небось уже бидончик пивка припас и студит в погребе, его жена Лиля пирожков напечет с зеленым луком и яйцом. Благодать! Не забыть бы опарышей прикупить на Птичьем рынке, а то уж больно неохота копаться в огороде. Ради одного бледного и немощного дождевого червя целую траншею рыть приходится...

Свет в люсинском кабинетике померк и сделался красноватым. Крестообразная тень оконного переплета съехала с голой стены и, скользнув по пыльному стеклу шкафа с папками и справочниками в сумрачной глубине, улеглась на стальной дверце сейфа. В оранжевом подрагивающем квадрате четко вырисовывались черные оспины облупившейся краски.

Люсин даже зевнул от томления и тоски. Хлопотная была неделька, ничего не скажешь, сплошная, можно сказать, нервотрепка. Но если вдуматься как следует, то все зря.

Обычная учрежденческая текучка, с ее потаенными течениями, привязанностями и антипатиями. А для души — ничего...

Люсин глянул на часы, которые, по давней штурманской привычке, носил на тыльной стороне запястья, и вновь принялся за очередную отчетность. Внутренним усилием отогнал возникшую нежданно заботу о резиновой лодке «Сирена», которую давно пора оснастить хоть каким-нибудь якорем, и попытался сосредоточиться на цифрах. Неожиданно это ему удалось, и он понял, что закончит сегодня никому не нужную и, наверное, поэтому так надоевшую ему документацию. Но зазвонил телефон, и бумага осталась незаконченной.

Люсин не сразу сообразил, какой из трех аппаратов звонит. В который раз подумал о том, что не худо бы придать этим разноцветным убийцам рабочего времени индивидуальные голоса, и взял зеленую трубку внутреннего телефона.

— Люсин слушает! — Прижав трубку плечом, он пытался еще что-то дописать, но знакомый голос начальства тут же заставил его отбросить ручку.

— Зайди ко мне, Владимир Константинович, дело есть, и, кажется, как раз по твоей части.

— Сейчас буду, товарищ генерал. — Люсин приподнялся и, опуская трубку на рычаг, другой рукой одернул сзади пиджак.

«Интересно, какое дело будет как раз по моей части!» — подумал он и неприязненно покосился на жидкую стопку исписанных листов.

Спустившись этажом ниже, он прошел до самого конца длинного коридора и, свернув налево, толкнул обитую черной искусственной кожей дверь. Секретарша Лида меняла на своей «Эрике» ленту.

— Отстаем, Лидона, от передового опыта! — подмигнул ей Люсин. — Разве вы не знаете, что Скотленд-Ярд еще в прошлом веке перешел на двухцветную ленту?

— Жалкий импровизатор! — не повернув головы, отозвалась девушка.

— Импровизатор чего? — мгновенно отреагировал Люсин.

— Унылых шуток.

— Не забывайтесь! — Люсин нахмурился и угрожающе понизил голос: — Рядовой член клуба аквалангистов должен с почтением выслушивать советы своего председателя. — И вкрадчиво добавил: — Вы, если не ошибаюсь, стремились выехать в палаточный лагерь на сказочном мысе Пицунда да еще в бархатном месяце августе?

— Это уже шантаж.

Дверь кабинета приоткрылась, и оттуда высунулся генерал.

— И как вам обоим не надоест? Заходите, Люсин.

— Одну минуту, Григорий Степанович! — заторопился Люсин. — В назидание потомству... Шерлока Холмса, конечно, знаете, Лидочка?

— Ну! — Девушка поставила наконец катушку с лентой на место и повернулась к Люсину.

— Тогда советую перечитать рассказ «Пестрая лента». Пополните сведения по части многоцветных лент к пишмашинкам.

— Брэк! — сказал генерал, втаскивая Люсина к себе в кабинет. — Дело вот какое... — Генерал прошел к себе за стол и грузно опустился в кресло с подушечкой на сиденье.

— Слушаю! — Люсин сделал внимательное лицо и скромно устроился в самом конце зеленого стола заседаний.

— Садись ближе, — сказал генерал, роясь в ворохе бумаг.

Люсин вместе со стулом переместился к самому селектору. По привычке проверил зрение на огромном, во всю стену, электрифицированном плане Москвы. Различались даже самые мелкие буквы. Значит, норма.

— Итак? — выжидательно напомнил он о себе.

— Да, Владимир Константинович... — Генерал отыскал нужную бумажку и снял очки. Лицо его сразу же утратило черты суровой озабоченности. Без очков в массивной, под черепаху оправе генерал казался человеком наивным и недалеким. — Есть такой доктор химических наук, — он приблизил к себе листок с записью, — Ковский Аркадий Викторович. Не слыхали?

— Никак нет, товарищ генерал, не слыхал.

— Между тем гражданин Ковский, согласно заявлению Ковской Людмилы Викторовны, является выдающимся специалистом в области химии синтетических кристаллов... Так вот, Люсин, этот самый Ковский исчез.

— При загадочных обстоятельствах? — тонко улыбнулся Люсин.

— При загадочных обстоятельствах, — не принимая шутки, сказал генерал, глянув на бумажку. — Надо помочь.

— Мужчину, который исчезает от жены при загадочных обстоятельствах, далеко не всегда следует разыскивать, Григорий Степанович.

— Не понял.

— Точнее, его не следует разыскивать с милицией, потому как он может отыскаться у другой дамы, что чревато большими осложнениями для всех заинтересованных сторон.

— Хорошо излагаешь. — Генерал откинулся в кресле и покачал головой. — Чувствуется, что закончил наконец заочный юрфак.

— Не понял, — дерзко передразнил Люсин.

— У вас балаганное настроение сегодня, майор, — холодно одернул его генерал.

«Старик не в духе, раз по званию величает», — спохватился Люсин и, мгновенно перестроившись, принял подчеркнуто подтянутый молодцеватый вид.

— Виноват, товарищ генерал, обмолвился, — сказал он, вынимая руки из карманов.

— Из заявления гражданки Ковской, сестры пропавшего, — на слове «сестры» генерал сделал явственное ударение, — следует, что доктор химических наук Ковский А. В. исчез у себя на даче в Жаворонках вчера вечером... Вот вам ее телефон, созвонитесь, пожалуйста, и договоритесь о встрече.

— Ну, раз сестра, то, конечно, дело другое. — Люсин резко встал и подошел к окну.

Он с удивлением, как бы со стороны, следил за тем, как его заносит. Раздражение, которое медленно накапливалось в нем всю эту чертову неделю, сколько он ни сдерживался, ни маскировал под плоские, надо сознаться, шутки, вырвалось наружу. И где? В кабинете у начальства!.. Даже в перепалках с коллегами он и то сумел его скрыть. И вот пожалуйста.

И тут же, как нарочно, припомнился позавчерашний разговор, когда генерал распек его за неправильно составленную докладную, и недописанная отчетность — тоже приказ старика — вспомнилась и, разумеется, телефонный звонок, оторвавший его от этого документа.

— Когда пропал этот Ковский? — спросил он, не оборачиваясь.

— Она полагает, вчера ночью.

— Так-так, — сказал Люсин, подергав зачем-то шпингалет (он был целиком закрашен и поэтому не двигался). — Значит, вчера ночью. Только-то? Эта дама полагает, очевидно, что ее братец не должен сметь отлучаться по ночам... Почему мы должны так вот сразу лезть в это дело, товарищ генерал? — Резко повернувшись, он прислонился спиной к подоконнику и крепко вцепился в него руками, словно борясь с соблазном вернуться на свое место и сесть. — А что, если гражданин Ковский соизволит нынче переночевать дома?

Генерал медленно надел очки и стал внимательно разглядывать Люсина, как будто видел его впервые.

— В словах ваших есть известный резон, но почему так агрессивно? Ох, надоел же ты мне, Константиныч! — сказал он с сердцем и даже рукой махнул раздраженно. — Глаза бы мои на тебя не глядели!.. Ну, да ничего не поделаешь, сам виноват, сам. Распустил вас. — И закричал: — А ну сядь!

Люсин в мгновение ока очутился на стуле.

— Слушаю вас, Григорий Степанович, — сказал он и нервно усмехнулся.

— Ну и деятель! Ну и штукарь! — не то с осуждением, не то с восхищением покачал головой генерал и как ни в чем не бывало сухо пояснил: — Ковский исчез из запертого изнутри дома. Дверь его кабинета была закрыта на крючок, запоры на окнах замкнуты.

— Следы борьбы? — машинально отреагировал Люсин.

— Наличествуют.

— Вещи похищены?

— Только старый ковер.

— Примечательные особенности?

— Съезди и посмотри, — назидательно и вместе с тем удовлетворенно отчеканил генерал, перебрасывая через стол бумажку с адресом и номером телефона.

— Будет сделано, Григорий Степанович! — Люсин встал и почтительно наклонил голову.

— Ты мой ученик, Володя, — генерал снял очки и, морщась, потер розоватые вмятины на переносице, — ты способный парень и далеко пойдешь, поэтому я не жалею, что взял тебя из Мурманска сюда, в МУР. Но это не мешает мне с горечью сознавать, что ты распустился. Штукарем ты всегда был, и я смотрел на это сквозь пальцы. Но вот как я проморгал, что ты докатился до хамства и равнодушия, ума не приложу.

Люсин покраснел, как мальчишка, взъерошил волосы на макушке и попытался что-то сказать, возразить генералу, но тот остановил его нетерпеливым движением руки.

— Я бы понял тебя, будь тебе двадцать пять, — сказал генерал. — Но тебе уже, слава богу, под сорок. Остепениться пора. Службу исправно нести надо, а не играть в нее. И если она не вдохновляет тебя, уходи... Ей-богу, не пожалею, хотя более талантливого сыщика у меня не было и, верно, уже не будет...

— Ну чего ты, Григорий Степанович... — растерянно промямлил Люсин. — Чего ты, в самом деле! Мы же свои люди...

— Вот именно поэтому! Ты, может, и вправду не понимаешь ничего, а мне обидно... Выполняй приказание!

— Да, — кивнул Люсин. — Конечно, Григорий Степанович. Только зря ты... Неделя, понимаешь, дурацкая, да еще эта духота...

— Хорошо, выполняй... А духота, она, братец ты мой, для всех духота.

Люсин неловко улыбнулся и вышел из кабинета.

Ах, как скверно все получилось! И, главное, не из-за чего! Шторм в стакане воды. Сам неведомо отчего распсиховался и старика взвинтил.

В прескверном настроении возвратился Люсин в свою комнату. Окно выходило в затененный внутренний двор, и потому в кабинете было сумеречно. Лишь откуда-то сбоку падал косой обессиленный луч, в котором сонно танцевали пылинки. Жестко посверкивала инвентарная жестянка на ножке стола. Хмурой свинцовой синью отливала ручка сейфа.

Люсин выдвинул ящик и нашарил среди незачиненных карандашей, скрепок, резинок и кнопок тонкий длинный мундштук из слоновой кости, предназначенный для курения не то опиума, не то гашиша. Люсин купил его на толчке в Занзибаре, находясь в первом в своей жизни загранплавании. С той поры прошло почти двадцать лет... Но изящный, любовно прокуренный мундштучок был все так же мил ему и дорог.

Уставясь невидящими глазами на бумажку с адресом Ковских, Люсин посасывал свой мундштучок, вдыхал хранимую им застарелую сладкую горечь, кольцами выталкивал изо рта воображаемый дым. Вот так же с пустым мундштуком в зубах сидел он в рубке полярного танкера, где курить, как известно, самоубийственно, и переживал крупный разговор с кепом. Пятнадцать лет! Удивительное ощущение прожитого. Как будто вчера это было, как будто давным-давно, но не с ним и не в этой жизни и вообще — никогда... Позвонил в научно-технический отдел. Продиктовал адрес.

Смертельно не хотелось ехать на улицу Семашко к этой Ковской Людмиле Викторовне. Мерещилась вздорная пожилая дама, ее высосанные из пальца тайны и ужасы, которые на поверку окажутся пшиком. Убрал со стола недописанную отчетность и придвинул к себе красный городской аппарат. Стараясь быть до предела экономным в словах, пригласил ее приехать сюда, на Петровку. Напомнил, что для получения пропуска необходим паспорт. Все равно, подумал он, придется осмотреть дачу, так, по крайней мере, избегнем квартиры в желтом четырехэтажном доме, где елочки (так значилось в записке) на улице Семашко.

И через полчаса высокая, сухая, как виноградная лоза, женщина уже рыдала в его кабинете, откинувшись на спинку стула и прижимая к переносице мокрый платочек с затейливо вышитой монограммой.

Люсин налил ей полстакана газировки из оплетенного стальной сеткой сифона, предложил накапать валокордина.

— Да, — сказала женщина, — двадцать капель, пожалуйста.

Он полез в нижний ящик стола и достал зеленую коробочку с каплями, которые с недавних пор стал употреблять от случая к случаю, когда начинал барахлить мотор. Но Людмила Викторовна,

едва глянув из-под платка на коричневую бутылочку с капельницей, зарыдала еще горше. Люсин долго не мог понять, в чем дело, и даже по рассеянности выпил лекарство сам, хотя чувствовал себя вполне сносно.

— Это же корвалол! — трагически прошептала она, когда обрела наконец способность к связной, не прерываемой рыданиями речи. — Кор-ва-лол!

— Ну и что? — недоумевал Люсин, вертя перед глазами бутылочку.

— Это же наше, наше средство! — Она раздраженно замахала рукой. — Его теперь всюду продают взамен валокордина, который больше не импортируется.

— Вот как? — удивился Люсин. — А я и не заметил.

— Бог мой! — Длинным костлявым пальцем она ткнула в потолок. — Громадная разница!

— Значит, не будете? — огорчился Люсин, пряча пузырек в коробочку.

— Это? — Она брезгливо поморщилась. — Никогда в жизни. Мне достают валокордин в кремлевской аптеке.

— Видимо, ваш брат — доктор химических наук? — Люсин участливо понизил голос, деликатно призывая посетительницу начать разговор.

— Аркаша? — Она отняла платочек от глаз и с неподдельным удивлением взглянула на следователя: — Чтоб он когда-нибудь хоть что-нибудь достал? Аркашенька, чтоб вы знали, самый непрактичный человек на свете.

Она всхлипнула, и Люсин, дабы предотвратить новый приступ слез, торопливо заговорил о какой-то совершеннейшей чепухе.

— Кто же вам достает столь прекрасное средство? — Он поморщился, так как не любил и не умел лгать, но его уже понесло. — А я так мучаюсь этим... — он скосил глаза, чтобы прочесть надпись на коробочке, — корвалолом, тогда как на меня так хорошо действует именно валокордин! Вот бы добыть бутылку!

«Фу, черт, — огорчился Люсин, — как нехорошо получилось! «Бутылку»! Можно подумать, что разговор не о лекарстве идет, а о ямайском роме».

Но на даму его отчаянная импровизация, как ни странно, произвела совершенно успокоительное действие.

— Вам я достану. — Она щедро развела руки, словно готовилась принять в объятия благодарного собеседника. — Сегодня же попрошу Веру Фабиановну.

— Веру Фабиановну? — Люсин внутренне насторожился, мгновенно припомнив хозяйку ларца, принадлежавшего некогда Марии Медичи. — Неужели ту самую? Господи, до чего тесен твой мир! Вы случайно не гражданку Чарскую имеете в виду? — Люсин почувствовал, что у него пересохло во рту.

— Как! — удивилась Ковская. — Вы знакомы с Верой Фабиановной?

— Имел честь. — Люсин церемонно наклонил голову. — Очаровательная женщина... Вот только не знал о ее высоких связях по медицинской части.

— Что вы! — убежденным тоном произнесла Ковская. — Вера Фабиановна все может. Все!

— Совершенно с вами согласен, — чистосердечно улыбнулся Люсин.

— Для вас, — она проникновенно заглянула ему в глаза, — мы достанем валокордин и даже циклодин, который еще только входит у нас в моду. Но ради всего святого, — сложив руки крестом, она обняла свои острые плечи, — отыщите Аркадия Викторовича!

— Всенепременно! — с жаром откликнулся Люсин.

Он уже знал, он уже предчувствовал, что начинается новая, чертовски трудная и интересная жизнь. Было ли то наваждением, проистекавшим от одного лишь упоминания старухи Чарской, или флюиды исходили от его собеседницы, нервной, экзальтированной, но, очевидно, весьма недалекой женщины? Этого он не знал и не задумывался над этим. Непроизвольно, вдохновенно он уже настраивался на ее волну, на ее мир, которого он еще не видел, но который уже был интуитивно понятен и близок ему.

Он вышел из-за стола и, подойдя к ней сзади, осторожно коснулся обтянутых тонкой сухой кожей пальцев, лежащих на острых ее плечах.

— Мы непременно найдем нашего Аркадия Викторовича, — проникновенно, с неподдельной убежденностью и теплотой пообещал он.

И обещание это вместе с участливым, дружелюбным прикосновением вызвали в женщине гипнотические перемены.

Она подняла на него молящие, переполненные слезами глаза и вдруг улыбнулась.

— Я вам верю! — Она храбро проглотила подступившую к горлу горечь и насухо вытерла веки. Потом раскрыла сумочку, нашла пудреницу и привела себя в порядок. Даже губы подкрасила сиреневой помадой, в тон лиловатому отливу волос. — Как вы думаете, он еще жив? — чужим, непослушным голосом спросила она и защелкнула никелированный замок сумки.

Люсин хотел улыбнуться ей, успокоить снисходительным жестом и, укоризненно покачав головой, сказать: «Ну что за вопрос такой нелепый? Конечно, жив! Как же иначе?» Но ничего не получилось. Он опустил руки и молча стоял над ней, не подвластный первоначальному движению души. Было ли то интуицией, непостоянной и капризной, в которую сам он то верил, то нет? Или же предчувствием внезапным, которое вдруг тоскливо и ненавязчиво вкралось к нему в мозг, сжало едва ощутимо сердце? Люсин ничего не знал. Совершенно ничего! Разрозненные слова «запертый на крючок кабинет», «следы борьбы» и «похищен только старый ковер» не могли сложиться в законченную картину. Даже наметки еще не было никакой, потому что женщина не успела ничего ему расска-

зать. Но утешить ее он не мог. И не потому, что не хотел обмануть. В таких случаях обмануть легко, в таких случаях обманывать можно. Да если бы Люсин наверняка знал, что нету в живых ее брата Аркадия Викторовича, то и тогда он, возможно, нашел бы подходящие случаю слова утешения. Но он ничего не знал, а успокоительных слов, тем не менее, не находилось. Нечто большее, чем знание, пришло в ту минуту к нему. Вот только не помнил он, как зовется эта смутная тоскливая тяжесть: предчувствием, интуицией или еще как? Оттого и слов нужных не находил, что не мог сосредоточиться. Вглядывался в сумеречное зеркало, вдумывался, искал причину странного своего состояния. На миг подумалось, что прав, конечно же, Юрка, и это Солнце повелевает всем человеческим естеством. Что-то там изменилось внезапно в расплавленных недрах, какие-то корпускулы и лучи ворвались в атмосферу, взбаламутили кровь, и вот пожалуйста, налицо престранное состояние, когда человек теряет всякую власть над собой.

— Что с вами? — прошептала Ковская. — На вас лица нет! Умоляю! Не скрывайте от меня! Где Аркаша?

— Ничего я не знаю, Людмила Викторовна. — Люсин поморщился и замотал головой. — Спазм, видимо... Уже прошел... А о брате вашем ничегошеньки я не знаю. Час назад о нем впервые услышал, когда с заявлением вашим знакомился. Вот так! Лучше расскажите мне, как все было, а там видно будет, там что-нибудь сообразим.

— Да что же рассказывать? — Она сделалась суетливой и раздражительной. — Я все написала... Сама ничего понять не могу, недоумеваю! Места себе не нахожу!

— Ладно. — Люсин уселся за стол и посвободнее вытянул ноги. — Тогда я, чтоб помочь, несколько вопросов задам. Позволите?

— Ради бога! Сделайте одолжение!

— Начнем с азов. Какая у вас семья?

— То есть как это — какая?.. Хорошая! Интеллигентная, одним словом, семья.

— Боюсь, что мы друг друга не поняли. — Люсин уже непринужденно улыбался. — Меня интересуют остальные члены вашей с Аркадием Викторовичем семьи.

— Мы одни на всем белом свете.

— Вот как? И давно?

— С тех пор, как Аркашенька овдовел.

— Точнее, пожалуйста. Кто была его жена? Как они жили?

— Его жена, Маргарита Васильевна Званцева, была актрисой, певицей, так сказать, работала от Москонцерта. Она погибла пять лет назад в воздушной катастрофе, когда летела на гастроли... Но я не понимаю, какое все это имеет отношение к конкретному случаю?

— Очень прямое, — терпеливо объяснил Люсин. — Согласитесь, милая Людмила Викторовна, что мне необходимо ясно представить себе мир, в котором жил ваш брат, круг его интересов,

состояние, так сказать, духа. В противном случае мы не сдвинемся с места. Разве можно разыскать человека, о котором ровно ничего не известно? Вот вы сказали мне, что он вдовец, и я знаю теперь, что его не нужно искать у жены, ибо таковой, к сожалению, уже нет... Напрашивается другой вопрос: дама сердца?..

— Исключено, — категорически отрезала Ковская.

— Видите ли, Людмила Викторовна, я нарочито утрирую вопросы, чтобы вы поняли круг интересующих меня проблем. Даму сердца я взял, так сказать, лишь для примера и готов согласиться с вами, что это исключено. То есть я готов просто поверить вам на слово, потому как ничего об Аркадии Викторовиче не знаю. С первого взгляда мой вопрос вроде бы вполне закономерен. Не так ли? Отчего, спрашивается, не старому, — он покосился на собеседницу, — можно сказать, даже сравнительно молодому вдовцу и не заиметь, одним словом, симпатию, приятельницу... Но раз вы говорите — исключено, — быстро добавил Люсин, — значит, исключено.

— Да, исключено. После трагической гибели Риточки женщины перестали интересовать Аркадия Викторовича. Он живет исключительно ради науки.

— Вот и прекрасно. В свой черед дойдет дело и до науки. — Люсин лихорадочно подыскивал формулировку очередного вопроса.

Слова «трагическая гибель Риточки» не обманули его насчет истинного отношения Ковской к покойной актрисе Званцевой. Усмешка, с какой произнесла она «так сказать, певица», говорила о многом.

— Видимо, ваш брат не только любил жену, но и гордился ею? — Вопрос его прозвучал как утверждение.

— Да, он любил ее, — нахмурилась Ковская. — Но гордился ли? Чем, собственно?

— Ну как же? — Люсин искусно разыграл изумление. — Знаменитая актриса. Слава. Цветы...

— Знаменитая? Вы хотите сказать, что знали актрису Званцеву?

— Ну, я лично далек от театра, вообще не являюсь театралом, и поэтому... — Он замялся. — Одним словом, я не показатель.

— Зато я театралка, но о том, что в мире существует Риточка Званцева, узнала лишь накануне их скоропалительной свадьбы. Нет, я прекрасно относилась к ней и должна сказать, что она была неплохим человеком по-своему. Иное дело, кто кем должен был гордиться. По-моему, она Аркадием Викторовичем, а не он ею. Я не говорю о том, что Аркадий гениальный ученый, яркий, интересный человек. Это и так известно... У Аркашеньки золотое сердце — вот что главное! Риточку я как раз очень любила, но ему была нужна не такая жена. Нет.

— Конечно, конечно! — поспешил согласиться Люсин, поскольку эта сторона жизни пропавшего доктора химических наук стала ему ясна. На всякий случай он задал еще один вопрос, хотя не

сомневался в ответе: — А вы, Людмила Викторовна, давно, простите, овдовели?

— Я вообще не была замужем, — холодно ответила она.

— Вот как?! — Его изумление получилось явно преувеличенным. Он сам почувствовал всю его фальшь и потому торопливо продолжал: — Наверное, вы целиком посвятили себя брату?

— Да. — Она тихо кивнула.

— Аркадий Викторович, конечно, сильно переживал потерю жены?

— Он был просто безутешен.

— С тех пор он живет только своими научными интересами?

— Да, — подтвердила она. — Так оно и есть.

— С кем дружит ваш брат?

— К нему приходит много людей. Самых разных. Его буквально разрывают на куски. Всем он нужен! А он — святая душа, готов отдать себя первому встречному.

— Щедрость таланта! — Люсин вовремя припомнил читанный на днях газетный заголовок.

— Вы очень правильно сказали. Именно щедрость таланта! Он всем готов помочь, объяснить, постоянно за кого-то переписывает диссертации... Буквально в любом номере научного журнала «Кристаллография» можно отыскать статью, которая кончается благодарственными словами в его адрес. Знаете эти академические обороты: благодарим за дискуссию, за ценные советы, за помощь в работе.

Люсин на всякий случай кивнул. В последнее время он всерьез занялся примыкающими к криминалистике узкими областями химии и дал себе слово, что завтра же пойдет в библиотеку и пролистает «Кристаллографию» за весь прошедший год.

— Так вот, — продолжала Людмила Викторовна, — за этими обтекаемыми фразами скрывается только одно: «Спасибо тебе, дорогой Аркадий Викторович, что ты объяснил мне, дураку, результаты моей работы».

— Не слишком ли сильно сказано, дорогая Людмила Викторовна? — Он еле сдержал улыбку.

— Увы, это так. Только один человек среди всего этого сонма химиков, физиков, кристаллографов и геологов по-настоящему достоин дружбы Аркадия. Это Марк Модестович Сударевский, между прочим его ученик и преданный сотрудник. Для нас он как родной, как член семьи... Недавно он женился. Не очень удачно, мне кажется. Так, современная пустышка. Миленькая, правда, но вкус... Эта ярчайшая помада, эти зеленые ресницы, словно у нее трахома или золотуха... Я уж не говорю о мини-мини! Обратите внимание, когда будете идти по улице, на лепесточки из замши вокруг пояска! Вот современная мода. Или, может быть, вам нравятся такие юбки? О, мужчинам они должны нравиться!

— Я не принадлежу к числу таких мужчин, — поспешил заверить ее Люсин, хотя нередко и обращал на мини-мини взор благосклонный и заинтересованный.

— Да... Так о чем это я?

— О молодой жене Сударевского.

— А что же о ней сказать? — Она снисходительно улыбнулась. — К Аркадию Викторовичу и ко мне она относится с уважением, почтительно. Не удивительно: Марик для нас — это почти сын. Воображаю, как он взволнуется, когда узнает... — Она часто заморгала и поднесла скомканный платок к глазам.

— Не надо, Людмила Викторовна, — просительно сказал Люсин. — Успокойтесь. У нас с вами каждая минута теперь на счету.

— Да-да! Это верно... Каждая минута! Мы должны спешить!

— Вот видите...

— Так спрашивайте же меня, спрашивайте! Я вам на все отвечу.

— Вы говорили, что Аркадия Викторовича окружал целый сонм ученых самых разных специальностей...

— Да, это верно, самых разных... И биологи к нему ходят, и врачи, и археологи, и историки... Он даже с писателями дружит. Вы, конечно, слышали о научном фантасте Рогове?

— Радий Рогов? — обрадовался Люсин знакомому имени. — Как же, как же, читал...

— Тогда вы, быть может, знаете и книгу его «Огненное вино Венеры»? Сюжет ее подсказал Аркаша, — сказала она с гордостью.

— Широкие же интересы у Аркадия Викторовича, — уважительно заметил Люсин. — Очень широкие...

Мысленно он уже был готов к тому, что дело ему досталось трудное и очень не простое, да, очень не простое. Поэтому он не спешил, исподволь и очень постепенно подводил Людмилу Викторовну к самой сути, к тому непостижимому пока моменту, когда доктор химических наук исчез из своего запертого на крючок кабинета.

Надо ли говорить о том, что Люсин даже не пытался связать странное это происшествие с каким-нибудь необычным физико-химическим опытом или, тем паче, с какой-то сверхъестественной дематериализацией. Старший инспектор крепко стоял на почве реальности. Он знал, что любая загадка разрешится, стоит лишь найти заинтересованных лиц. Обширные связи Ковского, свидетельствующие о его, как принято говорить в ученом мире, коммуникабельности и незаурядной эрудиции, не настораживали Люсина, хотя и был он озабочен перспективой отсеять из множества причастных к химику людей тех, которые были или могли быть прямо либо косвенно заинтересованы в его исчезновении. Под таинственным, намекающим даже на некую трансцендентальность словом «исчезновение» скрывались вполне конкретные юридические понятия: похищение, убийство. Люсин знал это с самого начала, но, дабы не волновать и без того взволнованную сестру ученого, молчаливо мирился с ее диагнозом. Пусть пока будет исчезновение. Но ничто не возникает из ничего и не исчезает без следа в этом мире. След будет, в этом Люсин не сомневался.

Он-то и приведет к тем самым заинтересованным лицам. Не надо лишь уповать на то, что путь по следу будет короток и прям. Люсин не питал на сей счет никаких иллюзий. В личной жизни они были ему свойственны, тут уж никуда не денешься, потому как долгие плавания развивают мечтательность, но в розыскной практике им, конечно, нет места.

— Простите, товарищ Люсин, — спросила вдруг Ковская, — как ваше имя-отчество?

— Владимир Константинович. — Люсин привстал. — Мне, конечно, следовало представиться с самого начала.

— Ничего. Неважно... О чем вы задумались, Владимир Константинович?

— О нашем с вами деле. — Он наклонился к ней и тихо сказал: — До захода солнца осталось совсем немного. Если верить календарю, уже через час и восемь минут станет темно. Не будем же терять время и поедем к вам на дачу.

Она засуетилась, перекладывая платочек и сумку из одной руки в другую.

— Конечно же, надо ехать... Мы поедем! — И вдруг опомнилась: — А ведь засветло нам все равно не успеть! До Жаворонков только на одной электричке минут сорок, а там еще пешком через поле и по просеке... Сколько времени упущено!

— Ничего, Людмила Викторовна, не волнуйтесь. Вот уже час, — он глянул на свой «Полет» с автоматическим подзаводом, — как у вас на даче работает наша оперативная группа. Я думаю, они успели обследовать участок и все нам с вами расскажут. А дом мы вместе осмотрим.

— Очень хорошо, — согласилась она. — У нас на даче хорошее освещение.

— У нас тоже, — улыбнулся Люсин. — Я сейчас вызову машину.

Он подвинул к себе зеленый внутренний телефон и, набрав две цифры, вызвал гараж.

Глава третья

ТОПИЧЕСКОЕ ОЗЕРО

Стекольщик с Витьком успокоили нервы хорошим уловом. Удочек они, по понятным причинам, с собой не захватили, но это не помешало им обчистить чужие верши.

Утро четверга застало их далеко от Жаворонков, аж за Павлово-Посадом, — на торфопредприятии имени Р. Э. Классона. Еще не рассвело, когда на Топическом озере они избавились от опасной ноши и, дав крюка, заехали со стороны бетонки на Заозерный участок. Стекольщик хорошо знал здешние глухие места. Лет пятнадцать назад по выходе из колонии он устроился разнорабочим в

мехмастерские при местной электростанции, но долго не задержался и подался в трактористы на Голый остров. За пять месяцев сезона торфодобычи он до тонкости изучил окрестные болота, суходолы, ольшаники и островные леса. Ставил верши в озерцах и выработанных карьерах, бил птицу в камышах, однажды даже лосиху подстрелил. Славное было лето, добычливое! Молока в поселке хоть залейся, кругом ягоды: гонобобель, клюква, черника; грибы — косой косить можно. Стекольщик не раз с удовольствием вспоминал потом эту сказочную пору своей жизни. Мечтал даже возвратиться под старость в заповедные торфяные края.

А вчера, на даче у Ковских, он сразу же, как только в поисках выхода заметался, про Топическое подумал. Лучшего места и сыскать нельзя. Вокруг холодного глубоченного озера непролазный ольшаник, частый сосновый сухостой. Моховые кочки сами под ногами ходят, красная болотная жижа при каждом шаге чавкает, холодными фонтанчиками вверх брызжет. Тень, сумрак. Комарье столбом вьется. Средь бела дня поедом жрут. Непривычному человеку туда лучше не соваться. Исцарапается весь об острые сухие сучки, осокой изрежется, в паутине вываляется, а до места так и не дойдет. Устанет прыгать с кочки на кочку, хватаясь за чахлые березки. Хорошо еще, если в «окно» не угодит, в сплошь затянутую ряской чарусу. Стекольщик знал тайный подход к самому озеру. Не беда, что метров триста придется пройти пешком с тяжелым грузом. Зато все шито-крыто. Никто и следа не сыщет.

Так оно и вышло, как он предполагал. Благополучно миновав все посты ГАИ, они съехали с Кольцевой на Владимирское шоссе и после Кузнецов свернули налево, на Электрогорск. Машине дальше было бы не проехать. Только на дрезине или в вагончике местной узкоколейки. Но у них был мотоциклет, и Стекольщик, поменявшись с Витьком местами, сам повел его по узким, петляющим тропкам через ельники и гладкие, как аэродром, коричневые поля фрезерного торфа. В предутреннем молочном тумане легко было сломать себе шею. Но Стекольщик вел мотоцикл медленно, осторожно; часто останавливался и, напрягая зрение, вглядывался в темнеющие на пути бесформенные массы. Что это: дощатая тригонометрическая вышка или стог сена? А может, караван фрезерной крошки? Иди гадай. Порой Фрол даже по-собачьи принюхивался. Но в холодном, промозглом тумане трудно было отличить ароматный сенной дух от сладкого запашка торфяного битума. Только перегар солярки ясно чувствовался на полях. Стучали моторы, приглушенно лязгали гусеничные траки, мутно-красными маслянистыми пятнами расплывался свет далеких фар. Это ж такая удача, что фрезерование и ворошение торфяной крошки идут круглые сутки! Тем меньше внимания привлечет стрекот мотоцикла. Воистину неплохая идея пришла Стекольщику в голову.

В Заозерном уже вовсю заливались петухи и мычали коровы, когда Стекольщик с Витьком спрятали мотоциклет в мокрых зарослях черной ольхи и, ломая с оглушительным треском сухие сосно-

вые ветки, осыпающиеся душной пылью лишайников и коры, потащили закатанный в ковер труп к озеру. Стекольщик, понятно, шел впереди. Чертыхался, что Витек нисколько не помогает ему и он тащит его, как на буксире. Витек отмалчивался, только сопел и дышал шумно, шатаясь от натуги, теряя равновесие на ходящем ходуном моховом одеяле. Лишь у самой воды, когда кончился наконец проклятый лес и пошла высокая, по пояс, режущая осока, они остановились перевести дух. Красные, потные, в черных потеках грязи лица их были безжалостно искусаны комарьем. Чесались руки и ноги. Веки заплыли, как при жесточайшем ячмене.

Дальше начиналась вонючая грязь. Чтобы подойти к урезу воды, надо было рубить деревья и гатить дорогу.

Они растерянно переглянулись.

— А ковер этот, несмотря что старый, — сказал внезапно Витек, — рублей триста стоит, а то и все пятьсот.

— Башки твоей дурацкой он стоит, вот что! — оборвал его Стекольщик и, коротко выругавшись, зыркнул по сторонам.

В серой редеющей мгле углядел он метрах в тридцати вдоль берега исполинскую сосну, потонувшую в озере могучей вершиной. По ее стволу, наклонно уходящему в воду, можно было рискнуть приблизиться к озерной глубочине. Недаром звалась эта котловина, залитая холодной даже в июльский зной водой, Топическим озером.

— А как же мы притопим его? — спросил Витек. — Всплывет ведь. Мешок каменьев нешто с насыпи приволочь? — Он задумчиво расчесывал вспухший от укусов лоб.

— Не боись. — Стекольщик лихо высморкался двумя пальцами. — Черная грязь сама засосет. Давай-ка к той сосне.

Они подняли скатку и, шелестя осокой, потащились к упавшему дереву, разбухшему и скользкому от воды. Осторожно уложив ношу на ствол, они взобрались на него сами и, став друг к другу лицом, подняли скатку. В полусогнутом положении, крохотными шажками — Стекольщик пробирался спиной вперед — шли они по сучковатому осклизлому бревну. И чем дальше они продвигались, тем у́же и сучковатей оно делалось.

— Годи, — сказал, задыхаясь, Стекольщик, когда внизу блеснула подобная нефти вода.

Они опустили груз и неуверенно разогнулись. Озеро тонуло в клочковатом тумане. Гудящим столбом вились комары. Тяжелые зловонные пузыри змейкой поднимались со дна. От них разбегались, чуть покачивая неподвижных водомерок, концентрические круги.

— Здесь! — шепнул Стекольщик и нагнулся.

Они подняли скатку, легонько, чтоб самим не упасть, качнули ее к краю и выпустили из рук. Взлетевшая вверх ледяная жижа чернильными кляксами забрызгала лица.

Скатка упала на мелководье и тяжело ушла в грязь, которая жадно потянула ее во тьму. Болотная вонь стала еще сильнее. Все было кончено.

Обратный путь проделали налегке. Белым сфагновым мохом, пропитанным, как губка, водой, кое-как отмыли руки и лица. Потом вывели из ельника мотоциклет и махнули на Заозерное.

Стылую синеву над лесным окоемом прорезали холодные латунные полосы. Высоко в небе закружили ласточки. В темной воде карьерных ямин среди вывороченных пней и коряг плескалась рыба. Тут-то и пришла Стекольщику богатая мысль полакомиться рыбкой. Долгое напряжение требовало немедленной разрядки.

— Теперь все, — сказал он, глуша мотор. — Теперь забудь. Мы сюда отдыхать приехали, рыбу ловить.

— Рыбу? — недоверчиво усмехнулся Витек. — Шапкой, что ли? И где? В этих канавах?

— Дура! — Стекольщик ласково дернул его за козырек и надвинул кепку на нос. — Карьеры это, понял? Здесь рыба сама собой заводится. Утки на лапах тину с икрой приносят.

— И какая же здесь рыба?

— А какая хошь. Щучки, лещи, окуньки. Только больше всего карася. Он тут с ладонь. — Стекольщик растопырил грязную исцарапанную пятерню.

— На «морду» ловят? — поинтересовался Витек, обнаруживая причастность к отдаленным районам сибирской тундры, где отбывал наказание в одной с Фролом исправительно-трудовой колонии общего режима.

— Ага, вершами... Мы их сейчас прощупаем.

— Как же это? — Витек сладко потянулся и прищурился на разгорающийся горизонт. — Почем ты знаешь, где снасть стоит? Такое дело проследить надо.

— Я тута все знаю, — довольно усмехнулся Стекольщик. — Мужики друг от друга не таятся, чужого никто не берет. Вон видишь, — он махнул рукой в сторону ближнего карьера, — это Анкин колодезь. Тут завсегда лещ попадается. Там и верши ставят у белого пня. Дале будет Песочный, где караси. За ним, у Святого источника, еще карьеры — Прорва и Махрютин. А рыбы там... — Стекольщик сладко зажмурился. — Сейчас мы их объедем!

— Спать не хочешь? — спросил Витек, заводя мотоциклет.

— Не... А ты?

— Какой уж тут сон!

— Днем отоспимся.

Но днем отоспаться не привелось.

Когда Стекольщик разделся и полез в воду выгребать чужие верши, Витек только воротник на пиджаке поднял и руки в карманы засунул, до того зябко ему сделалось. Но Фрол так лихо плавал саженками, нырял и отфыркивался, что дружку самому захотелось искупаться.

— Вода-то теплая? — крикнул он с обрыва.

Стекольщик, занятый в тот момент важным делом, — перекладывал застрявших в верше карасей в майку, завязанную меш-

ком, — даже ухом не повел. Но, приплыв к берегу и вывалив на травку трепещущих бронзовых рыбок, сказал с удовольствием:

— Вода, Витек, что твое парное молоко. Очень советую искупаться.

Витек искупался и совсем ожил. Люто захотелось есть, и сама собой возникла проблема, что делать со всей этой грудой рыбы. Ни подходящей посуды для ее приготовления, ни потребных для этого припасов они с собой, конечно, не прихватили. Но голова у Стекольщика была в то утро удивительно ясной, и он все быстро решил.

— Мы с тобой что сделаем? — Он продул папироску и закусил гильзу. — Перво-наперво съездим в поселок и нальем свежего молочка, сметанки опять же купим...

— Картошки хочется, — сообщил Витек.

— Ты погодь... В десять часов тут лавка откроется. Все, что надо, там возьмем. Понял? А картошечку самим накопать придется. Руки не отвалятся... Чугунок али сковородку у баб подзанять можно. Нам дадут, мы люди денежные. — Стекольщик ухарски подмигнул и широким гусарским жестом вытянул из бокового кармана комок смятых пятерок и трешек. — Хоть фарта мы не имели, но за избавление от опасности могем.

— Самогонку тут, конечно, уважают, — понял намек кореш.

— Зачем отравлять себя самогонкой? — пожал плечами Стекольщик. — «Экстру» купим. Хотя в мое время тут действительно ловко гнали из гонобобa. Чистая, как слеза!

Переложив рыбу травой, чтоб не усохла, они оседлали пропыленную «яву» и покатили в поселок.

В кулинарных хлопотах и погоне за удовольствиями незаметно прошел день.

Уже в сумерках, отяжелев, как удавы, и под изрядным газом, Стекольщик с Витьком добрались до озера Светлого, где и решили заночевать на суходольном пятачке посреди осушенной луговины.

В воздухе неслышно метались летучие мыши. Чудно пахла скошенная трава. С озера тянуло прохладной свежестью. Они запалили костер и, когда березовый сушняк загорелся, побросали в пламя сухие сосновые ветки и вырванный из моховых кочек багульник. Затрещала смолистая хвоя, удушливым горьким туманом поплыл над землей, отпугивая всякую летучую нечисть, тяжелый дым багульника.

Ночной мрак замкнулся вокруг костра. Стояла непривычная тишина. Только пламя гудело, шатаемое ветром, да изредка постреливали уголечки.

Стекольщик, мастер на все руки, накалил сковороду, опростал в нее полбанки густой сметаны и, когда та пошла пузырьями, стал подкидывать выпотрошенных перочинным ножом карасиков.

Ветер усилился, и можно было не раздувать подернутые сизым пеплом уголья. Золотые искры уносились куда-то в непроглядную черноту озера, шелестящего ивой и камышом. Временами ветер

менялся, и розоватый дым улетал вместе со жгучими звездочками в сторону луга, отрезанного от фрезерных карт сухим в эту пору магистральным каналом.

Караси запекались дружно, и в предвкушении вожделенного мига дегустации Витек обстоятельно разливал «Экстру» в алюминиевые кружки, следил, чтоб вышло поровну, справедливо. Закончив работу, он облизнулся и потер руки. Стекольщик одобрительно покосился на свою кружку и стал крошить на березовой чурке молодой зеленый лучок.

Потом их сморил сон. Они блаженно растянулись на травке и безмятежно захрапели, накрывшись клеенкой, отстегнутой с мотоциклетной коляски.

Ветер между тем буйно задувал с разных сторон. Он кружил по часовой стрелке над суходолом, наливая внутренним светом матово-красные стеклянные угли.

Глава четвертая

ПЕРВЫЙ СЛЕД

В тропиках темнота наступает почти мгновенно с заходом солнца, и обезьяны горестными криками провожают закатившееся за горизонт светило, словно навсегда прощаются с ним. Но в Подмосковье, особенно во время летнего солнцестояния, свет меркнет медленно и лениво. Уже закрылись одуванчики на пустыре и смолкла кукушка в березовой роще, уже поплыл над дачными заборами горьковатый тревожный запах ночного табака и пятнистая сетка теней накрыла теплую, перемешанную с сосновыми иглами пыль, а золотой свет мерцает еще за околицей, грустно поблескивает через листву.

В такой вот час, когда в притихшем холодеющем воздухе далеко разносится каждый звук и смазываются, лиловея, четкие очертания теней, оперативная «волга» въехала на Западную улицу и остановилась у зеленой калитки с прорезью для почтовой корреспонденции. Выложенная шиферной плиткой дорожка петляла между сосен.

Люсин — он сидел рядом с шофером — вылез из машины и предупредительно распахнул заднюю дверцу. Он помог Людмиле Викторовне выйти и, пропустив ее вперед, огляделся. Микроавтобус с синей мигалкой на крыше стоял на другой стороне дороги, в горбатом переулочке, где возле артезианской колонки буйно цвела пыльная акация.

Ковская, которая за время пути не проронила и двух слов, тяжело вздохнула и, прижав руку к сердцу, обернулась к Люсину:

— А вдруг он там?.. Дома...

Люсин тихо покачал головой. От эксперта-криминалиста Крелина он уже знал, как обстоят тут дела. Недаром же стоял у него в

машине радиотелефон... Нет, Аркадий Викторович домой не вернулся.

Она потому и притихла, что надеялась на это. Ей так хотелось верить...

— Я почему-то боюсь. — Она закусила губу и умоляюще взглянула на Люсина.

— Не надо, Людмила Викторовна. — Люсин улыбнулся ей и толкнул калитку. — Идите к себе. Вам нужно отдохнуть.

— А вы?

— Я зайду минут через двадцать... Да, одна просьба: ничего не трогайте, пусть все остается на своих местах. Хорошо?

— Конечно, конечно... Разве я не понимаю? Я и пальцем ни к чему не притронусь. Как только прилетела сегодня утром на дачу, так...

— Вы очень правильно все сделали. И хорошо, что сразу же обратились к нам.

Люсин вспомнил сегодняшний разговор с генералом, и ему стало немного не по себе. Получалось, что Григорий Степанович как в воду глядел, хотя, кроме заявления Ковской, никаких сведений у него не было. Вот это и есть интуиция. Впрочем, интуиция ли? Может, все решил старый ковер? Это очень плохо, когда вместе с человеком пропадает только ковер. Или плед. Или одеяло. Связь тут, как правило, однозначная. Конечно, запеленать можно как мертвого, так и живого...

— Привет, Люсин. — Дверца автобуса распахнулась, и высунулся Крелин. — Мы тебя ждем.

Люсин заглянул в машину. Кроме шофера Коли и Крелина, там сидел еще новый люсинский помощник, инспектор Глеб Логинов.

— Глеб, сходите за понятыми и приступим к осмотру! — сказал Люсин.

— Всего минут пять как управились. — Крелин аккуратно поставил свой чемоданчик. — Ты вовремя поспел.

— Пройдемся по участку? — предложил Люсин. — Там все и расскажешь... А чемоданчик захвати, пригодится еще.

— Зачем? Когда станем осматривать дом, Глеб принесет и пригласит Людмилу Викторовну. Верно, Глеб?

Логинов кивнул.

— Ладно, пусть так, — согласился Люсин.

Крелин вылез из микроавтобуса, и они пошли к даче.

Участок у Ковских был большой, с полгектара, наверное, но изрядно запущенный, поросший дикой травой. Ни клумб, ни куртин, ни грядок с клубникой. Только овсюг да пырей, чистотел да крапива. Возле дома высилось несколько старых сосен, в дальнем конце белели березовые стволы. Малина и крыжовниковые кусты вдоль забора перемежались самовольно вселившимися кленками. Только у гаража, выложенного под грот гранитными валунами, растительную стихию нарушило вмешательство человека. На искусственном пригорке, декорированном замшелым пнем, красовалась тройка голубых елей.

— Своеобразно, — оценил Люсин и, поманив за собой Крелина, пошел в обход дома.

— Домик тоже ничего себе, — заметил Крелин. — С башенкой. И крыша черепичная.

— На фламандскую мызу похож, — сказал Люсин, невольно любуясь каменной, грубо оштукатуренной стеной, по которой причудливо вились лозы дикого винограда. Под стать были и замшелая на северном скате остроконечная крыша, и флюгер на башенке, и абсолютно не похожие друг на друга окна.

Они-то и заинтересовали Люсина в первую очередь. Он еще раз обошел вокруг дачи и, кинув беглый взгляд на широкую каминную трубу, остановился у закругленного сверху трехстворчатого окна.

— Здесь? — усмехнулся Люсин.

— Здесь, — кивнул Крелин. — Судя по всему, выставили стекло, а потом опять вмазали. Замазка совсем свежая.

— Отпечатки есть?

— Ни одного, — махнул рукой Крелин. — Надо будет еще изнутри взглянуть.

— Ага, посмотрим. А работка как? Мастерская?

— О да! Профессионал!

— Профессиональная преступность у нас ликвидирована.

— Как социальное явление, — уточнил Крелин.

— Угу! — Люсин легонько поковырял замазку ногтем. — Я так и подумал, что здесь... Через камин-то оно хлопотнее. Не так разве?

— Два других окна высоко — нужна лестница, — поддержал его Крелин. — Остальные слишком узки — неудобно опять же. Я тоже остановился на этом. К тому же оно затенено кустами и выходит на тихую улицу.

— Приятно следовать чужой логике. — Люсин присел под окном и набрал в пригоршню немного земли. — Это вдохновляет. Внушает успокоительную мысль, что ты не глупее других. Иначе и рехнуться недолго.

— Еще бы! — откликнулся Крелин. — Похищение из запертой комнаты!

— Землю ты разровнял?

— Нет, — отрицательно покачал головой Крелин. — Он. Но след все же остался. Правый каблук. Очень характерный скос с внутренней стороны. Землю мы тоже, конечно, взяли. Он хоть и профессионал, но, видать по всему, дурак. К чему эти дешевые штучки?

— Слепок хорошо получился?

— Отменно. На диметилсилоксане выявилась даже крохотная вмятинка, оставленная на каблуке каким-то острым предметом. Похоже на осколок стекла.

— Не удивительно, раз тут стекольные работы велись. Старик, между прочим, тоже уважает профессионала. Воспоминания моло-

дости... А кровь ты где обнаружил? Там? — Люсин махнул рукой в сторону забора.

— Да. В кустах. Скорее всего, он на гвоздь напоролся или шипами исцарапался. Во всяком случае, не стеклом порезался, потому что я здесь все люминолом опрыскал — никаких следов.

— Жаль. Если поцарапался, то крови кот наплакал. На анализ не хватит.

— Ну, группу-то мы как-нибудь установим.

— Пошли к забору. — Люсин зализал ужаленную крапивой ладонь. — Почему ты думаешь, что их было именно двое?

— Я так не думаю.

— Но позволь, ты же сам только что сказал мне об этом по телефону! — удивился Люсин.

— Ничего подобного я тебе не говорил. Я, Владимир Константинович, точность люблю.

— Извини. — Люсин задумчиво поскреб затылок. — Комары, одначе, начинают наглеть.

— Их время настает, — флегматично заметил Крелин.

— Да, — продолжал Люсин. — Ты действительно не говорил, что их было двое. Они тащили вдвоем — это да, а так их могло быть сколько угодно...

— Другой коленкор.

— Другой. — Люсин сосредоточенно уставился в траву. — Будь он один, ему пришлось бы либо тащить по земле, либо взять на плечо. В первом случае волокна ковровой основы оказались бы в самом низу, во втором — на уровне плеча...

— Но мы нашли их примерно в полуметре от земли. Следовательно, труп несли двое, на руках и чуть пригнувшись.

— Так уж сразу и труп!.. С трупом ты, Яша, погоди. К тому же их могло быть и трое. Один впереди, два сзади или наоборот. Разве не так?

— Возможно, — подумав, согласился Крелин. — Но суть от этого не меняется.

— Не меняется, — вздохнул Люсин. — Где же они перелезли через забор?

— Тут, — уверенно сказал Крелин и дунул на тонкую паутинку — идеальный подвесной мост, протянутый между двумя соседними перекладинами.

— Почему?

— Мотоциклет стоял именно здесь. Об этом свидетельствуют следы масла... Накапало.

— А куда они поехали? К станции?

— Туда. Только след скоро теряется. Вон за тем мостиком. — Крелин кивнул на белеющий в конце кривой улочки березовый настил.

— И порошок здесь рассыпан?

— Больше всего именно на этом месте.

— А что за порошок, не знаешь?

— Пока нет. Я было подумал, что это нюхательный табак, но уж зело вонюч. Явно какая-то химия.

— Тут вообще сплошная химия, Яша. — Люсин сначала стал на колени, потом пригнулся до самой земли. — Хозяин-то тоже химик... А порошочек, ты прав, благоухает. Тошнотворный запашок! Интересно, как он его сыпанул: сюда или отсюда?

— Какая разница?

— Разницы, может, и никакой, а все равно интересно. Больше ничего не нашел?

— Окурок только.

— Тут же?

— Там, за забором. «Беломорканал» с характерным прикусом. Сравнительно свежий.

— Случайный может оказаться.

— Все возможно.

— Хорошо, Яша. Спасибо тебе. Как говорится, на пять с плюсом.

— И тебе спасибо. Пойдем в дом?

— Пора, брат. К тому же смеркается... А знаешь что? Пошлика ты этого парня, Глеба, погулять. Пусть по соседям пройдется, с участковым поговорит. Может, кто чего и заметил.

— Не исключено. — Крелин сдул приставшую к пальцам землю. — Так ты иди пока, а я распоряжусь. И чемоданчик возьму.

Люсин пригнулся и боком пролез через кусты. Следом за ним зашуршал листвой Крелин. Утопая по пояс в травах, они дошли до выложенной шиферной плиткой тропки, где и расстались. Люсин обогнул дом — вход находился по другую сторону от трехстворчатого окна, — а эксперт-криминалист прямиком направился к калитке.

На Западной улице уже зажглись фонари. В ранних сумерках они казались мертвенно-зеленоватыми. Было слышно, как бились о стекла колпаков тяжелые майские жуки. Совсем близко на полную мощность ревел транзистор.

Со стороны станции полыхнула дальняя зарница. По верхушкам деревьев прошелестел короткий порыв ветра. Ближайшая к дому сосна скрипнула, где-то вверху от нее с треском отлетел кусочек коры.

Когда Люсин, вытерев ноги о резиновый коврик, постучался в дверь, ветер вновь налетел и с еще большей силой. По крыше застучали шишки.

«Видимо, будет гроза, — подумал Люсин. — Хорошо бы чайку попить из самовара с крыжовенным вареньем... Сосновые шишки жар долго хранят».

Людмила Викторовна вышла к нему с тихим отчаянием в глазах.

— Что же делать, Владимир Константинович? Что делать? — шепотом спросила она, прижимая к плоской груди невесомые, со вздутыми венами руки. — Ведь время идет!

— Ждать, Людмила Викторовна, ждать. — Люсин осмотрелся и нашел дверь, ведущую в комнату, где должно было находиться окно. — Здесь кабинет Аркадия Викторовича? — Он потянул на себя синюю стеклянную ручку.

— Здесь, здесь, — заторопилась Ковская. — Я как примчалась сегодня утром из Москвы, так сразу сюда и кинулась. «Аркаша! Аркаша!» — кричу, а он не отвечает. Подергала дверь — заперто. Хотела на помощь звать, тут крючок и отскочил. А там — никого...

— Понимаю, — сказал Люсин, входя.

Остановившись на пороге, он медленно обвел взглядом комнату. Трехстворчатое окно находилось слева. На подоконнике стояли два цветка в фарфоровых вазах с синим восточным узором. На некоторых листочках виднелись белые наклеечки, от которых была протянута закрученная пружиной медная проволока. Третье растение странного золотистого оттенка, тоже опутанное проволокой, было сломано и валялось на полу среди комьев земли и осколков фарфора. Землю явно кто-то растер ногой. Скорее всего, для того, чтобы скрыть следы. Но сделано это было второпях. И Люсин уловил контуры отпечатков. Остатки земли виднелись и на подоконнике. Проследив взглядом за проволокой, Люсин обратил внимание на серый застекленный железный ящик с бумажной лентой и печатающим устройством. Это был электронный потенциометр ЭПП-09. Точно такие же Люсин видел в лабораториях научно-технического отдела. Он знал, что прибор позволяет снимать показания сразу нескольких датчиков, печатая их номера на разграфленную ленту.

У противоположной от двери стены, под круглым окошком, стоял необъятных размеров письменный стол. Он был завален книгами, папками, клочками миллиметровки и кальки. Рядом с массивным письменным прибором из бронзы и толстого стекла стоял бинокулярный микроскоп, окруженный всевозможными бюксами. Люсин не знал, на чем остановить взгляд. На столе валялись баночки с реактивами и препаратами, стержни от шариковых ручек, стертые ластики, огрызки карандашей, золотистые, синие и розовые кристаллы, тюбики с клеем, окаменелости, образцы пород и минералов, очки, хирургический скальпель, логарифмическая линейка, циркуль... В розетку через тройник были подключены осветитель микроскопа, вычислительная машинка и настольная лампа. Под столом громоздились рулоны чертежей и стояла на чугунной опоре химического штатива пишущая машинка в голубом футляре. По всему полу в изобилии валялись скрепки. На продавленной качалке кое-где были сложены листы гербария, прижатые бронзовым пресс-папье в виде сфинкса. Тут же лежали синяя пачечка дешевых сигарет «Дымок», позеленевший пятак, стеатитовая печатка, обгрызанная коробка спичек и пластмассовая мухобойка со следами точных попаданий.

Справа от стола угрюмо чернело холодное жерло камина. На каменной стойке пылились бронзовые часы с черным зодиакаль-

ным циферблатом, хрустальная вазочка с сухими бессмертниками и фото, запечатлевшее молодую улыбающуюся пару. Люсин решил, что на фотографии засняты Аркадий Викторович и его покойная жена.

Еще в кабинете стояла вытертая бархатная кушетка, на которой лежали вышитые болгарским крестом подушечки. Над кушеткой висела картина в тонкой золотой раме. Она изображала странный зеленый ландшафт, неправдоподобные розовые облака и стоящего на цветке человека с равнодушной, бесстрастной улыбкой. Люсин заинтересовался картиной и подошел поближе. Улыбающийся человек (лицо золотое, одежды красные, волосы как синяя башенка) левую руку вверх поднимал, а правой в землю указывал. В поднятой к луне и солнцу руке была у него цветущая ветка, а в опущенной долу — чудный, алые лучи испускающий самоцвет. Ничего подобного Люсин в жизни не видывал, но что-то шепнуло ему: Будда. И он даже не усомнился, что перед ним именно Гаэтама Будда. А там и память заработала — прочитанное припомнилось, и догадался Люсин, что стоит Будда на священном лотосе.

Людмила Викторовна, затаившаяся у Люсина за спиной, нашла нужным пояснить:

— Это тибетская танка семнадцатого века. Какой-то лама писал ее в горном монастыре всю жизнь. Аркаша говорит, что она вдохновляет его на поиски.

«Вдохновляет так вдохновляет, — подумал Люсин. — Нас это не касается. Пойдем дальше».

Он переключил внимание с картины на большой аквариум, установленный на подставке из сварных уголков. Вода из него испарилась на добрую треть, а на стекле нарос коричневый налет, мешавший видеть рыбок.

Редко воду менял Аркадий Викторович... Совсем как Юра Березовский.

Люсин машинально воткнул в розетку вилку рефлектора, и аквариум осветился. В зеленой опалесцирующей воде плавали усатые гурами и разноцветные петушки. На дне, вздымая облачка мути, рылись в отбросах стеклянистые креветки. Их в аквариуме было куда больше, чем рыб.

«Век живи — век учись, — подумал Люсин. — Оказывается, и креветки бывают пресноводные, не только бычки. Жаль, мелкие. Это тебе не дальневосточный чилим, не тропические лангустины. Вот то креветки!..»

Он выключил рефлектор и повернулся к окну, по обеим сторонам которого стояли стулья. Пыль на них казалась нетронутой. Зато с подоконника явно были сметены следы грязи.

— Вы здесь ничего не вытирали? — спросил Люсин на всякий случай, повернувшись к Людмиле Викторовне.

— Боже упаси!

Люсин взял увеличительное стекло и, встав на стул, осмотрел каждый сантиметр замазки. Папиллярных узоров на ней не было.

Справа от окна, ближе к столу, стоял еще один венский стул, а на нем — банка с хитрой откидной крышкой. Люсин осторожно тронул пальцем дюралевый рычажок, и крышка стала стоймя. Едко, до боли в глазах, пахнуло формалином. Пять мертвых креветок валялись на дне. Черные бисеринки их глаз побелели.

— Вы уверены, что пропал только ковер? — спросил Люсин.

— Уверена. Что же еще, когда все на месте?

— Мало ли... А в столе? Бумаги, записи...

— Это может быть. Я о ценных вещах говорю.

— Иногда бумаги ученого стоят подороже банкнот и акций.

— Вы думаете, тут поработал шпион? — прошептала она. — Диверсант?

— Я ничего не думаю, — буркнул Люсин. — Ничего пока не известно. Ваш брат курил? — В глаза ему бросилась синяя пачка.

— Никогда в жизни.

— Вот как? — Люсин мгновенно натянул на правую руку резиновую перчатку и взял сигареты. — Трезвого образа жизни был человек!

— Ну, этого бы я не сказала, — задумчиво произнесла Ковская. — Он иногда выпивал. Представьте себе, даже чистый спирт. Изредка, правда. Вот ужас!

— Это не ужас, — рассеянно покачал головой Люсин, осматривая пачку. — Откуда у него сигареты?

— Ах, эти... — Она улыбнулась. — Он из них настойку делал.

— Что?! Какую такую настойку? — Люсин был озадачен.

В пачке, надорванной сбоку, не хватало одной сигареты, и казалось невероятным, что именно она пошла на приготовление загадочной настойки, даже если смириться с мыслью, что кому-то вообще могла прийти в голову столь экстравагантная затея.

— На воде. От тли... Цветы, которые нужны Аркаше для опытов, облепила тля.

— Понятно! — Люсин отвернулся, скрывая улыбку. — Ваш брат уничтожал табачной настойкой тлю. Так-так... И сколько же сигарет шло на приготовление такой отравы?

— Не знаю, право... Видимо, вся пачка? Я так думаю.

— Но не одна сигарета?

— Нет, конечно же, не одна.

— Кто же тогда взял отсюда сигарету?

— Н-не знаю!

— Аркадий Викторович точно не курил? Ни при каких обстоятельствах?

— Совершенно точно. Можете быть в этом уверены.

— Но кто-то взял сигарету... Весь вопрос в том, выкурил он ее или нет. И где именно выкурил, — пробормотал Люсии и, став на четвереньки, заглянул под кушетку.

Окурка не было видно, но зато он нашел обгорелую спичку.

Отряхнув колени, прошел к качалке и, взяв коробку спичек, спросил:

— Это ваши?

— Наверное! Почем я знаю?

Но спичек в коробке не было. Вместо них там лежали ржавые бритвенные лезвия. Возможно, они нужны были Ковскому для его опытов с растениями...

Люсин прочитал английскую надпись на этикетке. Экспортные спички. Значит, довольно толстые... Правильно, так и написано: 50 штук. Эта же — он повертел в руках свою находку — тоненькая. Значит, не отсюда...

Он вынул из бокового кармана никелированный футлярчик и аккуратно уложил в него спичку. Бросилось в глаза зеленое пятнышко под обгорелым ее острием.

— Разрешите войти? — послышался сзади голос Крелина.

— Пожалуйста, — пригласил Люсин. — Ждем. Позвольте, Людмила Викторовна, представить вам моего коллегу Якова Александровича Крелина.

— Очень приятно! — Ковская поджала губы.

Крелин молча поклонился и, увидев отпечатки следов по рассыпанной земле на полу под окном, взялся за фотоаппарат. Ослепительно сверкнул блиц. Потом еще раз.

Люсин же в это время исследовал кушетку: искал следы пепла.

— Я вам не мешаю, товарищи? — поинтересовалась Ковская.

— Нисколько, Людмила Викторовна, — улыбнулся ей Люсин и тихо сказал Крелину: — Опрыскай здесь люминолом... Где лежал ковер, Людмила Викторовна? — спросил он.

— Вон там, — показала она на середину комнаты.

Крелин сделал еще несколько снимков интерьера и, отложив камеру, склонился над своим чемоданчиком. Достав оттуда флакончик с пульверизатором, он начал методично опрыскивать стены и пол. Особенно тщательно оросил он окно и то место, где, по словам Ковской, лежал ковер.

Но нигде не вспыхнуло синее люминесцентное пламя. Либо вся кровь осталась на ковре, либо в этой комнате вообще не было пролито крови.

— Ничего, — сказал Крелин. — Ты что-нибудь нашел?

— Табачный пепел, — задумчиво нахмурился Люсин. — Знаешь что, Яша? Пока Глеб бродит окрест, попробуй-ка поискать одну вещь.

— Что тебя интересует?

— Это. — Люсин показал глазами на пачку «Дымка». — Если предчувствие меня не обманывает, должен найтись окурок.

— Выйдем на минутку, — потянул его за рукав Крелин.

Они вышли на крыльцо. Было темно и ветрено.

— Стоит ли включать прожектор? — спросил Крелин. — Привлекать внимание? Тем более что мы облазили каждую пядь... «Беломорку» ведь нашли...

— Где? — резко спросил Люсин. — Там, где предположительно стоял мотоцикл? А в саду, в траве?.. А там, на дороге? — Он

махнул рукой в сторону Западной улицы, откуда до них долетали шаркающие по асфальту шаги и приглушенный смех.

— Прочесать траву мы сможем только утром, — твердо сказал Крелин. — Улица — другое дело. Хотя совершенно ясно, что они приехали и уехали оттуда. — Он кивнул на кусты у забора.

— Ничего мне не ясно, — вздохнул Люсин. — На Западной следов мотоцикла нет?

Крелин отрицательно мотнул головой.

— Все равно, Яша, надо поискать. Бог с ним, с садом. Ты совершенно прав. Подождем до утра. Тем более, ничего тут не изменится, не пропадет. Иное дело — улица. И так сколько времени упущено! А ведь «Дымок», почитай, каждый третий таксист курит...

— Ладно, Володя, — кротко согласился Крелин, — пойду поищу на улице. Пошукаю трошки, как говорит наш Шуляк.

— Пошукай! — потрепал его по плечу Люсин. — А я тут с хозяйкой переговорю. Пора узнать наконец, чем занимался ее Аркадий Викторович.

Он раскрыл дверь, но едва успел войти в коридор, как она с пушечным грохотом захлопнулась, чувствительно ударив его по спине.

«Разыгралась непогода, — подумал Люсин, — порывчик баллов на восемь. Нет, не найти Яшке окурка. Унесет все, к чертовой бабушке...»

Глава пятая

ПОЖАР НА БОЛОТЕ

Стекольщик продрал глаза на рассвете. Долго не мог сообразить, где находится и как сюда попал. Начисто память отшибло. Потом до него дошло. Бросив хмурый взгляд на свернувшегося калачиком Витька, он сладко потянулся и вылез из-под клеенки. Костер за ночь прогорел. Холодные черные угли покрылись голубоватым инеем пепла. Фрол нарвал пучок росистого клевера, попытался вытереть руки, жирные от сажи. Чувствовал себя он скверно. Сырое, холодное утро внушало отвращение, равно как остатки пира и черные букашки, нашедшие гибель в стеклянной банке, из которой он так лихо пил накануне. А тут еще туман ел глаза, першило в горле от гари.

«Ну и дымище они развели у себя на электростанции! — подумал Стекольщик. — Никакого порядка нет. Куда только охрана труда смотрит!.. А может, это и не электростанция вовсе, а торф горит? Он же загорается сам по себе, от внутреннего сугрева...»

Стекольщик огляделся, но сквозь продымленный туман видны были лишь вышки электропередачи, смутные очертания стволов на опушке и студеная рябь серого озера. Он сплюнул и поддал

ногой пустую консервную банку. В камышах испуганно вспорхнул куличок.

Заворочался под клеенкой Витек. Ноги его и голова оказались снаружи, и это вновь напомнило Стекольщику вчерашнее. Он долго разглядывал свалявшиеся волосы дружка, в которых застряли сосновые иглы и волоконца пепла, щетину на глянцевитом лице и поношенные ботинки, залепленные подсохшей болотной грязью. Но думал не о Витьке, а все того видел, другого, кого оставили они в непроглядной холодной жиже. И до того ясно представил себе Фрол белые волосы и шлепанцы в пеструю клетку, что жутковато сделалось.

И зачем он только влип в такое скверное дело! Может, следовало оставить все как есть и уйти, не замарав рук? Вставить стекло, и лады. Никто бы ничего не заметил. Помер себе человек, и все тут. Так нет же, в панику ударился, запсиховал.

Витек хрипло посапывал во сне. Порой его, видно, одолевало удушье. Красное и без того лицо сильнее наливалось кровью, отчетливее выступали припухлости сомкнутых век, жирный лоск пористой, опаленной жаром и копотью кожи. Он ежился от хлада и сырости, норовил упрятать голые ноги. Одна штанина задралась, а в носок, который совсем съехал, впились репейные шарики.

Стекольщик помотал головой, стараясь поймать промелькнувшую, но тут же скрывшуюся в мутном забытьи мысль.

Ах да, он же с самого начала решил сменить вчера всю обувь! Кажется, они даже купили в сельпо туфли...

Он потоптался, припоминая, и пошел к мотоциклу.

В коляске действительно лежали две изрядно помятые коробки. Картон отсырел, и к нему прилепились истлевшие в огне хвоинки. Следы пепла были и на затуманенном вишневом лаке мотоциклета.

«Ишь ты, как полыхало! А ведь сгореть могли. Совершенно запросто... — Он скомкал крышку и вытащил серую, в дырочках туфлю с широким отстроченным рантом. — Не очень, конечно, но ничего, сойдет».

— Вставай, керя, — проворчал он, расталкивая Витька́. — Разнежился!

— Чо? — Витек ошарашенно дернулся, сел и с трудом разлепил веки. — Ты чего, Фрол?

— Хватит те дрыхнуть! Давай вот переобуйся. — Он запустил в него коробкой.

Витек с ловкостью футбольного вратаря принял ее на грудь и без лишних слов начал снимать свои некогда коричневые штиблеты.

— Давай сюда колеса! — скомандовал Стекольщик, уныло любуясь обновой.

Встав во весь рост на пригорке, он зашвырнул один за другим старые ботинки в камыши. Инстинктивно метился в невидимого

куличка, который все посвистывал себе и никого не трогал. Привыкшая к тишине птица вспорхнула и перелетела на более спокойное место.

Стекольщик прислушался. Только слабая зыбь била в корневища осоки да изредка всплескивала рыба, спасаясь от щуки.

— Чем это так пахнет? — спросил, принюхиваясь, Витек.

— Торф горит. Может, топят, а может, сам по себе. Болото ежели загорится, то всю зиму тлеть подо льдом может. Нипочем не затушишь!

— Ишь ты! — цыкнул зубом Витек. — Страсти!

— Вот те и страсти. Мы вчерась костер не погасили, а зря! Беда могла приключиться.

— А это не от нас? — нахмурился Витек.

— Не, — беспечно отмахнулся Стекольщик. — Нигде же ничего. И тихо.

Но Витек, более чуткий на ухо, уловил все же далекий клекот колокола, тарахтение моторов.

— Звонят вроде.

— А пускай себе, — безмятежно прищурился на встающее за лесом солнышко Стекольщик.

— Не пожар ли? Дымом-то пахнет!

— На электростанции топят, в Электрогорске. Огня-то нет?

— Огня нет, только как бы не того.

— Не нашего это ума дело, Витя. Мы тут ни при чем. Если бы от нас загорелось, мы бы первые к богу в рай попали. С мотоциклом!

— Давай закусим, что ли, Фрол?

— Похмеляться будешь? — спросил Стекольщик.

Он с отвращением думал о вчерашней гулянке и не собирался начинать все сначала. Но гарь и особенно беспрерывный колокольный набат, который он теперь тоже вроде бы различал, встревожили его. Мучимый сомнениями по поводу вчерашнего дела, он постарался скрыть от Витька страх перед новой угрозой. Проработав целый сезон на болоте, он не мог не знать, что торф всегда загорается в самом неожиданном месте. И часто никто не знает почему. Ведь сохнущий торф подвержен самовозгоранию. Таинственная деятельность взрывообразно размножающихся в нем микробов приводит к перегреву, который заканчивается пожаром. Конечно, далеко не всегда виноваты микробы. Порой он вспыхивает, подожженный молнией, в неистовую июльскую грозу, и горит, не подвластный обильным ливням, которые только распаляют сокровенный, подспудно тлеющий жар. Бывает, что фрезерную крошку поджигает случайная искра, выбитая тракторной гусеницей из гранитных валунов, которых на болотах, порожденных отступающим ледником, не счесть. Иногда такая искра выскакивает из выхлопной трубы двигателя. Но чаще всего причиной пожара становится плохо загашенная сигарета, небрежно брошенная на землю спичка.

Разнесенные ветром горячие угли костра почти одновременно воспламенили сохнущую крошку на втором поле Заозерья и поленницы брикетов на Новоозерном участке. Ночная гроза и беспрерывное полыхание молний помешали вовремя заметить очаги пожара, поэтому к тому времени, когда Стекольщик пробудился от сна, огненная стихия уже была неуправляема.

На Новоозерном очаг все же сумели локализовать. Все население участка, от начальника до сезонных работниц, вооружили лопатами и бросили на пожар. Потушить его было невозможно, только окопать глубокой траншеей и бросить все наличные бульдозеры на обваловку. Этого оказалось достаточно. Огонь не перекинулся ни на поселок, ни на торфяные поля. Почти не пострадало железнодорожное полотно и лес вдоль него.

По крайней мере так казалось в суете и неразберихе аврала.

Караваны пылали, как танкеры, в огненном море, по которому все шире и шире разливается горящая нефть. Даже птицы и те не всегда успевали взлететь и комьями падали в густой одуряющий дым, сквозь который, крутясь, летели во все стороны искры. От этих-то искр и возникли вторичные очаги. Запылал сосновый сухостой на первом поле; что-то загорелось в ельнике у самой узкоколейки, взорвалась бочка с соляркой, небрежно брошенная там, где ей никак не полагалось лежать. Вслед за взрывом красные нестерпимые факелы рванулись по верхушкам деревьев вокруг Топического озера. К утру весь участок был полностью отрезан от Электрогорска, куда медленно и настойчиво гнал гигантскую огневую подкову ветер. Потому и не увидели Стекольщик с Витьком огня, что он уходил от них все дальше и дальше, оставляя за собой черный песок и неугасимые угли. Да и сплошной дым застилал все на многие километры. Можно было только гадать, уйдет ли пожар в глубины торфяной залежи или, подобно напалму, только испепелит ее поверхностный слой.

Деревянный поселок с тригонометрической вышкой, кирпичное здание посреди второго поля и гаражи на первом были обречены. Прорываться имело смысл лишь в направлении Светлого озера, откуда по узкоколейке открывался выход на Милежи. О том, что горит и на Новых озерах, никто не знал, потому что пожар на лесистой окрайке уничтожил телефонный провод.

Где могли только, подняли заглушки и пустили воду из запасных колодцев. Это обещало хоть какую-то передышку поселку, где в тот ранний час сосредоточилось почти все население. На полях остались только рабочие смены трактористов, электрики и девушка-техник. Их положение было безнадежно. В поселке уже оплакивали погибших: то ли сгорели заживо, то ли задохлись в угарном, все нутро раздирающем дыму.

Из Электрогорска помощи ждать не приходилось. За Топическим озером уже сомкнулся горящий по обе стороны насыпи лес. Удушливые клубы дыма ползли стеной, за которой трещали и лопались падающие деревья.

Прорвавшаяся со стороны Святого источника пожарная дрезина застряла на Новоозерном, хотя ясно было что горит и дальше, только неизвестно где. С ее помощью и удалось притушить брикеты и уже возникшие к этому моменту очаги в лесу и на окрайке болота, где неожиданно вспыхнули вывороченные при расчистке поля сухие пни Лишь тогда, когда на Новые озера стали прибывать другие спешно оборудованные мощными гидромониторами команды, дрезина, захватив фельдшера и офицера из УВД, двинулась дальше. Ехали медленно, задыхаясь в кромешном дыму, каждую минуту ожидали, что огонь перережет дорогу.

На подъезде к озеру Светлому пелена гари начала редеть, да и дышать стало куда легче. Кое-кто из пожарников даже снял респиратор. Было очевидно, что пожар не здесь, а где-то дальше и ветер гонит пламя на Электрогорск. Решено было прибавить ход и пробиваться к главному очагу. Очевидно стало, что пожар в Новых озерах не чета здешнему и дела в Заозерье обстоят куда как плохо. Дрезина шла с включенным прожектором, который едва пробивался сквозь красноватую мглу.

Завывая сиреной, простучала пожарная дрезина вдоль озера и осушенного луга за ним, где притаились на суходольной кочке истинные виновники катастрофы.

Тут уж не только до Стекольщика, но и до тугодума Витька́ дошло, что они натворили. Но представить себе масштабы содеянного, страшные его последствия не могли и они. Только затаились на своей кочке, подавленные, онемевшие, скорее готовые сгореть, чем взглянуть в глаза тем, на кого бездумно наслали гибель. Молча проводили они взглядом невидимую за гарью дрезину и долго прислушивались потом к угасающему вою ее сирены.

— Что ж теперь будет, Фрол? А?

Стекольщик глянул в налитые кровью глаза дружка-приятеля и вроде не понял, о чем его тот спросил.

И вдруг заголосил совершенно по-бабьи:

— Не виноваты мы, Вить! Слышь? Ничегошеньки близ костра-то не занялось! Не мы это! — и зашелся в сухом, изнурительном кашле.

— А кто виноват? Кто? — совсем спокойно спросил его Витек, жмурясь от рези в глазах и растирая по лицу грязным кулаком слезы.

— Кто, кто, — подвывал Стекольщик. — Почем я знаю, кто? Гроза же была, Витек, сухая гроза. Чай, она и подожгла-то...

— И верно, Фрол. Было сухо, как встали. Ни капельки не упало. — Витек, казалось, совершенно успокоился. Только глаза его были неподвижны и слезы разом пропали, хотя он, не сознавая, и выдавливал их костяшками больших пальцев. Но тщетно. Едкие летучие смолы все больше резали веки и пекла, подсыхая, горькая соль.

Стекольщик перестал кашлять, но на него напала икота. Все же он ухитрился причитать в перерывы.

— Не мы. Не мы это! — твердил. — Молния подожгла.

Возможно, что опустошительный пожар на торфопредприятии действительно произошел из-за удара молнии. Установить истинную причину его было теперь немыслимо. Не исключено, что летящие по ветру угли лишь дополнили действие небесного огня. Не исключено... Но это не снимает вины с Фрола Зализняка. Он работал здесь целое лето и видел, как загорается торф. И потому не смел он не то что костер разводить вблизи фрезерной крошки, но даже «Беломорку» запалить.

Не нарочно он сделал свое дело, никому не хотел беды. Не подумал как-то, не сообразил, а может, просто понадеялся, что на суходоле да рядом с озером ничего плохого случиться не может. А после крепко поддал и вообще перестал что-либо соображать. Оттого и костер на ночь оставил, не загасил. Оттого и ветер лихой проглядел. Только ведь и это не снимает с него вины.

Не знал он и, видимо, не узнает про трактористов на втором поле, которые, намочив в кадках спецовки, лица себе закрыли, чтобы не задохнуться в дыму. Никогда не узнает он про девушку Катю — она уже сознание потеряла, и чудится ей парень, который второй год в армии служит на далеком острове Сахалине. Электрика Юру не узнает, а он рубаху зубами порвал, чтоб завязать обожженные горящей резиной руки. Работницу Глашу, веселую торфушку, что рыдает в бараке по этому самому Юре, залеточке своему, тоже не узнает Стекольщик никогда-никогда. Невдомек ему, что в ту самую секунду, когда провыла за озером Светлым сирена, оборвалась последняя надежда спасти их всех. Потому что пошел огонь внутрь земли, и целый участок дороги провалился вдруг, как в преисподнюю. Специалисты могут спорить о том, с какой скоростью распространяется подземный пожар. Возможно, и правы те, кто утверждает, что подсушенная моховая залежь не может выгореть за несколько коротких часов. Но и это не оправдывает того, кто разжег на торфяном болоте костер. Даже в том недоказуемом случае, когда беда приходит с неба, от ударившей в землю волнистой, огненному дракону подобной искры.

Все было против людей Заозерья в то беспощадное утро: сушь и жара многих недель, состояние залежи и направление ветра, влажность воздуха и низкий, как никогда прежде, уровень грунтовых вод. Уже и в самом поселке стали задыхаться от дыма. А кофейная торфованная вода в канале шипела и паром лопалась от падающих в нее объятых пламенем веток, от полыхающей соломы, которая в тылу занялась. Горела крытая толем плотницкая, где стружек и опилок невпроворот, дымился сарай коменданта, и душераздирающе мычала в нем черно-белая телка, а девушки-сезонницы знай себе копали да копали валы. Хорошо еще, поселок на песчаном острове стоял и можно было не опасаться, что пламя из-под земли неожиданно полыхнет. Только слабое это утешение, когда горит с трех сторон. Начальник участка уже велел всех ребятишек в кучу

собрать и вывезти на ручной дрезине в Мелижи или еще куда-нибудь, где не горит. О том, чтобы самим по насыпи уйти, думать было поздно. Упустили нужное время, не поняли сразу, не разобрались. Так, по крайней мере, думалось, потому что из-за дыма даже с вышки не разобрать было, где горит. Казалось, что везде. Потому и сопротивлялись, пока могли и сколько могли. Прорвись огонь за канаву, тогда бы, конечно же, к насыпи кинулись и побежали, спотыкаясь, по одинокой и узкой колее. И возможно, сумели бы выскочить из огня. То есть наверняка бы сумели, потому что в Мелижах и на Лосихе было пока тихо. Только не знали о том на Заозерном — все дымом курилось и не то что леса — облаков не видать было с вышки. О себе и о тех, которые на полях остались, уже не думали. Детей сумели вывезти, и слава богу. А тут ветер чуть переменился. Фронт пламени в сторону качнуло, и оно вроде как стало понемногу обтекать поселок стороной. Плотницкую и комендантов сарайчик огнетушителями погасили. Стало казаться, что полегчало малость, а раз так, то, значит, дождутся помощи. О том, что провалился участок дороги, не догадывались, а про ветер, который в любой момент может перемениться и погнать огонь прямо на них, старались не вспоминать.

В такой критический миг и подошла к Заозерному дрезина. Девчата с радостным визгом бросились к узкоколейке. Орали, плакали, смеялись, как флагами в праздник, размахивали лопатами и кирками.

Старший лейтенант долго не мог до них докричаться. Он исходил кашлем и, отбиваясь от тянувшихся к нему рук, прохрипел:

— Где горит?! Горит где?

Но ничего нельзя было разобрать. Напрасно комендант и пожарники взывали к порядку. Никто никого не слушал. Все сливалось в сплошном, почти истерическом крике. Девушки, которые только что готовы были самоотверженно стоять до конца, совершенно обезумели, когда пришла помощь.

— Жертвы есть? — выспрашивал фельдшер. — Помощь требуется?

Но и его не слушали.

Наконец кто-то из пожарников догадался ударить из гидромонитора в воздух, благо цистерна полнехонька. На толпу обрушился холодный отрезвляющий дождь.

— Где горит? — сорванным голосом просипел старший лейтенант.

— Везде! Где только не горит! Леса кругом! — послышалось со всех сторон.

— Где? — Он наклонился к коменданту.

Но тот был бледен и беспомощно качал головой. Он ничего не знал, ровнешенько ничего.

— Да чего же вы молчите, люди! — Расталкивая всех локтями, к дрезине пробиралась Глаша. — Поля горят! Первое поле! — выкрикнула она в самое ухо старшему лейтенанту.

— Поселок-то, поселок как? — на одном дыхании спросил старший лейтенант.

— Держимся! — дружно прокричали в ответ. — Подступает уже, но пока держимся.

— Тогда держитесь! — Он толкнул мотористa: — Давай!

— Куда же вы? — ударило им в уши. — Куда?!

Пожарники пытались ответить, что они сей момент вернутся, только разведают дорогу впереди и попробуют остановить продвижение фронта, но крики их заглушил такой стон отчаяния и протеста, что сердце остановилось. Вслед дрезине полетели камни.

— Стой! Стой!!

Пожарники даже обрадовались, когда метров через двести, сразу за столбом с отметкой «21», увидели искореженные рельсы, повисшие над огненным кратером. Дальше пути не было. Ревя сиреной, дрезина стала медленно пятиться назад. Девчата, угрожающе подняв инструмент, бросились навстречу.

Но пожарники уже соскакивали на ходу, готовили помпы, раскатывали шланг. Скорее почувствовав, чем поняв, что никто и не мыслил покинуть их в беде, работницы, бежавшие впереди, стали сбиваться на шаг. А вскоре и совсем остановились, когда близкое пламя стало обжигать щеки...

Кто-то из пожарников нетерпеливо махнул им рукой, чтоб возвращались в поселок и продолжали борьбу с огнем, потому что одна-единственная дрезина навряд ли сможет серьезно облегчить положение. Казалось, девушки все поняли и повернули к поселку.

Пожарники между тем успели опустить в канаву, соединенную с Топическим озером, заборные рукава и, нацелив мониторы в расплавленную бездну, ударили перекрестными струями высокого давления. Все потонуло в треске и шипении. Горящий лес и насыпь заволокло обжигающим паром.

И никто в Заозерном не увидел и не услышал стрекочущего в небе вертолета. Это воздушная разведка начала методичный облет всего района бедствия. В Павлово-Посаде уже была приведена в полную готовность могучая противопожарная техника, а пожарный десант грузил в тяжелые вертолеты химические бомбы, способные погасить самое страшное пламя.

Глава шестая

ПОПЫТКА РЕКОНСТРУКЦИИ

— Это мы с Глебом нашли утром, — сказал Крелин, протянув Люсину диметилсилоксановый оттиск.

— Узор как будто другой.

— Совершенно другой. След, который мы сняли вчера под окном, был в крупную елочку, а этот, — Крелин повертел рифленый

оттиск подошвы в прямом луче солнца, чтобы резче были видны тени, — волной. Видишь?

— Он на что-то наступил! — Люсин легонько щелкнул ногтем неглубокую вмятину, пересекшую под острым углом волновой рельеф подошвы.

— Молодец! — довольно улыбнулся Крелин. — Углядел-таки!

— На том стоим. Где нашли?

— У самой калитки. Там, слева от дорожки, жестяная бочка с водой. Представляешь?

— Да, помню... Почва, кажется, глинистая? И мелкая ромашка реденькими кустиками?

— Именно там он и притушил свою сигаретку. Вдавил ее в землю носком ботинка

— Вы гениальные ребята! — Люсин торжественно пожал Крелину руку. — Ты и твой Глеб Логинов. Где сигарета?

Эксперт-криминалист положил на стол никелированную бюксу:

— По-моему, есть четкий отпечаток указательного пальца. Нингидрином надо будет обработать.

— Не докурил! — усмехнулся Люсин, любуясь покоящимся на вате окурком. — Вот это подарок! Выглядит как платиновая брошь от знаменитого ювелира Картье.

— Не увлекайся. Вполне вероятно, случайное стечение обстоятельств. В наше время не очень-то любят оставлять отпечатки пальцев. Плоды просвещения, так сказать... Распространение научных знаний.

— Что-нибудь всегда остается, — философски заметил Люсин. — Всякое деяние оставляет за собой след. Тем более преступление. Но совпадение, твоя правда, очень даже возможно... Мне вот что непонятно, Яша: зачем он к калитке пошел, когда мотоцикл у них совсем на другом конце стоял?

— Тогда взгляни еще на одну вещицу! — Крелин полез в карман и долго не вынимал оттуда руку. — Плавало в бочке. — Он выложил наконец другую бюксу.

Люсин снял крышку. В бюксе лежал полиэтиленовый пакетик с раскисшей в воде сигаретой и тонкая обгорелая спичка.

— Ничего не понимаю! — вздохнул Люсин. — Он что, нарочно метит свои спички или как?

— Действительно, странно, — согласился Крелин. — На той было изумрудное пятнышко, здесь кончик окрашен в розовый цвет... У меня есть, конечно, предположение. Но не сейчас, сейчас рано. После лаборатории...

— Почему краска не расплылась в воде? — Не прикасаясь к спичке, Люсин направил на нее семикратную линзу. — Она что, масляная? Или это...

— ...помада, ты хочешь сказать? — Крелин закрыл бюкс и спрятал его обратно в карман. — Скорее всего, помада.

— Это легко определить с помощью хроматографии. — Люсин придвинул к себе перекидной календарь и сделал заметку на

понедельник. — Покажи-ка мне еще раз ту сигарету размокшую...

— Хочешь взглянуть, не окрашен ли фильтр? — улыбнулся Крелин. — Нет, братец, не окрашен. — И как бы вскользь заметил: — Не следует забывать, что подошва явно мужская. Размер сорок два с половиной.

— Всякое в жизни бывает... Но раз помады на фильтре нет, не будем отклоняться в сторону. Вопрос о роковой красавице, стоящей на стреме, снимаем. Тем паче, что при выполнении столь ответственного задания от курения лучше воздержаться. Что за сигарета?

— Марки «Пэл-Мэл» с суперфильтром.

— От «Дымка» до «Пэл-Мэл»! Недурной диапазончик.

— Звучит как заголовок... Картинка вырисовывается!

В отличие от аналитика Крелина, кстати химика по образованию, Люсин слыл интуитивистом. Все знали, что он первым делом рисует в своем воображении «картинку», а уж потом дополняет ее конкретными подробностями. Так было, когда он нашел ольховый листок в манжете брюк пропавшего иностранца, пряжку лифчика, которую «кукольник» Бобер приспособил под грузило для удочки, «макаронину» американской взрывчатки — в тугаях Амударьи. Во всех трех случаях он еще ничего не знал, расследование только-только разворачивалось, но «картинки» возникли. Перед внутренним оком его пылало и не могло закатиться вечернее солнце, пробивающееся сквозь черный ольшаник, меркли, но не исчезали лиловые облака в оранжевых лужах на глинистом проселке. Он ясно увидел вдруг сумасшедшего «кукольника», сладострастно сжигающего в пламени свечи пятифунтовые банкноты. А когда взрывчатка навела на след контрабандистов, то он тут же оборвался, этот остывший за пять месяцев след. Люсин долго не мог избавиться от преследовавшего его образа суфийского старца с нищенской чашей из кокосового ореха и четками из финиковых косточек.

Эта непроизвольная игра воображения, строго говоря, не помогала Люсину в его розыскной работе, хотя не будь ее, он вряд ли смог бы по-настоящему себя проявить. «Картинка» играла двоякую роль: когда под ударами действительности — вещественные доказательства, показания свидетелей, заключения экспертов — она начинала рушиться, он неосознанно сопротивлялся этому пытался спасти неотвязный, надоедливый, но столь необходимый ему мираж. «Картинка» была нужна ему на первых порах, когда все непонятно, следов практически нет и вообще неизвестно, с чего начать. Она рождалась из внутреннего протеста перед полнейшей растерянностью, мобилизовывала на быстрые, решительные действия. Часто это приводило к ошибкам, но взятая на старте скорость позволяла их вовремя исправить. У следователя-аналитика возникали гипотезы, верные или не верные, не в том суть. Люсин же не мог мыслить абстрактно, он шел наперекор дедукции. Таков уж

был его душевный склад, что сам собой рождался осязаемый фантом, яркая галлюцинация, можно даже сказать — художественный образ. К сожалению, случалось это всегда несколько преждевременно, во всяком случае до того, как аналитик успел бы построить гипотезу. Но эта скоропалительность, лихорадочность даже позволяла так быстро опробовать самые разные варианты, что последствия возможных ошибок отставали, запаздывали. Люсин уже задним числом понимал, что, хотя и допустил кучу промахов, тем не менее непостижимым образом несется по верной дороге. Так методом проб и ошибок работала природа, создавая мертвый и живой мир. Но если у эволюции не было никакого первоначального наброска, то перед Люсиным — действия человека всегда целенаправленны — маячила его фата-моргана. И, конечно же, он успевал сжиться с очередной «картинкой», привыкнуть к ней, ибо была она для него столь же реальна, как реален для писателя выдуманный герой. Он всегда с трудом, с болью даже отказывался от своих образов. Но ведь и следователи-аналитики, равно как ученые, тоже не очень-то легко пересматривают свои гипотезы.

Вопрос Крелина застал Люсина врасплох. В самом деле возникла уже «картинка» или все еще клубится холодная, непроглядная мгла? Нет, не вырисовывается «картинка»!

— С тех пор как меня повысили, — Люсин вынул из ящика зеркальце и тщательно причесал волосы, — с тех самых пор муза оставила меня. Сам посуди: зачем мне теперь «картинка», когда почти всю информацию добывают другие? Я, брат, только координатор, а не вольный стрелок и бродячий художник. Продюсер, а не режиссер.

— Ну, это ты брось. Я, слава богу, тебя знаю. Тебе без «картинки» никак нельзя. Иное дело я! Вроде бы многое ясно мне в поведении этого курильщика, а самого его не вижу... Не знаю, какой он.

— А я знаю? А я вижу? — Люсин пососал мундштучок. — Допустим, это он убил, похитил, оглушил, опоил сонным зельем и так далее гражданина Ковского... Все может быть. Пока сплошное гадание и никакой конкретики. Работал, видимо, в перчатках, так как, ты прав на все сто, знание — сила. Что он делал потом?

— Курил.

— Верно, курил. Взволнованный, в ту секунду почти безумный, схватил он со стола пачку дешевых сигарет, которые предназначались совсем для другого, для борьбы с тлей, а не для курения, хотя лучше бы использовал доктор Ковский махру, и... что сделал? Надорвал уголок пачки, выцарапал непослушными резиновыми либо кожаными пальцами одну штучку и закурил. От своих спичек причем... Черт их знает, почему они крашеные... Одним словом, закурил. Пускал дым и постепенно приходил в себя. Стоял или сидел... Хотя, конечно же, стоял возле кушетки и обронил на нее пепел. Сдул его, только рассеянно, не до конца. Потом ушел. У калитки задержался. Зачем? Осмотреться? Выбрать подходящий момент,

чтобы выйти? Или просто охранял соучастников, которые вытаскивали в это время через окно — поимей в виду — человека... Только зачем ему было стоять у калитки, когда дом в глубине и входная дверь и то самое окно не видны с Западной улицы? Да еще ночью! Огонек сигареты скорее привлечет внимание случайного прохожего, разве не так? Зачем же курить?

— Волнение.

— Об этом я говорил. Но я учел волнение в иной ситуации. Она исключает вариант дозора. Значит, логичнее допустить, что он все-таки выжидал чего-то, осматривался. Немного успокоившись, заметил, что курит какую-то дрянь, и затоптал сигарету. Достал другую, уже свою «Пэл-Мэл» с угольным фильтром, и зажег ее от своей опять же спички.

— Иначе окрашенной.

— Да, иначе... Тогда же, чуть раньше или позже, снял уже ненужные, как ему показалось, перчатки. Сделав пару затяжек, швырнул бычок в кадку. Может, от волнения не мог курить, а скорее всего, улучив подходящий момент, юркнул на улицу. Почему не с сигаретой в зубах? А черт его знает! Разве все действия человека строго логичны? Контролируемы сознанием? Разве мы роботы? Исходя из чистой психологии, можно предположить, что... выход из калитки потребовал от него полной сосредоточенности, напряжения, собранности, а сигарета отвлекала, мешала ему. Вот он и бросил ее, не подумав, что оставляет след. И ошибка эта не есть следствие ограниченности интеллекта, неумения продумать операцию до мелочей. Скорее всего, она порождена именно той максимальной собранностью, которую почувствовал он в те секунды у кадки с водой, чуть в стороне от калитки... Убеждает?

— Вполне. Но, признаться, от тебя я другого ждал, Володя. «Картинки». А так — анализ де люкс. Ничего не скажешь. Логика на стыке психологии. Все чин чинарем. Только дальше что?

— Не торопи меня, Яша. Есть у тебя материал, вот и неси его в лабораторию. А там, как говорят, будем поглядеть.

— Будь по-твоему. — Крелин взял стул и принялся заполнять бланки. — Унылый у нас заказ получается. Одни окурки.

— Порошок, — напомнил Люсин.

— Да, еще порошок... Ну, до скорого. — Крелин собрал бумаги и, подхватив неразлучный чемоданчик, направился к двери. — Держим связь! — крикнул он уже из коридора.

— Ага, — помахал ему рукой Люсин. — По радио. Семь футов тебе под киль!

Оставшись один, он подтянул к себе городской телефон и набрал две цифры спецсправочной.

— Добрый день, это Люсин говорит, — сказал он. — Мне нужен номер телефона Института синтетических кристаллов... Да, НИИСК. Приемная директора... Благодарю! — Положив и тут же вновь взяв трубку, набрал номер. — Институт синтетических кристаллов? Дирекция?

— Вас слушают! — Голос был женский, тон сугубо официальный.

— Говорят из Управления внутренних дел Мосгорисполкома. Мне нужен директор.

— Фома Андреевич занят. Позвоните попозже.

«Когда именно? — хотел спросить Люсин, но в трубке звучали прерывистые гудки. — И вообще, как фамилия вашего Фомы Андреевича?» — подумал он раздраженно.

Побарабанив пальцами по столу, он включил приемник и прослушал последние известия.

— Говорит старший инспектор Люсин, — медленно, словно диктовал текст машинистке, сказал он в телефон. — Соедините меня с директором... Пожалуйста.

— Фома Андреевич говорит по другому телефону.

— Хорошо. Я подожду.

— А вы по какому вопросу?

— Это, с вашего позволения, я скажу Фоме Андреевичу.

— Как хотите... Только имейте в виду, что Фома Андреевич едет в президиум. У него очень мало времени... Не знаю даже, сможет ли он сейчас с вами говорить. Может быть, вы завтра с утра позвоните?

— Нет. Насколько я знаю, у вас пятидневная рабочая неделя, а сегодня пятница. Поэтому я никак не смогу поговорить с вашим начальником завтра... Кстати, как его фамилия?

— Вы не знаете фамилии Фомы Андреевича? — Официальный, сдержанно-неприязненный тон сменило непритворное изумление.

— Виноват. Не знаю.

— Одну минуту! — торопливо сказала секретарша, и было слышно, как стукнула об стол отложенная в сторону трубка. — Член-корреспондент Фома Андреевич Дубовец сейчас будет с вами говорить, — прозвучал после томительных секунд ожидания торжественный голос. — Соединяю!

«Господи, честь-то какая! «Ведь я червяк в сравненьи с ним, в сравненьи с ним, с лицом таким», — пропел Люсин, разумеется, про себя.

— Слушаю!

Люсин определил голос как лениво-капризный.

— Добрый день, Фома Андреевич! С вами говорит старший инспектор Люсин из Управления внутренних дел Мосгорисполкома.

— Слушаю вас, товарищ Люсин.

— Не могли бы вы уделить мне несколько минут для беседы?.. Не по телефону, разумеется...

— А вы по какому вопросу?

— Мне нужно получить вполне официально некоторые сведения о вашем сотруднике товарище Ковском Аркадии Викторовиче.

— Как вы сказали? Ковский?.. Да-да, есть такой... Только я вам вряд ли смогу быть полезным. Вам, товарищ... э-э... вам лучше переговорить по этому вопросу с начальником отдела кадров.

— Извините, Фома Андреевич, но мне нужны именно вы! Дело в том, что мы разыскиваем вашего, — Люсин подчеркнул это, — сотрудника, который, возможно, похищен или даже убит.

— Да-да, мне уже звонили... Какая-то женщина, жена, что ли? Очень странная история. Но, видите ли, у нас в институте свыше двух тысяч сотрудников, я просто физически не могу знать каждого... Ковского знаю, конечно. Доктор наук. Но мы редко встречаемся, он большую часть времени работает дома, что, надо сказать, вызвало известные нарекания... Да. Так что вряд ли чем могу помочь, позвоните в отдел кадров. Если возникнут вопросы, тогда милости прошу, давайте созвонимся и встретимся. Буду рад. А сейчас, извините, спешу в академию.

«Вот это фрукт! — вздохнул Люсин и медленно, словно боясь разбить хрупкое стекло, опустил трубку. — «Картинка» возникает законченная. Ничего не скажешь», — и стал размышлять, как взять этого Дубовца за жабры.

Прямой наскок тут не годится. Не посылать же ему, в самом деле, официальное приглашение, а тем более повестку? По закону-то оно бы следовало... Любой гражданин, независимо от занимаемого поста, титулов и регалий, может быть вызван для дачи свидетельских показаний. Уклониться от этого нельзя. Следователь имеет право подвергнуть уклоняющегося приводу. И тем не менее... Что же делать в данном, конкретном случае, когда имеешь дело с капризным барином, которому одно удовольствие вежливо обхамить человека, как говорится, на место поставить. Ведь он же не отказался дать показания, а лишь в сторону ушел, на занятость сослался. Да и что толку в беседе с человеком, который не желает иметь с тобой никакого дела? Даже если бы он и соизволил дать аудиенцию, много ли вытянешь из него? Две с лишним тысячи... Ишь ты! А спроси его, за какие заслуги он директорскую зарплату каждый месяц получает, если физически, видите ли, не может, вернее будет сказать — не желает знать своих подчиненных! Нет, прямым нажимом такого не взять. Еще неприятности наживешь. Наверняка вхож во всякие высокие сферы и может напрямую связаться с начальством. Разбираться ведь особенно не станут; дел много важных и времени нет. Чем оно выше, тем кругозор шире. Это для него, Люсина, данное дело — пуп Вселенной, а сверху оно помельче выглядит... Жалоб и скандалов ведь тоже никто не любит. На то и ум человеку дан, чтобы трудные задачи решать. Тех, кто только одно знает — в лоб, не без основания дубарями зовут. Ведь с того, кто вообще ничего не сделал, меньше спросят, чем с того, кто дров наломал. И справедливо: почему не спросил, не посоветовался? Следователь Бородин, что злоупотреблениями на Востряковском кладбище занимался, ничтоже сумняшеся поднял кладбищенские документы и повесточки разослал по тысячам адресов. Опросить, видишь ли, родственников понадобилось, не вымогали ли у них взятку при захоронении усопших. Дело, конечно, правильное, по свежим сле-

дам, иначе не докопаешься... Только топорно, в лоб! А кто они, эти родственники, он подумал? В каком моральном состоянии? Как воспримут на другой день после похорон повестку из милиции? Гореть бы этому дубарю Бородину как шведу, если бы министру жалобу кто написал... «Дура лекс, сэд лекс» — «Закон суров, но это закон». Это, конечно, так, римляне были правы, но вместе с тем и не так. Есть свод законов и есть жизненная диалектика, этические нормы, такт, наконец. Да и конкретные обстоятельства учитывать надо. В разных случаях один и тот же закон по-разному толковать приходится... Те же римляне говорили: «Фиат юстициа, пэрэат мундус» — «Пусть свершится правосудие, хотя бы погиб мир». Правосудие — это, конечно, прекрасно и да свершится оно всегда и везде, но мир пусть все-таки живет. Не будем лезть в бутылку и посылать Дубовцу типовое приглашение, которое он, конечно же, проигнорирует, а пойдем к старику на поклон...

— Лида, приветик! — Он сделал ручкой. — У себя?

— У себя, Володя, проходи, — улыбнулась ему секретарша. — На соревнования поедешь?

— Ох, черт возьми! — Он хлопнул себя по лбу. — Склероз! Забыл!

— Как ты можешь? Это же первое большое соревнование по подводному ориентированию!

— Региональное, — уточнил Люсин. — Так что не будем волноваться. В воскресенье?

— Да. В семь утра встречаемся на Ленинградском вокзале у пригородных касс.

— Хорошо. Постараюсь... У меня к тебе просьба, Лидона: выпиши ты для меня «Курьер ЮНЕСКО» на второе полугодие.

— А не поздно?

— Нет. Он всегда запаздывает.

Люсин вошел в крохотный тамбур и, приоткрыв дверь кабинета, заглянул:

— Разрешите?

— Входи, Владимир Константинович, — кивнул генерал, не поднимая глаз от толстенного справочника. Палец его медленно скользил по строчкам сверху вниз, а губы беззвучно шевелились.

«Как он постарел! — тоскливо подумал Люсин. — Усы совсем белые стали. Но колючие еще, щеточкой, и ежик на голове дыбом стоит, колючий».

— Что у тебя? — Генерал заложил справочник узкой полоской бумаги и снял очки. — Нашел что-нибудь?

— Пока очень немногое. Сдали в лабораторию... Дежурного по городу, конечно, предупредил... И все!

— Действительно, не густо. Но представление уже составил? Есть во всем этом рациональное зерно?

— Чувствую, есть.

— Чувствуешь или думаешь?

— Для дум материала пока маловато, Григорий Степанович. Но дело это, конечно, наше, по всему видно. Я был неправ. Извини.

— Красиво излагаешь. И с достоинством.

Люсин беспомощно улыбнулся и развел руками.

— Только за этим и пришел? — Генерал прищурился и свободно откинулся в кресле, разглядывая Люсина.

— Разумеется, нет. Этикет рекомендует светским людям улаживать подобные вопросы как бы между прочим.

— Не понял. Светским или советским?

— Светским, Григорий Степанович, но это не значит, что советские люди не могут являться одновременно и светскими тоже... Я шучу, конечно, ибо свет уже давно не тот.

— Я тебе, кажется, говорил, что после юрфака ты стал мне меньше нравиться?

— И неоднократно. Но что делать? Университетское образование даже мурманскому бичу придает известный лоск. Допускаю, что некоторым это может прийтись не по вкусу. Профессиональный юрист, даже доцент, видимо, должен чувствовать ко мне кастовую, я бы сказал, ревность. Это кауза эффициэнс.

— Действующая причина, говоришь? Так-так... На твоем месте я бы не стал здесь козырять латынью. Ведь я-то знаю, что больше тройки ты никогда не имел.

— Зато римское право я сдал на пятерку, равно как и криминалистику.

— «Отлично» я, помню, поставил тебе из милости. Все-таки профилирующий предмет... Говори, с чем пришел. Только быстро.

— Нужен совет. Я нарвался на шишку, которая не пожелала меня принять.

— Кто это?

— Членкор Дубовец. У него работал Ковский. Конечно, я могу порасспросить сослуживцев, что и сделаю, но, боюсь, без его по меньшей мере благожелательного нейтралитета мне далеко не продвинуться. Насколько можно судить по первому телефонному разговору, обстановка в институте сложная.

— Тебе поручен розыск, действуй по закону. При чем здесь обстановка?

— «Всякое право установлено для людей» — «Омнэ юс хоминум кауза конститум эст». Так вот, от товарища Дубовца, кроме жалобы, мы ничего не получим. Мне наплевать, но расследованию это повредит, причем в самом начале. Для пользы дела Дубовца надо нейтрализовать.

— Пообломался, Володя? Политиком стал? — усмехнулся генерал.

— Что делать? Учимся понемногу.

— Вижу. Как, по-твоему, его лучше прижать?

— Если интуиция меня не обманывает, наиболее действенной может оказаться протекция какого-нибудь вышестоящего товарища. Фому Андреевича надо попросить сделать одолжение и оказать вся-

ческое содействие имярек. Высокая протекция позволит ему, не теряя сиятельного имиджа, снизойти до малых сих.

— Хорошо. Я понял. Только не надо так длинно. И паясничать не надо.

— Слушаюсь, товарищ генерал, и благодарю.

— Что такое имидж, Володя?

— Чисто американское выражение. Оно означает лицо человека, как оно выглядит в зеркале общественного мнения.

— Общественного! — Генерал поднял палец. — Здесь же, насколько я тебя понял, речь идет скорее о внутреннем зеркале. Так?

— Совершенно верно.

— Тогда все. Иди работай, а я тебе позвоню. Впрочем, постой, хочу посоветоваться с тобой по поводу одной идиомы. — Генерал раскрыл справочник и вынул закладку, на которой были записаны английские выражения. — Вот смотри...

— Уэбстер! — сказал Люсин, наклоняясь. — Где приобрели такое сокровище?

— Презент, — смущенно улыбнулся генерал и, услышав приглушенный гудок, снял трубку с мигающего зеленой лампой селектора. — Никак не отыщу вот эту фразу... Слушаю вас, — сказал он. — Да, он у меня. Сейчас позову. Тебя, — подмигнул он Люсину. — Дежурный по городу разыскивает.

— Старший инспектор Люсин у телефона!

— Привет, Владимир Константинович. Подполковник Баев тебя беспокоит.

— Да-да! Что у тебя, Петр Кузьмич?

— Найден бумажник с документами на имя того самого Ковского Аркадия Викторовича, о котором ты говорил... Паспорт, служебное удостоверение, бумажки всякие, пять рублей денег и билет четвертая зона — Москва, Киевской железной дороги.

— За какое число?! — крикнул Люсин.

— Дата вчерашняя. Двадцать второе июня. Ноль часов с минутами.

— Огромное спасибо тебе, Петр Кузьмич, сейчас выезжаю! А где нашли-то?

— На Кольцевой автостраде, чуть подальше съезда на Ленинский проспект... Инспектор ГАИ Петров обнаружил... Ну, до скорого!

— Подкинули? — спросил генерал, когда Люсин задумчиво положил трубку.

— Не знаю, Григорий Степанович. Все может быть... Но билет этот... Так что за фраза? Ах, это Range of vision, вы совершенно правы, означает «поле зрения», а within range — «на расстоянии выстрела».

— Вот это-то мне и надо! — обрадовался генерал. — Больно уж статья интересная попалась.

В другой раз Люсин не преминул бы найти фразу в словаре и указать на нее генералу, что называется, ткнуть пальцем. Но он

был настолько заинтересован этим билетом, что лишь рассеянно улыбнулся и поспешил к себе.

— Гараж? — спросил он по внутреннему. — Люсин вас приветствует. Мне бы машину...

Глава седьмая

АЛГОРИТМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

В субботу утром Люсин, не заходя к себе в кабинет, направился прямо в научно-технический отдел. Поломав вчера изрядно голову над графиком расследования, он пришел к выводу, что, прежде чем окунуться в малознакомый научный мир, следует подбить бабки: как можно скорее выжать максимум информации из того немногого, что было обнаружено на месте происшествия.

Он позвонил Генриху Медведеву и Володе Шалаеву, объяснил, что, как ни жаль, встреча не вытанцовывается — он не приедет. Ловля бычков и уха откладывались, таким образом, на неопределенное время. Посетовав на судьбу, решили сбежаться во вторник ориентировочно в Доме журналистов. Договариваясь об этом, Люсин почти наверняка знал, что ничего не получится. Впереди маячил НИИСК.

Свой визит в НТО он решил начать с лаборатории электронно-вычислительной техники. Во-первых, надо было дать химикам побольше времени на анализы, во-вторых, почерк проникновения в Жаворонках, это было ясно с самого начала, давал в руки следствия многообещающую нить. Да, почерк был характерный.

Как тут не пожалеть о легендарных временах узкой специализации! Может, и жить было бы легче.

Преступный мир в ту далекую эпоху четко делился на «медвежатников», «домушников», «скокарей», «кукольников», «фармазонов» и т. п. Сыщики тоже делились по интересам. Ловец дотошно изучал поле своей охоты и зачастую был лично знаком с наиболее выдающимися представителями опекаемой профессии. По одной лишь манере, с какой была взята касса, ограблен дом или проведена мошенническая операция с «куклой», имитирующей пачку червонцев, сыщик мог, не прибегая к картотеке, определить, кто есть кто. Назывались три-четыре персоны, производилась проверка, и виновник торжества оказывался за решеткой. А как протекал допрос? Об этом поэмы слагать можно.

Разве позволил бы себе «классный специалист» тех лет отрицать очевидное? Выкручиваться? Нет, у этих людей была своя, пусть воровская, но этика, джентльменский кодекс. Они встречались со следователем, как со старым знакомым, уважая в нем равноправного соперника, почти коллегу. Право, было в этом что-то от спортивных поединков: сегодня ты победил, а завтра я...

Нет, конечно же, Люсин не идеализировал прошлое. Он прекрасно понимал, что человеческое коварство и подлость существовали во все времена. Ни он, ни старики ветераны не сожалели о том, что профессиональная преступность в стране приказала долго жить. Напротив, вся их деятельность сводилась именно к этому. Другое дело, что уход с первых ролей на темной сцене уголовщины «вора в законе» положил конец сравнительно легкой персонификации преступлений. Теперь все реже и реже удавалось установить по почерку автора — это слово вошло в обиход с легкой руки одного молодого сотрудника, который лишь подражал спортивным журналистам, породившим сомнительное выражение «автор гола». И, разумеется, не могло быть и речи, чтобы сделать это без помощи картотеки.

Но с распространением электронно-вычислительной техники на все сферы человеческой жизни значительно облегчилось решение задач, так или иначе связанных с перебором вариантов, или, как говорят математики, «вычислением вариабельности». Не прошли перемены и мимо уголовного розыска. Были созданы исследовательские группы, приобретены машины второго поколения, на работу в милицию пришли ребята с дипломами механико-математического факультета. Они лихо отмели все то, что называли «романтической шелухой», и принялись за разработку машинных программ. Поединок преступника со следователем обрел наконец математический эквивалент в терминах теории игр, где каждое преступление было сжато до короткого, бесстрастного, как и положено математической формуле, алгоритма.

В отличие от некоторых коллег, которые встретили «тихие игры» с откровенным недоверием и даже радовались каждой новой промашке варягов-кибернетиков, Люсин заинтересовался новшеством. Он понимал, что математическая криминалистика находится только в самом начале своего долгого и, надо надеяться, плодотворного пути. Во всяком случае, первыми ее достижениями уже пользовались все. После нескольких лет кропотливой работы картотека был переведена на машинную память, и выборку теперь осуществляла ЭВМ. Следователь лишь давал ей задание. Разумеется, с помощью программиста-посредника между машиной и человеком, без которого, кстати, не обходится ни один серьезный научно-исследовательский институт. Теперь дотошный просмотр тысяч карточек, который раньше бы занял несколько дней, осуществлялся в считанные минуты. Даже сакраментальные отпечатки пальцев стали отныне достоянием компьютеров. Богатая дактилоскопическая коллекция претерпела математическое вмешательство. Сложный пальцевый узор свели к коду его частных признаков, которые были занумерованы и нанесены на координатную сетку. А далее дело пошло проторенной дорогой. Составили программу и научили ЭВМ «читать» папиллярный узор. Теперь просмотр сотни дактилоскопических отпечатков занимает не больше минуты. Впрочем, слово «просмотр» уже нельзя употреблять в

прежнем его значении. «Просматривает» машина, и время тратится тоже машинное. Следователь получает уже готовый ответ: кто есть кто. Конечно, в том случае, когда предъявленные оттиски имеются в картотеке. Способ, который избрали преступники, чтобы проникнуть в дом Ковского, не давал Люсину покоя. Он уже слышал или, возможно, читал о чем-то подобном. Не может быть, рассуждал он, чтобы такое стекольное предприятие не было отражено в анналах МУРа.

С помощью кибернетиков это ничего не стоило проверить. Поэтому он еще в пятницу сговорился с Гургеном Ашотовым посидеть часок-другой вместе.

Гурген, по кличке Гурий, был в числе первых комсомольцев, которые пришли в МУР с мехмата МГУ. Ему сразу присвоили капитана, но, как и прочие сотрудники НТО, он ходил в штатском и даже в столовой не снимал белого халата. Люсин знал его довольно давно — их связывала взаимная симпатия.

Машинный зал занимал два этажа. В нем было светло, чисто и пусто. Под высоким потолком горели голубые и розовые лампы дневного света, которые вкупе должны были точно имитировать солнечный день. Но освещение все равно вышло неживое. Вдоль стен стояли машины. Сквозь дверцы из оргстекла можно было видеть, как медленно прокручивались бобины с программными лентами. За голубыми операторскими пультами в модерновых вращающихся креслах сидели четыре парня и две девушки. Все сверкало безукоризненной чистотой: обтекаемые панели, пол из кремовой и голубой плитки, белые халаты, казавшиеся здесь чуть сиреневатыми, как высокогорный снег в раннее утро.

Над машинным залом находилась застекленная, похожая на большой аквариум комната. Там стояли канцелярские столы, чертежные кульманы, шкафы с рулонами бумаги. Единственная непрозрачная стена целиком была занята всевозможными реле, регуляторами, осциллографами и потенциометрами, контролирующими работу машин. На каждом столе была электронная считалка.

Сюда-то и поднялся Люсин по стальным ступеням ажурной лестницы, узким винтом обвивающей белую трубу. В НТО он уже давно считался своим человеком и даже имел собственный халат, который висел в шкафчике лаборантки Тани, занимавшейся хромотографией на бумаге.

Стол Гургена стоял в глубине «аквариума», под электронными часами без стрелок, на которых, как в метро, вспыхивали и пропадали огоньки цифр. Люсина всегда удивляло, что Гурген вместо считалки — такая же была и у Ковского — пользуется арифмометром «Феликс». Видимо, он так привык. И вообще в этом кибернетическом храме простейшие вычисления проделывались самым примитивным образом. Единственным орудием здешних интеллектуалов была шариковая ручка.

— Вы точны, Люсин, и это делает вам честь! — сказал Гурген, вставая из-за стола. — Садитесь.

Люсин посмотрел на электронное табло: 8.15.

— Что-нибудь удалось, Гурий? — спросил он и взял свободный стул.

— Я обдумал ваше дело, но ничего не решил. Мне не хватает некоторых данных. Я думаю, мы можем попробовать составить алгоритм вместе. Как вы к этому отнесетесь?

— Очень даже хорошо. Мне всегда хотелось посмотреть, как это делается. Но в математике я, как говорится, ни бум-бум.

— Математика тут ни при чем. Чистейшая логика, а мыслите вы как будто логично.

— Благодарю, — улыбнулся Люсин.

— Значит, так. — Гурген взял листок бумаги. — План дачи, который вы нарисовали, я изучил. Но так и не знаю, сколько всего было участников.

— Я тоже не знаю, хотя очень бы хотел знать.

— М-да, это хуже... Ну ничего! Вы же не ждете от меня чуда? В отличие от некоторых ваших коллег, которые разделяют распространенное суеверие, что наша задача — вычислить преступника, вы же разумный человек, Люсин?

— Вы совсем захвалили меня сегодня, Гурий.

— Отчего же? Я говорю то, что есть... Единственное, что мы с вами можем, — это очертить более-менее вероятный круг лиц, чьи действия — я имею в виду манеру, логику, очередность операций и так далее — подпадают под один алгоритм.

— На безрыбье и рак — рыба.

— В таком случае, все отлично. Приступим. Сколько их было, значит, вы не знаете...

— Точно не знаю.

— А предположительно?

— Двое. Это наиболее вероятное число.

— Пусть так... Тогда давайте запишем, кто у нас есть: специалист по окнам, его подручный и жертва. — Он тут же обозначил их буквами — X, Y, N, соответственно. — Теперь попробуем расчленить сам процесс...

В итоге у Гургена получилась следующая запись:

A. Проследить, где находится N. на даче или в городе.	Pa. Отсутствует в Жаворонках?
B. Склонить Y к соучастию в ограблении.	Pb. Пойдет Y на дело?
C. Скрытно подойти к объекту.	Pc. Видел ли кто-нибудь? Pd. Погашен ли свет?
D. Когда на соседних дачах погасят свет, открыть парадную дверь.	Pd. Открыли дверь?
E. Если условие D невыполнимо, взломать черный ход (дверь заколочена изнутри).	Pe. Взломали черный ход?

F. Если условие E невыполнимо, проникнуть в дом через трубу камина. Pf. Проникновение затруднено?

G. Если условие E невыполнимо, залезть в окно. Если нельзя вырезать или тихо выдавить стекло извне, удалить замазку. Pg. Проникновение возможно?

H. Похитить N и его вещи. Pf. Похищение состоялось?

K. Если обстановка позволяет, вмазать стекло на место. Pk. Обстановка позволяет?

L. Покинуть объект.

— Вы согласны с этим? — спросил он, после того как Люсин прочитал запись. — Все понятно?

— В принципе да... Мне не совсем ясно только, зачем понадобились вам D, E и F, если достоверно известно, что в дом залезли через окно, а не через камин, а на дверях не обнаружены следы взлома?

— А как, по-вашему, действовал преступник? Он что, сразу же решил вынуть стекло, заранее отбросив другие, быть может, более легкие варианты?

— Нет, конечно, он, видимо, все разведал, изучил.

— Значит, он все же имел в виду, хотя по размышлению и отбросил, то, что мы обозначили позициями D, E, F? Так?

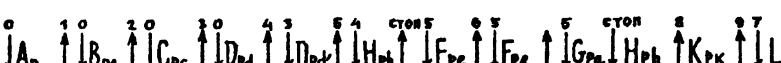
— Так, — вынужден был признать Люсин.

— Чего же вы тогда хотите? Как иначе можно записать логический ход противника, как вы называете, — его почерк?

— Вы правы, Гурий. Я принимаю вашу запись.

— В таком случае, весь ход событий может быть представлен следующим образом.

Гурген взял у Люсина запись и вывел итог:



— Понимаете? — спросил он, перебрасывая обратно листок. — Если условие исполнено, стрелка направлена вверх и, соответственно, наоборот. Алгоритм как бы назначает очередность возможных операций и управляет ею.

— Прекрасно, — сказал Люсин. — А что дальше?

Он понимал смысл проделанных Гургеном операций, хотя и было ему не совсем ясно, зачем нужна вся эта буквенная алгебра с ее системой стрелок, когда сама картина преступления предельно проста. Видимо, этого требовала специфика машинного интеллекта.

— Советую взять этот способ на вооружение. Он удобен для детального анализа самого преступления и подготовки к нему, манеры проведения операции, сокрытия следов и так далее.

— Да, — согласился Люсин. — На первых порах, когда преступник неизвестен и многое еще не ясно, приходится строить слишком много гипотез. Здесь легко впасть в ошибку, а логическая запись все же как-то дисциплинирует... Но что же последует дальше, Гурий?

— Это уже наша забота. Алгоритм преступления есть. Общую формулу ничего не стоит вывести, а там уже как получится...

— Не понял! — Люсин непроизвольно воспроизвел интонацию генерала. — Что значит — как получится? Я понимаю, что формулы нужны не только для машины, но и для нашего брата сыщика. Одно дело — протоколы, которые каждый пишет по-своему, где масса неясностей и разночтений, другое — формула с ее железной определенностью и отсутствием полутонов. Только «да» и «нет» и никаких «может быть». Сама по себе она в расследовании не поможет, хотя и необходима для унификации преступлений, для записи их на ваши ленточные барабаны. Но я хочу знать, что вы станете делать со всей этой писаниной. Я как себе представлял?

— Ну-ну, интересно, — поощрил Гурген.

— Вы вводите формулу в компьютер, и он тут же выдает все аналогичные варианты, как это имеет место с дактилоскопией.

— Очень хорошо. Вы правильно себе представили нашу работу. Собственно, в машину закладывается не сама формула, а ее цифровой код, но суть от этого не меняется. Вы на высоте.

— Значит, вы заложите данные в машину?

— Выходит, так. — Гурген недоуменно выпятил губу. Похоже было, что он перестал понимать Люсина. Не знал, чего он еще от него хочет.

— Но какой в том смысл? — Люсин упорно гнул свое. — Насколько мне известно, картотеки преступлений, как таковой, не существует. Картотека преступников есть, дактилоскопическая коллекция — тоже, но кодирование преступлений...

— Вот вы о чем! — догадался Гурген. — А мне невдомек... В известном смысле вы правы, Люсин. Работы по унифицированному кодированию всех преступных деяний еще далеко не закончены. Но как вы думаете, почему я тогда взялся за ваши Жаворонки? Чтобы голову вам заморочить?

— Нет, но...

— В том-то и дело! Всякое исследование начинается с наиболее характерных, отличающихся резко индивидуальными свойствами случаев. Разве не так? Мы тоже брали за основу не одни карманные кражи и не убийства из ревности. Поэтому если при разборе карточек кто-нибудь наткнулся на сходный случай со стеклом, то я почти уверен, что его включили в программу. Понимаете? — Гурий отложил ручку.

— Не до конца... Я как рассуждал? Случай действительно уникальный. Индивидуальность, профессионализм тут налицо. Не может быть, думаю, чтобы никто не вспомнил в этой связи артистов,

авторов, так сказать. Но ход моих мыслей ясен. Я-то от дела исхожу, от преступления, а вы? Вам-то зачем за такой именно случай цепляться? Почему с банковских сейфов не начать?

— Я же объясняю вам, чудак-человек, что ваш случай исключительно неординарный! Много ли вы знаете «домушников», которые вставляют потом стекла? То-то и оно! Здесь, грубо говоря, узкий круг специалистов, и нам поэтому куда легче попасть в точку, угадать. Нет, мы не могли пройти мимо такого случая. Работа предстоит большая, средств много требуется, а отношение к нам еще скептическое, особенно у зубров, поэтому нам ошибаться нельзя. Уверяю вас, хотя это между нами, что мы в первую голову отбирали то, что сулит больший успех. Начинать надо с удач, Люсин. — Гурген рассмеялся. — Банковский сейф я бы, может, от вас и принял, но с убийством из ревности или в состоянии аффекта ко мне и не суйтесь.

— Что это вы так против ревности настроены?

— А вы как думаете?

— Наверное, потому... — Люсин задумался. — Потому, наверное, что подобное деяние совершают кто как бог на душу положит и преимущественно раз в жизни?

— Вновь отдаю вам должное. — Гурген привстал и раскланялся. — Совершенно справедливо! Такой профессионал, как ваш стекольных дел мастер, отработал свои приемы до тонкости, не раз и не два был в деле, и поэтому почти наверняка можно сказать, что стоит на учете в нашем диспансере.

— О, в этом-то я уверен! Оставь он пальчики, мы бы уже знали его ФИО и прозвище, а так приходится надеяться, что кто-то из ваших программистов польстился на экзотику и закодировал сего народного умельца.

— Надейтесь, Люсин, надейтесь, а мы пока будем вычислять вариабельность. Когда-нибудь, я уверен, на машинах запишут весь комплекс характеристик каждого человека, и преступность исчезнет. Потеряет всякий смысл.

— Вы хороший кибернетик, Гурий, но тут вы загнули. Криминолог из вас никакой. Преступление — это пережиток, который отмирает. — Люсин расстегнул верхнюю пуговицу халата — в «аквариуме» было душновато. — Да и преступлений, видимо, станет меньше, потому что сознательность возрастет. Но насчет следа вы правильно сказали. След всегда остается. Хоть какой-нибудь! Важно лишь суметь увидеть его. По теории игр, если я верно понимаю, партнеры мыслятся примерно равными, но в нашей игре преимущество всегда на стороне следователя. Даже если преступник умнее его, тоньше, изобретательнее. И все дело в следах. Они всегда сугубо индивидуальны, потому что оставил их человек, а не бог и не дьявол. Одинаковых людей нет: голос, волосы, отпечатки пальцев и губ, кровь и все выделения внешней секреции сугубо индивидуальны.

— Это-то и надо закодировать.

— Верно, надо... Но я о другом. Понимаете, когда я вхожу в комнату, где совершено преступление, то всегда испытываю нечто похожее на страх. Боюсь нарушить, примитивно говоря, стереть следы. Ведь он же дышал здесь, тут испарялся его пот, падали на пол волосы или чешуйки с головы. Может быть, он подходил к окну и на стекле сохранились невидимые капли кожного секрета, по которому можно определить группу крови. Или он закашлялся, тогда должны остаться крохотные брызги слюны. Пусть он только чихнул или уронил слезинку — все равно, если он был в этой комнате, то она буквально дышит им, хранит его флюид, неповторимую оригинальность. Только как увидеть все это? Как различить?

— И что же вы нашли там, на даче?

— В том-то и дело, что мы еще не научились видеть невидимое.

— А видимое?

— Тут кое-что есть, — нахмурился Люсин. — Окурки, обгорелые спички, возможно пальчик, помада, кровь.

— Помада? Вы уверены?

— В том, что помада? Или в том, что она имеет отношение к преступлению?.. Странное это дело, Гурий, такое предчувствие у меня.

— Еще бы! Его же толком и квалифицировать нельзя! Что это: ограбление, похищение, убийство?

— По внешним приметам больше смахивает на ограбление, хотя взят только старый текинский ковер. То, что заявительница приняла за следы борьбы, скорее свидетельствует о противном. Никаких следов борьбы я не обнаружил. Цветочный горшок? Но его, видимо, по неосторожности опрокинул грабитель. Кровь на колючках в саду?.. Многозначно все, неопределенно. Ограбление? Возможно, но странное. Похищение? Вероятно, но чересчур чистое. Убийство?.. Найденный железнодорожный билет равно подкрепляет и опровергает такую версию. Туман, одним словом, туман. Зайду в физхимию, — может, там что дельное скажут...

Попрощавшись с Гургеном, он сбежал по винтовой лесенке в машинный зал, прошел по широкому коридору, окна которого выходили на внутренний двор, свернул налево и спустился на этаж ниже. Здесь была физико-химическая лаборатория.

Кто хоть однажды побывал в современной химической лаборатории, тому легко представить себе и это в несколько больших отсеков помещение с белыми кафельными стенами и плиточным полом. Как и в любой исследовательской фирме мира, здесь определяют физические константы и химические формулы веществ, взвешивают, прокаливают, растворяют, снимают спектры, делают рентгеновские снимки. И все это в подавляющем большинстве случаев нацелено на одно: определить, точно идентифицировать вещество, предмет, материал. Для того и поставлены сюда эти длинные линолеумные столы с газовыми горелками, кранами и раковинами. На столах — штативы с шариковыми холодильниками, колбами,

сокслетами и прочим фигурным, причудливо изогнутым стеклом, в котором кипят и пузырятся всевозможные растворители. По неписаной традиции много цветов: на подоконниках и стойках с оборудованием, этажерках с химреактивами. Даже на сушильном шкафу стоит горшок с традесканцией. Под тягой, за опущенной застекленной рамой — органические растворители и агрессивные вещества (кислоты, щелочи), натрий в вазелине, ртуть в бутылке с водой, банки с цинковыми бляшками и осколками мрамора, стеклянный аппарат Киппа. Приборов тоже хватает: микроскопы, калориметр ФЭК, инфракрасный спектрометр ИКС-14, установка для люминесцентного анализа, электрические микровесы, муфельные печи, вакуумный насос, рефрактометры, всевозможные мостики, тонкая электроизмерительная аппаратура. В специальном отсеке, за тяжелой стальной дверью, экранированной свинцом, работают с радиоизотопами. Если бы не опознавательный знак — желтый, разделенный на три сектора круг — и установки для подсчета импульсов, мигающие множеством красных огоньков, этот отсек трудно было бы отличить от соседнего, где работают с ядами. Впрочем, уголок токсикологии больше напоминает фармацевтическую «кухню» аптеки.

Яды, равно как и драгметаллы — платиновые тигли, золотые проволочки, термопары из редкоземельных элементов, — хранятся в несгораемом шкафу. По той же неписаной традиции в сейфе стоит и бутыль с притертой пробкой, в которой находится спирт категории «ч. д. а.» — «чистый для анализа». Надо ли говорить, что сейф служит еще и столиком для большой хроматографической банки, в которой плавают живородящие рыбки? О них трогательно заботится весь персонал. Большинство его составляют женщины: химики и фармацевты. Но об этом тоже можно было бы не упоминать, ибо так обстоит дело везде, где стоят химические колбы.

Первым делом Люсин заглянул в крохотный закуток, в котором за небольшим столиком об одну тумбу сидел Аркадий Васильевич, старый, седой как лунь зав. В его кабинетике умещались еще вращающаяся картотека и этажерка с химическими справочниками. На стене висел прилепленный скотчем портрет Эйнштейна, нарисованный ЭВМ двоичным кодом из нулей и единиц, и такая же кибернетическая дева.

С тех пор как Аркадию Васильевичу удалось, по люсинскому заказу, выполнить работу поистине замечательную — сфотографировать сохранившееся в глазах мертвой кошки изображение змеи, — он явно благоволил к следователю, которого считал человеком хоть простоватым, зато неимоверно везучим. Кстати сказать, уникальные фотографии были потом перепечатаны многими газетами и журналами, вошли в монографии, облетели, можно сказать, весь мир.

— А, молодой человек! — радостно, но с долей ехидства приветствовал он Люсина. — Давненько вас не было видно, давненько! Совсем забыл про нас. Зазнался, наверное...

— Здравствуйте, дорогой Аркадий Васильевич! — Люсин пожал протянутую руку и проникновенно заглянул в глаза. — Не забыл, не зазнался, а всего лишь был в отъезде.

— В каких же краях, если не секрет?

— В отдаленных, — зловеще нахмурился Люсин и тут же простодушно улыбнулся. — По Средней Азии ездил, по пустыням и тугаям.

— Контрабанда наркотиков?

— Так точно. Химические анализы мне делал Ташкент. Увы! — Он развел руками. — Будь там вы, моя командировка закончилась бы месяца на два раньше.

— Ты у нас известный льстец, — сказал Аркадий Васильевич, что не помешало ему сладко зажмуриться: комплимент явно попал в цель.

— Льстец и ферлакур, — радостно согласился Люсин.

— Ферлакур?

— Так в екатерининские времена у нас греховодников звали.

— Вон что... А как наши дела? Есть интересные предложения?

— Ничего интересного, к великому моему прискорбию, нет. — Люсин, интуитивно владея искусством очарования, изобразил уныние. — И вообще дела мои швах.

— Что так?

— Случай попался — могила. Ничего почти нет. И хотя маячат вдалеке интересные повороты, — он выразительно посмотрел Аркадию Васильевичу в глаза, — поначалу идет туго.

— Ничего, развернетесь!

— С вашей помощью, Аркадий Васильевич, только с вашей помощью... Я тут девочкам пару пустяковых заказиков дал... — Он выжидательно замолк.

— Когда? — Старый химик раскрыл регистрационный журнал.

— Вчера, — тихо ответил Люсин и виновато опустил голову.

— Наведайся в четверг. — Аркадий Васильевич тут же захлопнул журнал и, давая понять, что говорить, в сущности, больше не о чем, взял с этажерки последний выпуск «Аналитической химии». — Интересная статейка есть: «Новый экспресс-метод определения таллия в многокомпонентных системах». Рекомендую прочесть.

— Непременно. Сразу же после вас... Девочки мне, правда, намекнули, что, возможно, сегодня... — вкрадчиво промурлыкал Люсин и сразу же предпринял обходный маневр: — Нет-нет, никто ничего мне не обещал, но анализы детские. Честное слово! Если только разрешите, я сам стану к столу.

— Что именно?

— Да пустяки же, говорю! Ну, кровь на группу, какой-то жалкий окурок и вроде больше ничего...

— Кому сдавал?

— Тамаре.

— Ладно, иди к ней сам. Если она сделала, я возражать не стану, хотя и негоже против правил: очередь есть очередь.

— Аркадий Васильевич, от всей души! — Люсин прижал руку к сердцу. — Вот это сюрприз! А я, признаться, без всякой задней мысли к вам зашел. Марочки хотел отдать. — Он положил на стол целлофановый конвертик с полной рузвельтовской серией Сан-Марино, которую приобрел специально для такого случая у спекулянта на Кузнецком мосту. — Приятелю подарили, а он не собирает...

— Да ты что, Люсин! — восхищенно прошептал старик. — Пятнадцать инвалютных рублев по каталогу Ивер! Разве можно такие подарки делать?.. Ну, спасибо, спасибо...

Он вооружился лупой, зубцемером и, не отрывая от марок глаз, рассеянно попрощался.

Люсин со спокойной душой прошел в аналитичку. Остановился у стола, заставленного большими стеклянными банками, в которых, как паруса в полный штиль, висели бумажные ленты. Тут же стоял набор для микрохроматографии и бинокулярный микроскоп.

— Уже пришел? Рано, — сухо встретила его красивая смуглая брюнетка.

Отодвинув деревянный штатив с набором органических растворителей, она взяла чашку Петри и, подставив ее под бюретку с делениями, повернула краник. Несмотря на то, что титрование проходило под тягой, Люсин уловил резкий запах нашатыря.

— Как раз вовремя, Томик. — Он шумно выдохнул воздух. — А то я уже в глубокий обморок впал от твоей холодности.

— Погоди, Володя. — Она поднесла ко рту промывалку с дистиллированной водой и пустила тонкую струйку в колбу, где немедленно выпали сероватые хлопья осадка.

Люсин смиренно ждал, пока она священнодействовала.

— Пойдем. — Тамара закрыла вытяжной шкаф и поманила его к столу. — Губная помада. — Она включила осветитель микроскопа. — Садись.

Люсин увидел ленту с розовато-желтыми разводами, разделенными параллельными прорезями.

— Причем импортная... Кристиан Диор или Елена Рубинштейн. У нас такая только за сертификаты.

— Занятно, — протянул Люсин. — Очень занятно! А теперь объясни в порядке ликбеза.

— Пусти. — Она согнала его с места. Малиновыми, изящно отточенными ноготками ловко подхватила бумажку с предметного столика и выключила свет. — Входящие в помаду красители поразному растворяются. Импортные помады готовят на жирорастворимых красителях, поэтому их след опережает. Смотри, как наша отстает! — Она поднесла полоску бумаги к самым его глазам. — Это отечественная. Свою брала.

— Чертовски интересно! — искренне восхитился Люсин, хотя без микроскопа следы были едва видимы. — Я не я буду, если не добуду тебе такую, импортную.

— Лучше «макс-фактор» достань, — засмеялась она. — Тем более что другой анализ как раз из той оперы.

— Неужели тоже косметика?

— Краска для ресниц или тон, точно не знаю — вещества мало. Так что ищи красивую женщину, Люсин.

— Я всю жизнь только это и делаю.

— Оно и видно. Если в тридцать пять холостяк, значит, это уже хроническое.

— А что делать, когда глаза разбегаются? Особенно летом?

— Заведи гарем. И будь здоров! Тебя Наташа искала.

— Кровь?

— Не знаю... Сюда Крелин заходил. Кажется, у него что-то есть для тебя. Спроси у Наташи.

— Ты золото, Том! — Он ловко чмокнул ее в щечку и поспешил в соседний отсек.

Наташу он застал у сушильного шкафа. Она внимательно изучала выкройку в журнале «Работница».

— Сапоги-чулки? — пошутил Люсин.

— Сам ты сапог! Тебя тут Яша разыскивает. Обзвонился весь.

— Я у кибернетиков был, Натусь. А где он сейчас?

— Срочно уехал с опергруппой. Оставил записку. — Она оторвалась от журнала и вынула из кармана халата помятый авиаконверт.

В нем лежала записка от Крелина:

«Володя!

По поводу протекторных слепков у наших возникли разногласия. Тогда я сходил в ОРУД и НИИ милиции. И те и другие определенно заявляют, что все-таки «ява». Им можно верить, особенно ОРУДу. Если поедешь в Малино, передай привет Генриху».

— Ага! — удовлетворенно засмеялся Люсин. — Уже кое-что! А как анализы, Натусь?

— Анализы? — переспросила она, думая о чем-то своем. — По-моему, еще не готовы. Да, конечно, порошок пока не определили. С молекулярным весом путаница какая-то вышла. Надо будет попробовать на температуру плавления.

— А кровь?

— Кровь? Спроси у девочек... Хотя нет, постой. Кровь, кажется, сделали. Сейчас погляжу. — Она взяла со стола большую амбарную книгу. — Ты когда сдавал?

— Вчера, зачарованное создание! В семнадцать часов, киса!

— Вчера? — Она широко распахнула глаза, словно впервые увидела его. — И ты пришел с утра?

— Мы же с тобой обо всем договорились! Вспомни, детка, сосредоточься как следует.

— Да? — Она перелистала книгу. — Правда, анализ готов. Группа крови АВ.

— Так, может, и порошочек есть? Посмотри получше.

— Нет. — Она покачала головой. — Это я определенно помню.

— И на том спасибо, — вздохнул Люсин. — Ну, я поскакал. До скорой встречи!

— Счастливо, Володя. Заходи.

Оставалось только забежать к дактилоскописту. Но Люсин решил этого не делать. Ему казалось, что Гуго Иванович его недолюбливает, а раз так, то лучше лишний раз не мозолить глаза. Можно спокойненько справиться по телефону.

Еще в коридоре он услышал телефонный звонок. Поспешил отпереть дверь и кинулся к столу. Звонил внутренний.

— Люсин слушает! — крикнул он в зеленую трубку и перевел дух.

— Володя, — он узнал голос секретарши, — вас Гуго Иванович разыскивает. Позвоните ему.

— Спасибо, Лидочка. Сейчас звякну... Григорий Степанович у себя?

— У него совещание. Он вам очень нужен?

— Нет, ничего срочного... Обо мне он не спрашивал?

— Можете спать спокойно.

— Я так и делаю. Потому и трубку не снимаю. Про «Курьер» не забыли?

— Когда будет, сразу же позвоню.

— Вас понял. Всех благ! — Он утопил рычаг и, найдя в приколотом над столом списке нужный номер, набрал четыре цифры.

— Добрый день, Гуго Иванович... Люсин звонит. Мне тут передавали, что вы мною интересовались...

«Все само собой получается, — подумал он. — Хорошо, что не пошел. Вот он и позвонил. Совсем другое дело».

— Вами я не интересовался, — как всегда сухо и резко, почти на грани бестактности, но не переходя эту грань, отрезал Гуго Иванович. — Но пальчики есть. Вполне отчетливо.

— Спасибо. Разрешите зайти к вам?

— Официальное заключение направим в отдел.

— Хорошо, — закусив губу, согласился Люсин.

«Зачем же тогда звонил, разыскивал!»

— Я звонил вам утром, чтобы поставить в известность. — Гуго Иванович словно почувствовал невысказанный вопрос. — Два отпечатка. Указательный правый вышел хорошо, большой правый размыт.

— Мужчина или женщина? — не утерпел Люсин, хотя дал себе слово не задавать вопросов.

— Не беспокойтесь, мы не позабудем указать в заключении, — тут же поймал его Гуго Иванович и, помолчав, буркнул, ответил все-таки, вопреки обыкновению: — Мужчина.

«Вот и исчезла красивая женщина, — усмехнулся Люсин. — Как нервно курила она у калитки сигареты, пока ее сообщник, потребляющий «Беломор», пеленал бедного доктора химических на-

ук! Как бы не так! Даже по ухватке ясно, что мужчина. Зажав сигарету между большим и указательным пальцами, видимо, пряча огонь, он сделал несколько быстрых коротких затяжек... Жаль. «Пэл-Мэл» разбухла в воде, хотя один палец — тоже неплохо... Но где все-таки та красотка, что перепачкала ему все спички? И почему я ничегошеньки не вижу? Картина где?»

Напряжение последних часов отхлынуло, и он ощутил сосущую пустоту. Словно провалился на бегу в бездонную яму. С удивлением понял, что ему стало вдруг нечего делать, что надо набраться долгого терпения и ждать, ждать... Все, или почти все оставленное преступниками прибрано теперь к рукам. Больше он ничего не узнает. Нужно пускаться на поиски, практически не имея за душой ни крохи. С чего начать? С института, в котором работал Ковский? Или лучше все бросить на розыск этой «явы» с коляской? Дадут ли что-нибудь пальцы? Вычисления вариабельности, в которые он, честно говоря, мало верит?

Зазвонил городской.

— Люсин слушает! — Легонькую красную трубочку непроизвольно поднял двумя пальцами: большим и указательным.

— Здравствуйте, Владимир Константинович. Логинов говорит.

— А! — обрадовался он стажеру. — Что новенького, Глеб Николаевич?

— Хочу доложить — закончил опрос. Пустой номер! Соседи ничего не слышали и не видели, но дежурный милиционер обратил внимание на гражданина в мотоциклетном шлеме.

— Не так плохо, — повеселел Люсин. — Во сколько это было?

— Точно сказать он не может. Где-то после двенадцати ночи.

— Превосходно! Гражданин сел в поезд?

— Он не видел.

— Внешность запомнил?

— Говорит, было темно. Платформа плохо освещена.

— Чем же привлек этот субъект его внимание?

— Да шлемом этим самым... Выходит, слез с мотоцикла, чтобы сесть на электричку?

— А если его просто подвезли к станции? — вкрадчиво спросил Люсин.

— Отчего тогда шлем не оставил? — тут же возразил Глеб.

«Все правильно. — Люсин задумчиво взъерошил волосы на затылке. — И очень просто: заехал по дороге купить билет. Видимо, большой руки импровизатор! А то бы загодя припас...»

— Как фамилия милиционера, Глеб Николаевич?

— Синицын, сержант Синицын Петр Никодимович.

— Спасибо! Увидимся, — сказал Люсин, записывая фамилию на календаре. — Вы где сейчас?

— В Жаворонках. Из автомата звоню.

— Тогда не в службу, а в дружбу: загляните к Людмиле Викторовне. Время позволяет?

— Конечно, Владимир Константинович, что за вопрос?

— Первым делом вы передадите ей от меня привет. Ласково, вежливо, одним словом, как вы умеете. Попробуйте эдакими намеками успокоить ее. Но ничего определенного! Пусть от вас просто исходит оптимизм. Дайте ей почувствовать, что вы, как и я, конечно, не сомневаетесь в благополучном финале. Вы меня поняли?

— Так точно, понял.

— И чудненько... Между делом пройдитесь по комнатам. Особое внимание обратите на туалетный столик хозяйки, если таковой в наличии. Лады? Духи там разные, помада, краска... Еще раз спичками поинтересуйтесь. Может, мы второй раз что-нибудь упустили. А под конец заведите разговор на медицинские темы. Она это любит. Поговорите о дефицитных лекарствах, гомеопатии, старичках-травничках, словом, о чем хотите. Заодно полюбопытствуйте, у кого они оба лечатся. В какой поликлинике.

— Все понятно. Фотокарточки вас не интересуют?

— Есть уже. Пересняли с документов. Действуйте! Семь футов под киль.

Люсин довольно потер руки. Контрагенты явно импровизировали на ходу. Важный штришок к психологическому рисунку. Если они действовали по заранее обдуманному плану, то, значит, произошло нечто неожиданное, заставившее их сделать финт. А где один финт, там и другой, глядишь — и проявят себя. Коли они артисты по природе, то тоже можно надеяться на новые выкрутасы. Как же иначе? Страшнее всего туповатый и злобный сухарь, который способен надолго затаиться, начисто сгинуть с глаз...

Люсин запер кабинет и спустился в буфет, где ожидалась вобла. Очередь образовалась уже солидная.

Глава восьмая

МНОГОЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ ДОМЫСЛЫ

В ту же субботу, в седьмом часу, Лев Минеевич отправился с непременным визитом к Вере Фабиановне Чарской. Туман с отчетливым запашком подгоревшей капусты стал понемногу редеть и уже не так ел глаза, как утром. На Патриарших прудах Лев Минеевич, по обыкновению, посидел на скамеечке, но удовольствия не получил. Дышалось трудно. Томительный зной висел над горячим асфальтом. Синий угар расплывался вокруг грохочущего Садового кольца по улочкам и переулкам. Лев Минеевич винил во всем новенькие разноцветные «жигули», которых с каждым днем становилось все больше и больше. И, как подметил старый коллекционер, за рулем-то сидела безответственная молодежь.

«Вытесняет машина человека-с!», — Лев Минеевич с огорчением цыкнул зубом и, раздраженно жестикулируя, забормотал:

— Все спешат, несутся очертя голову. А куда? Зачем? Неведомо. Зачем им космос, когда на рынке пучок укропа как стоил

гривенник до реформы, так и теперь — гривенник. Даже в антикварном и то теперь очередь. Плюнь и не ходи! По средам и субботам, когда картины привозят, толпы выстраиваются. Хватают, что под руку попало. Да разве так живописные шедевры приобретаются? Ни посмотреть, ни тебе подумать. Летят! Берут! Зачем-то перенесли магазин с Арбата. Кому он там мешал? Никакой в жизни стабильности!

Лев Минеевич опомнился и, устыдившись, что вслух сам с собой разговаривает, покосился на соседнюю скамейку. Но сидевший там молодой человек с пышными бачками был целиком погружен в книжку. Нога его стояла на оси детской коляски и периодически совершала возвратно-поступательное движение.

«А для матери младенец уже не существует, — осудил Лев Минеевич и, опираясь на свернутый зонт, поднялся. — Матриархат возвратился».

Старый коллекционер пристроился к длинному хвосту у квасной бочки. Покопавшись в кошельке, зажал в кулак трехкопеечную монету и приготовился терпеливо ждать. Но когда до вожделенного медного крана оставалось рукой подать, увидел, как нерадиво обмывает кружки старуха в некогда белом фартуке, и тихо вышел из очереди.

На улицу Алексея Толстого Лев Минеевич пришел в угнетенном состоянии духа. Он нырнул в знакомую подворотню, бочком проскочил тенистый двор и, приподнявшись на цыпочки, постучал в окошко. Потом задрал голову и стал ждать результата.

Летел тополиный пух, словно где-то потрошили ватиновую подкладку. На темном кирпичном карнизе, гукая, топтались голуби. Хлопнула форточка, и его позвали:

— Войдите, Лев Минеевич!

Он суетливо забежал в подъезд и, одержимый навязчивым счетом, сосчитал ступени, которых испокон века было четыре. Тут загремели замки, засовы, цепочки, и Вера Фабиановна отворила дверь, похожую на выставочный стенд почтовых ящиков всех времен и конструкций.

Войдя в комнату, Лев Минеевич с удивлением обнаружил, что и здесь была произведена некоторая перестановка. Стабильность уходила из жизни. Что-то явно переменилось в этой захламленной, но привычной и даже уютной по-своему лавке древностей.

По-прежнему громоздились на серванте и шифоньере всевозможные коробки, свертки и старые, избитые по углам чемоданы. Как и раньше, сумрачно посверкивали граненые флаконы давно усохших духов на трельяжном столике, пылились в открытой жестянке «Жорж Борман и К°» бесценные раритеты. Но наметанный глаз Льва Минеевича все же ухватил перемену. Скользнув взглядом по картинам и фотографиям, висевшим на стенах, по темным истрепанным корешкам оккультных и теософских изданий на книжной полке, он догадался, что Верочкина комната изменила свой колорит.

Исчезли черный, похожий на старое ведро шлем пса-рыцаря с растопыренной куриной лапой на маковке, двуручный меч палача

из славного города Регенсбурга и грубая тряпичная кукла, которую Чарская выдавала за орудие любовного приворота. Зато увидели свет божий долго хранившиеся в «запасниках» тибетская молитвенная мельница, четки из розового коралла и чудесная курильница шоколадной бронзы с китайскими триграммами и фантастическим львом Арсланом на крышке. Колорит мрачной средневековой Европы явно уступал свое место буддийской Азии.

Лев Минеевич повернулся к хозяйке, которая, заперев все замки, вошла следом за ним, и обомлел. Он собирался поцеловать пожилой даме ручку и, осведомившись о здравии, выяснить причину смены экспозиции, но, увидев на голове Веры Фабиановны чету рыжих котят, совершенно потерял дар речи. Крохотные, подслеповатые еще зверьки мяукали и безжалостно когтили хозяйкины волосы, завитые в мелкие кольца, но каким-то чудом сохраняли равновесие, не сваливались вниз. Впрочем, в наиболее угрожающие моменты Вера Фабиановна с кроткой мученической улыбкой придерживала их рукой.

— Здравствуйте, друг мой, — томно произнесла она и указала гостю на высокое, тронного вида кресло. — Отчего вы не сядете?

— Добрый вечер, очаровательница, — пришел в себя Лев Минеевич и подошел к ручке. — Откуда это? — осведомился он, косясь на котят, игриво покусывающих друг друга крохотными острыми зубками.

— Мо́я египетская разрешилась от бремени, — с гордостью пояснила Вера Фабиановна.

— Папаша, значит, у них рыженький! — Он по-стариковски хихикнул и глянул в угол, где у батареи на тюфячке лежала на боку черная как смоль Верочкина любимица.

— Кто его знает, каков он, этот папаша! — философски заметила Вера Фабиановна и многозначительно добавила: — Генетика умеет и не такие шутки. Се ля ви.

Лев Минеевич лишь подивился богатству ее лексикона и обширным знаниям. Он уже обратил внимание на новое пополнение библиотеки. И если отпечатанный инкварто том «Культ камней, растений и животных в Древней Греции» еще не свидетельствовал о резком перевороте Верочкиного миросозерцания (долгие годы ее настольными книгами были «Наши друзья на небе, или Узнаем ли мы друг друга после смерти?» и комплект газеты «Оттуда» за 1906 год), то «Занимательная минералогия» академика Ферсмана и «Причудливые деревья» Менninджера говорили о многом. Лев Минеевич увидел в них, а также в слове «генетика» явственное влияние новой дружбы. И это заставило его сердце болезненно сжаться. Круглый, румяненький старичок с присущей юности остротой ощутил укол ревности. И не столь уж важно, что объектом ее была женщина! Льву Минеевичу стало очень обидно, что Верочка воспылала к случайной знакомой столь скоропалительной и всепоглощающей привязанностью.

С того дня, когда обе дамы разговорились в столе заказов «у Елисеева», куда Вера Фабиановна заглянула по пути в «филиппов-

скую» булочную, прошло не более месяца, но этого оказалось вполне достаточно, чтобы Льва Минеевича оттеснили на второй план. Это чувствовалось буквально во всем. Его забывали приглашать на чашку кофе, потому что Верочка выпивала ее вместе с новой подругой в знаменитой некогда булочной. Она перестала водить его на кинофестивали различных стран в «Ударник» и больше не гадала ему на картах. Да мало ли! Влияние этой особы, между прочим — сестры профессора, сказывалось даже в мелочах. Верочка, которая нигде и никогда не лечилась, стала вдруг посещать какого-то тибетского лекаря, периодически наезжавшего в Москву из Улан-Удэ показать жену, страдающую хроническим панкреатитом, профессору Туровой в клинике Вишневского. Симпатичный немногословный чудодей был славен тем, что ни о чем не расспрашивал пациентов. Пощупав пульс, он сразу же ставил диагноз и тут же давал лекарство, насыпая в бумажные конвертики сухую ароматную травку, которую черпал из большого мешка палехской расписной ложкой.

Лев Минеевич, которого Вера Фабиановна взяла с собой на первый сеанс, позволил себе высказать скептическое замечание по адресу знаменитого врачевателя, что чуть не привело к бурному объяснению. Равно были встречены в штыки и его попытки настроить Верочку против новой подруги.

Выражаясь языком Чарской, ему выдали такой бенц, что Лев Минеевич поклялся себе больше никогда не заговаривать с Верочкой на эту тему. Но академик Ферсман и генетика вывели его из равновесия. «И куда Верочка только лезет? — затосковал он. — Ведь не ее ума дело. Добро бы хоть гимназию закончила, так нет, удрала из дому с актеришкой».

— Как поживает ваша симпатия? — не утерпел бедный коллекционер.

— О! — Вера Фабиановна всплеснула руками, но тут же сморщилась от боли, так как котята, чтобы удержаться, вынуждены были вовсю выпустить коготки. — Вы ничего не слышали? — Она осторожно извлекла котят из волосяного плена и подкинула на попечение матери.

— Нет, — насторожился Лев Минеевич. — Разве что-нибудь произошло?

Заметив, как Моя египетская принялась вылизывать питомцев, он брезгливо поежился и отвернулся.

Однако любопытство его было сильно задето. Он даже легко подпрыгнул на стуле от нетерпения. Но Вера Фабиановна молча застыла в трагической позе. В эту минуту она казалась себе похожей не то на Сару Бернар, не то на Элеонору Дузе или еще на какую-то столь же знаменитую актрису, чей снимок в роли Федры видела в журнале «Нива».

— Неужели Людмила Викторовна захворала? — наконец не выдержал он.

— Типун вам на язык! — Вера Фабиановна скорбно поникла. — У нее страшное несчастье: пропал Аркадий Викторович.

— То есть как это — пропал? Куда?

— Почем я знаю? Она звонила вся в слезах. Места себе не находит. Не знает, что и подумать.

— Когда это случилось? — Лев Минеевич понизил голос.

— Третьего дня... Представьте себе ее положение! Она уезжает в Москву выкупить заказ в гастрономе, и все, конец, больше она его так и не увидела. Мистика какая-то!

— Как же это произошло? — допытывался Лев Минеевич.

— Совершенно сверхъестественный случай... Но вы, кажется, не признаете сверхъестественного? — Она насмешливо скривила губы.

— Ваша ирония здесь неуместна, — с достоинством сказал Лев Минеевич. — Если бы я признавал, как вы сказать изволили, сверхъестественное, тот бандит — или вы забыли историю с вашим ларцом? — гулял бы себе на свободе! Вместо того чтоб слезы проливать, ей в милицию обратиться надо, вот что скажу вам, голубушка. Как хотите! — Он принял вид независимый, и даже надменный. — Ради вас я готов оказать ей протекцию... На Петровке у меня есть кое-какие связи...

— Да знаю я их, ваши связи! — досадливо отмахнулась она. — Один свет в окошке... Что может сделать ваша милиция, ежели человек исчез? Понимаете? Ис-чез! Она когда утром на дачу примчалась, то чуть в обморок не упала. Кабинет Аркадия изнутри заперт, а самого его нет. Испарился. И ковер текинский вместе с ним.

— Хороший ковер-то?

— При чем здесь ковер, когда человек пропал бесследно? — возмутилась она.

— Вы же сами сказали про ковер, — обиженно надулся Лев Минеевич, — а теперь кричите... Может, кража это простая! Ясно?

— Какая же это кража, коли пропала лишь старая тряпка? А у Аркадия Викторовича, между прочим, камушки есть! Не чета ковру. У Людмилы Викторовны в комнате тоже драгоценности лежали, кольца... Да и как вору-то было залезть, когда все заперто? Кабинет-то на крючок замкнут! И никаких концов!

— Милиция бы нашла, — с непреклонной уверенностью откликнулся Лев Минеевич.

— Вот заладил — милиция, милиция... Русским же языком говорю, не человеческого разумения тайна эта... А может, Аркадий Викторович нарочно исчез!

— Как это — нарочно? — не понял Лев Минеевич. — На пари?

— Совсем другое, вы послушайте. — Она перешла на шепот: — Не простой он человек, я это сразу поняла. Не нашего мира.

— Марсианин, что ли? — Он пренебрежительно усмехнулся.

— Про Калиостро слыхивали?

— Ну, наслышан.

— Про графа де Сен-Жермена?

— Уж не ваш ли это Аркадий Викторович?

— Что знаю, то знаю. — Она упрямо поджала губы. — Только признак один есть, верный.

— Не пойму я вас, Верочка! Ей-богу, не пойму, куда клоните. Признак какой-то...

Вместо ответа она кинулась к трельяжу, схватила шкатулку и с грохотом опрокинула ее на стол. По липкой обшарпанной клеенке запрыгали пуговицы, крючочки, кольца, бусы, египетские скарабеи из змеевика и халцедона, нефритовые диски, окаменелые фисташки и позеленевшая мелочь, в том числе копейки с двуглавым орлом. Чего только не было здесь: спутанные разноцветные мотки мулине, пакетики швейных иголок, веер из слоновой кости, наперсток, грибок для штопки, китовый ус от корсета, драная перчатка из лайки, серебряная пудреница с алмазной монограммой, охотничий манок на чирка и розовая игривая подвязка, начисто запрещенная во времена оные в институте благородных девиц.

Нервные старушечьи пальцы в коричневых пергаментных пятнах торопливо выхватывали из этой неописуемой кучи пыльные, замутневшие самоцветы, искусно оправленные в золото и серебро.

— Вот вам! Вот! — Взволнованная Чарская совала драгоценности Льву Минеевичу под самый нос. — Помните мой бриллиантик? А этот аметистик видели? Хризолитовые серьги? Печатку из раухтопаза?

— Помилуйте, Верочка! — взмолился он наконец. — Что вы делаете? Зачем? Я все давным-давно знаю, видел не раз... Это замечательно, просто прелестно, только...

— Ах, вы ничего не поняли! — Она раздраженно пошвыряла все добро обратно в шкатулку и, словно изнемогая, уронила руки. — Верно, вы знаете мои камни. Только давно их не видели.

— Ну, и что с того?

— Другие они стали, Лев Минеевич, выздоровели. — Она вздохнула с тоской. — Аркадий Викторович, пусть все грехи ему простятся, вылечил.

— Да что вы говорите? Подумать только! — Лев Минеевич всплеснул ручками. — Как же так?

— В алмазе пузырек был, так он его удалил, аметист темнее сделал, видите? — Она поиграла перед его глазами крупным черно-фиолетовым кристаллом, в котором кровавой точкой догорало окно. — В хризолитах трещинки залечились, а топаз, так тот вообще голубым стал. Вы хоть когда-нибудь слыхали про голубые топазы?

Лев Минеевич недоуменно скривил лицо.

— То-то и оно что не слыхали. И никто не слыхал... Такое только Сен-Жермен с Калиостро делать умели да наш Аркадий Викторович. Вот и смекайте теперь... А вы говорите — знак! — Она торжествующе подняла палец.

— Это вы говорите — знак, — попробовал защититься Лев Минеевич. — Я молчу.

— Вот и молчите себе.

— Ничего не понимаю! — Он вновь всплеснул розовыми пухлыми, как у младенца, ручками. — Подумаешь, дело великое сделал — камень вылечил! Так у него же специальность такая! На то он и профессор. Наука все может! Космос! На Луну теперь слетать — как в троллейбусе прокатиться, разве что за билет платить не приходится... Это вам не пузырьки! Тоже мне генетика! — Он пренебрежительно покосился на кошачье семейство.

Рыжие котята, урча и смешно топорща острые куцые хвостики, сосали мамашу.

— Все равно, — упрямо стояла на своем Чарская, хотя упоминание про космос и поколебало тайную ее веру в магические возможности Аркадия Викторовича. — Только великий посвященный способен уничтожить пузырек в бриллианте. Самый настоящий знак и есть. Другого указания мне и не надобно.

— Как хотите, — пожал плечами Лев Минеевич. — Только ваш Аркадий Викторович — сестра его, между нами, очень нервическая особа — никакой не посвященный. Простой научный работник, каких много.

— Ах, простой?

— Ну да, простой. — Он мужественно тряхнул головой и выпрямился на стуле. — Обыкновенный трудящийся. Никакой не посвященный. Что это за посвященный еще? Во что посвященный?

— Что с вами говорить! — Она пренебрежительно махнула рукой. — Вы даже Шюре не читали. Капли единой не испили из вечной чаши тайной мудрости.

— А вы так испили? — ехидно прищурился коллекционер.

— Я приобщена. У меня вся семья такая была и самое меня так воспитали.

— Когда это было? И разве вам тайная мудрость помогла? Ведь вас ограбили и чуть не убили! Эх, Верочка, Верочка! — Лев Минеевич горестно усмехнулся. — Не там вы друзей ищете. Милиция — это да, она помогла. Лев Минеевич тоже помог, хотя он и не получил эдакого воспитания, — он покрутил пальцем над головой, — не читал Шюре.

Вера Фабиановна не захотела грешить против очевидности и перевела разговор в иное русло.

— Вы правы, конечно, — польстила она ему, — говоря о свершениях науки. Но разве не возможно, что Аркадий Викторович раскрыл тайную мудрость в своих формулах и чертежах? Не знаю... Да и какая, в сущности, разница? Он же и вправду многое умеет. Вот я и думаю, что он по своей воле исчез.

— Зачем же ему понадобилось такие шутки шутить?

— Очень просто. Открыл невидимость и исчез, а теперь вернуться не может. Забыл, как это делается.

— Вздор, Верочка, чистый вздор. Вы готовы поверить в любую чепуху.

— Сразу видно, что вы не следите за полетом научной мысли. Пришельцы! Наш Аркадий Викторович, если хотите знать, заброшен из иных времен. Очень даже свободно...

— И что же, он домой теперь полетел или как?

— Как хотите, так и понимайте.

— А сестрицу свою нам подкинул, сюда?

— Лэо Минейч! — Она вскочила и простерла указующий перст на дверь.

— Ну, не буду, не буду, Верочка! — Он даже закрылся рукой от ее гневного взора. — С вами и пошутить нельзя... Вы больше не звонили Людмиле Викторовне?

— Нет. Боюсь ее травмировать. Она такая чувствительная.

— Так, может, он уже и нашелся?

— Ой ли! — Чарская шумно вздохнула. — Меня бы уведомили. — Тут она снисходительно улыбнулась. — Да я бы и так знала.

И она подробно поведала Льву Минеевичу, как гадала на пропавшего доктора химических наук. Как раскладывала карты, а трефовый король, то есть Аркадий Викторович, все не выходил, в колоде терялся, а это верный знак, что нет его на земле.

— И что вы на это скажете? — торжествующе спросила она.

Но Лев Минеевич ничего не сказал, а только руками развел.

— Отчего же в шар не поглядели? — осведомился он, кивая на черную бархатную накидку, под которой находился тяжелый литой хрусталь, открывавший перед Верой Фабиановной, по крайней мере она так рассказывала, поразительные видения.

— Боюсь! — Она зябко поежилась. — Будь он простым человеком, я бы решилась, а так боюсь. Увидишь его в нездешнем тумане, а он схватит тебя и уволокет к себе.

— Ух! — Лев Минеевич не уставал восхищаться артистическими способностями своей подруги.

— Вот вам и «ух»! — передразнила она его. — Я так гадала однажды на пропавшего и вдруг белье увидела, которое во дворе после стирки развесила. И что вы думаете? В этот самый момент его соседка вместе с веревкой и уволокла... Там и камчатная скатерть была с царским вензелем. Тоже пропала.

— В учреждение, где он служит, Людмила Викторовна обращаться не пробовала? — Льву Минеевичу в потусторонних сферах было неуютно, и он поспешил направить разговор на земные темы.

— Не знаю, право. — Она захлопнула форточку.

Сразу примолк Рэй Коннифф, неистовствовавший в окне напротив. Успокоился круживший по комнате тополиный пух.

— Посоветовали бы ей. Вдруг на работе знают?

— Едва ли... Аркадий Викторович домосед. Он в своем кабинете опыты делал.

— Нешто можно так? — удивился Лев Минеевич. — Зарплату на службе получать, а опыты на дому производить?

— Разумеется, — уверила его Вера Фабиановна. — В научном мире с этим не считаются. Лишь бы дело двигалось, результаты были.

— Великая штука — образование! — позавидовал он. — Небось Аркадий Викторович на хорошем счету у начальства, раз ему такое послабление дали.

— Простодушный вы человек, друг мой! Разве у нас умеют ценить одаренных людей? — Вера Фабиановна не только близко к тексту цитировала подругу, но даже воспроизводила непроизвольно ее интонации. — Аркадия Викторовича просто третируют, травят! Если бы он не был столь поглощен темой, то давно бы уже бросил этот гадючник. Его с распростертыми объятиями возьмут куда угодно... Людмила Викторовна далеко не уверена, что трагическое событие не находится в связи с общей обстановкой в институте.

— Неужто сослуживцы? — испугался Лев Минеевич. — Быть того не может!

— В науке, дорогой вы мой, — Вера Фабиановна покровительственно погладила его руку, — интриги на почве зависти столь же распространены, как и в артистическом мире. А мне ли не знать, что такое театр! — Она молитвенно простерла руки к потолку. — Это моя юность, моя невозвратимая молодость!

Лев Минеевич допускал, что Верочка, сбежавшая некогда из дома с ярчайшей звездой провинциальной сцены, действительно знает театр. Но какое это имеет отношение к современной науке? Разве похож Аркадий Викторович на опасного сердцееда Чарского, которому небо послало Верочку в отмщение, ибо это она довела его до полного разорения и белой горячки? И вообще, при чем тут театр? Но Лев Минеевич ничего не сказал и только вздохнул.

— Отчего вы не пошли за меня, Верочка? — вдруг спросил он, хотя эта некогда жгучая проблема за давностью лет совершенно перестала его волновать. Он и сам не понимал, для чего спросил.

— Не помню уже, друг мой. — Вера Фабиановна равнодушно зевнула. — О чем это мы с вами?

— Про интриги на поприще разных наук.

— Верно... Нет, Аркадия Викторовича определенно доконали завистники. Современникам не прощают великих открытий.

Последняя фраза, произнесенная совершеннейшим голосом Людмилы Викторовны, заставила его вздрогнуть.

«Бедная Верочка, — втайне огорчился Лев Минеевич, — она совсем потеряла собственное «я»! Сделалась как та истеричка...»

Ему припомнились рассказы Веры Фабиановны о переселении душ, почерпнутые ею из подшивки газеты с жутковатым названием «Оттуда».

«Видимо, не такая уж это все ерунда, если зануда Людмила Викторовна и впрямь временами вселяется в Веру».

— Какое же изобретение сделал Аркадий Викторович? Придумал, как драгоценные камни исправлять?

— Что камни? — Вера Фабиановна презрительно подняла выщипанные в ниточку брови. — Камни для Аркадия Викторовича — пустяк, побочное занятие. — Она небрежно поиграла белыми, как молодая картошка, янтарями, украшавшими затрапезную, латаную-перелатаную кофту. — Если желаете знать, он обессмертил свое имя настоящим открытием!

— Позвольте полюбопытствовать?

— Он доказал, что растения живые.

— Как, разве это он доказал? — простодушно удивился Лев Минеевич. — А мне казалось, что это всем известно. Да я и сам так думал с детства. Коли растут, так, значит, и живые...

— Вечно вы все путаете, Лев Минеевич! — властно оборвала его Чарская. — Аркадий Викторович вовсе другое открыл. И вы себя с ним не равняйте! Он открыл, что растения чувствуют и ощущают. Поняли?

— Как тут не понять? — Лев Минеевич даже заподозрил, что пропавший профессор вовсе никакой не профессор, а самый настоящий аферист. — Чувствуют — значит чувствуют, ощущают так ощущают... Вроде нас с вами или вон как они, кошки, — кивнул он в сторону батареи, где пребывала Моя египетская со чадами.

Глава девятая

ВОЛНА I[1]

Южная Индия. XI век

Когда последние пашуната — подвижники Шиваиты — покинули пещеру, старый брахман начал готовить владыку к вступлению в спальню. Расколов перед статуей кокос, он положил в обе половинки дикие яблоки бильвы, посвященной Шиве, и налил в золоченые лампадки свежего масла. В тайном помещении, где стояла круглая каменная плита, отверстие которой пронзал черный столб, отполированный поцелуями и засыпанный лепестками, он приступил к вечернему обряду ради благополучия всего мира. Приняв асану лотоса и впав в прострацию, старик сосредоточился на почитании священного слога «ом», дабы защитить все живое от надвигающейся темноты и вреда, который несут бесы и демоны ночи.

Раньше, когда брахман был молод, вечерний обряд заканчивался бурной пляской храмовых танцовщиц. Но вот уже много лет, как деревни вокруг обеднели, и все танцовщицы разбрелись кто куда.

[1] Волнами индийский поэт Самадева (XI век) назвал главы прекрасной книги «Океан сказаний».

Старик не жаловался и ни о чем не сожалел. Он был даже доволен, что в одиночестве выполняет многотрудные обязанности, которые связаны со служением в пещерном храме. Очнувшись от транса, он сто восемь раз явственно произнес: «Ом намашивая»[1], нанес тилак[2] и, задернув занавесь, отправился домой, чтобы передохнуть часок перед обрядом почитания стражей стран света, которым положено кадить ароматным дымом.

У бога, которому он поклонялся, была тысяча и еще восемь имен. И каждый раз старик старался назвать его по-новому: то нарекал кумира Владыкой Третьего Неба, то Шарвой-разрушителем, который убивает стрелой, то Махешварой, что означает просто «великий бог». Были и другие имена: Амаракша — повелитель богов и Шамбху Милостивый, Истинный Повелитель и Долгокосый, Шамбху Могучий и страшное имя Бхайрава, которое рискованно было произносить всуе. Но чаще всего старый жрец называл своего господина Четырехруким, потому что у храмовой статуи было четыре руки, и Владыкой танца, так как бог танцевал на поверженном карлике, и Трехглазым, ибо сияла у него во лбу огненная звезда. Давным-давно, когда люди и боги еще жили вместе, Парвати, жена Владыки, играя, закрыла ему глаза своими ароматными ладонями, и мир погрузился в кромешную тьму. Тот самый мир, ради благополучия которого Шива выпил яд, отчего горло его стало навеки синим. Тогда-то, дабы не оставить людей без света, он зажег свой третий, надбровный глаз. Впоследствии в минуты гнева и раздражения он неоднократно испепелял этим нестерпимым светильником демонов и людей, других богов и даже целые миры.

Еще у него было имя — Обладатель Восьми Форм, упоминать которое дозволялось только брахманам высших степеней, а также отшельникам, предающимся размышлениям о первопричине всего сущего и его конце. В восьми этих формах заключалось все, что движет мирами: Земля — Шарва, Огонь — Пашупати, Вода — Бхава, Солнце — Рудра, Луна — Махадева, Ветер — Ишан, Пространство — Бхава и Угра — Жертвователь, понятие, включающее в себя обязанности человека по отношению к высшим силам.

От пещеры до хижины жреца было ровно тысяча восемь шагов, что позволяло ему не упустить ни одного имени Шивы, которое уже само не явно содержит все другие имена. Но последнее время брахман начал сбиваться и путать. Такое свое состояние он объяснял не слабостью памяти, а недовольством Мстительного Владыки, который скучает в одиночестве. Сбившись в подсчете шагов и прозвищ, старик начинал воображать, что именно говорит и делает в эти минуты Шива. Порой он настолько забывался, что кощунственно присваивал себе права патрона и начинал бормотать:

— Я Шива Натарджа, Четверорукий Владыка танца! Я танцую, и все мироздание вторит мне. Вот приподнял я правую ногу, легко

[1] «Ом, поклоняюсь Шиве».

[2] Тилак — пятнышко на лбу, которое наносят специальный пастой.

отклонился назад, весь равновесие и совершенство, и небесное колесо пришло в движение, закружилось, мерцая факелами звезд. Мой танец пробуждает творческую энергию Вселенной, он зовет из мрака невежества и лени к животворному всеочистительному свету, который изливает вечный костер, пылающий у меня на ладони. От меня исходит грозная сила. С моих волос срываются молнии. Электрические вихри бушуют вокруг меня. Левой ногой я попираю ленивого карлика, имя которому Майялака. Подобно жирному пауку, плетет он паутину неведения, иллюзии и темного зла. Он сон, а я пробуждение! Он лень, а я энергия! Он коварное наваждение, а я царь знания! Смотрите, каким магнетическим светом озарена моя голова! Слушайте, как рокочет барабанчик дамару под ударами моих пальцев. Я пробуждаю к бытию новые миры. Вибрация звуков врывается в холод и мрак первозданного хаоса. Так океанский ветер рвет в клочья низкие тучи и несет их в иссушенную зноем пустыню. Они прольются благополучным дождем, плодотворящим жизнь, и я, Шива, пробьюсь сквозь землю первым зеленым ростком! В звоне моих запястий слышен гимн плодоносящей силе. Я прекрасен и страшен, беспредельно милостив и беспощаден. Ничто не минует моего всеочистительного костра. В урочный час все атомы бытия будут уничтожены в пламени, все миры. Я непостижимое единство. Во мне слились все изначальные противоборства: бытие и небытие, свет и тьма, мужские и женские начала вещей. В мочке моего правого уха — длинная мужская серьга, круглая женская серьга — у меня в левом ухе. Ибо един я, и моя женская энергия — шакти — предвечно во мне. Я танцую, и рука моя обращена ладонью к вам. Это абхайя-мудра — жест уверения и покровительства. Все, кто знает язык пальцев, созданный мной, поймут меня. Все, кто идет к совершенству по ступеням моей йоги, сольются со мной. Прекрасная кобра обвивает мой локоть. В стремительном танце она развевается и летит по кругу, как газовый шарф. Моя змея, моя опасная энергия, мое воплощение. Ожерелье из черепов подпрыгивает у меня на груди, когда я танцую. Это мертвые головы великих и вечно живых богов. В них непостижимая тайна круговорота миров и вещей, совершенствования и разрушения Вселенной. Один мой глаз — живительное Солнце, другой мой глаз — влажная плодотворящая Луна, горящий над переносицей третий мой глаз — Огонь. Головы Брахмы, Вишну и Рудры, как пустые кокосы, гремят у меня на груди, всевидящее сердце Агни пылает над моими бровями. Что перед испепеляющей мощью его сияние звездных факелов? Что перед ней даже Солнце в зените? Гневная вспышка надбровного глаза ослепляет ярче тысячи солнц...

Так напевал, танцуя, Владыка танца, но никто не слышал и не видел его. Вернее, так понимал неподвижный танец и безмолвную песню бронзового изваяния престарелый жрец.

В пещере, где стояло оно в отдаленной нише, было сыро и сумрачно. Красные огоньки курительных свечек едва мерцали в

душном клубящемся тумане. С каменных сводов, отшлифованных временем и водой, с их бесчисленных, напоминающих дупла баньяна складок поминутно срывались тяжелые капли. Разлетаясь известковыми брызгами, образуя в пещерном поде причудливые столбы и глубокие каверны, они превращались в холодный туман. Поднимаясь вверх и остывая, он оседал на складчатом своде, чтобы вновь и вновь проливаться дождем. Удары отдельных капель и еле слышный шелест тоненьких быстрых струек сливались в один приглушенный шум. Может быть, престарелый брахман — хранитель пещеры — и различал, пока окончательно не оглох, в однообразной мелодии дождя бой барабана и звон запястий своего божества, но ныне некому стало слушать Шиву.

Брахман все чаще и чаще отлучался из храма. От вечной сырости и могильного холода, которые источали камни, он стал задыхаться и кашлять, нажил ломоту в костях и жестоко мучался от постоянных простелов. Поэтому и предпочитал старый жрец ночевать в уединенной хижине на высоких сваях, под непромокаемой кровлей из рисовой соломы. Там было сухо, тепло, смолисто пахли всевозможные снадобья, завернутые в банановые листья, и не тревожили душу красноватые огоньки курительных свечек, столь похожие на глаза крокодилов.

Задернутый покрывалом из крашеного пальмового волокна, Шива подолгу оставался теперь один в своей каменной нише. Согнув правую ногу в колене и оттянув книзу носок, он готовился начать свой сокрушающий миры танец, и верная кобра в стремительном отлете очерчивала ему магический круг. Владыка не мог пожаловаться на нерадивость своего служителя. На каменном алтаре исправно тлели сандаловые свечи; деревянные блюда благоухали горками живых цветов: влажных орхидей, фиолетовых, с нежными, быстро вянущими лепестками, миртов, белых восковых пипал с желтым зевом, чье дыхание горько и сладостно, как вода в джунглях; в кокосовых чашках лоснился золотой от шафрана рассыпчатый рис; гроздья округлых королевских бананов и зелено-розовые плоды манго казались только что сорванными с деревьев.

Но, бронзовый и неподвижный, потому Владыка танца тосковал от одиночества. Его лик, прекрасный и ужасающий, надлежало скрывать от простых смертных. Лишь в праздник Шива-пуджу, в день большого поклонения, старый жрец поднимал покрывало и демонстрировал грозного бога восторженной толпе. Это случалось всегда в одно и то же время, когда солнце, поднявшись над исполинскими травами горных джунглей, заглядывало в пещеру. Его лучи ударяли в надбровный глаз Шивы, и он вспыхивал в ответ кровавым яростным блеском. Казалось, Натараджа стремился испепелить и людей, и джунгли, и всю Вселенную. Тами́лы[1] в ужасе закрывали глаза и падали ниц на мокрый и скользкий камень. Когда спустя некоторое время они робко приподнимались и разлеп-

[1] Тамилы — народность дравидийской группы

ляли непослушные веки, в пещере стояла полная темнота. Некоторые принимались в ужасе рвать на себе одежды и стенать, что ослепли навек. Но мрак постепенно начинал приобретать красноватый оттенок, в котором уже можно было различить знакомые очертания алтаря, и люди успокаивались. Наиболее проницательные догадывались, что в тот самый миг, когда Шива являл себя народу, жрец опускал покрывало и гасил в чаше с песком алтарные свечи. За это время солнце поднималось выше и уходило в сторону, отчего в пещере становилось темно, как ночью.

Зато снаружи ночь превращалась в день. Покинув пещеру, жители деревни зажигали факелы и начиналось большое гулянье. Тамилы танцевали, пели, лакомились сладковатым пальмовым вином. До утра не смолкали флейты и барабаны, и далеко в джунглях трубным зовом откликались потревоженные слоны.

Но что за дело было Шиве до посвященного ему празднества, если сам он при этом оставался в полном одиночестве? Раньше хоть жрец не покидал его в такой торжественный день. Возился за покрывалом, что-то переставляя на алтаре, бормоча себе под нос, сжигал в жертвеннике ароматную очистительную траву. Но теперь и он уходил из пещеры вместе с народом. И пока в деревне длился пир, старый брахман, кряхтя, натирал ноющую поясницу соком камфорного дерева. Уж он-то знал, что утром предстоит основательно поработать! Больше всего хлопот доставит, конечно, молодежь. Столько романов завяжется в колдовскую, наполненную мерцающими вспышками светляков ночь, что и за целый год не распутаешь... Старики тоже не оставят его в покое. С рассветом даст знать о себе пальмовое вино. У одних разболится голова, другие начнут жаловаться на рези в желудке. И всех их придется лечить ему, старому Рамачараке, который живет близ деревни Ширале, окруженной травяными джунглями, скоро уже сорок лет... Но ничего, он не боится повседневных забот. Лишь бы все кончилось благополучно.

Не все возвращались под утро в свои дома. Следы пропавших терялись в джунглях или на берегу реки, покрытой зеленым цветущим ковром. И хотя старик догадывался, что старого гончара задрал леопард, а дочь старосты утащил в воду большущий крокодил, который любит погреться на солнышке возле упавшего дерева, он всех отсылал к Шиве. «Это Шива забрал твоего Чандру», — утешал он вдову гончара. «Шиве понравилась наша Лакшми, — терпеливо успокаивал убитого горем старосту. — Не надо плакать. Она пьет сейчас из чаши богов амриту бессмертия».

Он так привык вещать от имени Четверорукого танцора, что и сам верил сказанному. Не беда, коли мешочек, в котором Чандра хранил бетель и плоды арека для жевания, нашли потом возле дерева, изодранного когтями большущей кошки, а на прибрежный песок выбросило клочок золотого сари. Разве не все на земле вершится единой волей танцующего бога? Разве не все мы являемся эманацией его творческой энергии?

С заходом солнца брахман повесил гирлянду цветов на серый термитник, под которым поселилась длинная кобра. Теперь это место сделалось священным. Конус термитника — тот же лингам Шивы, символ его производительной мощи.

Видно, сам Шива послал сюда Нулла Памбу — кроткую змею. И когда?! В самый канун Нага-Панчами — большого праздника змей! Это ли не знак благоволения Владыки танца к жителям деревни? Значит, их жизнь угодна богам! Да и могло ли быть иначе? Люди здесь тихие, работящие. Они безропотно принимают удары судьбы, смиренно несут кару за ошибки и прегрешения предшествующих перерождений. Старый Рамачарака знает их всех: и старых и малых. За каждого выступает защитником перед Четвероруким разрушителем миров. В столь очевидной милости неба есть и его заслуга. Он ревностно выполнял свое предназначение, и этого у него не отнимешь.

Закончив растирание, он совершил надлежащий обряд омовения и, помолившись, насыпал в сплетенное из ротанга блюдо горку вареного риса. Любовно украсил ее фруктами: разрезанными на две половинки спелыми манго, очищенными бананами, красными пронзительно-кислыми ягодами. Наполнил кокосовую чашку козьим молоком.

Держа блюдо на вытянутых руках, осторожно спустился по лестнице и заковылял к термитнику. У темной норы он опустился на колени и позвал змею:

— О уважаемая Нулла Памба, посланница Шивы, о царица всех Нагов, отведай кушаний, которые принес тебе твой слуга!

В дыре под термитником ничто не изменилось. Не пошевелились даже тонкие мохнатые волоконца корней в растресканной, как камень, твердой красной земле.

Старик нагнулся еще ниже и, отставив блюдо в сторону, одним глазом заглянул в темноту.

Змеи он не страшился. Брахманы — служители Шивы вообще не ведают боязни, что не мешает, конечно, проявлять разумную осторожность. Рамачарака знал, что кобра никогда не атакует без надлежащих приготовлений. Сначала она должна приподняться над землей и раскрыть свой капюшон, на котором сам Шива нарисовал вещие глаза, и лишь потом, сделав два-три предупреждающих броска, начать настоящий бой. Недаром же в народе она зовется кроткой, благородной змеей. Кобры берегут свое страшное оружие. Прежде чем пустить в ход ядовитые зубы, они часто бьют головой, не раскрывая пасти, отгоняют в сторону зазевавшегося человека или неосторожную козу. Жители Ширале с незапамятных времен дружат со змеями. Едва ребенок становится на ноги, ему суют в руки первую игрушку — пестрого водяного ужа. К семи годам он уже будет знать, как следует обращаться с самой ядовитой змеей.

— Яви себя, о уважаемая Нулла Памба, — вновь позвал старик и бросил в нору горсточку риса.

Он хорошо знал, что в этот день, канун священного праздника Нагов, в каждом доме приготовлен горшок, в котором под ротанговой крышкой скрывается кобра. Завтра чуть свет крестьяне с горшками в руках придут к пещерному храму. Под грохот барабанов и хриплый рев морских раковин каждый покажет свою змею божеству. Но первую кобру возьмет, как предписано ритуалом, за самый кончик хвоста, с глубоким поклоном отдаст Владыке всех Нагов именно он, брахман Рамачарака. И хотя в его хижине уже припасен горшок со змеей, хорошо бы показать Шиве именно эту, которую Владыка сам послал в Ширале. То-то будет смеха и возгласов удивления, когда женщины увидят, что самую большую змею поймал не кто иной, как старый жрец!

Старику нестерпимо хотелось завладеть Нулла Памбой. Суетное искушение оказалось настолько сильным, что он, позабыв все правила приличия, зашептал:

— Ну выходи же, выходи! Чего ты медлишь? Разве тебе не ведомо, что в Ширале не был обижен ни один из твоих сородичей? Завтра, как только солнце достигнет зенита, я отпущу тебя на волю! Я сам отнесу тебя обратно, к термитнику. Пойдем со мной, благородная Памба! Женщины осыпят тебя рисом, сваренным с шафраном и кардамоном, прочтут в твою честь молитвы. Поверь мне, вместе с камфорным дымом они полетят прямо к Владыке всех Нагов, балдахином которому служит твой пятиглавый родич. Или ты не хочешь предстать перед ним? Боишься опаляющей вспышки его третьего глаза, красного, как Планета Огня? О, не бойся, прекрасная Памба! Разве ты не знаешь, что стремительная кобра уже обвивает его неутолимые чресла? Поспешай же к твоему слуге, о божественная энергия!

Старик говорил правду. После Нага-Панчами змей и варанов, которых мальчишки понесут привязанными к шестам во главе шествия, выпускали на волю. Но что до того было кобре, притаившейся в глубокой норе под термитником. Она и не думала выползать.

И тогда Рамачарака принялся тихонько насвистывать. Он пытался свистеть так, как его учили когда-то в Бенаресе, тонко и переливчато, но вместо свиста выходило шипение. Явно сказывалось отсутствие зубов, которые без видимой причины выпали у него четыре года назад.

И тут, как ни странно, змея послушалась его. Она выскользнула наружу и заструилась прямо к блюду с угощениями, словно мутноватый, подернутый пылью ручей. Капюшон ее чуть раздувался и опадал, пока скребла она костяными чешуйками живота заскорузлую красную землю. Но, тронув нежным трепещущим язычком хвойную мякоть манго, она плавно поднялась и закачалась под невидимую музыку.

— Так-так! — одобрительно поцокал языком жрец и медленно, не спуская с танцующей Памбы глаз, потянулся к ней рукой. — Угощайся, о благородный Наг! Угощайся...

Она поднялась еще и царственно развернула устрашающий капюшон. Размах ее сильного, упругого тела сделался шире, но неподвижные глаза были мертвы, как тусклые стеклянные слезки.

Широко растопырив пальцы, жрец медленно и неуклонно надвигал на нее сухую, почерневшую на солнце ладонь. Он зорко следил за каждым броском, вслушивался, невзирая на глухоту, как вырывается гневный ветер из ее вечно сухих ноздрей.

Кобра не пыталась скрыться и не спешила атаковать. Она раскачивалась, поминутно накрывая блюдо причудливой тенью, и раздвоенный язычок ее готов был лизнуть наплывавшую руку.

Жрец знал все статьи нерушимого договора, который давным-давно заключили жители Ширале с нагами, и потому не торопился. Спешка всегда опасна. Конечно, кобра не ужалит того, кто с надлежащим почтением предлагает ей дары, это так, но первое же неловкое движение, которое может показаться ей непочтительным, освободит змею от сковывающей власти обета, и тогда она нанесет молниеносный удар. И чем упорнее уговаривал себя Рамачарака, что ничего подобного в Ширале не случалось, тем меньше хотелось ему стать первой жертвой, собственной неловкостью нарушить вековое соглашение людей и нагов. Оттого ему не только приходилось следить в оба, но и сдерживать, сколько можно, старческое дрожание рук. Старик понимал, что, невзирая на все договоры, змеи отнюдь не радуются, когда их, пусть на короткий срок, лишают свободы. Он видел, что большая Памба раздражена и пребывает в смятении. Одно ее желание накладывалось на другое. Она стремилась совершить одновременно два противоположных действия: метнуться в укрытие и поразить нависшую над ней руку. И это парализовало волю змеи. Договор тоже заставлял ее оставаться на месте. Недаром же змеи со всей округи бесстрашно сползались на здешние поля, где их охраняли и подкармливали свеженадоенным молоком! Ах, как дразнил Памбу его сладковатый вкус! Как чаровали ее лоснящаяся желтизна риса и сочная мякоть плодов! Но и рука пребывала уже в непозволительной близости.

На какой-то непостижимый по краткости пугающий миг они оба застыли: человек и змея. Первым не выдержал человек. Старик прищурился, чтобы унять резь в напряженных глазах, и отвел руку. Он уже знал, что не повторит попытку завладеть Памбой. Слишком уж старым почувствовал он себя и неуверенным перед этой большой коброй! Да и зачем она ему? Разве не стоит в его хижине глиняный горшок с Памбой, пусть и не столь большой, но равно угодной Шиве?

И, не отрываясь от пустых, скупо поблескивающих глаз рептилии, старый жрец отступил и распрямился.

— Прими мое угощение, о кроткая, благородная Памба, — смущенно пробормотал он. — Оно от чистого сердца, и клянусь, что никогда более не нарушу твой покой.

Напряжение разом схлынуло, и старик почувствовал, как дрожит в нем каждая жилка. С новой силой возобновилась стреляющая боль в пояснице.

В зарослях слоновой травы прошелестел ветер. Старик взглянул вверх. Лесистые вершины гор накрывала лиловая тень. Волнистый перламутр неба померк, и первые летучие собаки порывисто заметались вокруг исполинского баньяна. Отовсюду слышался жестяный скрежет цикад. Над самой землей проносились гудящие бронзовые жуки и с тяжелым стуком бились о бамбуковые жерди хижины.

«Не иначе, будет гроза, — поежился Рамачарака, — и Сурья гневается...»

Остывающий солнечный шар уже коснулся зубчатого контура непроглядных джунглей. Белая пена скачущего по камням ручья мелькала сквозь тростники тоскливым малиновым светом. Вновь прошелестел, но уже с другой стороны короткий и резкий порыв ветра. От деревни донесся удушливый запах паленого кизяка.

Старик пал на колени и с молитвой проводил светило. Когда оно провалилось за черной, сделавшейся вдруг удивительно плоской стеной леса, обезьяны испустили неистовый вопль, словно оплакивали последний свой день. Но прежде чем тьма сделалась непроглядной, старик поймал скупое свечение остывающего перламутра и тени стервятников, которые устремились к закату, помахивая отяжелевшими крыльями...

Гроза обрушилась после полуночи. Молнии будто подхлестывали одна другую, и небо беспрерывно мигало мертвым трепещущим светом. А вскоре все потонуло в шуме дождя, лопающихся пузырей и жадном чавканье мгновенно раскисшей земли. Неистовство громовых стрел Индры не знало предела. Казалось, что сами горы трещат под их ударами, как пустая ореховая скорлупа. Низвергнутые с вершин потоки устремились в долину, сворачивая по пути камни, ломая опутанные лианой стволы. В считанные минуты все вокруг было залито вспененной водой и, подобно небесной тверди, засверкало яростным металлическим блеском. Но тут же горячая завеса пара, как матовое стекло, смазала все очертания. Остались лишь мутные вспышки, грохот и рев.

Гималайских купцов Лобсана и Пурчуна непогода захватила вблизи перевала. Сначала они решили искать приюта в маленьком храме, посвященном хранителям гор, но все подходы к нему заросли, а продираться сквозь дебри опутанных колючками можжевельников и рододендронов было немыслимо.

— Пойдем лучше вниз, — предложил более опытный и хорошо знавший эти места Пурчун. — Там много пещер, и мы наверняка набредем на одну из них.

— Да сохранят нас боги в эту лихую ночь! — согласился Лобсан и поспешил вслед за товарищем, который, закрыв рукой лицо от молнии, сошел с дороги и остановился под сосной.

— Того и гляди, хлынет! — сказал Пурчун, взглядом выискивая спуск. — Где-то здесь должна быть тропинка.

— Ом-мани-падмэ-хуж! — Лобсан только прошептал охранительную формулу, которая, как его учили, годилась на все случаи жизни. — Наши ламы в такую ночь выпускают в помощь путникам небесных коней.

— Слушай больше! — огрызнулся Пурчун, вырывая плащ из когтей ежевики. — Неужели ты и вправду веришь, что бумажные лошадки, которых пускают по ветру монахи, превращаются в живых скакунов? Ты видел это своими глазами?

— Однажды я нашел в горном ущелье оседланную лошадь!

— Где это было? — Пурчун ловко спрыгнул с высокой ступени и остановился, чтобы помочь спутнику.

— В Ладаке. У красной скалы, где нарисован Махакала и стоят пять белых ступ.

— Знаю это ущелье. — Пурчун, прижавшись спиной к нависшему над обрывом камню, обогнул опасное место. — Наверняка лошадь принадлежала какому-нибудь путнику.

— Куда же он тогда девался? — возразил догнавший его Лобсан.

Жители неприступной гималайской страны, где сверкающие хребты царапают небо, а в пропастях стынет синий туман, они не боялись здешних невысоких гор, вершины которых не знают снегов. Даже когда обрушился ливень и по отвесной, поросшей цепкими вьюнками стене хлынули глинистые потоки, они продолжали спускаться все так же уверенно и быстро.

— Куда же тогда девался человек? — вновь спросил Лобсан, когда они присели передохнуть в неглубокой нише.

— Может быть, он упал в пропасть или его утащили духи, — высказал предположение Пурчун. — Но скорее всего лошадь просто убежала вниз с ближайшего перевала... А что ты с ней сделал?

— Как — что? — удивился Лобсан. — Взял себе!

— Даже не попытался отыскать хозяина?

— Зачем? Я был уверен, что это небесный конь, которого послали мне ламы!

— Сказки! Я встречал таких красивых лошадок! — усмехнулся Пурчун. — Они запутались в кроне старого кедра... А человек, чью лошадь ты взял, мог без нее погибнуть.

— Дар богов следует принимать со смирением.

— Шакьямуни[1] учит нас помогать людям.

— Не будем спорить, Пурчун! — вздохнул Лобсан. — Да минует нас гнев здешних богов. Я тебе говорил, что не следовало продавать лошадей.

Они действительно, выгодно распродав в городе все сто восемь тюков сомы, собранной в сиккимских горах на шестую ночь после полной луны, сбыли и всех лошадей вместе с повозками. Поэтому и возвращались теперь на родину пешком.

---

[1] Шакьямуни — одно из имен Будды

— Куда бы ты девался сейчас со своей лошадью? — огрызнулся Пурчун. — К тому же мы взяли за них хорошую деньгу!

— Что верно, то верно, — согласился Лобсан. — Мы выручили за своих лошадей чуть ли не втрое.

— Вот видишь! А в Непале мы купим яков и, не успеешь оглянуться, очутимся дома.

— А что они находят в нашей траве, эти прессующие? — Лобсан вынул из-за пазухи ячменную лепешку и, разломив, дал половину товарищу. — Арак, который тибетцы гонят из молока, думаю, окажется покрепче.

— У каждого народа свои обычаи. — Пурчун принялся лениво крошить лепешку, бросая кусочки в рот.

— Это, конечно, так. Лобсан недобро усмехнулся. — Но ты заметил, как они относятся к нам?

— А как? Купили весь товар и цену дали хорошую.

— Неужели ты не заметил, как они смотрели на нас, эти дважды рожденные?[1] Как на нечистых животных! Они брезгали прикоснуться ко мне даже мизинчиком!

— У каждого народа свои обычаи, — упрямо повторил Пурчун. — Они и к своим так относятся. Брахман никогда не сядет есть рядом с крестьянином или купцом. Таков закон.

— Наши ламы ведут себя не так.

— Разные ламы бывают...

— Мы с тобой в глазах брахманов нечисты вдвойне! Удивляюсь, как они пьют потом молоко из нашей травы, — Пурчун засмеялся, — после наших нечистых рук.

— Это их дело.

— Ты прав, Пурчун, что каждый народ живет по-своему, но согласись, более дурацких обычаев, чем здесь, нет нигде в мире. Только посмотреть, как они покупают сому, и то можно со смеху надорваться. Коровами расплачиваются!

— И только белыми, — подхватил Пурчун, — а глаза чтобы золотые... Где это видано, чтобы у коров были золотые глаза?

— А им все равно! — махнул рукой Лобсан. — Скажут, что дают тебе за воз травы корову с золотыми глазами, и кончено. Какие они на самом деле, никого не интересует. Чудеса прямо...

— Нам-то что? Коли на базаре можно тут же продать корову...

— Не продать, — наставительно поправил Лобсан, — а обменять. Корову с золотыми глазами сперва меняют на золотую траву, а потом она уже зовется белой, выменивают обратно на белый металл — серебро. Как тут удержаться от смеха?

— Достань из-за пазухи мешочек с серебром и позвени. Сразу станет не до смеха.

— Что верно, то верно. — Лобсан сразу поскучнел. — Для себя не так-то много останется! Куда ни ступи, всем надо дать: страже, отшельникам, старосте...

---

[1] Дважды рожденный — так называли себя брахманы.

— Ты забыл монастырь, — подсказал Пурчун. — А это как-никак третья доля.

— Думаешь, монахи знают, сколько мы выручили?

— Тут ты, я вижу, не очень боишься надуть богов? — засмеялся Пурчун, довольный, что сумел поддеть приятеля. И лошадь, как я понимаю, ты тоже ламам не возвратил?

— Что ты! Как можно? — испугался Лобсан. — Я просто так сболтнул. Разве можно обмануть главного ламу, в котором воплотилась душа чудотворца Падмасамбавы? Он все видит наперед, все знает издалека.

— А лошадь у красной скалы? — напомнил Пурчун.

— Что лошадь? Лошадь я продал, — тихо сказал Лобсан и опустил голову.

— Как? Как ты сказал? — Пурчун приложил ладонь к уху. — Повтори! Я не расслышал. — Грохот небесной битвы действительно заглушал нормальную речь. Поэтому они почти кричали друг другу, хотя и сидели бок о бок. — Если ты продал лошадь, то деньги все равно нужно отдать монастырю.

— Как бы нас не затопило! — Лобсан сделал вид, что тоже не расслышал, и указал на несущуюся мимо них воду.

Горные потоки и дождевые струи, плотной тканью срывающиеся со скального козырька, пока не заливали нишу. Рядом находился обрыв, и тропинка слишком круто обвивала гору, для того чтобы вода успевала накапливаться. Она стремительно низвергалась, унося с собой мелкий лесной сор, обрывки ползучих растений, вымытый из расщелин песок и сланцевые плиты. Но если бы где-нибудь внизу образовался затор, спасительная ниша мгновенно превратилась бы в ловушку. Стремительный водоворот просто-напросто вымоет из нее все, что только может стронуться с места. Но выбирать не приходилось. Тропа превратилась в скачущий по ступеням ручей, а с лесистой вершины на нее обрушивались камни, ветки и перепутанные корнями комья земли.

— Будем пережидать. — Пурчун мгновенно оценил положение. — Время дождей еще не подошло, и Ваджрапа́ни[1] скоро устанет метать свои стрелы.

— Тут мыши! — Лобсан кивнул на кучу сухой листвы. — Или ящерицы.

— Пусть их. — Пурчун собрал с колен крошки и бросил на листья. — Все живые существа нуждаются в приюте.

— И змеи?

— А чем они хуже других? Нам не дано знать, кем они были раньше, кем станут в последующие рождения. Возможно, царями.

— Стихает, Пурчун!

Гроза с рокотом отступала в сторону далекого океана. Больше не лопалось в ушах небо. Молнии вспыхивали все реже, и гром уже не поспевал за ними. Стало слышно, как в туманной мгле грохочут

[1] Ваджрапани — гималайский бог-грозовик.

ручьи, разбиваются капли и шуршат в листве дрожащие от холода мыши. Снеговой ветер с родных поднебесных гор осадил туман, и залитые долины замерцали лунным глянцем.

— Хорошо бы огонь развести. — Лобсан поежился. — Одежда совсем промокла.

— Где взять дрова?

— В пещерах тоже не согреешься.

— Подожди до утра. — Пурчун закрыл глаза. — Лучше всего уснуть.

В нишу начали заползать скатившиеся с горы гигантские дождевые черви, темные и жирные, как конская колбаса. Невидимо и неслышно закружились летучие мыши, навевая быстрыми перепончатыми крыльями неодолимый сон. Борясь с оцепенением, Лобсан потянулся почесать шею и спугнул присосавшегося вампира.

— Нехорошее здесь место! — Лобсан толкнул товарища: — На меня напали голодные духи! — Он испуганно поднес к глазам ставшие липкими пальцы. — Уйдем!

— Куда? — с трудом разлепляя веки, сонно спросил Пурчун. — Гора еще не впитала воду.

— Нет, нет, уже можно, — стоял на своем Лобсан.

— Разве? — Пурчун уронил голову на грудь, но тут же встрепенулся и прислушался.

Шум бегущих ручьев утих, и он уловил, как шелестит, распрямляясь, примятый тростник.

В тропическом лесу все совершается быстро: жизнь, смерть. С неуловимым постоянством сменяют они друг друга, создавая обманчивую иллюзию неизменности.

— Давай пойдем. — Пурчун выполз из-под навеса. — Пока вновь не наползли сбитые с деревьев пиявки.

Хотя тропа местами сделалась скользкой, а на ровных участках собрались вязкие лужи, в целом она почти не пострадала. Для гималайских жителей спуск не представлял особого труда.

По другую сторону горы им встретился каменный алтарь, окруженный живой, с острыми шипами изгородью. В полукруглом углублении сиротливо увядали цветы. Пучки курительных свечей перемололи термиты.

Повсюду белели привязанные к веткам кустов и деревьев лоскутки с просьбами и молитвами.

Торговцы сомой, сложив руки, возблагодарили неведомых богов за спасение и, оставив на алтаре кусочек серебра, пошли дальше. Перейдя над клокочущей речкой по шаткому мосту из бамбуковых стволов, они увидели вырубленные в скале ступени.

— Скорее всего, эта лестница ведет к пещерам, — сказал Пурчун.

Они сбежали вниз, и за поворотом открылась вся долина. Лунно переливалась мокрая ночь. В блеске воды угадывались террасы рисовых полей, пальмовые кровли навесов, в тени которых обычно отдыхают богомольцы: пьют чай, запасаются сандаловыми свечами

и амулетами. Звезда огня Марс низко висела над горизонтом, и красноватый дрожащий отблеск ее медленно колыхался в лаковом зеркале рисового поля.

Дорога стала более пологой, все чаще начали попадаться лестницы и связанные лианой висячие мостики. На каждом повороте стояли каменные обелиски и жертвенники. Все говорило о близости святых мест.

Но гималайским купцам пришлось довольно долго петлять по горным извивам, прежде чем они увидели небесную арку, за которой туманился непроглядный грот.

— Здесь еще холоднее! — стуча зубами, пожаловался Лобсан, когда они спустились в пещеру.

Пурчун закашлялся в сыром, пропитанном курениями тумане. Красные точки тлеющих свечек сурово подкрашивали тяжелые, почти неподвижные облака. Густой запах можжевельника и сандала слезил глаза. В ушах, словно к ним приставили по большой раковине, гудел прибой. Гималайцы, привыкшие к мертвой тишине пещер, долго не могли понять, откуда идет этот гул. Только различив стеклянный звон отдельных капель, догадались, что к чему. Потом Лобсан заметил, что каменные фигуры богов пропускают свет.

— Что это? — заикаясь от испуга, прошептал он. — Невиданное чудо! Там!

Пурчун, втянув голову в плечи, долго вглядывался в красноватую полумглу. Жгучие огоньки и впрямь просвечивали сквозь статуи, играли в каплях подземного дождя. От этого каменные громады казались совсем невесомыми и почти живыми. В горных монастырях Тибета, Сиккима, Бутана и Ладака Пурчун встречал чудеса и почище. Страшные оскаленные лики гималайских демонов порой преследовали его даже во сне. С чашами крови в руках, перевитые змеями, пляшущие на трупах, они выглядели действительно устрашающе. Но это были его боги. Он знал, что ужасный облик они приняли лишь для того, чтобы защитить людей, в том числе и его, Пурчуна, от злобных духов. Но здесь все выглядело враждебно и чуждо. Хоть ламы и говорили, что вера пришла в Гималаи именно отсюда, из Индии, Пурчун страшился здешних идолов из прозрачного камня. Он хоть и узнавал в них знакомые черты, но близости к ним как-то не чувствовал, напротив — ощущал какую-то подавленность, глухую угрозу. Нет слов, боги его родины были похожи на здешних, часто они выглядели даже страшнее, но от них тем не менее исходило чувство успокоения и просветленности. Пурчун был уверен в их благосклонности, в особом к нему покровительственном отношении. А здесь не так, здесь совсем иное. Он сильно сомневался в том, что боги брахманов встретят его лучше, чем сами брахманы. Он окончательно уверился в своих опасениях, когда почуял сквозь дым курений застарелый запах сомы. Тревожная загадка непонятного цветка, которому в Гималаях не придавали ровно никакого зна-

чения, отвлекла его, помешала развеять пещерное наваждение. Разве не находил он у себя в горах всевозможные прозрачные камни — горный хрусталь, который ламы почитают за тайную силу, слоистые, легко распадающиеся на отдельные пластины куски соли, не соленой на вкус?

Но разве может простой человек разумно мыслить под взором тысяч божественных глаз?

— Уйдем отсюда, — хрипло сказал Пурчун, перебирая коралловые четки.

Он так и не приблизился к разгадке тайны пещерного алебастра.

— Сейчас, — еле слышно откликнулся Лобсан, приподымая покрывало.

Бронзовый Шива в освещении спиральных, долго тлеющих свечей предстал перед ним словно облитый дымящейся кровью. Густые подвижные тени придавали его прекрасному облику выражение свирепости. По крайней мере, так померещилось Лобсану, когда он приоткрыл жесткую тапу, по-деревенски выкрашенную охрой. Гордый прямой нос Владыки танца показался ему хищно изогнутым, а грациозная кобра, обвивающая узкий юношеский локоть, настолько перепугала бедного гималайца, что он попятился и грузно сел на могильно-холодную землю.

В этот миг, а может быть, и много раньше, как уверяют джатаки[1], решилась его участь.

Алчность оказалась сильнее ужаса. За покрывалом из пальмового волокна он увидел не только разъяренную кобру, которая, развив пружинные кольца, с оскаленной пастью метнулась к нему. Нет, он успел заметить и нестерпимую звезду во лбу бога. Она кольнула его в самое сердце так больно, что он задохнулся и полетел, невидимой силой отброшенный прочь.

Но не было никакой такой волшебной силы. И кобра не сдвинулась со своего места, отлитая раз и навсегда из мертвой бронзы заодно с Натараджей. Лобсан так и рассудил, поднимаясь с земли и потирая ушибленный локоть. Понял, что все лишь почудилось ему со страху. А вот алмаз не почудился...

— Что там? — приседая от ужаса, спросил Пурчун.

Он ясно видел, как полетел спиной вперед, словно пощечину от железной руки получил, его прижимистый компаньон, и приготовился проститься с жизнью. Особенно сожалеть о ней не приходилось. Видимо, за грехи предыдущих воплощений он пришел в мир бедняком и уходит теперь голодранцем в новый круговорот. Авось в следующий раз ему повезет немножечко больше...

— Там, — Лобсан обе руки протянул к занавешенной нише, — там, — сказал он спокойно, — камень чандамани.

— Чандамани? — удивился Пурчун.

Он постепенно успокаивался и уже не столь самоотверженно стремился сменить телесную оболочку. Кто знает, что ожидает че-

[1] Джатаки — собрание буддийских легенд

ловека потом? Ведь что там ни говори, а и в этой жизни выпадали порой приятные минуты. Сейчас же, когда он возвращается домой с солидным барышом, решительная перемена была бы особенно некстати.

— Возьми его! — Лобсан бросился к приятелю. — Ты смелый! И мы не будем знать нужды в деньгах!

— Откуда здесь чандамани? — Пурчун пребывал в раздумье над превратностями перерождений и плохо понимал, чего от него хотят.

— Глаз Шивы, — объяснил Лобсан. — Большой алмаз. Мы продадим его, а деньги разделим пополам.

— Ты, наверное, ошибся и принял за алмаз какой-то другой камень. — Пурчун все еще не осознал, что Лобсан ждет от него каких-то действий. — В деревне Ширале живут бедные люди. Откуда у них такое сокровище?

— Я не ошибся. Посмотри сам!

Пурчун приблизился к нише и робко заглянул внутрь.

Озаренный плавающими в кокосовом масле фитилями, Шива предстал перед ним в лучезарном блеске. Красные огоньки тлеющего можжевельника смягчали победную его улыбку, придавая ей оттенок глубокомысленной грусти. Третий глаз мерцал над бровями, бросая густую винную тень на серп в буйных волосах.

— Грозный бог! — сказал Пурчун, отступая.

— Видел алмаз?! — бросился к нему Лобсан.

— Кажется, — осторожно отстранился от него Пурчун. — Положи немного серебра на его алтарь.

— Потом, — нетерпеливо зашептал Лобсан. — Сперва нужно взять чандамани.

— Ты хочешь взять у него глаз? — ужаснулся Пурчун и прижал к сердцу четки. Только теперь он окончательно осознал, на что склонял его земляк. — Ом-мани-падмэ-хум! — поклонился он занавесу. — О драгоценность на лотосе! Сохрани нас!

— Ты куда? — спросил Лобсан.

— Надлежит чтить всех богов, — покачал головой Пурчун, пятясь к выходу из пещеры. — Я пойду один.

Лобсан оцепенело проводил его сумасшедшим взглядом. Он хотел кинуться за ним вслед, закричать и остановить; нет, не остановить, а вместе уйти, но так ничего не сказал и не сделал. Мысль о том, что Пурчун оставляет у него все свое серебро, прихлынула к нему тяжелым расслабляющим грузом.

...Пурчун покинул пещеру незадолго до рассвета. Он в последний раз обогнул гору Благоуханий и, оставив спящую деревню по правую руку, углубился в тростники. Потом извилистая тропа привела его к черной, грохочущей по осклизлым камням реке. По раскачивающемуся подвесному мосту он перешел на другой берег, и вновь сомкнулся за ним исполинский тростник. Так и шел он, не оглядываясь, без страха переступая звериный след, пока извилистая тропа не вывела его к свайной хижине.

Старый брахман в это время уже совершал омовение перед праздником Нагов.

Заметив в щелях свет, Пурчун свернул к хижине, чтобы попросить еды и приюта.

Но брахман Рамачарака смог, не оскверняя касты, только накормить странника. Он дал ему чашку рису и напоил кислым молоком.

— Отдохнуть ты сможешь в деревне, в хижине гончара, — сказал жрец, когда гость насытился. — Найдешь деревню?

— Найду, добрый человек, — ответил Пурчун.

— Пойдем вместе, — решил брахман. — Мне все равно надо туда.

Он взял горшок с коброй и стал спускаться по скрипучей бамбуковой лесенке.

Пурчун, прислонившись к свае, благодарно смотрел на него снизу и протягивал пустую половинку кокоса и кринку из-под молока.

— Посуду можешь взять себе, — проворчал жрец.

И они отправились в деревню через джунгли.

А следом за ними, тяжело дыша от усталости и страха, на поляну вышел Лобсан. Свайной хижины он не заметил, так как узкие щели в бамбуке уже не заливал теплый свет масляной плошки. Вокруг был враждебно притаившийся лес, откуда долетал душераздирающий хохот ночной птицы. Но ждать до рассвета оставалось недолго, и Лобсан, заметив по правую руку смутно темнеющий конус термитника, устремился к нему, чтобы передохнуть на сухом месте. Он опустился на землю, так и не разжимая потного кулака, и вдруг увидел рядом с собой большое блюдо с холодным рисом и очищенными плодами. Переложив горячее сокровище из правой руки в левую, он стал жадно есть, давясь и содрогаясь от кашля, так как рис попадал ему в дыхательное горло.

Здесь и встретила его Нулла Памба, возвращаясь к себе в нору после ночной охоты.

Двуногий, которого она встретила возле своего дома, сидел на самой дыре и мешал ей войти. Он вел себя непочтительно, поедая посвященное ей приношение, и нарушал закон. Судьба пришельца была решена. И кроткая Памба убила его бесшумно и ловко.

Корчась от судорог, он уполз в джунгли, но скоро замер там, в непролазных зарослях слоновой травы.

Зажатый в руке алмаз он так и не выпустил.

САНКХЬЯ — перечисление

Глава первая

ЛЯГУШКА ПО-КОРОЛЕВСКИ

Проснувшись поутру за пять минут до будильника, Люсин с удивлением обнаружил, что ему нечего делать. Пришло воскресенье, и запущенная на полный ход розыскная машина резко сбавила обороты. Приостановилась работа в лабораториях НТО, уехал в Можженку директор НИИСКа, даже больничную карту из академической поликлиники на улице Ляпунова и то нельзя было запросить по случаю выходного, будь он неладен, дня. Перспектива провести воскресенье в раскаленном, затуманенном гарью городе не радовала. Люсин с сожалением подумал о расстроившейся поездке в Малино. Одиночество подстерегало его, одиночество и безделье... Все, кто только мог, еще в пятницу выбрались на природу.

Едва дождавшись восьми часов, когда, по его мнению, было удобно звонить отдыхающим людям, он схватился за телефон. Снятая трубка долго тревожила непрерывным требовательным гудом. Но он так и не набрал номер. И в самом деле, кому он мог позвонить? Генрих готовился к приятному вояжу на Средиземноморское побережье, Володя лихорадочно вымучивал каждое слово ответственной передовой, а вольный художник Юрка, можно голову дать на отсечение, создавал кулинарные шедевры на вольном воздухе.

Люсин пустил душ и, чтобы убить время, простоял под тепловатым дождичком до отвращения долго. Потом обстоятельно побрился электробритвой «Эра», затем переключил рабочую головку и подровнял виски. Надев белые джинсы и легкую теннисную рубашку, босиком зашлепал в кухню. Распахнув миниатюрный холодильник «Морозко», долго и печально созерцал открывшуюся ему арктическую пустыню. Кроме кусочка заплесневелого сыра и огрызка салями, ничего достойного внимания не нашлось. Разве что бутылка «Жигулевского». Но на жестяной пробке было выбито четырнадцатое число, а пиво десятидневной давности, хотя и холодное, не вдохновляло.

Сокрушенно вздохнув, Люсин взял банку растворимого кофе и зажег газ вскипятить воду. Делал он все это почти механически. Сознание было раздвоено и заторможено.

«Что же это я? — спохватился он. — О чем? Ах да, надо бы позвонить... Но кому?» И пластинка пошла на новый оборот.

Он вновь перебрал немногочисленные варианты. Мимолетно подумал, что примерно так же надрывается в бесплодных поисках электронный мозг, который они с Гурием травмировали явно непосильной задачей.

«Ну посуди сам, куда и кому ты будешь звонить? Друзьям не до тебя, а знакомых, которых бы хотелось увидеть, вроде не находится. Что же остается?»

Он снял со спинки стула пиджак и, ощупав карманы, нашел записную книжку. Бегло пролистал ее, задерживаясь изредка на женских именах.

«Никогда не надо звонить по телефону, номера которого не помнишь наизусть, — занялся он аутотерапией. — Звони только тем, кого всегда помнишь, о ком постоянно думаешь. Договорились? Ну и великолепно! Отчего же не звонишь? Знаешь, что милые тебе люди сегодня вне пределов досягаемости? Тогда выбрось всю эту суету из головы и спрячь телефон под подушку».

Поддев ножом крышку, он раскрыл банку и бросил в кипяток две чайные ложки кофейного порошка.

«Юрка убил бы меня, если б знал, что я пью из граненого стакана». Сахара в доме не оказалось, и Люсин утешил себя тем, что истинные гурмэ никогда не сластят кофе.

Наскоро проглотив кофе, он позвонил Березовскому.

— Да! — ответил заспанный голос.

— Привет, Юр. Я тебя не разбудил?

— Нет... Но почему так безбожно рано?

— Прости, ради аллаха, но я думал, что ты уже встал.

— Что-нибудь срочное, отец?

— Я без всякого дела. Просто захотелось потрепаться.

— Поговорить за жизнь?

— В этом духе.

— Какие у тебя планы?

— Сначала, Юр, подзаправиться. В доме ни крошки.

— И у меня! Жена, понимаешь, за городом, а я застрял.

— Так, может, сообразим чего-нибудь?

— Пустой номер, старик... Сейчас сколько времени?

— Восемь тридцать пять.

— Вот видишь! Рестораны открываются только в двенадцать, а столовые летом — это сущий ад. Тут я, благодетель, пас. И зачем только ты меня так рано разбудил?..

— Давай, Юр, купим хлеба, молочка, а потом завалимся куда-нибудь на ВДНХ или в Сокольники.

— Нет, старик, «Океан» или там «Золотой колос» меня не прельщают. Кончилось кулинарное искусство в Москве, кончилось. Нет больше хорошей кухни... Если хочешь, мы бы могли сварганить что-нибудь сами.

— С радостью, Юр!

— Но на рынок пойдешь ты?

— Согласен. По пути к тебе могу заехать на Тишинский или на этот... как его... в сторону Марьиной рощи.

— Минаевский?

— Верно, Минаевский...

— Нет, кормилец, никаких Тишинских, а тем более Минаевских. Отправляйся-ка ты на Центральный.

— Как прикажешь. Что купить?

— А чего бы тебе хотелось?

— Мяса, Юр, какого-нибудь... и побольше.

— Хорошо... Сделаем филе миньон с грибами. Купи хороший кусок филейной вырезки и три кучки белых грибов... Деньги есть?

— Полный порядок, Юр. Что еще надо?

— Что еще? Белое сухое у меня есть, мука и специи тоже... Да, вологодского масла возьми и сметаны, но только густой. Вырезка, имей в виду, должна быть толстой, не меньше пяти сантиметров. И не забудь лук.

— Зеленый?

— Репчатый, отец, репчатый, притом синий.

— Вас понял! Буду через час.

Люсин с легким сердцем откупорил пиво и, весело пританцовывая, осушил бутылку. На душе было легко и беззаботно. Нашарив под диваном серые плетеные мокасины, он спешно обулся. Хозяйственной сумки у него не было, авоську он где-то посеял, и потому ничего другого не оставалось, как схватить портфель.

— «Уходим по́д воду в нейтральной воде...» — пропел он, сбегая вниз. Через час он уже был на Лесной, в уютной, но крохотной, как камбуз на самом завалящем лихтере, кухоньке.

Пока Юра тушил грибы и доводил до коричневого колера муку, Люсин слопал кусок батона с маленьким красным перчиком, который украдкой отщипнул от висевшей на стене вязки. Перчик оказался дьявольски коварным, и Люсин первое время не мог даже закрыть рот, до того все горело. Но, к счастью, Юра вовремя велел достать из холодильника вино. Люсин ловко извлек тугую длинную пробку и как следует приложился. Только тогда ему полегчало.

— Кисловато. — Он еле перевел дух. — Еще не уксус, но уже не вино.

— Варвар, — укоризненно взглянул на него Березовский. — Кто так пьет? Это же настоящее бадашоньское! — Он заткнул бутылку специальной дырчатой пробкой и обрызгал мясо, которое пустило уже на сковородке розовато-коричневый сок. — Сейчас закипит, и блюдо будет готово! Запах-то чуешь, старик? Божественно!

Вопреки всем правилам этикета они при молчаливом попустительстве Березовского ограничились минимальной сервировкой. Филе-миньон ели прямо со сковородки, стоя у плиты, а знаменитое венгерское вино поочередно допили из бутылки. Потом Юра долго

и со вкусом объяснял, как это следовало бы проделать по всем правилам.

— Ты очень интересно рассказываешь, — удовлетворенно вздохнул насытившийся Люсин, — но ведь это чистая случайность, что мы застряли в городе. Представь себе, что мы пируем где-нибудь на лужайке, у костра...

— Только это нас и оправдывает. Кинем морского, кому мыть?

Жребий пал на Люсина. Он бросил сковороду в мойку, пустил горячую воду и вооружился капроновой щеткой.

— Что пишешь? — спросил он, принимая из рук Березовского кухонное полотенце.

— Историко-приключенческую повесть.

— Из какой жизни?

— Средняя Азия. С первого по тринадцатый век.

— Почему именно этот промежуток?

— Интереснейший период! Огнепоклонники. Распространение буддизма из Индии. Смешение культур. Бактрия. Кушанское царство.

— Мне это, прости, ничего не говорит. Профан.

— Я пока тоже. Но читаю. Скоро буду на уровне.

— Удивительный ты человек, Юр! Каждый раз хватаешься за новое. Другие писатели десятилетиями на одной теме сидят, а ты носишься по эпохам и континентам. Порхаешь, так сказать...

— Так ведь интересно! Скучно мне одно и то же пережевывать, понимаешь? На освоенном материале работать, конечно, легче, но тоскливо как-то... Нетерпение меня подстегивает все время, старик, нетерпение. Точнее слова не нахожу... Нет, не любопытство это, а именно нетерпение... Хотя и любопытство, конечно, тоже.

— Очень логично, сэр. Но я тебя, кажется, понимаю. А чем все-таки ты объяснишь свой выбор? Ну, допустим, тебя гонит нетерпение, жажда нового, скажем, и ты бросаешься на поиски чего-то непривычного, экзотического. Но выбор? Чем продиктован твой выбор? Почему вдруг Средняя Азия, а не Центральная Америка?

— Я написал уже книгу «Золото инков».

— Ах да, помню, прости... Ладно, пусть не Америка — Африка. Чем тебе не нравится государство Бенин?

— Я не был в Африке.

— А в Америке был?

— И в Америке не был, — рассмеялся Березовский. — Только уж очень интересной показалась мне история о пропавших сокровищах инков. Написать захотелось... Зато в Средней Азии бывал не раз. В Бухаре, Самарканде, Хиве, Термезе, даже в Шахрисабзе, где родился Тимур... А на тему натолкнулся случайно. В прошлом году Генка Бурмин пригласил меня на раскопки в Курган-Тепе.

— Гена уже ведет раскопки? — удивился Люсин. — Я думал, он еще в аспирантуре учится...

— Одно другому не мешает... Аспирантуру он уже два года, как закончил. В кандидаты вышел. Раскапывает теперь буддийский монастырь Аджина-Тепе.

— Интересно...

— Очень интересно, старик! Домусульманский период в истории нашей Средней Азии — сплошная нераскрытая тайна. Если бы ты видел эти древние развалины в пустыне! Блеск черепков в лунном свете! Облупленные фрески... Таинственные ступы... А сама пустыня? Особенно весной, когда море тюльпанов и ветер от зацветающей полыни зеленый и горький! Эх, даже сердце сосет, до того хочется снова все повидать.

— Ну и поезжай себе на здоровье. Уверяю тебя, что в Каракумах сейчас ненамного жарче, чем тут. И гари этой нет.

— Гари! — усмехнулся Березовский. — Там воздух сух и ароматен. Он прозрачен, как горное озеро в Шинге. С холма открывается необозримый вид на далекие горы, тонкий контур которых словно висит между землей и безоблачным небом.

— Осваиваешь тему, чувствуется.

— Думаешь, я шучу?

— С чего ты взял? Я ведь тоже кое-что повидал... Ты сейчас рассказывал, а у меня перед глазами пустыня стояла, черный щебень, пыльные скалы Памиро-Алая, серые развалины в зарослях саксаула. Так что я тебя вполне понимаю. Будь я на твоем месте, махнул бы куда-нибудь в Ургенч либо в Хорог... Кумысу бы испить!

— «Махнул»! А работать кто за меня будет? В архивах копаться? По музеям рыскать? Нет, мне пока рано ехать.

— Не горюй! Закончишь свои разыскания и махнешь. Каких-нибудь пять часов на самолете, и все дела. Ни виз не надо, ни пропусков... Гена, значит, монастырь буддийский раскапывает... А Мария как? По-прежнему в Аэрофлоте?

— Не знаю. Они ведь разошлись, братец, и, кажется, уже давно, чуть ли не в позапрошлом году.

— Разошлись? Но почему?!

— Откуда я знаю? Разошлись, и все...

И тут «картинка» у Люсина в голове возникла. Ночная вода, черная, неподвижная. Белый пар над ней стелется, колышется изредка под легким дуновением ветра. Тяжелые, наполненные лунным сиянием капли скатываются с нависающих листьев и трав. Сонными кругами разбегаются фосфорические шарики по лакированной глади. Невидимые паутинки то вспыхивают тончайшими лучиками, то угасают в непроглядной тени. Совы кричат и болотные выпи. Летучая мышь кувыркается в вышине, и диск восходящей луны пепельно туманится, заслоненный на мгновение перепончатым крылом. Но вдруг задувает ветер сильнее. Холодный туман гонит с лесных оврагов и медвяных лугов. И вот уже все утонуло в холодном облаке, и только луна еще лоснится сквозь колышущиеся волокна расплывчатым сальным пятном. Но вскоре и

она меркнет. И никто не увидел и не услышал, как всплеснула за туманом сонная вода.

«К чему бы это?» — подумал Люсин.

— Ты чего? — Березовский удивленно взглянул на Люсина. — Ну и видок у тебя, отец!

— А? — Люсин с трудом возвращался к действительности. — Чего?

— Да ничего! Просто ты был вылитый роденовский «Мыслитель» с некоторым налетом ротозейства.

— Праздничного верблюда, начиненного барашками, ел? — спросил Люсин, чтобы перевести разговор.

— Что там верблюд! — пренебрежительно фыркнул Березовский. — А лягушку по-королевски ты пробовал? То-то и оно! Знаешь, как ее готовят? — И, не дожидаясь ответа, принялся объяснять, смакуя подробности: — Берут зеленый кокос и, не срывая его с пальмы, подрезают один из трех ростков. Потом сверлят в этом месте крохотную дырочку и пускают в орех манюсенького головастичка. Понимаешь? Дырку не замазывают, чтобы он не задохся. Соображаешь? Через три месяца головастик вырастает в здоровеннейшую тропическую лягушку, всю как есть пропитанную кокосовым молоком. Тогда ее жарят во фритюре и соответственно употребляют по назначению. Причем всю целиком, а не только лапки, как обычно. Это объедение! Воздушный поцелуй храмовой танцовщицы!

— Впечатляет.

— Эх, только на Востоке еще остались кое-какие чудеса в наш рациональный век проблемы окружающей среды.

— Полагаешь? — меланхолично осведомился Люсин.

Глава вторая

ПРОБА СИЛ

Утро понедельника преподнесло Марку Модестовичу Сударевскому несколько неприятных сюрпризов. На станции «Планерная», где находился его научно-исследовательский институт, он поскользнулся и чуть не упал в оставшуюся после ночной грозы мутную глинистую лужу. Неуклюже взмахнув над головой туго набитым портфелем, он сорвал с себя очки, которые тут же исчезли в желтой воде. Только чудо помогло ему сохранить равновесие и устоять на ногах. Но светло-серый, в мельчайшую клетку костюм «столетие Одессы» покрыли отвратительные охряные брызги. А потом Марку Модестовичу пришлось нашаривать в луже очки.

Беда не приходит одна. Едва он появился в дверях лаборатории, как заплаканная Дагмара Петровна ошарашила его новостью, что гигантский кристалл циркона, который они бережно выращивали шестнадцать недель, окончательно запорот. Но не успел бедный

Марк Модестович даже задуматься над возможными последствиями неудачи, как на его столе затренькал внутренний телефон. Звонила секретарша директора Марья Николаевна. Игнорируя вежливый лепет приветствий, она сугубо официально предложила старшему научному сотруднику Сударевскому подняться к Фоме Андреевичу. И это было самой худшей из всех свалившихся на него в то утро невзгод. Он мог лишь гадать, как и когда провинился перед директором, поскольку ничего, кроме разноса, от встречи с ним не ожидал.

Марк Модестович надел халат, что сразу же придало ему деловой, энергичный вид и несколько прикрыло изъяны пострадавшего костюма. Отмыв помутневшие от подсыхающей глины очки в тонкой золотой оправе и протерев их замшей, он вышел в коридор. Для успокоения нервов достал сигарету, ломая спички, кое-как прикурил и сделал несколько торопливых затяжек. Швырнув окурок в фаянсовую урну, зашел в туалет причесаться перед зеркалом. Его смоляные вьющиеся волосы не нуждались в расческе, и он только пригладил их рукой. Видом своим остался недоволен. Лицо бледное, осунувшееся, под глазами нездоровые тени. На всякий случай проглотил таблетку но-шпы.

Войдя в приемную, он поклонился Марье Николаевне и тихо присел в самом дальнем углу, между канцелярским шкафом и столиком с кофеваркой. Секретарша едва заметно кивнула в ответ, не отрывая глаз от машинки. Печатала она двумя пальцами, но ловко и очень быстро.

Закончив лист, она разложила копии и отделила копирку, потом замкнула ящик стола и, прихрамывая, как подбитая утка, скрылась за зеленой кожаной дверью. Потянулись минуты ожидания. Несколько раз звонил телефон, но Марк Модестович не знал, как ему быть: то ли снять трубку и услужливо доложить потом о звонке секретарше, то ли отстраниться. Решил, что лучше инициативы не проявлять.

Вернулась Марья Николаевна и, ничего ему не сказав, уселась разбирать почту. Надрезав сбоку очередной конверт, бегло проглядев письма, она соединила их скрепкой. Некоторые пакеты оставались нетронутыми и шли в специальную папку, где золотом было вытиснено: «Лично». Марка Модестовича она, казалось, не замечала вовсе.

Когда он промучился уже достаточно долго и готов был напомнить о себе легким покашливанием, она вдруг сказала, кивнув на дверь.

— Пройдите к Фоме Андреевичу.

Марк Модестович торопливо вскочил, засуетился и, зачем-то пригнувшись, вошел в кабинет. Но здесь было пусто. Холодно сверкала полировка стола для заседаний, оловянный отсвет затянутого мглой неба дрожал в узорчатых стеклах книжных шкафов. Марк Модестович нерешительно замер на пороге. Необъятный кабинет всегда подавлял его своим сумрачным неприступным величием. Те-

перь же, когда Фома Андреевич пребывал в задней комнате, в которой закусывал или отдыхал на диване, Сударевский почувствовал себя еще более неуютно. В ожидании выхода Фомы Андреевича он приблизился к огромной, во всю стену, карте Союза, на которой трассами из рубинового полистирола были обозначены связи НИИСКа с городами страны, и стал изучать прихотливую береговую линию далекой Якутии.

Фома Андреевич появился с бумажной салфеткой в руках. Промокнув чувственные, капризно опущенные уголками вниз губы, он указал Сударевскому на ближний от своего кресла стул. Марк Модестович схватился за спинку и, почтительно склонив голову, подождал, пока сядет директор. Фома Андреевич уже было опустился в кресло, но вдруг встал, вышел из-за стола. Помедлив, он смахнул с пиджака хлебные крошки и протянул Сударевскому руку.

— Здравствуйте... э... Марк Модестович. — Директор скомкал салфетку и бросил ее в пепельницу, выточенную из массивной глыбы горного хрусталя. — Давно собираюсь с вами побеседовать... да, давно. Вы ведь у Ковского работаете?

— Совершенно верно, Фома Андреевич. — Сударевский инстинктивно спрятал ноги дальше под стул, хотя директор никак не мог увидеть со своего места запачканные глиной брючины. — У Аркадия Викторовича.

— Так-так... — пробормотал директор, не реагируя на приглушенное жужжание селектора. — У Аркадия Викторовича. — Он задумчиво поиграл ослепительно синей сапфировой призмой. — А где сейчас ваш Аркадий Викторович?

— Простите? — Весь напрягшись, Сударевский подался вперед.

— Я спрашиваю, — директор поморщился, — где находится в настоящее время Аркадий Викторович?

— Не знаю, Фома Андреевич... Дома, видимо, или на даче. Если разрешите, я могу позвонить, узнать. — Он выжидательно привстал.

— Не стоит. — Директор вяло махнул рукой и, откинувшись в кресле, расстегнул две пуговки на жилете. — Мы с вами, как положено, на рабочем месте находимся, а Ковский — на даче, видите ли... У него разве отпуск?

— Аркадий Викторович дома работает... — тонко улыбнулся Сударевский и многозначительно добавил: — Иногда.

— Учителя защищаете? — хмыкнул директор.

Марк Модестович с покорной улыбкой развел руками. Он осмелел и принял непринужденную позу.

По всему было видно, что неудовольствие Фомы Андреевича направлено не в его адрес. Неприязнь директора к шефу была общеизвестна. Лично Сударевскому это ничем не грозило. Напротив, при благоприятных обстоятельствах можно было даже кое на что и рассчитывать. Главное, не проглядеть нужный момент, уловить с полуслова намек.

— Что молчите-то?

Сударевский опять лишь руками развел.

«Что я могу вам ответить, Фома Андреевич? — заклинал он умоляющим взором. — Вы, как всегда, правы, но Аркадий Викторович действительно мой учитель, а я порядочный человек, и... неужели вы сами не понимаете двойственность моего положения? Нет, нет, вы, конечно же, все понимаете...»

— Не понимаю я вас, Марк Модестович, — нахмурился директор. — И как вы работаете в такой обстановке?

— Сегодня я узнал, что запороли монокристалл циркона. — Сударевский озабоченно помрачнел.

Нет, он не отвечал прямо на вопрос директора. Скорее, просто делился с ним заботами лаборатории, не считая для себя возможным что-либо скрывать. Даже самое неприятное.

— Ну, вот видите! — возмутился Фома Андреевич, хотя и не был в курсе таких отдельных частностей, как какой-то там монокристалл. Как будто не было у него других, куда более важных забот. Мало ли этих кристаллов выращивают у него в институте! Но непорядок есть непорядок. За него надо строго взыскивать. — Час от часу не легче!

Марк Модестович только вздохнул. Не его вина, если директор чисто деловое сообщение его принял как ответ на вопрос об условиях работы в лаборатории. Никто не может требовать от него, Сударевского, большего. Он и так выгораживал шефа как мог. Упомянув о цирконе, он подставлял под удар прежде всего самого себя, поскольку являлся ответственным исполнителем темы. Фоме Андреевичу это, вероятно, известно. А если нет, то тут он, Сударевский, тоже не виноват. Не стучать же себя кулаком в грудь: не вели, мол, казнить, а вели миловать.

— Я отсутствовал в институте почти всю неделю, Фома Андреевич, — как бы между прочим, пояснил Сударевский. — В среду я был в Панках, в четверг и пятницу провел в патентной библиотеке. Дело в том, что Комитет по делам открытий и изобретений...

— О ваших открытиях потом, — досадливым жестом оборвал его директор. — И вообще, почему я должен разговаривать о сложившейся в лаборатории нездоровой обстановке с вами, а не с заведующим?

— Простите, Фома Андреевич! — проникновенно откликнулся Сударевский. — Простите! — Кого и за что надобно было простить, он не уточнял.

Директор с некоторым удивлением посмотрел на него, прищурился с вялым раздражением, но вдруг прояснел взором, как будто набрел на интересную идею.

— Не берите на себя чужие грехи, Марк Модестович. — Он снисходительно улыбнулся. — Где Аркадий Викторович, вы, значит, не знаете?.. Так! — Он отшвырнул призму и поманил Сударевского придвинуться поближе. — Тут вот какое дело... — понизил голос Фома Андреевич.

— Слушаю, — с готовностью прошептал Сударевский, подавшись вперед.

— Ваш Аркадий Викторович вроде бы как пропал.

— Как так пропал?! — воскликнул Сударевский и даже подпрыгнул от неожиданности. — Не может быть!

— Все может быть, абсолютно все, — авторитетно заверил его директор. И, чеканя слова, холодно и сухо пояснил: — Гражданин Ковский исчез при загадочных обстоятельствах и разыскивается в настоящее время компетентными органами.

И такое отчуждение чувствовалось в его словах «гражданин» и «компетентные органы», что Сударевский только ахнул. Будь на его месте какая-нибудь верующая старушка, она бы перекрестилась, но Марк Модестович смог выразить всю гамму охвативших его чувств лишь болезненным стоном.

— Что же это, Фома Андреевич? — прошептал он со слезами на глазах. — Как понимать?

— Пока ничего точно не известно. Но я связался... Надеюсь, вы меня понимаете?.. Одним словом, я отдал распоряжение провести тщательное расследование. Видимо, уже сегодня к нам приедут наделенные специальными полномочиями люди... Имейте в виду, Марк Модестович, что я сообщаю вам информацию совершенно конфиденциального характера, только для личного сведения.

— Конечно, Фома Андреевич, — Сударевский прижал руку к сердцу, — какие тут могут быть разговоры. Я все понимаю.

— Очень хорошо, — одобрил директор. — Постарайтесь усвоить и другое... В создавшихся условиях, для вас это должно быть очевидным, лаборатория не может оставаться без руководителя... даже по чисто формальным соображениям... Мне кажется, что в качестве врио заведующего лучше всех подходит именно ваша кандидатура.

Сударевский ощутил прилив горячей крови к щекам и приятное обмирание сердца. Предчувствие явно не обмануло. Но он никак не ожидал, что все случится так скоро. Не знал, плохо это или хорошо. Шевельнулась соблазнительная мысль, что чем скорее, тем лучше. Он уже готов был пробормотать какую-нибудь приличествующую случаю нелепицу.

«Достоин ли я, Фома Андреевич? — вертелись на языке готовые фразы. — Смогу ли?.. Спасибо вам за доверие... Постараюсь оправдать... Не знаю лишь, насколько этично...»

Но острая догадка внезапно парализовала этот поток благодарственных, полных ложной скромности слов, не дала ему пробиться наружу.

— Извините меня, Фома Андреевич, — с усилием произнес Сударевский, — но пока о судьбе Аркадия Викторовича не станет известно более определенно, я не смогу, пусть даже временно, занять его место.

— Боитесь, обвинят в том, что подсидели учителя? — с неожиданной прямотой спросил Фома Андреевич.

— Боюсь, — честно признался Сударевский. — Но не это главное. Когда все прояснится, а я уверен, что так оно и произойдет, мне будет трудно взглянуть Аркадию Викторовичу в глаза.

Фома Андреевич ничего не сказал и лишь оглядел Сударевского зорко и недоверчиво.

— Вы уж поймите меня, — пробормотал Марк Модестович, угнетенный тяжелым молчанием.

Он отчаянно стремился не промахнуться, не отрезать своим вынужденным отказом пути назад.

— Ваши чувства похвальны, Марк Модестович, — пухлые губы Фомы Андреевича сложились в ироническую улыбку, напрочь опровергавшую смысл произнесенных слов, — но дело есть дело. Оно не располагает к сантиментам.

— Может быть, некоторое время спустя... — Сударевский отчаянно хватался за ускользающую возможность, но не находил нужных слов. — Вы же знаете, Фома Андреевич, что значит для меня работа, институт... Вот если бы неофициально...

— Детство какое-то! — фыркнул директор. — Вы что, только на свет народились? Назначение врио заведующим лабораторией проводится приказом, как положено, с выплатой разницы в зарплате... Думаю, что здесь, как и в печальной истории с вашим, точнее, Аркадия Викторовича, открытием вы проявляете ложную принципиальность и, скажу вам прямо, недальновидность... Но вам виднее, вам виднее. Как говорится, вольному воля.

— Я глубоко раскаиваюсь в истории с открытием, — сказал, как в омут кинулся, Сударевский.

Фома Андреевич насупил кустистые, с заметной сединой брови и вновь исподлобья глянул на Сударевского. Марку Модестовичу даже показалось, что в серых холодных глазках директора промелькнуло недоумение. Шевельнулось желание все немедленно объяснить, откровенно обо всем договориться. Только как? Полностью открыться Фоме Андреевичу было бы, мягко говоря, опрометчиво, а половинчатость могла лишь усилить его недоверие.

Но, видимо, интерес директора к своему старшему научному сотруднику был настолько силен, что Фома Андреевич решил хотя бы лишь для начала столковаться там, где это окажется возможным.

— Глас разума, даже запоздалый, всегда приятно слышать, — пошутил он и выжидательно замолк.

— Вам, лично вам, Фома Андреевич, — Сударевский легко взмахнул рукой, словно соединил свое и директорское сердца невидимым проводом, — могу признаться, что всегда недоброжелательно относился к этой затее. Я имею право так говорить, потому что шел с Аркадием Викторовичем до конца. Это во-первых... А во-вторых, директору подобных слов обычно не говорят, я в вас, Фома Андреевич, всегда видел мудрого и снисходительного наставника. Я, вы же знаете, не карьерист, и мне незачем прибегать к недостойной

нас обоих лести, но против очевидности не попрешь. Я вырос в вашем институте и, развивая ваши, в конечном счете, идеи, добился кое-каких, пусть скромных, успехов... Аркадий Викторович человек очень увлекающийся, безусловно талантливый, но, опять-таки только для вас, абсолютно лишенный критического начала. Мне, конечно же, следовало уговорить его не торопиться с оформлением открытия, подождать, лишний раз все перепроверить, а я вместо этого покорно пошел у него на поводу.

— Чем, кстати, прежде всего навредили себе самому.

— Конечно, — с готовностью согласился Сударевский. — На меня посыпались все шишки, потому что... как бы это поточнее сказать... Аркадий Викторович несколько оторван... от жизни. Но я не жалуюсь. Кроме себя, винить мне некого.

— Напрасно вы так думаете... Очень напрасно. Винить в первую голову нужно вашего шефа. Он достаточно опытный человек, чтобы не понимать, в какую немыслимую авантюру вас втравил. А ведь перед вами открывались прекрасные перспективы! Докторская диссертация, самостоятельная работа большого народнохозяйственного значения. — Директор сделал многозначительную паузу, давая собеседнику осознать всю глубину совершенной ошибки, и, как бы невзначай, спросил: — Не пора ли исправить положение?

— Видимо, пора, — слабо улыбнулся Сударевский. — И прежде всего мне нужно открыто и честно сказать Аркадию Викторовичу все, что я думаю по поводу этого злополучного открытия.

— Вот именно — злополучного! — подхватил Фома Андреевич. — Ну только подумайте, чего вы достигли? Поставили под угрозу защиту диссертации, восстановили против себя отделение, да и в самом институте ваши позиции оказались заметно подорванными... Разве мало?

— Виноват, Фома Андреевич, кругом виноват. Расплачиваюсь за собственное легкомыслие.

— Неужели вы не видели, в какой омут затянул вас Ковский? Знахарство какое-то, а не наука! Я допускаю что нельзя целиком отвергать интуитивное знание древних, стихийную мудрость рудознатцев и прочих алхимиков. Я не за то, чтобы вместе с водой выплескивать и дитятю. Тем более, что Ковскому действительно удалось воскресить несколько забытых рецептов. Я до сих пор не понимаю, в чем смысл варки самоцветов в меду или запекания их в хлебе. Рациональности не вижу в таких знахарских процедурах. Если это действительно улучшает цвет камней, их оптические свойства, то пожалуйста, варите себе на здоровье. Говорят, он у себя на дому даже с цветами общается. Ни в какие ворота не лезет! Добро бы с кошкой или даже с птичками. У них хоть мозги и нервная система имеются. Но зачем превращать науку в балаган? Кто только не побывал у вас в лаборатории: падкие на сенсации журналисты, какие-то гомеопаты, циркачи, индологи-тибетологи... Голова кругом идет! А институт у нас, между прочим, режимный.

Комендант не раз жаловался мне, что Ковский не задумывается над тем, кому именно просит выписать пропуск... Но и это бы еще полбеды! Нравится вам всякая чертовщина, чепуха всякая на постном масле — занимайтесь, слова вам никто худого не скажет. Но если подобное увлечение идет во вред основной работе? Сами посудите, как я должен реагировать на то, что ведущая лаборатория фактически предоставлена самой себе? Как корабль, извините, по воле волн... Заведующий в институте почти не бывает, каждый занимается чем он хочет, без всякого контроля со стороны. Мы долго терпели, снисходя к научным заслугам Аркадия Викторовича, щадя его возраст, — как-никак три года до пенсии. Но ныне, когда — вы сами вынуждены были это признать — под угрозу поставлена вся программа, подобное положение совершенно нетерпимо. Сколько времени выращивался тот монокристалл? — раздраженно дернул плечом директор.

— Шестнадцать недель, — поник головой Сударевский. Казалось, что он никогда больше не сможет оторвать взгляд от пола и посмотреть Фоме Андреевичу в глаза.

— Вот видите! Шестнадцать недель непрерывного опыта! А ведь за этой цифрой стоят большие расходы государственных средств, износ дорогого оборудования, затраты на поддержание давления и температуры, между прочим, зарплата... И все пошло насмарку по причине — будем называть вещи своими именами — халатности и разгильдяйства!.. Эта история, в которую замешан, кстати, уголовный розыск, — закономерный финал. Могу, коль об этом уж зашла речь, дать вам совет: когда будете беседовать с представителями следственных органов, не старайтесь особенно выгораживать Ковского — только себе повредите. Шила в мешке не утаишь.

— Но в чем обвиняют Аркадия Викторовича? Что он такого сделал?!

— Не знаю. Может быть, и ничего. Но то, что незапятнанное до того наше с вами учреждение оказалось причастным к чьим-то, не берусь судить, чьим именно, темным делишкам, целиком на совести Ковского. Просто так, ни с того ни с сего, люди, согласитесь, не исчезают. Подумать только: чтобы доктора наук искал угрозыск! Только этого нам недоставало!.. Позор какой!

— Я ничего не понимаю, Фома Андреевич! — Сударевский сморщился от боли в левом виске. Начиналась мигрень.

— К сожалению, ничем не могу вам помочь. — Директор демонстративно развел руками. — Но выводы из сказанного советую сделать. Хорошенько подумайте, прежде чем станете давать оценку личности вашего бывшего шефа и его действиям.

— Вы так говорите об Аркадии Викторовиче, будто его уже и в живых нет.

— Во всяком случае, нашему ученому совету с ним придется расстаться. Это твердое решение. Эпоха либерализма кончилась. Так что подумайте денек-другой над моим предложением, Марк

Модестович. Нечего вам попусту-то казниться. Проведем вас приказом, а там, бог даст, защитите докторскую, и на конкурс можно будет подать. Ну как, подумаете?

— Подумаю! — довольно кивнул Сударевский, вставая.

Компромисс, который с таким тактом предложил ему Фома Андреевич, он принял с радостью. Обещание же подумать ни к чему его не обязывало. Дать его требовала элементарная вежливость. Это и дураку ясно.

— Вот и славно! Значит, мы вскоре вновь с вами увидимся. — Фома Андреевич придвинул к себе красную папку с золотой надписью «К докладу» и углубился в бумаги

Сударевский замешкался и, не зная, как ему быть, схватился за спинку стула. Мысленно гадал, совсем ли его отпустили или же он еще может понадобиться.

— Да, — сказал Фома Андреевич, поднимая глаза от бумаг, — есть мнение поддержать предложение о посылке вас на предстоящий конгресс в Амстердам.

«Это судьба, — подумал Сударевский. — С этим ничего не поделаешь. Судьба». Он медленно опустился на стул, с трудом соображая, что Фома Андреевич глядит на него и, видимо, ждет каких-то, скорее всего благодарственных, слов. Но боль в виске уже вызывала тошноту, а колени дрожали так сильно, что он был вынужден обхватить их руками.

— Да что с вами, Сударевский? — Фома Андреевич выпятил подбородок, что считалось проявлением крайнего неудовольствия.

— Простите, Фома Андреевич. — Марк Модестович все же сумел взять себя в руки. — Это от неожиданности... Так много всего, разного... Печальное известие об Аркадии Викторовиче и ваше лестное предложение... Позвольте мне горячо вас поблагодарить, — спохватился он. — Я понимаю, что командировка в Амстердам ко многому обязывает, и постараюсь оправдать ваше доверие...

— Хорошо, хорошо, — снисходительно отмахнулся директор. — Вы там будете на месте. Насколько я знаю, ваш доклад, — Фома Андреевич вновь дал ясно понять, что отныне Ковский для него не существует, — вызвал в Оргкомитете большой интерес. Особенное внимание привлекла ваша, — он и здесь подчеркнул, что не желает более и знать другого соавтора, — идея изменения окраски кристаллов посредством облучения тяжелыми ионами. Это действительно очень интересно. Советую развернуть доклад именно вокруг тяжелых ионов, а про алхимию да знахарство лучше не упоминайте. Стыдно.

Марк Модестович вновь поблагодарил директора и поспешил откланяться.

Глава третья

СУМАСШЕДШИНКА

Люсин отпер кабинет и, облегченно переведя дух, сбросил пиджак. Нацедил из сифона полстакана тепловатой, выдохшейся газировки. Вода была кислая и явственно отдавала резиной. Он развязал галстук и, подойдя к окну, задернул занавески. С сожалением покосился на закрытую форточку. Из-за смога ее лучше было не открывать. «Надо спросить у пожарников, собираются ли они тушить свои болота. Сегодня, по-моему, еще хуже, чем вчера. Дышать невозможно».

До потемнения в глазах захотелось искупаться. Он увидел белую пену, сбегающую с палубы, голубоватые ледяные горы на горизонте, мокрые роканы товарищей. Услышал треск вырывающейся из поливного шланга забортной воды, стеклянный шелест ледяного сала, гомон птичьего базара на черной одинокой скале. Но горячая, промокшая на спине рубашка не слишком располагала к сосредоточению духа и самогипнозу. Расстегнув ремешок, он выпустил рубашку наружу и попытался овеять влажное, разгоряченное тело.

«Пустой номер. Надо бы раздеться совсем...»

Он привел себя в порядок, повернулся к сейфу. С вялым интересом следил за тем, как суровая нитка разрезает зеленый пластилин с четким оттиском медной номерной печатки. Дверца и особенно хромированная ручка изрядно нагрелись на свету, но стальное нутро сберегло какую-то видимость прохлады. Прикосновение к стенкам приятно холодило руки.

«Жаль, что это все-таки несгораемый шкаф, а не холодильник», — усмехнулся Люсин. Отодвинув пистолет Макарова, он вытащил тощую папку и метко швырнул ее на середину стола. Рубашка просыхала медленно, и садиться поэтому не хотелось. Кожаная спинка стула казалась липкой и внушала отвращение.

Чтобы не нагибаться, он взял красный телефон в руки и, зажав трубку плечом, позвонил в академическую поликлинику. Но дело не выгорело. В регистратуре ему категорически заявили, что на телефонные запросы поликлиника не отвечает.

— Так мне нужна всего лишь группа крови вашего пациента! — От неожиданного афронта Люсин, что называется, потерял лицо. — Не диагноз, не врачебные тайны, не секреты космической медицины!

— Не имеет значения, — отклонила его домогательства собеседница. — Таков порядок... Если хотите, обратитесь к заместителю главврача Джульетте Михайловне.

Но Люсин уже ничего не хотел.

«Ну бюрократы! — Он тяжко вздохнул и отставил телефон подальше. — Придется съездить к ним самому».

Настроение окончательно испортилось.

«Из-за чего? Ну только подумай, из-за чего? — спросил он себя. — Будем реалистами».

— К тебе можно? — проворчал Крелин, властно распахивая дверь.

— Яшка! — обрадовался Люсин. — Ты необыкновенно кстати... Заходите же, ребята! — Он улыбнулся маячившему за спиной Крелина Глебу и захлопнул черный зев сейфа. — Рассаживайтесь.

— Есть новости? — Крелин крепко пожал Люсину руку и вынул сигареты.

— Ноль целых, ноль десятых. — Люсин подвинул ему пепельницу. — Дела тебе не хватает?

— И то верно, — согласился покладистый криминалист и сунул измятую коробку «БТ» обратно в карман. — Мое послание получил?

— Да, конечно, спасибо тебе... Где был?

— Убийство в Варсонофьевском переулке.

— Что-нибудь интересное?

— Пьяная драка. Двое молодых парней избили случайного прохожего. Смерть наступила от множественных ранений черепа...

— Взяли?

— Одного... Другой успел скрыться, но это, как ты понимаешь, не вопрос. Найдут.

— Совсем спятили!

— Не иначе, — согласился Крелин. — Но вернемся к нашим баранам. Я только что из лаборатории.

— Ты мой благодетель, Яша! — Люсин потрепал его по плечу. — Вам здорово повезло с шефом, — подмигнул он Глебу. — Так что в лаборатории?

— Видал Наташу. Просила передать тебе привет.

— И только-то?

— По-моему, она по тебе сохнет, — усмехнулся Крелин. — Анализ, во всяком случае, готов.

— Порошок?

— Как ты думаешь, что это оказалось?

— Если бы я это знал, то не стоило бы утруждать химиков.

— Логично... Одним словом, это меркамин. — Крелин положил на стол бланк экспертного заключения. — Вещество обладает специфическим запахом меркаптана. Идентифицировано по молекулярному весу — сто тринадцать с десятыми и температуре плавления — семьдесят один градус.

— Так вот откуда этот тошнотворный запах мертвечины! — Люсин схватил бланк. — Как же я сразу не распознал! Ведь меркаптан чувствуется в воздухе уже при концентрации одна, кажется, триллионная доля грамма на литр... Ну, ладно, ну, хорошо. Сейчас мы посмотрим. — Он метнулся к шкафу, присел и выискал на нижней полке нужный том химической энциклопедии. — Значит, меркамин... Все верно: молекулярный вес — кстати, теперь надо

говорить «молекулярная масса» — и температура плавления... Где же он применяется? Ага. Вот! «Меркамин способен ослаблять действие ионизирующего излучения на организм; его применяют для профилактики и лечения лучевой болезни, возникающей, в частности, при рентгено- и радиотерапии»... Что скажешь?

— Знаю. — Крелин щелкнул пальцами. — Я говорил с Аркадием Васильевичем... Дело, видимо, еще серьезнее, чем нам показалось.

— Но ведь это след, Яша! И какой след! — Люсин поставил энциклопедию на место и, сосредоточенно покусывая губы, остановился у стола.

— Разумеется. — Крелин непроизвольно зевнул. — Извини, не выспался... Аркадий Васильевич советует начать с рентгеновского института. Это головное учреждение, и там должны знать, где работают с меркамином.

— Хорошо, — одобрил Люсин. — Можно еще обратиться в Минздрав, к главному онкологу... Сделайте это, ребята! А? Мне одному не поспеть. Боюсь, что НИИСК из меня все соки выкачает...

— Мы как раз с этим к тебе и пришли. Пора сколачивать постоянную группу. Поговори с Григорием Степановичем.

— Ладно... Сегодня же и поговорю. За это дело надо браться всерьез, ты, как всегда, прав, Яша... Вы не возражаете, Глеб?

— Что вы, Владимир Константинович! Как можно? — Логинов явно обрадовался. — Спасибо.

— Спасибо — да, или спасибо — нет? — уточнил Люсин.

— Да, — улыбнулся немногословный Глеб.

— Мы тогда с ним, — Крелин кивнул на стажера, — решили, что порошок рассыпали вместо табака...

— Помню, — кивнул Люсин. — Хотя это и глупо, раз они на мотоцикле. Собака все равно следа не возьмет.

— В том-то и дело. — Крелину показалось, что в глаз попала соринка, и он осторожно оттянул веко. — Но вдвойне глупо было применять сравнительно редко встречающееся соединение. — Он отчаянно заморгал. — Нелепица на нелепице.

— Муха залетела? — спросил Люсин, всматриваясь в покрасневший слезящийся глаз. — Покажи.

— Кажется, уже все в порядке. — Крелин крепко зажмурился. — Да, это очевидная глупость. — Отер кулаком выступившие слезы. — Но это-то и внушает особую тревогу.

— Я тоже так думаю. — Люсин наконец сел. — Несмотря на очевидные промахи наших контрагентов, картина запутывается. Сегодня нам еще труднее квалифицировать преступление в Жаворонках. Убийство? Похищение? Кража?..

— Или шутки старого химика? — перебил его Крелин.

— Как так? — удивился Глеб, напряженно следивший за разговором. — Это что-то новое.

— Ты полагаешь? — усмехнулся Крелин.

— Все, конечно, бывает. — Люсин сунул в рот костяной мундштучок. — Один академический деятель, пребывая в старческом маразме, тоже сбежал из дому при странных обстоятельствах, а потом его отыскали в Паланге с молодой аспиранткой... Но тут, конечно, другое... То, что мы принимаем за очевидную глупость, может обернуться изощренным коварством.

— Поясни. — Крелин время от времени помигивал, проверяя, все ли в порядке. — Я не улавливаю.

— А я улавливаю! Что, если меркамин рассыпан вовсе не для того, чтобы сбить со следа собаку?

— А для чего? — спросил Глеб.

— Для чего? — Люсин вздохнул. — Хотел бы я знать... Мы вот решили с вами податься к медикам. А не кажется ли вам, что это нас сбивают со следа? Именно нас, а не служебно-розыскных собачек. Если все заранее предусмотрено? Замаскировано? Мы потратим уйму времени, отрабатывая подсунутую нам версию, и в конце концов придем к тупику. Что, если человек, рассыпавший меркамин, никогда не имел с ним дела? Нарочно подсунул порошок, который не имеет к нему никакого отношения?

— Такое возможно. — Крелии обмозговал выдвинутый Люсиным вариант. — Но даже в этом случае он должен был знать, что такое вещество есть, не так ли? Я, например, до сегодняшнего утра и не подозревал о его существовании.

— Знать мало. Нужно еще иметь возможность получить, — поддержал его Глеб.

— Теперь мы добрались до конца. — Люсин бросил мундштучок в ящик и попробовал отклеиться от спинки стула. — Если нас водят за нос, то делает это не уголовник, не профессиональный домушник, а человек с воображением, тонкая косточка...

— Он безусловно разбирается в химии, — сказал Глеб.

— Равно как и хозяин дачи, добавил Крелин.

— Но если нас не водят за нос, — Люсин, казалось, говорил сам с собой, — и эти олухи использовали меркамин именно так, как мы решили вначале, то со всей очевидностью обозначилась нить... Мы обязаны отработать этот вариант, дети! — Он резко встал. — Отправляйтесь, братцы, к рентгенологам. С Григорием Степановичем я договорюсь...

— Да будет так! — Крелин тоже поднялся. — Либо мы в самое ближайшее время поймаем этих, как ты их назвал, олухов, либо будем знать, что нас водит нечистая сила. — Он боролся с зевотой.

— Бесы, как у Достоевского, — пошутил Глеб.

— Лично я за олухов. — Глядя на отчаянно зевающего Крелина, Люсин потянулся.

— Я тоже. — Крелин помахал ему рукой. — Но боюсь, что так не будет. Есть, знаешь ли, какая-то сумасшедшинка... Будь здоров.

— Счастливо вам. — Люсин проводил их до дверей. — Я и сам чувствую, что есть... Ну ладно, там будем глядеть... Да, кстати, раз

уж вы пошли по медицинской части, то не сочтите за труд проверить группу крови. Загляните на улицу Ляпунова. Глеб знает.

— А позвонить туда разве нельзя? — удивился Глеб.

— В том-то и дело, что нельзя, — развел руками Люсин. — Замглавврача Джульетта Михайловна отвечает только на письменные запросы.

— Мы тебе позвоним, — сказал Крелин.

— Если меня не будет, передайте Лидоне. — Люсин прикрыл дверь и потянулся к пиджаку. «Яша мудрый человек. Надо ковать железо, пока горячо. Старик не сможет отказать».

Завязывая галстук, Люсин настраивал себя на важный разговор с генералом. Но двойной широкий узел вышел косым и нескладным. Пришлось развязывать и все начинать сначала.

Зазвонил городской телефон. Люсин повесил галстук на ручку оконной рамы и взял красную трубку.

— Вас слушают! — сказал он, наклоняясь, чтобы поднять упавшую на пол булавку с янтарной головкой.

— Извините, — голос был явно стариковский и очень знакомый, — могу ли я попросить к телефону Владимира Константиновича Люсина?

— Это я. С кем имею честь? — Он уже узнал старичка коллекционера, который изредка позванивал ему, чтобы поделиться своими страхами и сомнениями. Старик буквально дрожал за свою коллекцию. Любые перемены внушали ему тревогу. Он боялся нового жильца, занявшего жилплощадь покойного Витюси Михайлова, телевизионного мастера, который постоянно пребывает под газом и вообще похож на наводчика, даже инспекторшу Госстраха. Эта дама, как было доложено Люсину при последнем разговоре, бесцеремонно ворвалась в дом, угрожая, в случае отказа от страховки, всевозможными бедами.

«Что у него еще стряслось? — подумал Люсин. — Господи, пронеси».

— Здравствуйте, Владимир Константинович! — обрадовался старичок. — Я к вам по важному делу.

— День добрый, Лев Минеевич, — вздохнул Люсин. — Чем могу?

— Вы помните, конечно, Веру Фабиановну?

— Еще бы, Лев Минеевич. Есть, знаете ли, незабываемые моменты в жизни... У нее, надеюсь, все в порядке? Здорова?

— Да-да, Верочка пребывает во здравии. Я, собственно, о другом... У Веры Фабиановны есть приятельница. Должен сказать вам, что поспешная привязанность, которая вспыхнула вдруг между столь несхожими людьми...

— Дорогой Лев Минеевич, — каждое слово Люсин сопровождал энергичным кивком, — у вас очень интересные новости, но вы должны меня простить, я безумно занят. Не могли бы позвонить чуть попозже?

— Когда именно, Владимир Константинович?

— В конце дня, а еще лучше завтра.

— Но у меня же очень важное дело! — взмолился Лев Минеевич.

— У меня тоже. Я, дорогой вы мой человек, на работе. — Сжав зубы, Люсин мотал головой, как лошадь над торбой с овсом.

— Я понимаю! Я знаю, Владимир Константинович, что вы на государственной службе. Обеспокоить вас я решился только по причине большого человеческого горя. Помогите, Владимир Константинович! Пропал человек!

— Какой такой человек? — сразу насторожился Люсин и разжал зубы. — Кто пропал?

— Так я же вам все объясняю! У Веры Фабиановны есть приятельница, дама сугубо неуравновешенная, склонная к экзальтации...

— Вы не гражданку ли Ковскую имеете в виду? — Люсин сразу вспомнил, что при первой же встрече Людмила Викторовна осведомила его о своем знакомстве с Чарской.

— Ее самое, — подтвердил Лев Минеевич и с явным разочарованием спросил: — Значит, вы уже все знаете?

— Получается, что так, Лев Минеевич... Только знаю я далеко не все. Вера Фабиановна бывала у Аркадия Викторовича?

— Последнее время они были неразлучны... Не с профессором, конечно, а с ней, его сестрой.

— Ну, а с профессором-то она хоть была знакома?

— А как же! Верочка даже консультировалась с ним по оккультным вопросам... Кри-стал-ло-ман-ти-ки. — Лев Минеевич по слогам произнес, видимо, непривычное для него слово.

— Как-как? — не разобрал Люсин. — Кристаллографии? Вот уж не думал, что стару... — он поперхнулся, — что Вера Фабиановна разбирается в точных науках.

— Да. Она умеет гадать на кристалле, — с полной серьезностью подтвердил неискушенный Лев Минеевич. — У нее есть большой хрустальный шар из Франции. Только я не верю в эти фокусы, хотя должен признать...

Пока Лев Минеевич лепетал нечто маловразумительное по части волшебных свойств драгоценных камней, Люсин лихорадочно черкал свой набросок плана расследования.

«Вот она, сумасшедшинка! Яков почувствовал ее в белом снежке меркамина, в смрадном запахе трупного разложения. Но все завязалось значительно раньше, куда как раньше... Как только обмолвилась она в первую встречу про Чарскую, так словно ветер холодный прошел по ногам. Связь налицо, оказывается. На самом виду! У старухи древние ценности, редчайшие камни, а он в НИИСКе работает, опыты какие-то ставит... Как это сразу на ум не пришло, что камни, самоцветы разные, будь они прокляты, это тоже кристаллы и прежде всего кристаллы! А за старухой ведь многие охотились... Видимо, и теперь ее сокровища кое-кому покоя не дают. Но он-то, он-то при чем здесь, Аркадий свет Викторович?

Случайно у кого-то на дороге встал? Или, может, сам на что-то клюнул? Ведь неизвестно пока, что за человек, чем дышит и как живет! Ничего не известно. А может, не случайно Фома Андреевич насторожился? Он же директор, член-корреспондент, голова! Не мог он разве раскусить Аркадия Викторовича? Интуитивно понять, что он за птица. Но доказательства, чего-то реального нет, вот он и вынужден быть сдержанным. Люди-то разные бывают чувствуют и мыслят по-разному. Все проверить, каждую версию отработать, ни единой ниточки не упустить. А старуха Чарская это не нить! Стальной трос! Манильский канат! Словно кто-то кости бросает упорно из века в век. Ларец этот знаменитый, слуги его. Одних древние загадки гипнотизируют, других барыш влечет, и еще как влечет! Извечное проклятие рода людского! Нет ни одного знаменитого в истории камушка, который бы не был омыт человеческой кровью...»

А Лев Минеевич долдонил в трубку:

— Тогда я и говорю ей: напрасно вы, Верочка, полагаете, будто здесь не человеческого разумения ситуация сложилась. Милиция, говорю, и не такое распутывала. Я сам от товарища Люсина, от вас, значит, Владимир Константинович, слышал, что сатанинской светящейся краской в обыкновенном магазине из-под прилавка торговали и только своевременное вмешательство участкового инспектора смогло пресечь этот далеко зашедший бизнес.

— Вот именно, — с покорностью обреченного подтвердил Люсин. — Вы совершенно правы, Лев Минеевич.

Приглушенно загудел внутренний.

— Одну минуту! — сказал Люсин и прижал к другому уху зеленую трубку: — Люсин у аппарата.

— А она мне отвечает... — оживился Лев Минеевич.

— Приветствую вас, Люсин. Ашотов говорит, — отозвалась одновременно вторая трубка.

— Подождите, пожалуйста, Лев Минеевич, я говорю по другому телефону. — Люсин положил красную трубку на стол. — Рад вас слышать, Гурий. Что нового?

— Сперва вы скажите мне, что дала дактилоскопическая экспертиза?

— Ничего. Таких отпечатков в картотеке нет. Не знаю только, насколько это надежно. У нас было всего два пальца, причем один размытый...

— Жаль... Но насчет надежности вы зря сомневаетесь. Машина делает сравнение по одному отпечатку столь же уверенно, что и по полной карте.

— Я знаю, но, понимаете, абсолютной уверенности...

— Можете верить, Люсин. Да, очень досадно, что пациент на учете не состоит!

— Еще бы! А что у вас?

— В том-то и дело, что мы отобрали кандидатов! Четырех...

— Вот это здорово! По почерку?

— Угу. По нашему алгоритму. Я навел справки; все четверо наши клиенты. Двое — в длительном отдыхе, поэтому вне игры. Я так надеялся, что пальчик не подведет и вы мне сами назовете одного из оставшейся пары.

— Весьма сожалею.

— Своим известием, Люсин, вы мне испортили триумф. Имейте в виду.

— Что делать, Гурий! Может, на всякий случай еще раз проверим их отпечатки?

— Эх вы, Фома неверующий! Машина не ошибается...

— И все-таки...

— Валяйте, только имейте в виду, что шансы у вас нулевые.

— Согласен... А вашу великолепную четверку вы мне все же отдайте.

— Пару.

— Тех, что отдыхают, тоже... Всякое, знаете ли, бывает...

— И тут не доверяете? Ну титан!

— На всякий случай, Гурий, на всякий случай.

— Не будет у вас никакого случая. Ваш гастролер — пятый. Так и знайте.

— На девяносто девять процентов.

— Такова ваша степень доверия?

— Нет, в ваши ЭВМ я верю на все сто. Просто я не знаю, кто именно оставил пальцы. Любитель «Беломора» или тот страшный субъект, который, имея в кармане «Пэл-Мэл», хватается за чужой «Дымок».

— Это уже ваша кухня.

— Совершенно справедливо.

— Тогда до скорого.

— Очень вам благодарен, Гурген. За мной обед в «Арарате».

— В «Арарате» угощать буду я, вы же подыщите что-нибудь другое.

— Постараюсь обдумать ваше предложение... Не возражаете, если я заскочу к вам минут через пять — десять?

— Приходите. Жду.

— Лев Минеевич! — Люсин схватил красную трубку. — Очень прошу вас, позвоните мне завтра. Мы обо всем с вами договоримся...

Вновь загудел внутренний.

— Извините меня, Лев Минеевич, улетаю! — Не дожидаясь ответа, он утопил рычажок. — Люсин слушает, — сказал он, сняв зеленую трубку.

— Ты что это на телефонах повис? — проворчал Крелин. — Глеб не мог до тебя дозвониться. Все занято.

— Да навалилось, понимаешь ли... Ты откуда?

— Из Минздрава. Сижу в приемной.

— Ждешь начальство?.. Понимаю! Но ничего не поделаешь, Яша, так надо. Главный онколог — это шишка.

— Я это вижу воочию... Но я к тебе по другому вопросу... Приехал Глеб.

— Ну-ну?

— Группа крови АВ. Резус положительный.

— Так... Та же, что и в саду.

— Да. У сестры, естественно, такая же. Можно не проверять.

— Досадное совпадение.

— Если это только совпадение, Володя.

— Думаешь, это его кровь?

— Очень возможно. Вероятность простого совпадения, как ты знаешь, двадцать пять процентов...

— Ладно, Яша, пусть будет так... Держи меня в курсе, сегодня я никуда не поеду.

— У начальства был?

— Сейчас иду, душа моя. Телефоны не давали.

— Поторопись, Володя, не подведи меня. На мне столько висит, если бы ты знал...

— Будь спокоен. Ручаюсь тебе, что сегодня же будешь прикомандирован исключительно к нашей группе.

— Смотри!

— Не волнуйся, Яков. Григория Степановича я беру на себя.

«Как прав оказался Старик! Это и впрямь мое дело. Удивительно все же, как он это почувствовал? Причем сразу, не располагая никакими конкретными сведениями! Что здесь: опыт или готовый результат скрытой работы подсознания? Нет, пока Гурий не найдет для подсознания подходящий алгоритм, мы можем не беспокоиться за свой кусок хлеба. Машины без нас ничего не сделают... Итак, перво-наперво — к Старику. Потом наша спецгруппа начнет действовать. Поищем «яву» с коляской, пройдемся по всем линиям. Что-нибудь обязательно прояснится. Как же иначе?.. Нужно будет договориться, чтобы нас немедленно ставили в известность о каждом неопознанном трупе... Портреты Ковского тоже не худо бы разослать. На то и колеса даны мотоциклу, чтобы ездить. Сегодня здесь, завтра там...»

Люсин быстро внес в план необходимые изменения и позвонил генералу.

— Разрешите зайти к вам, Григорий Степанович?

— У тебя срочное?

— В принципе — да.

— Ну, если только в принципе, тогда погоди. У меня тут народ собрался. В пятнадцать часов тебя устроит?

— Вполне, Григорий Степанович... Есть только одно «но».

— Тогда быстро.

— Я подключил Крелина.

— А разве он и так не с тобою?

— Отчасти. И то больше на первых порах.

— Обсудим.

— Я понимаю, но у него есть другие задания...

— Нашли что-нибудь серьезное?
— Полагаю, что так.
— Хорошо. Забирай его себе.
«Вот и уладилось».
Люсин спокойно завязал галстук, надел пиджак и, заперев кабинет, отправился в НТО к Ашотову.

Глава четвертая

РОБИНЗОНАДА СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ

С той минуты, когда Фрол с Витьком осознали свою непреодолимую оторванность от мира, начинается летопись их робинзонады. Огненная подкова совершенно отрезала Светлое озеро да луг с молодым соснячком на суходоле и от Электрогорска, и от бетонной дороги. Лишь тоненький перешеек одноколейки соединял еще не тронутый пожаром остров с Заозерьем. Но по рельсам днем и ночью сновали пожарные дрезины; маленькие паровозики толкали платформы с землеройными машинами и песком, шаткие зеленые вагончики с войсками. Стекольщик был не настолько наивен, чтобы надеяться незаметно проскочить по насыпи.

Он сразу понял, что район бедствия оцеплен, а коли так, то милиция в подобных мероприятиях играет далеко не последнюю роль. Первое время, услышав стрекот вертолета, Фрол тащил Витька́ в камыши, и они пережидали опасный момент, увязая в черной, хрусткой от улиток грязи. Но лиловый угарный дым столь плотно застилал землю, что можно было не прятаться.

В самом крайнем случае, если пожар перекинется на соснячок, решено было выйти на насыпь. На левом берегу озера находился как раз разъезд, где стоит поезд на Электрогорск, пока по одноколейке проходит встречный. Сейчас туда пригнали оборудованный бульдозером танк, а в тупике постоянно дежурила дрезина. От холма до разъезда было километров семь-восемь. Стекольщик не сомневался, что в случае опасности они сумеют прорваться туда не только на мотоцикле, но и на своих двоих.

Не слишком волновала его и проблема продовольствия. Огонь сгонял к озеру зверье со всей округи. Перепуганных, дрожащих в ивняке да камыше зайцев можно было брать прямо руками. Хватало и птицы. Одурманенные дымом утки, кулички, водяные куропатки трепыхались в осокорях, бессильно били по воде перепончатыми лапами, крутясь на месте и затихая. Одна беда — змеи. Ужи да гадюки со всего классона спешили укрыться в Светлом. Витьку́, не отличавшему ядовитого гада от желтопузика, повсюду слышалось шипение; он испуганно шарахался от случайного прикосновения холодного стебля кувшинки; подозрительно всматривался в причудливые сплетения осклизлых корневищ. Поэтому он наотрез отказался подбирать по утрам околевшую в

озере дичь. Всю заботу о пропитании взял на себя Стекольщик. Он собирал летние опенки, клюкву и гонобобель, прошлогодний лещинный орех и брусничный лист, который они заваривали вместо чая. Он же заготовлял впрок птицу, варил и жарил ее на костре, благо соли они купили килограммовую пачку. Огонь разводили только днем, когда завеса гари укрывала их островок от стрекозиного глаза вертолета.

Стекольщику такая жизнь даже нравилась. Незаметно для себя он стал называть Москву и прочие крупные центры не иначе, как Большой землей, что было явным отголоском долгих месяцев, проведенных за Полярным кругом.

— Житуха! — сказал он однажды, в блаженной истоме вытягиваясь меж мягких, поросших кукушкиным льном кочек. — Вот только выпить нечего. А ведь гонобоба-то, гонобоба... Голова кругом идет! Сюда аппаратик со змеевичком — помирать не надо. А, Витек?

— Оно-то верно, Фрол, — покорно согласился Витек, смакуя сочную гузку чирка. — Только как бы не угореть. Дым-то этот глаза ест, и перхаю я. Как бы не того...

— А ты не боись. Торф — он целебный. Я тебе точно говорю. Одного дундука — он, поддавши, в поле заснул — гусеницей переехало, прямо начисто в залежь вдавило, и то ничего.

— Ну!

— Вот те и «ну»! Я тебе точно говорю. Директор торфопредприятия уже гроб по телефону заказал, а он вдруг проснулся, рассолу запросил. Его потом, говорят, знаменитый болотный профессор Веллер смотреть приезжал и в торфяной институт вне конкурса зачислил.

Но академическая терминология Стекольщика не развеяла опасений Витька, а лишь настроила его на еще более грустный лад.

— Как же на работе-то покажусь? Мне аккурат в понедельник заступать надо, а где я? Вон я где!.. Опять прогул, выходит. Уволят меня.

— Не уволят. — Стекольщик благодушно похлопал себя по округлившемуся брюшку. — Директора твово, точно, могут уволить, а тебя — не. Где это видано, чтоб монтеров с работы выгоняли? Да их днем с огнем ищут! Я бы на твоем месте еще куда на полставки пошел. Лучше всего в кооператив. Заявился в неделю раз, обошел квартиры — где трояк, где рупь. А зарплата идет. Ты с дамочками лялякаешь, жучки на пробки мотаешь, а тебе денежки начисляют.

— Все-то у тебя легко, Фрол.

— Вру, что ли? Да у меня, если хочешь знать, бабка в нянечках на трех с половиной ставках работала. При полном пенсионе! Она как главврача или директора там облает, так того санитары на носилках уносят. А профессоров, ординаторов всяких знаешь как шугала? Все перед ней на задних лапках. Иди сыщи себе другую уборщицу, ишь ты, шустрый какой!.. Да не боись ты никого. Мало ли почему человек на работу не вышел?

— Так уважают меня в институте, Фрол... Неловко как-то.

— А чо́ им тебя не уважать? Рази ты плохой человек? Держатся они за тебя, дура. Понял? А потому тебе все позволено.

— Меня ведь туда милиция определила. Сам товарищ Люсин Владимир Константинович позаботился.

— Посадить он тебя позаботился. Так оно точнее будет. Я тебе еще в колонии объяснял, что вору в законе с мусорами не по пути. А ты переписку затеял, дура. И с кем? С легавым! Ну не чокнутый?

— Он же мне сам письмо прислал, Фрол, первый. И срок мне по его милости на два годочка скостили. Хорошие люди — они везде есть. На работу опять же устроил...

— Ну и вали отсюда, если ты такой благодарный, закладывай кореша, авось зачтется... — Стекольщик плюнул сквозь стиснутые зубы в тлеющие угли.

— Обижаешь, Фрол. — Витек повернулся к нему спиной. — Я добро не забываю.

— Оно и видно.

— Я потому и пошел с тобой, что жизнью тебе обязан. И никогда того случая на лесоповале не позабуду.

— Эх, Витек, Витек, дурья твоя башка! Нам бы только отсюда выскочить, а там — поминай как звали. Со мной, браток, не пропадешь. Полкуска в месяц я тебе гарантирую.

— Мне, Фрол, и зарплаты почти что хватает. Я ведь давно завязать решил. Если бы ты меня тогда не уговорил... — Витек побросал кости в огонь и, выдрав клок белого моха, обтер руки.

— Люблю добрых людей, — усмехнулся Стекольщик. — Сам потому как добрый. Никому зла не желаю. За всю жизнь мухи не обидел. Только жизнь — она какая, Витек? Беспощадная она, лютая. А человеку, поимей в виду, никогда никакой зарплаты не хватает. Вот и кумекай, изворачивайся. Нам много не надо, запасов не делаем и сберкнижек не заводим, а обеспечить себе сносное существование должны. Кто ж мог подумать, что так выйдет? Упокойничек нам здорово подгадил. Не то сидели бы мы с тобой теперича в «Якоре» и красную икру ложками лопали.

— Страшное дело, Фрол. Я потому и потянулся к тебе, что ты не лютый. Кровь человеческую даже в драке проливать — последнее дело... А в Жаворонках, что говорить, не подвезло.

— Лишь бы не прознали, что мертвое тело исчезло. Не то копать начнут, как бы не доискались. Авось билетик выручит. Уехал человек на поезде и сгинул. Ищи ветра в поле... Следа мы вроде бы не оставили... Не должны. Номер отмоем, протекторы переменим... Кто нас видел? Никто!

— Я как чувствовал, когда на дело шел. Порошочек захватить догадался.

— Какой еще порошочек? — насторожился Стекольщик и, опершись локтем, тяжело перевалился на бок.

— Ого-го! — хитро прищурился Витек. — Еще какой порошочек! Вонливый...

— Тебе кто велел? — тихо спросил Стекольщик.

— А что? — испугался Витек. — Разве нельзя?

— Нет, ты скажи, кто тебе велел? Ты меня спрашивал?

— Я же как лучше хотел!

— «Лучше»!.. А ну говори, что за порошок! — крикнул Фрол.

— Почем я знаю? И чего напустился... На работе взял.

— Ах, на работе! Как вам нравятся эти честные труженички? Хапают, что под руку подвернется, обворовывают родное отечество. Надо не надо, все едино — берут... А если тебя по этому порошку найдут теперя, тогда что? Лапоть ты, необразованность серая... Начистить бы тебе рыло...

— Неужто могут найти? — закручинился Витек. — Как же это?

— Горе ты мое! — Стекольщик сел и тяжело уставился на кореша. — Ничему-то ты не учишься. Сколько раз наказывал: первое дело — не оставляй следов. А ты? Да что же это творится? Какой такой порошок? Говори сей момент!

— Вроде сахара-песка, Фрол, только с запахом. Лучше сам погляди. — Витек вскочил и кинулся к мотоциклету.

Из сумки с инструментами достал стеклянную баночку с навинченной зеленой крышкой и нерешительно приблизился к Стекольщику.

— Вот, — смущенно потупился он.

Стекольщик взял стекляшку двумя пальцами, осторожно встряхнул.

— Не, — покрутил он головой. — На сахар не похоже. Больше на закрепитель-гипосульфит. Фотографией занимался?.. Ишь ты, кот перченый, инициативу проявил! — Он отвинтил крышку, потянул носом и весь аж перекосился от отвращения. — Смердит, что твоя мертвецкая. Все нутро выворачивает. Куда сыпал?

— Да вдоль забора, уезжали когда... Думал, собаки...

— Твоей башкой не думать надо, а след мотоциклетный затирать. Какие, к черту, собаки? Их нюхало дальше дороги не фурычит. Оборваны концы! Соображать надо... А по этой дряни нас искать будут! — Стекольщик яростно завинтил банку, встал и, подойдя к самому берегу, зашвырнул ее куда подальше.

Витек, виновато опустив голову, ковырял носком остывающие головешки.

— Значит, так. — Стекольщик стал рядом и по-наполеоновски скрестил на груди руки. — Давай шины менять. Давно пора... А я номером займусь. Может, никто нас и не заметил, но береженого бог бережет. Потому действуй...

Витек кивнул и заковылял к своей «Яве». Стекольщик проводил его хмурым взглядом, помедлил с минуту и пошел вслед.

Работали они молча и слаженно. Отвязали от коляски брезентовый сверток с новехонькими шинами и быстро «переобули» все

три колеса. Потом Стекольщик нацедил из бака полбанки бензина, обмакнул в него ветошь и принялся яростно драить жестяную дощечку с номером. Усилия его оказались весьма успешными. В результате чудеснейшей метаморфозы номер 35-48 МОЕ превратился в 86-45 МОВ, а смытая краска целиком растворилась в бензине, который уподобился грязной бурде, или впиталась в тряпку.

Когда работа была завершена, Стекольщик выплеснул банку в остывший костер. Неистово полыхнуло пламя и пошло лизать выжженную проплешину земли. Тщательно обтерев руки, Фрол бросил в огонь ветошь, которая тут же занялась яростными коптящими языками.

Потом он знаком велел корешу раздеться, снял штаны сам, и они покатили к озеру старые шины, малость порыжевшие от въедливой торфяной пыли. Чавкал под ногами жирный озерный ил, шелестел подминаемый камыш и жесткие хвощи шуршали по резиновой насечке, но Стекольщик с Витьком продирались все дальше, пока не зашли в воду по колено. Тут они притопили свое добро, а когда со дна поднялись клубы мути и вырвались быстрые пузыри, побрели назад.

Но на обратном пути их подстерегала беда. Кто ищет, тот и обрящет, всегда найдет. Видно, недаром так панически боялся змей бедный Витек. Останавливаясь и замирая при каждом шаге, пробирался он к берегу. Медленно ставил ногу, всматривался в белые корневища. Фрол Зализняк бездумно пер, не разбирая дороги и вспугивая всякую живность, которая всегда уступает тропу уверенному и сильному. Он первым выбрался на берег и тут же повалился на облюбованное лежбище. Бензин уже прогорел. В черных головешках бегали золотые жучки.

В этот момент и наступил Витек на гонимую пожаром змею, которая заползла отлежаться в прибрежную осоку. Обычно змеи не нападают на человека. Яд служит им для охоты — священного права всякого существа на земле. Но когда змею пытаются схватить или ненароком на нее наступают, она атакует молниеносно и беспощадно.

Истошный вопль Витька сорвал Стекольщика с места. Он бросился к озеру, не понимая, что происходит, но тут же увидел танцевавшего на одной ноге кореша и все понял.

«Эх, Витек-Витек, не уберегся-таки, накликал! Видно, везет тебе как утопленнику».

Первоначальный крик боли и ужаса сменился стоном и причитаниями. Зажав ужаленную стопу руками, Витек продолжал скакать на одной ноге навстречу Стекольщику.

— Ну, чего ты? Чего? — подступил к нему Фрол. — Покажи, где...

Но Витек только стонал и всхлипывал.

— Покажи, тебе говорит! — заорал Стекольщик и, схватив его за плечо, рванул на себя.

Витек взвыл и покатился по земле. Насилу удалось его попридержать и перевернуть на спину. Но нога была так заляпана грязью и волоконцами прогнивших растений, что ничего не удалось разглядеть. Пришлось Фролу нарвать пропитанного водой сфагнума и отмыть черную жижу. И хотя при каждом прикосновении к ступне Витек заходился в истерике, Стекольщик быстро и ловко сумел управиться с ним. Две красные точки чуть пониже большого пальца говорили сами за себя. Одна из ранок слабо кровоточила. Вокруг укуса уже расплывалась водянистая припухлость.

— Не дергайся, лошадь. Убью! — Стекольщик пнул кореша под ребра и, ухватив его за пятку, принялся отсасывать кровь.

Пока он кряхтел, стоя на коленях, отдувался и поминутно сплевывал, Витек вел себя сравнительно тихо. Но стоило Фролу распрямиться, как он опять исступленно завыл, молотя по земле кулаками и здоровой ногой.

Но Стекольщик больше не обращал на него внимания. Слава богу, он многое повидал в жизни! Одни гадючьи свадьбы чего стоят. Когда змеи совершенно дуреют и свиваются в черные шевелящиеся клубки. Вдаришь по такому клубочку резиновым сапогом, и он летит, что твой футбольный мяч, метров десять, пока не развалится в воздухе. Эх, болото-болото, бела вода в тростнике... Чего только не творится в камышах, когда луна заливает их молочным светом! Когда всякая тварь выползает на берег и выдра играет, полощется в жирной воде... Немало змеюк потоптал Фрол сапогами, снищил палкой либо лопатой. Коли взялся он отсасывать яд, значит, дело верное, как в аптеке. Будьте благонадежны. Жаль спиртяги нет. Накачать бы сейчас Витю до посинения, к утру б оклемался, испарился.

Да и самому полезно, а то, не ровен час, вдруг ранка во рту какая али трещинка...

Стекольщик продрался к открытой воде и поплыл саженками туда, где почище. Хорошенько глотку прополоскал, отплевался. Во рту было противно-противно, язык, как губка, распух и небо одеревенело.

«От сосания, по всей видимости», — успокоил он себя и поплыл обратно.

Когда пошли круглые листья кувшинок и ломкие шишечки рдеста, он поплыл по-собачьи, подняв над водой голову. Углядев то, что искал, — узкие листья аира, — нырнул под ряску и, погрузившись руками в скользкий, затягивающий ил, вырвал холодное пупырчатое корневище.

Выбравшись на берег, оживил костер охапкой сухого лапника, подбросил пару поленьев, после чего испек корень в золе. Половину сжевал сам, а другую отнес корешу, который так и остался лежать в осокоре, среди дурманных кочек, поросших багульником, касандрой и мелкой травкой-росянкой, которая умеет ловить мух.

Витек лежал с закрытыми глазами и тихо поскуливал. Нога его заметно опухла.

«Видно, большая ему досталась, — посочувствовал Фрол, — самочка».

— Болит нога-то? — спросил он, наклоняясь.

— Еще как болит! — кротко отозвался Витек, с усилием разлепляя набрякшие веки. — И сердце стучит: бух-бух.

— Это хорошо. Это оно с отравой борется. Ты пока полежи тут, передохни, а я чаек заварю целебный. Ночью упаришься и утром встанешь как штык. На-ка клубенька откушай. Он способствует.

Фрол оделся, чтоб комары не заели, и занялся аптечным сбором. Нащипал белого земляничного цвету и кожаных листиков брусники, свежих сосновых побегов нарвал, полынь на лугу отыскал и цветы девясила. Засыпал все это в жирный после утиного супчика казан и, долив озерной водицы, поставил на огонь.

Варево вышло горьковатое, но приятное и хорошо пахло. Витек покорно испил целую банку и с помощью Фрола кое-как доковылял до бивуака.

— Спи, корешок, — напутствовал Стекольщик.

Он бережно накрыл дружка пиджаком и укутал пропахшим резиной брезентом.

После всех треволнений дня не мешало соснуть часок-другой и самому. Проснулся уже на закате с тяжелой головой и свинцовым привкусом во рту. Витек стонал и метался во сне. Лицо его горело. Губы потрескались и запеклись черными корочками.

— Не простое это дело — гадючий яд одолеть! — Фрол назидательно прищелкнул языком.

Голова со сна соображала туго. Он долго не мог надумать, чем бы заняться. Наконец вспомнил про полоненного на рассвете зайчишку и принялся его свежевать. За неимением уксуса решил набить тушку листьями лугового щавеля. И тут его осенило. Гадюка, ужалившая Витька, могла их здорово выручить! Змеиный укус — штука объективная. Симулировать его нельзя. Иное дело — точное время укуса. Это никакими анализами не установишь, да никто и не станет в такой ситуации докапываться до истины. Поверят на слово.

«Значит, когда его тяпнули? А на той неделе в среду! Вот когда. То-то и оно... Нет, в среду не пойдет. Отчего не вывез, спросят, или за помощью не сходил. Пусть тогда в четверг к вечеру. Это хуже, конечно, но ничего — сойдет, а пожар все спишет. Им сейчас не до нас».

Он облегченно перевел дух и даже погладил Витька по небритой щеке. Но тут же озабоченно поцокал языком, до того она горела. Витьку явно становилось все хуже. Впрочем, особенно беспокоиться было нечего. От укуса гадюки не помирают. Это Фрол знал совершенно точно. Да и яд он отсосал своевременно, хотя, как видно, не весь.

Пришла ночь с малиновым страшным небом. Она была наполнена ревом моторов, уханьем химических бомб, воем сирен, коло-

кольным тревожным звоном. Разъезд за озером не утихал до рассвета.

Стекольщик не мог знать, что отдельная саперная рота, усиленная взводом танков, еще вчера сумела подвести к лесистой окрайке роторные траншеекопатели и фронт огня был приостановлен. Одновременно началась и операция по уничтожению наиболее крупных очагов. Но то, что зарево над Новоозерным заметно потемнело, Фрол видел превосходно и сделал соответствующие выводы. Пожар явно шел на убыль, хотя гарь в воздухе не убывала, а даже как будто усилилась.

Ему не спалось, и он просидел до утра, попивая остывший чаек, закусывая холодной зайчатиной. Прислушивался к отзвукам далекой битвы и стуку колес. Дрезины носились уже в оба конца, и это было хорошим знаком. Впервые за все дни ухали совы в сосняке. Значит, тоже не опасались более за свою жизнь, а охота у них была богатая, как никогда раньше. Слышал Фрол, как трещал и фыркал в ивняке большой зверь скорее всего лось, согнанный с ближнего острова, как шуршали в осокорях игривые ондатры. Он размышлял о преходящей прелести жизни, о том, как внезапно ломается все и летит вверх тормашками из-за какой-нибудь глупой случайности, нелепой превратности судьбы. И было ему грустно. А Витек стонал и задыхался, все норовил содрать с себя тяжелый брезент.

Когда же совсем рассвело и Стекольщик увидел в каком-нибудь километре от них сидящий на лугу вертолет, он окончательно решил пробиваться.

Идти на разъезд, где полным-полно войск и всякого начальства, не хотелось. Тем паче не было уверенности, что не налетишь в серой мгле на такой же вот вертолет, который спокойно мог опуститься чуть подалее и потому невидим пока. Стоило попробовать пробиться на Новые озера. Конечно, ехать по болоту, горящему изнутри, куда как опасно. Но пожар сдает, а все суходолы здесь он, Фрол Зализняк, знает наперечет. Если второе поле не сгорело сплошняком и целы мостки через картовые и магистральные каналы, можно надеяться на успех, а повернуть обратно никогда не поздно.

Он попробовал растолкать Витька, но так и не смог привести его в сознание. Он только бормотал что-то и в ознобе стучал зубами. Стекольщик поднатужился и уложил его в коляску. Собрал наиболее важное барахло, а все ненужное закинул в озеро.

Мотоцикл завелся сразу. Подождав, пока прогреется двигатель, Стекольщик чуть повернул ручку газа и медленно выехал из кустов. Поехал он прямо через луг к лесу. Это был самый короткий путь, хотя и не слишком удобный. Машину сильно подбрасывало и трясло на бесчисленных кочках. Ехать приходилось на самой малой скорости. Зато потом, когда он добрался до сосняка и повел мотоцикл вдоль опушки, можно было даже передохнуть в пути. Он более свободно устроился в седле и уже не сжимал так оцепенело

горячие резиновые ручки, поминутно ожидая броска. Ехать по сухому, перемешанному с прошлогодней хвоей песку было легко и безопасно.

Стекольщик не знал, хотя предвидеть такое мог вполне, что ему придется вскоре повернуть обратно. Чем дальше он ехал, тем труднее становилось дышать. Ветер медленно гнал густой плотный дым, просачивающийся из раскаленных торфяных недр. Все второе поле не только выгорело вширь до самой дамбы, но и вглубь — до сапропелиевой подстилки. По нему нельзя было ни пройти, ни проехать. Оголенная корка проваливалась и плыла под ногами, а чад стоял такой, что даже в противогазах там можно было находиться от силы десять минут. Пересечь эту исполинскую печь для обжига кокса можно было только вертолетом.

В поселке в это время готовились к наступлению на лесную полосу справа от насыпи. Она все еще горела и продолжала угрожать восстановленной на скорую руку дороге. Саперы и пожарные стянули к Новоозерному вполне достаточное для окончательной победы над лесным пожаром число машин. Не хватало только воды. Все резервы были уже израсходованы, а уровень Топического озера настолько понизился, что уже не хватало шлангов, чтобы дотянуть до уреза. Продвинуться же далее от берега по топкому дну не было никакой возможности. Ждали дрезину с трубами, чтобы проложить долговременный провод для забора воды. Благо в круглом, как блюдечко, глубоченном озере ее хватало.

Тайный груз, который Стекольщик с Витьком утопили на западном берегу, давно обнажился и лежал теперь далеко от уреза воды. Облепившая его корка грязи подсохла на солнце и отвердела. Издали скатка походила на почерневшее в воде бревно, каких оказалось много на илистом дне.

Ничьего внимания она, конечно, не привлекла...

Глава пятая

ВОЛНА II

Иран. VII век до н. э.

И пожелал царь царей Виштаспа увидеть черную кровь земли...

— Перед самым рассветом выехал он из Балка, не взяв с собой ни советников, ни стражей. Только один чудотворец Спитама трусил за ним вслед на каурой кобылке.

— Куда мы поедем, азербайджанец? — спросил шахиншах, придержав коня.

— В пустыню, царь персов, — ответил Спитама, поравнявшись с Виштаспой. — Куда глаза глядят. Хочешь — налево, хочешь — направо.

— И всюду есть кровь земли?

— Всюду. Она скрытно течет по извилистым жилам недр, но я знаю, где ее сыскать.

Царский конь нетерпеливо заржал. В холодной предутренней синеве вороной казался почти невидимым. Только электрический огонь перебегал в его гриве, тихо потрескивая в сухом воздухе.

Виштаспа приподнялся на стременах и огляделся. Желтым металлом отливала хмурая полоса над холмами, поросшими чием. Растаяли звезды, и только волшебная предвестница рассвета еще льдисто посверкивала над щебнистой пустыней.

Вновь заржал вороной, и где-то далеко-далеко заливистым, гнусным плачем откликнулся шакал.

— Время дэвов, — поежился царь.

— Ты ошибаешься, — сурово возразил чудотворец. — Властитель света Ахуромазда уже летит над миром... Ты веришь в дэвов? — спросил он, помедлив.

— Разве они не были нашими богами?

— Забудь о том времени, шахиншах. — Спитама брезгливо поморщился. — Пусть презренные инды почитают в дэвах[1] богов. Для нас они — демоны, отвратительные порождения мрака зла, дети Ахроменью.

— Ты так учишь?

— Такова истина, шахиншах. Разве смерть не отделена от жизни, как день от ночи, как Туран от Ирана?[2]

— Что есть истина?

— Истина — это осознание своей задачи.

— В чем же задача человека?

— Задача человека — разводить и беречь скот.

— И царя тоже?

— Разве цари — не люди?

— Ты проповедуешь опасные мысли.

— Разве боги — не цари?

— Твоя истина двояка.

— Всякая истина двояка, шахиншах. Разве свет и мрак могут существовать друг без друга? Благая Мысль, Благое Слово, Благое Дело — вот истина истин, великое триединство Мазды.

Они неторопливо ехали на утреннюю звезду, и щебень скрипел под копытами их коней.

— Не слишком ли жалкая задача для человека — заниматься только скотом? — Виштаспа с наслаждением вдыхал свежий, бодрящий ветерок.

— Разве ты забыл, что главный удел мужчины — воевать?

— Мы — только звено в цепи жизни. — Спитама ласково потрепал свою кобылку по холке. — Ведь все началось с растений, которые Ахуромазда взрастил для скота.

— Для скота? — удивился царь. — Я думал, для людей.

---

[1] У индусов дэв — бог, у персов — демон

[2] На санскрите Иран называется «Арья-ним» — Страна арьев

— Нет, — односложно ответил пророк, а потом пояснил: — Скоту — орошенное бычьей уриной пастбище, для нуждающегося в пище человека — молоко. Таковы извечные установления пастушеской жизни, которых не до́лжно нарушать... Я хочу сказать о двух духах в начале бытия, из которых светлый сказал злому: «Не согласуются у нас ни мысли, ни учение, ни воля, ни убеждения, ни слова, ни дела, ни наша вера, ни наши души»[1]. Оба изначальных духа явились, как пара близнецов, добрый и дурный, — в мысли, в слове, в деле. И когда они встретились, то установили: один — жизнь, а другой — разрушение жизни... Как ты думаешь, зачем разбойники — инды — угоняют у наших пастухов скот?

— Скот — это богатство, а грабители алчны.

— Твоими устами говорит душа Света, шахиншах. Но ответь мне: почему они алчны?

— Так уж, наверное, создали их боги. Разве нет, азербайджанец?

— Нет, шахиншах. Человек рождается свободным для выбора. Поэтому наши матери, прежде чем поднести младенца к груди, смазывают ему губы молоком травы хом. Так дитя приобщается к солнцу, чтобы в надлежащий день сделать правильный выбор. Дэвы в начале мироздания избрали тьму. С тех пор их поклонники стали злейшими врагами мирных скотоводов. Они поносят быков и самое Солнце, опустошают пастбища, ранят и убивают твоих людей. Нищету и разорение несут они дому, селению и стране. Вот почему бороться с ними надлежит силой оружия.

— Но в прошлый раз, помнится, ты говорил, что следует сложить оружие и прекратить военные набеги?

— Разве истина не двояка, о шахиншах? — лукаво улыбнулся Спитама. — Душа скота стенает и жалуется, что у нее нет сильного защитника. Она не хочет довольствоваться в качестве радетеля пророком, не имеющим другого оружия, кроме слова. Она хочет обрести могущественного покровителя, который поможет свету мечом. Тебе тоже придется сделать выбор, повелитель.

— Зачем?

— В будущей жизни каждого ждет воздаяние. Те, кто дружит с Ахуромаздой, окажутся в его царстве, поклонникам дэвов уготован мрак. Пройдя через испытания в красном огне, и те и другие разойдутся навеки.

— Открой мне тайну красного огня, пророк.

— В урочный час, владыка. — Спитама незаметно повернул кольцо на среднем пальце внутрь камнем, горящим, как мак, и заря, и сердце.

— А могу ли я уже при жизни хоть одним глазком взглянуть на твое небесное царство?

— Обещаю тебе это.

---

[1] «Авеста», раздел «Ясна» (51,9) — VI век до н.э.

— Не обманешь? Мои жрецы — кави и карпаны — тоже умеют творить чудеса, только не верю я им. Видения, что они насылают, обманны, как опьянение, как дурной сон наяву.

— Так проснись же, о шахиншах, владыка Ирана! Ты живешь в нечестивой тьме, томишься под гнетом грозной магии, порожденной дэвами. Твой двор, столица твоя, весь Иран находятся в руках лживых и бессовестных карпанов и кави. Очнись, государь. Пора вырвать страну из оков Атхарвы Веды.

— Но разве Веда не священная книга моих пращуров? Разве инды и мы — не два ручья, бьющие из одного источника?

— Забудь о том времени, шахиншах! — Спитама властно схватил царского вороного за узду. — Посмотри. — Он обвел рукой зеленеющий окаем: — Там встает солнце!

Они остановились посреди голой равнины. Небо вокруг на глазах светлело. Впереди наливалось оно зеленью и желтизной, за спиной еще клубилась мгла.

— Выбор сделан! — Пророк пришпорил свою лошадку и потянул царя за собой. — Скорее к свету!

— Погоди! — Виштаспа тоже остановил на скаку лошадь пришельца. — Уж не хочешь ли ты навязать мне свою волю? — Он усмехнулся надменно. — Мне, царю и сыну царей?

— Что ты, владыка! — мягко улыбнулся ему Спитама. — Выбор сделали твои предки — цари задолго до того, как появился ты сам. Отчего, скажи мне, народ арьев вдруг стронулся с места и, разделившись надвое, устремился в неизведанные края?

— Спроси у наших стариков, и они ответят тебе.

— Мне не нужно никого спрашивать, царь Виштаспа, раз сам Ахуромазда говорит со мной в священной тени кипарисов. Твои отцы избрали свет и повели за собой народ к вершинам иранских гор. Прислушайся к голосу собственной крови, и ты все поймешь.

— Думаешь? — Царь озадаченно наклонил голову к левому плечу, за которым висел колчан со стрелами, поющими на лету.

— Те, кого Ахроменью увлек за Гималаи, перестали быть нашими родственниками. Они тоже сделали свой выбор, шахиншах, и породнились с тьмой. — Спитама указал назад. — Недаром же смешались они с чернокожим племенем, почитающим исполинских змей Нагов и чудовищную обезьяну по прозвищу Хануман! Не прислушивайся к тому, кто хочет вновь обратить иранцев на служение дэвам. Им нужна новая вера. Свет им нужен и истина.

— Какая? — с вызовом спросил царь. — Уж не твоя ли, азербайджанец?

— Моя, — с достоинством ответил Спитама. — И твоя тоже. Авеста — вот имя солнца, которое будет светить в иранских странах, созданных Ахуромаздой: от Хорезма — первой из них, и до Газы — обители согдийцев, от сильной Маргианы и до прекрасной Бактрии. Я принес это солнце к тебе в Балк, Виштаспа.

— Зах говорит о тебе иное...

— Не верь этому злобнейшему из карпанов, царь. Он служит тьме.

— Он могущественнейший волшебник.

— Ужасный карлик, царь, темный служитель дэвов.

— Чем ты докажешь это?

— Разве он кажется тебе великаном, шахиншах? — удивился Спитама. — Или красавцем?

— Я не о внешности Заха, — кисло улыбнулся Виштаспа. — Откуда ты знаешь, что он поклоняется дэвам?

— В его присутствии скисает молоко, — улыбнулся Спитама. — Проверь — и сам убедишься.

— Я не раз видел, как он служил перед алтарем Солнца.

— Каким именем он называл Солнце, о владыка Ирана?

— Митра — наш солнечный бог, — благоговейно прошептал царь и склонился до самой луки седла.

— Пусть он будет мне свидетелем, — поднял руку Спитама, и даль перед ними ослепительно вспыхнула. — Видишь, царь?

Они спешились, чтобы приветствовать, согласно закону, восходящее светило.

— Я уверен, что Зах молится Сурье, — сказал пророк, когда они вновь оседлали коней и поскакали по направлению к зеркально блеснувшей на горизонте реке.

— Сурья так Сурья, — нахмурился царь. — Или не так именуется Митра в Ведах?

— Посмотри туда, государь. — Спитама махнул рукой в сторону выветренной скалы, похожей на старый покосившийся гриб. — Что там чернеет?

— Разве ты слаб на глаза, пришелец? — Царь из-под руки взглянул на сверкающий слюдяными бликами камень. — Это длинная тень, которую отбрасывает скала. Когда солнце поднимется, она станет короче.

— Почему же мы не видели ее раньше, до восхода?

— Из-за темноты, надо думать.

— Нет, шахиншах, не из-за темноты... Просто тень является порождением солнца. Истина, как я уже не раз говорил тебе, двойственна. — Не останавливая кобылки, Спитама развязал свой пояс. Холщовая рубаха его тут же вздулась за спиной пузырем. — Вот мои кости.

— Кости? — удивился Виштаспа.

— Да. Сплетенный из семидесяти двух нитей шнур, которым положено дважды опоясать живот. Как ты думаешь, что случится, если я встану перед алтарем без пояса?

— Думаю, что ничего страшного. Боги тебя не осудят.

— Ошибаешься, шахиншах! Жрец, совершающий приношение без кости, служит не Ахуромазде, а Ахроменью — не свету, но тьме!.. Теперь тебе ясна разница между теми, кто призывает Солнце именем Митры, и теми, кто именует его Сурьей?

— Кажется, начинаю понимать, — не слишком уверенно ответил царь, но вдруг озарился внезапно нахлынувшей мыслью. — Постой! — Он коснулся пророка рукояткой плети. — А кто установил ваши законы: предписал тебе закрывать рот и нос повязкой, завязывать пояс перед молитвой, толочь хому в чаше хаван? Кто все это придумал!

— Ахуромазда.

— Вот как?.. Ну хорошо, а ты сам обо всем откуда узнал?

— От него.

Виштаспа ничего не сказал на это, и они продолжали путь в молчании. И вокруг тоже было удивительно тихо. Только черный щебень скрежетал под копытами и поскрипывали изредка седла.

Река в эту пору обмелела, и лошади пересекли ее вброд, едва замочив бабки. Глинистая вода медленно стекала с мокрой шерсти на пыльный, грохочущий щебень и застывала мохнатыми, быстро испаряющимися шариками.

— Скоро прибудем, — сказал Спитама и задрал голову к лучистому теплому небу, где высоко-высоко парил на неподвижных крыльях гриф.

— Ты уже был здесь раньше? — спросил шахиншах.

— Я везде был, — как всегда спокойно и коротко ответил Спитама, нимало не заботясь о том, поверят ему или нет. — Глянь, повелитель. — Он указал пальцем на реку, просачивающуюся сотнями ленивых ручьев сквозь нагромождения гальки. — Кровь земли.

— Где? — Царь повернулся и наклонился в седле, чтобы получше рассмотреть невиданное чудо, но, сколько ни всматривался в желтую воду, так ничего похожего на кровь и не углядел. — Где она, эта черная кровь? Не вижу.

— Так вот же она! — по-детски засмеялся Спитама и, спрыгнув с лошади, руками зачерпнул из реки. — Теперь видишь? — Роняя капли, он поднес воду царю и глазами указал на тонкую поверхностную пленку.

— Это? — Виштаспа разочарованно всматривался в тусклую радугу, играющую приглушенными переливами павлиньих перьев. — Похоже на масло.

— Похоже, — подтвердил Спитама. — Она ведь очень жирна... На моей родине есть места, где кровь земли изливается фонтаном, словно из обезглавленного тела. Ты построишь там храмы в честь всеочистительного огня, царь.

— Я? — удивился Виштаспа. Он не знал, как себя вести с этим чужеземным проповедником: то ли рассмеяться, то ли выказать гнев. — Зачем?

— Не ты, так твой сын, доблестный Спентодата, или сын твоего сына.

— Тебе безразлично, кто именно?

— Почти.

— Никак, ты знаешь тайну бессмертия, если готов ждать так долго?

— Знаю, шахиншах, хотя умру в свой час, как все.
— Зачем же тебе умирать, если знаешь?
— Надобно, царь.

И опять они надолго замолчали, следуя неторопливо навстречу реке, покачиваясь в такт ходу коней в скрипучих седлах. Одежды их — пурпурный виссон царя и холщовая длиннополая рубаха Спитамы — медленно покрывались желтоватой пудрой пыли. Царь подремывал и клевал носом, а пророк не спускал глаз с радужной пленки, мелькающей в сплетении мутных струй. Изредка спешиваясь, внимательно присматривался он к травам, буйно разросшимся на орошаемых рекой землях, улавливая незаметные для других изменения в окраске голубовато-серебристой полыни, сухого дрока, ромашки или золототысячника. Но больше всего привлекали его мясистые стебли мандрагоры и красные пупырчатые островки солярок в местах, где близко подходила к поверхности горькая вода пустыни.

— Теперь скоро. — Спитама догнал шахиншаха и, схватив за уздечку, повернул вороного в сторону от речного русла.

— Чего? Куда? — испуганно встрепенулся Виштаспа.

— Туда. — Пророк света махнул в сторону холмов, пыльно туманящихся уже в знойных воздушных потоках.

Солнце неудержимо плыло к зениту. Сухо трещали бесчисленные кузнечики. Сонными бликами слепили петляющие средь каменных завалов ручьи.

В том месте, где желто-белые гладкие валуны были черны от жирной копоти, а трава разошлась, обнажив мертвую грустно-серую землю, царь и Спитама простились с рекой и поскакали в пустынную степь. Они шли по темному, словно выжженному пожаром следу, вдоль которого не росла даже вездесущая верблюжья колючка.

Вороной испуганно заржал и сделал попытку подняться на дыбы, но царь укротил его, натянув поводья.

— Он что-то чует, — сказал Виштаспа.

— Погоди, скоро и до тебя долетит дух земной крови.

Все реже встречались теперь заросли тамариска и черный саксаул, гулко цокали подковы по растресканным, обожженным такырам, медно блестевшим под страшным полуденным солнцем. Попрятались ящерицы, забились в глубокие норы змеи, и только черные, похожие на пауков каракуртов жучки продолжали шнырять меж камней, покрытых темным лаком пустыни, и побелевших шаров колючки.

Все явственнее проступала темная лента в песках. Копытный след медленно наливался густой, дурно пахнущей грязью.

— Теперь и я чувствую. — Виштаспа гадливо поморщился. — Нам еще далеко?

Они взобрались на холм, откуда открывалась бескрайняя дымящаяся равнина.

— Смотри, шахиншах, — благоговейно прошептал Спитама.

Царь увидел ямы, наполненные маслянистой жижей грязевые озера, в которых тяжело пробулькивались гигантские пузыри, трещины, откуда вырывались шипящие струи пара. Горячий воздух над равниной дрожал и переливался, отчего дальние синеватые кряжи коробились и смещались, словно отраженные в подернутой рябью воде.

— Обиталище дэвов! — ужаснулся шахиншах. — Я поражен! Почему у меня в Балке не знают об этом месте?

— Люди ленивы и нелюбопытны, государь.

— Я говорю о тех, в чьих сердцах не пылает божественный огонь Ахуромазды. Запомни же эту долину, шахиншах. Запомни жестокий запах черной крови земной. Ради нее прольются реки человеческой крови.

Солнце жирно отсверкивало в горячей грязи. Виштаспе померещилось вдруг, что золотой нестерпимый блеск сменился густым и алым. До самого горизонта дымилась пропитанная кровью земля.

— Пойдем, государь, — тихо позвал его Спитама.

Они спустились с холма, ведя за собой лошадей.

— Что это?! — Царь закрылся руками от ударившей в лицо струи горячего смрада.

— Дыхание недр, — ответил Спитама, приседая над трещиной, откуда хлестал хорошо различимый газовый вихрь. Камни вокруг запеклись пузырями коричневой пены. — Здесь властвует Ахроменью, и только всеочистительный огонь способен освободить от его заклятия. Смотри же, о повелитель персов!

Спитама выпрямился и, погладив кобылку, полез в хурджум. Он вынул завернутый в льняную тряпицу кувшинчик и бережно поставил его на землю. Узкое горлышко кувшина закрывала причудливая пробка в виде бронзового стержня с серебряным шариком на конце. Затем он стянул с пальца кольцо, блеснувшее раскаленным угольком камня. Сняв шарик, надел кольцо на стерженек и вновь привинтил серебряную шишечку. Поймав в гранях камешка солнечную искру, нацелил ее на скважину. Тончайшая световая игла ударила в трещину, откуда, хрипя, вырывался воздушный поток. Мелькнула красная вспышка, прозвучал негромкий хлопок, и бледное пламя заплясало перед царем.

— Ты поджег воздух? — отшатнулся Виштаспа. — Зачем ты сделал это, искуснейший из магов?

— Здесь станут поклоняться огню. Повсюду распустятся такие огненные цветы. — Спитама широко развел руки, словно стремился обнять весь мир. — От Азербайджана до Хорезма, от Балка до гор, где живут пушты.

— Но твое колдовское пламя не освещает, — царь потянулся к огню и тотчас же отдернул руку, — хотя и жжется.

— Что все земные огни перед сиянием Митры! — усмехнулся пророк и, прищурившись, глянул на солнце. — Зато в ночи этот факел станет указывать путь. — Он наступил ногой на шуршащий ком перекати-поля, который гнал мимо медленный ветер. — Вот

так! — Спитама нагнулся и подбросил сухую траву к факелу. Она вспыхнула желтым трепещущим светом и вмиг истлела почти без дыма, не оставив золы.

— Ты показал мне великое чудо! — Виштаспа скрестил руки на груди. — Мое сердце склоняется к твоей Авесте, пророк. Я щедро одарю тебя.

— Ты уже наградил меня, шахиншах. — Спитама поклонился до земли. — Ахурома́зду почти, а не слугу его. Построй здесь храм.

— Клянусь, что сделаю это! — воскликнул с горячностью царь. — Но прежде я возведу огненное святилище у тебя на родине...[1]

— Щедрость твоя безмерна, владыка...

— А теперь в Балк! — Виштаспа сунул ногу в стремя.

— Повремени, шахиншах, — остановил его Спитама. — Я вижу, ты очень любишь своего коня?

— Черный Алмаз для меня дороже всех земных сокровищ! — Царь поцеловал вороного в белую звездочку на лбу. — Он дважды спасал меня от смерти.

— Выручит и в третий раз, — пробормотал, приближаясь, пророк. Свой кувшинчик он уже замотал тряпицей и спрятал в чересседельную суму, и кольцо с красным камнем вновь лучилось на среднем пальце его левой руки. — Дозволь попробовать! — Спитама взъерошил коню гриву.

— Что? Ты хочешь оседлать его? — Шахиншах расхохотался. — Он тут же сбросит тебя на землю, пророк. Черный Алмаз никого не подпускает к себе.

— Я знаю, повелитель, — кротко улыбнулся Спитама. — Но меня он не обидит. Я сумею справиться с ним. — Он взял коня за узду и ласково приник губами к его горячему, напряженному уху.

...В тот тихий предрассветный час, когда царь и Спитама выезжали по подъемному мосту за крепостную стену, карпан Зах прокрался к покоям пророка. Притаившись за углом, всматривался он

---

[1] Ныне древний храм огнепоклонников под Баку превращен в музей Впрочем, легенда о том, что он построен по указанию Виштаспы (Гистаспа), весьма сомнительна Столь же противоречивы и описания «чуда» с огнем, которое совершил пророк Ахуромазды Мусульманские писатели Касвини и Ибн-аль-Ахтир утверждают, что «в руках его был огненный шар, которым он играл, и огонь не жег его» Сцена, достойная арабских сказок, которую трудно расценить всерьез Фирдоуси в бессмертной поэме «Шахнаме» говорит уже о более реальных вещах кадиле или чаше с огнем, которую Спитама будто бы поднес царю в подарок Великий поэт, правда, называет чашу «райской», но мы склонны видеть в этом лишь поэтический образ, не более Следует помнить также, что Спитама происходил из страны, богатой нефтяными источниками, и не раз, надо думать, видел подожженные молнией газовые факелы К тому же, если верить пехлевийским текстам и отрывкам «Динкарды», дошедшим до нас, он был человеком высокой учености (недаром в Иран для встречи с ним приезжали великие мужи Греции, в частности Пифагор) и, конечно же, знал о всевозможных огненных эффектах, достигаемых химическим путем Огненосный же камень в кольце его ученики называли «Глазом Мазды», а приверженцы древней ереси — «Оком Многорукого Дэва»

в мутно-синюю темень, в которой черной, неразличимой громадой мерещился страж. По храпу, с характерным бульканьем в глотке, Зах узнал рыжего великана Кэхьона, слывшего первым дураком Балка. Судьба явно благоволила верховному жрецу. Он приосанился, надменно вскинул голову и, стараясь производить как можно больше шума, выступил из-за угла. Но страж не проснулся. Он сидел на полу, привалившись боком к двери и запрокинув назад тяжелую голову. От храпа, вырывающегося из слюнявого полуоткрытого рта, казалось, дрожали стены. Медный щит и меч валялись далеко в стороне.

Карпан осторожно перешагнул через его ножищи и потрогал дверь. Она была заперта на засов. Чуткими музыкальными пальцами Зах нащупал большую печать с царским быком. Комната Спитамы была опечатана. Карпан закусил губу и задумался. Потом решительно тряхнул головой, сорвал печать и острым, чуть загнутым кверху носком туфли больно ударил стража под ребра.

— Вставай, сын греха! — прошипел горбатый жрец и для верности щелкнул великана по лбу.

— А! Что? — очумело заметался по полу Кэхьон и наткнулся впотьмах на собственный щит, который загудел подобно гонгу.

— Да тише ты, осквернитель могил! — испугался Зах и еще больше сгорбился. — Весь дворец перебудишь! Так-то ты несешь службу?

— А? — Страж сладко потянулся и, пошатываясь, встал.

— Два! — перекривил его жрец. — Видел? — Он схватил великана за руку и потянул к двери. — Печать-то не уберег!

— Ох! — простонал Кэхьон, хватаясь за голову.

— Цепляйся крепче, — хихикнул Зах. — Она плохо держится у тебя на плечах. Скоро покатится.

— О-о! — горестно захныкал страж, и тут на него, видимо с испуга, напала икота. — К-как же т-так?!

— Кто велел опечатать дверь? — Карпан изо всех сил ударил его под коленную чашечку. — А, жаба?

— Шшшах-инш-аххх, — задохнулся в икоте страж.

— Зачем?

— П-приказ.

— Я понимаю, что приказ, а зачем?

— Шшш... — начал было несчастный великан.

Но жрец нетерпеливо прервал его:

— Спитама сам попросил об этом?

— П-попросил.

— Эа, да что с тобой толковать! — Зах сделал вид, что собирается уйти. — С носорогом и то легче договориться. Пеняй теперь на себя. Скоро тебя казнят.

— Смилуйся, карпан! — завопил нерадивый часовой и, гремя амуницией, брякнулся на колени.

— Тише! — Жрец затрясся от бешенства. — Еще один звук, и я сам перережу тебе горло!

— Пощади, о мудрейший! — Страж жалобно простер руки к горбуну. — Выручи раба своего!

— «Выручи, выручи»! — проворчал Зах. — Все вы такие: как плохо, сразу ко мне бежите, а пока все ладно, так даже не вспомните!.. Что теперь делать-то будем?

— Ты мудр, — страж развел руками, — тебе виднее. — Икота так же внезапно прошла. — Все открыто перед тобой: и прошлое и будущее. А уж я жизни ради тебя не пожалею. Младшую дочь храму пожертвую.

— Хорошо. — Жрец деловито потер руки. — А ну-ка, отодвинь засов.

— Так ведь приказ, верховный карпан... — замялся Кэхьон.

— Что-о? — Горбун изумленно отступил назад.

— Воля твоя, — сдался страж.

Тяжело лязгнул в темноте засов, и медный вздох пронесся по сонным покоям дворца.

— Я войду сейчас, — карпан наставительно погрозил кулаком, — а ты будешь меня охранять. Понял? Чтоб ни одна живая душа близко не подошла! Смотри у меня! — Он осторожно отворил дверь и, сунув руку за пазуху, прошмыгнул в келью.

Кэхьон подхватил с пола оружие и, подобно каменному изваянию, замер у входа. Но не успел он еще прийти в себя после пережитого и собраться с мыслями, как дверь позади тихонько заскрипела.

— Тс! Это я, — прошептал горбун. — Мне нужно было убедиться, нет ли кого в комнате.

— И как?

— Она пуста... Твое счастье, дуралей! Видимо, того, кто сорвал печать, что-то спугнуло... Давай думать теперь, как тебе помочь.

— Ага, давай! — с готовностью откликнулся страж.

— Ты умеешь молчать, червяк?

— Не пробовал что-то.

— Ночная мокрица! — вскипел карпан. — О Митра! Можно ли говорить с таким остолопом?

— Смилуйся, жрец!

— Поклянись, ничтожество, что ты скорее откусишь себе язык, чем скажешь хоть слово о своем преступном ротозействе.

— Я буду нем, как камень в пустыне!

— В холодную ночь кричат даже камни.

— Я не закричу.

— Тогда слушай. Я сейчас вновь запечатаю дверь и...

— А где мы возьмем печать шахиншаха? Великий визи́рь[1] сейчас спит...

— Не твое дело, безмозглый хомяк, где я возьму печать! Ясно?

— Слушаю и повинуюсь, великий карпан!

---

[1] Точнее — вазирг.

— Давно бы так, павиан... Мы запечатаем дверь, и все станет как прежде. Когда в первую стражу будешь сдавать пост, то доложишь, что никаких происшествий не было. Повтори, мокрица.

— Никаких происшествий не было!

— Хорошо. Меня ты тоже не видел. И вообще никто тебя ночью не беспокоил, в комнату не входил.

— Не входил.

— Тогда задвигай засов! — Карпан поднял восковую печать и принялся разминать ее пальцами. — Сейчас сделаем все, как было. Счастье твое, что в комнату никто не входил и ничего туда не подбросил. — Он ловко наложил восковую нашлепку и прокатал по ней лазуритовый цилиндрик, оставивший рельефный оттиск крылатого быка. — Иначе бы я не сумел тебе помочь... Ну, вот и все. Печать снова на месте.

— Отныне я раб последнего из твоих смердов. — Кэхьон ударил себя в грудь здоровенным кулачищем. — Как это тебе удалось?

— Разве я не великий маг? — усмехнулся Зах. «Не будь так темно, — подумал он, — я бы не решился пустить в ход чудесную гемму. Ведь даже такой глупец, как этот Кэхьон, и тот сообразил бы, что за нее могут заживо содрать кожу».

— Твое колдовство поистине всесильно!

— Да, стражник, это было могучее колдовство. Но тебе лучше забыть о нем. Понял? Печати никто не трогал, в келью никто не входил, меня ты не видел и я ничего общего с тобой не имею. — Карпан вынул длинные четки и поднес их к глазам, пытаясь разглядеть кисть. — Белая нить еще неотличима от голубой, но скоро уже первая стража... Прощай, воин!

— Прощай, величайший маг!

...Солнце клонилось уже к закату, когда царь и Спитама завидели южную стену арка. Она лежала в тени и казалась почти черной. Округлые зубцы ее отчетливо врезались в золотое пыльное небо. В невесомом от зноя воздухе, как далекие звезды, мерцали дымные факелы часовых.

Виштаспа ехал теперь впереди, а бродячий пророк, как смиренный слуга, трусил за ним следом, понукая уставшую лошадь. Они пересекли прямиком неглубокий сай, заросший тамариском и лохом, и выехали на царскую дорогу, ведущую к главным — изумрудным — воротам города. Но едва проскакали расстояние в четверть парсанга, как увидели, что опускается цепной мост. Поползли вверх дубовые колья решетки, и в затененном провале меж круглых слепых башен заметались огни.

— Я не велел встречать меня. — Царь оглянулся. — Что это может быть, Спитама? — Он указал плетью на конный отряд, высланный им навстречу

— Ты лучше знаешь своих слуг, шахиншах.

— Только чрезвычайное происшествие могло заставить их ослушаться. — Он тронул коня серебряной с бирюзой рукояткой плети и поскакал в карьер.

Кобылка Спитамы, сколько он ни подхлестывал ее, все более отставала.

Но перед самой стеной, на невысоком пригорке, царь остановился, поджидая отряд, и Спитама на взмыленной лошади нагнал его в тот самый момент, когда от кавалькады отделились три всадника в золотых шлемах: великий визирь Джамасп и оба принца — Спентодата и Пешьотан.

Подъехав к царю, они соскочили с коней и упали ниц.

— О великий Митра! — первым поднял голову визирь. — Ты жив, шахиншах! — Стоя на коленях, он благодарно сложил руки. — Ты жив, солнце солнц!

— Отец, ты жив! — хором подхватили принцы.

— Конечно, жив! Но что здесь происходит? Клянусь кругами небес, я ничего не пойму. — Царь, не слезая с седла, поочередно обнял обоих сыновей. — В чем дело, Джамасп?

— Видишь ли, шахиншах, солнце солнц и надежда Вселенной...

— Короче! — Виштаспа нетерпеливо взмахнул плетью. — Почему нарушен мой приказ?

— У верховного карпана было видение, — нерешительно пробормотал визирь и замолк.

— Какое? — нахмурился царь.

— Ему показалось, что тебя хотят убить, шахиншах. — Визирь смущенно потупился.

— Я так понимаю, шахиншах, — выступил вперед Спитама, — карпан усмотрел смертельную для тебя опасность в моей особе. Правильно я говорю, великий визирь Джамасп?

Визирь только согласно кивнул в ответ.

— Это верно, отец! — Младший принц Пешьотан прижался щекой к отцовской ноге. — После приношения жертв, когда карпаны начали прорицать по внутренностям животных, Зах вдруг схватился за глаза и выронил бычье сердце.

— Выронил сердце?! — Царь побледнел. — Быть того не может...

— И все же это так. — Царевич Спентодата старался смотреть прямо в лицо пророку, но не выдержал и отвел глаза. — Верховный жрец выронил сердце.

— По закону он подлежит изгнанию, — улыбнулся Спитама. — Но здесь, как я понимаю, исключительный случай? — Он выжидательно замолк.

— Исключительный, — подтвердил визирь. — Верховный карпан закричал, что ослеп от злой силы, которая должна была поразить тебя, шахиншах, солнце...

— Довольно, — остановил его царь. — Когда это случилось?

— Ровно в полдень, — призывая небо в свидетели, поднял руку визирь.

— Ты как раз поджег тогда воздух, — заметил царь, повернув голову к Спитаме, и помрачнел.

— Что это было за колдовство, карпан не сказал, доблестный визирь? — спокойно осведомился пророк.

— Велишь ответить на его вопрос, шахиншах?

— Отвечай, — разрешил царь.

— Верховный карпан объявил, что ты, Спитама, замыслил страшное зло против шахиншаха, солнца солнц и надежды Вселенной. Причем оно настолько неистово и велико, что ослепило карпана и даже заставило его выронить бычье сердце.

— А не подумал ли ты, несравненный Джамасп, — Спитама спешился и неторопливо обтер лошадь, — не закралось ли у тебя подозрение, что карпан, возводя на меня напраслину, просто-напросто хочет прикрыть собственную неловкость? Разве не угрожает ему изгнание? Разве не оскорблял он меня и раньше столь же чудовищной клеветой?

— Велишь отвечать, шахиншах?

— Отвечай.

— Нет, пророк света, ни о чем таком я не подумал. — Визирь твердо, но без злобы взглянул на Спитаму. — Верховный карпан сказал, что чувствует вонь гнилого мяса, слышит клацанье собачьих зубов и скрежет кошачьих когтей.

— Что это значит? — удивился царь.

— Он хочет извести тебя! — Младший принц шмыгнул носом.

— Он замыслил колдовство на смерть, — сурово сказал Спентодата.

— Верховный карпан сказал, что ты, Спитама, — пояснил визирь, — расчленил труп ребенка и спрятал его вместе с головой пса и кошачьей лапой, чтобы погубить царя.

— Где? — быстро спросил Спитама.

— На груди! — выкрикнул младший царевич. — Вот где!

Спитама разорвал на себе рубаху и обнажил худое загорелое тело. Отчетливо вырисовывались ключицы и ребра.

— Смотрите же все, — сказал он печально. — Здесь ничего нет. Наверное, вы неправильно поняли карпана. Зло действительно можно затаить в сердце, но гнусные орудия колдовства следует искать в ином месте. Вели найти, царь! Я весь тут перед тобой.

— Что было у тебя в том горшке? — буркнул Виштаспа, стараясь не глядеть на пророка.

— Здесь? — спросил Спитама, доставая из хурджума завернутый в тряпки горшок. — Ничего из тех мерзостей, о которых поведал визирь. — Он протянул царю сосуд с серебряным шариком на пробке. — Только сила, похищенная по рецептам вавилонских магов у молнии.

— Не прикасайся, отец! — в ужасе закричал маленький принц.

— Не прикасайся, шахиншах! — Доблестный визирь резким ударом выбил горшок из рук Спитамы.

Хрупкая керамика тяжело ударила о булыжник дороги и разлетелась на мелкие осколки. Пораженные страхом персы увидели странное сооружение из металлических дисков, похожих на китайские с дыркой монеты, которые соединялись друг с другом тонкими проволочками. Все диски были нанизаны на черный матовый стер-

жень, заканчивающийся бронзовой пробкой с серебряной шишечкой на конце. Стержень разбился от удара, и диски распались, а пропитывающая окружавшую их материю вязкая, дымящаяся жидкость медленно поползла по камням, шипя и закипая, как вода в котле.

— Что ты наделал, неразумный! — огорчился Спитама. — Понадобится не меньше семи месяцев, прежде чем я вновь смогу собрать хранилище молний. Ты разрушил одну из семи несравненных драгоценностей мира! — Ползая на коленях, он стал собирать свои диски. Густая, источающая едкий дымок жидкость обжигала его руки, но он, не чувствуя боли, подбирал драгоценные кружки[1].

Остальные молча следили за ним.

Наконец Спитама бережно спрятал диски и проволоку в суму. Затем вытер руки тряпкой и смазал их густым молоком, несколько капель которого осторожно вытряс из бутылочки зеленоватого финикийского стекла.

— Прости мне обидные слова, которые сгоряча сорвались, — сказал он визирю. — Я не хотел оскорбить тебя, благородный Джамасп. — Он вскочил в седло и повернулся к царю. — Приказывай дальше, шахиншах, надежда Вселенной.

— Зачем ты просил опечатать твою келью, Спитама? — спросил царь.

— Чтобы твой визирь не нашел там случайно собачью голову и трупик ребенка, о солнце солнц. Вели обыскать мою кровать, шахиншах. Больше там ничего нет... Скажи мне, великий визирь, в мою комнату никто не заходил?

— Нарушить приказ царя?! — Визирь был настолько удивлен, что даже не спросил у царя разрешения ответить пророку. — Ты шутишь, чужеземец! Кто бы осмелился прикоснуться к шахской печати? — Он снисходительно улыбнулся. — Можешь быть совершенно спокоен. Хоть ты и знаешь все наперед, но оставь напрасные сомнения. Если желаешь, мы в твоем присутствии допросим стражу.

— Всего не знает никто, защитник справедливости. Но многое, ты прав, я действительно умею предвидеть. Поверь мне, что это не столь уж и трудно, когда близко узнаешь таких замечательных мужей, как наш верховный Зах.

— Что ты хочешь этим сказать? — Царь мрачнел все более.

— Сказать? Ничего, шахиншах. — Спитама горько покачал головой. — Но предсказать я все же попробую. Посмотрим, насколько точно сбудутся мои предсказания. — Он взмахнул рукой, призывая в свидетели небо. — Ты, шахиншах, осудишь невинного. Но это еще не все. Ты, о доблестный визирь, будешь сегодня обманут своими слугами, а когда ты, Виштаспа, — он дерзновенно на

---

[1] Подобные предметы из керамики, металлов и пропитанного кислотой волокна были обнаружены при раскопках древнего Багдада. Сначала их приняли за орудия неизвестного ритуала, но потом распознали электрические батареи.

звал царя только по имени в присутствии посторонних, и визирь в ужасе закрыл глаза, — когда ты поймешь, что можешь лишиться самого дорогого, свет озарит твою душу. Вслед за тобой сияние Ахуромазды узрит и Хутаоса царица твоя.

— Это все? — спросил шахиншах.

— Нет, не все, — с вызовом ответил пророк. — Великого визиря Джамаспа я награжу за верность тебе всевидением, принца Спентодату сделаю неуязвимым для вражеских стрел и мечей, а маленькому Пешьотану подарю чашу молока, которая сделает его бессмертным[1] до самого воскресения мертвых. А теперь веди меня в темницу, визирь, я твой пленник. — Он устало слез с лошади и поклонившись до земли, вручил Джамаспу поводья.

— Не спеши, — остановил его царь. — Я еще не обвинил тебя.

— Если бы Зах не входил ко мне, — Спитама подступил к царю, но Виштаспа отвернулся, — он бы никогда не выпустил из рук бычье сердце. О нет! Он побывал в моей комнате, или я плохо знаю людей. Ты обвинил меня, государь.

— Я уже говорил, ясновидец, что мне неприятна твоя манера отгадывать чужие мысли. — Виштаспа раздраженно поежился. — Не торопи события. Если будет нужно, я сам прикажу визирю арестовать тебя. А теперь садись в седло. Нас ждут.

...Судебное разбирательство по делу странствующего пророка Спитамы, подозреваемого в некромантии и преступном волхвовании против высочайшей особы, происходило в тронном зале.

Виштаспа восседал на возвышении под балдахином в полном царском облачении. Позади него стояли два прислужника: с опахалом и зонтом о семи спицах, изображающим священное древо жизни. В правой, карающей длани шахиншах держал судейский жезл, в левой — остроконечный посох с бирюзовым набалдашником. По левую сторону от трона, ближе к сердцу, сидела вся царская семья, по правую — стояли визири и члены высокого дивана. Жреческая коллегия во главе с горбуном Захом расположилась в противоположном конце зала. Обвиняемого и свидетелей поставили у подножия трона. Их, обнажив мечи, стерегли стражники. Шахский шут Пок сидел на полу и преспокойно играл сам с собой в алчик. Бараньи кости гулко стукались о мраморные плиты.

— Признаешь ли ты, что все это находилось в твоей комнате и было извлечено в твоем присутствии? — спросил обвиняемого великий визирь Джамасп, по знаку которого один из стражников развернул плат с вещественными доказательствами.

При виде отвратительных атрибутов некромантии царица вскрикнула и закрыла лицо руками. По рядам карпанов пронесся возмущенный ропот.

— Признаю, — ответил Спитама.

— Смерть ему! — закричали жрецы.

---

[1] О молоке бессмертия упоминается в книге «Динкард». Согласно другим пехлевийским источникам, принц Пешьотан умер молодым.

Царь поднял жезл и утихомирил собрание.

— Признаешь ли ты, что все это принадлежит тебе и сделано тобою с целью причинить вред?

— Нет и нет. — Спитама брезгливо отвернулся от разложенных на платке предметов. — Мне это не принадлежит. Моя рука не касалась подобной мерзости.

— Но они найдены у тебя? — вновь спросил Джамасп.

— Да.

— Как же ты объяснишь это? Как докажешь свою непричастность?

— У греков, доблестный визирь, от обвиняемого не требуют доказательств невиновности. Доказать вину должен судья.

— Мы не греки, — сказал царь. — Отвечай на вопрос, Спитама.

— Слушаю и повинуюсь, шахиншах. — Пророк отдал поклон. — Я вновь и вновь утверждаю, что предъявленные судом предметы мне не принадлежали. Как они оказались под моим ложем, не знаю. Могу лишь предполагать, что их туда подкинули.

— Начальник дворцовой стражи! — хлопнул в ладоши великий визирь.

Вперед, гремя доспехами, выступил хрупкий юноша с пушком на румяных щеках.

— Скажи нам, начальник, — спросил визирь, — была ли опечатана келья присутствующего здесь проповедника Спитамы? И если была, то когда именно? Скажи только правду, как и подобает персу.

— Дозволь ответить, шахиншах, солнце солнц...

— Довольно! — Виштаспа поднял жезл. — Джамасп вершит справедливый суд от нашего имени. Впредь обращайся прямо к нему. Остальные — тоже.

— Помещение, занимаемое Спитамой, было опечатано вчера перед рассветом, великий визирь, хранитель справедливости.

— По чьему повелению?

— Царя царей.

— Кто наложил государственную печать?

— Государственную печать, хранитель справедливости, наложил по твоему поручению судья дивана.

— Это так? — Визирь повернулся к судье.

— Начальник дворцовой стражи сказал правду, — ответил судья.

— Кто присутствовал при наложении печати?

— Пророк Спитама, вон тот стражник, — юный начальник указал на стоящего перед троном рыжеволосого великана, — и я.

— Как твое имя? — спросил стражника визирь.

— Кэхьон, хранитель справедливости! — Стражник топнул ногой и сделал воображаемым мечом на караул. — Гвардеец первой сотни бессмертных, участник Туранской войны.

— Скажи нам, ветеран, ты присутствовал при наложении печати?
— Присутствовал!
— Это была третья стража?
— Третья!
— Как протекало дежурство, ветеран?
— Как должно!
— Как все-таки?
— Никаких происшествий!
— Никто не заходил в комнату? И не пытался зайти?
— Никто!
— Кому ты сдал дежурство?
— Ему! — Кэхьон локтем толкнул стоящего рядом верзилу с бельмом на глазу.
— Стражник Арджасп, — светски улыбаясь, пояснил начальник. — Гвардеец первой сотни и тоже ветеран Туранской войны. При сдаче поста печать была проверена.
— Так? — спросил визирь.
— Точно так! — топнул Арджасп.
— Все ясно, — зевнул царь.
— Остается добавить, шахиншах, — визирь прижал руку к сердцу, — что в последний раз печать была проверена уже в моем присутствии. Можно считать доказанным, что в комнату Спитамы за время его отсутствия никто не проник.
— Ты согласен с выводами суда, пророк? — спросил Виштаспа.
— Разреши мне задать несколько вопросов, шахиншах? — попросил Спитама.
— Спрашивай, о чем хочешь.
— Мой первый вопрос к великому карпану.
— Слушаю тебя, — откликнулся горбун.
— Скажи мне, Зах, сам-то ты веришь в колдовство?
— Кто может в том усомниться?
— Ты веришь, что с помощью всех этих когтей и зубов можно наслать зло?
— Не только верю, но и знаю.
— А еще что может сделать колдун?
— Его возможности почти безграничны.
— Он может сделаться невидимым?
— Очень легко.
— Проходить сквозь стены?
— Проще простого.
— И ты сам знаешь такие секреты?
— Я говорю только о том, что знаю.
— Ну разумеется, ведь ты слывешь искуснейшим магом!.. Но скажи мне, почтенный Зах, искусство развязывать узелки без помощи рук, отворять дверь на расстоянии тебе знакомо?
— Оно доступно любому бродячему фокуснику! А ты обращаешься к великому карпану... Конечно, я мог бы шутя проделать все эти фокусы.

— Мог бы?

— Разумеется! Мне ли, творцу невиданных чудес, не уметь развязывать узелки? Жаль, что сан не позволяет сделать это в твоем присутствии.

— Да, сан ему не позволяет, — подтвердил судья дивана.

— Нет так нет! — развел руками Спитама. — Благодарю тебя, царь магов. Мои вопросы к тебе исчерпаны. Следующий вопрос я хотел бы задать великому визирю.

— Говори, — разрешил Джамасп.

— Как ты полагаешь, хранитель справедливости, можно ли надеяться на замки и печати в условиях, когда любой карпан, даже просто фокусник, как сказал Зах, способен открывать замки и развязывать узелки?

Но, прежде чем визирь успел сообразить, куда клонит подсудимый, вмешался Зах.

— Перед царской печатью бессильно всякое колдовство! — взвизгнул горбун. — На ней крылатый бык! Сам Митра!

— Согласен, почтеннейший! — обрадовался Спитама. — Но, в таком случае, едва ли возможно причинить колдовством вред священной особе, самому шахиншаху! Не так ли?

В тронном зале настала тишина. Все затаили дыхание.

Первым опомнился Зах.

— Мне кажется, — он значительно прокашлялся, — подсудимый хочет увести разбирательство в сторону. Какая, в сущности, разница, мог или не мог причинить он своим колдовством вред? Главное для нас заключается в том, что он злоумышлял против священной особы шахиншаха. А это доказано!

— За что меня судят, великий визирь? — вскричал Спитама. — За умысел или же за деяние?

Визирь беспомощно оглядывался то на жрецов, то на трон.

— За умысел, — пришел на помощь царь.

— Пусть так, — просветлел лицом Спитама. — За умысел нельзя казнить мучительной смертью.

— Тебя не станут терзать, — успокоил Виштаспа. — Значит, ты сознаешься в преступном умысле?

— Дозволь мне продолжить, шахиншах!

— Продолжай, — нехотя согласился царь.

— Итак, мы все пришли к согласию, что священная особа не подвластна злому деянию, и даже ее печать с крылатым быком оному препятствует. Так, верховный карпан?

— Так, — подумав, подтвердил Зах.

— Но разве нет возможностей обойти печать? — Спитама сделал долгую паузу. — Разве верховный жрец не признал здесь, что может проходить сквозь стены? Все слышали?

— Это ты на кого намекаешь, бродячий некромант? — с угрозой спросил Зах. — На меня? На главу коллегии карпанов и кави Ирана?

— Спаси меня Ахуромазда от такой страшной мысли! — В притворном ужасе Спитама закрылся широким рукавом длиннополой

рубахи из домотканой холстины. — Но ведь сам карпан признал, что колдовское искусство позволяет проходить сквозь стены, становиться невидимым. Почему бы не предположить тогда, что неизвестный недоброжелатель незримо для присутствующих здесь бравых воинов проник в мой покой и подбросил все эти гадости? Я ничего не утверждаю. Я только спрашиваю: такое возможно?

Вновь воцарилась настороженная тишина.

— Ответь ему, верховный карпан, — распорядился наконец царь.

— Что я могу сказать, шахиншах? Такое безусловно возможно. Но где, позволь спросить, доказательства? Предполагать, конечно, можно всякое. Только следует ли суду заниматься предположениями? Вот в чем вопрос. — Горбун удовлетворенно хмыкнул.

— Говори теперь ты, Спитама. — Виштаспа наклонился к пророку. По всему было видно, что он с интересом ожидает продолжения диспута. — Что ты можешь возразить нашему Заху?

— Ровным счетом ничего. Я абсолютно согласен с верховным. Суд не должен заниматься предположениями. Оставим кости гадальщикам, не так ли, Пок?

— И зубастым. — Шут разинул рот, демонстрируя голые десны, и сделал вид, что со смаком обгладывает бараний позвонок. — Нет ничего вкуснее мозга, — зачмокал он.

Раздался дружный смех.

— Молчи, дурак! — прикрикнул царь, не в силах скрыть улыбку. — Выходит, ты признаешь правоту Заха, пророк?

— А как же иначе? Высокому суду действительно не подобает руководствоваться голословными утверждениями и бездоказательными предположениями. Все признают, что при желании почти любой из присутствующих магов мог тайно проникнуть ко мне. Но доказательств нет, и суд не может позволить себе поверить в такую возможность. Поэтому трижды прав верховный карпан! Но меня, пророка света, борца со скверной и мерзостями, обвиняют в чудовищных поступках, и высокий суд склоняется на сторону клеветников! — Спитама резко повернулся к жрецам и указал пальцем на горбуна. — Где же здесь доказательства? Прости, почтенный Зах, но тут мы с тобой расходимся.

— Вот они доказательства, — жрец пренебрежительно скривил губы, — на твоем платке.

— Это действительно твой платок? — спросил визирь которому не терпелось оказаться вновь в центре внимания. — Так?

— Так! Но и только. Комната тоже моя и постель тоже, но из этого не следует, что я занимался некромантией. Где труп, от которого взяты представленные здесь части? Его нашли? Моя причастность к его расчленению установлена? Молчишь, хранитель справедливости? Как ты мог, как все вы могли поверить, что я способен хотя бы притронуться к падали? Разве не учил я вас, что мертвая плоть является самой нечистой? Она загрязняет живых, оскорбляет землю, оскверняет огонь! Как же вы смели возвести на

меня такое? Уберите эту падаль и совершите потом подобающее очищение. Все вы нечисты теперь сорок три дня, и я вместе с вами... Дворец же, куда вы бездумно привнесли смерть, окурите священным кипарисом, обмойте бычьей уриной, плодотворящей землю, и молоком, питающим жизнь. Больше я вам ничего не скажу.

— Может быть, ты, Спитама, располагаешь еще какими-нибудь доказательствами своей невиновности? — мягко спросил царь. — Или желаешь выставить свидетелей? Назови их суду. Поверь мне, что, если бы ты не попросил опечатать твою келью, все обвинения были бы развеяны. Ты сам дал оружие против себя.

— Еще бы! — торжествующе захохотал Зах. — Он потому и попросил опечатать дверь, что боялся разоблачения! Вдруг забредет кто-нибудь и увидит, чем занимается пророк света! Пусть попробует опровергнуть мои слова! — Он самодовольно окинул взглядом коллег.

— Думаю, это будет не так-то легко, — заметил визирь.

— Почему ты молчишь, Спитама? — участливо осведомился царь. — Твое молчание может быть истолковано как признание вины.

— Помнишь, царь, ты позволил мне сесть на твоего вороного?

— Конечно, Спитама! Я был очень удивлен, когда Черный Алмаз не сбросил тебя с седла. Ты, наверное, околдовал его, когда шептал ему на ухо какие-то заклинания?

— Не заклинания, — Спитама не спускал с шахиншаха неподвижного, завораживающего взгляда, — я сказал ему о своей невиновности. Теперь он мой свидетель, Виштаспа. Настанет час, и он заговорит.

— Пусть будет по-твоему. — Виштаспа разочарованно откинулся на высокую прямую спинку царского кресла.

— Заметь, шахиншах, — горбун вновь выскочил вперед, — он начал клясться в невиновности еще до того, как ему предъявили обвинения! Недаром народ говорит, что у лжеца память коротка. А еще...

— Чистому золоту нечего бояться земли, царь, — перебил жреца Спитама. — Я давно ждал, что меня обвинят в чем-то подобном, потому и просил опечатать дверь на то время, пока буду отсутствовать.

— Почему же это ты «ждал»? — передразнил его Зах. — Народ говорит: «У кого счет в порядке, тому нечего бояться проверки. Никто не скажет, что его айра́н[1] кислый».

— Ты, я вижу, знаток пословиц, почтенный, — Спитама обернулся к верховному карпану, — потому я отвечу тебе пословицей моего народа: «Верблюда под ковром не спрячешь». Вот почему я готовился к подлости. Горе не извещает, когда придет.

---

[1] Айран — кислое молоко с водой.

— А в Иране говорят, — не растерялся Зах, — «верблюд стоил бы дешево, если бы не его ошейник. Кто украл яйцо, украдет и верблюда. Лгун забывчив».

— На всех лает собака, на меня — шакал.

— Лису спросили: «Кто твой свидетель?» Она ответила: «Мой хвост».

На этот раз карпану удалось рассмешить весь зал. Он даже отвернулся, чтобы скрыть самодовольную улыбку и с независимым видом возвратился в толпу жрецов. Но Спитама и не думал сдаваться.

— Народ обманешь, да бога не удастся обмануть. Разве не говорят у вас в Иране, что не каждый, у кого есть борода, — дедушка? Так помните же мои слова. Когда вор у вора крадет, горе последнему вору. Ты бросил в меня песок против ветра, карпан, смотри, как бы не запорошило глаза. А теперь суди меня, великий визирь, только не забывай, хранитель справедливости, что выпущенную стрелу обратно не возвратишь.

— Он еще угрожает! — не выдержал Зах.

— Можно убить живого, но как оживить мертвого? — не обращая на карпана внимания, заключил Спитама. — Я в твоей власти, визирь.

— Выноси свой приговор, Джамасп, — взмахнул жезлом царь.

— Жреческая коллегия настаивает на обвинении проповедника Спитамы в преступном умысле против священной особы шахиншаха?

— В полной мере! — торжественно провозгласил Зах. — И еще мы вменяем ему в вину мерзостное ремесло некроманта, запрещенное по всей стране.

— Насколько доказана вина Спитамы?

— Она доказана полностью, хранитель справедливости.

— Какого мнения придерживается судья дивана?

— Предъявленные суду улики свидетельствуют сами за себя. — Судья с кроткой улыбкой отдал поклон визирю. — Принадлежность их подсудимому неоспорима.

— Благодарю тебя, ревнитель закона! — выкрикнул Зах.

— Какое наказание предусматривает закон? — Визирь старался не встречаться со Спитамой взглядом.

— Закон вынуждает нас прекратить жизнь подсудимому, — с готовностью разъяснил судья.

— Только не это! — ужаснулась Хутаоса.

— Благодарю тебя, великая царица, — склонился перед ней Спитама. — Ты видишь свет.

— Законы превыше нас, — сурово сказал визирь.

— В данном случае они позволяют нам быть милостивыми, — заверил судья.

— Я обещал избавить Спитаму от мук, — настоятельно напомнил Виштаспа, — и хочу сдержать свое слово.

— Несомненно, шахиншах! — тотчас откликнулся судья. — Спитаме будет разрешено самому избрать себе способ прекращения жизни.

— Выбирай яд, Спитама! — выкрикнул Пашьотан. — Ты умрешь быстро и безболезненно!

— Ты очень добр, мальчик! — Пророк ободряюще кивнул принцу.

— Лучше упади на меч, — посоветовал старший царевич.

— Я всегда говорил, что ты станешь великим воином. — Спитама поклонился на все четыре стороны. — Благодарю за советы и милостивое ко мне сочувствие, но я предпочту голод.

— Голод? — удивился царь.

— Как так голод? — не понял визирь.

— Очень просто, — кротко разъяснил Спитама, словно его это ничуть не касалось. — Если человеку не давать есть, он безусловно умрет. Не правда ли, ревнитель закона? Так вот, пусть меня посадят в подвал и оставят в покое.

— А как насчет воды? — уточнил дотошный судья дивана.

— О! Боги не допустят такого надругательства! — Царица гневно сжала кулачки. — Пусть Спитаме оставят воду, государь.

— Но тогда он сможет прожить довольно долго, — напомнил судья.

— Это уж воля божья, — усмехнулся пророк. — Мне лично спешить некуда.

— Протестую! — Зах выбежал на самую середину. — Он хочет избегнуть справедливой кары! Он надеется выиграть время и при помощи черной магии учинить побег. Не выйдет! Жреческая коллегия не может позволить какому-то проходимцу издеваться над нашими законами. Смерть так смерть! Пусть этот обманщик, сулящий всем и каждому вечную жизнь, хоть что-нибудь сделает для себя. Давайте посмотрим, как поведет он себя на лобном месте. И отберите у него перстень Невидимости!

Жрецы одобрительно загудели.

— Я нахожу требование коллегии справедливым, — заметил судья.

— Только что ты сам предложил мне выбрать смерть, ревнитель закона, — возразил Спитама и показал руки — кольцо исчезло.

— Нельзя брать слово назад, — рассудил великий визирь. — Я считаю, что выбор сделан. Спитама честно воспользовался своим правом.

— Согласен, — уклонился от спора судья. — Но вопрос с водой по-прежнему неясен.

— Ты так думаешь? — Царица быстро отерла мелкие злые слезы. — Знаешь ли ты, что значит умереть от жажды? О государь! Умоляю! Ты же обещал избавить его от мук!

— Он сам выбрал смерть, — сказал непримиримый Зах. — Выбор, таким образом, сделан; хранитель справедливости прав. Только перстень найти надо. Пусть обыщут его.

— Я вовсе ничего не хотел сказать о воде... — Визирь с надеждой повернулся к царю, но тот медлил с окончательным решением.

— В самом деле, Спитама, — после долгого молчания сказал Виштаспа, — ты и мне говорил, что знаешь средство для вечной жизни. Значит ли это, что ты способен одолеть смерть? И где твой перстень?

— Нет такого средства, которое могло бы противостоять насильственной смерти. Отрубленная голова обратно не прирастает. Помни, шахиншах, мертвого не оживить. — Стараясь унять озноб, Спитама крепко прижал руки к груди. — Скажи же наконец свое слово.

— Да будет так, — принял решение Виштаспа. — Казнить преступника голодом, как он сам того пожелал. Бросьте его в башню. Что же касается воды, то, дабы смерть не была мучительной, оставить в темнице двенадцатидневный запас... Тебе достаточно, Спитама?

— Твое милосердие безгранично, государь!

— И еще повелеваем, — царь энергично взмахнул жезлом, — снабдить его быстродействующим ядом, коим он вправе распорядиться по собственному разумению. После суда — обыскать!

И все стали восхвалять мудрость и доброту государя. Ревнитель закона тотчас отдал распоряжение писцам запечатлеть приговор на глиняной табличке, дабы впоследствии в назидание потомству перенести его на гранит.

...Но Спитама не пробыл в башне и двух дней, как по всему Балку разнеслась весть, что царский конь серьезно занедужил. «Великолепный конь Виштаспы, с которым не могла сравниться никакая лошадь»[1], наводивший ужас на туранцев и индов, Черный Алмаз упал в одночасье и уже не смог подняться. Ноги более не повиновались ему. Парализованные какой-то странной болезнью, они отказывались сгибаться. Даже искуснейшим кузнецам не удалось согнуть ни одну из них хотя бы в копыте. Ничего не добились и прославленные силачи, подымавшие в одиночку верблюда. Но странное дело! Благородное животное при всем при том не выказывало никаких признаков страдания. Конь исправно ел отборную пшеницу и пил снеговую воду, текущую с Афганских гор, радостным ржанием отзывался на зов знакомых кобылиц. Вот только стоять не мог.

Царь места себе не находил от горя. Он сам кормил и поил своего любимца, расчесывал ему гриву и хвост, но поднять, сколько ни пытался, не сумел. Он и за уздечку тянул, и слова ласковые говорил, но ничто не помогало. По всему было видно, что Черный Алмаз и сам бы был рад встать на все четыре копыта, да только не мог. Лежа на боку, он силился сдвинуться с места, мотал шеей, но тонкие сильные ноги его были недвижимы, словно к земле прирос-

[1] Так дословно сказано в «Динкарде», книге, повествующей о священном законе Мазды

ли. Видя, как страдает хозяин, конь приподнимал голову, тянулся к нему влажными губами, но скоро уставал и ронял тяжелую голову обратно на сено. Умные большие глаза его переполняла темная вода печали.

Стал на колени царь, прижался лицом к горячей голове безмолвного друга и, ощущая, как прядает острое ухо его, как бьется каждая извилистая жилка, вспомнил вдруг о пророчестве Спитамы.

Он энергично вскочил, вытер слезы и радостно хлопнул в ладоши.

— Эй, стража! Немедленно доставить мне сюда узника из угловой башни! Да принесите свежих лепешек и кувшин холодного айрана, чтобы он смог хорошо поесть.

Но Спитама, когда гвардейцы из первой сотни привели его в царские конюшни, от угощения отказался.

— Нет, Виштаспа, — покачал он головой, — приговор твой все еще в силе, и не годится поэтому нарушать слово. Иное дело, если ты пересмотришь его, тогда я готов подчиниться.

— Может быть, и пересмотрю. — Царь весело подмигнул Спитаме, словно тот был соучастником детских его игр. — Твои проделки? — кивнул он на коня, который силился дотянуться губами до босых ног пророка. — Отвечай честно и прямо.

— Мои, — с готовностью признал Спитама.

— Я так и думал, — с облегчением вздохнул царь. — Не случайно я спрашивал, хватит ли тебе двенадцати дней!

— Я же сказал тебе, что хватит.

— Ты и за три управился.

— В моем положении тянуть не имело смысла. Того и гляди, Зах убийцу подошлет.

— В башню? — Царь недоверчиво прищурился.

— Для карпана не существует запоров. — Спитама присел погладить коня. — В этом-то я убедился... Царская печать ему тоже не преграда.

— Ладно, пророк, — примирительно промолвил царь. — Об этом после... Колдовство снять, конечно, сможешь?

— Конечно, смогу.

— Чего потребуешь взамен?

— Я обещал тебе, принцам и визирю четыре благодати, ничего для себя не требуя. Стану ли я теперь выторговывать условия?

— Четыре так четыре! — ударил Виштаспа себя по колену. — Ровно столько, сколько ног у коня! Обязуюсь исполнить четыре твои желания, Спитама. Называй!

— Следуй учению Ахуромазды, — загнул палец пророк.

— Последую! — призвал небо в свидетели царь.

— Пощупай ему ногу, — сказал Спитама.

— Какую?

— Любую.

— Переднюю правую! — Царь погладил ногу коня, и она вдруг ожила в его руках, сначала согнулась в колене, а затем

свободно вытянулась, налитая силой, «так как слово шаха было истиной»[1].

— Принц Спентодата будет прекрасным воином, — сказал Спитама. — Пусть он понесет знамя Ахуромазды другим народам во главе большой армии.

— Правую заднюю! — нетерпеливо потребовал царь. — Конечно, конечно, — спохватился он. — Я дам Спентодате войско.

Надо ли говорить, что и эта нога вороного ожила? Все позднейшие письменные источники, в том числе и «Зардуштнамэ», подробно описывают эту удивительную процедуру. Пусть она всего лишь наивная легенда, цветистая и причудливая, как все на Востоке, но что с того?..

— Не забудь о своей царице, — напомнил Спитама. — Ведь это она спасла мне жизнь!

— Она уже прониклась твоим учением, — пробормотал царь, хватаясь за третью ногу вороного.

— А теперь, царь, тебе остается только одно: казнить Заха и тех карпанов и кави, которые помогали ему строить против меня козни. Предатели-стражники тоже не должны уйти от возмездия, как, впрочем, и неправедный судья.

— Ты, оказывается, мстителен, пророк! — поднял голову царь. — Разве это согласно с учением света? — Он с интересом вглядывался в Спитаму, который предстал теперь перед ним в совершенно ином облике.

— Истина двойственна, Виштаспа, — грустно кивнул пророк. — Кажется, я уже говорил тебе об этом когда-то.

— А простить ты не можешь?

— Я-то могу, но они не простят. Прощенный враг ненавидит еще сильнее. Либо я, либо они, Виштаспа.

— Может, хватит одного Заха?

— Нет, царь, не обольщайся. Если ты не проявишь достаточной твердости, то восстановишь против нас всю жреческую коллегию, а это преждевременно. Вы, персы, правильно говорите: враги делятся на три разряда — враг, враг друга, друг врага. Верховный карпан мой и, следовательно, твой враг, остальные — его друзья, а потому — враги наши.

— Нелегко будет справиться с карпанами.

— Я буду рядом с тобой.

— Опора карпанов в коллегиях Вавилона.

— Ты сокрушишь его. Если не ты, то твой сын или сын твоего сына.

— Вавилон — государство или Вавилон — веру?

— Веру подорвет моя правда. Я понесу ее туда.

— Как-то примет еще народ твою Авесту?

— Я дам ему ее из своих рук.

— А нельзя нам просто изгнать Заха и его шайку?

---

[1] Так сказано в «Зардуштнамэ» (1277 г.).

— Нет, государь, ничего не получится. Изгнанники возвращаются. Я требую смерти для них — таково мое четвертое условие.

И прежде чем Виштаспа успел ответить, Черный Алмаз весело заржал, вскочил на ноги и принялся нетерпеливо рыть землю копытами.

— Вот ты и решил, государь, — тихо сказал Спитама.

Он поднял руку, призывая в свидетели небо. Под солнечными лучами алым светом взорвался дивный камень.

Глава шестая

ГРАНИ КРИСТАЛЛА

НИИСК размещался в трех пятиэтажных корпусах, сложенных из крупного желтовато-белого кирпича. Обширную территорию института окружали точно такие же кирпичные стены, над которыми была протянута сигнальная проволока. Стеклянная проходная, напоминавшая вышку в аэропорту третьестепенного значения, находилась рядом с высокими раздвижными воротами.

Боец внутренней охраны с зелеными эмалевыми треугольниками на петлицах внимательно изучил люсинское удостоверение и, справившись со списком, выписал пропуск. Проехать через ворота на машине он не позволил, поскольку никаких указаний насчет шофера ему не спустили. Люсин решил не настаивать и, пройдя через проходную, пустился в обход институтского двора. Дирекция находилась во втором корпусе, и ему предстояло пройти мимо всякого рода складов и мастерских. Территория выглядела порядком захламленной. Под стенами лабораторных корпусов стояли пустые кислородные баллоны, всевозможное оборудование в деревянной опалубке, ящики. Люсин с интересом оглядел зарешеченные окна, жестяные рукава вытяжной системы и причудливые вентиляционные сооружения, которые, как грибы, вырастали прямо из-под земли. Лаборанты в черных затрапезных халатах перетаскивали тяжеленные, малость припудренные ржавчиной стальные бруски. На ступеньках крыльца стояли облепленные стружкой бутылки с кислотой, вакуумный насос, панель, напичканная реле и сопротивлениями, черная узкогорлая бомба с жидким аргоном. Институт явно переживал период первоначального накопления. Белохалатные эмэнэсы — младшие научные сотрудники — с азартом растаскивали драгоценное оборудование по своим лабораторным норам. Насколько Люсин мог понять из долетавших до него отрывочных реплик, не обходилось и без конфликтов. Но пиратство было взаимным, и споры тоже быстро улаживались на почве взаимовыгодного обмена. Валютной единицей здесь, как и везде, служил ректификат, без которого ни один уважающий себя стеклодув не принял бы заказа. А вся наука, как известно, делается ин витро, то есть в стекле.

У входа в административное здание у Люсина проверили пропуск. Словоохотливая вахтерша сообщила ему, что директор хоть и у себя, но приема еще не начинал и, видимо, начнет не скоро. Люсин глянул на часы. Было без трех минут десять. Он пришел вовремя, как договорились. Но на всякий случай следовало вооружиться терпением. После того как генерал кратко и сугубо сдержанно сказал ему вчера, что Фома Андреевич к аудиенции подготовлен, он мысленно поклялся не давать поводов для дипломатических осложнений.

Нелюбезная секретарша Марья Николаевна с непроницаемым лицом выслушала, кто он и что он, но с места не стронулась и доложить не поспешила. Пришлось Люсину отойти в уголок и прислониться к стене, так как все стулья были заняты. Насколько он успел сориентироваться, живой очереди здесь не существовало. Всем дирижировала молчальница Марья. Некоторую смуту в заведенный ею и непостижимый для постороннего глаза порядок вносили напористые и, очевидно, высокопоставленные товарищи, которые с видом крайней озабоченности влетали в приемную и тут же, ни у кого не спросясь, открывали заветную дверь. Минут десять-пятнадцать Люсин изучал обстановку. Его поразило, что облеченные особыми полномочиями сотрудники лишь входили в кабинет, но никак оттуда не выходили. Если только они не исчезали в каком-нибудь вакууме или силовом поле, то в кабинете, должно быть, скопилась уйма людей.

Дождавшись появления очередного носителя невидимой контрамарки, Люсин спокойно отделился от стены и уверенно потянул за ручку двери. Действие протекало в абсолютной тишине, но затылком Владимир Константинович чувствовал прицельный взгляд секретарши.

Он ступил на зеленую дорожку и, обойдя стол заседаний, направился прямо к директорскому креслу.

Дружелюбно раскланявшись с присутствующими, он, словно старому знакомому, улыбнулся Фоме Андреевичу и взялся за спинку ближайшего свободного стула.

— Извините за небольшое опоздание. — Он посмотрел на часы и покачал головой: — Мне передали, что вы назначили на десять, но летом, знаете ли, такое оживленное движение... Не проедешь.

Он умышленно не назвал себя, понимая, что Фома Андреевич не мог забыть о назначенной встрече и, конечно же, отдал необходимые распоряжения Марье Николаевне.

Люсин просто позволил себе не заметить предложенных ему условий игры. Фома Андреевич мгновенно все понял и с точно рассчитанной медлительностью привстал:

— Да-да, помню. — Он пожевал губами и протянул руку. — Садитесь, пожалуйста.

Люсин благодарно кивнул, вяло пожал протянутую руку и, придвинув стул поближе к директорскому креслу, сел.

— Надеюсь, я не помешал? — Он обвел широким жестом притихшее собрание.

— Как вам сказать?.. — усмехнулся директор. — Будем считать, что не помешали. У нас тут небольшое совещание, но, думается, мы можем его перенести... Ваше мнение, товарищи? — Он едва заметно нахмурился и поднял глаза на сотрудников.

Послышался звук отодвигаемых стульев. Присутствующие один за другим поднялись, собрали разложенные на столе бумаги и, оживленно переговариваясь, удалились. Один из них, правда, попытался подсунуть Фоме Андреевичу какую-то бумажку на подпись, но тот только досадливо отмахнулся:

— Потом, Валериан Вячеславович, потом... Слушаю вас, товарищ. — Фома Андреевич повернулся в кресле и, словно отличался глухотой, подставил мясистое, поросшее черным волосом ухо. — Вы по вопросу... — Он выжидательно примолк.

— Я относительно Аркадия Викторовича Ковского, — подсказал Люсин и тоже замолчал.

— Так-так... — наконец нарушил затянувшуюся тишину Фома Андреевич. — Не отыскался еще?

— Нет, не отыскался... Хотим надеяться на вашу помощь.

— Разумеется, мы готовы пойти вам навстречу. Только я по-прежнему плохо представляю себе, чем мы можем быть полезны милиции. Конкретно, так сказать.

— Если вас это не затруднит, просто расскажите мне о Ковском. Что он за человек, над чем работал, с кем дружил или враждовал. Одним словом, обрисуйте мне его внутренний портрет.

— Внутренний? — Директор передвинул рычажок на селекторе. — Зайдите ко мне, Евгений Иванович.

Фома Андреевич взял в руки чашу, сделанную из кокосового ореха, и высыпал на ладонь кучу сверкающих самоцветов.

— Что, хороши? — Он положил камни перед Люсиным.

Они действительно были великолепны, эти идеально правильные и прозрачные кристаллы всевозможных цветов и оттенков.

— Искусственные? — поинтересовался Люсин.

— Синтетические. По всем параметрам превосходят природные... Между прочим, здесь одни гранаты.

— Гранаты? — удивился Люсин. — Я думал, что они только такие, — пальцем он осторожно отделил от кучки темно-красный многогранник.

— Мы получаем любые цвета. Вот, например, голубой. Попробуйте-ка подкинуть на ладони.

— Тяжелый, — одобрил Люсин.

— Еще бы! — снисходительно усмехнулся Фома Андреевич. — А это цитрин. Видите, какой желтый? Как солнышко! В натуре такой желтизны не бывает... Зато зеленая окраска оставляет желать лучшего.

Люсин взял длинную четырехгранную призму и, повернувшись к окну, посмотрел ее на просвет. Окраска казалась несколько грязь-

новатой. У основания кристалла она бледнела, расплываясь в первозданной воде. Бесцветные пояски встречались и в других зеленых и синих камнях.

— Все равно красиво, — вежливо заключил Люсин.

— Будет лучше... Я, как вы догадываетесь, не случайно вам нашу продукцию демонстрирую. Аркадий Викторович как раз и занимался проблемой цветности... Не один, разумеется, а в составе большого коллектива...

— Ваш институт пользуется заслуженной славой, — как бы вскользь, заметил Люсин.

Он обратил внимание и на карту всесоюзных связей, и на застекленную горку, в которой красовались спортивные кубки, всевозможные сувениры, шитые золотом вымпелы и сложенные стопкой адресные папки. Невинная лесть в беседе с людьми науки или искусства еще никому не повредила. Тем более, если для комплиментов были столь наглядные поводы.

— Это верно, нас знают. — Фома Андреевич многозначительно откашлялся в кулак. — Космическая техника, лазеры, электронно-вычислительные машины — вот далеко не полный перечень областей применения нашей продукции.

— Впечатляет! Главные направления научно-технического прогресса как-никак!

— На нас возложены большие задачи. Мы обеспечиваем науку, производство, оборонную промышленность... От чистоты и атомного совершенства наших монокристаллов зависит очень и очень многое...

— Еще бы! — подыграл Люсин. — Космос!

— Правильно. Успехи радиолокации планет Солнечной системы можно отнести и на наш счет. Но у синтетических кристаллов есть много дел и на земле: медицина, подводная навигация, обработка сверхпрочных материалов и так далее.

— Я понимаю.

В кабинет вошел пожилой краснолицый человек в черном костюме и выжидательно остановился на пороге. В руках он держал картонную папку.

— Это наш ученый секретарь и по совместительству начальник отдела кадров товарищ Дербонос, — отрекомендовал директор вошедшего и поманил его рукой. — Проходите, Евгений Иванович.

Дербонос пригладил реденькие, прилипшие к черепу седые волоски и присел в некотором отдалении. Люсин успел заметить, что папка, которую он принес, была личным делом Ковского. Все разыгрывалось, как по нотам.

— Ознакомьте товарища, Евгений Иванович, — распорядился директор.

Дербонос раскрыл папку.

— «Ковский Аркадий Викторович, одна тысяча девятьсот девятнадцатого года рождения, русский, беспартийный, образование

высшее, закончил химический факультет Московского университета, работает в нашей организации с двадцатого ноября одна тысяча девятьсот шестьдесят первого года...» — Евгений Иванович читал неторопливо, с чувством и выражением, словно перед ним была собственного сочинения баллада, а не листок по учету кадров.

Люсин, полуприкрыв глаза, следил за тем, как шевелятся его тонкие губы, как многозначительно подчеркивает он покашливанием и усилением голоса наиболее примечательные моменты биографии Аркадия Викторовича.

Покончив с анкетой, Дербонос перешел к последней характеристике, уведомив, что она была дана для выезда в зарубежную командировку в Федеративную Республику Германии (ФРГ).

— Товарищ Ковский характеризуется положительно, — торопливо, словно извиняясь, пояснил он и приступил к чтению: — «...Морально устойчив, идеологически выдержан, в коллективе пользуется заслуженным авторитетом... является способным научным работником... внес ценный вклад... около ста научных трудов и изобретений...»

Люсину вдруг показалось, что Дербонос не произносит ни звука и лишь раскрывает рот, как в немом кино.

«И мы тоже пишем такие же точно характеристики, — подумал он. — Единственное различие — это количество научных трудов, то есть раскрытых преступлений... у одного сто, а у другого только десять... Человека жажду! Где человек? Ау! Дай мне свой карманный фонарик, старикан Диоген!»

— Будут у вас вопросы? — спросил Фома Андреевич, когда Дербонос замолчал.

«Будут. Да и как им не быть? Я хочу знать, кто были друзья Аркадия Викторовича и кто недруги. С кем он болтал в кулуарах. Кто провожал его домой. Кто покупал для него пирожки в буфете. Как он шутил, распивая спецмолоко. Какие любил анекдоты. О каких странах мечтал в детстве. На какие фильмы ходил. Что читал. Чем жил. Что ему было дорого и что ненавистно. Как он относился к людям. Что думал в минуты бессонницы о неизбежности смерти. Каким был во гневе и раздражении. Как реагировал на подлость и низость. Какие поступки считал для себя совершенно немыслимыми. Человек мне нужен, а не анкета, сложный, противоречивый и многогранный человек...»

— Благодарю вас, — вздохнул Люсин. — У меня нет вопросов. Все ясно.

— Спасибо, Евгений Иванович, — кивнул Фома Андреевич.

Дербонос с достоинством подколол бумаги, закрыл скоросшиватель и безмолвно исчез. Словно в воздухе растворился. Люсин даже не заметил, как он встал и скрылся за дверью, настолько мгновенно это произошло.

— Мне бы хотелось повидаться с людьми, близко знавшими Аркадия Викторовича. — Люсин нечаянно построил из многоцвет-

ных гранатов городошную фигуру известную под названием «бабушка в окошке». — А кроме гранатов, какие камни вы делаете?

— Любые. Оливины, бериллы, агаты, алюмосиликаты, корунды.

— Рубин? Шпинель? — Люсину вспомнились вдруг сокровища альбигойцев. — Алмазы?

— Я же сказал — все. Кроме алмазов, разумеется. На сегодняшний день искусственные алмазы уступают природным... Получение их тоже, надо сказать, в копеечку влетает. Над цветностью алмазов мы, должен сказать, работаем и, следует отметить, успешно окрашиваем натуральные камни в разные цвета... Наш сотрудник товарищ Сударевский Марк... э... Модестович разработал очень оригинальную методику. Он добивается изменения цветности кристаллов путем облучения их тяжелыми ионами. Ведем в этом направлении совместные исследования с Дубной, с лабораторией ядерных реакций. Очень перспективное направление. Вам будет небезынтересно. Тем более что Марк Модестович является ближайшим учеником и сотрудником Ковского. — Небрежным мановением пальца Фома Андреевич переключил тумблер: — Марк Модестович, зайдите ко мне.

Директор откинулся в кресле и, отдуваясь, расстегнул пуговицу на жилетке. Можно было бы подумать, что он устал от усилия, которое затратил на вызов, не будь оно столь незначительным.

— Видимо, цветность, — Люсину новый термин пришелся по вкусу, — влияет не только на ювелирные, так сказать, свойства камней? — Он задал вопрос, чтобы заполнить паузу в разговоре.

— Ювелирное дело нас не интересует. — Фома Андреевич пренебрежительно поморщился. — Пустая забава... Аркадий Викторович этим увлекался, в старых книгах рылся, рецепты какие-то выискивал... Но я не одобряю... Вижу в том эдакий, знаете ли, фетишизм.

— Очень интересная точка зрения! — поддакнул Люсин, хотя слабо понимал, о чем идет речь.

— Что же тут интересного? Это только естественно... Ковский химик, понимаете ли... Отсюда все последствия.

— Это плохо, — осторожно спросил Люсин, — что химик?

— Нет, само по себе, разумеется, не плохо. Наоборот. На своем месте Виктор Аркадьевич... Аркадий, простите, Викторович соответствовал... М-да... Но химики — они все еще немножко и алхимики тоже. — Он вдруг довольно хихикнул. — Романтика там, ползучий эмпиризм... А я физик, сухарь, признающий только число и меру. Иные методы! Да и время теперь другое. В век научно-технической революции наука стала самостоятельной производительной силой общества. Производительной! — Он поднял палец. — Это значит — производство, завод, комбинат... О чем это мы с вами? — Фома Андреежич вдруг потерял нить разговора.

— Ювелирное дело, цветность камней... — подсказал Люсин.

— Да, цветность... — Директор сгреб кристаллы и медленно разжал полные, любовно ухоженные пальцы. — Радуга, — усмех-

нулся он, глядя, как прыгают, дробно постукивая, самоцветы по стеклу на его столе. — Возьмите в качестве сувенира. — Он щелчком толкнул к Люсину крупный голубой гранат.

— Что вы, товарищ директор! — смутился инспектор. — Неудобно!

— Берите, берите... Для нас это брак.

— Но это же ценная вещь! Ювелиры...

— Пустое! Ювелиры — профессия вымирающая. Ей пришел конец вместе с эрой природных кристаллов.

— Спасибо. — Люсин сунул камень в карман и неловко почесал макушку.

— Перстни и серьги всякие — это варварство. Пережитки. Все равно как кольцо в носу. — Фома Андреевич даже показал пальцами, как это выглядит. — Для меня, физика-инженера, алмаз интересен только своей непревзойденной твердостью, точно так же, как, допустим, прозрачностью для ультрафиолета — кварц. Не более. Можно лишь сожалеть о том, что долгие годы ценнейшие минералы разбазаривались ради украшения всяческих модниц, а не шли по назначению. Впрочем, все равно природный флюорит, алмаз и горный хрусталь могут удовлетворить лишь ничтожную долю потребностей современной науки и техники.

— К счастью, существуют такие учреждения, как ваш институт, — очень уместно ввернул Люсин.

— Это необходимость, — отмахнулся Фома Андреевич. — Наш институт является научно-исследовательским, и чисто производственные вопросы имеют для него второстепенное значение. Главное — это наука, познание новых явлений и свойств материального мира... Не случайно же, — он удовлетворенно улыбнулся, — Академия наук осуществляет над нами общее методическое руководство... Да, так вот, дорогой товарищ, главное для нас — наука! Нас привлекают не столько утилитарные свойства кристаллов, сколько их удивительная способность менять свои характеристики под влиянием внешних воздействий: механических напряжений, света и других электромагнитных волн, различных полей и ядерных излучений, температуры и электрического тока. Одним словом, все, что позволяет кристаллам быть естественными источниками, приемниками, преобразователями и усилителями разнообразных физических процессов. Надеюсь, я говорю понятно? Вы следите за моей мыслью?

— Стараюсь, Фома Андреевич.

— Тогда вам должен быть понятен и основной вывод. Для романтика удивительная игра цветов в драгоценном камне в некотором роде самоцель, я же вижу в этом лишь следствие внутренних, куда более важных для практики изменений... Аркадий Викторович запекал аметисты в хлеба, варил в меду изумруды... — Фома Андреевич беспомощно развел руками. — Запретить ему я не мог. Тем более что все эти дедкины-бабкины рецепты иногда давали любопытные результаты... Но разве это

наука? А если даже и наука, то достойна ли она нашего великого века атома и космоса?

Люсин невольно обернулся на скрип медленно открываемой двери.

— Разрешите к вам, Фома Андреевич? — спросил, просовываясь в кабинет, сравнительно молодой брюнет в тонких золотых очках.

— Рекомендую! — Фома Андреевич поднялся с места. — Старший научный сотрудник Сударевский, кандидат химических наук... Временно замещает Аркадия Викторовича.

Сударевский с вежливым смущением потупился, но тут же вопросительно глянул на Люсина и протянул руку.

— С кем имею честь?

— Люсин. — Он не отрекомендовался более подробно, полагая не без оснований, что Сударевский, как и Дербонос, предупрежден о его посещении и прекрасно подготовлен к встрече.

Но Марк Модестович явно стремился выказать свою полную неосведомленность.

— Люсин? — Он наморщил лоб, силясь припомнить. — Вы не у Геокакяна работаете?

— Товарищ из органов, — пояснил директор. — Из МУРа.

— Из МУРа? — Сударевский, казалось, был удивлен.

— Когда вы узнали об инциденте в Жаворонках? — прямо и резко спросил Люсин, чтобы положить конец всей этой наигранной жеманности.

— Ах, эта трагедия... — Сударевский посуровел лицом и понимающе кивнул. — Почти всю прошлую неделю, вторую ее половину, я находился в командировке — это поблизости, но в других учреждениях, Фома Андреевич знает, — поэтому я узнал позже всех. Это невероятно!

— Что именно? — спросил Люсин.

— Простите?

— Что именно вы находите невероятным?

— Ну, весь этот... антураж, таинственное исчезновение, запертый дом... Прямо как в детективном романе!

— Вот как?.. Вы, кажется, учились у Аркадия Викторовича?

— Да, он мой учитель. — Марк Модестович с чуть наигранной горделивостью вскинул голову. — А что?

— С Людмилой Викторовной, конечно, виделись? — Спрашивая, Люсин знал, что Сударевский у сестры пропавшего Ковского не был.

— Понимаете ли...

— Не виделись? — Люсин сдержанно выразил удивление. — А она мне говорила, что вы для них чуть ли не сын... Разве не так?

— Не совсем... то есть я хотел сказать, что был очень потрясен страшным известием... Аркадий Викторович действительно родной и близкий мне человек, но сейчас, понимаете, лето, мы живем на даче, где нет телефона, и поэтому...

— Где у вас дача? — невзначай осведомился Люсин и стал разглядывать горку с сувенирами.

— Что? Ах, дача... По Савеловской дороге... Лобня... такая есть.

— Как же, знаю! — обрадовался Люсин. — Там уникальный пруд, на котором гнездятся чайки.

— Да, конечно... Дача эта принадлежит не нам, мы только иногда снимаем...

— Я вижу, — с улыбкой прервал его Люсин, — что мы своей болтовней мешаем Фоме Андреевичу. Он очень занят, время его дорого, а нам надо еще о многом поговорить. Может быть, пройдем куда-нибудь, где никому не станем мешать?

— С удовольствием! — обрадовался Сударевский. — Можно к нам, в лабораторию. Вы позволите, Фома Андреевич?

— Зачем же? Вы меня ничуть не стесняете... Я привык размышлять на людях...

— Нет-нет! — запротестовал Люсин. — Я и так казню себя, что отнял у вас столько времени.

— Пустое. Вы же на работе, как и все мы... Беседуйте сколько влезет. Когда я сосредоточиваюсь, то забываю обо всем, ничего не вижу и не слышу.

— Мне так неудобно...

— Ничего. — Фома Андреевич покровительственно помахал рукой. — Меня просили оказать вам содействие, и я выполняю свое обещание. Так что сидите.

— Ну, раз вы настаиваете... — Он сделал вид, что покорен и растроганно сдается. — Воспользуемся вашим гостеприимством... Значит, с Людмилой Викторовной вы с тех пор не виделись, Марк Модестович?

— Совершенно верно, в последний раз я был у них на даче в позапрошлую пятницу... С тех пор я Аркадия Викторовича не видел. — Выражая покорность судьбе, Сударевский развел руками.

— А в каком состоянии вы нашли его?.. В ту позапрошлую пятницу?

— В каком? — переспросил Марк Модестович, припоминая. — В обычном... Как всегда. Знаете, я ничего такого не заметил. А скажите, если это не военная тайна, что-нибудь узнать уже удалось?

— Да, — односложно и холодно ответил Люсин. — Кто уведомил вас о происшедшем? — спросил он после многозначительной паузы. — Не Людмила Викторовна?

— Я же говорю, что не виделся с ней, — с легким раздражением отозвался Сударевский.

— Ах да, конечно... Простите. Я просто хотел спросить, не сказала ли она вам это по телефону.

— Нет... Возможно, она и звонила мне, но не смогла застать.

— А вы? Вы не пытались позвонить ей?

— Честно говоря, не пытался. — Он виновато улыбнулся. — Очень занят был... Эх, если бы я только знал! Конечно, я бы тут же нагрянул в Жаворонки.

— Где же вам было знать, — посочувствовал Люсин.

— Вы меня простите, товарищ инспектор, но позвольте и я задам вам вопрос.

— Я старший инспектор, — как бы между прочим, пояснил Люсин.

— Виноват, — вздохнул Сударевский. — Так можно вопрос, старший инспектор?

— Отчего нет?

— Тогда скажите, какая вам разница, кто, где и когда сообщил мне об этом несчастном случае? Неужели это имеет хоть какое-то значение?

— Объясняю по пунктам. — Люсин начал загибать пальцы. — Разница есть, и большая. Вы могли узнать о случившемся либо от очевидцев, либо, как говорится, из вторых и третьих уст, либо, наконец, от... непосредственных инициаторов.

— Это смешно! — перебил его Сударевский. — От каких инициаторов?

— Инициаторов того, что вы назвали несчастным случаем. Хотя у меня нет пока оснований предполагать худшее... Как видите, значение имеет все... Я удовлетворил вас?

— Вполне. — Сударевский пожал плечами.

— Тогда попробуйте вспомнить, от кого вы узнали о событиях на даче.

— Не от очевидцев, — он тоже демонстративно начал загибать пальцы, — не с чужих слов и, как это ни прискорбно, не от бандитов... Ах да! Мне же рассказали об этом вы, Фома Андреевич! Вчера утром. Простите. — Он искательно улыбнулся директору.

— Припоминаю, — включился в беседу Фома Андреевич. — Действительно, вы еще ничего не знали, когда пришли ко мне...

— Вот это и называется из вторых уст, — удовлетворенно кивнул Люсин. — Возможно, мои вопросы показались вам ненужными или даже вовсе бестактными, но они позволили нам хотя бы приблизительно ограничить круг лиц, посвященных в обстоятельства дела. Для начала и это неплохо.

— Понятно. — Сударевский снял очки и тщательно протер стекла кусочком замши. — Извините, что сразу не догадался.

— Ничего. — Люсин неторопливо поднялся. — Это вы меня извините. Больше мучить вас не буду... Мне бы хотелось побывать в лаборатории Аркадия Викторовича, на его рабочем месте... Посмотреть, поговорить с людьми, кое о чем по ходу дела спросить. Это осуществимо?

— Вполне, — сказал Фома Андреевич. — Марк Модестович, проводите товарища до лаборатории. И постарайтесь обеспечить ему нормальную работу. Это наш долг.

Последовали прощальные рукопожатия, и директор удалился в комнату за зеленой штофной занавеской, не дожидаясь, пока посетители покинут кабинет.

Сударевский осуждающе покачал головой, но Люсин сделал вид, что ничего не заметил.

— Пошли, Марк Модестович?

— Прошу вас. — Сударевский предупредительно раскрыл перед ним дверь.

— Благодарю... Между прочим, почему у вас так плохо получается зеленый цвет?

Они прошли через приемную, все еще полную ожидающих, оживленно беседуя о цветности монокристаллов.

— Зеленые гранаты для нас не проблема, — объяснил Сударевский. — Хуже дело обстоит с изумрудами.

— Но вы же синтезируете бериллы? Мне Фома Андреевич сказал.

— Правильно. Но все дело в окраске. Зеленый оттенок изумруду придают, к несчастью, с помощью высокотоксичных соединений. В производстве они очень опасны. Мы ищем заменитель. За рубежом, между нами говоря, цены на изумруд фантастически возросли. Камень сейчас в большой моде, а взять его негде, потому что все известные месторождения выработаны почти полностью, а синтез пока не налажен. Недаром участились случаи подделки изумрудов.

— Интересно.

— Очень. Берут — что бы вы думали? — хорошо ограненный бриллиант и с помощью солей хрома делают из него зеленый берилл! И, как ни странно, это выгодно! Потому что изумруд стоит в пять раз дороже ограненного алмаза. До шести тысяч долларов за карат.

— Торопитесь с синтезом, пока цена не упала.

— Постараемся.

— Неужели на земле не осталось больше изумрудов?

— А где? Лучшие образцы зеленого берилла добывались в Южной Америке — Новой Гренаде, в Египте на берегу Красного моря, в Бирме и у нас на Урале. Про другие месторождения я не слыхал. Может быть, вы знаете?

— Мой приятель привез изумрудные серьги с Цейлона. — Люсин усмехнулся, вспомнив, как обрадовалась подарку жена Володи Шалаева. — И представьте себе, дешевые.

— Эх, дорогой вы мой! — Сударевский похлопал его по плечу. — На Цейлоне действительно есть зеленые камни, только это корунды, а не бериллы. Понимаете? А изумруд — именно берилл, зеленый берилл, и ничто иное.

— Понятно, — ответил Люсин. — Это его кабинет? — кивнул он на черную с золотом табличку: «Лаборатория № 4. Д. х. н. А. В. Ковский».

— Заходите, прошу вас, — пригласил Сударевский.

Кабинет был отделен от лаборатории тонкой перегородкой с окнами под самым потолком.

«Как раз тот случай, — мимолетно подумал Люсин, — когда, чтобы увидеть, нужно залезть на шкаф».

— Отсюда можно пройти прямо в лабораторию. Если желаете... — Сударевский указал на дверь в перегородке.

— Здесь тоже интересно, — дипломатично ответил Люсин, подходя к застекленным шкафам, где вперемежку с книгами и папками стояли физические приборы и деревянные штативы с пробирками.

На мгновение ему показалось, что он вновь попал на дачу в Жаворонках. Люсин подумал, что за всем этим эклектическим хаосом чувствуется определенная система, какая-то непостижимая сверхзадача. Он с любопытством оглядел вычерченные тушью таблицы и графики, которые, как белье на просушке, висели на протянутом через всю комнату по диагонали проводе в хлорвиниловой изоляции; рабочий стол, заваленный образцами монокристаллов, кусками серного колчедана, лазурита и агатовыми шлифами; цветы в облупившихся, позеленевших горшках; столик с круглым водяным термостатом, заваленный старыми батарейками, разноцветными сопротивлениями, дозиметрическими карандашами и позолоченными стекляшками гейгеровских камер. Похоже было, что здесь никогда и ничего не выбрасывают.

— Наш шеф — известный Плюшкин, — усмехнулся наблюдательный Сударевский, но сразу же осекся и с деловым видом начал давать пояснения: — Впрочем, надо отдать ему справедливость, здесь есть на что взглянуть... Вот этим глазурованным черепкам, найденным в раскопе древнего буддийского монастыря в Средней Азии, больше тысячи лет... Экая бездна времени! А глазурь-то сияет, как новая! И ничего ей не делается. — Он взял с полки склеенную из осколков чашу и, полюбовавшись перламутровой игрой голубоватой поливы, бережно поставил обратно. — Секрет, между прочим, утерян... Вас это не удивляет?

— Что именно? — спросил Люсин, встав на носки, чтобы разглядеть бронзовую золоченую статуэтку, изображавшую пузатого демона с рогами и объятой пламенем головой. Высунув острый язык и оскалив страшные клыки, демон плясал на буйволе, который неистово топтал женщину с длинными волосами.

— Ну как же?.. В наш атомный век — и вдруг какие-то древние секреты...

— Нет, меня это не удивляет. — Люсин неохотно отвел взгляд от грозного божества. — Люди действительно забыли многое из того, что знали и умели раньше... Мне тоже приходилось сталкиваться с утерянными тайнами мастерства. Что это за фигурка?

— А у вас чутье! — восхитился Сударевский. — Сразу углядели квинтэссенцию... Это жемчужина в коллекции шефа, бог смерти Яма. Аркадий Викторович был... Он, знаете ли, просто помешан на Тибете, Ганьчжур, Даньчжур, Тантра...

— Для меня это темный лес, — признался Люсин.

— Для меня тоже... Но шеф столько рассказывал о тибетской премудрости, что поневоле кое-что запало в голову. Обратите внимание на эту перевязь из черепов. — Он раздвинул стекло, чтобы Люсин смог получше разглядеть статуэтку. — На змей, свисающих с шеи... Уродлив и одновременно дьявольски прекрасен. А какие натуралистические подробности! — Сударевский многозначительно подмигнул. — Наш всеобщий любимец.

— Действительно, великолепная пластика и совершенно изумительная отливка.

— Уверяю вас, что это тоже забытый секрет. Даже по выплавляемой модели так тонко сейчас не отлить... Это тоже из Тибета или Монголии. — Сударевский указал на нефритовую гантельку. — «Ваджра» называется — символ небесного огня... Из такого же молочно-зеленого нефрита вырезан саркофаг Тимура.

— Настоящий музей!

— Я же говорю, что шеф — великий собиратель! Бадахшанский лазурит, непальская бирюза, образцы природного рубина из Бирмы...

— Значит, все это имеет непосредственное отношение к его основной теме?

— Слышу глас Фомы Андреевича, — усмехнулся Сударевский. — Его это тоже волнует... Конечно, далеко не все, что находится в кабинете, имеет непосредственное отношение к работе лаборатории координационной химии. Но разве правомерен такой утилитарный подход к профессии ученого, к его личности? Мы не знаем, как и когда приходит открытие, какие стимулы будят творческую мысль. Вы меня понимаете? Аркадий Викторович сложный, исключительно многогранный человек. Он воспринимал мир во всей его удивительной целостности. Ему чужда была поверка алгеброй гармонии, ибо он не делал различий между ними. Математику, квантовые основы мироздания он рассматривал с позиции эстетики, как еще одно проявление стройности и красоты. В обыденном мире такой человек просто не смог бы работать. Он потому и занимался кристаллохимией, что она дополняла его увлечения историей и биологией, поэзией и музыкой, живописью и архитектурой... В какой-то мере он был человеком ренессанса.

— Фома Андреевич знал о таких увлечениях? — с невинным видом спросил Люсин.

— Что?.. Ах, Фома Андреевич! — Сударевский пренебрежительно скривил губы. — Поглядели бы вы на него, когда он разговаривает с Ковским! Вот уж воистину дуб! Вы же его видели!

— Не берусь судить, — покачал головой Люсин. — Но у меня создалось впечатление, что он если и не приветствует, то, по крайней мере, снисходительно смотрит на исторические изыскания Аркадия Викторовича. Он одобрительно отзывался о найденных им способах изменять цветность камней.

— И только-то?.. Эх, товарищ Люсин... Простите, как ваше имя-отчество?

— Владимир Константинович.

— Так знайте же, Владимир Константинович, что эти кустарные допотопные рецепты нужны были нам лишь для отвода глаз!

— Не понял.

— Я хочу сказать, что внедрение в практику давным-давно забытых методов не является для нас самоцелью. Это скорее накипь, нежели навар. Ковский и заговорил-то о них лишь для того, чтобы его оставили в покое, не мешали работать. Дубарю что надо? Практическую полезность. Вот и пожалуйста, получите. Притом учтите, что исторические, как вы назвали их, изыскания проводились шефом параллельно с основной работой. Не мешали непосредственным занятиям координационной кристаллохимией, не требовали дополнительных ассигнований. Человек боролся лишь за свое ви́дение мира, за право исследователя идти собственным, сугубо индивидуальным путем. Я не говорю уж, что делалось это ради возвышенной цели... Вам будет небезынтересно узнать, что Аркадий Викторович всю свою жизнь посвятил одному. Он искал коренную, главную тайну кристаллов, проявления которой волновали и тревожили человечество тысячи лет. Со стороны могло показаться, что шеф поразительно разбрасывается, хватает верхушки и вообще без царя в голове... Но это не так. Я-то уж как-нибудь знаю. Просто он шел к цели разными путями. Отсюда его интерес к древним тибетским и индийским сочинениям, напечатанным в гималайских монастырях с резных досок, египетским папирусам, алхимическим рукописям, таинственным рецептам Калиостро и Сен-Жермена. Он, как говорится, двигал современную науку присущими ей методами, не забывая притом, что есть или, возможно, были иные методы, запутанные, чисто интуитивные, но, несмотря на то, ведущие к цели более коротким путем... Я допускаю, что мой рассказ может показаться вам совершенно непонятным, даже диким, но...

— Нет, я вполне понимаю вас и считаю, что у Аркадия Викторовича были все основания идти своей дорогой. — Люсин взял со стола несколько разноцветных кристаллов, очень похожих на те, которые показывал ему директор. — Гранаты?

— Последние образцы, — кивнул Сударевский. — Здесь мы достигли почти невиданного совершенства. Всего один атом примеси на десять миллионов. Недурственно?

— Великолепно! — восхитился Люсин, хотя и не был в курсе мировых стандартов кристаллической чистоты. — Недурная проба пера. — Маскируя свою неосведомленность, он взял в руки зеленый гранат. — Интенсивная окраска и никаких бесцветных поясков.

— Проба пера? — удивился Сударевский. — Рядовая наша продукция. Мы гоним ее вот уже третий год.

— В самом деле? — Люсин смущенно потер лоб. — А Фома Андреевич говорил...

— Вы только побольше слушайте Фому Андреевича. Он вам и не такое наговорит! Человек абсолютно не в курсе, но зато вещает! Единственное, что он умеет, — это вещать, изрекать истины.

— Не слишком ли вы строги к нему?

— Видите ли, Владимир Константинович, я действительно пристрастен к нашему директору, но едва ли могу осудить его слишком строго... Но бог с ним, поговорим лучше о более приятных вещах. Как там дела насчет пожаров?

— Не знаю, — засмеялся Люсин. — Судя по мгле, все еще горит. — Он бросил зеленую призму, на которой была аккуратно наклеена бумажка с номером, в общую кучу. — Красивый камешек.

— Ничего, — кивнул Сударевский. — Это иттриевоалюминиевый гранат. Введение микродоз различных элементов позволяет получить богатейшую гамму тонов — от розовых или бледно-голубых до таких вот насыщенных зеленых. По своим ювелирным качествам наши гранаты давно превзошли природные.

— Насколько я понял, — осторожно заметил Люсин, — ювелирным качествам у вас в институте особого значения не придают.

— Знаю, — кивнул Сударевский. — Ветер дует оттуда. — Он показал на потолок. — И напрасно! Красота — проявление целесообразности. Великий Дирак, получив свое знаменитое уравнение для положительно и отрицательно заряженного электрона, долго боялся ему поверить. И его можно было понять, потому что положительных электронов в природе просто не существовало. Но уравнение было настолько красиво, что он все же решился его опубликовать, а ровно через год в космических лучах обнаружили положительный позитрон... Мы с Аркадием Викторовичем давно установили и сотни раз проверили одно железное правило: наиболее ценными физикохимическими свойствами обладают как раз такие камни, которые отличаются особо притягательной красотой. Что скажете?

— Меня вы убедили. — Люсин ткнул себя пальцем в грудь.

— Его, — Сударевский опять показал на потолок, — убедить невозможно. — Тем хуже для него. Лично мы с Аркадием Викторовичем убеждены, что красота монокристалла, его ювелирные качества — первейшие критерии полезности. Но бывают же на свете люди, невосприимчивые к красоте. Для них она — пустой звук. Бесполезно спорить со слепым о прелести Джоконды, с глухим — о Бетховене, с дальтоником — о сигналах светофора.

— Дальтонику-то можно как раз объяснить, — пошутил Люсин, — вверху красный, внизу зеленый, желтый посередке... На меня ваше объяснение произвело большое впечатление. Мысль о том, что красота — это интуитивно улавливаемая гармония мира, поразительна. Сожалею, что никогда не задумывался об этом. — Он сложил из гранатовых призм причудливую башню. — Где они найдут применение?

— Прежде всего в квантовой электронике.

— Это что — лазеры?

— Не только... Квантовая электроника более широкое понятие. Но ваш вопрос понятен. О рубиновых лазерах публика почему-то знает больше всего. А ведь есть еще дазары — усилители тьмы. Они работают не только на кристаллах, но и на окрашенных жидкостях или даже на газах.

— За всем не уследишь, — виновато улыбнулся Люсин.

— Естественно... Наши гранаты, — Сударевский ловко выхватил из основания башни бледно-желтый кристалл, и она обрушилась, — являются магнитными диэлектриками. На тончайшей пластинке такого диэлектрика площадью в какой-нибудь квадратный сантиметр можно записать миллион единиц информации. Представляете себе, какая емкость памяти? Компактная ЭВМ, обладающая информационным запасом, равным человеческому мозгу, отныне уж не фантастика... Так-то, мой дорогой. Вы смотрели «Солярис»?

— Смотрел, — улыбнулся Люсин. — У нас в клубе, в Горловом тупике.

— Ну и как?

— Здорово, но книга лучше.

— О, вы читали Лема?.. Впрочем, чему я удивляюсь, конечно же, читали... Одним словом, будьте уверены, что мыслящий океан создать можно. Только получится он не жидким, а кристаллическим. Один квадратный метр железоиттриевого граната способен вместить всю память вашего мозга, все его десять миллиардов бит.

— Ваши рассказы чрезвычайно интересны. — Люсин отошел от стола и присел перед стоявшим в самом дальнем углу сейфом. — Вы столь непринужденно и увлекательно ввели меня в сферу работ лаборатории, интересов и поисков вашего руководителя... Без вас мне пришлось бы очень туго в такой сложной и незнакомой мне области, как кристаллография. Очень и очень вам благодарен... Готов держать пари, что здесь хранится какая-нибудь платино-платинородиевая термопара и бутыль спиритуса!

— Хотите осмотреть? — мгновенно понял его проницательный Марк Модестович и вынул из брючного кармашка никелированный ключ. — Сделайте одолжение.

— Это Аркадия Викторовича?

— Мой... Здесь мы храним лишь документацию с грифом и ценности особой отчетности. Сейчас, насколько мне известно, сейф пуст.

— У кого еще есть ключи? — осведомился Люсин, отпирая пощелкивающий при каждом обороте замок. — Кроме Ковского?

— Ключ изготовлен в количестве трех нумерованных экземпляров. Номер третий хранится в дирекции. — Сударевский чеканил слова, как на военном докладе. Даже тембр голоса и то изменился. Если только что Марк Модестович говорил взволнованно и увлеченно, то теперь он держался сугубо официально и сдержанно. — Какие еще будут вопросы?

— Думаете, я все наперед знаю? — Люсин бросил мимолетный взгляд на пустые полки и закрыл дверцу. — Вопросы обычно возникают в ходе беседы.

От него, естественно, не укрылась перемена в поведении Сударевского. Она показалась ему несколько нарочитой, неоправданной всем течением их действительно очень интересной для него беседы. Обратил он внимание и на то, что Марк Модестович поминает своего шефа как в прошедшем времени, так и в настоящем, словно бы уже уверился в чем-то определенном, но время от времени спохватывается по соображениям этического порядка. И эта скороговорная поправка «он был» на «он есть» тоже казалась скорее обдуманной, нежели непроизвольной.

— Фома Андреевич сказал, что пока замещать Ковского будете вы... — Люсин почти сгладил вопросительную интонацию, и его слова прозвучали скорее как утверждение. Но оно было лишено эмоциональной окраски, словно затрагивало самые скучные материи и вообще высказано случайно, для заполнения возникшей в разговоре паузы.

— Разве? — помедлив несколько, спросил Сударевский и, с видимым напряжением подыскивая подходящие слова, пояснил: — Он сделал мне такое предложение... верно... Но я отказался.

— Стоило ли? Кому же, как не вам?

— Так говорил и Фома Андреевич, но я не мог пойти на такое, пока еще не все... ясно.

— Понимаю вас. — Люсин сочувственно закивал. — Очень хорошо понимаю... Извините, что затронул столь щекотливую тему... Просто Фома Андреевич отрекомендовал вас как нового завлаба, и я подумал, что дело решенное... Тем более, вы тогда ничего не сказали... Не хотели препираться с начальством при посторонних?.. Да, Марк Модестович, жизнь зачастую ставит перед нами сложные проблемы. Такие щепетильные люди, как вы, ощущают это со всей остротой. Очень и очень вас понимаю.

— К чему это? — отчужденно нахмурился Сударевский. — Я действительно отклонил, разумеется, в приличной форме, несвоевременное, а потому совершенно бестактное в данной ситуации предложение директора... И, разумеется, не нашел нужным повторить свой отказ в вашем присутствии. Зачем, простите, лишний раз дразнить гусей? Давайте поэтому переменим тему разговора, она мне неприятна...

— Конечно, конечно, — поспешил согласиться Люсин. — Простите меня.

«В этом все дело, — подумал он. — Внутренняя борьба! Он порядочный человек и желает благополучного завершения всего дела и, уж конечно, не накликает на своего шефа беду. Он боится, что о нем станут говорить другие, и гонит прочь соблазнительные картины, даже думать не желает об открывающихся перед ним возможностях. Это с одной стороны... А с другой — подсознание-то работает. Да и вообще мозг человека не знает стыда. Мысль при-

ходит, прогнать ее не так-то легко, а тут возникают трудности, и чисто сиюминутного порядка: не проморгать бы, не отрезать дороги обратно. С Ковским еще неизвестно, как дело обернется, а с Фомой ему жить да жить. Отсюда и напряженность эта, демонстративность, игра. Он не меня убедить хочет — себя. Вот какая штука. Если он еще и не принял предложение Фомы Андреевича, то, надо думать, примет вскоре. И положа руку на сердце: кто кинет в него камень? Но почему Фома так торопится, ему-то зачем спешить? Рад, что случай помог отделаться от непокорного сотрудника? Спешит посадить на еще не остывший стул другого, кто будет обязан ему лично, а потому послушен? Видимо, так... И его тоже трудно осудить строго. Жизнь есть жизнь, она вперед движется, а Ковский был, видимо, трудным орешком. Был. Вот и я тоже говорю «был»...

— Расскажите мне о вашем шефе, Марк Модестович, — тихо попросил Люсин.

— Что же вам рассказать о нем? Человек как человек, кому хорош, кому плох, со своими странностями и слабостями, а в общем, очень добрый и честный.

— Как к нему в институте относились?

— Смотря кто... По-разному...

— Это универсальный ответ. Он одинаково подходит ко всем. Думаю, что и к вам тоже.

— Возможно. Но мне трудно говорить в общих расплывчатых выражениях о совершенно конкретном человеке, которого люблю и, думаю, хорошо знаю.

— Конечно, трудно. Охарактеризовать человека всегда трудно.

— Смотря для кого. Например, для мужа нашей Марьи, секретарши директорской, это плевое дело. Вот уж кто ярлыки клеить умел! Он у нас раньше в кадрах сидел. Теперь, слава всевышнему, на пенсии. Говорят, все еще бодрствует. На соседей по лестничной площадке доносы строчит.

— Это по какой же причине?

— Квалификацию терять не хочет. Тем более что там комната освободилась или что-то в этом роде. Надо же возможных конкурентов хоть грязью облить! Зятя своего, моряка, он вытеснил, а других перспектив расширить жилплощадь не предвидится.

— Бывает и такое... А скажите, Марк Модестович, враги у Ковского есть?

— Враги есть у каждого.

— Это я понимаю. На то человек и создан, чтобы в поте лица есть хлеб свой. Враги есть у каждого, равно как и друзья. Но вы подумайте хорошенько, не могли бы вы назвать мне лиц, которые были бы заинтересованы, скажем так, в устранении Аркадия Викторовича? Из института, разумеется.

— Имя им — легион.

— Любопытно будет узнать.

— Пожалуйста! — Сударевский сделал вид, что с трудом одолевает зевоту. — Прежде всего наш милый директор.

— Так... — Люсин недоверчиво покачал головой. — Кто же еще?

— Ученый секретарь Дербонос, доктор наук Хамиотиш, завсектором Ягель, старший научный сотрудник Дузе... Достаточно? Или нужно еще? — Сударевский с вызовом взглянул на Люсина и, взяв себе стул, демонстративно уселся в другом конце комнаты, у окна. — Кстати, если вы спросите о той же Дузе или Хамиотише, они назовут вам меня.

— Буду иметь это в виду. — Люсин улыбнулся, как бы приглашая Сударевского обратить все в шутку. — Как работник розыска я обязан потребовать от вас подробной характеристики названных вами лиц. Начнем с гражданина Сударевского. — Он улыбнулся еще шире. — Ему-то чем помешал Аркадий Викторович?

— Об этом вы лучше спросите Хамиотиша.

— А может, Дузе?

— Или Дузе.

— Нет, — отмахнулся Люсин, — не стану и спрашивать.

— Почему же? Не интересно разве?

— Просто я знаю ответ наперед. Скажут, что Сударевский хотел стать завлабом.

— А что, разве недостаточно веская причина?

— Боюсь, что так, Марк Модестович. То же я могу сказать и про конфликт с директором.

— И про беспринципного наглеца Хамиотиша? — Сударевский тоже улыбался.

— И про него, хотя слышу о нем впервые в жизни, и про Дузе, который...

— Это женщина.

— Тем паче.

— Но по одному мановению пальца Фомы Андреевича готовая отречься от родного отца.

— Ковский ей не отец.

— Тем хуже. Одним своим существованием он угрожает всей этой шайке лизоблюдов и бездарей, этим кипучим бездельникам, которые ничего не дали науке и никогда не дадут.

Люсин краем глаза глянул на Сударевского. Марк Модестович уже не улыбался.

— Положим, вы правы, — Люсин подошел к Сударевскому и облокотился на каменный подоконник, на котором стояли горшки с растениями, — и Ковский всем здесь мешал, включая вас. Но тогда я иначе сформулирую вопрос: считаете ли вы кого-нибудь из названных и не названных вами лиц способными причинить Аркадию Викторовичу физический вред?

— Убить, что ли?

— Не обязательно. — Люсин попробовал рассмеяться. — Похитить, скажем...

— Бред какой-то! — махнул рукой Сударевский. — Если говорить серьезно, то никто из тех, кого я знаю, включая меня самого,

не убивал и не похищал шефа. Склочники и завистники мелкого пошиба редко поднимаются до высоты Сальери. Они пишут письма, порой анонимные, сплетничают, наушничают, бросают черные шары на ученом совете — все это так, но физическая расправа? Фи! На это они — вы употребили точное слово — просто не способны. Ведь ко всему они еще и трусы, ограниченные, трусливые людишки с комплексом неполноценности и безмерным аппетитом. Конечно же, я шутил, отвечая на ваш вопрос. Наши научные жучки непричастны к исчезновению Аркадия Викторовича. Но вы спрашивали меня о врагах, и я назвал их. Вы интересовались личностью шефа, и я обрисовал вам атмосферу, в которой он работал и жил.

— Я так и понял вас, Марк Модестович... Покинем же — мысленно, разумеется, — стены столь милого вам учреждения и попробуем выйти на более широкий оперативный простор. Не возражаете?

— Готов приветствовать любой мысленный эксперимент.

— Тогда скажите мне, не был ли связан ваш шеф с людьми, которые интересовались драгоценными камнями не столько в плане научном, сколько... как бы это поточнее сказать... в потребительском?..

— Не продолжайте, Владимир Константинович, — остановил его Сударевский. — Я понял, что вас интересует... Насколько я знаю, Аркадий Викторович не имел никаких дел с контрабандистами, фальшивомонетчиками и нечистыми на руку ювелирами. Здесь можете не искать, не тратьте понапрасну силы и время.

— Но чудес ведь не бывает...

— Как знать? — пожал плечами Сударевский. — Аркадий Викторович, например, умел делать многое из того, что простые люди относят к области чудес.

— Не скрою, что вы разбудили мое любопытство.

— Охотно удовлетворю его, но только потом не жалуйтесь, что я напустил туману и сбил вас с верного следа. К тайне запертой комнаты это не имеет никакого отношения.

— Какой запертой комнаты? — мгновенно отреагировал Люсин.

— В Жаворонках, Владимир Константинович. Об этом весь институт гудит.

— Ах, вот как! Ну что ж, вполне естественно... Нет тайного, которое бы не стало явным. Рассказывайте же, Марк Модестович, не заботясь о том, что может пролить свет на события в Жаворонках, а что нет. «Экс пэде Хуркулем», как говорили древние римляне. «По ноге узнаем Геркулеса»: по части восстановим целое... Я жажду чуда. Помните артиста Кторова в «Празднике святого Иоргена»?

— Смутно... А чудеса, Владимир Константинович, творятся вон за той дверью. Не угодно ли?

— Вы, очевидно, подразумеваете чудеса науки?

— А вам хочется чего-то иного? В исследовательском-то институте?.. Пройдемте в лабораторию, и я покажу вам наши камеры, в

которых совершается таинство, могущее повергнуть в священный трепет любого из великих алхимиков от Агриппы до Парацельса.

— Это который же Парацельс? — Люсин поспешил блеснуть эрудицией, существенно обогатившейся в деле с ларцом. — Теофраст Бомбаст?

— Еще и фон Гогенхейм, — не преминул уточнить Сударевский.

— Я с удовольствием посмотрю, как растут кристаллы.

— Это и в самом деле интересно. Зарождение и рост кристалла напоминают интимнейшие механизмы жизни. В наших камерах созревают странные плоды. Что перед ними гомункулус или философский камень! Так, пустая расплывчатая мечта. В сверкании затравки, на которую беспрерывно сыплется шихта, вам откроются неземные ландшафты. Вы услышите музыку звездных сфер. Возможно, тогда вам станет понятнее, что я называю чудом.

— Сен-Жермен очаровал французского короля тем, что уничтожил пузырек газа в бриллианте.

— Вы удивительно догадливый и широкообразованный человек. — Сударевский пристально посмотрел на Люсина, но, едва они встретились глазами, сразу же отвел взгляд. — Говорю искренне. Не в порядке комплимента.

— Научно-техническая революция затронула широкие массы милиции, — пошутил Люсин.

— Я не знаю, как это делали Сен-Жермен и Калиостро, очаровавший фокусом с камнем весь бомонд в Митаве, но мы умеем заращивать газовые включения. Кристалл вырастает за счет присоединения к его поверхности атомов питающей среды. Это может быть раствор, расплав, газ. В последнем случае весь секрет сводится к тому, чтобы посадить молекулы газа на нужное место.

— В пузырек?

— Именно. Здесь особое значение приобретает чистота опыта. В ряде случаев нам приходится выдерживать и плавно изменять температуру в области двух тысяч градусов с точностью до десятых долей. Но это скучная материя, голая технология.

— Напротив! — запротестовал Люсин. — Ваш рассказ исключительно увлекателен. Я готов согласиться, что вы с Аркадием Викторовичем и впрямь умеете творить чудеса.

— Умеем. — Он устало прикрыл глаза рукой. — Все эти в высшей степени эффектные штучки являются лишь чисто практическим приложением нашего открытия... А с ним-то у нас и не благополучно.

— Зажимают?

— Не то слово. Поедом едят.

— Я не знаю такого случая, когда вражда на почтенной ниве науки вылилась бы в уголовное дело. — Люсин наклонился над письменным столом и, словно от нечего делать, чтобы только руки занять, принялся перебирать бумаги. — Не зарегистрировано у нас таких инцидентов, Марк Модестович. Но все, что связано с откры-

тием, меня глубоко занимает. Я вижу здесь реальную возможность проникнуть во внутренний мир Аркадия Викторовича. Где же еще, как не в борьбе, проявляются во всей их полноте духовные качества человека, отличительные его особенности?

— Боюсь, что вы разочаруетесь. Борцом Аркадий Викторович был никудышным. Поразительно непробивной человек.

— Превосходно! Меня, видите ли, интересует только истина. Поэтому я равно приемлю и силу и слабость. Отрицательные качества столь же привлекают меня, как и достойные подражания.

— Что вы хотите? — спросил Марк Модестович, когда увидел, что Люсин выдвинул средний ящик письменного стола.

— Может быть, остались какие-то заметки личного характера? — Люсин бегло пролистал толстый, переплетенный в коричневый ледерин отчет. Не обнаружив никаких закладок, взял другой.

— Вряд ли вы здесь найдете что-либо интересное, — Сударевский прищурился.

— Боюсь, что у вас составилось превратное мнение об элементарных розыскных действиях. У нас иногда самая незначительная деталь, пустяк на первый взгляд, позволяет прийти к непредвиденным выводам.

— Поступайте как знаете. — Сударевский набрал воды в большую коническую колбу и занялся поливкой цветов. — Конечно же, вам надо все посмотреть... Просто мне стало как-то не по себе, когда посторонний человек... Одним словом, обидно и жаль. Извините, если оскорбил.

— Не оскорбили. Я-то ведь не сомневаюсь в правомочности и, что всего важнее, необходимости своих действий. Лучше не обращайте на меня внимания и рассказывайте. В чем суть вашего открытия?

— Мы с Аркадием Викторовичем обнаружили неизвестное ранее свойство кристаллов. Любопытно, что с проявлениями его люди встречаются каждодневно вот уже десятки тысяч лет... — Сударевский умолк.

— Я вас внимательно слушаю, — подбодрил его Люсин, задвигая обратно нижний ящик, в котором не было ничего, кроме пары резиновых перчаток и прогоревшей кварцевой трубки. — Что за свойство?

— Быть может, мы все же побеседуем после того, как вы здесь закончите? — Марк Модестович раздраженно вскинул голову. — Или сделать перерыв?

— Если вам так удобнее. — Люсин захлопнул алфавитную книжку для записи телефонов, приготовился слушать. — Продолжайте, пожалуйста, Марк Модестович.

— Сыграем лучше в «спрашивай — отвечаем». — Он вылил остатки воды в последний горшок. — К монологам охота как-то пропала.

— Хорошо, — терпеливо согласился Люсин. — Будь по-вашему... Скажите, это личная книжка Ковского или ею пользуется вся

лаборатория? — Он вновь занялся телефонным справочником. — Записи сделаны разными чернилами и, судя по почеркам, принадлежат многим людям.

— Мы все пользуемся ею, — равнодушно кивнул Сударевский. — И много лет.

— По всей вероятности, здесь запечатлены и координаты посетителей вашей лаборатории? Всех тех, кому Аркадий Викторович отдавал распоряжения выписать пропуск?

— Не знаю, всех ли, но наверняка многих.

— Вот видите, Марк Модестович, а вы говорили...

— А я что? Я ничего, — миролюбиво проворчал заметно оттаявший Сударевский. — Только как вы их отличите в общей массе?

— Ничего нет проще, — с готовностью объяснил Люсин. — У вашего коменданта, надо думать, ведется журнал выдачи пропусков?

— Об этом я как-то не подумал. — Марк Модестович виновато шмыгнул носом. — Действительно просто...

— Кроме того, нас с вами должны интересовать не одни только посетители, но в принципе все, с кем Аркадий Викторович поддерживал хоть какой-то контакт.

— Конечно! — Сударевский даже руками всплеснул. — И как это я не сообразил?! Чтобы на дачу залезть, совсем не обязательно наносить визит в НИИСК! Вот она, профессиональная проницательность! Гениально, Владимир Константинович, примите мои поздравления! — И вкрадчиво заключил: — Телефончик-то наш злоумышленник безусловно оставил... предварительно.

— А что вы думаете, Марк Модестович? Шансы есть, — ответил Люсин. — С вашего разрешения, — улыбнулся он, пряча книжку в портфель. — Боюсь только, что этот, как вы его назвали, злоумышленник поторопился уничтожить следы.

— Каким образом? — удивился Сударевский.

— Листочка одного недостает. На букву «М».

— В самом деле? А просто выпасть он не мог? Поискали бы, Владимир Константинович, книжонка-то ветхая.

— Я бы поискал, только, сдается мне, не отыщу. Листок не выпал. К сожалению, его просто-напросто вырвали... Это очень заметно. Неизвестный на букву «М» действовал второпях, волновался, по всей вероятности.

— На букву «М», говорите? — Сударевский нахмурился, но тут же просиял и захлопал в ладоши: — Эврика! Уж не Марк ли Модестович? Ату его, ату!

— Нет. — Люсин побарабанил по столу пальцами. — Не получается. Буква «С» на месте, и там значится Марк Модестович Сударевский, Большая Филевская улица, дом номер семь.

— Сдаюсь! — Сударевский поднял руки. — Вы победили нокаутом. Завидую вашей наблюдательности. Кроме шуток... Закурите? — Он расстегнул халат и вынул из брючного кармана коробку сигарет.

Люсин хотел отказаться, но вдруг передумал.

— Хорошо, — одобрил он, полюбовавшись длинным коричневым фильтром, и понюхал табак.

— Вы ее словно сигару нахваливаете, регалию. — Сударевский потянулся к нему с зажженной спичкой.

Но Люсин в этот момент раскашлялся и нечаянно задул огонь.

— Дайте-ка я сам. — Он отер слезу и, все еще продолжая кашлять, отнял у Сударевского коробок, но закурить ему удалось лишь со второй попытки. — Непрочные, черти! — пожаловался он, играя сломанной спичкой. — И кому нужна эта миниатюризация? Все для лилипутов: транзисторы, фотоаппараты, спички. — Он закурил, не затягиваясь, но, дабы продемонстрировать достаточную свою искушенность, время от времени выпускал дым через нос или пытался делать кольца. — Где вы добываете такие чудесные сигареты?

— Жена достает. Она у меня в Шереметьеве работает, по медицинской части.

— Все хорошее быстро кончается. — Люсин загасил окурок.

— В Америке целая исследовательская фирма работает над тем, чтобы ускорить сгорание табака: чем скорее сгорают сигареты, тем больше их выкуриваешь. Выгода налицо.

— Вы же химик, Марк Модестович! Взяли бы да и выдумали замедлитель. Назло монополиям.

Сударевский вежливо улыбнулся

— Я подумаю над вашей идеей.

— Но не прежде, чем растолкуете мне свое открытие. Остановились мы, помнится, на том, что люди тысячи лет чего-то там не замечали.

— Напротив, они замечали.

— Что именно?

— Как меняется окраска камней под действием света... Она и в самом деле меняется. Об александрите слыхали? Этот то зеленоватый, то малиново-фиолетовый камень всякий раз поражает вас дивной изменчивостью. В холодном блеске рассвета он один, в жарком сиянии дня — другой, в остывающих лучах заката — третий. При электрическом свете его кристалл совсем иной, нежели при свечах или под ртутной лампой. А как меняется при нагревании цвет и насыщенность аметиста, видели? Каким колдовским фиолетовым сиянием загорается в темноте накаленный флюорит, знаете? Я могу до бесконечности разглагольствовать о чарующей изменчивости самоцветов. Уверен, что именно это загадочное их свойство и заставило шефа всерьез заняться физико-химией кристаллов. Естественно, что постановку темы мы обосновывали несколько иначе. Ни Аркадий Викторович, ни я даже словом не заикнулись о том, что хотим на современном научном уровне попытаться решить древнюю загадку, над которой — помните «Песнь песней»? — размышлял еще премудрый Соломон. Да и не думали мы тогда, что нам придется по уши залезть в арабские и персидские рукописи,

алхимические трактаты, гороскопы, священные книги Тибета и Индии. В своем обосновании мы напирали на то, что фотохромные — то есть изменяющие под действием света свой цвет — оптические кристаллы могут стать основой информативных устройств колоссальной емкости. И это чистейшая правда. Фотохромные ЭВМ не нуждаются даже в электрической схеме, поскольку ввод и вывод информации осуществляется в них световым пучком, рисующим пространственное голографическое изображение внутри кристалла. Как-нибудь я покажу вам, как это выглядит в монокристалле оптического сапфира. Незабываемое зрелище, уверяю... Одним словом, мы с головой окунулись в древние тайны и, одно другого не касается, двигали современную науку. Могу открыть вам секрет: прошлым по большей части занимался Аркадий Викторович, я же в основном напирал на практическую отдачу. Эта часть темы разрабатывалась в содружестве с Институтом кибернетики, что требовало частых поездок, многочисленных совещаний и согласований. Занят я был по горло. Но дело двигалось. На обоих фронтах. Я получил четкую и устойчивую голографическую запись в объеме монокристалла, Аркадий Викторович раскрыл тайну Калиостро, как мы в шутку прозвали пресловутые пузырьки. Перспектива перед нами открывалась необъятная. Жить бы и жить в таких условиях! Мы выполняли интересные и очень важные исследования. Средства нам отпускались буквально по первому требованию. Серьезных препятствий не встречалось. Чего же, как писал поэт, боле? И тут, на свою беду, мы сделали это открытие. Мало того, мы оформили на него заявку и отправили ее в Комитет по делам изобретений и открытий. Каково?

— По-моему, это вполне естественно. — Люсин недоуменно поморщился. — Как же иначе?

— Как же иначе? — переспросил Сударевский. — А вот как! Сидели бы себе тихо и помалкивали.

— Но почему?

— В том-то и дело, что мы своим необдуманным шагом разворошили муравейник. Но понять это может лишь тот, кто хорошо ориентируется в академических сферах.

— Прежде объясните мне, в чем сущность открытия.

— Нам удалось доказать, что многие свойства кристаллов, казавшиеся ранее необъяснимыми, связаны со свободными радикалами... Впрочем, вы вряд ли знаете, что это значит. Да и не в том суть. Грубо говоря, мы нашли в кристаллах заряженные осколки атомов и молекул: радикалы, ионы, неспаренные электроны. Все они излучают сигналы, которые могут быть уловлены на резонансных установках. Многие загадки разрешались теперь элементарно просто. Облучая кристалл потоком тяжелых ионов, мы заранее знали, что и как в нем происходит, какой получится цвет, какие новые свойства возникнут. Но это частность, хотя и важная. Об остальном же не стоит распространяться. В данном случае важно не существо открытия, а его судьба.

— Она, как я понимаю, была плачевна? Но новое всегда с трудом пробивает себе дорогу.

— Это аксиома, — усмехнулся Сударевский, — но иногда мне все же хочется задать вопрос: «Почему?» В самом деле, почему новое всегда рождается в муках?

— Потому что старое не хочет уходить. Элементарная диалектика.

— Все так. Но уходить все же приходится, хотя радикальная научная идея побеждает совсем не потому, что ее провозвестникам удается переубедить своих оппонентов.

— А почему?

— Просто оппоненты постепенно вымирают или, безнадежно старея, совсем теряют зубы.

— Допустим, — улыбнулся Люсин. — Что же дальше?

— Наша беда в том, что мы сразу затронули слишком многих. И в первую голову — геологов. А это дремучий народ. Все у них построено на интуиции, на всякого рода «я чувствую» или «такого просто не может быть». От гуманитариев они напрочь оторвались, а к естественникам так и не пришли. Физика, химия и тем более математика для них — темный лес. Вы всегда говорите с ними на разных языках. Вы им даете формулу, обобщенное выражение, а они вдруг вспоминают какой-нибудь случай в Хибинах или на Мангышлаке и требуют немедленного и исчерпывающего объяснения. Им невдомек, что явление всегда шире закона и так называемые исключения лишь подтверждают правило. Но даже если вы, поднатужившись, поскольку никогда не бывали на том же Мангышлаке и вообще в глаза не видали геологической карты, все же найдете решение, притом точное, математическое, вам не поверят. «Не может быть, потому что не может быть никогда». Короче говоря, попала наша заявка к геологам, и пошло-поехало! Три года бесконечных комиссий, рецензий, отзывов... Заключения экспертов, надо сказать, были самые благоприятные. Но академику Хвостову вдруг не понравилось. Он выступил против, хотя ни черта не понял и вообще двух слов не сумел сказать связно. Отделение пошло на поводу, а дальше началась борьба за честь мундира. Теперь уже никто не давал себе труда вникнуть в существо нашего открытия. Хвостов боролся за свою репутацию, Буйнов спасал Хвостова, Фоменко — совсем того не желая, мы зачеркнули плоды многолетних трудов возглавляемого им института — вообще готов был стоять насмерть. Тут в ход пошли приемы совершенно недозволенные. И хотя, как вы сказали, научная уголовщина не подпадает под кодекс, уголовщиной она быть не перестает. По нас ударили из всех орудий. Инспирированные заключения институтов и министерств, подметные письма, угрозы, давления. Мне завернули принятую к защите диссертацию, Ковского не представили к званию профессора... Пришлось ему снять свою кандидатуру. А ведь это была чистая формальность. Мы не учебный институт, где профессорство что-то такое значит.

— Почему же и свои пошли против вас?

— Сложный вопрос. Кроме чисто личной неприязни одних и ревности других, свою роль сыграли и объективные факторы. Фома Андреевич хочет выйти в академики, Хамиотиш работал с Хвостовым, Дузе работает на полставки у Фоменко, Ягель получил по шапке от министра и спешит заручиться поддержкой Фомы Андреевича. В общем, круг замыкается.

— И в каком состоянии сейчас пребывает дело?

— Невесомость, знаете ли, как на космической орбите: ни туда ни сюда

— Разве так возможно?

— Думаете, они дураки? О, вы их не знаете! Буйнов отнюдь не отверг нашу работу. Лишь отметил, что в представленном виде она еще не может считаться законченным открытием, а в заключение нас похвалил и порекомендовал продолжать исследования. Правда, когда год спустя мы попытались показать новые данные, это оказалось невозможным. Больно было смотреть на Ковского. Он побледнел и не знал, куда девать руки. Потом у него случился сердечный приступ... А ведь мы не мальчишки, не жалкие просители. Единственное, чего мы желали, — это закрепить за страной приоритет на открытие. С того дня мы медленно, но верно катились вниз. Право на существование нам приходится отстаивать с боем. А вы еще спрашиваете, кто был заинтересован в устранении Ковского!

— Не хотите ли вы связать инцидент в Жаворонках с грустной — на меня она произвела угнетающее впечатление — историей вашего открытия?

— Нет, не хочу... Прямо не хочу. Но косвенно... Поверьте мне, что события последних месяцев тяжело отозвались на шефе. Он сделался нервным и раздражительным, все чаще и чаще жаловался на сердечные спазмы, общую усталость. Я не могу отказаться от ощущения, что тяжелый психологический климат, в котором он находился, и постоянно растущий стресс как-то причастны к известному вам событию.

— Полагаете, что он мог сам... — начал было Люсин, но Сударевский не дал ему договорить.

— Я ничего не знаю! — Он резко повернулся и отошел от окна. — Я даже ни о чем не догадываюсь. — Подвинув свой стул поближе и наклонившись к Люсину, он почти прошептал ему на ухо: — Это всего лишь ощущение, которое может оказаться обманчивым. Но я в это верю.

— Говорил ли он вам когда-нибудь, что устал бороться, утратил надежду, потерял вкус к жизни? Слышали вы от него что-нибудь подобное?

— Пожалуй, нет, — не слишком уверенно ответил Сударевский. — На усталость он жаловался довольно часто, но, как мне казалось, на чисто физическую усталость. Но в угнетенном состоянии духа он пребывал постоянно. А это опасно.

— Это внушало вам тревогу?

— Да. Мне казалось, что такое состояние не могло не сказаться на нем.

— Вы пробовали поделиться своими опасениями с Людмилой Викторовной?

— Нет... Видите ли, она всегда казалась мне недостаточно тонкой и умной, чтобы по-настоящему понимать Аркадия Викторовича, да и вмешиваться лишний раз не хотелось. Думал, что обойдется, как-нибудь все само собой наладится.

— Само собой ничего не бывает.

— В отличие от вас я не столь категоричен. Атомы, например, поглощают и излучают энергию именно само собой. И наша Вселенная взорвалась и расширяется теперь тоже сама по себе.

— Я не имел в виду проблемы мироздания, в которых не силен. — Люсин украдкой глянул на циферблат. Беседа продолжалась уже почти три часа. Подумал, что недурно было бы съесть пару бутербродов с колбасой и выпить двойную чашечку кофе «эспрессо». — Объясните мне следующее, Марк Модестович. — Он устало потянулся и на секунду прикрыл глаза. — Если Фоме Андреевичу так уж важно вас задавить, зачем ему было прочить в заместители Ковского именно вас? Это что: каприз, противоречивость мышления, сверхлогика, которую я, признаться, не постигаю?

— Право, не знаю... Во-первых, он хотел задавить не нас, а наше открытие, хотя, безусловно, испытывает к Ковскому и личную неприязнь. Хотя вообще-то ему все равно, лишь бы ничто не мешало карьере. От науки он порядком оторвался за те пять лет, которые проработал в Индии в колледже ООН, вот и остается ему одно — двигаться по административной линии.

— Не могу сказать, что подобное объяснение удовлетворило меня.

— Чужая душа — потемки, Владимир Константинович. Почем я знаю, чего хочет Фома Андреевич? Может, приличие старается соблюсти? Или, всего вернее, купить меня с потрохами, чтобы потом моими же руками все это дело похоронить?

— Похоронить открытие? В наше-то время?

— Боюсь, что вы плохо представляете себе, о чем идет речь. Нашу работу, как таковую, никто угробить не собирается. Напротив, нас печатают, на наши статьи ссылаются в отчетах и диссертациях. Большую ЭВМ, основанную на наших идеях, тоже все еще продолжают строить. Нам отказывают только в одном: в признании нашего открытия открытием. Понимаете? В выдаче диплома на открытие, короче говоря.

— Значит, все обстоит не так уж страшно?

— Это смотря для кого как... Но Фома Андреевич, конечно же, не ждет от нас никаких отречений и покаяний. Такое было только во время Галилея. Он просто хочет, чтобы мы перестали враждовать с сильными мира сего и не создавали ему ненужных осложнений. От нас ожидают полной и безоговорочной капитуляции, но без

поднятых рук и белых флагов. Вы правы, не все так страшно. Ничего ужасного не случилось. Но мне трудно, Владимир Константинович, потому что я знаю, насколько мы во всем правы. Вот в чем загвоздка

— У вас найдется экземпляр заявки со всеми письмами и заключениями?

— Конечно. Он у меня дома.

— Не дадите ли посмотреть на досуге? Научную сущность я хоть и не осилю, но с чисто юридических позиций дело прогляжу. Чем черт не шутит, авось и присоветую что-нибудь дельное.

— Сомневаюсь, ибо дошел в отчаянии до точки, — засмеялся Сударевский. — Здесь гордиев узел, а потому не ум потребен, а меч. Но все равно попробуйте... Отчего бы и нет?

— Тогда давайте созвонимся на этих днях. Загляну к вам как-нибудь вечерком, а то вы ко мне приходите.

— Заметано, — согласился Сударевский. — Я вечерами почти всегда дома. Так что милости просим.

— В вашей фирме есть где перекусить?

— Конечно. У нас неплохая столовая.

— Тогда, может быть, подзаправимся немного? Потом я быстренько закончу осмотр стола, и вы покажете мне свои знаменитые камеры.

— Идет. Никаких возражений

— Тогда не будем терять дорогие минуты. Мне ведь надо еще у коменданта побывать и на работу хоть на часок успеть заглянуть. С городом соединяется? — Он снял трубку.

— Через восьмерку. — Сударевский взял с полки мыльницу. — Руки можно вымыть здесь.

— Столовая далеко? — спросил Люсин, набирая номер.

— В третьем корпусе.

— Не сочтите за труд позвонить потом в проходную. Пусть пропустят моего шофера. Надо же поесть человеку. Вы не против, если он с нами пообедает?

— Сделайте одолжение.

— Алло, Лида? — Чисто инстинктивно он прикрыл микрофон свободной рукой. — Привет, Лидочка! Люсин говорит. Меня никто не спрашивал?

— Очень хорошо, что позвонили. Вас Крелин разыскивал... Вы слышите меня?

— Да-да, слышу. Говорите, пожалуйста.

— Обнаружено тело. — Она говорила очень тихо, многозначительно растягивая слова.

— Под Павлово-Посадом.

— Фотографии мы им посылали.

— Именно поэтому нам сообщили. Крелин уже выехал... Вместе с Логиновым.

— Понятно... Я, пожалуй, тоже туда двину. Спасибо, Лидона, за информацию.

Он положил трубку. Несколько мгновений отрешенно и сосредоточенно следил за тем, как Сударевский намыливает руки.

— Ничего не получается, Марк Модестович, — он облизнул внезапно пересохшие губы и принужденно улыбнулся, — начальство требует.

— Все мы под богом ходим. — Сударевский включил электросушилку и подставил растопыренные пальцы под воздушный поток.

«Какие у него белые руки! — Люсин критически оглядел свою ладонь. Кислоты и щелочи оставили на ней желтые шелушащиеся пятна. — Какие холеные, отполированные ногти... А ведь химик-то он, не я... Как много все-таки значит профессионализм!»

Напряженные, широко открытые глаза заслезились, и он зажмурился. Вспыхнул и медленно померк в черноте отблеск залитого светом окна. Сверкнула ночная заколдованная вода в лунном глянце, но тоже померкла, прежде чем он разлепил отяжелевшие веки.

— Я вынужден просить вас немного задержаться, Марк Модестович. — Он прочистил охрипшее горло. — Хочу задать вам несколько вопросов и на этом закончить, потому что мне нужно уехать.

— Что же так внезапно?

— Начальство требует. Хотелось поговорить, записать ваши показания. Получить подробную консультацию, но...

— Стало известно что-то новое? — осторожно спросил Сударевский. — Какие-нибудь дополнительные сведения?

— Да. — Люсин отвернулся. — С этой минуты я приступаю к розыску по делу об убийстве.

Глава седьмая

СВЕТСКОЕ ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЕ

Лев Минеевич подошел к дверям кафе «Отдых» несколько ранее условленного часа. Вопреки установившейся в последнее время традиции Вера Фабиановна все же пригласила его на чашку кофе. «Я хочу, чтобы вы нарушили наш тет-а-тет, — милостиво сообщила она ему и, как бы между прочим, присовокупила: — Людмила Викторовна тоже будет рада».

«Тоже»! — торжествуя, подумал Лев Минеевич. — Наконец-то сподобился. Или это наступает отрезвление?»

Но сейчас, беззаботно фланируя вокруг памятника Юрию Долгорукому, он пришел к мысли, что до отрезвления пока еще далеко. Лестное приглашение скорее всего следовало рассматривать как ответ на дружескую услугу. Видимо, Владимир Константинович уже навестил Веру Фабиановну или даже успел повидать убитую горем Людмилу Викторовну. Человек он приятный и обходительный, а потому наверняка его визит произвел на обеих дам самое лучшее

впечатление. Впрочем, Вера Фабиановна и ранее благоволила к Люсину.

«По крайней мере, она должна быть ему благодарна, — рассуждал Лев Минеевич, критически разглядывая могучего княжеского коня. — Если, конечно, вообще способна на столь возвышенное чувство. Эх, Верочка, Вера...»

Лев Минеевич поднялся по ступенькам в скверик и устроился в тенечке у фонтана.

Все вокруг располагало к приятному отдохновению и философической грусти. Деревья бросали на песок мягкие пятнистые тени, журчали струи, из открытых дверей «Арагви» исходил тяжелый шашлычный дух. Старушки кормили жадных неповоротливых голубей, ворча на то, что хлебные крошки склевывают юркие воробьи. Малыш в ползунках, переваливаясь на неустойчивых ножках, безуспешно гонялся за птицами.

«Контрасты жизни, — вздохнул Лев Минеевич. — Время брать и время отдавать».

Но тут подошли дамы, и он поспешно вскочил со скамейки. Вера Фабиановна выглядела несколько экстравагантно. На ней были длинная черная юбка, побивающая все рекорды «макси», и желто-бурая, в который раз перекрашенная шерстяная кофта. Зато на пальцах тяжело сверкали оправленные в золото и серебро сапфиры, аметисты и зеленый египетский скарабей, а плоскую грудь украшал многорукий Хэваджра, сжимающий в объятиях шакти, готовую испить кровушки из дымящегося черепа-чаши.

Лев Минеевич с радостью отметил, что рядом с Верочкой Людмила Викторовна выглядит как бедная родственница. В самом деле, что значила в сравнении с грозным тибетским божеством, самое имя которого не принято произносить вслух, благопристойная брошь из японского жемчуга? Или разве можно было сравнить бурую кофту разудалого битника с безликим костюмчиком джерси цвета маренго?

Они заняли угловой столик и в торжественном молчании стали дожидаться официантку. Она удостоила их вниманием довольно скоро, так как внешность Веры Фабиановны поразила ее в самое сердце. Вручая меню кавалеру, она не отрывала глаз от устрашающих улыбок семиликого бога, олицетворяющего, согласно тайным тантрийским учениям, единство миров.

— Не надо. — Вера Фабиановна не дала Льву Минеевичу даже раскрыть меню. — Принесите, милочка, по три шарика мороженого, кофе и кекс... Кекс свежий?

— Ага, — кивнула официантка, но тут же с очаровательной непоследовательностью добавила: — Кекса нету.

— Что же тогда у вас есть? — Чарская приняла величественную позу и направила на девушку мутный лорнет.

— Бисквитный рулет в шоколаде и пирожные.

— Какие? — спросила Людмила Викторовна.

— Эклер.

— Крем заварной? — включился в перекрестный допрос Лев Минеевич и, переглянувшись с дамами, распорядился: — Пусть будет эклер.

Официантка упорхнула, давясь от смеха. Надо думать, она поспешила описать оригинальную посетительницу своим товаркам, потому что в зале одна за другой стали появляться милые девицы в передничках и наколках. Не обращая внимания на страждущих за соседними столиками и не скрывая веселого любопытства, они прошлись мимо Веры Фабиановны. Старуха Чарская сидела с каменным лицом. Она привыкла к пристальному вниманию посторонних, и оно ей льстило. Возможно, в такие минуты она вспоминала бурную молодость, когда Верочка Пуркуа, как «беззаконная комета», ослепляла нэпманскую Москву. В те далекие годы ей не нужно было прибегать к магической помощи скарабеев или гималайских божеств, чтобы привлечь к себе все взгляды. Достаточно было просто улыбнуться нежно и чуточку загадочно.

— Я уже жалею, что согласилась, — шепнула ей на ушко Людмила Викторовна. — Вдруг позвонят? — Она закусила тонкие, обескровленные губы и поднесла к носу скомканный платочек. — Как вы думаете?

— Не волнуйтесь, дорогая, — успокоила ее Чарская. — Ничего за этот час не произойдет. Перестаньте себя грызть. Вы и без того совсем извелись.

— А все-таки вдруг?.. Я все жду, жду, что мне позвонят насчет Аркаши. Даже ночами не сплю. И утром, представьте, просыпаюсь от трезвона. Бросаюсь спросонок к телефону, а он молчит.

— Бывает, — посочувствовал Лев Минеевич.

— Уж лучше не встревайте, — зашипела на него Чарская.

— Когда мне звонят, я хватаюсь за трубку как полоумная. Но все не то... Потом долго в себя прихожу, пью капли.

— А вы отключите аппарат, — посоветовала Вера Фабиановна. — Если что-нибудь выяснится, вас и так найдут.

— Разумеется. — Лев Минеевич принял независимый вид и, намекая на свои высокие связи, скромно пробормотал: — Мне, полагаю, сообщат.

— Что вы! — замахала на них руками Ковская. — Вдруг это сам Аркашенька? Да и по делу ему часто звонят, интересуются. Я всем говорю, что он в командировке, а когда вернется, не знаю. Я же в самом деле ничегошеньки не знаю! — Она всхлипнула.

— Не растравляйте себя, моя хорошая, — принялась увещевать Вера Фабиановна. — Все, бог даст, утрясется. Я просто уверена, что ничего страшного не случится. Намедни я раскинула на вас. — Она доверительно накрыла ее руку своей. — Десятка пик вышла и мелкие бубны. Неожиданный интерес, значит... А то, что говорите, будто Аркадий Викторович в командировке, правильно делаете. Тут одинаково опасно и сглазить и беду накликать. Вы же знаете, какой силой обладает сосредоточенная мысль! Того и гляди, стронешь что-нибудь такое в астрале, отчего все события пойдут вкривь и

вкось. Смешно мне порой на людей. Сначала выбалтывают про свои желания и страхи, а после дивятся, что худшие опасения сбываются. Отчего бы им и не сбыться, спрашиваю, ежели сами на себя накликаете? Нет, дорогая, вы абсолютно правильно поступаете. Ничегошеньки не говорите. В командировке — это хорошо.

— Как вы глубоко правы! — горестно покачала головой Ковская. — И насчет людей тоже. Такие нахалы встречаются! — Она даже глаза закатила. — Просто не поверите.

— Очень даже верно! — вмешался в разговор Лев Минеевич. — В субботу я только за раму взялся, чтобы на другую сторону перевернуть и холст поглядеть, как набегает какой-то хлюст и вырывает картину прямо из моих рук. Оказывается, он ее уже выписал! Как вам это понравится? Когда, спрашивается, ты, паршивец, выписать успел, если мы бок о бок в магазин влетели? Оба же на улице ожидали, пока откроют...

— Это недостойно, Лев Минеевич, — процедила сквозь зубы Чарская. — В такой момент!

— Простите меня, дурака, — смешался Лев Минеевич. — Просто вы о нахалах упомянули, вот я и... — Он сжал кулачки, выражая тем самым свое немое, но искреннее сочувствие.

— Такие нахалы! — Людмила Викторовна зябко поежилась. — Один так каждые полчаса звонит. Все про Аркашу допытывается, куда, мол, уехал и когда обещал вернуться. — Она задохнулась в приливе слез, но сумела себя обуздать. — Если бы я это знала!

— С такими людьми не надо церемониться, — сказала Вера Фабиановна. — Повесили трубку, и все тут. Кто он такой?

— Понятия не имею! Я спрашивала, а он молчит. Один раз только, — я его уже по голосу узнаю, по акценту кавказскому, — сказал, что знакомый Аркашенькин и звонит по важному делу. Я ему честь по чести растолковала, что Аркадия Викторовича сейчас в городе нет, и велела справиться через неделю, а на другой день он уже тут как тут. Словно с гуся вода. Я ему объясняю, что так не поступают: раз сказано — через неделю, значит, через неделю... Бросил трубку!

— Никакой совести у людей! — вздохнула Вера Фабиановна.

— Результат плохого воспитания. — Лев Минеевич назидательно погрозил пальцем. — Молодежь совершенно распущена... Не все, конечно, — спохватился он, — некоторые... Как вам понравился Владимир Константинович? — наклонился он к Людмиле Викторовне. — Не правда ли, милейший молодой человек?

— Вы его знаете? — удивилась Ковская.

— То есть как? — Лев Минеевич от неожиданности даже поперхнулся. — Я же к вам его и направил!

— Вы? — Людмила Викторовна всплеснула руками. — Да откуда вам было знать, если я сразу в милицию кинулась? Никому до тех пор словечка не сказала!

— Ничего не понимаю! — Лев Минеевич побледнел от огорчения. — Как же так?

— Так это ваша креатура? — допытывалась Ковская. — Именно тот самый прославленный детектив? Когда вы у него были?

— Да вчера же, вчера! — Лев Минеевич потряс в отчаянии кулачками.

— Но мне он позвонил в тот же день! — Она почти кричала. — В четверг. Вы понимаете? В четверг!

Официантка принесла мороженое, и Ковская со Львом Минеевичем были вынуждены притихнуть и замолчать. Но едва она отошла от столика, как бурное выяснение отношений возобновилось.

— Вы что-нибудь понимаете? — Людмила Викторовна повернулась к Чарской. — По-моему, здесь какое-то недоразумение. — Она покосилась на Льва Минеевича, отиравшего пот со лба.

— Но Лев Минеевич действительно говорил со следователем, — вступилась за своего верного чичисбея Вера Фабиановна. — Владимир Константинович навестил меня в тот же день, то есть вчера вечером.

— Тогда я положительно ничего не могу понять! — Ковская машинально погладила запотевшую мельхиоровую вазочку. — Как приятно холодит! — печально вздохнула она.

— Значит, это просто совпадение, — повеселел Лев Минеевич, — случайное стечение обстоятельств.

— Совпадение? — усмехнулась Чарская. — И еще случайное? Как вы, однако, слепы, мой бедный друг! Это судьба! — Она погладила Людмилу Викторовну по руке. — Я уверена, дорогая, что это счастливое предзнаменование. Вас ожидает перемена к лучшему. Вы-то, надеюсь, чувствуете, что тут судьба?

— Ну конечно, судьба! — заулыбался Лев Минеевич.

Он был по-настоящему счастлив, когда все разрешилось, и с готовностью соглашался со всем. Судьба так судьба, предзнаменование так предзнаменование.

— Как интересно! — оживилась и Людмила Викторовна.

Она даже решилась попробовать мороженое. Вслед за ней и остальные стали понемножку колупать твердые матовые шарики, белые, розовые, коричневые.

— Да, моя хорошая, — заключила Чарская, — вам действительно повезло. Этот Люсин толковый парень. Он таки докопается. Если бы вы только слышали, как дотошно выпытывал он у меня малейшие подробности! Я рассказала все, что только знала: и про камни и про цветы.

— Ах, какое это может иметь значение?

— Не скажите, мой ангел, в таком деле подчас важна каждая мелочь.

— Любая деталь. — Лев Минеевич многозначительно вскинул подбородок.

— Он меня и про ваших знакомых расспрашивал. Только тут я мало чем ему помогла. Разве что про Марика этого рассказала...

— Марик! — Людмила Викторовна горько улыбнулась. — Раньше он просто не выходил от нас, а теперь, когда так важно,

чтобы рядом с тобой была хоть одна близкая душа, он словно сквозь землю провалился... Я несколько раз звонила ему домой, но никто не отвечает. И куда это он запропастился?

— А вы на работу позвоните, — посоветовала Вера Фабиановна.

— Думаете, я не звонила? Сколько раз!

— И что, нету? — спросил Лев Минеевич.

— Не берут трубку!.. У них, правда, всего один выход в город, а телефон у Аркадия Викторовича стоит в кабинете. Но быть того не может, чтобы никто туда не заходил! Обычно дозвониться нельзя — всегда занято.

— Может, он в командировке? — Лев Минеевич не знал, о ком идет речь, но всячески стремился выказать свою осведомленность.

Ковская раз и навсегда должна утвердиться в мнении, что у Веры Фабиановны от него секретов нет.

— Пусть его, — устало отмахнулась Людмила Викторовна. — Какое мне, в сущности, дело?

— Подумаешь, свет в окошке! — поддержала ее Чарская. — Вам о другом теперь думать должно. Надейтесь на лучшее и терпеливо ожидайте перемен... Я почему-то думаю, что Аркадий Викторович сам возвернется. В надлежащий момент.

— С трудом верится. — Ковская покачала головой. — С большим трудом. И хочется, да не получается. Сердце-вещун другое говорит.

— Не напускайте на себя! — запротестовала Вера Фабиановна. — Лучше слушайтесь правильных советов. Я просто уверена, что ваш братец как живым из дому ушел, так невредимым и возвратится.

— Но неужели вы не понимаете, что это абсурд? — рассердилась Людмила Викторовна. — Он бы давно уже дал о себе знать! Хоть какую-нибудь весточку бы подал, чтобы я успокоилась.

— Да хочет он, хочет сообщить, только не может. — Вера Фабиановна причитала с характерными завываниями профессиональной гадалки. — Нельзя ему. В место такое попал, откуда до дому и не докричишься. Хоть рукой подать, а далеко, хоть глаз видит, а рукой не дотянешься. Это где же он? Да тут же, под боком, только оглянуться ему нельзя и дороженьки все перепутаны. Но он вернется, вернется. Срок выйдет, и разрешится ему.

— Вы, Верочка, все равно как про тюрьму вещаете, — не остерегся Лев Минеевич.

— Вас только тут не хватало! — обозлилась Чарская и, наклонившись к нему, шепнула: — Типун вам на язык, старый дурак!

В притворном ужасе Лев Минеевич прикрыл лицо руками.

— Пусть хоть в тюрьме, лишь бы жив был. — Ковская промокнула глаза.

— Да что вы его слушаете! — Вера Фабиановна была возмущена до глубины души. — Станет вам милиция арестанта разыскивать. А то не известно им, кто у них где сидит! Как же!

Лев Минеевич, только что осудивший Верочку за бесстыдное шаманство, вынужден был отдать должное ее житейской сметке и быстроте ума.

— Никого-то я не слушаю. — Ковская отодвинула от себя вазочку, в которой сиротливо оплывал шоколадный шарик. — И ни в какую тюрьму не верю. За что Аркашеньку в тюрьму? Нет, человек, если только он жив, так бесследно не исчезает. И не надо меня утешать, Вера Фабиановна. Я хоть и признаю существование неких надмирных сил, но в отличие от вас твердо придерживаюсь материализма. Одна у меня надежда, что Аркашу похитили и вопреки его воле продолжают где-то удерживать.

— Милиция найдет! — Лев Минеевич оглянулся по сторонам, ища официантку.

— Вы глубоко неправы, Людмила Викторовна, — стояла на своем Чарская. — То есть вы правильно говорите про похищение, но вся разница в том, кто похитил. — Она по-цыгански затрясла плечами. — Далеко Аркадий Викторович проник в тайны заповедные, непозволительно далеко.

— О чем это вы? — не поняла Ковская.

— Все о том же, бедняжка вы моя, все о том, — опять зашаманила неугомонная старуха и, досадливо скривившись, отчетливо прошептала: — Да видела я его, Аркашеньку-то вашего, видела. В хрустале мне открылся.

Глава восьмая

ГЛУБИННОЕ ГОРЕНИЕ

— Разве я требую невозможного? — Люсин со свистом продул мундштучок. — Причина смерти и время ее наступления. Это же элементарно.

— Но не в таких условиях. — Крелин кивнул на дверь, из которой они только что вышли. — Уверяю тебя, что подробную медико-биологическую экспертизу можно будет произвести только в Москве.

— Я все понимаю, Яша. — Владимир Константинович повертел мундштук в руках, словно видел его впервые. — Но есть же внешние показатели: трупное разложение, окоченение... Что там еще?

— В данном случае картина получается смазанная. Тело несколько суток пролежало в торфованной воде, почти в жиже.

— Конечно, это могло ускорить... — Люсин задумчиво взъерошил волосы.

— Совсем напротив! — перебил его Крелин. — Гуминовые кислоты обладают ярко выраженными антисептическими свойствами. Известны случаи, когда в торфяниках находили свежие трупы, пролежавшие там многие годы. Своего рода естественная консервация.

— Да, что-то такое, помнится, было... В Шотландии?

— Зачем тебе Шотландия? — пожал плечами Крелин. — Возьми нашу тундру. Про туши мамонтов слыхал?

— Это же вечная мерзлота!

— Вечного, Володя, ничего нет. Мамонты не в вечные льды проваливались, а в тривиальнейшее болото. Ледком их уже потом прихватило. Лет этак через тысячу или того больше. Купца в кафтане петровских времен я своими глазами видел. Под Новгородом. Рана на голове совсем свежая была, словно только-только... Разбойничек небось кистенем по темени тюкнул. Вот что значит моховой торф. Лучше всякой заморозки.

— Следствие через века, — пошутил Люсин.

Он обернулся и в последний раз взглянул на желтый, чуть покосившийся дом, в каменном подвале которого осталось тело Аркадия Викторовича Ковского. Грубо выкрашенная коричневой масляной краской дверь была приоткрыта, и в сумрачной щели тускло отсвечивало железное, вытертое до блеска перило уходящей вниз каменной лестницы.

«Вверх по лестнице, ведущей вниз», — пришли на память чьи-то слова. — Хотя это, кажется, совсем из другой оперы».

Широкий, огороженный выбеленной кирпичной стеной двор был пуст. Сквозь грубый булыжник пробивалась чахлая ромашка. В углу, где когда-то находилась свалка, бурно росли лопухи и чертополох, курчавилась проржавевшая стружка. Несколько поодаль, на темном от пролитой смазки песочке, — машины: красная пожарка, орудовская сине-желтая «волга» и синий милицейский «газик».

«Совсем не подходящее место для смерти, — подумал Люсин, отгоняя назойливую золотистую муху. — И небо такое бездонное, и облака...»

— Потушили пожар? — спросил он, принюхиваясь. — Вроде меньше пахнет?

— Говорят, еще вчера. Боялись, что перекинется на лес. — Крелин махнул рукой в сторону бетонки. — Пал пришлось пустить.

— Пал?

— Встречный огонь.

— Знаю, — кивнул Люсин. — Стена против стены. Чтоб сам себя пожрал. Поверху огонь далеко не пойдет.

— Торфяник, он ведь изнутри горит. Кто его знает, где наружу вырвется. Пока вроде погасили. Я туда Глеба послал.

— Зачем?

— Понимаешь, — Крелин взял его под руку и потянул к воротам, — я тебе не успел рассказать. Тут начали расследование причин пожара...

— Ну, ну! — заинтересовался Люсин, все еще пристально всматриваясь в черноту невидимой лестницы. — Нас это касается?

— В том-то и дело! Боюсь сглазить, но, кажется, всплыл мотоцикл.

— «Ява»?

— Пока неизвестно. Но что с коляской — это почти точно. Его видели в разных местах.

— Когда?

— В ночь со среды на четверг и, представь себе, вчера.

— Кто видел? Они уверены, что это один и тот же мотоцикл? Номер заметили?

— Погоди, — остановил его Крелин. — Не все сразу... Если бы было что-нибудь определенное, я бы не стал тебя интриговать. Толком никто ничего не заметил, но, мне кажется, перспектива вырисовывается. На пожар, как ты понимаешь, было брошено все. Партийный секретарь, говорят, двое суток с поля не уходил. Силой увели, когда телогрейка на нем задымилась. В таких условиях не до расследования было. Не до жиру, как говорится... Но как только чуточку поутихло, местные ребята взялись за дело и начали опрашивать очевидцев — всех, кого только смогли. Естественно, напирали на первые признаки: дым, начальные очажки и все такое прочее.

— Понятно. — Люсин покорно дал себя увести.

Они вышли за ворота и остановились возле черной новенькой «волги» с антенной на крыше.

— Поедем? — спросил Люсин, открывая заднюю дверцу.

— Погоди. Я тут с Глебом условился встретиться.

— Ладно. — Владимир Константинович захлопнул дверцу и наклонился к шоферу, уткнувшемуся в «Манон Леско». — Не устал ждать, Николай Иванович?

— Для нас это отдых, — довольно ухмыльнулся шофер и, приспустив стекло почти до конца, высунулся наружу. — Места-то какие были, Константиныч! Райская благодать! И в одну секунду все сгорело... Жалко. Я тут осенью как-то с ружьишком баловался. Уток — видимо-невидимо. Сколько выводков погибло, мама моя родная!

— Выводков? — Крелин бросил спичку, которой ковырял в зубах. — Одного леса триста гектаров выгорело. Так-то!

— Продолжай отдыхать. — Люсин кивнул шоферу, который тут же раскрыл заложенную пальцем книгу. — Учись на ошибках кавалера де Грие, Коля... Так что мотоциклет? — спросил он, подходя к Крелину.

— Его видели человек пять-шесть. Но выяснилось это не сразу. Когда стали опрашивать, не заметил ли кто посторонних — рыболовов, охотников, грибников, туристов и все такое прочее, — выяснились любопытные вещи. Двое обратили внимание на старый «москвич-403», несколько человек упомянули про какую-то бабу с лукошком, одна девка вспомнила, что накануне пожара встретила в лесу шикарного стилягу со спиннингом, и, наконец, старый дед-сторож упорно обвинял в предумышленном поджоге алкаша-механика с Милежей, уволенного за дебоширство. Все это лично нас мало интересует, и я особенно не углублялся. Зато когда разговор зашел о мотоцикле, сразу навострил ушки. — Крелин вынул запис-

ную книжку. — Значит, так: сезонная работница с участка Новоозерное определенно заявляет, что видела мотоциклет, проезжавший через торфяное поле, затем...

— Когда? — остановил его Люсин.

— Рано утром в четверг. Говорит, что уже светать начало.

— Она что, дежурила там специально?

— Это и меня заинтересовало, — улыбнулся Крелин. — И ребят из пожарной инспекции тоже. Но четкого объяснения они так и не получили.

— Свиданка, что ли? — догадался Люсин.

— Видимо, так, — продолжая улыбаться, подмигнул Крелин. — Ночи-то, ночи какие стояли! Соловьи поют, сено кругом благоухает, полнолуние...

— А с ней кто был?

— Вот ты ее и порасспроси! Фамилия у меня записана, может, тебе больше повезет.

— Молчит?

— Я-то ее не видел. — Расщепив спичку, Крелин сделал себе еще одну зубочистку. — Но пожарники говорят, что молчала, как партизанка. «Одна, — твердит, — на поле была. Соловья слушала».

— Поле далеко от поселка?

— Километра четыре будет.

— Понятно... Специально затемно встала, орнитолог-любительница. Место указать может?

— У скирды. — Крелин засмеялся. — Это она показала точно.

— След протектора есть поблизости?

— Какой след? Какой протектор? Перекрестись, дорогой товарищ! Все поле к чертям собачьим выгорело!

— Да, верно... я забыл. Сгорели следы, улетучились.

— Не все, — насупился Крелин и выразительно кивнул на ворота, за которыми желтел в тени березы старый двухэтажный особнячок.

— Не все, — согласился Люсин. — Что же рассказала она, это новоозерская вакханка? Что она видела?

— Мотоциклет с коляской.

— Было ведь не так светло?

— Темень! И еще туман. Но она утверждает, что мотоциклист проехал в двух шагах от скирды, потому и увидела. «Рядом протарахтел, — ее собственные слова. — Надымил бензином. И кто бы это мог быть?»

— В самом деле, кто?.. А она не сочиняет?

— Зачем ей?

— Верно, конечно. Незачем. Скирды на торфяном поле — это обязательно?

— Спрашивал. — Крелин выплюнул спичку. — Зуб что-то заныл... Пожарники объяснили, что сено было сложено на окрайке. Там, где косили.

— Не очень-то подходящее соседство: сухое сено и торф.

— Это их дело. Да и какая, собственно, разница? Что в лоб, что по лбу. И то горит и это.

— Больше она ничего не сказала?

— Нет. Мотоцикл с коляской и на нем два мужика: один — за рулем, другой — позади.

— Позади или в коляске?

— Говорю со слов пожарников.

— Это уже интересно. Как полагаешь?

— Так и полагаю. Затем и Глеба послал.

— Позади, значит. — Люсин задумчиво прикусил губу. — А в коляске?..

— Да, — кивнул Крелин. — Это самое.

— Кто еще видел мотоциклет?

— Начальник того же Новоозерского участка Мерзликин.

— Тоже любитель певчих птиц?

— Иронизируешь? Напрасно. Мерзликин вышел на поле проверить, как идет ворошение, как сохнет крошка. Не зная специфики производства, тут далеко не уедешь.

— А где уедешь? В Институте кристаллов? И когда мне было изучать ее, эту твою специфику, если меня по рации прямо сюда вызвали! — не сдержался Люсин.

— Чего ты злишься? — отстранился эксперт. — И на кого?

— Сам на себя, — криво улыбнулся Люсин и сунул руки в карманы. — Прости, Яша... Голова кругом идет. Это же надо, такая цепь случайностей! Только нашел тело, и на тебе — пожар. Все сгорело, следы...

— Нет здесь случайностей, — жестко отрезал Крелин. — Напротив, четкая взаимосвязь.

— Не понял.

— Ты не обижайся, Володя, но не о следах сожалеть надо, а о беде человеческой. Мы с Глебом здесь уже несколько часов и кое в чем сумели разобраться... Видели, как люди вели себя на пожаре. Тот же Мерзликин, начальник участка. Страшное бедствие, Володя, страшное! Одним словом, лучше бы не здесь найти нам тело. Все бы леса с трупоискателем на карачках излазил, всю бы землю изрыл!

— О чем ты? — Люсин ожесточенно пнул ржавую консервную банку, которая, гремя, покатилась по горбатой мостовой. — О чем? Хоть убей, не пойму! Объясни по-человечески, друг сердечный!

— И верно, — кротко согласился Крелин. — В самом деле не поймешь. Ты не видел следов пожара, не разговаривал с обожженными, запеленатыми, как куклы, людьми в больнице. А меня это мучит, Володя. Я никак не могу уйти от мысли, что, не будь пожара, мы бы еще не так скоро обнаружили труп. Да, не так скоро...

— Почему?

— Ты был на Топическом? Видел?

— Ну да, ты же сам меня повез!

— Сам... А знаешь, что мне сказали пожарники?

— Не надо эмоций, Яша. Давай о деле. — Люсин понял, что раздражение, с которым не сумел совладать, явилось своего рода откликом на глубоко загнанную внутрь, но тем не менее явственно ощутимую напряженность Крелина. — Откуда мне знать?

— Тело обнажилось из-за пожара, Володя, его нашли только потому, что упал уровень воды в озере. Вот в чем дело. Тут нечто большее, чем просто специфика производства.

— Воду брали для борьбы с огнем?

— Естественно.

— И свидетелей бы мы не нашли, не случись здесь беды. Так? Тебя это волнует?

— Ничего-то меня не волнует. — Крелин мучительно подбирал точные слова, но не находил их. — Во всяком случае, не комплекс вины. Нет ее на нас да и быть не может... Но я видел пожар, и этим все сказано.

Люсин только сейчас заметил дырочки на рукаве эксперта, обожженные ресницы его, порыжевшие и закрутившиеся на концах.

— Что ж тут поделаешь? — Он достал носовой платок и протянул его Крелину. — Сажа на щеке. Вытри... Ничего не поделаешь. Мы всегда там, где горе, всегда возле. Такая работа.

— Ничего ты не понял, — поморщился Крелин. — Работа у нас, видите ли, такая. При чем тут работа? Не умею я объяснить, Володя, не могу. Одним словом, лучше бы нам вести розыск в иной обстановке.

— Согласен. На сто процентов.

— Ты верно сказал насчет горя. Хочешь не хочешь, но приходится держать себя в кулаке. Без этого нельзя. Издержки профессии.

— Спасительные предохранители. Как у врачей

— Как у кладбищенских работников. Так оно точнее будет. Живем — не задумываемся, будто все так и надо. А потом вдруг налетит такое, подхватит тебя большая человеческая беда, закружит, как листик, и понесет по ветру. Тут уж поневоле задумаешься, кто ты и какое место занимаешь на земле. — Крелин вытер сажу и отдал платок. Кулаком прижал воспаленные веки. — Ладно Володя, ты прав, давай-ка лучше делом займемся. Не место здесь для душеспасительных бесед. На чем мы остановились?

— Мерзликин, — напомнил Люсин. — Начальник участка вышел проверить, как идет сушка. Это было...

— В то же утро. Мерзликин говорит, что петухи уже раз прокричали.

— Мотоциклет видел?

— Нет. Только слышал, как где-то неподалеку протрещал мотор. Туман стоял. Девушка тоже про туман говорила.

— Он уверен, что это был именно мотоциклет?

— Что же еще? Трактор?

— Хотя бы. Пусковой двигатель.

— Он человек опытный и все свои трактора знает наперечет, какой у кого голос. С ним я лично разговаривал. Можешь не сомневаться... Ночные ездоки его тоже заинтересовали. «Я сначала решил, что это кто-то из наших балуется, — рассказал он, — а потом, когда след в три колеса увидел, понял — чужие. Наши с колясками не ездят. Какая-то пьянь через поле поперла очертя голову».

— Обстоятельный мужик, — одобрил Люсин. — Даже след не поленился найти, когда рассвело. Молодец!

— Еще какой молодец! — Крелин торжествующе помахал записной книжкой. — Слушай дальше... «След был неровный, петляющий...», ясно дело — темень, «но не такой, чтобы вовсе вслепую. Знали, куда ехали: прямиком к мосткам через магистраль. А ведь мостик не то что ночью да в тумане не разглядишь, а и днем-то не увидишь — сплошняком крошкой засыпан. Выходит, что ведали, куда ехали, по знакомой дорожке». Вот что показал начальник участка Новоозерное.

— Ценные показания!

— Еще одна деталь! — Крелин торопливо перелистнул несколько страничек и нашел нужное место. — «Сдается мне, что таились они от людей. Ехали ведь прямиком, как ближе, но там, где уборочный цикл шел, вдруг крюка дали, сзади трактор обошли, чтоб пути ему, значит, не пересечь. От чего бы такое?»

— Почему он не поделился своими сомнениями с кем следует?

— Я спрашивал. Он только руками разводит: «Не думал, что это так важно. Не граница же тут у нас, не следовая полоса. Да и умаялся сильно, разморило, а как ото сна встал, так все из головы вон. Своих забот хватает. Потом же и вообще не до того стало».

— Верно, не до того... Однако ты его подробно застенографировал.

— Так ведь какие слова! Точные, толковые... В корень глядит человек. Такому можно верить с закрытыми глазами.

— Можно, — согласился Люсин. — Если бы он еще протекторные следы пластиком залить догадался, ему бы вообще цены не было.

— У него, конечно, в доме полные бидоны с пластиком стоят. Заместо молока. Поражаюсь прямо, все-то тебе мало, Люсин!

— С тобой сегодня и пошутить нельзя.

— Видел бы ты, Володя, этого Мерзликина на пожаре! Се человек — единственное, что могу сказать. Все остальное будет ложью. Се человек!

— Кто еще видел?

— Девушка-техник со второго поля. Она сейчас здесь, в больнице.

— Был у нее?

— Нет. Состояние очень серьезное. Ожог третьей степени. У нее поражено около тридцати процентов поверхности.

— Тяжелое дело, — покачал головой Люсин. — Понадобится пересадка кожи.

— В добровольцах недостатка нет. Я встретил их около больницы. Чуть ли не весь поселок пришел.

— Хорошие люди, Яша.

— Очень хорошие. Пляшут, частушки поют, словно ничего и не случилось, словно их жизнь еще совсем недавно не висела на волоске. Вот она, неистребимая сила жизни. Поразительно!

— И поучительно. Мне это очень близко, Яша. Я на «БМРТ» плавал в высоких широтах и знаю, как ведут себя рыбаки после трудной ледовой вахты. Что рассказала эта девочка пожарникам?

— Она заметила мотоциклет с коляской, когда тот объезжал здание тракторной станции. Увидела его из окна. Ни людей, ни номера, конечно, не разглядела — далеко.

— Когда это было?

— В то самое утро, но уже на рассвете, когда посерело и туман потянулся к озеру. Это все.

— Не так мало. Можно даже маршрут наметить.

— Я это сделал. Жду только Глеба, чтобы уточнить

— Хорошо. План торфопредприятия есть?

— Сняли на кальку.

— Ладно, шарман, дождемся Глеба. Давай дальше.

— Остальные свидетели — два парашютиста-пожарника и путевой обходчик — видели мотоцикл в понедельник, то есть вчера. Из-за дальности расстояния никаких подробностей разглядеть не сумели. Все трое утверждают, что машина шла от Светлого озера к островному лесу. Пожарный инспектор показал мне на плане, что в этом направлении им не проехать — торфяник горит изнутри — и они, скорее всего, укрылись в лесу.

— А за лесом что?

— Там тоже огонь.

— Но пожар потушен?

— Под землей тлеет, Володя, под тонкой спекшейся коркой. Там не пройти. Поверь знающим людям.

— А лес не горел?

— Тот? Островной? Нет, каким-то чудом уцелел. Видимо, направление ветра...

— Получается, что они и сейчас в лесу? — Люсин немного разобрался в ситуации и почувствовал себя более уверенно. — Больше никто их не видел?

— Никто. У них только два пути отхода: вдоль насыпи или вплавь через озеро, на другой берег, откуда недалеко до бетонки на Горький. Насыпь, как только начался пожар, все время под контролем.

— Понятное дело. — Люсин увидел, что у него развязался шнурок, и поставил ногу на бампер. — Они, конечно, могли уйти вплавь, но мотоцикл в этом случае должен остаться.

— Если только не затопили в озере.

— Не страшно. Найдем с металлоискателем.

— Как пить дать... Мне другое непонятно: какого дьявола они торчали тут столько дней? Затопили тело, и, как говорится, концы в воду, можно ехать обратно, а они вместо этого залезли в самые дебри. Зачем? Почему? Совершенно непостижимая логика. Мы с Глебом прямо головы себе скрутили, но так ничего и не придумали.

— М-да, странненько, — протянул Люсин. — Хотя ответ, видимо, прост как гвоздь. Ребята, судя по всему, нам попались не сверхгениальные, не супермены. Уж это точно... Когда можно ждать экспертизу?

— Если сегодня успеют перевезти тело, — Крелин покосился на дом во дворе, — то завтра к вечеру... Меня это волнует чрезвычайно. Ведь никаких внешних следов насильственной смерти.

— А ты их ожидал? — удивился Люсин. — Как только стало известно про меркамин, я тут же настроил себя на всякие химические штучки. Приготовься к ядам, если не веришь в чудеса.

— Синьора Тофана, Локуста? — Крелин склонил голову набок. — Сомнительно. Не тот почерк.

— Возможно, что стеклышко и прочие идиотические штучки не более чем инсценировка. Специально, чтобы направить мысль в другое русло, привнести элемент анархии, эдакий шизофренический оттенок. Люди достаточно умные и рассудочные порой идут на такое. Ковер, как видишь, обыгрывается очень четко. Голый, можно сказать, функционализм. Как предполагали, так и вышло.

— Здесь мне тоже не все ясно, Володя. Следов-то крови на ковре нет! Что же получается? Чистейший импровиз? Схватили, что под руку подвернулось? Когда обдуманно идут на убийство, такое редко встречается.

— Или на похищение.

— Тем более на похищение. Но вообще-то похищение — вздор.

— В данном случае, по всей вероятности, так.

— Опять зуб начинает!.. — Крелин все трогал болезненно пульсирующее место языком. — Ковер — это хорошо. С этим я согласен. Но то, что на нем не оказалось совершенно никаких следов, меня, сознаюсь, удивило. Я ожидал другого.

— Я тоже. — Люсин отнял у него спички. — Да не ковыряй ты без конца! Только хуже себе наделаешь. Потерпи немного.

— Легко сказать! — Крелин сплюнул. — Видимо, ты прав, ребята не сверхгениальны, хоть и никаких следов.

— Волос! — напомнил Люсин.

— Да, волос. — Крелин хлопнул себя по карману, где лежала пробирка с волоском, который был найден на теле Аркадия Викторовича. Темный и жесткий, как проволока, он совершенно очевидно принадлежать покойному не мог.

— Что из него можно вытащить, Яша?

— Очень многое или почти ничего, в зависимости от обстоятельств.

— А если мы поймаем убийцу?

— С такими же волосами?

— Разумеется, — зевнул Люсин и с нарочитой скукой посмотрел на часы. — Восьмой час, однако.

— Да, задерживается мой Логинов, но ничего не поделаешь, надо ждать. — Крелин вновь похлопал себя по нагрудному карману. — Если мы найдем такого, ему трудно будет объяснить, каким образом его волосок мог прилипнуть к горлу убитого.

— Именно это меня больше всего и поразило, когда ты рассказывал там. — Люсин мотнул головой в сторону желтого дома под оцинкованной крышей, на которую уже падал сухой березовый лист. — Когда показал нам, где нашел волос. Ведь такое место защищено подбородком. — Он резко нагнул голову. — Видишь? Как мог попасть туда волос, когда Ковский уже лежал на ковре и его голова была запрокинута? То есть когда он был уже мертв, а убийца зачем-то наклонился над ним?

— А может, когда поднимал с пола мертвое тело? — предложил свой вариант Крелин. — Он выпрямился, прижимая к себе труп, и голова его оказалась на уровне выреза?

— Возможно и такое, хотя даже хладнокровные убийцы стараются по возможности избегать подобных объятий. С одной стороны, не слишком приятно, с другой — можно оставить следы... Этот волос уже поведал о многом. Даже если аналитики ничего больше не скажут, свою роль он сыграл.

— Пожалуй, ты прав. — Крелин прижал к больной щеке сложенную лодочкой руку и, пытаясь согреть зуб, стал вдувать в нее воздух. — Пожалуй, ты прав, — повторил он, когда понял всю тщету своих попыток утишить боль. — Но если мы все же найдем этого субчика, ему очень даже не легко будет доказать свою невиновность.

— Это, братец мой, меня меньше всего волнует. Я больше забочусь об обратном: как мне доказать его виновность.

— Как-нибудь. — Крелин попробовал закусить щеку. — За то тебе деньги платят. А если тут не яд, а снотворное?

— Хуже, конечно, — нахмурился Люсин, хотя успел обдумать и такой вариант. — Меньше шансов обнаружить?

— Смотря какая доза. — Крелин увлекся и на минуту забыл про боль. — Если они его как следует накачали, экспертиза это установит.

— А если не как следует? Если просто усыпили?

— Чтобы потом утопить в озере?

— Разве такое невозможно, Яша?

— Возможно, конечно... Но везти спящего человека на край света, каждую минуту рискуя, что он проснется и закричит? Ты в это веришь?

— Слабо.

— Вот и я слабо. Но даже в этом сомнительном случае мы сумеем докопаться до истины.

— Каким образом? Как бы там ни было, но теперь он мертв.

— Вот ты о чем! — догадался Люсин.

— Да, — сказал Крелин. — Если не отравлен, то утоплен.

— Ну да, — кивнул Люсин. — Тогда будут микроскопические водоросли в легких, ил.

— Совершенно верно. — Крелин поморщился и вновь схватился за щеку. — Живой человек сначала захлебывается, а потом уже тонет.

— Почти афоризм.

— Черный юмор... Как съездил в институт?

— Можно сказать, успешно. О чем-то конкретном говорить, пожалуй, рановато, но перспективка намечается... Я взял алфавитную книжку, в которой около тысячи телефонов и адресов. Насколько я мог понять, это большей частью ученая братия, так или иначе связанная с лабораторией Ковского. Есть, конечно, и магазины, и стол заказов гастронома по улице Горького, и даже Институт красоты.

— Лаборанточки, — уверенно сказал Крелин.

— Да, сугубо дамская сфера интересов. Надо будет все это хорошенько просеять, отделить, так сказать, злаки от плевел.

— Мы инфернальные мужики. Нас интересуют только плевелы.

— Вот именно! Но главного я тебе еще не сказал. — Люсин на минуту замолк. — В книжке не хватает страницы на букву «М».

— Хочешь попытаться прочитать оставшиеся вмятины? — быстро спросил Крелин.

— Боюсь, что ничего не получится. Книжка старая, исписанная, след накладывается на след. Я другое сделал. Я выписал из журнала выдачи пропусков все фамилии на «М».

— Это имеет смысл лишь в том случае, если записанные на вырванном листке граждане посещали институт. — Крелин, несмотря на зуб, по-прежнему схватывал на лету. — Но куда больше шансов, что работники лаборатории ходили к ним сами. В стол заказов, к маникюрше-педикюрше, к тете Маше за билетом в «Современник».

— Резонно, — согласился Люсин. — А что делать? Приходится хвататься за соломинку. Если сможешь, попробуй прочитать след в инфракрасных лучах, ультрафиолете или в чем там у вас положено. Буду только рад.

— Что тебе дали пропуска?

— Очень немного. Под интересующим нас литером значатся только четыре фамилии: Милешина, Мандрашкин, Мухоморер и Мирзоев. Милешина, младший научный сотрудник из Ленинграда, и Мандрашкин, слушатель Академии общественных наук, отпали сразу, а Мухоморер, несмотря на грозную фамилию, оказался старичком, который вот уже пятнадцать лет пишет монографию об уральских самоцветах.

— Когда ты успел все выяснить?

— Перевел по рации Шуляку, а он тут же навел справки.

— И про Мухоморера, который пишет книгу? — недоверчиво прищурился Крелин. — Кому ты это говоришь, кролик?

— Про Мухоморера мне рассказали в институте, — сдерживая улыбку, потупился Люсин. — Он отрабатывал там свои пенсионные два месяца. Зато Мирзоев Мир-Джафар Мирзоевич оказался, если верить Шуляку, фигурой прелюбопытной. В далеком прошлом басмач и мулла, он ныне успешно трудится на ниве антирелигиозной пропаганды.

— Что ему нужно было в НИИСКе?

— Ты слишком многого от меня хочешь, Яша. Не все сразу. Москва не в один день строилась. Выясним.

— Выясним, конечно. Только не тот он человек, который нам нужен. Не тот.

— Я тоже почему-то так думаю. Скорее всего, еще один приятель Ковского из славной когорты интересных людей. Пропуск, конечно, выписан по звонку Аркадия Викторовича.

— Ты все пропуска поднял?

— Да, конечно. Завтра они обещали напечатать полный список. Надо будет сравнить его с алфавитной книжкой.

— Давай-давай, советую вычислить процент совпадений.

— Зубная боль делает тебя мрачным и нетерпимым.

— Хотел бы я посмотреть, как будешь выглядеть ты! — Крелин сплюнул и отошел в сторону.

В конце улицы показался пропыленный «газик». Он летел под уклон, дребезжа и подскакивая на выбоинах. Голенастые цыплята с чернильными отметинами на хвостах испуганно шарахнулись через дорогу и попрятались в лопухах.

— Это Глеб, — сказал Крелин, когда машина притормозила в нескольких метрах от них.

Глеб спрыгнул на землю и, хлопнув разболтанной дверцей, благодарно отсалютовал водителю, который тут же надавил на газ и переключил рычащие шестерни.

— Извините за опоздание, — улыбнулся Глеб Крелину. — Едва успел управиться... Добрый вечер, Владимир Константинович, — поздоровался он с Люсиным. — Разрешите доложить?

— Пожалуйста, Глеб, рассказывайте. — Люсин пожал ему руку. — Новости есть?

— Так точно, есть. Подвижные милицейские группы перекрыли все пути. Район участков Новоозерное, Милежи и Заозерное полностью блокирован. Местные товарищи ручаются, что даже мышь не проскочит.

— Если она еще там, мышь, — заметил Люсин.

— Куда они денутся? — сердито фыркнул Крелин, потирая щеку.

— Новые свидетели не объявились? — спросил Люсии.

— Мотоциклетку больше никто не видел, — покачал головой Глеб. — Но продавщица ларька номер двенадцать Закалюкина Анфиса Петровна сообщила, что на прошлой неделе, точно не помнит,

в четверг либо в пятницу, продала несколько бутылок водки, полкило сала, колбасу и крупу неизвестному ей гражданину. Лицо его она почему-то хорошо запомнила и подробно описала. Мне кажется, есть смысл изготовить фоторобот. Жена коменданта Гусарова Матрена Петровна тоже упоминает о незнакомом ей человеке — приметы вроде совпадают, — который купил у нее кувшин молока, две кринки сметаны и взял во временное пользование большой казан, который так и не вернул.

— Обязательно сделайте фоторобот! — распорядился Люсин. — Прямо сейчас же свяжитесь с контролем ПМГ и попросите их доставить к нам обеих женщин.

— Будет сделано. — Глеб подсел к Николаю Ивановичу и снял белую трубку на витом, как пружина, шнуре. — Вызываю первого! — сказал он.

Глава девятая

ВОЛНА III

Иран. Египет. VI век до н. э.

Плиний в своей прославленной «Истории мира» и Диоскорид в «Ботанике» почти одними и теми же словами описали чудесное древо персидское, листья которого обладают волшебными свойствами. Они не только утоляют голод и жажду, но даже могут, стоит только того пожелать, превратиться в быстроногих коней.

Писания мужей Эллады являют собой пример удивительного смешения самого фантастического вымысла с неукоснительной достоверностью. Привыкшие к ясности и прямоте греки просто-напросто не поняли души Востока, совершив тем самым ошибку, которой было суждено тысячекратно повторяться и в более поздние времена. Они дословно переписали рассказ персидских историков, не подозревая, что стали жертвами поистине смешного недоразумения. Речь Востока немыслима без иносказаний, она полна аллегориями, разгадать которые не столь сложно, как это может показаться. Но грекам, без которых мы бы вообще ничего не узнали об исчезнувших царствах Азии, видимо, просто не приходило в голову, что даже вполне конкретные исторические свидетельства могут иметь двоякий смысл. Между тем мировоззрение Востока, его душевный настрой, наконец, просто элементарная вежливость к собеседнику требовали от образованных людей иносказаний, равно наивных и поэтических.

Не было в царских садах древа с волшебными листьями! Там росли священный кипарис, окруженный зарослями гранатов, без которых не обходится ни одно богослужение огнепоклонников-гебров, после хома превыше всего почитающих гранатовый плод и ветвь кипариса. Никакому другому дереву персы не поклонялись.

И все же волшебные листья разлетались в полном смысле слова по всем сатрапиям, на которые разделил свою обширную державу великий Кир. Причем произрастали они именно в царском дворце. Но не в саду, а в покоях дивана. Все объясняется довольно просто.

Пребывая по семь месяцев в году в изнеженном Вавилоне, убаюканный сладостным наваждением покоренного города, порочного, продажного и притягательного, Кир до конца дней своих оставался полновластным правителем мировой империи. Постоянной резиденции он не заводил. Когда яростные ветры начинали обрушивать на вавилонский оазис тучи пыли, вызывая в людях непонятную раздражительность, доводившую многих до помрачения рассудка, шахиншах переезжал со всем двором в Сузы, где и проводил весенние месяцы. На лето он отбывал в Экбатану и оставался там до той поры, пока не начинали опадать розовые цветки граната. Недаром придворные поэты сочиняли стихи в честь солнца, которое наслаждается вечной весной. Но весенние радости, особенно пленительные в сумеречных храмах распутного города, не мешали мудрому властителю железной рукой держать даже самые отдаленные сатрапии.

Для постоянного надзора над действиями сатрапов-наместников Кир учредил особый институт ревизоров, которые в зависимости от обстоятельств именовались то «деточками», то «царскими братьями», то «очами солнца». На должность «деточки» назначались особо приближенные к престолу придворные, как правило, молодые, энергичные и честолюбивые. Каждый из них перед инспекционной поездкой получал от царя скрепленный государственной печатью открытый лист, который повелевал оказывать податею сего всевозможное содействие, снабжать его продовольствием и лошадьми, а также предоставлять лучшие помещения для ночлега. Именно эти царские грамоты и называли охочие до метафор персидские историки волшебными листьями, которые кормят и поят путешественника и, согласно Плинию, «вообще заменяют ему всяческие дорожные запасы». Стоит ли удивляться теперь, что сказочные листики могли превращаться даже в лошадей? Причем безотказно, на каждом почтовом дворе (новшество, введенное Киром), где постоянно ожидали гонцов подставы. Волшебство оказалось волшебством лишь для немногих, избранных. Не мать-природа произвела чудное древо, а государственная казна взрастила пирамидальный иерархический тополь с голым стволом и несколькими листочками на самой вершине.

Так развеиваются вымыслы, так обретают твердую историческую плоть легенды...

*

...Почувствовав приближение смерти, убеленный сединами воин и царь приказал приготовить жертвы и, по обычаю, отправился с ними на высокую гору.

— Бог отцов моих! — взмолился он, оставшись наедине с небом. — Ты, Солнце, и вы все, боги бессмертные, примите жертвы мои, которыми я заканчиваю свой жизненный путь. Благодарю вас за благие советы, которые вы подавали мне через внутренности жертв, небесные знамения, пророчества, предзнаменования, побуждая меня к чему-то доброму, предостерегая от чего-то дурного. Ни разу в жизни вы не допустили меня до сомнений в вашей помощи и не позволили мне даже в минуты наивысшего могущества позабыть, что и я тоже человек. За это благодарю безгранично. Мне об одном только остается просить вас теперь: о счастье моих детей, жены, друзей, родины и о ниспослании мне конца, достойного моей жизни.

Последняя милость судьбы — уйти без мук и достойно. Любимец богов получил ее. Но этим и ограничилось покровительство неба. Киру наследовал сын его, принц Камбиз. «О чудовищах, подобных ему, — говорится в одной старинной книге, — не следует распространяться историку или следует писать о них особую историю, чтобы не смешивать зверей с людьми».

Вступление на престол в 529 году до новой эры он ознаменовал отменой указа отца, освободителя народов, касательно постройки храма Элогиму, богу единому, и сразу же предпринял поход на Кемт.

Поводом послужил отказ от уплаты пер-о́[1] Псамметихом ежегодной дани. Собрав невиданное по тем временам войско, Камбиз начал наступление как на суше, так и на море. После недолгой осады ему удалось овладеть Пелузой, ключевым городом со стороны Аравии.

Существует предание (судя по другим поступкам Камбиза, не лишенное оснований), будто при осаде города молодой шахиншах впереди боевых порядков своей наступающей армии выпустил шайку жалобно мяукающих кошек, что и решило исход операции. Следуя за священными для неприятеля животными, даже случайное убийство которых каралось смертью, персы смяли оборону противника и отбросили войска Псамметиха к Мемфису.

Камбиз отправил туда галеру с посольством, которому были даны инструкции потребовать безоговорочной покорности и, разумеется, уплаты дани. Но посланцев шахиншаха изрубили на куски, а их галеру спалили. Тогда персидские войска поднялись вверх по реке и штурмом взяли город. Псамметих вместе со всем двором и семейством был пленен. И тут Камбиз начал оправдывать ту репутацию неистового злодея, которая мало-помалу сложилась о нем на Востоке.

Не довольствуясь военной победой, он решил унизить плененного царя, оскорбить завоеванный, но непокоренный народ. Скудоумный и мстительный, он только то и делал, что придумывал все новые и новые издевательства, которые самому ему казались удивительно остроумными и доставляли почти детскую радость.

---

[1] П е р - о — дословно означает «высокий дом», откуда пошло слово «фараон».

Сначала он приказал обрядить дочь Псамметиха в лохмотья рабыни и послать ее на реку за водой. Утонченный, изнеженный царь вынужден был смотреть, как его красавица дочь, сгибаясь под тяжестью кувшина, целый день таскает воду. Но пер-о только опустил глаза. Лицо его, наследника многих поколений богов и царей, осталось бесстрастным и гордым.

Тогда недостойный последыш великодушнейшего из героев древности пошел на новую низость. Он повелел предать казни царевича и еще две тысячи юношей из самых знатных семейств. И каждого из них с веревкой позора на шее провели мимо Псамметиха за недоуздок, продернутый через рот. Но и на этот раз пер-о не выказал своей скорби. Только вновь опустил глаза и вздохнул. Зато когда совершенно случайно он встретил на улице старого друга, вернейшего из приближенных Тутмоса, вынужденного просить милостыню, сердце царя не выдержало, и он заплакал.

Камбиз необычайно удивился. Он даже снизошел до беседы с полоненным врагом.

— Выходит, что этот нищий старик дороже тебе, чем собственные дети? — поинтересовался шахиншах, и в сумеречной глубине его зрачков мелькнул опасный огонек.

— Страдания моих детей столь безмерны, что их не омыть никакими слезами, другу же моему я еще могу посочувствовать, — ответил пер-о.

Камбиз не нашелся, что сказать, и, невразумительно что-то пробормотав, поспешил уйти. В его ущербной душе взметнулись на миг противоречивые вихри, но осели вскоре, и вновь ему стало темно и тоскливо. Он попытался отвлечь себя ловитвой в прибрежных зарослях папируса и тростника, но, настреляв кучу цапель, лебедей и камышовых котов, быстро к охоте остыл. Конные ристалища и казни тоже обрыдли. Ему что-то хотелось сделать, он только не знал, что именно. Бесплодное желание изнуряло.

Не только жители разграбленного Мемфиса, но и ближайшие из придворных старались, по возможности, не попадаться шахиншаху на глаза. Особенно в такие дни, когда он пребывал в состоянии полнейшего бездействия, подавленный противоположными влечениями, будоражившими его больное воображение. Никто не мог предсказать, и меньше всего сам Камбиз, что он способен выкинуть в ближайшую минуту. Иногда он совершенно неожиданно вручал жезл сатрапа, иногда посылал на казнь, но чаще всего просто мучил: выдавливал глаз, колол стилетом или отрезал ухо. До убийства доходило редко. Большей частью он с необыкновенной щедростью одаривал потерпевших. Но не радовала сердце подобная милость.

В такой именно период затяжной апатии, наступившей после бурного взлета деятельности, он решил отпустить Псамметиха. Лучшие из приближенных говорили, что шахиншаха растрогала встреча Псамметиха с бывшим номархом и слезы пер-о. По крайней мере, им хотелось, чтобы это было именно так. Великодушного Кира трудно было забыть.

Возможно, какая-то доля истины здесь присутствовала. Но вернее всего, Камбиз просто перешел из одной фазы в другую, когда угасло радостное возбуждение, рассосалась тоска и ничего не осталось в сердце, кроме оцепенения и пустоты.

— Я покидаю твой дом, — сказал он Псамметиху, — и ухожу к себе в лагерь, чтобы жить в походном шатре, как мой отец. Скоро мы все уйдем из этого города, где так омерзительно воняет речная тина и даже крокодилы, разинув пасть от расслабляющей лени, по целым дням валяются на песке. Платите нам по-прежнему дань, и мы больше не станем враждовать.

— Не могу благодарить тебя, шах Камбиз, после всего, что ты сделал со мной, но и неблагодарным не желаю остаться. Возьми этот перстень. — Псамметих снял с пальца кольцо из зеленого золота, изображающее двух сплетенных хвостами кобр, целующих солнечный диск, с камешком того непередаваемого красного оттенка, каким светится на исходе дня хорошее вино. — Я носил его по праву верховного жреца. Жизнь моя на исходе. Пусть оно принесет тебе удачу.

— Отдай его обратно, — посоветовал Прексасп, который, с тех пор как тайно умертвил по указанию царя нескольких военачальников, возвысился и стал вторым лицом в государстве. — Этот камень приносит несчастье, шахиншах.

— Почему ты так думаешь?

— В святилищах вавилонской Эсагилы мне рассказывали, что таким вот красным камнем Даниил написал перед Бельшат-саром огненные слова, что он измерен, взвешен и разделен.

— И только-то?

— Вспомни, что случилось потом, шахиншах! — В словах Прексаспа явственно прозвучала угроза. — Бельшат-сар погиб под мечами, а Вавилон пал под ударами непобедимых воинов твоего отца, несравненного Кира, царя стран.

— Глупец! — зловеще усмехнулся Камбиз. — Напротив, камень принес нашему роду счастье. Разве взятие Вавилона не самая великая из побед отца? И я сам тоже теперь вавилонский царь. А Бельшат-сара мне ничуть не жаль. Он был нашим врагом.

— Хуже, шахиншах. Он был врагом Бэт-эля — дома божьего, который разграбил его отец Набонид. Он пил вино из священных сосудов и озарял свои оргии светильниками семи планет. Теперь, когда ты взял назад данное Киром, царем стран, разрешение на отстройку храма, камень для тебя стал неблагоприятным. Откажись от него.

— И не подумаю! — Чем больше уговаривали Камбиза, тем упрямее он стоял на своем. — Мне не страшны ни коровы, ни кошки, ни крылатые быки-керубим с царскими головами. Тем более не побоюсь я невидимого бога... А как вообще попал перстень к Псамметиху?

— Халдейские маги считают себя старшими братьями здешних. Разве ты не знаешь, что они пытались толкнуть Кемт на войну с

нами? Незадолго до падения Вавилона в подземном храме Тота близ Фив состоялась встреча представителей обеих священных коллегий. Кольцо, я думаю, осталось тут именно тогда.

— А как заставить его светиться? — Камбиз с интересом повертел перстень в руках, но никаких чудесных свойств камень в солярном круге не проявил.

— Спроси в Эсагиле, царь Вавилона, царь стран. — Прексасп взял кольцо у Камбиза и, согнув пальцы трубочкой, приставил к глазу. — Нет свечения! — сказал он, вглядываясь в темноту. — Неведома мне тайна сия.

— Есть ли она вообще?

— Так говорят маги, шахиншах. Ты обратил внимание на медную проволоку, которая тянется от здешнего храма Озириса-Сераписа к загородному святилищу Птаха?

— Нет, — заинтересовался Камбиз. — Но я непременно велю забрать ее в счет дани!

— Не трогай магов, государь. Они коварны и мстительны. Жрец Мардука-Бэла в Вавилоне рассказывал мне, что по проволоке перетекает сила, наливающая камни неистовым светом.

— Не нравишься ты мне что-то последнее время! — Камбиз подозрительно покосился на побледневшего визиря. — Глаза у тебя какие-то нехорошие, бегают все... Замыслил дурное или просто боишься?

— Боюсь, шахиншах, — честно признался Прексасп.

— Тогда поди прочь! — Камбиз ударом ноги оттолкнул его. — Мне трусов не нужно. И не показывайся на глаза, пока я не решу твою судьбу.

— Смилуйся, царь стран! — Прексасп плюхнулся властелину в ноги. — Только о твоем благополучии и пекусь! — пресмыкаясь по земле, целовал он шитые золотом сапожки Камбиза.

— Я подумаю. — Шахиншах наступил ему на голову. — Услать тебя в согдийскую сатрапию? — размышлял он вслух. — Или сделать евнухом?

Прексасп молча терпел, перхая, сглатывая кровь, сочившуюся из сплющенного носа. Что заставило его столь неосмотрительно противоречить тирану? По всей видимости, действительно страх. В этой непонятной стране, под леденящим взглядом звероголовых богов, затаивших недоброе, подстерегающих каждый неверный шаг, персы чувствовали себя неуверенно. Гнетущий ужас, который распространялся вокруг Камбиза, приобрел под вещим небом Кемта черты массовой истерии. Она пробуждалась внезапно, без всяких видимых причин, и, ширясь, как волна от брошенного в водоем камня, захватывала всю царскую ставку. Бежала от шатра к шатру, толкая на безумные поступки знатных военачальников и простых копейщиков. Дисциплина в войске падала день ото дня. Дело дошло до того, что стражники из царской сотни стали напиваться, находясь в карауле. Резко возросло число смертей, нелепых, чудовищных, временами необъяснимых. Приниженная страна роптала.

Дикие выходки персов рождали ответное сопротивление, исступленное и беспощадное. Всеобщий страх от этого только усиливался.

Сколь ни безумен был Камбиз, но и он понял, что его верный визирь находится на грани умопомешательства, и оставил его на время в покое. Он вспомнил о Прексаспе только тогда, когда одно за другим стали вспыхивать в захваченных городах восстания. Первое, что пришло на ум шахиншаху, был террор. Еще более ожесточенный и бессмысленный. Ему самому стало страшно, когда он попытался представить себе, во что это выльется. Кольцо страха сомкнулось. Но долго размышлять Камбиз не привык. Он привык действовать. И он начал действовать, поручив Прексаспу убрать Псамметиха и окончательно искоренить династию.

Визирь передал пер-о приказ шахиншаха умереть и вручил ему чашу с бычьей кровью. Тот мужественно осушил ее до дна и бездыханным упал на пиршественное ложе, ставшее смертным.

*

Так описал конец Псамметиха вездесущий Геродот. Но рассказ его внушает недоверие. Недаром отравление Псамметиха стало предметом ожесточенных дискуссий, которые продолжаются и поныне. В том, что бычья кровь нисколько не опасна для организма, сомневаться, конечно, не приходится, хотя Плиний, а за ним и натуралисты средневековья утверждали противное, ссылаясь на того же непогрешимого Геродота. Многие комментаторы считали, что под словами «бычья кровь» следует подразумевать название какой-нибудь ядовитой алхимической соли или безусловно смертельной металлической окиси. Возможно, в этом есть какое-то рациональное зерно. Не менее убедительны, однако, и другие доводы, согласно которым под бычьей кровью надо понимать именно кровь быка, но содержащую отраву мгновенного действия. Это вполне вероятно. Удивительно все же, что Геродот ни словом не обмолвился ни о каком яде. А уж он-то должен был дознаться!

Уместно поэтому привести еще одно соображение, которое находится в полном согласии со свидетельствами древности. Но сначала необходимо сказать несколько слов о том, что вообще значила бычья кровь для Псамметиха — царя, первосвященника, живого бога. Прежде всего он должен был увидеть в смертной чаше еще одно, на сей раз неслыханное надругательство над его верой. Ранее он и помыслить не мог, что кто-то способен выпить кровь быка, кровь священного бога Аписа! Теперь ему самому предлагали совершить непростительное святотатство.

Геродот, конечно же, был прав! Бычья кровь уже сама по себе, без какого-либо специального яда, могла мгновенно убить пер-о. Так оно и случилось. Точнее, его убила мысль, что он уничтожает свою душу, свою посмертную Ка.

Зная изощренное и вместе с тем тупое в своей беспросветной злобе коварство Камбиза, едва ли стоит удивляться сей чудовищной

выдумке. Он действовал очень точно, руководствуясь холодным расчетом. Местные боги смущали его людей, в конечном счете объявили лично ему войну. И он решил им ответить тем же. Невольным вестником этой беспрецедентной вражды явился визирь Прексасп, столь неосмотрительно попытавшийся предостеречь царя. Вполне естественно, разумеется с точки зрения Камбиза, именно его было сделать теперь посланцем своей воли, орудием мести. Здесь нетрудно усмотреть известную, хотя и очень извращенную логику.

*

Убрав с пути Псамметиха и ликвидировав тем самым целую династию, Камбиз продолжил военные действия. На сей раз они распространялись уже на мертвых. На это тоже нашелся свой резон. Если спящие в царских некрополях мумии насылают страх, то не лучше ли им как следует всыпать? Пусть отведают персидских плетей, коль скоро здешние жители уверены, что их усопшие боги все равно как живые! Посмотрим, так ли это... На колеснице, во главе блестящей свиты въехал шахиншах в город Саис. В остроконечной тиаре, с обнаженными по локоть мускулистыми руками, сжимавшими знаки верховной власти, он казался мифическим героем, бросившим вызов богам. Собственно, так оно и было. Неподвижный, как статуя, возвышаясь на две головы над возничим, проехал он к царскому некрополю, где нашла вечное упокоение набальзамированная оболочка Амасиса, предшествовавшего Псамметиху на троне Кемта.

Соскочив на ходу с колесницы, Камбиз ринулся в атаку. В белой развевающейся тунике с пурпурной каймой, он, подобно самуму, пронесся по тихим пальмовым аллеям к небольшой пирамиде, в которой находился каменный саркофаг отошедшего на Запад пер-о. За ним поспешали евнухи на белых конях, царская сотня и две тысячи копейщиков.

По приказу шахиншаха забинтованную, начиненную благовонными смолами мумию извлекли из трех вставленных один в другой гробов: базальтового, алебастрового и деревянного расписного. Главный палач и двое его подручных попытались было поставить Амасиса на колени, но, поскольку туго перебинтованная мумия не сгибалась, ее просто-напросто швырнули на землю. Так оно было даже лучше: пусть знает свое место...

Невзирая на очевидное безумие предпринятой акции, в ней можно усмотреть и некий политический смысл. Разве не Амасис первым отказался от уплаты дани? Разве не ему принадлежала идея вбить клин между персами и финикиянами, столь успешно осуществленная затем Псамметихом? Так пусть теперь держит ответ. Если можно высечь море, разметавшее корабли, или наказать реку, помешавшую штурму, то отчего бы не призвать на суд мертвеца? Это было вполне во вкусе времени. И если через пятнадцать

веков подобную процедуру повторил глава христианства римский папа, то надо ли так уж строго осуждать персов, которые как-никак одухотворяли слепые силы природы?

Суд шахиншаха был скор и беспощаден. Мумию сначала допросили с пристрастием: жгли каленым железом, кололи иглами, вырывали по волоскам бороду. Но поскольку ответов на предъявленные обвинения Амасис не дал, его нещадно высекли розгами и приговорили к сожжению. Костер развели из досок расписного гроба, на котором изображалось посмертное путешествие пер-о и его встреча с Озирисом. Несмотря на всю мудрость жрецов Кемта, они не сумели предвидеть, каким испытаниям вскоре подвергнется их отошедший в вечность бог. Щедро украсив его саркофаг магическими формулами из Книги Мертвых, с помощью которых можно ответить на все вопросы владыки подземного царства, они ни единым иероглифом не обмолвились о том, как должен вести себя пер-о перед владыкой Ирана. Не потому ли молчала мумия на допросе с пристрастием?

А персы смеялись. Им давно уже не было так весело в этой жуткой стране, где днем и ночью следят за тобой вещие очи.

Но когда в огне затрещали пропитанные смолами бинты, хохот как-то сам собой смолк. Стало вдруг не до смеха. Но не жестокость, не кажущаяся бессмысленность этой казни смутила их. Камбиз мог делать с мумией все что угодно — повесить вниз головой или посадить на кол, — не следовало только швырять ее в огонь. Этим он попрал не только священные законы завоеванного края, но и самих персов. Огонь — высшее божество, а богу не должно питаться человеческим мясом. Пуще всех несчастий предостерегал пророк Ахуромазды от осквернения огня. Персы даже не зарывали трупы в землю, отдавая их на съедение грифам и бродячим собакам, дабы вечно продолжалось коловращение плоти. О том же, что мертвеца можно сжечь, и думать было жутко. Сгорел царь, поведавший Солону об Атлантиде.

Нехорошая тишина стояла вокруг, пока дотлевали на угольях почерневшие останки. Неистовым красным сиянием отсвечивала в треугольной тени пирамиды надетая на тиару царская диадема. Но камень на змеином перстне горячее всего колол глаза.

...Приближенные Камбиза все более склонялись к мысли, что вождь их не совсем здоров. Последние сомнения в этом отпали, когда он надумал начать войну сразу против трех народов: карфагенян, аммонейцев и ливийцев, которых греческие наемники называли макробами. От похода на Карфаген пришлось отказаться с самого начала, поскольку финикияне воспротивились истреблению союзников и единоверцев, а без их кораблей нечего было и думать об осаде портов с моря.

Пятидесятитысячная армия, которую шахиншах послал против аммонейцев, завязла в песках. Оторвавшись от пунктов снабжения и растеряв обозы, персы вынуждены были съесть лошадей. Ни о чем другом, как о возвращении в Фивы, они не мечтали. О продолже-

нии похода не могло быть и речи. Затерянные в песках без колодцев и дорог, они сначала пробавлялись скудной растительностью оазисов, а затем начали по жребию поедать своих же товарищей. Лишь немногим удалось вырваться из пустыни. Они вернулись в лагерь осквернёнными и усталыми, без веры в душе.

Столь же позорно провалилось и третье предприятие Камбиза, изнывавшего от желания сравниться славой с незабвенным Киром. Говорят, что история не терпит подражателей, чуть ли не заранее обрекая на фарс все их потуги на величие. Это едва ли верно, потому что за неудачи озлобленного тирана расплачиваются невинные люди, сотни тысяч невинных людей, своих и чужих.

Похоронив в песках отборную армию, Камбиз отпустил греческих наемников на родину и начал готовиться к завоеванию Эфиопии. На сей раз он решил, что не худо хотя бы разведать поле будущего сражения. К эфиопскому царю было отправлено посольство с богатыми дарами, которому надлежало любыми способами склонить эфиопов к союзу с Персией. Попутно посланцам следовало дознаться о числе и расположении войск вероятного противника, о дорогах, колодцах и деревнях, в которых можно было бы пополнить запасы провизии.

Но мудрый эфиоп не дал усыпить себя сладкими заверениями дружбы. Отвергнув дары и услуги толмача-ихтиофага из Элефантины, он на хорошем иранском языке дал такую отповедь послам Камбиза:

— Государь ваш лукавец и лгун, а вы не кто иные, как соглядатаи и лазутчики. Вас следовало бы хорошенько проучить, но мы соблюдаем принятые у цивилизованных народов обычаи и не станем чинить вам зло. Возвращайтесь с миром. А Камбизу передайте вот это. — Царь снял со стены огромный лук с неимоверно тугой тетивой. — Если между персами отыщется силач, способный его натянуть, то приходите помериться с нами силой, коли нет — сидите лучше дома и благодарите богов, что мы не ищем завоеваний.

От постоянных неудач Камбиз впал в совершенное неистовство. Ему стало казаться, что люди открыто шушукаются у него за спиной, передавая из уст в уста весть о его позоре. Особенно подозрительными казались ему улыбки покоренных. Наверняка Кемт смеется в душе над ним, жалким последышем Кира, царя стран. Что ж, тем хуже для Кемта. Во главе большого карательного отряда нагрянул он в Мемфис, где шумно проходили торжества в честь Аписа, бога-быка. И началась дикая охота, сумасбродная травля людей. Жителей, принимавших участие в празднике, рубили мечами, накалывали на пики, бросали в канал.

Жрецов высекли розгами прямо на алтаре, а наиболее видных сановников позорно казнили, посадив на кол у городской стены.

Не избежал кары и сам Апис. Вдоволь поиздевавшись над божеством, которое «мычит и оставляет лепешки навоза», Камбиз рассек быку бедро.

Когда он возвратился в Фивы, то уже вся армия знала, что царь рехнулся. Открыто поговаривали о том, что его следует сместить и посадить на трон младшего сына великого Кира — Смердиса. Тем более, что Смердис, пока шахиншах сражался в Мемфисе с быком, проявил себя с самой лучшей стороны, сумев натянуть эфиопский лук.

Участь Смердиса была, таким образом, решена.

Прежде всего Камбиз и сам натянул тетиву, наглядно продемонстрировав, что надежды эфиопов на слабосилие иранских богатырей, мягко говоря, наивны. Далее, чтобы доказать войску всю беспочвенность слухов о безумии шахиншаха, он пустил из этого лука стрелу в первого попавшегося мальчишку, который залез на пальму полакомиться финиками. Никто не виноват, что паренек, которого стрела пронзила насквозь, оказался единственным сыном Прексаспа. Тем больше было оснований именно Прексаспу доверить исполнение исключительно деликатного дела, которое задумал Камбиз.

— Ты не очень сердит на меня? — спросил он визиря, когда они остались в палатке, скупо освещаемой масляной лампой, с глазу на глаз.

— Смею ли я, шахиншах? — Лицо Прексаспа казалось совершенно непроницаемым.

— Я, право, не хотел.

— Жизнь твоих подданных принадлежит тебе, о царь стран.

— Это ты верно сказал. За это я тебя одарю. — Камбиз, все поступки которого совершались под влиянием минутного настроения, бросил преданному холопу змеиный перстень Псамметиха с красным камнем в центре солярного диска. — Он твой!

— Как ты щедр, государь! — Прексасп поцеловал колено царя и с некоторой опаской надел перстень на палец.

— А теперь о делах. — Решив, что недоразумение улажено, Камбиз довольно огладил завитую в мелкие кольца надушенную бороду и наклонился к визирю, с готовностью подставившему ухо.

Исполинские тени их на белом войлоке слились в причудливую фигуру, напоминавшую чем-то хищную птицу.

— Мне приснился удивительный сон, — как всегда издалека, начал царь. — Будто бы мой горячо любимый брат Смердис... — Он замолчал.

— Да-да! — живо заинтересовался Прексасп.

— Смердис, понимаешь ли, приснился, — вздохнул Камбиз. — Дорогой брат.

— Ну, ну! — понукал визирь.

— Но вид его мне показался странен. — Шахиншах покосился на тень: теперь птица походила на нетопыря.

— И в чем странность?

— Видишь ли, Прексасп, брат мой выглядел огромным. Головой он доставал до небес, до облаков.

— А еще что приснилось тебе, государь? — насторожился визирь.

— Вот, пожалуй, и все... Да, одна незначительная подробность: Смердис сидел на троне.

— На троне?

— В том-то и дело. Он и сидя казался громадным, а если бы встал, то, наверное, пронзил бы облака. Не правда ли, странный сон?

— Не вещий ли, шахиншах? — поддакнул визирь.

— Как думаешь, что это значит?

— Прости, государь, — уклонился осторожный Прексасп, — я не умею разгадывать сны... Велишь позвать мага? — Он сделал вид, что спешит исполнить высочайшее поручение.

— Погоди! — остановил его Камбиз. — Я не желаю, чтобы о моем сне узнали маги. Возможно, боги предупреждают нас об опасностях. — Он пристально посмотрел на визиря и решил высказаться яснее: — На всякий случай я решил держать Смердиса подальше.

— Мудрость твоя велика, государь! — восхитился Прексасп. — А я сразу и не догадался! Конечно же, ты прав, говоря, что это боги посылают предупреждение. С чего бы это принцу Смердису, да живет он вечно, сидеть на твоем троне?.. Ведь трон, который приснился, наверняка твой. Другого в стране нет...

— Ради спокойствия державы я отослал дорогого брата в Экбатану Индийскую. Он уже три часа как в пути.

— Да сохранят его боги.

— Огорченный расставанием, я забыл снабдить его открытым листом. Боюсь что без подставных лошадей он будет ехать слишком долго.

— Прикажешь нагнать принца?

— Нагнать? — Камбиз сделал вид, что подобная мысль не приходила ему в голову. — Действительно, его же еще можно... Немедленно садись на коня и мчись вдогонку!

— Слушаю и повинуюсь, шахиншах! Повелишь выписать принцу открытый лист?

— Вот именно, открытый лист... — Камбиз медленно отстегнул от широкого, украшенного золотыми чеканными бляшками пояса меч. — Он поможет тебе быстро доставить моего возлюбленного брата до места. Ты понял меня?

— Слушаю и повинуюсь! — Принимая царский меч, Прексасп едва заметно побледнел.

— Как себя чувствует царица? — круто меняя тему, спросил Камбиз.

— С утра была вполне благополучна. — Визирь вновь насторожился: шахиншах, который, подобно пер-о — владыкам Кемта, женился на единоутробной сестре, следуя примеру великих мужей, ничего не спрашивал просто так и никогда не интересовался здоровьем жен.

— Мне показалось, что отъезд дорогого брата огорчил ее. Она так плакала, так умоляла меня оставить его... Как ты думаешь, Прексасп, быть может, не следует их разлучать друг с другом?

— Как ты заботлив, государь! — притворился непонимающим визирь, но бледность лица его стала заметнее.

— Я бы не хотел разлучать их надолго. — Камбиз отвернулся и, передавая через плечо черную удавку, обронил: — Прежде чем пойдешь седлать коня, найди главного евнуха... Так ты вправду не обижаешься?

Когда запыленный гонец в ранге «ока царева» спрыгнул с коня и, опустившись на одно колено, вручил шахиншаху послание сузского сатрапа, Камбиз лакомился жареными мозгами павлина. Прополоскав рот анисовым настоем, он вытер жирные пальцы о волосы нубийского раба и раскрыл футляр с глиняной табличкой. Но едва он взглянул на ровные ряды клиньев, как у него потемнело в глазах. Опрокинув кушанья и топча сапожками испуганных прислужников, он выскочил из шатра и, сея повсюду ужас, понесся к шатру дивана.

Впрочем, сумасбродные выходки шахиншаха уже давно не вызывали удивления. Все уже успели привыкнуть к тому, что государь помешан.

Раздавая пинки и полосуя кого попало нагайкой, он разогнал диван и, схватив за бороду визиря, стал медленно пригибать его к земле.

— За что, государь? — прошипел Прексасп, перекосившись от боли.

— Ты еще спрашиваешь? — Камбиз еще крепче зажал в пальцах завитые, крашенные хной волоски. — Так-то ты выполнил мое приказание, ослиная падаль? Смердис, оказывается, в Сузах!

— Не может быть! — Визирь вырвался, оставив клок волос в руке шахиншаха, и распростерся на ковре. — Нет! Нет, великий царь! Я своими руками убил его, а мертвые не возвращаются.

— Не возвращаются? — Камбиз метко попал обожженной табличкой визирю в висок. — А это что? — Несколько успокоенный видом темной, медленно стекающей струйки, он пересказал заключительные слова послания: — «Отныне все должны подчиняться не Камбизу, сыну Кира, а Смердису, сыну Кира». Как я должен это понимать?

— Смилуйся, шахиншах! — взмолился Прексасп. — Твой брат мертв. Это наверняка самозванец...

— Самозванец? — Шахиншах задумался. — А какая, в сущности, разница? — быстро смекнул он. — О том, что Смердиса нет, знаем только мы с тобой. Следовательно, в глазах всех персов этот самозванец — мой брат, сын Кира. Не следует и виду подавать, что это не так. Что будем делать?

— Немедленно идти на Сузы и подавить мятеж, шахиншах!

— Вели трубить поход! — Царь схватился за пояс. — Где мой меч? — Он вспомнил, что меч, который отдал некогда визирю, лежит в колодце среди пустыни. — Я сейчас! — Камбиз кинулся в свой шатер и, схватив первое попавшееся оружие, прицепил его к поясу.

Вокруг хрипло ревели рога. Копейщики строились в походную колонну. Звенело оружие, скрипели рассохшиеся на солнце колеса арб. Ржали впрягаемые лошади. Среди всей этой суеты и неразберихи никто даже не подумал поинтересоваться, куда и зачем объявлен поход. Ослепительно сверкал на солнце металл, в глазах рябило от разноцветного мелькания лиц и одежд.

Камбизу подвели коня, и он ловко вскочил в седло. Подняв над головой меч, он показал на восток и поскакал, вздымая облака удушливой пыли, во главе гвардейской сотни и последней оставшейся у него роты эллинов. Опуская на скаку меч в ножны, он нечаянно поранил бедро. Рана была неглубокой и не внушала особых опасений. Но именно она оказалась для Камбиза роковой. Он умер через несколько дней в Экбатане Сирийской, очевидно, от заражения крови. Геродот, правда, уверял, что смерть последовала по причине потрясения, которое пережил шахиншах, когда узнал, что задел себя тем самым оружием, какое употребил против быка. Но в те ознаменованные повальным суеверием времена только и делали, что искали знаменательные соответствия.

*

Геродот так описывает это событие в третьей книге «Всемирной истории»: «Он [Камбиз] вскочил на коня, решивши немедленно идти войною на Сузы против мага. Но в то время, как он садился на коня, отвалился наконечник от его ножен, и обнаженный меч ранил Камбиза в бедро, в то самое место, в какое прежде он нанес удар Апису.

Когда вскоре после этого появилось в кости воспаление, а бедро было поражено гангреною, жизнь покинула Камбиза; царствовал он всего семь лет и пять месяцев, не оставив детей ни мужского, ни женского пола».

*

Так умер Камбиз, сын Кира и Кассанданы, дочери Фарнаспа.

На смертном одре он плакал. Одни утверждали, что ему жаль было расставаться с жизнью; согласно уверениям других, он вспомнил в последний миг о невинно убиенном брате и раскаялся.

Но как бы там ни было, смена власти прошла очень легко и для страны в целом незаметно. Люди даже облегченно вздохнули, когда все так естественно разрешилось и на престол самым законным порядком вступил Смердис, сын Кира.

В первый же день своего царствования новый шахиншах подтвердил постановление прежнего правительства, запрещающее постройку храма Элогиму, сильно разочаровав тем самым либеральные круги. Сразу же стало ясно, что возврата к просвещенной терпимости Кира ожидать не приходится. Однако другое мероприятие Смердиса привлекло к нему симпатии широких народных масс. Освободив подданных на три года от военной службы и налогов, он недвусмысленно дал понять, что превыше всего ставит мир и процветание державы. На первых порах новый курс снискал необыкновенную популярность. Смердиса прославляли по всем сатрапиям обширной империи: на базарах, в харчевнях, храмах и на постоялых дворах люди благословляли его имя.

И все же какое-то неблагополучие ощущалось в персидской стране. За внешним поклонением, которое само по себе ничего не значило, поскольку было обязательным, искренних чувств не скрывалось. Шахиншах не сумел завоевать любовь и не внушил страха, не ужаснул народ злодеяниями и не ослепил его блеском своих достоинств. Подобно злокачественной заразе, в обществе стало распространяться смутное недовольство, безотчетная глухая опаска. Вскоре вся страна была охвачена враждебным недоумением. Прежде всего оказалась уязвленной национальная гордость. Новый царь проявил себя настолько безликим, что его все равно как не существовало. Камбиз, пусть чудовище и неудачник, все-таки был властителем. О нем говорили, считались с ним, его можно было хоть бы стыдиться. Этот же никакими индивидуальными чертами не отличался. Он являл собой принцип абстрактной власти, столь же неосязаемой, как и небесная, но лишенной божественного авторитета. В азиатской деспотии, где монарх и государство считались нераздельными, долго так продолжаться не могло. Молодые воинственные аристократы, привыкшие гордиться собой и империей, прежде других ощутили невыносимую тошноту безвременья.

Начали доискиваться, что да почему. И тогда выяснились поразительные вещи. Оказалось, что шахиншаха никто и в лицо-то не видел! Из дворца он никогда не выходит, в маневрах не участвует и даже диван не собирает. Нет у него ни друзей, ни фаворитов. Иностранных послов не принимает и постоянно отказывает в аудиенции самым знатным сановникам. И что за правитель такой?

Стали припоминать, каким был Смердис в юности. Но это ничего не дало. Так уж вышло, что Камбиз полностью затмил заурядного брата, отвлек от него общественное внимание. Нашлись, конечно, очевидцы успехов младшего сына Кира на конных ристалищах и в стрельбе. Кое-кто припомнил даже, что именно Смердис первым в персидском войске сумел натянуть эфиопский лук. Но все эти отрывочные сведения не позволяли создать целостный образ тогдашнего принца и тем более не могли дать ключ к загадочному поведению нынешнего шахиншаха.

*

Начал распространяться неведомо кем пущенный слух, будто шахиншах вовсе не Смердис, сын Кира, а его тезка. Смердис-маг, похожий на принца лицом. Это дошло до Отана, знатного вельможи, чья дочь Федима была в гареме Камбиза, который, согласно закону, унаследовал теперь Смердис — кто бы он там ни был. Вскоре евнух за солидный бакшиш отнес на женскую половину записку:

«Федима, дочь! Правда ли, что человек, который теперь твой муж, сын Кира?»

На другой день Отану передали ответ:

«Не знаю. Мы здесь не видим чужих мужчин, и раньше Кирова сына я никогда не видела».

Заплатив евнуху еще щедрее, чем в первый раз, Отан умолил его взять еще одно письмо:

«Если сама не знаешь сына Кира, то спроси Атоссу, сестру его. Она-то должна знать своего господина-супруга и брата».

Но ответ и на эту записку не приподнял завесы над тайной Смердиса.

«Отец! — писала Федима. — Ни с Атоссой, ни с другими женами я не могу теперь перемолвиться даже словом единым. Как только наш господин, кто бы он ни был, сделался царем, нас отделили одну от другой».

Отан, сын Фарнаспа, хотя до истины и не дознался, понял, что дело нечисто. Подозрения его, что шахиншах подменный, укрепились, и он решил действовать.

Пригласив к себе друзей детства: Аспафина и Гобрию, равных ему по рождению и богатству, которым мог, не опасаясь зависти и вероломства, довериться, он сказал с присущей ему прямотой:

— Или сейчас, или никогда! Нам должно очистить трон и страну от самозванца[1].

— Ты получил доказательства, что он самозванец? — спросил Аспафин.

— Пока нет, — ответил Отан. — Но те факты, которые уже известны, трудно объяснить иначе. Оказывается, он не дозволяет своим женам видеться даже друг с другом.

— Странно, — согласился Аспафин. — Как видно, он поступил так неспроста. На солончаке пресной воды не бывает[2]. Но, прежде чем предпринять какие-то шаги, нам следует все же добыть неопровержимые доказательства.

— Я тоже не сидел эти дни без дела, — сказал Гобрия. — Вчера у пещеры Митры у меня была встреча с Прексаспом.

---

[1] Древние историки называют самозванца по-разному: Геродот — Смердисом, Ктезий — Сфенладатом, Эсхил — Маргом, Иустин — Окопастом. В Библии он носит имя Артаксеркса.

[2] Персидская пословица. Русский эквивалент — «Нет дыма без огня».

— С визирем Камбиза? — удивился Отан. — Разве он не в Греции?

— Нет. — Гобрия извлек из кошелька перстень с красным камешком. — Как видите, он возвратился. Но пока это тайна, и пусть, кроме нас с вами, никто о ней не знает.

— Кольцо пер-о? — спросил Аспафин, любуясь искусной чеканкой. — Ты купил его?

— Прексасп нуждается в деньгах, — объяснил Гобрия, пряча перстень.

— На твоем месте я бы держался подальше от такого ничтожества, как Прексасп, — поморщился Отан. — Он вероломен и лжив.

— Знаю. — Гобрия и не думал возражать. — Скажу даже больше: он начисто лишен чувства собственного достоинства.

— В чем же тогда дело? — удивился прямодушный Отан.

— Очевидно, Гобрия знает, что делает, — заметил Аспафин. — А Прексасп не боится? Смердис понемногу избавляется от старых друзей.

— Я же говорю, что он приехал тайно, — Гобрия понизил голос, — и рассказывает удивительные вещи. — Он ненадолго умолк. — Прексасп клянется, что держал в руках голову Смердиса!

— Не может быть! — прошептал Отан.

— И все же это так. — Довольный произведенным эффектом, Гобрия улыбнулся. — Прексасп рассказал мне, что Смердиса убил сам Камбиз. Когда он узнал, что тот осмелился первым притронуться к эфиопскому луку, то страшно разгневался и, вы же знаете, каков он, рубанул брата мечом. Это случилось после мемфисской истории.

— Почему ты думаешь, что это правда? Прексасп представил какие-нибудь доказательства? — спросил Аспафин.

— Он готов указать место, где зарыт Смердис.

— Это далеко, в пустыне, — поморщился Аспафин.

— Я знал, что ты именно так и ответишь, изнеженный баловень судьбы! — Гобрия притворно пригорюнился. — Зачем ты позвал его, Отан?

— Затем, что, кроме тебя и его, мне некому верить, — не поддержал шутки Отан. — А в одиночку не справиться. Но Гобрия прав. — Он повернулся к возлежавшему рядом Аспафину. — Ради того, чтобы убедиться в подмене, стоит отправиться даже в пустыню.

— А Прексасп не догадался забальзамировать голову Смердиса? — спросил Аспафин, рассеянно роняя в чашу с вином розовые лепестки.

— Нет, — не сразу отозвался Гобрия. — Он сказал мне, что голову зарыл сам Камбиз. Вырыть ее Прексасп не решился.

— А ты бы решился? — зевнул Аспафин. — Но Прексаспу не надо было и колебаться. Он же надеялся служить тирану вечно.

— Не забудь, что Камбиз застрелил его первенца, — напомнил Отан.

— Какое это имеет значение? — Аспафин лениво выцедил вино. — Лидийское? — постучал он по кувшину.

— Хананское, — небрежно бросил Отан. — Прошлогоднего урожая. Кому-нибудь визирь уже доверил свою тайну? — спросил он Гобрию, поудобнее устраиваясь на ложе.

— Клянется, что нет.

— Почему он открылся именно тебе? — спросил Аспафин.

— Видимо, уверен, что я не предам... К тому же я купил у него кольцо.

— Сколько? — спросил Аспафин.

— Пятнадцать талантов.

— Изрядно! — Аспафин даже присвистнул. — Только при чем тут тело Смердиса?

— Очень даже при чем, — мрачно усмехнулся Гобрия. — Продав кольцо, Прексасп хочет продать и тайну тоже. Он же хорошо знает, с кем я дружу, в чьи руки попадет в конце концов страшное доказательство.

— Воистину страшное, — поежился Отан. — Ты ходишь по острию меча, Гобрия. Если узурпатор дознается...

— А ты? — мгновенно откликнулся Гобрия. — Думаешь, зятек пощадит тебя, когда проведает о твоей переписке с Федимой? Как бы не так...

— Одним словом, доносчиком из нас троих могу выступить я один. — Аспафин пожевал пахучую веточку базилика. — Так, друзья?

Отан поперхнулся вином, а Гобрия, опершись на локоть, озадаченно уставился на друга.

— Сколько хочет бывший визирь за тело? — Аспафин презрительно скривил тонкие губы. — Цену он назвал?

— Сто. — Гобрия надменно прищурился. — Ты считаешь это чрезмерным?

— Честь родины не измерить золотом. — Аспафин обмакнул ломтик овечьего сыра сначала в уксус, а затем в оливковое масло и неторопливо отправил в рот. — Но для меня тридцать три с третью таланта сумма совершенно нереальная. Я промотался дотла и кругом должен. — Он прожевал сыр. — Сколько я задолжал тебе, Гобрия?

— Не будем в такой час...

— Нет, — перебил его Аспафин, — ты все же скажи, сколько? Я хоть и записываю, но не помню долгов.

— Ну, если ты настаиваешь... — Гобрия сделал вид, что силится припомнить. — По-моему, двенадцать... Во всяком случае, где-то близко.

— Прелестно! — Аспафин принялся пересыпать розовые лепестки с ладони на ладонь. — А тебе, Отан?

— Больше сорока, мой легкомысленный друг. Увы, много больше.

— Будем считать — пятьдесят, — с готовностью согласился Аспафин. — Итого я должен вам обоим свыше шестидесяти талантов.

Вместе с долей, которую потребуется уплатить Прексаспу, это составит громадный капитал. Шутка ли, почти сто талантов! Годовой доход целой сатрапии!

— Куда ты клонишь? — не выдержал Отан.

— Ты не хочешь примкнуть к нам? — Гобрия начал угрожающе подниматься.

— Я этого не говорил. — Аспафин как ни в чем не бывало со вкусом продолжал есть и пить. — Просто мне хочется проделать некоторые расчеты. Вы готовы купить тайну Прексаспа?

— Готовы! — в один голос ответили оба аристократа.

— Превосходно. Теперь предположим, что все, чего вы ждете от Прексаспа, мне уже известно. Значит ли это, что вы должны мне по тридцать три таланта?

— Разумеется. — Отан недоуменно развел руками. — Но...

— Вот и великолепно, — остановил его Аспафин. — А как ты, Гобрия?

— Я? — начиная догадываться, куда гнет Аспафин, облегченно ухмыльнулся Гобрия. — Считай, что за вычетом долга, с меня следует двадцать один и еще треть таланта.

— Это все, чего я добивался. — Аспафин ополоснул пальцы в чаше с водой. — И могу теперь открыться. Моя тайна столь же опасна для головы, как и твоя переписка с дочерью, Отан, и твои переговоры с бывшим визирем, Гобрия. Раскрыв ее, я сравняюсь, таким образом, с вами, и нам не нужно будет опасаться друг друга.

— Мы и не сомневались в тебе, — покачал головой Отан.

— Знаю, — отмахнулся Аспафин. — Но этого мало. За то, что я избавлю вас от опасностей трудного путешествия в Кемт, чреватого, кроме всего, и расходами, вам надо молиться на меня.

— Завтра же пожертвую храму солнца белого коня! — пообещал Гобрия.

— Не спеши. — Аспафин осыпал его голову лепестками. — Лучше окончательно расплатись за меня с Отаном, а остаток, пятнадцать с чем-то талантов, пришли ко мне домой. Буду очень благодарен тебе, если сумеешь устроить это уже завтра утром. Тогда я смогу без урона для чести погасить самые неотложные долги. Если бы вы только знали, сколько их у меня.

— Ох, Аспафин, плохо ты кончишь! — вздохнул Гобрия. — Говори свою тайну. Сейчас увидим, много ли она стоит.

— Я бы никогда не рискнул оценить ее так высоко. — Аспафин беспечно потянулся. — И вообще бы не стал ею торговать, если бы вы оба не согласились с такой готовностью озолотить Прексаспа. Право, я лучше, чем он, и больше вас люблю...

— Давай, Аспафин, говори, — засмеялся Отан, — не терзай. Мы тебя знаем и готовы на все.

— В таком случае, по рукам! — Аспафин отшвырнул подушку, на которую опирался, и сел. — Я знаю почти достоверно, что трон узурпировал лидийский маг по имени Смердис, брат знаменитого

Патизефиса, который и вертит им как хочет. Сам же Смердис, кроме общего с покойным принцем имени, никакими достоинствами не обладает и во всем слушается старшего брата.

— Это, конечно, хорошо, — сказал Гобрия, — но где доказательства? Без них твой секрет не больно-то дорог. Для успеха заговора одних слухов мало.

— А где доказательства убийства принца? Ты так рвешься в пустыню? Или всецело доверился бывшему визирю?

— Нет, отчего же, — смутился Гобрия. — Но Прексасп знает, как их добыть.

— И я знаю, — Аспафин поманил друзей приблизиться. — У мага Смердиса есть один признак, по которому его легко можно опознать. Еще при жизни великого Кира Смердису за недостачу в храмовой казне отрезали уши. Напиши дочери, Отан, пусть она это проверит... Ну как, друзья, стоит моя тайна Прексасповой? Персы несомненно обрадуются, что ими правит безухий властелин!

— Утром я пришлю тебе золото, — сказал Гобрия. — Ты согласен, Отан?

— Согласен-то согласен, — затуманился Отан, — но бедная Федима!.. Я сегодня же отправлю ей письмо.

«Когда он уснет, дочь, ощупай его уши. Если он окажется с ушами, то знай, что супругом имеешь действительно сына Кира, а ежели он безух, то живешь ты, несчастная, с магом».

Федима долго не решалась исполнить просьбу отца. Что, если у нового мужа и в самом-то деле нет ушей? Да он тут же зарежет ее, не дожидаясь наступления света! Ей стали мерещиться лютые казни, одна другой страшнее, и белый свет сразу сделался немил. Со все возрастающим ужасом ждала она того дня, когда евнух поведет ее на царскую половину. И все-таки, когда настал ее черед идти к господину, она сумела взять себя в руки. Едва тот уснул, Федима осторожно, боясь дохнуть, потянулась к туго закрывавшей весь затылок и лоб до самых бровей косынке.

На следующий день разбогатевший на нелегальной почте неграмотный евнух, дрожа и озираясь, вынес из дворца восковую табличку, на которой значилось беглой клинописью: «Отрезаны».

Когда заговорщики окончательно удостоверились, что трон царя стран занимает безродный проходимец да к тому же приговоренный к позорнейшему из наказаний, они значительно приободрились. Они готовились сражаться за бесспорно правое дело, и боги не могли отказать им в своем покровительстве.

Решено было, что каждый триумвир привлечет к заговору сколько может надежных и храбрых участников, но не свыше трех, а еще лучше одного, только самого верного, потому что опасность нарваться на предателя стала уж очень велика. Все знали, что шпионов завел себе Лже-Смердис так много, что не перечесть.

Оставалось удивляться только, чем он оплачивал их труды, если налоги вот уже скоро семь месяцев не собирались. За отмену налогов и обязательной службы в войсках окраинные народы благословляли незримого повелителя. Разоренное неистовым Камбизом хозяйство мало-помалу приводилось в порядок, жить стало легче и безопаснее. Почувствовав послабление, и сатрапы стали лютовать меньше, казней и всяческих притеснений заметно поубавилось. Какое дело было мирному обывателю до странностей государя? Дальше ближайшего города или деревни он, почитай, и не ездил, а до Суз, с их загадочной жизнью, было куда как далеко...

И только сами хозяева — персы — чувствовали себя униженными. Для них безвременье становилось нестерпимее с каждым днем. Когда же молва просочилась, что шахиншах подменный и, в добавление ко всему, маг из Лидии, где живут, как известно, одни торгаши, чаша терпения переполнилась. Но еще не колыхалось море глубинное, темна и мертва была в нем вода. Один только гребень крохотный взметнулся и медленно покатился к шахскому дворцу.

Отан привел Интафрена, Гобрия — Мегабиза, Аспафин — Гидарна, и стало их всего шестеро, а потом и седьмой добавился — Дарий, сын Виштаспы, могущественный наместник главной, персидской, сатрапии. Как он узнал про заговор, осталось тайной.

— Плохи дела, — Дарий не ответил на вопрос прямо, — если главари наши не знают, кому поручили позвать меня. Не хочется думать, что тот, кто говорил со мной, был действительно пьян и начисто все забыл, когда проспался. Но если так, то и вообще грош нам цена.

Каждый из триумвиров упорно стоял на том, что Дария не привлекал, в том же с глазу на глаз признались своим вербовщикам и неофиты. Никто, таким образом, не сознался, и это напугало всех. Словно смерть незримо вошла в их собрание и затаилась до поры, выискивая первую жертву. В глубине души каждый уже сожалел, что ввязался в такое гибельное, такое пропащее дело.

Даже если и не нашлось среди них изменника, значит, затесался болтун, вертопрах и пропойца, который не сегодня так завтра погубит всех. Что было делать? Выступить немедленно? Но ведь еще ничего не готово. Одного всеобщего недовольства мало для восстания, а их только горстка, и с охраной дворца им никак не совладать. Но и ждать уже стало немыслимо. Стоит только магу добраться до источника порочащих его слухов, а такое, все понимали, неизбежно теперь случится, как все и погибнут. А возможно, и не все, только шестеро, пятеро, может, а один или два сохранят свои головы. Эх, знать бы заранее, кто эти двое! Или только один?

Тяжелое молчание установилось среди них, грозное, позорное.

Страшно было даже подумать, какие мысли роились в ту минуту в головах ближайших друзей.

Первым высказал, что у него накипело на сердце, Дарий:

— Выступать надо немедленно! Если вы не согласитесь, то знайте, никто из вас прежде меня во дворец не войдет. Я раскроюсь перед шахиншахом, с ушами он или без, я, и никто другой. Решайтесь же. Если мы внезапно ворвемся к нечестивому магу, дело может и выгореть. Главное — убить его, вернее, его и Патизефиса, а там видно будет. Будем же дерзкими и беспощадными! Охрана не помешает нам, если только мы не обнаружим страха и неуверенности.

И они решились и принесли друг другу клятву верности — вынужденной, жестокой.

Дарий как в воду глядел. Когда семеро знатнейших вельмож империи подъехали к воротам дворца, никому из часовых даже в голову не пришло расспрашивать их о чем бы то ни было. Стражи приветствовали их копьями на караул и беспрепятственно пропустили через ворота. Бросив лошадей у коновязи, заговорщики бегом кинулись к лестнице. Однако выскочившие им навстречу дежурные евнухи оказались уже не столь доверчивыми, как солдаты, и потребовали, чтобы сановники немедленно убрались восвояси, грозя в случае неповиновения суровыми карами. Заговорщиками на миг овладела растерянность.

Переглянувшись друг с другом, Дарий и Гобрия выхватили из-под плащей мечи и дружно атаковали прислужников мага. Пути назад были теперь отрезаны, и ничего другого не оставалось, как, обнажив оружие, пробиться во внутренние покои мужской половины дворца.

Стремительная атака семерых храбрецов захватила обоих магов врасплох. Патизефис пересказывал брату содержание очередного шпионского донесения, в котором говорилось, что Прексасп тайно возвратился в Сузы и вошел в контакт с персами из самых знатных семейств. Заслышав крики, лязг мечей и стук падающих тел, он опрокинул светильник и сорвал со стены копье. В наступившей темноте Смердис тоже бросился за оружием, но наткнулся на лук, совершенно бесполезный в ближнем бою. Но выбирать не приходилось. Стремительные убийцы, оставляя позади себя трупы и трупы, уже врывались в помещение. Патизефис действовал вначале довольно успешно. Поразив Аспафина в бедро, а Интафрена в глаз, он на какой-то момент задержал яростный натиск. Но Смердис, теснимый Дарием, отшвырнул лук и попытался укрыться в спальне. Оставшись один, Патизефис был мгновенно заколот. Перепрыгнув через его тело, Гобрия метнулся на помощь Дарию, который яростно рубил дверь спальни, куда, по всей вероятности, спрятался маг.

Когда задвижка отскочила, он первым ворвался в темноту и, наткнувшись на визжащего мага, покатился вместе с ним по полу. Безоружный Смердис дрался с яростью обреченного. Он пинал ногами, кусался, острыми ухоженными ногтями раздирал Гобрии лицо. Дарий, размахивая мечом, топтался над ними, не решаясь нанести удар.

— Чего же ты медлишь? — крикнул ему окровавленный Гобрия, отчаянно увертываясь от когтей, неумолимо подбиравшихся к его глазам. — Бей!

— Боюсь ранить тебя! — закричал в ответ Дарий. — Ничего не видно, а вы катаетесь, как две кошки!

— Руби! — хрипя от боли, простонал Гобрий. — Бей куда попало и ничего не бойся. На мне талисман.

Дарий ударил сплеча и попал в мага. Пальцы, сжимавшие Гобрию, ослабели, он вырвался, вскочил на ноги и вместе с Дарием добил мага.

Когда все было кончено, он обнаружил, что в пылу схватки потерял перстень.

«Что ж, — подумал Гобрия, — один раз он меня все-таки спас! И в какую минуту!»

Больше он о талисмане не думал и не пытался его сыскать.

Дальнейшие события подробно описывает Геродот:

«Маги были убиты и головы их отрублены; раненые персы оставлены в замке как по причине обессиления их, так и для охраны замка; остальные пять персов с головами магов в руках выбежали вон с криком и шумом, созвали прочих персов, объяснили им все происшедшее и показали головы; после этого они убивали всякого мага, попадавшегося им на глаза. Узнавши о том, что сделали вельможи и как обманывали их маги, персы нашли нужным действовать таким же образом: обнажили мечи и убивали всякого встречного мага; если бы не наступившая ночь, персы перебили бы всех магов до единого. День этот для персов — важнейший государственный праздник; в этот день они совершают великолепное торжество, именуемое у персов избавлением от магов. Тогда ни один маг не смеет показаться на улице, и потому они проводят весь этот день по своим домам».

Дарий, сын Виштаспы, взошел на престол в 521 году до н. э. Не тронув вавилонских баалов Мардука и Ашторета, он демонстративно совершал служения лишь одному светлому Ахурамазде. В качестве же пер-о Кемта он принял египетское тронное имя и сан верховного жреца. Запрет на строительство храма единому богу он отменил.

...На отвесной скале по дороге между нынешним Багдадом и Тегераном можно увидеть исполинский барельеф, повествующий об исторической победе Дария, сына Виштаспы[1], над магом Лже-Смердисом[2].

О змеином перстне с красным камнем в центре золотого диска не говорится ни слова. Осталась легенда, что безумие на Камбиза

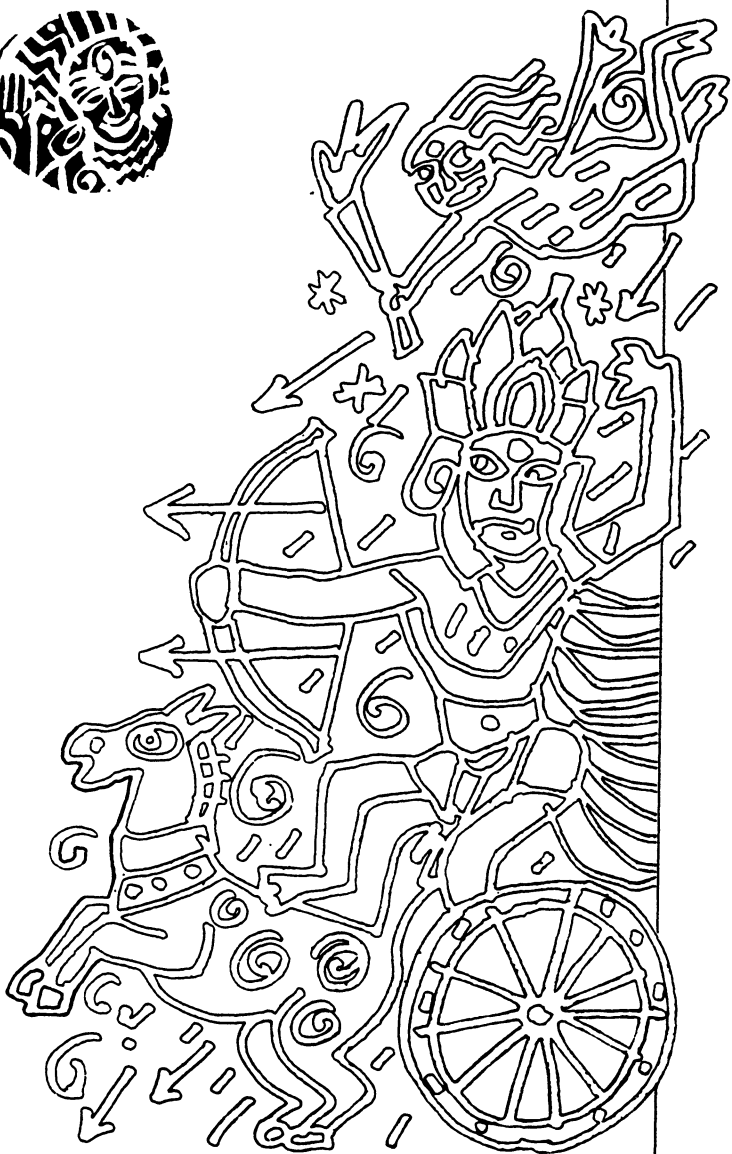
[1] В старинном русском сборнике «Голубиная книга» рассказывается об удивительной жизни царя Давида Евсеевича, во многом напоминающего своего прототипа Дария Гистаспа Как и в персидской «Бун-Дехеш», в «Голубиной книге» говорится о замечательных свойствах дерева хом, вознесенного над другими чудодейственными цветами и травами

[2] Он же Гаумата, по другим источникам

наслал именно этот загадочный камень — коварный подарок пер-о Псамметиха. Но «отец истории» Геродот с предельной ясностью свидетельствует, что недостойный сын Кира печально прославил себя еще задолго до рокового подарка. Все с ним случившееся явилось лишь неизбежным следствием его поступков, продиктованных волей необузданной и помраченной. И все же за камнем потянулась недобрая слава, будто бы он приносит беду.

Он и вправду принес много горя, но такова история всех без исключения драгоценностей. По самой природе своей они никак не могли принадлежать людям простым и неимущим. А среди сильных мира сего — во дворцах и храмах — они, подобно увеличительному стеклу, вбирали в себя отсветы непримиримых противоречий и яростной борьбы.

САМСАРА — круговорот бытия



Глава первая

ЭФФЕКТ СНЕЖНОГО КОМА

Вопреки прогнозу, который сулил переменную облачность без осадков и умеренный до сильного ветер, циклон с Атлантики принес ливневые дожди. Люсин прибежал на работу совершенно мокрый. Он повесил пиджак на плечики, развязал галстук и сбросил ботинки. Пожалел, что не может переменить носки.

«Авось высохнут до конца рабочего дня». Он с сомнением покосился на забрызганное косыми, прерывистыми струйками окно. В комнате было сыро и зябко. Через открытую форточку просачивался холодный туман. Отчетливо доносился шум водосточных труб, шелест струй по асфальту.

Люсин встал и, оставляя на паркете влажные следы, захлопнул форточку. Уютнее от этого не сделалось.

Он зажег настольную лампу с белым жестяным светорассеивателем, насухо вытер голову полотенцем.

— К тебе можно? — В кабинет вошел Шуляк с картонной папкой под мышкой. — Тю! — остановился он на пороге. — Та ты ж промок, як цуцик!

— Промок. — Люсин вынул из ящика зеркальце и расческу. — Хоть причешусь.

— Проверил я всю четверку. — Шуляк ногой пододвинул себе стул и, присев бочком, раскрыл папку. — Те двое, как мы и думали, прочно сидят. Бочкареву еще два года до звоночка, а Запрянчуку — несколько месяцев. В местном УМЗ о нем хорошо отзываются. Надеются, что рецидива не будет. Но это так, лирические отступления. Пойдем дальше... Старичок Потехин мирно живет у себя в Саратове. Последние две недели он провел в больнице, где лечил голодом язву двенадцатиперстной кишки. Так что он вне подозрений и вообще давно завязал. Остается один Зализняк Фрол Никодимович по кличке Стекольщик. Согласно прописке, он должен проживать в поселке Солнцево, бывшее Суково, но там его давно никто не бачил. Шут знает, где он ошивается. Большой кудесник, как говорят. Если только ~~не~~ объявился новый гастролер, племя молодое, незнакомое, окошко в Жаворонках — его работа.

Правда, ребята, которые имели с ним дело, сильно сомневаются. И действительно, с какой стати старый, можно сказать, заслуженный домушник навесит на себя мокрое дело?

— Лексикончик у тебя! — покачал головой Люсин. — Любодорого послушать.

— Та! — ухмыльнулся Шуляк. — С кем поведешься, от того и наберешься. Мы от них набираемся, они — от нас.

— Чем же, интересно, мы их обогащаем?

— А ты послушай, как они о процессуальных нормах рассуждают, о статьях! Это ж законники! Чуть что — права качают, прокурора требуют.

— Ну, такому мы их не учим. Это, я бы сказал, чисто профессиональный интерес... Пусть разошлют фотографии этого Стекольщика по отделениям. Спасибо тебе.

Зазвонил внутренний. Люсин снял трубку.

— Люсин слушает.

— Зайдите ко мне, Владимир Константинович.

— Сейчас буду, товарищ генерал. — По тону начальника Люсин догадался, что Григорий Степанович не один.

«Интересно, кто у него? — подумал Люсин, спешно завязывая галстук. — Впрочем, скоро узнаем».

В кабинете генерала сидел щеголеватый подполковник в новом, идеально отглаженном кителе. Маленькие закругленные погончики выглядели на нем весьма элегантно и даже кокетливо, а орденская планка на груди была залита в сверкающий плексиглас. Люсин, обычно следивший за собой, почувствовал на миг все убожество своего штатского, изрядно пострадавшего под дождем костюма.

— Майор Люсин, — соблюдая субординацию, первым представил его генерал. — Подполковник Костров Вадим Николаевич, из УБХСС. — Он едва заметно кивнул на гостя.

Подполковник молодцевато вскочил, и они крепко, хотя и с несколько показным радушием, пожали друг другу руки.

— Как я уже говорил вам, Владимир Константинович, — генерал указал им на стулья, — в УБХСС заняты сейчас делом на алмазоперерабатывающем заводе, откуда, по некоторым предположениям, уплывают алмазы. Мы тогда, насколько мне помнится, решили, что вам будет полезно подключиться. Хотя бы в порядке, так сказать, повышения общего кругозора. Товарищ Костров с готовностью пошел нам навстречу. Буду рад, если ваши интересы как-то пересекутся. Надеюсь, это окажется полезным для обеих сторон.

«Молодец, дед! — восхитился Люсин. — Прямо-таки ас протокола».

— Я так просто уверен, что вы сумеете нам помочь, — не замедлил откликнуться подполковник. — Ведь по всему чувствуется, что дело нечисто, а за руку не схватишь. Никак концов не найдем.

— Вот и обменяйтесь опытом, товарищи. — Генерал медленно, словно нехотя, поднялся. — Введите друг друга в курс дела. Не стану вам мешать.

Люсин и Костров, почтительно встав, проводили его взглядом и, когда дверь бесшумно закрылась, сдвинули стулья для непринужденной беседы.

— Курите? — спросил подполковник, раскрывая коробку «БТ».

— Благодарю. — Люсин сунул в зубы пустой мундштучок. — Отвыкаю.

— Ценный почин... Товарищ генерал сказал мне, что вы заняты сейчас расследованием, связанным с Институтом синтетических кристаллов? — первым начал Костров. — Злоупотребления?

— Убийство, — угрюмо процедил сквозь зубы Люсин. — Не знаю только, насколько оно связано с институтом.

— О! — Подполковник понимающе закивал.

— Почему мы подумали о вас? — наклонился к нему Люсин. — Ведь если убийство вызвано какими-то темными махинациями с камушками, то мы неизбежно выходим на вас. Разве нет?

— Вероятно. — Подполковник курил неглубокими, частыми затяжками и тоненькой деликатной струйкой выпускал дым. — Как правило, крупное хищение предполагает наличие хорошо отлаженной системы сбыта. Не исключено, что и ваше дело как-то сопричастно, пусть самым краешком, с кем-нибудь из наших клиентов.

— Наши люди станут вашими, — пошутил Люсин.

— В этом и смысл предполагаемого содружества, — без улыбки ответил Костров.

— Но я почти ничего не знаю о камнях, — посетовал Люсин. — Тем более вас, кажется, интересуют алмазы?

— Главным образом.

— В НИИСКе их, к сожалению, не делают.

— Но изменением фотохромных и других оптических свойств кристаллов там занимаются?

— Что-то в этом роде они, по-моему, мастачат. — Люсин сосредоточенно пытался восстановить в памяти беседу с Фомой Андреевичем. — Знаете что? — неожиданно просветлел он. — Вы лучше расскажите мне про ваши заботы, а я по ходу дела попробую сообразить, насколько это касается моего НИИСКа. Я ведь полный профан в этом деле, — признался он с обезоруживающей улыбкой. — Мне надо все сначала как следует разжевать, только тогда от меня будет хоть какой-нибудь толк.

— Хорошо, — подчинился подполковник. — У каждого свой метод... Вот только с чего начать? — Он положил сигарету на край массивной пепельницы из желтого хрусталя и задумался.

— Лучше всего с самого начала, — осторожно предложил Люсин. — Мне ни разу в жизни не довелось побывать на алмазоперерабатывающем заводе.

— В самом деле? — вяло удивился Костров. — Тогда у вас еще все впереди. Лично я питаю к гранильному делу слабость. Древнейшее и очень почетное ремесло, достигающее высоты подлинного искусства, должен вам сказать. Да... Как-то на досуге я просматривал старинные гравюры и заметил, что гранильная мастерская сем-

надцатого, скажем, века чем-то внешне напоминает современную. Представляете себе? Взять, например, рабочий стол с характерным волнообразным краем, — он почти не изменился. По-прежнему во впадине волны стоит кресло мастера, а его инструменты лежат справа, на ее, простите за поэтический образ, гребне. Сильный источник света, набор увеличительных стекол, миниатюрные станочки, шлифовальные круги — все эти непременные принадлежности ремесла унаследованы от прошлого. То обстоятельство, что мощный электромотор заменил собой ручной привод, лишь облегчило труд огранщика, но отнюдь не изменило его индивидуальный, романтический, я бы сказал, характер... Я не слишком многословен?

— Что вы! — запротестовал Люсин. — Вы очень интересно рассказываете.

— Дело не в том, интересно или неинтересно, — покачал головой Костров. — Не понимая некоторых характерных сторон ремесла, вам трудно будет судить и о существе злоупотреблений, которые...

— Совершенно верно! — живо перебил собеседника Люсин. — Мой коллега не далее как вчера сказал, что расследование порой немыслимо без знания производственной специфики.

— Он безусловно прав.

— Все горе в том, что в течение одного только дня нам приходится вникать в кристаллографию, технологию добычи торфа и ювелирное дело. Голова пухнет... Но продолжайте, пожалуйста, мне действительно интересно.

— Коротко скажу о технологии. — Тон подполковника стал несколько суше. — Природные кристаллы внешне не так уж красивы, как это думают несведущие люди. Они мутноваты и похожи скорее на окатанное морем стекло, которое делается прозрачным лишь в воде. Для выявления присущей драгоценному камню игры его сначала подвергают огранке, а затем шлифуют и полируют. Успех здесь прежде всего зависит от искусства огранщика, его художественного чутья, от того, насколько правильно подобрал он для каждого конкретного камня тип огранки. Таких типов довольно много: чистых, комбинированных, смешанных. Чистые формы огранки включают в себя пластинку по древнеиндийскому рецепту, розу, клиньями, ступенчатую, кабошон и так далее. Для огранки алмазов наиболее часто применяется форма, которая так и называется — бриллиантовая. Но эта классическая форма, предложенная еще в 1456 году Людвигом Беркэмом, знает несколько вариантов. Во времена Беркэма вокруг верхней и нижней площадок камня делали всего по шестнадцать граней; потом появилась двойная бриллиантовая огранка на тридцать две боковые грани, расположенные вокруг площадки в два ряда, и, наконец, в наш век стали делать пятьдесят шесть, шестьдесят четыре, даже восемьдесят восемь граней. И для этого есть все основания. Не думайте, что огранщики просто соревнуются друг с другом в тонкости ремесла. Мол, кто лучше блоху подкует. Существо дела в том, что с увеличением числа граней усиливается игра света, а следовательно, при-

тягательность камня и его стоимость. Тут мы подходим к самому важному для нас. При желании из алмазного кристалла можно изготовить и классический бриллиант по Беркэму, и современный — в восемьдесят восемь граней, и последний крик моды — так называемую «принцессу», и «сердце», что кому нравится. Здесь все будет разным: выход готовой, так сказать, продукции из исходного монокристалла, количество алмазной пыли, стоимость полученного бриллианта. Маленький бриллиант, но хорошо ограненный стоит дороже большого заурядной огранки. При прочих равных условиях карат «принцессы» процентов на двадцать дороже карата тройной огранки. Все, повторяю, зависит от чутья и искусства мастера, от того, каким ему видится бриллиант, который, как сказал Брюсов, «невидим нам, пока под гранями не оживет в алмазе».

— Очень точно сказал.

— Вот именно. — Костров смял сигарету, не докурив немного до фильтра, и сразу зажег новую. — Именно потому, что бриллиант в алмазе невидим, никто не может навязать мастеру тот или иной вариант. Как правило, огранщик сам решает, что надо делать. Он единственный, кто в глыбе мрамора видит статую. Конечно, в более-менее заурядном случае. Для решения судьбы камней нерядовых — многокаратных или особо красивых — созываются консилиумы специалистов, на которых сообща решают, каким быть будущему бриллианту и что делать с отходами. Так, величайший в мире алмаз, найденный в Южной Африке, — знаменитый «Кулинан» свыше трех тысяч каратов — распилили на три крупных камня и более чем сотню мелких бриллиантов.

— Зачем? — удивился Люсин. — Я слышал, что стоимость бриллиантов растет в геометрической прогрессии от размера.

— До известных пределов. А «Кулинан» отличался неправильной формой, и не имело смысла делать из него один большой бриллиант. Вырезали три, и все они вошли в каталог наиболее замечательных драгоценностей мира. Самый крупный бриллиант, в пятьсот тридцать каратов, был подарен английскому королю Эдуарду Седьмому. Его назвали «Звездой Африки»... Обратите внимание, что лучшие ювелиры того времени лишь приблизительно смогли оценить каратность трех больших бриллиантов. Вес и количество мелких, а тем более пыли вообще заранее никому неизвестны... Теперь представьте себе, что в руки нечестного мастера попадает сравнительно заурядный, но достаточно крупный алмаз...

— Кажется, я начинаю понимать: он тайно вырезает маленький камушек, а недостачу сваливает на пыль. Вроде усушки-утруски?

— Очень хорошо, — одобрил Костров. — Только несколько примитивно. Имейте в виду, что алмазная пыль — это тоже предмет строжайшей отчетности. Ее тщательно улавливают и взвешивают. Причем поступают так не столько в целях контроля, сколько из-за свойств самой пыли. Из нее делают, в частности, алмазные пилы и шлифы, которые идут на обработку тех же алмазов.

— Это из-за твердости?

— Ну конечно... Алмаз — самое твердое вещество в мире. Иначе чем алмазом его не взять. Здесь тоже таится один из тех секретов, которые делают ремесло огранщика алмазов столь таинственным и не подвластным точному измерению. Кристаллы, как вы, наверное, знаете, отличаются анизотропией; их физические свойства резко зависят от направления. Опытный огранщик сразу видит, по каким осям симметрии легче обработать камень, где его твердость будет минимальной. На этом и основан весь эффект обработки. Ведь пыль — это хаос, статистически равновероятное распределение граней различной твердости, в том числе, конечно, и самых твердых. Они-то и делают свою работу. Способ обработки алмаза алмазом был известен на Востоке уже в глубокой древности. В одной старинной книге на санскрите сказано, что «фария не может царапать никакой драгоценный камень, — он царапает все камни. Фарий царапает фария». В этих строчках сконцентрирована вся гранильная технология. Но технология технологией, а искусство, простите за банальность, — это искусство. Если нет в человеке божьей искры, хорошим ювелиром ему не стать. Небольшая ошибка, крохотное отклонение от заданного угла — и камень запорот, из него уже не получится первосортный бриллиант. Тут, как правило, вмешивается более опытный товарищ и перешлифовывает алмаз. Но, как вы сами понимаете, каратность продукции уже не та, а куда меньше. Большая часть камня уйдет на пыль.

— Понимаю. — Заметив, что гость докурил сигарету, Люсин совершенно машинально вынул изо рта и свой мундштучок, задумчиво поиграл им и спрятал в карман. — Усушка, утруска и прочие чудеса тут, разумеется, исключаются?

— Совершенно верно. Слишком дорогой продукт, сами понимаете. Все отходы идут в дело. Алмазная пыль улавливается исключительно тщательно, с помощью самых современных средств.

— Просветите, Вадим Николаевич! — попросил Люсин.

— Всему свой срок.

— Вес? — быстро спросил Люсин.

— Обычно дебет с кредитом сходится, — тонко улыбнулся Костров.

— В соответствии с мировым законом сохранения массы, — пошутил Люсин. — Даже не знаешь, за что уцепиться. Если недостача пыли исключается...

— Исключается. В противном случае все было бы довольно просто. И такое положение существует в алмазном деле с давних пор. Еще Бируни тысячу лет назад писал, что «когда алмаз разбивают на мелкие куски или же растирают, то следует приставить человека, который отгонял бы мух, так как они могут унести крупинки алмаза». — Костров улыбнулся. — Говорят, муха втягивает их в свой хоботок и улетает с ними.

— Здорово! — восхитился Люсин. — Простите, Вадим Николаевич, у вас какое образование?

— Высшее военное, — без особого воодушевления ответил Костров. — Сведения по кристаллографии и смежным с ней областям приобрел как любитель.

— Должен сказать, что принял вас за совершеннейшего профессионала, хотя еще только вчера разговаривал с очень известными специалистами по физике и химии кристаллов. Ваши познания куда более обширны.

— Это вам так кажется. Дилетантам обычно свойственны бóльшая убежденность и апломб, чем специалистам. Но я действительно в какой-то мере специализировался на драгоценных камнях. Пятнадцать годочков как-никак.

— Тогда откройте секрет двойной бухгалтерии по части адамантов, — пошутил Люсин. — Самому мне этого не постичь.

— Да, — спокойно подтвердил Костров, — со стороны тут не разобраться. Конечно, было бы весьма странно, если бы мы не знали всевозможных трюков наших, так сказать, подопечных. Знаем, — он сдул с зеленого сукна комочки пепла, — хотя, разумеется, не все. Чаще всего нам приходится сталкиваться с различными вариантами подмены. — Костров взял листок бумаги, вынул шариковую ручку и молниеносно начертил удивительно правильную окружность, затем еще одну... — Допустим, это исходный алмаз, — сказал он, вписывая в окружности многоугольники. — А это бриллиант в идеальном, так сказать, варианте.

— Две проекции?

— Так точно... А теперь поглядите, что можно сделать... — точными и уверенными штрихами он закончил схему. — Это один прием.

— Кажется, начинаю догадываться, — пробормотал Люсин, склоняясь над рисунком. — Хитро придумано!

— А вот другой вариант, — продолжил Костров.

— Ловко вы чертите, — одобрил Люсин. — Без циркуля, без линейки. Прямо заглядение.

— Но вам понятно?

— Да, Вадим Николаевич. Теперь, кажется, суть я себе уяснил.

— Что и требовалось. — Костров убрал ручку и поднял на Люсина глаза. — Идеи есть?

— Пока нет, но непременно будут.

— Почему вы так уверены, Владимир Константинович? — вяло удивился Костров. — Возникли какие-то ассоциации?

— Дело не в этом, — отмахнулся Люсин. — Просто я уверен в том, что никакое знание не проходит бесследно.

— Я понимаю. — Костров кивнул на свою схему: — Все это кажется вам слишком простым.

— Нет, совсем напротив, — серьезно ответил Люсин. — Это было бы слишком просто, а в ювелирном деле, как я погляжу, и кражи ювелирные.

— Думаю, мы с вами сработаемся.

— А сорт пыли анализируется.

— Вот теперь вы глядите в корень! — Костров был явно доволен. — Криминалисты нам постоянно твердят, что на свете нет двух абсолютно одинаковых предметов. К алмазам это правило применимо вдвойне. Вы никогда не спутаете камень из Южной Африки с индийским или наш якутский алмаз с бразильским. Микропримеси и включения придают им не меньшую индивидуальность, чем нам с вами кожный узор.

— Понятно. — Люсин решился блеснуть эрудицией. — Как отличны друг от друга знаменитые «Регент» и «Орлов», так не похожей будет и их пыль.

— В самую точку, Владимир Константинович, в самую точку! Но это опять же в принципе. А на практике? Из-за какого-нибудь негодяя не станешь же каждодневно делать анализы, так ведь? Или обыскивать при входе и выходе? Это же не бутылку искать, а камни, которые, как говорили арабы, могут скрываться в любой из девяти дыр, дарованных человеку аллахом!

— Когда есть уверенность, что дело нечисто, то ничего не попишешь — надо.

— Так это когда уверенность! А если — рыбу ловить любите? — поплавочек только зашевелился? Что тогда? Сразу подсекать?

— Нет, не сразу, — улыбнулся Люсин. — Пусть сперва притопит поплавок, поведет.

— На том и договоримся. — Костров доверительно тронул Люсина за плечо: — Мы примерно знаем своих заблудших овец. По крайней мере, догадываемся о некоторых их художествах. Поверьте мне, что все было пущено в ход, в том числе и меченые атомы. Но вот связи, — он досадливо ударил по столу ладонью, — связи нам неизвестны.

— В этом вся тонкость, — согласился Люсин.

— Все же попробуем прояснить главное.

— Сырье?

— Да. Откуда они берут сырье?

— Не из НИИСКа, как я понимаю.

— Да знаю я! — Костров досадливо поморщился. — Знаю, что ювелирных алмазов еще не делают, а если делают, то стоят они подороже природных. Конечно же, алмазы плывут на завод не оттуда, со стороны. Но как и где осуществляется подмена свойств, этого, хоть убей, не знаю.

— Простите, не понял.

— Видите ли, Владимир Константинович, профит в нашем деле можно извлекать не только из того, что мы называем эффектом снежного кома. Совсем не обязательно действовать по способам, изображенным на этом листке. — Костров сделал вид, что шелестит денежками. — Вы понимаете?.. Можно сыграть и на индивидуальных свойствах камней. Окрашенные алмазы зачастую ценятся дороже бесцветных. На первом месте стоят красноватые, затем идут зеленые или голубые. А камни с желтоватой окраской, чайные, напротив, проигрывают в цене, уступают бесцветным. Почему? Не знаю. Возможно, специфика рынка или затянувшийся каприз моды.

Для нас с вами важен конечный вывод: красные и голубые бриллианты стоят дороже.

— Мне говорили, что в НИИСКе занимаются изменением окраски кристаллов. Кажется, они делают это с помощью тяжелых ионов.

— Я знаю о таком методе. — Костров включил вентилятор. — Душновато как-то. Давит.

— Циклон, — объяснил Люсин. — Резкое падение давления. На барометре семьсот двадцать три.

— Вот оно что, — понимающе кивнул Костров. — Да, о тяжелых ионах я читал. Но как раз с алмазами вопрос пока не очень ясен. Плохо получается, короче говоря. Эксперты тоже легко отличают искусственно окрашенные карбункулы от натуральных. Вообще до последнего времени мы почти исключали подделку цветности в бриллиантах.

— Откуда тогда тревога?

— Как всегда, с так называемого черного рынка. Стали появляться цветные камушки: голубые, зеленые, несколько реже бледно-розовые. И, как на диво, все изумительно огранены. Почти сплошь одни «сердца» и «принцессы».

— Теперь понятно.

— Да. Вот мы и забили тревогу.

— Теперь понятно, — повторил Люсин. — Для меня это тоже новый и, должен сказать, совершенно неожиданный поворот.

— На это-то я и надеялся.

— Но пока ничего не могу вам сказать. Не готов, Вадим Николаевич. Абсолютно не готов.

— Понимаю.

— Буду искать. Не уверен, что найду, поскольку очень вероятно, что ничего такого и нет. Но ваш вариант проверю. — Люсин был сугубо собран и деловит. Он забыл про изжеванный костюм и мокрые носки, которые противно скользили по кожаным стелькам. — Вы рассказали мне захватывающую историю, честное слово! Спасибо.

— Не стоит благодарности. — Костров воспринял изъявление признательности как намек и поднялся: — Если позволите, задержу вас еще на две минутки.

— О чем говорить, Вадим Николаевич! Здесь командуете парадом вы.

— Ладно, коли так. — Костров сел и потянулся за сигаретой. — Я не познакомил вас еще с одной тонкостью. Вы про оптические алмазы знаете?

— Что-то такое весьма неопределенно. — Люсин, припоминая, уставился в потолок. — Мне рассказывали о применении кристаллов в радиоастрономии, всевозможных лазерах, оптических компьютерах...

— Так вот, оптические алмазы совершенно незаменимы для некоторых особо тонких отраслей новой техники. И хотя зачастую

они особенно хороши в ювелирном отношении, их пускают только по прямому назначению, не на сережки. Внешне уникальные электромагнитные, теплопроводные и пьезо- свойства оптических алмазов не выражаются. Но с помощью специальной электросхемы их легко выявить. Все наши скупки, как и другие торговые фирмы мира, нужным оборудованием располагают. Таким образом, каждый алмаз при покупке обязательно проверяется. Карат оптического оценивают в полтора-два раза выше обычного.

— Еще один источник наживы?

— Да. Несколько изъятых нами камней оказались оптическими. А ведь это очень редкое свойство! Наконец, все они были окрашены. Не думаю, чтобы здесь имело место случайное совпадение. Вероятность его совершенно ничтожна. Зато, если мы попробуем некоторые характеристики бриллиантов рассмотреть во взаимосвязи, получается любопытная последовательность: огранка «сердце», голубая вода, оптика. Одни только эти три качества при благоприятных сочетаниях позволяют повысить стоимость камня почти в десять раз.

— На целый порядок!

— На целый порядок, — подтвердил Костров. — Хорошенький камушек в три карата оценивается в шесть-семь тысяч долларов. Превратите его в голубое оптическое «сердце», и он потянет на все сорок, а то и пятьдесят. А если бриллиант пятикаратный? Десяти? Представляете себе эскалацию?

— Где вы нашли ваши камни?

— Незаконные валютные операции, попытка нелегального вывоза из страны.

— У перекупщиков, надо понимать?

— Заключительным звеном цепочки действительно были перекупщики, и все они показали, что приобрели бриллианты у неизвестных лиц. По некоторым деталям можно догадываться, что это были посредники, причем разные.

— Камни из мастерской?

— С большой долей уверенности можно предположить, что ограненны они именно там.

— Значит, у вас есть только два звена: начальное и конечное...

— А надо вытянуть всю цепь, все ее звенья, — досказал Костров.

— Будем работать, Вадим Николаевич. Обещаю всегда и везде помнить о ваших интересах, — с шутливой торжественностью сказал Люсин.

— О наших общих интересах, — осторожно поправил его Костров.

— О наших общих интересах. — Люсин протянул ему руку. — Для начала дайте мне ваших... как вы их назвали?.. заблудших овец. Попробуем покумекать. Камушки тоже будет невредно поглядеть.

— Сегодня же вам будут присланы карточки, — пообещал Костров и ответил крепким пожатием. — За камнями тоже дело не станет.

— Можно один вопрос, Вадим Николаевич? — Люсин задержал его руку в своей. — Сугубо конфиденциальный.

— Конечно, пожалуйста! — с готовностью откликнулся Костров.

— Откуда вы знаете, чем теперь я занимаюсь?

— Как откуда? — Костров выказал удивление. — Товарищ генерал...

— Григорий Степанович, естественно, в курсе, — вкрадчиво заметил Люсин, — но как он вышел на вас?

— Точно не знаю, — подумав, сказал Костров. — Могу лишь предполагать.

— Очень интересно... — Люсин выжидательно замолк.

— С директором НИИСКа товарищ генерал связан?

— С Фомой Андреевичем? — Люсин задумался. — Едва ли, хотя какое-то касательство имел... По моей просьбе.

— Видимо, от Фомы Андреевича все и проистекает. Я ведь обращался к нему за консультацией.

— Вы? — удивился Люсии. — К Фоме?

— А что же тут особенного? — не понял его удивления Костров. — Вы же у него смогли побывать? Куда еще обращаться, если не в НИИСК?

— Все правильно, Вадим Николаевич, это я так. — Люсин про себя улыбнулся. — И какое впечатление произвел на вас Фома Андреевич?

— Среднее. Он, если сказать по правде, поторопился меня отшить. Не любит, видно, нашего брата.

— Он вообще никого не любит. К тому же не корифей.

— Это уж точно, — улыбнулся Костров, заражаясь вполне невинным желанием немного почесать язык на чужой счет. — Он из тех, для кого наука остановилась в день защиты докторской диссертации.

— Кандидатской, — поддержал Люсин. — Или в день отъезда в ооновский колледж. О камнях не с Фомой надо разговаривать.

— Он меня как раз и направил к одному профессору, Ковский фамилия. Только его застать трудно.

— Вы виделись с Ковским?! — Люсин почувствовал, что у него сильнее забилось сердце.

— Нет, к сожалению, — покачал головой Костров. — Звонил несколько раз, но без толку, а потом меня познакомили со сведущим человеком из Института кристаллографии, и надобность отпала. Знаете, на Ленинском проспекте? Напротив универмага «Москва»?

— Значит, вы не встретились с Аркадием Викторовичем... — задумчиво протянул Люсин. — А жаль! Он, кстати сказать, не профессор, хотя и доктор наук, профессора-то ему не дали, но это все ерунда, потому что его уже нет среди живых.

— Серьезно? Подумать только! Еще вчера был человек, а сегодня — нет, помер.

— Да, Вадим Николаевич, так уж устроен подлунный мир. Но я вовсе не о том... Я, понимаете, разбираю обстоятельства смерти Ковского...

— Ну как, договорились? — В кабинет вошел Григорий Степанович. Маленький, полный, в серебряных генеральских погонах, он был очень похож на артиста Свердлина в роли большого милицейского начальника, хотя стал последнее время брить абсолютно наголо, по причине облысения, голову. — Сконтактировались?

— Так точно, товарищ генерал, — молодцевато, но с достоинством знающего себе цену человека вытянулся Костров.

— Вроде договорились, — кивнул Люсин. — Поживем — увидим.

— Разрешите быть свободным? — наклонил голову Костров.

— Пожалуйста, Вадим Николаевич, — любезно улыбнулся генерал. — Благодарю за содействие.

— Рад быть полезным. — Костров по-военному четко повернулся и пошел к двери.

— А вы задержитесь, майор, — остановил генерал Люсина. — Тут вот какое дело, Владимир Константинович, — сказал он, когда они остались одни. — Телега на тебя пришла.

— На меня?.. Откуда, хотелось бы знать?

— Ты такого Чердакова знаешь? Пенсионера.

— Чердакова? — Люсин задумался. — Понятия не имею.

— Ну, а он тебя знает. — Генерал раскрыл толстую папку с надписью «К докладу», вынул оттуда исписанный листок и протянул Люсину.

— «Для сведения», — вслух прочел Люсин крупный, дважды подчеркнутый заголовок.

— Читай, читай. — Генерал подтолкнул его к стулу. — Только сядь.

— «Пишет Вам пенсионер, долгие годы проработавший в нашей промышленности и отмеченный заслугами. Состояние здоровья не позволяет мне активно участвовать в строительстве новой жизни, но по мере сил стараюсь приносить пользу на общественных началах. Я обращаюсь к Вам от лица жильцов дома № 17 по улице Малая Бронная, которые глубоко возмущены непартийным волюнтаристским поведением вашего сотрудника Люсина В. К., позорящего своими поступками светлое имя нашей славной милиции. Указанный Люсин почему-то зачастил в наш дом, причем именно в наш подъезд, но если в первый раз мы видели его капитаном, то теперь он уже майор. И это за один только год! Поистине головокружительная карьера! Но пусть знает Люсин В. К. и его высокие покровители, что никому не дано нарушать наши советские законы. Тем более представителю милиции, которая всегда и везде должна стоять на страже социалистической законности. К существу дела. В нашем доме, в квартире № 6, освободилась комната, которую ранее занимал тунеядец и рецидивист Михайлов В. М., дело которого расследовал указанный Люсин. Этот Михайлов, будучи темной личностью, погиб при загадочных обстоятельствах, к чему, надо полагать, как-то причастен Люсин, не подумавший, однако, проинформировать взволнованную общественность подъезда о смерти

жильца. Согласно закону, освободившаяся площадь должна была отойти к ЖЭКу, но этого не произошло ввиду того, что другой жилец квартиры № 6 (занимающий отдельную комнату в 24 квадратных метра!) при активном содействии того же Люсина прописал на освободившуюся площадь родственника — пришлого человека, никакого отношения к дому № 17 и квартире № 6 не имеющего. Видимо, сделано это было не бескорыстно, потому что Люсин не только оказал полное содействие жильцу Бибочкину Л. М., но и оказал давление на ЖЭК, превысив тем самым власть и действуя незаконно. Следует подчеркнуть, что Люсин несколько раз навещал указанного Бибочкина в служебное и внеслужебное время, даже после того, как следствие по делу Михайлова было закончено. Это ли не свидетельство их тесных взаимоотношений? Что общего может быть у Люсина с торговцем произведениями искусства Бибочкиным Л. М., живущим на нетрудовые доходы? Очень просим разобраться в этом неприглядном деле и навести надлежащий революционный порядок. Хотелось бы знать, какое наказание понес Люсин В. К.

Чердаков».

— Что скажешь? — спросил генерал, когда Люсин отбросил листок.

— А что я могу сказать? — Внутренне напрягаясь, он пытался унять расходившееся сердце. Заметив, что всего его колотит тошнотная бешеная дрожь, он сжал зубы и спрятал руки в карманы. — Здесь все сказано.

— Действительно, — кивнул генерал, — здесь все сказано. Какое дело ты там расследовал?

— «Ларец Марии Медичи», — не разжимая зубов, процедил Люсин.

— Ах, вон оно что! Как же, помню: Малая Бронная, улица Алексея Толстого. Кто такой Михайлов?

— Художник. Убили в парке культуры.

— Помню-помню... А Бибочкин?

— Лев Минеевич? — Люсин почувствовал, что напряжение чуточку ослабело и сердце забилось ровнее. — Безобиднейший милый старик. Он оказал нам содействие в расследовании.

— По тому делу? Таких услуг не забывают.

— Я и не забыл. Кроме того, он кое-что сделал для нас и сейчас.

— Он знал Ковского?

— Скорее, его сестру.

— Так. Понятно. Чердаков, значит, сосед.

— Выходит, так. Сейчас я припоминаю, что кое-что слышал о нем от Льва Минеевича. Этот субъект претендует на освободившуюся площадь.

— Я так и подумал.

— Законных оснований, конечно, никаких, поэтому он попробовал пустить в ход внучку. Стал уговаривать старика прописать ее к

себе якобы для ухода, с тем чтобы забрать потом комнату Михайлова. Его жена, — Люсин недобро усмехнулся, — взяла на себя ЖЭК, стала бегать туда чуть ли не ежедневно, подсунула, надо думать, что-то технику-смотрителю. Короче говоря, взяли бедного Льва Минеевича в клещи. Вот он и закричал «караул». Понимает, с кем дело имеет. За комнату свою испугался, за коллекцию, над которой трясется.

— А ты ему помог?

— Помог.

— В ЖЭК ходил?

— Зачем ходить? Позвонил.

— Дальше.

— Дальше все. Старика оставили в покое.

— Кого он к себе прописал?

— Не представляю. Думаю, что, во всяком случае, не родственника. Площадь, как и положено, отошла райисполкому, который и выдал на нее новый ордер.

— Из письма это не следует.

— Еще бы! Здесь даже не сказано и о притязаниях самого Чердакова.

— Это как раз чувствуется. Присутствует между строк... Доволен твой Лев Минеевич новым соседом?

— Кажется, доволен. Не опасается.

— Это самое главное. А теперь пиши объяснение.

— Я? Объяснение? По поводу чего? — Люсин побледнел от ярости.

— Этого самого. — Генерал брезгливо щелкнул бумажку. — Только не кипятись. Мне твой ответ не нужен. Даже если бы я тебя не знал, то одного этого «для сведения», — он сморщил нос, как от дурного запаха, — одного заголовочка было бы вполне достаточно. Мне портрет Чердакова ясен, но порядок есть порядок. Письмо, как ты видишь, адресовано не мне, и я получил его вместе с соответствующими резолюциями. Так что будь любезен, садись и пиши. Потом мы подумаем, как ответить, чтобы отбить у этого хорька охоту кропать.

— Есть статья за клевету.

— Брось! — махнул рукой генерал. — Что ему сделают, пенсионеру этому? Только себя обмараешь. Охота тебе давать объяснения? Выслушивать всякий вздор? Ведь прежде чем клеветника удастся наказать, он выльет на тебя ведро помоев. На тебе ручку. Вот тебе лист бумаги.

— Ладно, — буркнул Люсин и взял перо.

Но рука не слушалась его, он писал разлетистым, изменившимся враз почерком, неразборчиво, делая непонятные орфографические ошибки, пропуская отдельные буквы и целые слова. Голова покруживалась и на глаза набегали туманные полосы. Он с болью сознавал, что совершенно не способен с собой совладать. Требовалась немедленная разрядка, но она была, к несчастью, недосягаема. Больше всего на свете Люсину хотелось сейчас врезать этому... Он

только однажды и то мельком видел Чердакова. С непривычной обостренностью предстал перед его внутренним оком сутулый широкоплечий коротышка с красной могучей шеей, низким лбом, поросячьими глазками и торчащим ежиком жестких, как щетина, волос. Образ был до омерзения закончен и ясен. Люсин никогда не бил человека. Даже в лихие и бесшабашные годы на траловом флоте. Но сейчас вмазать бы со всего плеча, в кровь!

Глава вторая

ПРОГРАММА «НЕНАВИСТЬ» И ПРОГРАММА «ЛЮБОВЬ»

Чтобы отвлечь приятельницу от тягостных мыслей, Вера Фабиановна съездила на Птичий рынок и по баснословно дешевой цене — всего за пятерку — купила чудесного сиамского котенка. Беленький, с коричневыми ушками и голубыми слезящимися глазами врубелевского Пана, он был жалок и трогателен. Попав в чужие руки и очутившись в маршрутном такси, набитом гражданами всех возрастов, которые, оберегая свои клетки и банки с водой, молча и яростно боролись за место под солнцем, котенок впал в отчаяние. Покачиваясь на высоких, с развитыми подушечками лапах, он испуганно попискивал и полосовал коготками новую владычицу. Но Вера Фабиановна переносила пытку с гордым безразличием индейского воина из племени навахо.

Доехав до метро «Таганская», она купила тройку гвоздик и, удовлетворенная, опустила пятачок в щель турникета. Но автомат почему-то не сработал; хищно клацнув рычагами, он ударил Веру Фабиановну по ногам, она испуганно вскрикнула, котенок вырвался и что было сил понесся по эскалатору, идущему вверх. Поднялся веселый переполох, и беглеца, изнемогшего в попытке одолеть бегущие навстречу ступени, изловили. Дальнейший путь Веры Фабиановны по кольцу до «Белорусской» и далее до Моссовета протекал без приключений. Травмированный неудачным побегом, котик больше не царапался и только дрожал, прижимаясь к хозяйке горячим тельцем. Вера Фабиановна явственно ощущала, как слепо трепещет его крохотное сердечко.

Людмила Викторовна встретила ее в траурном платье.

— Что случилось, милая? — испугалась Чарская, пронзительно вглядываясь в заплаканное лицо приятельницы. Но черное платье, покрасневшие глаза и особенно наброшенная на голову скорбная газовая косынка говорили без слов. — Аркадий Викторович?

— О, дорогая! — Ковская на миг прижалась к ней щекой. — Аркашеньки больше нет. — И беззвучно заплакала. Она не смахивала набегающие слезы и даже не всхлипывала. Только плечи тряслись и мучительно жалко морщился покрасневший нос.

— Как же так? — бессмысленно спросила Вера Фабиановна. Махровые гвоздики выпали из ее рук.

Притихший было котенок, налился стальной силой, рванулся и, прошмыгнув между ног безучастной ко всему Людмилы Викторовны, затерялся в настороженно притихшей квартире, в которую пришла смерть.

«Как это все нелепо! — пронеслось в голове у Веры Фабиановны. — Котенок, цветы...»

— Что же мы так стоим? — Людмила Викторовна уткнулась в платочек и побрела к себе в спальню.

Чарская нерешительно переступила порог. Она заперла дверь, накинула цепочку и, бегло глянув в овальное зеркало, с выражением сочувствия и скорби последовала за подругой.

Сколько смертей видела она на своем веку! Трагических и нелепых, скоропостижных и беспощадных в своей медлительности, последовательно разрушающей тела и души. На всю жизнь она запомнила горячечный бред Эппоминанда Чарского, скончавшегося в остром припадке делириума под Вяткой, в убогой каморке третьеразрядного трактира. Какой опустошенной почувствовала она себя в ту минуту, какой безнадежно усталой и постаревшей, а потом вдруг поняла, что все только начинается, она молода, хороша собой и свободна, свободна. Она возвратилась к родным пенатам, откуда сбежала с Эппоминандом незадолго до революции, залечивать душевные раны. Но в тот самый миг, когда ей дано было ощутить себя королевой на празднике жизни, в одночасье скончался батюшка. Вернувшись после отчаянного кутежа домой, она застала там кучу чужих любопытных людей: каких-то дворников, соседку-молочницу, милиционера. Все промелькнуло в кошмарном калейдоскопе. И лишь лицо отца на белой подушке, его ассирийская клинышком борода и загадочная улыбка мыслителя и масона остались в памяти навсегда. И еще невероятный живой нимб из кошек, окруживших и в смерти прекрасную голову усопшего.

Да, Вера Фабиановна многое повидала и ко многому привыкла. И не то чтобы ей не было жаль безутешную подругу, но сочувствовать слезно и с истинной болью она не могла. Все-таки это было чужое и мимолетное, которое пройдет и забудется, надо лишь пережить кратковременный срок, поскорее исполнить то положенное и неизбежное. Выплакала свои слезочки Верочка Пуркуа, иссохло и равнодушно закаменело сердце Веры Фабиановны Чарской. Да и не знала она как следует покойного, который был и остался ей совершенно чужим человеком. Чего же ей и убиваться тогда, зачем страдать?

— Ну успокойтесь, дружочек, возьмите себя в руки. — Она ласково, хоть и с затаенным нетерпением похлопала Людмилу Викторовну по спине. — Нельзя же так, мой ангел... Право.

Людмила Викторовна послушно вытерла глаза, положила горячий от слез платок на туалетный столик и присела на постель. Только пальцы ее находились в беспрестанном движении, метались по синему шелку покрывала, беззвучно скользили по узору полированной спинки.

— Когда вы узнали? — решилась спросить Вера Фабиановна и, словно по неумному чьему-то наущению, сказала: — Я как предчувствовала. С самого утра сердце ныло. Так одиноко мне вдруг сделалось! Так одиноко! Это я за вас кручинилась, ваше сиротство переживала. Дай, думаю, съезжу на Птичий рынок, ныне хоть и не воскресенье, а все же авось кто и вынесет под забор божью тварь. Так оно и вышло. Сиамочку купила для вас, мальчика. Шустрый такой мальчонка! Видели, как он стрелой в дом пролетел? Дурак-дурак, а понял, что на место доставлен. Вам с ним веселее теперь будет... Вы меня слышите?

Людмила Викторовна, сглатывая слезы, кивнула, хотя было видно, что все то, о чем говорила ей Чарская, не доходит до нее. Она просто не слушала Веру Фабиановну, а если и слушала, то не понимала.

— Верно, — отрешенно произнесла она. — Ничего теперь уже больше не будет. Все кончилось.

— Когда это случилось? — спросила Вера Фабиановна, вложив в свой вопрос максимум мягкости.

— Не знаю. — Людмила Викторовна зябко повела плечами.

— Как так не знаете? — не поняла Чарская.

— Ничего не знаю. Убили Аркашеньку, вот и все.

— Убили?! Кто сказал, что убили?

— Следователь. Утром звонил. Соболезнование выразил.

— Тот самый?

— Да.

— И что он сказал? Так прямо и сказал, что убили?

— «Ваш брат мертвым найден»! — крикнула Людмила Викторовна и в слезах бросилась на подушку.

— Ну не надо, не надо. — Вера Фабиановна села на пуфик возле нее и принялась гладить. — Разве можно? Мертвый — это еще не значит, что убитый. Крепитесь, дружочек.

— Какая разница? Какая? — давясь рыданиями, кричала в подушку Ковская. — Ведь не живой же!

Вера Фабиановна сходила на кухню за водой. Накапала в зеленую рюмочку тридцать капель валокордина.

— На-ка, милочка, испей, — властно приказала она и потянула Ковскую за плечо, силясь оторвать ее от подушки.

Людмила Викторовна, стуча зубами о стекло, высосала рюмку.

— Что еще говорил следователь?

— Не помню. — Ковская затрясла головой. — Не знаю.

— А ты вспомни, голубушка, вспомни, — настаивала Вера Фабиановна. Она не сознавала навязчивой жестокости своего любопытства. Напротив, ей искренне казалось, что, расспрашивая подругу, она тем самым помогает ей, принимает на себя частицу ее тоски и боли.

— Ах, да ничего больше не было! Только это. — Людмила Викторовна в сердцах отбросила вымокшую подушку. — Выразил сочувствие и попросил приехать на опознание.

— И вы поедете?

— Так полагается, — вздохнула Ковская. — Как же иначе?

— А куда? Где он... лежит?

— По всей видимости, где-нибудь там, — она неопределенно махнула рукой. — У них. Следователь обещал заехать за мной.

— Я поеду вместе с вами.

— Зачем?

— Нет-нет, ради бога молчите. И слушать не хочу. Я вас одну не оставлю. Так и знайте.

Людмила Викторовна только губами пожевала и ничего не ответила. В передней раздался мелодичный звонок.

— Это он! — встрепенулась Ковская. — Это за мной! — Она торопливо принялась приводить себя в порядок.

— Не волнуйтесь, милая, — преисполнившись чувством собственного достоинства, произнесла Вера Фабиановна. — Я отворю.

Она неторопливо проследовала по коридору и заглянула в дверной глазок. Но видно было плохо. Искаженно-выпуклое лицо расплывалось. Все же Вера Фабиановна, ни о чем не спросив, откинула цепочку и повернула замок. Перед ней, неуверенно переминаясь с ноги на ногу, стоял Люсин.

— Здравствуйте, Вера Фабиановна, — поклонился он. — Рад вас видеть, хотя и в такой печальный день.

— Проходите, вас ждут, — не отвечая на приветствие, важно произнесла Чарская и, поджав губы, гордо прошествовала назад, в спальню.

— Еще раз позвольте выразить вам свое глубокое соболезнование, — сказал Люсин, входя в комнату, и низко склонился перед Людмилой Викторовной.

— Прошу вас сесть. — Она указала на кресло с подголовником из белого искусственного меха. За тот короткий отрезок времени, который понадобился Чарской, чтобы открыть дверь, она сумела взять себя в руки. Глаза ее были воспалены, но сухи, а следы слез припудрены. — Расскажите мне, как все произошло. — Она искательно улыбнулась. — Умоляю, ничего не скрывайте!

— Я ничего не скрываю от вас, Людмила Викторовна, — ответил Люсин. — Но рассказывать, к сожалению, нечего. Мы пока сами очень мало знаем.

— Где его убили?

— Тело найдено на некотором удалении от города, — уклончиво отозвался Люсин. — На берегу озера.

— Тело! — Она нервно поежилась. — В него стреляли? Или, быть может, ножом?

— Нет, — запротестовал Люсин. — Ничего такого не было. Не мучайте себя напрасными догадками. Скоро вы сами все увидите.

— Это ужасно!

— Это всегда ужасно.

— Так чем все-таки убили Аркадия Викторовича? — не выдержала Вера Фабиановна, сидевшая до того на своем пуфике, как надгробная статуя.

— Об этом рано пока говорить, — твердо сказал Люсин. — Сам факт убийства еще точно не установлен.

— Мне все-таки хотелось бы узнать, где нашли Аркадия Викторовича. — Ковская произнесла это довольно спокойным голосом, но ноздри ее тонкого породистого носа вздрагивали в такт дыханию, частому и даже судорожному. — Для меня небезразлично место, где встретил свой последний час мой незабвенный брат.

— Конечно, Людмила Викторовна, я вас понимаю. — Люсин сочувственно прикрыл глаза. — Мы нашли вашего брата в двадцати километрах от Электрогорска. Это за Павлово-Посадом.

«Вот он уже и стал для нее незабвенным», — пронеслось у него в голове.

— Как он выглядел? — продолжала допытываться Ковская.

— Если угодно, мы можем тут же отправиться, — предложил Люсин. — Машина ожидает у подъезда.

— Нет. Сперва я хочу все узнать. — Она была непреклонна. — Неужели вам не понятно, что еще нужно себя приготовить? Не торопите меня.

— Конечно же, ей надо приготовиться, — поддакнула Чарская.

— Сделайте одолжение, — смешался Люсин. — Торопиться нам некуда. Я весь в вашем распоряжении.

— Вот и ответьте ей про брата, — распорядилась Вера Фабиановна.

— Только всю правду. — Ковская зажмурилась. — Не щадите меня.

«Чего уж теперь? — подумал Люсин. — Самое плохое случилось, и худшего просто не может быть».

— Экспертиза установит причину смерти, — сказал он. — По внешним проявлениям об этом судить нельзя. — И осторожно добавил: — Тело некоторое время пролежало в воде.

— Утопили, значит, — спокойно констатировала Чарская. — И за что они его, такого человека хорошего? Неужто впрямь из-за ковра?

— Ковер тоже нашли, — сказал Люсин, но воздержался от дальнейших подробностей. — Когда вы немного придете в себя, Людмила Викторовна, я свезу вас на то место... А теперь нам надо ехать. Вы собирайтесь, а я подожду. — Он вышел в коридор и, увидев на стене телефон, спросил: — Я могу позвонить?

— Звоните, конечно, — откликнулась Ковская. — Что за вопрос!

— Лидона? — привычно прикрыв микрофон рукой, спросил Люсин. — Это я. Меня никто не спрашивал?

— Сейчас я соединю вас, Володя, — ответила секретарша. — Переключаю!

— Здоров! — В трубке послышался бас Шуляка. — Ты где?

— Далеко. Новости есть?

— Вагон и маленькая тележка. Во-первых, звонил твой парень, Глеб, стажер Яшкин.

— Ну-ну!

— Фоторобот оказался похожим на карточку. Те же женщины с Классона по ней его тут же опознали.

— Кого — его? Стекольщика этого?

— Ну да!

— Прелестно. Что еще?

— Крелин тоже заходил, тебя спрашивал. Дела у него швах. Порошок этот во многих местах применяют.

— Точнее нельзя?

— Больше двадцати учреждений.

— Ничего не поделаешь, придется проверить. Всех, кто не вышел на работу, взять на учет.

— Да ты знаешь, сколько времени на это потребуется? Кто этим заниматься будет? Людей и так не хватает!

— Я буду часа через два. — Люсин глянул на циферблат. — А ты пока составь полный перечень учреждений с адресами, телефонами и фамилиями начальства. Разделим между собою. Другого выхода я не вижу.

— Не управимся, Володя, все равно. Надо у генерала помощи просить.

— Там видно будет, попробуем... А пока сделай, как говорю. Глеба трогать не надо, а всем остальным адресочки раздай. Пусть сразу же едут. О каждом, кто не вышел на работу, запросить ГАИ на предмет мотоцикла «ява».

— Понятное дело, — недовольно прогудел Шуляк. — Еще будут ЦУ?

— Пока все. Счастливо тебе.

— И тебе тоже. Бывай!

Люсин повесил трубку, но не успел отойти от телефона, как прозвенел звонок.

Он безотчетно снял трубку:

— Слушаю.

— Квартира профессора Ковского? — Спрашивающий говорил с очень характерным акцентом, не то кавказским, не то среднеазиатским. — Можно его попросить к телефону?

— Кто это? — помедлив, тихо спросил Люсин и надавил клавиш подсоединенного магнитофона.

— Профессор? (Люсину показалось, что неизвестный обрадовался.) А мне сказали, что вы в командировке, не скоро будете, на той неделе звонить сказали!

— С кем я говорю? — так же настойчиво и тихо вновь спросил Люсин.

— Не узнаете? Вы меня не узнаете? — В голосе собеседника сначала послышалось недоверие, затем и растерянность. — Это не профессор? Не Аркадий Викторович?

— Пожалуйста, назовите себя.

— А вы кто такой? Куда я звоню? Это не квартира профессора?

— Ах, это вы! — Люсин принял решение. — А я вас сразу и не узнал! Откуда вы говорите?

— Что? — настороженно спросил неизвестный и тут же дал отбой.

«Смешно было бы надеяться, — подумал Люсин, еще прислушиваясь к частым гудкам. — Право, смешно».

Положив трубку на стол, он кинулся в квартиру напротив:

— Мне позвонить!

Достал записную книжку, нашел нужный телефон и набрал номер.

— Добрый день! Люсин говорит... Проверьте, с кем соединен телефон... — и назвал номер Ковских. — Как жизнь?

— А ничего! — весело ответили ему. — Сейчас проверим.

Что-то щелкнуло, наступила глухота, затем последовал еще один щелчок, и сразу же прозвучал голос:

— Из автомата возле метро «Фрунзенская».

— Я так и думал, что из автомата, — вздохнул Люсин, но в глубине души он остался доволен. Не бог весть какой успех, конечно, но все-таки... — Спасибо, — сказал он.

Поблагодарив хозяйку, он поспешил назад — не терпелось прослушать запись.

— Черт! — Он вздрогнул от неожиданности и тут же болезненно поморщился. Затаившийся в темном углу котик подстерег удобный момент и, точно тигр из засады, совершил меткий прыжок. Вцепившись Люсину в ногу, он полез по ней, как по дереву, победно и злобно урча и прижимая уши. — Да отцепись ты, проклятый! — прошипел Люсин, с трудом отдирая сиамского зверя, вонзившего широко растопыренные когти в тонкую дакроновую ткань.

Крохотные дырочки на брюках он попытался загладить пальцем, но, поймав заинтересованный взгляд Веры Фабиановны, сразу же как ни в чем не бывало выпрямился и заложил руки за спину.

— Играете? Ну-ну, — сказала она, закрыв за собой дверь. — Людмила Викторовна сейчас выйдет. А котеночка-то я сюда привела, чтоб ей не так одиноко было. Мой презент.

«Вот неугомонная старуха! — вздохнул незлобиво Люсин. — Вечно где она, там кошки и вообще всякая чертовщина».

— Я готова. — В коридоре появилась Ковская. Невзирая на жару, она надела черные кружевные перчатки. — Можно ехать. У вас ко мне вопросов не будет?

— Будет, Людмила Викторовна, как же без этого! — Люсин виновато поежился. — Но, я думаю, лучше потом? Не в такой момент?

— Если надо, я готова.

— Нет, уж лучше потом... Кстати, тот самый, с кавказским акцентом, о ком вы рассказывали, больше не звонил?

— По-моему, нет. — Она задумалась. — Определенно нет.

— Вы правильно надумали отвечать, что Аркадий Викторович в командировке. Если только вам не очень неприятно, продолжайте так говорить и впредь. Хорошо?

— Да, но какой теперь в этом смысл?

— Поверьте мне, что смысл есть. — Люсин заглянул ей в глаза: — Я прошу вас об этом как о дружеской услуге.

— Ну, если вы считаете, что это необходимо...

— Вот именно, необходимо. Спасибо вам. Идем? — Он потянулся к замку.

— Один момент. Я, кажется, забыла платок. — Она раскрыла сумочку. — Так и есть! Верочка, — она просительно улыбнулась Чарской, которая так и не ушла от дверей спальни, — Верочка, возьмите платок у меня на туалете.

— Вот, держите, — покровительственно проворчала Вера Фабиановна, с исключительным проворством выполнив возложенную на нее миссию. — Я и шкатулочку замкнула, а то не ровен час... Разве можно кольцами так разбрасываться?

— Людмила Викторовна, раз уж зашла речь, я бы хотел попросить ненадолго ваши камни, те, с которыми Аркадий Викторович экспериментировал. Денька на два.

— Хорошо, — важно наклонила голову Ковская. — Сейчас?

— Можно потом, — остановил ее Люсин. — Вас я тоже хочу просить о таком же одолжении, — обратился он к Чарской. — Они мне нужны в интересах следствия. Все будет возвращено в целости и сохранности.

— Своего я ничего не дам, — отрезала Чарская. — Если для дела надо, у Людмилы Викторовны возьмете. Ее камни прежде моих лечены были. Так что нечего...

— Но вы, помнится, говорили, что Аркадий Викторович не только излечил ваши драгоценности, но даже цвет их изменил? В частности, окрасил в голубой оттенок большой бесцветный топаз.

— Ничего такого я не говорила и сказать не могла!

— А вот Лев Минеевич... — начал было Люсин, проклиная в душе прижимистую старуху. — Он мне рассказывал...

— Не знаю, что вам рассказывал этот болтун и фантазер, — решительно оборвала его Чарская, — только не видать вам моих самоцветов как своих ушей! А Льва Минеевича вашего я больше к себе и на порог не пущу.

— Хорошо, — вынужден был согласиться Люсин. — Пусть будет по-вашему. Но хоть одним глазком дайте взглянуть на ваши раритеты! Объяснить, что сделал с ними Аркадий Викторович, вы можете?

— Знаю я вас, быстры больно! — не желала идти на компромисс старуха.

— Но, Верочка, — вмешалась Людмила Викторовна, — если интересы следствия требуют, то отчего не пойти навстречу Владимиру Константиновичу?

— Глупости все это! — буркнула Чарская. С одной стороны, ей было неудобно перед подругой, с другой — она вовсе не желала связываться с милицией, тем более в таком деликатном деле. И она стала плести откровенную галиматью: — Думаете, мне жалко? Или я за камни боюсь? Нет, нет и еще раз нет. — Она даже притопну-

ла. — Только вспомните, что Аркашенька наш говорил... — Она шмыгнула носом и жалобно заморгала, но глаза ее остались сухими. — Камни-то, они живые! Во как. И жизнь дающие! Чужой их и сглазить может, испортить навек. Как же я на такое пойду? На убиение жизни, на поругание тайны? — И чтобы перевести разговор на другое, осведомилась: — А мне можно будет с вами поехать на опознание?

— Полагаю, что присутствия Людмилы Викторовны вполне достаточно, — ответил Люсин и, повернув замок, открыл дверь.

— Я ее одну не оставлю! — Чарская кокетливо сложила губы бантиком. — Вдруг помощь какую оказать потребуется? Подбодрить?

— Боюсь, что это невозможно. — Люсин мстительно улыбнулся: — Положитесь на нас, Вера Фабиановна, мы доставим Людмилу Викторовну туда и обратно.

Ковская защелкнула сумочку и собралась было уходить, но игривый котенок дал волю охотничьему инстинкту и, выскочив из-под шкафа с минералами, цапнул ее за ногу.

— Чулки!.. — всплеснула руками Ковская. — Откуда здесь кошка?! — Она была неприятно изумлена.

— Я купила вам в подарок мальчика-сиамца, — сказала с легким укором Вера Фабиановна, не спуская с котеночка глаз. Предугадав его очередной маневр, она вдруг отчаянно завопила: — Закройте же дверь, ради бога! Убежит!

Люсин покорно исполнил приказание и, переминаясь с ноги на ногу, от нетерпения прислонился к косяку.

— Значит, это сюрприз? — без особой радости заключила Людмила Викторовна. — А что он кушает?

— Мясо, — подсказал Люсин.

— Для начала ему лучше дать немного молока, — авторитетно заявила Вера Фабиановна. — Только кипяченого, чтобы не заболел животик.

— Извините меня, Владимир Константинович. — На лице Ковской мелькнула вымученная улыбка. — Мы не могли бы чуть-чуть задержаться? Всего на десять минут. Я только вскипячу немного молока. Нужно же хоть накормить бедное существо.

— Я понимаю. — Люсин украдкой глянул на часы. — Буду ждать вас в машине.

— Зачем же? — запротестовала Ковская. — Нет, нет, так нельзя, вы же не шофер. Не угодно ли пройти в гостиную или в кабинет? Вы, кажется, в прошлый раз не успели там все осмотреть?

— Не беспокойтесь, Людмила Викторовна, я найду себе занятие. — Он отошел от двери и остановился у книжных полок, занимавших всю стену длинного коридора. — Здесь столько интересного...

Книг было много. И действительно интересных. Скользя взглядом вдоль разноцветных корешков, Люсин порой отодвигал стекло и брал с полки заинтересовавшую его книгу, бегло пролистывал ее и ставил на место. Порой внимание привлекали окантованные миниатюры, изображавшие неведомых богов, скорее всего индийских.

Не слишком разбираясь в сложном пантеоне, он делил их, для себя разумеется, на будд и на шив. Всех, кто, сидя на лотосе, улыбался отрешенной застывшей улыбкой, он относил к благостным буддам, многоруких же демонов почитал за воплощение великого разрушителя, олицетворяющего творческое начало Вселенной. Как ни странно, иногда он даже не ошибался. Перевернув одну такую миниатюру, выдержанную в синих тонах, он прочел на обороте: «Махакала. Непал, XVIII век (Охранительное божество. Согласно индуистской традиции, шиваитская форма, символизирующая всепожирающее время. 8,5×6,5 см)».

«Точно, Шива! — удовлетворенно подумал Люсин, разглядывая грозное шестирукое божество. — На слоне пляшет...»

Он бы очень удивился, если бы кто-нибудь сказал ему, что Шива-Махакала попирает не слона, а слоноголового мудрого бога Ганешу, которого родила от него всемогущая Парвати. Это могло бы совершенно спутать все его туманные представления об этике семейных взаимоотношений на индийском Олимпе. Но некому было просветить Люсина в ту минуту. Он с интересом рассматривал страшные атрибуты в руках Махакалы: венок из черепов, капкан для уловления грешников, нож григуг, чашу с кровью и барабанчик, которым Шива некогда пробудил спящее мироздание. От него не ускользнули и две точки — белая слева и красная справа — над объятой пламенем оскаленной головой владыки времени. Но то, что они означают Луну и Солнце, было ему невдомек. Люсину и в голову не могло прийти, что перед ним уникальная танка, на которой оба светила вопреки традиции изображены без лучевого ореола. Впрочем, будь перед ним даже сам древний оригинал, с которого скопировали миниатюру, он и тогда бы ничего не заподозрил, хотя там на белом и розовом кружках явственно видна паутинная сетка разгранки. Но оригинал хранился в далеком гималайском королевстве Бутан, и видеть его дозволялось лишь наиболее посвященным ламам, а Владимир Константинович, повторяем, несмотря на свою исключительную проницательность, был полнейшим профаном в тантрийских таинствах.

Он прислонил миниатюрку к зеленым корешкам собрания сочинений А. П. Чехова и задвинул стекло. Ему не дано было знать, что он прикоснулся к тайне, но, так ничего и не поняв, не почувствовав, равнодушно прошел мимо. Такое иногда случается. Порой даже очень мудрые люди, прожив долгую жизнь, умирают в полном неведении того, что оказались в свой звездный час в преддверии чуда, да только не заметили его, не узнали. И никого тут нельзя винить: ни судьбу, ни самого человека. Смешно было бы требовать от Люсина, чтобы он разбирался в тонкостях ламаистской иконографии. Он даже не знал, как и весь остальной мир, что в период «культурной революции» банды хунвэйбинов разгромили высокогорный тибетский монастырь, в котором хранились летописи, начатые в седьмом веке. Отпечатанные с досок, которые бесследно исчезли еще во время английской оккупации, они содержали рас-

сказ о преображении Ямы в Ямантаку, о том, как из белого рождается красное.

Люсин подошел к шкафчику с минералами, стоявшему в нише, но внутри было довольно темно, и он не стал любоваться образцами кристаллов и руд. За последнее время они встречались ему настолько часто, что успели порядком надоесть. Даже самые красивые, самые дорогие. Он едва ориентировался в их сложной классификации и очень часто не понимал, о чем вообще идет речь. Только успевал он постигнуть многообразие оттенков очередного семейства, как кем-то случайно оброненное слово возвращало его к первозданному хаосу полнейшего непонимания. Мало того, разверзшаяся бездна с каждым разом становилась все необъятнее. И Люсин с тоской твердил себе, что он туп и необразован, а потому никогда не разберется в этой сложной материи.

Ощущение было такое, словно ему предстоит сдать экзамен за целый семестр по чужим отрывочным конспектам, в которых все перепутано и недосказано. Оно преследовало его даже во сне. Видимо, сказывалось напряжение адовых дней. Свою лепту вносили и не остывшие еще воспоминания о сессиях, будь они неладны, на вечернем факультете, и малопонятные руководства по минералогии, которые он читал до глубокой ночи.

«Черт с ними, с этими сингониями, — бросал он, отчаявшись, книгу. — Нормальному человеку в этом не разобраться. Но откуда вдруг, когда все уже стало ясно, взялась эта восточная шайка — «восточные топазы», «восточные аметисты», «восточные изумруды»? Чем они отличаются от обычных? Только тем, что входят в семейство корунда? Но какие тогда настоящие, какие дороже?» И приходилось все начинать сначала: бериллы, шпинели, турмалины, семейство кварца... Хорошо еще, что алмазы, не в пример всем прочим, отличались завидным постоянством. Вокруг них, конечно, тоже нагородили много всякой ерунды, но ее хоть можно было понять. Никаких «восточных алмазов», по крайней мере, не существовало. И на том спасибо. Сумбур мыслей и чувств взметнулся в нем, едва только увидел он в затененной глубине шкафчика холодные отсветы кристаллических граней. Какая-то тревога зашевелилась; неуверенно он себя вдруг почувствовал, неуютно.

В довершение всего из кухни потянуло подгоревшим молоком, а он с детства ненавидел этот запах до отвращения.

Пришлось ему завернуть за угол и проскользнуть в кабинет. Он уже бывал здесь, но, как верно сказала Людмила Викторовна, не все успел рассмотреть.

Можно было, конечно, воспользоваться вынужденным ожиданием и продолжить знакомство с рабочим столом Аркадия Викторовича, но он чувствовал, что с него уже хватит непонятных богов, камней и растений, в которых он вообще не разбирался. Даже книги, а он считал себя книголюбом, начали его угнетать, потому что их было слишком много. Зато на таблице элементов, небрежно прикнопленной к стене, глаз отдыхал. Строгий порядок рядов и

групп успокаивал мудрой своей простотой Люсина, утешал. Бородатый Менделеев в правом верхнем углу как бы намекал ему, понимающе улыбаясь, что даже в самом несусветном хаосе, стоит лишь хорошенько потрудиться, можно отыскать известные закономерности.

Люсин взял стремянку и полез на верхнюю полку, где стояли пухлые черные папки с аккуратненькими наклеечками на корешках. Судя по надписям: «Алмаз», «Гранат», «Турмалин», «Шпинель» и т. д., это были досье, которые Аркадий Викторович завел на каждый из шестидесяти, согласно классификации Бауэра, самоцветов. Первой в ряду, как и положено, стояла папка с наклейкой «Алмаз». Люсин раскрыл ее и, присев на стремянку, принялся перелистывать оттиски статей, всевозможные выписки, вырезки из газет и журналов.

За короткое время он обогатил себя самыми разнообразными сведениями об алмазе. Сами по себе они были чрезвычайно примечательны и даже в наш век могли бы произвести на людей восторженных и склонных к доверчивости сильное впечатление. Но более расположенный к скептицизму, Люсин снабжал прочитанное комментариями несколько желчного свойства:

«Иван Грозный считал, что алмазы укрощают ярость и дают воздержание и целомудрие». («Как видно, товарищ их терпеть не мог».)

«Мария Стюарт постоянно носила при себе большой алмаз, дабы не стать жертвой отравления». («Шотландке это, кажется, удалось, поскольку ее всего лишь обезглавили».)

«Древние индусы разделяли алмазы, так же как и людей, на четыре касты: брахманов, кшатриев, вайшьев и шудр. В соответствии с этим белые кристаллы относились к брахманам, кристаллы с красноватым оттенком — к кшатриям, зеленоватые — к вайшьям и серые — к шудрам. («Неприкасаемых, конечно, и тут обошли».) Каждый из классов посвящался особому божеству».

Особенно позабавила его выписка из какого-то средневекового трактата:

«Алмазы растут вместе — один маленький, другой большой. Растут они без участия человека вместе, мужские и женские. Питаются они небесной росой и производят на свет маленьких детей, которые множатся и растут». («Подполковника Кострова бы сюда, а то он, бедняга, не догадывается, что бриллиантики сами собой растут, без участия человека».)

«Скипетр русских царей, представляющий собой жезл из чистого золота с семью бриллиантовыми поясками, увенчивает несравненный «Орлов», знаменитый алмаз весом в 195 каратов, пребывавший ранее в глазнице индусского идола Брамы». («Теперь мне понятно, откуда на Руси пошло идолопоклонство».)

Потом попалась на глаза зирокопия церковнославянской рукописи:

«Если камень алмас воин носит на левой стороне во оружиях, тогда бывает спасен от всех супостатов своих и сохранен бывает ото

всякие свары и от нахождения духов нечистых. Тот же алмас, кто его при себе носит, грежение и сны лихие отгоняет. Тот же алмас окори смертный объявит, аще к тому камени приближится, то потети начнет. Алмас пристоит при себе держати тем людям, кои страждут лунным страданием и на которых нощию стень находит. Алмасом камнем еще беснующегося человека осяжает, тогда та болезнь переменится». («Нет, теперь я вижу, что лично мне алмас-камень необходим куда больше, чем пушка в сейфе. Если не считать лунатизма и бесноватости, это про меня».)

Люсин читал теперь все бумаги подряд, и потому Людмила Викторовна оторвала его от увлекательного времяпрепровождения, когда он находился лишь в самом начале папки. Его познания об алмазах были, таким образом, вынужденно ограничены периодом ранней древности. Он не только не дошел до современных представлений об ионных и ковалентных связях, но даже не узнал, что впервые горючесть алмаза установили в 1664 году флорентийские академики. Так и пришлось ему застрять на уровне Плиния, разделявшего суеверие, что алмаз, стойко противостоящий двум неодолимым силам природы, огню и железу, легко, однако, размягчается от горячей козлиной крови.

Не без сожаления собрал он бумаги в папку, завязал ее и поставил на место.

Вера Фабиановна вышла проводить их на площадку.

— Что вы делаете, голубушка? — всплеснула она руками, когда Людмила Викторовна положила ключ под резиновый коврик. — Нешто так можно? А вдруг кто половик поднимет? В два счета квартиру обчистят.

— Ничего. — Ковская сосредоточенно искала что-то в сумочке. — У нас сигнализация.

— Да что она говорит! — возмутилась Вера Фабиановна и, призывая Люсина в свидетели, сказала, словно отрезала: — Обчистят как пить дать! И вообще, милочка, — она с подозрением глянула на подругу, — зачем вы это делаете, когда я в квартире остаюсь?

— Ах, извините! — Людмила Викторовна изящно присела и подхватила ключик. — Теперь это бессмысленно. — Она повернулась к Люсину: — Я оставляла ключи ему, пока могла надеяться... Даже потом, когда и надеяться стало не на что, я все-таки так делала. Из суеверия, для себя, так мне было легче.

— Я понимаю, — тихо сказал Люсин. — Прошу, Людмила Викторовна. — Он предупредительно распахнул железную дверь лифта.

— Да, теперь это бессмысленно. — Ковская бросила ключ в сумочку и защелкнула замок.

В машине Людмила Викторовна, которую сборы и суета с котенком несколько отвлекли, вновь оказалась наедине со своим горем. Глянув в зеркальце заднего обзора, Люсин увидел, что лицо ее искажено страданием. Она тихо плакала.

У площади Маяковского, где они были вынуждены пережидать обычный для часа «пик» автомобильный затор, он попытался развлечь ее рассказом о наполеоновских планах ОРУДа разрешить транспортную проблему. Но слушала она безучастно, из вежливости. Тогда он попытался затеять ожесточенный спор с Николаем Ивановичем, ярым болельщиком, о шансах нашей сборной против Бразилии, но спора не получилось. Оба они быстро сошлись на том, что еще неизвестно, как теперь будет без Пеле.

— Да, Пеле — это самородок! — подытожил Люсин с наигранным воодушевлением. — Все равно как Таль в шахматах. Вы интересуетесь шахматами, Людмила Викторовна? — Он повернулся к ней вполоборота.

— Аркадий Викторович играл только в карты. — Она всхлипнула и полезла за платочком. — В преферанс иногда.

— Превосходная игра! — одобрил Люсин. — Особенно мизер.

— Ну и пробочка! — подосадовал шофер. — Регулировщик, что ли, такой попался? Знай себе бегает между машинами, а все без толку.

— А ты погуди ему, Николай Иванович.

— Не, Константиныч, не надо... Не любят они этого.

— Ну, тогда так давай подождем. — Сдерживая нетерпение, Люсин постучал ногтем по часовому стеклу. День шел на убыль, а дел еще оставалось невпроворот.

Он попытался связаться по рации с Крелиным, но ему сказали, что тот заболел. «Зуб, — посочувствовал Люсин. — Значит, так и есть, сломался корень. Будут теперь долбить». Он взглянул на Ковскую. Она сидела, забившись в уголок, и не отнимала платка от глаз.

— Давно собираюсь спросить вас, Людмила Викторовна! — Он хлопнул себя по лбу. — Какие опыты производил Аркадий Викторович с цветами? — Он уже понял, что от горьких мыслей о смерти брата ее можно отвлечь лишь разговорами о нем, о том, каким замечательным, необыкновенным человеком он был. В такие минуты она как бы забывала, что его уже нет, восторженно и горячо говорила об Аркаше, как о живом человеке. Так было прежде, когда судьба Ковского еще не определилась, но надеяться на благоприятный исход уже не приходилось. Возможно, так же поведет она себя и теперь. — Мы не раз затрагивали с вами эту тему, но всегда как-то вскользь, бегло.

— В самом деле? — Люсин не ошибся: она проявила явную заинтересованность. — Неужели я вам не рассказывала?

— Как ни странно, но факт. — Люсин отрицательно помотал головой.

Он и впрямь не успел расспросить ее об этой стороне научной деятельности Аркадия Викторовича. Возможно, на него подействовало крайне скептическое отношение Фомы Андреевича, который как-никак считался авторитетом, но скорее всего было просто не до того. Каждую минуту появлялось что-то новое, неожиданное, требовавшее немедленной реакции, точного, без права на ошибку, ответа. С

чисто любительскими увлечениями Ковского, казалось, не стоило торопиться. В глубине души Люсин хоть и читал про яблоко Ньютона, разделял распространенное заблуждение, что главное, настоящее открытие делается обязательно в тиши научной лаборатории, а не за чашкой кофе и уж никак не на даче в Жаворонках, где и подходящих-то условий нет. Отрицательное впечатление произвели на него и дифирамбы, которые пел шефу Сударевский. Марк Модестович настолько взахлеб хвалил Ковского, его уникальный подход к познанию мира, что невольно закрадывалось сомнение в искренности подобных похвал. Уже в самой их чрезмерности крылось некое отрицание, намек не на достоинства, а скорее на слабости великого человека, которые следовало прославлять только из уважения. По крайней мере, у Люсина создалось именно такое впечатление.

Поэтому теперь, спрашивая об экспериментах с растениями, он не столько следовал профессиональному любопытству, сколько старался развлечь подавленную несчастьем женщину, которой искренне сочувствовал. Даже если бы она успела познакомить его с мельчайшими подробностями жизни Аркадия Викторовича, Люсин все равно нашел бы о чем стоило спросить еще. Тем более легко ему было сделать это теперь, когда он не знал о многом, в том числе о работах с растениями. Нельзя же было принимать всерьез ахинею, которую несла старая гадалка Чарская, про камень и древо, про Грецию и про Индию.

Он терпеливо ждал, когда Людмила Викторовна пожелает ответить, но она, уйдя в себя, отрешенно глядела в окно.

У детского магазина толпился народ. В каменной арке торговали помидорами и цветной капустой. Какая-то женщина несла кошелку с тугой зеленой гроздью бананов. Ее поминутно кто-нибудь останавливал — наверное, спрашивали, где купила. Ничего такого, на что бы действительно стоило поглядеть, на улице не происходило.

Неожиданно мигнул красными огоньками и стронулся с места троллейбус номер 12 впереди, зашевелились во втором ряду «москвич» и дипломатическая «вольво». Кажется, плотину прорвало. Николай Иванович тоже не стал дремать и, включив скорость, дал газ.

— Так как же насчет растений, Людмила Викторовна? — опять спросил Люсин.

— Видите ли, Владимир Константинович, — с усилием возвращаясь из своего далека, произнесла Людмила Викторовна, — Аркашенька открыл, что растения, все равно как мы с вами, чувствуют.

— Простите, не совсем понял.

— Что же здесь непонятного? Он доказал, что растения способны чувствовать и понимать. Когда их любят, ухаживают за ними, они радуются. Если их мучают — страдают. Совсем как люди.

— Как же он установил такое? — спросил, несколько опешив, Люсин. — Они же не говорят. — Чего-чего, но такого он не ожидал. Все-таки образованная женщина, не гадалка Вера Фабиановна.

— В том-то и дело, что говорят! — Людмила Викторовна немного оживилась и даже порозовела. — Аркашенька присоединил к

корням и листьям датчики, которые улавливают биопотенциалы, и вывел их на самописец. Представляете?

— Вон оно что! — Люсин припомнил проволоку, которая тянулась от опрокинутого с подоконника цветка к потенциометру. Кажется, в комнате были еще и другие горшки, опутанные медной, завитой в пружину проводкой. Все это обретало теперь неожиданный смысл. Его вновь поразило, как мало способен заметить невежда. — Теперь я, кажется, начинаю понимать. Но при чем здесь камни?

— Аркадий Викторович, сколько я его помню, всегда любил цветы. Никто не любил их так, как он. Он постоянно учил меня чувствовать душу растения. «Люси, — говорил он, бывало, — первыми богами человечества были Луна и Солнце, на смену им пришли камень и древо». Когда он начал изучать электрическую активность корней и листьев, то сразу же открылись удивительные вещи. У меня прямо пелена с глаз спала. Я вдруг увидела, что мои комнатные цветы, которые я, чего греха таить, порой даже полить забывала, действительно живые! Они узнавали меня и Аркашеньку, реагировали на наше настроение, откликались буквально на каждый чих. Аркашенька, когда я болела воспалением легких, принес в мою комнату горшочек с коланхоэ и записал все его реакции. Потом он сравнил показания самописца с моей температурой...

— Как так? — удивился Люсин.

— Что? — не сразу поняла вопрос Людмила Викторовна. — Как он это сделал? Просто вычертил кривую температуры и сопоставил ее с лентой, на которой были записаны биопотенциалы цветка. И представьте себе, пики почти совпали! Цветок чувствовал, что я больна, тревожился за меня, переживал.

— Даже переживал?

— А вы как думаете? Переживал. — Она назидательно погрозила пальцем: — Растение все чувствует... Аркадий Викторович приступил потом к опытам «Любовь — Ненависть» и доказал это со всей очевидностью. Только меня это уже тяготило. С тех пор как я узнала, что цветы все понимают, мне становилось не по себе, когда их начинали мучить.

— Мучить? «Любовь — Ненависть»? — Люсин заинтересовался всерьез.

Нет, эта женщина отнюдь не молола чепуху, как он было подумал вначале. Теперь он вспомнил, что еще два года назад прочел в английском журнале «Проблемы криминалистики» статью изобретателя «детектора лжи» Бекстера о его опытах с креветками и растениями. Теперь все становилось на свои места: датчики, самописцы, аквариум с пресноводными рачками, сосуд с подвижной крышкой. Все, что рассказывала Людмила Викторовна об экспериментах Ковского, было правдой. Она грешила против истины только тогда, когда незаслуженно приписывала брату чужие открытия. Восстановив в памяти статью Бекстера, Люсин понял это со всей очевидностью. Но он понял и другое: всю глубину привязанности, которую испытывала к брату одинокая, обделенная простым человеческим

счастьем женщина. Всю жизнь ей светило одно солнце, которое ныне закатилось навсегда. Всем своим существом Люсин вдруг ощутил безмерность постигшего Людмилу Викторовну крушения, и ему стало страшно за нее. Сумеет ли она устоять, приспособиться к ожидающей ее пустоте, найти или хотя бы просто придумать смысл дальнейшей жизни? Истина, кто установил первым, что у растений есть нервная система (а именно об этом и писал Бекстер в авторитетном американском журнале), казалась совершенно не существенной. Люсину не было до нее дела. Какая разница?

— Любовь и ненависть, — задумчиво и уже без вопроса повторил он. — Как он ставил свои опыты?

— Подробностями я не очень интересовалась. — Ковская убрала выбившуюся прядь волос под траурную косынку. — Они были мне неприятны. Знаю только, что роль злодея всегда играл Марик, Марк Модестович, а Аркашенька, как и прежде, лелеял наши цветочки, он олицетворял любовь. Уверена, что он просто не смог бы причинить страдание живому существу.

— А Марк Модестович смог?

— Это требовалось для науки.

— Между прочим, он так вам больше и не позвонил?

— Какое это может иметь значение? — Она взглянула на Люсина так горько и безнадежно, что он поневоле отвел глаза.

— Возможно, — кивнул он, испытывая безотчетную неловкость и сопротивляясь ей. — Как же мучил растения Сударевский?

— Лучше не спрашивайте! Прижигал сигаретой, ошпаривал кипятком, раздражал током от электрической батарейки...

— А ваш брат записывал реакции?

— Бывало, начну их стыдить за такую жестокость, но они оба только смеются. Марик отшучивался, что собак и кроликов резать куда хуже. Какая разница, говорю, если цветы тоже живые? Если и они чувствуют?.. Но Аркадий, конечно, прав: наука невозможна без жертв.

— А креветок кто убивал?

— Аркашенька. — Она потупилась, но тут же с запальчивой непоследовательностью возразила: — Он же исследователь, в конце концов! Не толстовец какой-нибудь!

— Конечно, Людмила Викторовна. — Люсин повернулся к ней, положив руки на спинку кресла. — Конечно... Интересы науки требуют. Ваш брат все очень правильно делал. Но мне надо точно разобраться, что к чему. Вы понимаете?

— Не знаю, право... Теперь мне все равно.

— Но если речь идет о преступлении?

— Пусть... Аркашеньку все равно не воскресить.

— Но дело его не должно погибнуть!

— И это уже неважно.

— Нет, важно! — Люсин отчетливо сознавал, что ему нечем ей возразить, но все-таки искал подходящие слова. — Он бы порадовался, если бы узнал, что труд всей его жизни не пропал даром, —

сказал Люсин со всей убежденностью, на которую только был способен, сознавая при этом тщету и беспомощность своих слов. — Уверяю вас, он бы порадовался.

— Вы в самом деле так думаете? — встрепенулась она.

— Не сомневаюсь!

— Мне Аркашенька говорил, что со смертью кончается все. — Она смахнула слезинку.

— Да? — У Люсина перехватило дыхание, и он не нашелся что сказать. Помедлив, задал первый пришедший на ум вопрос: — Как они умерщвляли креветок? — Возможно, это действительно его интересовало, и подсознательно он думал об этом с тех самых пор, как увидел впервые на даче в Жаворонках аквариум и банку возле него. Теперь, когда он догадался, для чего нужна подвижная опрокидывающаяся крышка, начало казаться, что в тот первоначальный момент он тоже все или почти все понял. — В банке? Рядом с растением?

— Да. Иногда в банку наливали кипятку, иногда хлороформ.

— И цветок реагировал?

— Еще как! Взрывом! Аркаша назвал характерный двойной всплеск на ленте пиками негодования и тоски.

— Приехали, — деликатно намекнул шофер.

— Действительно! — Люсин глянул в окно. — А я и не заметил... Приехали, Людмила Викторовна, — ободряюще кивнул он.

— Я должна буду выйти? — Она испуганно сжалась на заднем сиденье. — Сейчас я увижу его? Нет, нет! Я боюсь, не могу, этого я не перенесу... Мне нужно собраться с силами.

— Хорошо, — грустно согласился Люсин. — Давайте посидим просто так.

Глава третья

ЖУРНАЛИСТСКИЙ ПОГРЕБОК

Погребок Дома журналистов, как всегда, был забит до отказа, не протолкнуться. В жарком, прокуренном воздухе дышалось с трудом. Табачный дым висел под низким потолком малоподвижной облачной пеленой. Запах свежеподжаренного арахиса явственно перешибал стойкий бродильный дух. Но ради запотевшей кружки холодного, упоительно свежего пива стоило пойти на кое-какие жертвы.

Люсин и Березовский топтались в «предбаннике» возле бочек и зорко следили за столиками. Но, судя по количеству полных кружек, никто в обозримом будущем уходить не собирался.

— По-моему, нам не светит. — Люсин огорченно поскреб макушку. — Как полагаешь?

— Очередь продвигается, отец. — Березовский присел на каменную ступеньку. — В крайнем случае можно и стоя. По кружечке.

— Что — по кружечке? — Люсин сунул ему под нос завернутую в газету воблу: — А это? Нет уж, братец, ты как хочешь, а мне нужен столик. Я, может, целый год этого ожидал. Да и покалякать хочется. Генрих придет?

— Обещал подгрести, как освободится. У него сейчас приемные экзамены.

— Мне, что ли, податься в Академию общественных наук? — Люсин критически оглядел проступившие на бумаге темные пятна жира и, положив пакет на бочку, брезгливо понюхал пальцы. — А воблочка-то свежая, так и сочится.

— М-да, хорошо бы! — Березовский проглотил слюну. — Знаешь, почему здесь сегодня вавилонское столпотворение?

— Знаю, — уверенно кивнул Люсин. — По причине жажды.

— Нет, я серьезно.

— И я серьезно. Жажда доводит людей до остервенения. Научный факт.

— Оно конечно. Только есть еще одно привходящее обстоятельство: какой-то трепач распустил слух, что будут раки.

— Раков, для твоего сведения, кушают только в месяцы с буквой «Р». Поэтому раньше сентября не надейся.

— Ты бы лучше этим гаврикам объяснил, — посоветовал Березовский, кивнув на очередь вокруг стойки.

Отсутствие раков, воблы, моченого гороха и прочих классических закусок ничуть не влияло на настроение очереди. Журналисты в бодром темпе накладывали себе на тарелки бутерброды и крутые яйца, передавали по цепочке на дальние столики картонные блюдечки с арахисом и просоленными черными сухариками.

— Как бы все пиво не выдули, — оценил ситуацию Люсин.

— Стоп, старикан! — навострился Березовский. — Айн момент! — Он бросился, как напавшая на след гончая, к длинному угловому столу, где сидела компания человек в десять.

Последовали короткие рукопожатия, обмен мнениями по актуальным вопросам, и вскоре он уже призывно махал томящемуся в «предбаннике» Люсину.

На длинной скамье у стенки нашлось одно место. Люсин втиснулся туда хоть и с трудом, но прочно, а Березовский затесался в очередь. Кто-то из пирующих небожителей молча подвинул Люсину кружку. Она была скользкая и холодная, и пена в ней еще не успела осесть. Он так же молча принял дар и, отпив единым духом добрую половину, небрежно выбросил на всю компанию две здоровенные воблы. Когда Березовский вернулся с полными кружками, от воблы не осталось и следа.

Дальше у Люсина с Березовским все пошло как в сказке: свое место, свое пиво и деликатесы высшей категории. Под вязкую, как жевательная резинка, пронзительно соленую икру и копченый пузырь хорошо было вспомнить Мурманск: шашлык из зубатки, полуметровых омаров и жаренные в кипящем масле хвосты лангуст. Утолив первую жажду, разговорились «за жизнь».

— У тебя окно? — довольно отдуваясь, спросил Березовский.

— Как тебе сказать... — Люсин поставил кружку. — По правде говоря, я уже давно не был так занят, как сейчас. И чем дальше в лес, тем больше дров. Ни рук, ни головы уже не хватает, а концов не видно.

— Так-то уж все плохо? — хитро прищурил глаз Березовский.

— Нет, кое-что я, конечно, знаю, Юр, но, думаю, это не главное.

— А что главное?

— Вокруг него-то я и брожу с завязанными глазами, так сказать, смыкаю узкие круги.

— Потом пиф-паф и цап-царап. — Березовский наставил на него палец. — Руки вверх, а то буду стрелять! Брось шпайер! Твое здоровье! — Он поднял кружку.

— Угу, — хмыкнул Люсин. — Во-первых, «шпайер». Это из репертуара молодого Утесова. Сейчас говорят «пушка», «пушечка», «пуха».

— Учусь на ошибках, хоть они и мелочи.

— Верно, Юр, мелочи. — Люсин промокнул губы бумажной салфеткой. — Сугубо доверительно могу сказать, — он отвалился от стены и, положив локти на стол, придвинулся к Березовскому, — только тебе и никому больше, что свою пуху я только однажды брал из сейфа.

— Парадокс.

— Нет, Юр. — Люсин лениво шелушил зерна арахиса. — Просто мне всегда почему-то перепадали такие дела, где нет ни стрельбы, ни засад, ни погони. У других ребят этого было вдосталь, а меня как-то миновало.

— Ты жалеешь об этом?

— Я? Жалею? — Люсин даже рассмеялся. — О чем тут можно жалеть? Преступники тоже люди, а в человека нелегко выстрелить, Юр. Я могу лишь радоваться тому, что пока — тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, — вызывал к себе по повестке, а не арестовывал с пистолетом в руках.

— Странно. Я всегда считал, что ты в своей конторе на первых ролях. Да так ведь оно и есть! Разве дело с «Ларцом» рядовое?

— Мы говорим о разных вещах. Острота и сложность нашей работы не определяется числом стреляных гильз. Возьми ребят из УБХСС! У них редко случаются горячие сюжеты, которые так любит ваш брат писатель. Кажется, что они занимаются наискучнейшим делом: проверяют счета, поднимают накладные, копаются в толстенных бухгалтерских книгах...

— Ладно, папа. — Березовский подвинул ему новую кружку. — Меня можешь не агитировать. Я тоже кое-что соображаю; премного наслышан. Лучше расскажи про себя. Если ты доволен, что твоя пушка ржавеет в сейфе, то я только рад за тебя. Лишь бы тебе хорошо было, а остальное приложится. Но ты, наверное, подыхаешь со скуки?

— Мне грех жаловаться на судьбу. Я только теперь по-настоящему начал понимать, что значит быть сыщиком. Вхожу во вкус.

— Поделись, если можешь. За мной не пропадет.

— Не сомневаюсь. Жаль только, что ты малость отвалил от нашей тематики, куда-то на Восток подался, в древность...

— Хитришь, старичок! — Березовский размочил в пиве соленый сухарик. — Ой, хитришь! Говори прямо, куда нацелился? Без политеса.

— Никуда. — Люсин сделал удивленное лицо. — Просто к слову пришлось.

— Есть что-нибудь интересное?

— Для тебя?

— Для Ги де Мопассана! — рассердился Березовский. — Чего крутишь?

— Э, братец, на глотку меня не возьмешь. Пустой номер, так допрос не ведут.

— А как? — кротко спросил Березовский. — Как ведут допрос? В чем смысл этого искусства? Поглядите на этого нового центуриона, как он обрабатывает за кружкой пива лучшего друга! Намеки, подозрения, интригующие недомолвки... А зачем, спрашивается?

— Да, Юр, зачем?

— Просто ты хочешь, чтобы я клюнул на твою тухлую приманку. Ну ладно, хорошо, считай, что ее уже заглотил, как ерш, до самой селезенки. Березовский крепко сидит на крючке. Можете дергать за лесу, майор, не бойтесь, он не сорвется.

— В чем я допустил ошибку, Юр? — Люсин показал, что готов сдаться.

— Видишь ли, наши с тобой рандеву уже трижды срывались по причине твоей патологической занятости. Так?

— Допустим.

— А сегодня ты вдруг смог. Я поневоле насторожился. И, как видишь, недаром. Разве тебе здесь не нравится? Или мы плохо сидим?

— Хорошо, Юр, превосходно сидим.

— Но ты сам проболтался, что никогда еще не был так загружен. Говорил?

— Говорил.

— Как тогда прикажете вас понимать? Вы здесь со мной по долгу службы или как? — Березовский с надменным видом дуэлянта, бросающего перчатку, швырнул на стол обглоданный рыбий скелет. — К барьеру! Ваш выстрел, секунд-майор!

— Нет, — покачал головой Люсин и щелчком отправил скелет обратно. — Я уже сдался на милость победителя и признаю твое умственное превосходство.

— Кыш! — Березовский взмахнул рукой, словно отгонял надоедливую муху. — Я хоть и писатель, но не падок на лесть.

— Какая уж тут лесть! Готов поспорить, что у тебя коэффициент интеллекта не ниже, чем сто восемьдесят.

— Почему именно сто восемьдесят, отец?

— У меня сто семьдесят.

— Это много?

— Очень много, Юр, — пресыщенно вздохнул Люсин. — Но, клянусь всеми льдами экватора, я шел к тебе без всякой задней мысли. Если бы ты только знал, как я закрутился! Сегодня утром проснулся с твердым намерением утопиться.

— Конечно, в соленой воде?

— В ванне, — отрезал Люсин. — Но дело не в том. Нужна хоть какая-то разрядка. Чувствовал, что больше не выдержу. Вот я и предложил сбежаться. Генрих хоть придет?

— Обещал.

— Да. — Люсин прикрыл глаза и кивнул. — Люблю я Генриха.

— А меня, старик?

— И тебя.

— Тогда отвечай сей момент, паршивец! — Березовский шлепнул рукой по столу, который после того, как уборщица вытерла его влажной тряпкой, сверкал, как школьная доска до начала урока. — Говори, в чем искусство оперативника?

— Искусство? Кто сказал — искусство?

— А если серьезно?

— Если серьезно, то, пожалуй, искусство. Прежде всего искусство задавать вопросы, точно и неожиданно их ставить, затем умение слушать, ничего не пропуская, способность сопоставлять несопоставимое и, наконец, привычка держать в голове тысячи мыслимых и немыслимых вариантов, пока кто-то другой раскладывает за тебя пасьянс. Последнее как раз утомляет больше всего.

— Но что же здесь главное?

— Природный талант вести беседу. Этому действительно научиться трудно. Остальное дело наживное.

— Какую беседу ведем мы с тобой сейчас?

— Обоюдополезную, я полагаю. Ты пытаешься вытащить из меня то, что я и так с радостью готов тебе выложить, а я размышляю, как бы мне тебя заарканить. Такой вариант тебя устраивает?

— Пожалуй, старик, пожалуй... Правда, один крокодил тут недавно проливал слезы и клялся, что задыхается без дружеского общения...

— Погоди, Юр! — запротестовал Люсин. — Намерения у меня действительно были самые благородные, но в ходе беседы, понимаешь, возникла одна идейка...

— Недаром же ты говоришь, что главное для тебя — беседа!

— С мудрым человеком и сам становишься мудрее.

— Уж не собираешься ли ты снова взять меня в свою упряжку?

— Почему бы и нет? — Люсин сделал вид, что эта идея только что пришла ему в голову. — Было бы славно... Поможешь мне кое в чем, а потом напишешь книгу. Еще лучшую.

— Карты на стол, отец.

— Не пойдет. — Люсин лениво пососал соленую корочку. — Я уже сказал тебе, что пасьянсы раскладывает кто-то другой.

— Но хоть приблизительно ты можешь сказать, в чем ситуация?

— Нет, Юр, это тебе ничего не даст. Ну найден труп на болоте, ну обложили предполагаемых убийц... Тебе это что-нибудь говорит? То, что для нас является повседневной работой, для тебя мелковато. Ты же другого хочешь. Чего-нибудь позаковыристей. Или я ошибаюсь? Чего молчишь?

— Жду. — Березовский, с трудом подавив улыбку, закрылся кружкой. — Жду, когда ты кончишь валять дурака.

— Валять дурака? Что ты, Юрочка! Мы же еще не начинали бороться.

— Что ты собираешься мне поручить?

— Исторические изыскания, разумеется. Как всегда.

— Это интересно?

— По-моему, очень. Но вполне возможно, что я и ошибаюсь. Не исключено, хотя и маловероятно, что здесь обычное уголовное дело и все наши поиски пойдут прахом, как только милиция возьмет двух субчиков, которые затаились в лесу.

— Я ничем не рискую. Разойдемся как в море корабли.

— Вот и расчудесно. По рукам?

— Идет. Что я должен делать?

— Сначала настройся. Представь себе, Юр, что тебя интересует сейчас не Средняя Азия седьмого века, как ты говорил, а Индия, Греция, Тибет какой-нибудь... Древность, культ камней и растений, короче говоря — фетишизм. Вникаешь?

— С трудом.

— В том-то и беда, что здесь все так неопределенно. — Люсин скомкал салфетку и бросил ее в пепельницу. — Представь себе человека, ученого. Он глубоко эрудирован, разносторонне образован, в какой-то мере почти гениален. У себя в лаборатории занимается синтезом монокристаллов: рубинов, сапфиров и тому подобное. На самом высоком, как принято говорить, научном уровне. Зато дома он вытворяет странные вещи.

— Например?

— Собирает древние рецепты алхимиков, выписывает из священных книг легенды и мифы, в которых фигурируют драгоценные камни...

— И это тебе кажется странным? — Березовский иронически улыбнулся.

— Погоди, Юр. Я понимаю, что в моем пересказе все предстает весьма банально. Я умею слушать, но не рассказывать. — Люсин задумался. — Давай попробуем зайти с другой стороны. — Он вынул записную книжку. — Ты знаешь о последних опытах с нервной системой растений?

— У растений есть нервная система?

— Выходит, что так... Как-нибудь я тебе расскажу об этом. Не теперь.

— Хочешь еще? — спросил Березовский, сдвигая на край пустые кружки.

— Подождем Генриха. — Люсин встал и огляделся. В баре стало просторнее. Соседи за их столом уже сменились. — Выпьем с ним еще по одной, и баста.

— Что так, отец?

— Работать надо, дорогой товарищ.

— Продолжим наши игры.

— Что бы ты сказал про человека, который ошпаривает кипятком комнатные цветы, прижигает их листья сигаретой, раздражает их током?

— Маньяк.

— И попал бы пальцем в небо.

— Исследование нервной системы растений?

— Он записывал биопотенциалы корней и листьев. Они резко меняются, когда, например, рядом убивают живое существо.

— Ого! Это уже товар!

— Клюнул?

— Давно, отец, но нельзя ли поподробнее? Неужели ты не можешь все как следует растолковать?

— Попробую... Но потом. Хочешь заедем ко мне?

— В контору?

— На пару часиков.

— Но у меня нет паспорта.

— Ничего, как-нибудь проведу.

— Если тебе, новый центурион, что-нибудь нужно, все нипочем! Попробовал бы я пройти к вам без паспорта по своей нужде, по частному делу!

— Приходи, хоть завтра. Пропустим.

— Чем еще занимается твой корифей?

— Не надо о нем так, — посуровел Люсин. — Он умер.

— Прости, старик. Я не знал.

— Он собирал старинные книги, изображения Будды и Шивы, в его доме много цветов и камней.

— Какие это цветы?

— Вот! — Люсин торжествующе раскрыл записную книжку. — Наконец-то! Я ждал этого вопроса. — Он придвинулся к нему почти вплотную. — Мне нужна твоя ясная голова, Юра. Сам я в этом ни бум-бум. Во-первых, скажи мне, что такое бонсаи?

— Карликовые деревья. Их выращивают на Дальнем Востоке, в Японии например. Я видел платаны, дубы и сосны, которым было по триста — четыреста лет, хотя росли они в фарфоровых вазах. Бонсаи прекрасны. Это большие деревья крохотной, лилипутской страны. Они ведь даже плодоносят. Во Вьетнаме я чуть было не купил карликовый мандарин.

— У него есть дуб, лавр, мирт и маслина. Все они растут в горшках на подоконнике.

— Значит, это бонсаи.

— А баньян?

— О, старик, это сказочное тропическое дерево! Гигант лесов, ствол которого из-за вросших в землю воздушных корней похож на лабиринт. В тени баньяна может жить целая деревня.

— Его баньян не даст тени и для котенка.

— Тогда это тоже бонсаи, хотя я не слышал, чтобы баньян выращивали в комнате. Какие еще растения у него были?

— Были... Да, Юр, именно были... Дерево дай, коланхоэ, индийский лотос, гинкго и сома. Тебе это что-нибудь говорит?

— Ты ведь сам настроил меня на определенную волну? Естественно, что я тут прослеживаю тенденцию.

— На это я и надеялся, Юр, — удовлетворенно вздохнул Люсин. — Что за тенденция?

— Лавр, мирт и маслины — священные деревья древних греков, дубу поклонялись друиды и германцы, из сомы варили напиток бессмертия боги арьев, а лотос и ныне почитают миллионы буддистов. Это вкратце.

— А более полно?

— Нужно исследовать каждый отдельный случай. Маслину, например, обожествляли в Иудее, лотос — в Древнем Египте. Гинкго — реликт третичного периода. Кажется, ему придают какой-то смысл в Юго-Восточной Азии.

— Ты не сказал про коланхоэ, про дерево дай.

— О них я слышу впервые.

— Займешься, Юрок?

— Конечно. Мы же договорились.

— Попробуй поискать связь между священными деревьями и драгоценными камнями. Ладно? Особое внимание обрати на алмаз, на окрашенные его разновидности: красные, голубые...

— Слушай, старик! — схватившись за голову, вдруг прошептал Березовский. — Уж не возвращаемся ли мы к сокровищам катаров? Помнишь стихи: «Отличный от других алмаз, бордоское вино с водою»!

— Ничего я не знаю, Юра! — осадил его Люсин. — Даже намека и то нет. Поэтому не увлекайся. Лучше действуй в указанном направлении.

— Так ведь и направления нет?

— Это уж ты сам решай, есть или нет. Грецию и Индию ты сам назвал, я тебя за язык не тянул. Про сому, из которой напиток бессмертия делают, я тоже от тебя первого услышал.

— А ты, выходит, здесь ни при чем? Как Понтий Пилат?

— Нет, Юр, я только подтолкнул тебя чуточку дальше. Сориентировал на камень и древо. Подработай мне эту часть, пожалуйста. — Люсин вырвал из книжки листок, на котором были записаны названия растений. — А, Юрок? На-ка, возьми.

— Что еще тебя интересует?

— Пока все. Уверен, что тебе будет интересно. Не зря время потратишь, внакладе не останешься.

— Ну и хитер же ты, папочка! — Березовский спрятал листок в бумажник. — Я сильно подозреваю, что ты подсунул эту амриту

только затем, чтобы заставить меня хорошенько попотеть. Это как охапка сена над головой осла. Губами не дотянуться, вот и приходится бежать. Только ведь не догонишь. Сено, понимаешь, на тележке к шесту привязали, а тележку осел тянет, не догадывается.

— Ну, ты-то явно соображаешь. Только напрасны твои упреки и подозрения. Я даже не знаю, что такое амрита.

— В это я могу поверить, — кивнул Березовский. — Но суть не меняется.

— Когда я покажу тебе кое-какие документы, Юр, познакомлю с некоторыми вещественными доказательствами, тебе станет стыдно. Ты поймешь, упрямый бич, что я пекусь только о твоих интересах. Очень мне нужно заманивать тебя? Посуди сам? Может, конечно, ничего и не получится, голову на плаху не положу. А если получится? Что тогда? Локти же кусать будешь, с кулаками на меня накинешься, что такое дело проморгал. Разве нет?

— Будет тебе. Не трать лучших перлов красноречия, отец. Я уже завербован, и дороги назад мне нет. С этого дня считай меня своим подчиненным. Все архивы для тебя перекопаю, все библиотеки.

— Для начала скажи мне, что такое амрита.

— Тот самый напиток бессмертия, который, согласно Ригведе, варят из сомы.

— Ригведа?

— Индийская священная книга.

— Очень хорошо! — Люсин нашел в своей книжечке нужное место. — Первое попадание. Послушай теперь, что я вычитал в его архивах: «Ригведа упоминает о многих драгоценных камнях. Особенно часто в ней говорится о кристаллах красно-вишневой гаммы. По преданию, они являются каплями крови борющихся в небе богов. Кровь стекала на горячий песок Ганга и, застывая, превращалась в самоцветы. Другая легенда говорит о том, что драгоценные камни — это капли амриты, дарующей бессмертие ведическим богам и героям. Ревнивые боги не подпускали людей к священной чаше. Лишь случайно капли амриты могли пролиться на землю, но, пока они долетали до нее, божественная сущность успевала улетучиться. Люди находили лишь твердые камни, утратившие волшебную силу. Но зато они были прекрасны».

— Минуту назад ты спрашивал меня про амриту, — заметил Березовский, когда Люсин захлопнул книжечку.

— Из тебя выйдет следователь, Юра. Ты умеешь слушать, сопоставлять и хорошо запоминаешь услышанное.

— Ладно, все это пустяки! Главное — что дело действительно вырисовывается увлекательное... Так ты сознательно нацеливаешь меня на Индию?

— Ты сам решай, как лучше. Мое дело, как говорится, задание сформулировать и не закрывать простор для личной инициативы. Но, по-моему, Индия как раз то, что надо. Это вытекает из некоторых обстоятельств дела. Оно, по-видимому, как-то связано с алмазами, а они, Юр, по крайней мере все знаменитые бриллианты

древности, происходят именно из Индии. В Южной Африке и в Австралии их в новое время добывать стали, в наш век. Это я недавно просветился, как раз в связи с делом... Про якутские кимберлитовые трубки ты и сам, наверное, знаешь. Они начали разрабатываться уже после войны. Так, методом исключения, мы прокладываем курс на Индию. Только она и остается. Хочешь не хочешь, а стрелка указывает на Голконду. Но ты действуй, как сам считаешь нужным, соображай.

Березовский хотел было что-то возразить, но не успел, потому что в бар влетел Генрих Медведев с огромным саквояжем в руках.

— Ребятки! — радостно провозгласил он чуть ли не с порога. — Что я принес! — Пробившись к столу, за которым сидели Березовский и Люсин, он, позабыв даже поздороваться, стал выгребать из саквояжа воблу, нанизанную на почерневшую от жира веревку. — Ну и не виделись же мы с тобой, старый черт, бог знает сколько! — Он хлопнул Люсина по затылку и, садясь рядом с Березовским, сказал: — Сшустри-ка за пивком, Юрка, а я передохну малость. Всю дорогу бежал.

— Пока он принесет, я схожу звякну. — Поднимаясь, Люсин почувствовал, что устал. — На меня небось уже всесоюзный розыск объявили.

Он поднялся в холл, посмотрел на себя в зеркало и занял очередь к телефону. Потом, сообразив, что может позвонить и по автомату, нащупал в кармане двушку и завернул за угол.

— Меня кто-нибудь спрашивал? — задал он свой коронный вопрос секретарше Лиде.

— Одну минуту! — Без лишних слов она переключила его на Шуляка.

— Ты где сейчас? — первым делом спросил тот. — Далеко?

— Так, в одном месте, — уклончиво ответил Люсин. — Что-нибудь стряслось?

— Сейчас только установили, что электрик шестьдесят второй больницы Потапов Виктор Сергеевич, ранее судимый за квартирную кражу, пятый день не выходит на работу. У него, между прочим, есть мотоциклет «ява» за номером восемьдесят шесть — сорок пять МОВ. Чуешь?

— Больше никого не обнаружилось?

— Нет, хотя проверили все.

— Тогда это он, и нечего больше ломать голову.

— Глеб просит дать «добро» на операцию.

— Пусть начинают! — одобрил Люсин. — Сегодня в ночь. Все, как договорились.

— Ты не поедешь?

— А что мне там делать? Без меня не справятся?.. Постой-постой! Это какой же Потапов?! Уж не мой ли подшефный?

— Чего не знаю, того не знаю.

— Ну да, так и есть! Он самый. Я же его и устроил в шестьдесят вторую больницу! Что ты на это скажешь?

— Тебе видней.

— М-да, и на старуху бывает проруха. Придется самому ехать. Ничего не поделаешь. «Меа кульпа», как говорили римляне: моя вина. Пришли мне машину.

— Куда?

— Дом журналистов знаешь?

— А то!

— В пятнадцать часов, — сказал Люсин, посмотрев на часы.

У него оставалось еще достаточно времени, чтобы побыть с друзьями. Когда-то они еще смогут спокойно посидеть все вместе...

Спускаясь вниз, он подумал, что надо будет посоветоваться с Генрихом, кому можно послать работу Ковского и Сударевского на отзыв. Если дело стоящее, то пропасть не должно, что бы там ни случилось. Генрих хоть философ, а не химик, но знает многих. Он, надо надеяться, присоветует...

— Вот и я! — сказал Люсин, усаживаясь на свое место. — Что нового в философской науке, Генрих? Как съездил?

— За морем житье не худо, — сказал Генрих, принимая из рук Березовского кружки и блюдечко с сухарями. — Но дома лучше.

Глава четвертая

ТРУБНЫЙ ГЛАС

Детство приснилось Стекольщику. Будто бежит он во ржи, разводя руками колосья, и васильки срывает себе на венок. Тишь, благодать кругом. Солнце в росинках слепит, зеленые кузнечики стрекочут, жаворонок в поднебесье заливается, ликует. А из-за реченьки, где меж холмов город тихий Пропойск, благовест плывет. Как услышал маленький Фролка колокольный тот перезвон, так сразу душой воссиял. Рубашонку на себе одернул — другой одежи на нем вроде как и не было в дивном сне, — васильковый веночек надел и поплыл, ножками босыми земли не касаясь, к той самой горе, где луковка колокольни сквозь ракиты посверкивала. И так хорошо было Фролу, так спокойно, что он даже заплакал от умиления. Затосковала душа по невозвратимым денечкам младенчества, по утраченной чистоте. Но чудесным образом благовест воскресный обернулся звяканьем стальных цепочек на собачьих ошейниках, а поле ржаное в зону преобразилось, и больше не видел себя Фрол Зализняк бесштанным ангелочком, потому как предстал перед внутренним оком его угрюмый мужчина в ватнике и резиновых сапогах. Все в нем затряслось и запротестовало против разительной сей перемены, которая случилась потому лишь, что само собой родилось в нем непонятное жуткое слово: лесоповал.

Фрол рванулся бежать от самого себя, чтобы только не услышать это пока не произнесенное вслух слово, но небеса тут пошли черными трещинами, и путь ему преградил архангел с мечом.

— Выходите, выходите, Зализняк! — грозно прокричал в мегафон архангел и светом нездешним хлестнул по глазам.

Фрол застонал и попытался закрыться рукой, но небесный серафим властно звал его душу и, не жалея, лил потоки золотого огня. И не то чтобы испугался Фрол повелительного зова, а ослушаться не посмел. Хоть не стращал его чудный гость небесными карами и мечом своим не грозил, ясно стало Зализняку, что делать нечего, надо выходить. И он вышел, одинокий, как перст посреди океана, на голос суровый, но не беспощадный, а даже с некоторой насмешечкой над его, Фрола, дурацким и безвыходным положением.

«Вон он я!» — мысленно отозвался грешник и головой поник.

Тут завертелись небесные колеса вокруг, все закружилось, понеслось, Фрол осознал магическое слово «лесоповал» и с большим облегчением вспомнил, что на этом самом лесоповале было ему очень даже неплохо и день там за два шел. Но не успел он догадаться, что все с ним случившееся всего лишь сон, как его захватила такая явь, перед которой померкли ночные страхи.

Световые вспышки, ветер и грохот обрушились на Стекольщика. Он вскочил на ноги и, жмурясь от голубоватого дымящегося сияния, невольно зажал уши. Но оглушительный стрекот над головой не выпускал его из страшного круга, и бьющий сверху косой прожекторный луч плясал по лесной поляне, на которой трепетала каждая былинка, каждая ставшая серебристо-стеклянной ветка.

А когда невидимый голос вновь его и Витька́ по имени окликнул, все окончательно понял Стекольщик и только рукой махнул. Правда, тут же мысль шевельнулась, что, может, их с вертолета и не видят вовсе, а просто на пушку берут, но Фрол не прислушался к ней. Склонил он голову, почти как во сне, и стал возле кореша на коленки. Лежал тот, бедолага, безучастный ко всей кутерьме и едва дышал. Но не хрипел уже, не метался в горячке. То ли болезнь переломил, то ли его гадючья отрава доканывала, только съежился Витек под вонючим брезентом, холодный и обессиленный. И опять подумал Фрол, что теперь-то кореша наверняка найдут и медицинскую помощь окажут, а потому самый момент настал отрываться. Вокруг все-таки лес и ночь и вообще ситуация не разбери-пойми. Но глас небесный, мегафоном усиленный, уже большую власть над ним заимел. Да ведь и то правда: куда денешься? С трех сторон торфяник страшный, до самого зольного дна погоревший, дым удушающий, жар. К озеру, надо думать, уже не пробиться, оцепили небось все кругом. На полотно разве что выйти? Тоже смысл небольшой. Что в лоб, что по лбу. Лучше уж здесь ручки поднять. По крайней мере, пешком идти не придется. Одним словом, делать нечего, решайся, Фрол, выходи. Не ждать же, пока лесок прочесывать станут. Тут ведь не озеро, голыми руками шамовку не организуешь и с водой плохо. В этом он своими глазами убедился, когда вчера в смотровой колодец заглянул. Сухо было на квадратике дна, сухо и пусто. Никогда так низко не падал уровень грунтовых вод. Короче, не продержишься долго в островном соснячке, не усидишь.

— Эй, Потапов и Зализняк! Подъем!

«Все знает, елки точены! — Стекольщик стал к прожектору спиной. — Оттого и насмешничает, будь он неладен, шестикрылый серафим».

Постоял он над Витьком, поразмыслил и решил выходить, как в омут с головой кинулся.

— Ну на́! На! — закричал Фрол и, вскочив на ноги, выбежал на середку. — Бери меня голыми руками! А-а-а!

Но он даже сам не услышал себя в грохоте бешено вращающихся лопастей, которые медленно провисли под собственной тяжестью, когда вертолет осторожно опустился на поляну и мотор замолк.

Через сорок минут Стекольщик сидел уже в кабинете начальника милиции Павлово-Посада и беседовал с виновником своего кошмарного сновидения. По вполне понятным соображениям, Люсин стремился как можно полнее использовать то несомненное психологическое преимущество, которое дала ему ночная операция. Вглядываясь в освещенное лампой лицо задержанного, а сам уйдя в непроглядную тень, он начал официальный допрос тем же повелительным и несколько насмешливым тоном, каким выкликал Зализняка из лесной мглы. Обычно он не прибегал к подобным уловкам, считая их недостойной дешевкой. Для него куда важнее было заставить противника обмолвиться в ходе хорошо продуманной почти непринужденной беседы, нежели вырвать показания психологическим нажимом. Но, понаблюдав за Стекольщиком в течение недолгих минут полета, он пришел к выводу, что тот пребывает в состоянии глубокой депрессии. Нормального, человеческого разговора ждать явно не приходилось. Через панцирь безразличия и подавленности можно было пробиться только одним способом: нажимая на те немногие доминантные клавиши, которые хоть как-то отзывались в опустошенной душе Зализняка. Люсин не знал, что Фрола подкосила тлевшая в нем все эти дни и внезапно прорвавшаяся теперь смертельная обида на самого себя, на проклятое невезение свое и несусветную глупость. Уже сидя в вертолете, Фрол со всей беспощадностью осознал, что только в жестоком хмельном угаре можно было пойти на те безумные поступки, которые совершил он с той самой минуты, когда увидел мертвое тело на даче в Жаворонках. Он прозрел, но, как всегда, слишком поздно. Прозрел только для того, чтобы уяснить себе, что на всех без исключения поворотных этапах жизни поступал как последний дурак. Только странная гипнотическая заторможенность, в которой он пребывал, помешала ему рвануться к дверце в круглом плексигласовом колпаке и кинуться вниз. На какую-то секунду эта мысль показалась ему очень соблазнительной. Она ласкала и баюкала его, смиряла смятение, глушила нестерпимую тоску. Потом он подумал, что его все равно ждет «вышка», поскольку он ничего не сумеет да и не захочет, по правде говоря, доказать. Тогда какая разница? И, дав себе слово вытащить из дела Витька, обелить его, насколько окажется возможным, он успокоился и ушел в себя.

— Ваша фамилия? позвал его знакомый голос. — Имя и отчество?

— Зализняк Фрол Никодимович, — послушно ответил он. — Девятнадцатого года рождения, ранее судимый.

— Стекольщик? — весело спросили из темноты.

— Ага. Точно, Стекольщик, — приветливо согласился Фрол. — Так я и на суде проходил. Как Стекольщик, значит.

— А приятель ваш кто?

— Приятель? Какой такой приятель?

— Не валяй дурака, Фрол Никодимович, — ласково посоветовал всеведущий голос. — Я про Потапова тебя спрашиваю.

— Ах, про Потапова! Ну да.

— Что «ну да»? Он болен?

— Беда с ним приключилась, гражданин хороший. Змеюка его ужалила.

— Когда?

— Почем я знаю когда, — Фрол горестно затряс головой, — если денечкам счет потерял!

— Вчера? Позавчера? Третьего дня? — быстро спросил Люсин.

— Не знаю я, — вздохнул Фрол.

— Хорошо, допустим. — Люсин снял трубку, повернул лампу и нашел в списке на столе нужный телефон. Отодвинув локтем настольную лампу, набрал номер. — Первый говорит. — Он прочистил горло. — Логинова поблизости нет? — И после короткой паузы: — Это вы, Глеб? Доброе утро! — Он бросил взгляд на окно, за которым была непроглядная темень. — Зализняк говорит, что Потапова ужалила змея... Сообщите, пожалуйста, врачу и на всякий случай срочно затребуйте ампулы с препаратом «антигюрза».. Да-да, «антигюрза»... Добро, Глеб. — Он положил трубку и резко спросил: — Значит, вы утверждаете, что вашего напарника укусила змея. Так?

— Так.

— Потапова?

— Да, Потапова Виктора Сергеевича.

— Хорошо. Спасибо. Будем надеяться, что это поможет спасти ему жизнь.

— Разве он так плох?

— Очень плох. Вы разве не видели?

— Я? Со вчера ему, верно, не того сделалось... А раньше так ничего. Нормально.

— Когда это «раньше»? Конкретнее, пожалуйста. Сколько дней он болен?

— Не помню я, начальник! Что хочешь делай... Может, два дня, а может, три.

— Но не больше, чем три дня?

— Кто его знает, может, и больше.

— Хорошо, пусть будет так... А сколько всего дней вы провели на торфопредприятии, сказать можете?

— Нет, не могу. Все в голове спуталось.

— У вас что, плохо с памятью? И давно страдаете?
— Раньше не жаловался.
— Когда же стали замечать за собой такое?
— Вот тут и заметил.
— Прямо тут? Сейчас?.. Ну ты даешь, Стекольщик!
— Я правду вам говорю.
— Примем к сведению. На днях покажем вас невропатологу.
— В Сербского повезете или в Кащенку?
— Для вас это имеет значение?
— Нет, мне все равно.
— Как вы себя чувствуете?
— Никак... Нормально.
— Может быть, вам трудно отвечать на вопросы? Хотите, сделаем перерыв?
— Чего ж тут трудного? Спрашивайте... Ваше дело такое.
— Фрол Никодимович, я принимаю к сведению ваше заявление, что вы здесь и сейчас стали вдруг плохо ориентироваться во времени. Такое бывает... Но тогда, быть может, сумеете сказать, что вы вместе с Потаповым здесь вообще делали?
— Здесь?
— Ну да, здесь, на торфопредприятии имени инженера Классона.
— Рыбу ловили.
— В озере?
— И в озере тоже.
— А где еще?
— Как где? В озере.
— Вы сказали: «и в озере тоже». Значит, и где-то еще?
— В карьерах.
— Вы имеете в виду старые выработки, оставшиеся после гидроторфа?
— Они самые. В них щука водится, карп-карась...
— Превосходно. А в озере?
— Там, известно, плотка, окунь, ерши... Лещ попадается. Точнее, подлещик с полкило.
— В каком именно озере?
— В этом.
— Название знаете?
— Светлое, кажись.
— На других озерах промышлять не пробовали?
— А разве тут есть другие?
— Вы не знаете? Странно... Видимо, и тут память подводит?
— Почему?
— Э, Фрол Никодимыч, сдается мне, что вы просто притворяетесь. Нехорошо, право... Вы же, можно сказать, старожил здешний, а не знаете, что, кроме Светлого, есть еще и другие озера. Согласитесь, что в такое трудно поверить.
— Какой же я старожил? Родился в Пропойске, ныне Славгород, жил на станции Суково, теперь опять же в Солнцево переименованной.

— В вашей трудовой книжке значится, что вы полный сезон, с мая по октябрь шестьдесят пятого года, проработали на торфопредприятии имени Классона. Это так?

— Давно было. Позабыл все.

— Даже Новоозерный участок, на котором работали?

— Новоозерный? Нет, его помню. Молоко хорошее было, парное, сметанка...

— А озеро?

— Топическое, что ли?

— Ловили сейчас в нем рыбу?

— Какая уж рыба в Топическом... Одни ляги да комары, да и не подберешься к нему. Чаруса как-никак кругом, самая погибельная трясина с окнами.

— Значит, в этот раз вы не смогли подобраться к Топическому озеру? Так я вас понял?

— Не токмо не смогли, но даже и не собирались. Своя голова дороже... Опять же рыба в ем не заводится.

— А вы приехали именно за рыбой?

— Ну да.

— Чем же вы ловили ее, эту самую рыбу?

— Как так?

— Не понятен вопрос? Я спрашиваю, чем, то есть какой снастью, ловили вы с Потаповым рыбу в карьерах и на Топическом озере.

— Не на Топическом, на Светлом.

— Извините, обмолвился... На озере Светлом.

— Так рыбу по-всякому ловят...

— Это я понимаю. Рыбу ловят удочкой, неводом, с помощью спиннинга, донок, всевозможных дорожек, кружков и даже капканами. Мне интересно знать, чем пользовались именно вы.

— Мы?

— Вы перестали понимать меня, Зализняк? Или просто не хотите отвечать? Не хотите, не надо. Это ваше право, но в протоколе я отмечу, что вы отказались дать ответ на столь простой вопрос.

— Я не отказываюсь.

— В чем же тогда дело? Вы неглупый человек, можно сказать, опытный, и должны понимать, что одним своим колебанием, уже косвенно свидетельствуете против себя.

— Почему так?

— Любой на моем месте поневоле усомнится в правдивости ваших показаний. Рыбу, говорите, ловить приехали, а чем ловили, сказать не хотите... Так-то, Стекольщик... На чем хоть приехал, помнишь?

— На мотоцикле.

— Ну вот, приехал на мотоцикле, с памятью, значит, все в порядке, а чем ловили, позабыл?

— Ничего я не позабыл! Зачем сбиваете, начальник? Мы верши ставили.

— Чего же сразу не сказал?

— Так нельзя ведь.
— Что нельзя?
— Вершами ловить... Боялся я...
— Вон оно что! Ну, этот грех уж как-нибудь тебе простим. Хоть я и не из рыбнадзора... Так что зря опасался, Зализняк, зря... Верши с собой привезли, из Москвы?
— Конечно. Как же иначе?
— И где они теперь?
— Где же им быть? В озере.
— Место показать сможешь?
— Раньше смог бы.
— Когда это раньше?
— До пожара.
— Понятно... Значит, пожар во всем виноват...
— Это ж такое стихийное бедствие!
— Когда на рыбалку собирались, о пожаре не подумали?
— Как так?
— Очень просто. Костер жгли?
— Ну!
— Как же вы решились на такое? А, Зализняк? На торфянике!
— Зачем на торфянике? На суходоле. У озера.
— Не имеет значения где. В границах торфяника строго-настрого запрещено разжигать огонь. Вам это должно быть известно лучше, чем кому бы то ни было... Ну, да мы еще вернемся к сему... Вы случайно сюда забрались или намеренно?
— Почему случайно? Мы порыбалить!
— Странная у вас рыбалка вышла, Фрол Никодимович, странная... Ни удочек не взяли, ни подсачника...
— Так верши же!
— Мало ли что верши... Рыбак без удочки все равно, что охотник без ружья. Разве не так?.. А вы даже котелка с собой не захватили. На несколько ж дней в глухомань забрались, а о котелке не позаботились. Ушицу-то в чем варили?
— В казане. Мы позаботились.
— Какое там позаботились, Никодимыч, брось заливать! Одолжили, надо полагать, казанец-то или вообще без спросу взяли?
— С собой привезли.
— Вы настаиваете на этом?
— Чего?
— Вы настаиваете на том, что привезли, как говорите, казан с собой?
— Ну!
— Тогда, как ни жаль, мне придется разбудить гражданку, которая одолжила вам свой чугунок, и попросить ее уделить нам несколько минут... Хотите очную ставку, Зализняк? Или не станем пока будить Матрену Петровну?
— Не надо ее трогать. Пусть поспит, начальник, покимарит часок.

— Мне приятно, что вы начинаете оживать, Фрол Никодимович. К вам возвращается не только память, но и такие прекрасные качества, как чувство юмора и человеколюбие... Продолжим наше собеседование в том же ключе... Казан отдадите?

— Если будет на то ваша воля...

— Почему вы не в резиновых сапогах, Зализняк? быстро спросил Люсин и направил свет настольной лампы прямо под ноги Фролу. — На вас новые сандалеты! Вы что, на рыбалку так вырядились? — Люсин почти кричал.

— Придираетесь, начальник... Зачем вы так? Не пойму, чего надо.

— Старые ботинки выбросили? Где? В Москве или здесь?!

— Совсем ничего не пойму... Ботинки какие-то... Да ничего я не выбрасывал!

— Куда выбросили? В воду? В болоте затопили?!

— Вот ведь привязался!..

— Если мы нашли труп, Зализняк, то, будьте уверены, найдем и все остальное. — Люсин произнес это тихо и очень внятно, словно не он только что торопливо и гневно выкрикивал вопрос за вопросом, скорее утверждая, чем спрашивая, и, казалось, вовсе не ожидая ответов. — Вы поняли меня?

— Да ничего я не понял! Чего пристали к человеку?! За что?!

— Вы с Потаповым бросили в Топическое озеро труп человека.

— Нет!

— Давайте попробуем порассуждать логично, Фрол Никодимович.

— Ничего я не желаю рассуждать! За что взяли человека среди ночи?

— У прокурора попросили согласие на ваше, Фрол Никодимович, и Потапова задержание. Вы же теперь грамотные, — усмехнулся Люсин. — Труп Аркадия Викторовича Ковского находится здесь же, в морге, Зализняк, в подвале. Мы нашли его в Топическом озере, закатанным в старый ковер.

— А я-то, а мы-то с Витьком при чем здесь? Нешто мы убивали? Не знаю никакого Ковского и знать не хочу! Никого я не убивал!

— Разве я сказал, что убивали? По-моему, я вообще не произносил такого слова.

— «Слова»! «Слова»! — Фрол вскочил и, размахивая руками, подступил к Люсину. — «Мокрое» навесить хотите? Труп пришить?

— Сядьте на место, и я скажу вам, чего хочу.

— Ну!

— Так вы сядьте.

— Ну, сел!

— Я хочу, Фрол Никодимович, чтобы вы объяснили мне, каким образом и для чего тело гражданина Ковского было увезено с дачи в Жаворонках и брошено в Топическое озеро.

— А я почем знаю? Вы не меня спрашивайте, вы того, кто содеял такое, спрашивайте.

— Вот я вас и спрашиваю.

— Так ты сперва докажи, начальник, что я тут причастен! Да-а...

— Значит, согласны порассуждать логично? Не для протокола. — Люсин демонстративно сунул протокол в ящик. — Просто чтобы оценить ситуацию, которая может создаться для вас на суде.

— Ну, лады. Давай прикинь.

— В прошлую среду, когда стемнело, вы, Фрол Никодимович, вместе с Потаповым проникли в дом Ковских, что на Западной улице поселка Жаворонки.

— Нас кто видел? Мы визитки оставили? Али как?

— Вопросы ваши вполне логичны и закономерны. Я отвечу на них пункт за пунктом... Да, вас или вашего напарника видели, и следы вы тоже оставили, Фрол Никодимович.

— На пушку берете. Я ж не пацан, гражданин хороший, не фраер.

— Вы совершенно правы, Фрол Никодимович, что требуете от меня доказательств. Давайте же вместе поразмыслим над тем, насколько они весомы. Прежде всего нам нужно обратить внимание на способ, который вы избрали, чтобы проникнуть в дом... Разве это не доказательство? Или легендарный Стекольщик не вы, Фрол Никодимович?

— Ничего такого не знаю.

— Хотите, чтобы я описал вам технологию выемки оконного стекла?

— Это я и без вас знаю. Но Зализняк тут при чем? Нешто он за все теперь в ответе? Нешто других стекольщиков нету?

— Очень правильное возражение. Давайте теперь проследим, какой можно выдвинуть контрдовод. Итак, мы пришли к тому, что манера проникновения в дом косвенно, подчеркнем это слово, указывает на некоего профессионала, известного среди воров под псевдонимом Стекольщик. Дальнейший шаг от косвенного к несомненному поможет сделать комплекс улик. Преступник, проникший в дом на Западной улице, правда, не оставил отпечатков пальцев, поскольку работал в резиновых перчатках, но существо дела от этого не меняется. Он оставил другие следы. Хотите знать, какие именно?

— Наука еще никому не повредила.

— Совершенно верно, Фрол Никодимович, полностью с вами согласен... К сожалению, ваши новые сандалеты лишили нас одной из таких улик, но сам факт перемены обуви, особенно в таких условиях, тоже свидетельствует против вас. Опять же косвенно, должен признать...

— И это все?

— Нет. Но и этого будет достаточно, если мы найдем поблизости от вашего бивуака кое-какие несущественные мелочи: ботинки там, окурки папирос и так далее... Вы меня поняли?

— На суде вас засмеют, начальник.

— Так ли, Фрол Никодимович? А билет, который вы купили на станции Жаворонки в тот самый день, точнее, в ту самую ночь?

— Меня кто за руку схватил?

— За руку не за руку, а одно к другому вяжется. Не правда ли? Но пойдем дальше. На месте преступления, форум дэликти, ежели по-латыни, кто-то с совершенно непонятной целью берет и рассыпает порошок меркамина. Это довольно специфическое вещество, скажу прямо, встречается нам не каждый день, и поэтому не составляло особого труда выйти на главврача шестьдесят второй больницы, откуда этот самый меркамин и был заимствован. Перекинуть отсюда мосток к Виктору Сергеевичу Потапову, моему, кстати сказать, крестнику, и его «яве» с коляской было уже совсем просто. Голая технология. Конечно, можно возразить, что причастность Потапова к меркамину нужно еще доказать. Согласен. Мы этим займемся. Но и без того меркамин становится серьезнейшей уликой в длинной цепи улик. Не убеждает?

— Я про ваш порошок ничего не знаю.

— Между прочим, с помощью аналитической химии мы сумеем обнаружить молекулу меркамина в концентрации одна на миллион. Поэтому, если на одежде Потапова, на его мотоцикле будет хоть пылиночка...

— Тогда и поговорим...

— Резонно. Тем более что меркамин хоть и весьма весомая, но все же частность. Главное — это, как вы сами понимаете, труп. Мне трудно представить себе, как вы сможете объяснить, что он оказался поблизости от вашего лагеря, в столь несомненной связи с вашей более чем странной рыбалкой. Все это свидетельствует против вас с Потаповым, Зализняк. Очень серьезный комплекс получается, очень. Скажете — нет?

— Не скажу. Только ведь мало этого, человек хороший. Предположения всякие каждый строить может. А надо ведь доказать.

— Руки, Зализняк! Руки на стол!

— Чего?

— Покажите мне ваши руки!

— Ну!

— Где вы так исцарапались?

— Как где? На болоте, в лесу...

— Вижу. Свежие царапины есть, порезы... Об осоку небось?

— Ну!

— А это откуда? Видите, как засохли? Даже лупятся местами!

— Ничего не пойму. Хоть стреляйте!

— Чего же тут не понять? Это вы оцарапались, когда вместе с Потаповым тащили через колючие кусты тело Ковского. Только и всего.

— И кто такому поверит?

— Голословному утверждению, ваша правда, никто. Но суть в том, что в саду обнаружены следы крови. Если она по составу совпадет с вашей или Потапова, считайте, что вам крышка. Это будет уже прямая и абсолютно объективная улика, которая подведет окончательный итог... Я, кажется, забыл уведомить вас, что вы

и Потапов взяты под стражу в связи с делом об убийстве гражданина Ковского. Розыск преступников поручен мне. Теперь я это сделал. Разрешите представиться. Моя фамилия Люсин, зовут меня Владимир Константинович.

— Не убивали мы его, Владимир Константинович, — тихо сказал Фрол и заплакал. — Не трогали.

— На-ка, попей. — Люсин налил ему из графина полстакана воды. — Мне тоже никак не верится, чтобы ты, Фрол Никодимович, на такое решился. Не та у тебя репутация, хоть и скверная она, между нами, но не та. И характер не тот. Потапова-то я получше знаю. Он тем более на «мокрое» никогда не пойдет.

— Тогда чего же вы?!

— Не понимаешь, зачем я силы на тебя трачу? — перебил его Люсин. — Все очень просто, Фрол Никодимович. Хочешь не хочешь, а улики против вас с Виктором очень и очень сильны. Поэтому нам надо крепко помочь друг другу. Вашу непричастность к преступлению, если только вы действительно непричастны, я смогу доказать, только обнаружив убийцу. Поможете мне?

— А вы вправду верите, что не мы убили?

— Верю. И знаете, что меня убеждает больше всего?

— Откуда нам!

— Надо быть последними дураками, Зализняк, чтобы остаться поблизости от трупа. Или бессердечными катами, у которых ничего человеческого не осталось. Вы утопили тело и преспокойно отправились на озеро. Не рыбу ловить, а погулять, потому как взяли в ларьке водку. Такое плохо укладывается в голове. Были уверены, что окончательно спрятали концы в воду? Согласен, вас подвела случайность, точнее — большое несчастье, в котором, возможно, вы же и виноваты. Но все равно, Зализняк, согласитесь, что остаться здесь, сделав, так сказать, дело, мог либо отупевший зверь, либо человек, прямо в преступлении не замешанный, но, простите, не очень дальновидный. Помоему, последнее вам с Потаповым больше подходит. Или я неправ?

— Эх, да чего там! Так оно и есть, как вы говорите.

— Тогда помогите мне, Зализняк, и я попробую помочь вам. За ваши оконные делишки вы, конечно, ответите по закону, тут уж ничего не поделаешь. Установлена будет и доля вашей вины в пожаре на торфопредприятии. Вы знаете, что в Москве целых три дня нечем дышать было... Отчего молчите?

— А что сказать-то?

— Верно, ответить нечего. Но не вешайте голову, Фрол Никодимович. Жизнь не кончается... Вы человек бывалый, в процессуальных вопросах просвещенный и должны понимать, в каких случаях дают максимальное наказание, а в каких минимальное. Все зависит от обстоятельств, от всякого рода нюансов. Взять хотя бы тот же пожар. Я специально посмотрел соответствующие статьи. Есть статья девяносто девятая, часть вторая, а есть и девяносто восьмая. Разница в сроках весьма существенная — четыре года. Одно дело поджог предумышленный, другое — непредумышленный, случайный...

— Да кто же умышленно на такое пойдет!

— Это уж как посмотреть, Фрол Никодимович. Если человек, хорошо знающий правила техники безопасности, тем не менее разводит в торфянике огонь, то очень трудно поверить, что действует он не по злому умыслу, а по неведению. Но мы, однако, отклонились в сторону. Главное для нас, как сами понимаете, найти убийцу Ковского.

— Да. Страшнее убийства ничего нет.

— Я рад, что мы поняли друг друга. Теперь прошу вас спокойно, не торопясь рассказать мне, как было дело... Кто поручил вам спрятать труп?

— Что?! Так нам же никто ничего не поручал! Все было совсем не так. Наверное, вы мне не поверите, когда все узнаете, но я расскажу как на духу, все без утайки. Пишите!

— Сейчас, — сказал Люсин и вынул из ящика недописанный протокол. — Слушаю вас, Фрол Никодимович.

Глава пятая

САМЫЙ ТРУДНЫЙ ДЕНЬ

«Прах эксгумировать и выбросить на помойку, а имя забыть, — вынес свой приговор Люсин, выходя из вагона метро на станции «Киевская». — Да вот беда — неизвестно, где захоронили анонимного врага рода человеческого, который изобрел справку. Кошмарного воображения был субъект. Куда до него Данте! Хотел бы я посмотреть, как носился бы суровый флорентинец по загсам, жэкам и райисполкомам. Ведь голову на отсечение даю, во времена войн гиббелинов и гвельфов[1] даже в нотариальных конторах не знали очередей. И собесов не было, хотя отдельные группы населения и получали пенсии. Ох уж эти справки! Проклятие нашего века. Не родиться без них, не помереть».

Он только что похоронил тетку товарища — летчика полярной авиации, застрявшего по причине неблагоприятных метеоусловий на Диксоне. Старая женщина была совершенно одинока, и все хлопоты по ее переселению в никуда пали на Люсина. «Молись японскому богу Дайкоку, — посочувствовал ему Березовский. — Он облегчает последнее странствие». Но поскольку Люсин никогда не видел этого самого Дайкоку, старичка с мешком на плече и сочувственной улыбкой на губах, молитва не подействовала. И если бы не участковый Бородин, гроза кладбищенских обирал, тетушку полярного летчика пришлось бы, вопреки ее последней воле, предать огненному погребению.

С кладбища Люсин поехал домой, потому что чувствовал себя совершенно неспособным к плодотворной мыслительной деятельности. В нем пробудилась смутная неприязнь даже к самой учрежден-

[1] Политические партии в Италии.

ческой обстановке, несмотря на то что его собственный кабинет, не в пример помпезному загсу на Семеновской улице, был обставлен модерновой финской мебелью. Постояв для успокоения нервов под прохладным душем, он разорвал полиэтиленовый пакет с цветастой, ни разу не надеванной сорочкой, подобрал к ней широкий галстук и платочек из той же материи, который нарочито небрежно сунул в кармашек василькового блайзера с золотыми геральдическими пуговицами. Забежал в кухню. Отломал кусок длинного поджаристого батона, вскрыл баночку креветок. Стоя наскоро закусил, запил водой из-под крана и пошел одеваться. Тогда ему казалось, что он уже переключился, изгнал из сердца это тоскливо-тошнотное чувство обиды, но стоило выйти на улицу, как оно возвратилось вместе с шумом, ударившим в уши, с мельканием людей и машин. «На природу мне надо, — подумал Люсин. — В одиночество... Хорошо бы под Мурманск махнуть, в тундру...» Остро вспомнились розовые, с крупным, черно сверкающим зерном гранитные скалы, причудливо изогнутые каменные стволы карельской березы, темные сосны, отраженные в немыслимо синей студеной воде, и душераздирающее предвечернее небо с малиновыми, воспаленными полосами, которые остывают и суровеют, но так и не гаснут до новой зари. «Однако я становлюсь сентиментальным, — усмехнулся он, почувствовав подступающие слезы, и трудно сглотнул слюну. Поднявшись на двух эскалаторах наверх, он мгновение колебался, то ли спуститься на пересадку, то ли выйти из метро и сесть на восемьдесят девятый автобус. Решил загадать. Нащупал в кармане пятак — выпала решка — и направился к выходу. В автобусе силовым аутотренингом заставил себя окончательно перестроиться. На память пришла вычитанная в «Нью-Йорк геральд трибюн» реклама похоронного бюро: «Вы только умрите! Остальное — наша забота». Это его настолько развеселило, что он даже рассмеялся, чем и навлек на себя неодобрительный взгляд сидящей рядом девицы. Пряча смущение, он нахмурился и озабоченно развернул свернутый в тугую трубочку билетик. Номер оказался счастливым, и это окончательно помогло восстановить душевное спокойствие. «Как мало, в сущности, надо человеку, — отметил Люсин. — Сначала ты осознаешь, что на фоне смерти все твои заботы и огорчения не более чем тлен, суета сует, и это, как ни странно, успокаивает. Потом подворачивается какой-нибудь совершеннейший пустячок, и к тебе, вопреки всему твоему знанию, возвращается ощущение особой, личной эдакой непричастности ко всему плохому. Словно ты и впрямь любимчик судьбы, которому выдан мандат на бессмертие. Кто-то верно сказал, что, пока я есть, нет смерти, а когда есть смерть, то уже меня нет. Это вдохновляет. Если только мне не придется более никого хоронить и вообще иметь дело со справками, то можно сказать, что все распрекрасно и нет для печали причин».

Он глянул на часы и решил выйти на остановку раньше. Виновато улыбнувшись, попросил малосимпатичную соседку с кошмарными бусами из персиковых косточек пропустить его и стал

протискиваться к выходу. У кинотеатра «Украина» он вырвался из душного, переполненного автобуса на волю и, облегченно вздохнув, пошел по направлению Большой Филевской. Подпрыгнув, сорвал листок тополя. Он оказался пыльным и ломким. «Неужели опять лето прошло? Как быстро! Как неумолимо и незаметно!»

Он легко отыскал нужный дом и, не дожидаясь лифта, взбежал по лестнице на пятый этаж. Остановившись перед дверью с глазком, поправил платочек и надавил кнопку звонка. Раздался мелодичный клекот, и тут же послышались шаги. «Женщина, — отметил, прислушиваясь, Люсин. — И, кажется, молодая».

Дверь действительно отворила, точнее, широко распахнула женщина. И прежде чем Люсин осознал, что она хороша собой и очень высока, прежде чем понял, что давно знает ее, он испугался:

— Мария? Вы?!

— Да. — Она удивленно прищурилась, не узнавая его, и вдруг, что-то вспомнив и сопоставив, всплеснула руками: — Так это вы? Вот уж не ожидала! Так входите, входите же, мой дорогой! Как давно мы не виделись! Вас, кажется, Володей зовут?

— Володей, — чужим, непослушным голосом ответил Люсин и переступил отяжелевшими враз ногами через порог.

Как долго, с какой щемящей и сладостной болью мечтал он об этой женщине, с которой у него ничего не было, которой он и намеком не дал понять о своем внезапно пробудившемся чувстве, наивном, незащищенном, нерешительном. Но что-то промелькнуло тогда меж ними, робкое и неосознанное, что-то она все же почувствовала. Но он исчез с ее горизонта слишком внезапно и слишком надолго. И радостное удивление, которое возникло у нее в их первую встречу на квартире у Юрки, спокойно растаяло, и она просто забыла о нем.

А он все медлил, дожидаясь неведомо чего, пока не узнал вдруг, что она уехала с Геной Бурминым. Тогда-то он и понял, что любит ее и очень несчастен и все теперь уже кончено.

— Чего же мы стоим? — принужденно рассмеялась она. — Марк говорил, что к нам придет следователь, но я и подумать не могла... Да, я никак не ожидала увидеть именно вас. Проходите же в комнаты, Марк вот-вот будет, и мы сядем обедать...

Тут только Люсин опомнился. До него дошло, что он тоже никак не ожидал ее здесь встретить. Мысль о том, что она теперь жена Сударевского, неприятно, болезненно даже поразила его. Это не было ревностью и вообще никак не связывалось с его отношением к ней, с грустной и благодарной памятью, которая тоже постепенно сгладилась. Что же, что же тогда?! Острое осознание несовместимости двух этих столь разных людей, Сударевского и Марии? Глухой протест против случайности, за которой мнилась роковая почти предопределенность сегодняшней встречи? Ничего-то не мог понять Владимир Константинович, которого Мария — подумать только, Мария! — тянула за рукав в гостиную.

Он видел блестящие, как золотой елочный дождь, ее волосы, губы немыслимо яркие, изумрудную зелень ресниц и веки, трону-

тые жемчужно-голубым тоном, ее сверкающие туфли на платформе с немыслимой высоты каблуками, брючный костюм из серебристого терилена и серьги ее — зеленые влажные камни — завораживающе качались перед ним. Она улыбалась, открывая ровные глянцевитые зубы, и лакированные темные, как птичья кровь, ноготки ее впивались ему в рукав, теребили, тянули куда-то; без умолку тараторила, смеясь, расспрашивала его о чем-то, а он механически и, видимо, внешне осмысленно отвечал ей, почему-то стоял посреди коридора и, упираясь, как застенчивый дошколенок, никак не хотел пройти дальше.

Он словно плавал под водой с раскрытыми глазами. Перед ним был цветной туман, контуры предметов казались расплывчатыми; в ушах плескалась щемящая глухота. Но кто-то посторонний и настороженный все видел и слышал, все понимал и холодно регистрировал в бесстрастной и ничего не забывающей, как ЭВМ, памяти.

«Так оно и есть. — Раздвоенность постепенно проходила, и Люсин начинал обретать свободу мысли и воли. — Красное и зеленое. Помада и краска... но пусть меня убьют, если я притронусь, хоть одним глазком взгляну на них. Забыть! Выбросить из памяти и никогда больше не возвращаться. Она вне игры раз и навсегда. Обойдемся без этого, словно и не было в природе той раскисшей сигареты и кадки той железной, наполненной дождевой водой, в которой кувыркались рогатые личинки комаров и какие-то юркие червячки».

Но, входя в комнату, он уже видел тропическую раковину на столе, полную пепла, обгорелых спичек и смятых окурков с длинным ячеистым фильтром.

Стало вдруг до того горько, что он задохнулся. Захотелось ничком броситься на диван и ничего не видеть, никого больше не слышать. Но с вежливой полуулыбкой он взял указанный стул и, покачав головой, отодвинул предложенную коробку с броской, как самая навязчивая реклама, надписью «Пэл-Мэл». Алые безумные буквы... И тогда родилось в нем холодное ожесточение. Не против Марии, конечно: она-то при чем?

Он сел за пустой полированный стол, еще дальше, до самой раковины, отодвинул сигареты и подпер кулаком подбородок. Он был зол и спокоен. Он ждал.

— Хочешь аперитив? — спросила Мария, переходя на «ты».

— Давай, — кивнул он, обводя взглядом комнату, неуютную и холодную ее пустоту.

Мария достала из бара пузатую бутылку «Реми Мартен» и, легко присев, вынула из горки с хрусталем две коньячные рюмки.

— Что у тебя за дела с Марком? — прямо спросила она, наливая до половины.

— Разве он тебе не говорил? — Люсин попытался согреть холодное стекло и понял, что руки его не теплее стекла.

— Аркадий Викторович?

— Да.

— Он действительно убит?

— Тело его нашли в заболоченном озере.

— Но он убит?

— Не знаю... Во всяком случае, это не самоубийство.

— Марк очень взволнован. Он места себе не находит.

— Понятно, Мария. Учитель же как-никак...

— Да, учитель. — Она нахмурилась и поднесла рюмку к губам. Красноватый мутный след остался на краешке, когда она, медленно выпив коньяк, поставила рюмку на стол. Даже в темном зеркале полировки различалось это мутное пятнышко. — Вообще кошмарная история. Что ты по этому поводу думаешь?

— Не знаю пока... Поживем — увидим.

— Думаешь, Марк сможет тебе помочь?

— Кто же тогда, если не он?.. Хотя, честно говоря, особого проку в наших с ним встречах не было.

— Он же ничего не знает...

— К сожалению.

— Мы узнали об этой... трагедии самыми последними.

— Знаю. Он мне рассказывал... Да и Людмила Викторовна говорила. Кстати, она очень обижена на твоего мужа. И я ее понимаю. Согласись, все же нельзя так... Ты уж воздействуй на него, пусть навестит старушку, утешит... Или хоть позвонит! Она же его так любит. Почти как сына.

— Марик звонил ей. — Она беспомощно развела руками и покачала головой. — Вчера. Я сама слышала. Но ничего... не получилось.

— Обижается?

— Угу. — Мария, огорченно поджав губы, кивнула. — Очень даже.

— Ее можно понять.

— Еще бы! Но если бы ты знал, как он переживает! И вообще ему здорово досталось в этом году. Волей-неволей поверишь в год Дракона... Кстати, ты молодец, что надел зеленый галстук. Обязательно надо носить что-нибудь зеленое.

— Это чисто случайно, Мария, — отмахнулся Люсин. — И что же у вас случилось?

— Ах, лучше и не спрашивай! Большая черная полоса... Генка называл это стрелой... Ты помнишь Генку Бурмина?

— Еще бы! — Люсин кивнул.

— Во всем виновато это злосчастное открытие! Марк с Аркадием Викторовичем просто разворошили осиный рой. Ты даже представить себе не можешь, что мы пережили!

— Кое-что он мне рассказывал. Диссертация опять же...

— Вот-вот! Подумай только, вернуть уже одобренную и принятую к защите работу! Как тебе нравится такое? — Она всплеснула руками.

— А так разве можно?

— Все можно. Конечно, Марк имел полное право настаивать на проведении защиты, но какой смысл?

— То есть? — не понял Люсин. — Как это какой смысл?

— Все равно бы завалили на ученом совете... Накидали бы черных шаров...

— Ты уверена?

— О! Ему весьма недвусмысленно намекнули... Вообще с этими защитами черт знает что творится. Полный произвол!

— Сочувствую.

— Воистину беда не приходит одна. Во-первых, диссертация. — Она стала загибать пальцы. — Потом неприятности по работе, бедлам вокруг открытия... Разве мало? Марк совсем закрутился.

— Может быть, ему стоит передохнуть? — осторожно заметил Люсин. — Хотя бы на короткое время. Природа, знаешь ли, здорово успокаивает. Особенно лес. Пособирал бы грибы, подышал настоящим лесным воздухом, а не этими бензинными парами. — Люсин кивнул на окно, за которым шумели окутанные синим солярным дымом тяжелые грузовики. — У вас ведь вроде и дачка есть?

— Какая там дачка! — Мария раздраженно закусила губу. — Нет у нас никакой дачи. Но ты, видимо, прав, ему надо передохнуть. Его и самого инстинктивно тянет к природе. Как раз в тот самый день, когда с Аркадием Викторовичем... Да, это было, как мы потом узнали, в тот самый злосчастный день. — Она опустила голову. — По-моему, Марк даже что-то такое предчувствовал... Одним словом, напряжение, в котором он пребывал, достигло своего апогея, и он прямо-таки взмолился, чтобы мы куда-нибудь на денек-другой уехали. Но куда? И ты знаешь, он с отчаянием потащил меня в Лобню, к чужим, в сущности, людям, которые, надо сказать, не слишком обрадовались незваным гостям. Я провела там ужасные часы. Чувствовала себя так неловко, натянуто.

— Подумаешь! Вот уж пустяки... Лучше бы погуляли как следует. В Лобне, между прочим, есть уникальное озеро, на котором гнездятся чайки. Впечатление потрясающее.

— Ну вот, а мы ничего такого и не увидали!

— Конечно, вам было не до чаек. Сразу столько свалилось всякого.

— Свалилось... Мы не знали еще, что нас ждет впереди!

— Что же?

— Так вот оно, это самое.

— Аркадий Викторович?

— И это самое страшное, потому что непоправимо. Остальное как-нибудь наладится, а человека уже не вернешь. А какой человек был!

— Ты его хорошо знала?

— Совсем наоборот. Раза два или три мы у них были, вот и все. Но это не имеет никакого значения. Такие люди, как Аркадий Викторович, раскрываются сразу и целиком. Необыкновенная личность! Бездна обаяния... Когда его будут хоронить, не знаешь?

— На этих днях. — Люсин представил себе все, что ждет в недалеком будущем бедную Людмилу Викторовну, и, стиснув зубы,

решил ей помочь. «И всего только час назад я зарекался никогда больше не участвовать в подобных мероприятиях! — подумал он и покачал головой. — Человек предполагает...»

— Ты чего? — озабоченно спросила Мария.

— Да так, знаешь ли, пустяки. — Он допил коньяк и отрицательно покачал головой, когда она протянула руку к бутылке. — Хватит для начала. Столь божественным напитком нельзя злоупотреблять. «В.С.О.П.», — прочел он буквы на кольеретке. — К такому нужно относиться с благоговением.

— Понятия не имею, что это означает.

— «Вери сюпериор ольд пель», — почтительно прошептал Люсин и вдруг засмеялся. — Высшего качества и весьма старый! Помнишь, Портос говорил, что уважает старость, но только не за столом? Так вот, он попал пальцем в небо, хотя имел в виду всего лишь курицу прокурорши.

— Все-то вы знаете, — насмешливо прищурилась Мария.

Люсин не нашелся что сказать и принужденно отвел глаза от полураскрытых и таких ярко-карминных ее губ. «Какая жирная, какая все-таки лоснящаяся помада!» — подумал он невольно. И, как будто прочитав его мысль, Мария взяла из коробочки тонкую спичку и подправила краску в уголках губ. Пригнувшись к столу, словно под внезапно упавшим на шею грузом, смотрел он не отрываясь, как взяла она спичку с горящей точкой на самом кончике, сунула в истерзанный коробок, а потом непринужденно увлажнила губы языком.

— Что-то долго нет твоего мужа.

— Сейчас придет... А скажи правду, ты сильно удивился, когда меня увидел? Или ты знал?

— Ничего я не знал, — пробурчал он. — Ясное дело, удивился.

— А уж я-то как удивилась! — Она даже зажмурилась. — Все-таки странные бывают в жизни совпадения, согласись! Удивительные.

— Как бы сказал один мой приятель, кибернетик, «с вероятностью почти нулевой».

— Что?

— Это я о нашей встрече.

— Я поняла. Скажи, Володя, ты доволен своей жизнью?

— Не знаю. А ты?

— Тоже не знаю... Иногда мне бывает удивительно хорошо и покойно, а порой я думаю о том, что просто бегу из капкана в капкан. Тогда все становится скучным и немилым. Ты, наверное, считаешь меня странной дурой?

— Совсем нет! Что ты? Просто я думаю, что такое бывает со всеми. Такова жизнь: то вверх, то вниз.

— К чему ты стремишься?

— Вообще или сейчас?

— И вообще и сейчас.

— Вообще — трудно сказать, не знаю. Сейчас же для меня важнее всего найти убийц Ковского.

— Я понимаю. Но ведь это работа, а я о жизни спрашиваю.
— Боюсь, что для меня здесь нет разницы.
— Значит, и ты такой же.
— Какой же?
— Как другие. Самоуглубленный, настойчивый, целеустремленный даже, но тем не менее ограниченный.
— Наверное... Это плохо, конечно?
— Плохо? Нет, отчего же... Просто я совсем о другом. Вы иначе не можете, не подозреваете даже, что бывает иначе.
— «Вы»? Кто это «вы»? Я? Твой муж?
— И ты, и он, и другие... Генка тоже такой.
— Поэтому вы и разошлись?
— Вероятно... У меня вдруг появилась иллюзия, что возможно иначе, но иначе не получилось, и я поняла — не получится никогда. Это, конечно, не главное. То есть оно не сделалось бы главным, если бы не ушло другое, самое-самое, без чего вообще нельзя.
— Любовь?
— Нет, жалость.
— Не понимаю.
— В том-то и дело. И не поймешь.
— Тебе не жалко было Генку?
— Жалко.
— И все-таки?..
— Да.
— Но почему?! Почему?!
— Я знала, что для него это не смертельно.
— А если бы смертельно?
— То нипочем не ушла бы.
— Ни при каких обстоятельствах?
— Ни при каких.
— Но разве так можно? А ты сама? Твои собственные чувства разве не имеют значения?
— Имеют, конечно, но... как бы лучше тебе объяснить?.. Одним словом, если бы я знала, если бы всем существом чувствовала, что это смертельно, то и мои чувства были бы совсем иными. Не понимаешь?
— Кажется, понимаю. А ты не ошиблась?
— Нет. У Генки все теперь в полном порядке, и я очень этому рада.
— А потом?
— Потом была страшная опустошенность и одиночество.
— И вдруг ты вновь почувствовала, что тебе кого-то жаль?
— Да. И сейчас я жалею его, как никогда раньше, как никогда и никого.
— Это заменяет тебе все остальное?
— Заменяет? Не то слово, Володя. Просто сильнее этого ничего нет.
— А если бы это был я? — Он не узнал вдруг своего голоса и замолк.

— Невозможно. — Она с улыбкой покачала головой. — Никак невозможно.

— Но почему? — шепотом спросил он.

— Ты сам знаешь.

— Я?

— Да, ты. Ты слишком целеустремленный и сильный, чтобы тебя можно было по-настоящему пожалеть. Тебе можно лишь позавидовать. Для тебя никогда и ни на ком не сойдется клином свет.

— Разве так? — подавленно спросил Люсин. Он хотел сказать, что все обстоит совсем не так, что он, напротив, слаб и склонен к рефлексии и был момент, когда и ему показалось, как мир вокруг сузился до одной точки. Но он ничего не сказал, только беспомощно взъерошил волосы.

— Куда ты исчез тогда? — все так же спокойно, уверенная в своей правоте, улыбаясь, спросила она.

— Никуда. — Он тоже улыбнулся и развел руками. Теперь он знал, что она все понимает и тогда тоже понимала все, и было ему легко и грустно. — Не знал, понимаешь... Даже надеяться и то не решался.

— Будь это вопрос жизни, решился бы.

— Наверное, — честно согласился он.

— Значит, не смертельно?

— Выходит, что так.

— И слава богу! Я рада за тебя, Люсин. Ты ведь неплохо живешь?

— Я повержен, Мария. Сдаюсь. Но кажется мне, что ты все же не совсем права.

— В чем?

— В главном. Легко, понимаешь, анатомировать других, а в свое сердце ты заглянуть пробовала? Для тебя самой было так, чтоб смертельно? Чтоб все заклинилось на одном? То-то и оно, что не было. Потому и кажется тебе, что прыгаешь из капкана в капкан. Это и в самом деле капканы, которые расставила тебе жалость. На одной жалости, я думаю, трудно долго продержаться. Жалость — чувство, конечно, хорошее, но одной жалости куда как мало, Мария. Должно быть и еще что-то.

— Если смотреть с твоей колокольни, то ты прав.

— А если с твоей, то нет?

— С моей — нет. Мы с тобой слишком разные, Володя, и говорим совершенно о разных вещах, хотя и пользуемся для их обозначения одинаковыми словами.

— Что бы ты сделала, если бы я извивался и корчился здесь на полу, истекая кровью. Если бы я действительно умирал без тебя?

— Зализала бы все твои раны, как кошка. — Она потянулась за сигаретами. — Но ты, как говорила моя бабка, жив и здоров на сто двадцать лет. Все это глупости, — сказала она, когда Люсин накрыл ее руку своей. — И слава богу, что тогда мы не приняли

друг друга всерьез. — Благодарно улыбнувшись, она осторожно высвободила руку.

— Говори только за себя. — Он зажег ей спичку.

— Хорошо. — Она серьезно кивнула и медленно выпустила дым. — Я почти влюбилась в тебя с первого взгляда... К счастью, это скоро прошло.

— К счастью?!

— А может, и нет, потому что не было бы тогда ни Генки, ни... Знаешь что? Давай переменим пластинку?

— Хорошо. Но прежде я тоже хочу сказать, что влюбился в тебя. Возможно, это случилось в тот же вечер или потом, когда мы встретились в самолете. Помнишь?

Она кивнула, не отрывая пальцев с сигаретой от губ.

— И у меня это долго не проходило.

— Но все же потом прошло?

— Прошло. Потому что все проходит в конце концов, как это было написано на перстне царя Давида. Но мне было жаль, когда оно прошло. Да и сейчас жаль тоже. Видимо, мы оба тогда сильно ошиблись, хотя виноват во всем только я один.

— Нет, Володенька, это не так. Все случилось так, как должно было случиться. И не надо переживать задним числом. Я же сказала тебе, что почти влюбилась в тебя. Это все и решило. Не будь этого маленького «почти», я бы сама бросилась тебе на шею. Потом, когда мы встретились в самолете, я ведь даже не сразу тебя узнала. А когда узнала, то с удивлением обнаружила, что совершенно ничего не почувствовала. Понимаешь? Было только минутное помрачение, которое скоро прошло. Ничего более. И ты это тоже знал, иначе бы не затаился так надолго. Разве я не права?

— Может быть, и права, — проворчал Люсин и сунул в рот незажженную сигарету. — Не надо, — покачал он головой, когда она подвинула ему спички. — Просто я оставил дома свой мундштучок, свою соску-пустышку... А вообще-то хорошо, что мы с тобой поговорили.

— Очень хорошо. Теперь мы сможем видеться без боязни.

— Без боязни?

— Конечно. С нами уже ничего не может случиться.

— Допустим.

— И мы можем теперь дружить.

— Тебе это нужно?

— До сегодняшнего дня я и не думала об этом, но сейчас вижу, что да, нужно. Во всяком случае, я бы хотела.

— Спасибо тебе за прямоту и спасибо за то, что ты сейчас сказала.

— И это все?

— Честно говоря, не знаю.

— И я рада, что ты оказался таким, как я думала... Зачем ты пришел в наш дом?

— Я тебе все сказал, Мария. Ты все знаешь.

— Все ли? Почему Марк так нервничает?

— Но ты же сама...

— Нет-нет! — нетерпеливо остановила его она. — Я о другом. Он тревожится не только из-за служебных неурядиц. Мне кажется, он нервничает именно из-за тебя. Ты его в чем-то подозреваешь?

— Я веду розыск, Мария, и этим все сказано. Мне очень жаль, что это доставляет беспокойство ему и тебе, но ничего не поделаешь. Правда?

— Ты не ответил на мой вопрос.

— Я ответил, Мария.

— Значит, он зря так волнуется?

— Не знаю. — Люсин бросил сигарету в пепельницу. — Ему виднее. Почему ты не спросишь у него?

— Я спрашивала.

— И что же?

— Он только рассмеялся в ответ.

— Вот видишь?

— Конечно, вижу. Это был принужденный смех. Ему совсем не так весело, Люсин. Он чем-то очень обеспокоен.

— Ты не забыла, что я все-таки работник милиции? — Он попытался пошутить, но шутка не удалась. — Твои слова могут невольно натолкнуть меня на подозрение. Уж не собираешься ли ты свидетельствовать против собственного мужа?

— Конечно же, нет. — Она даже не улыбнулась в ответ. — Просто я очень волнуюсь и делюсь с тобой своими заботами. Не со следователем — с тобой.

— Ты ставишь меня в трудное положение, Мария. Все же я пришел к вам именно по делу. Меньше всего я ожидал увидеть здесь тебя. Поверь мне.

— Я понимаю.

— Вот видишь!

— Но одно к другому ведь не имеет отношения? Если, конечно, у тебя ничего нет против Марка.

— По-моему, ты правильно понимаешь ситуацию.

— Значит, все-таки что-то есть?

— А это уж запрещенный прием. Скажем так, Мария: служебная этика не позволяет мне ответить на твой вопрос. Ни отрицательно, ни положительно. Наши личные взаимоотношения никак не должны мешать работе. Извини меня, но это так.

— Я понимаю.

— Да, Мария, пожалуйста, пойми это. Я не становлюсь в позу, не разыгрываю принципиальность. Но я, как говорится, при исполнении. Строго говоря, мне не следовало бы даже пить этот коньяк. Будь я сейчас моложе лет на пять, то вообще бы попросил перебросить меня на другой объект. Но я знаю, что это было бы неправильно. В корне ошибочно. Наша с тобой дружба не может ничему помешать. И если только ты веришь, что у меня нет и не может быть иной цели, кроме раскрытия истины...

— Но это же само собой разумеется!

— Вот и ладно, Мария. Будем верить друг другу. Все, что можно, я и сам скажу.

— Я тебе очень верю. Но верь и ты мне, моему чувству, моей интуиции.

— О чем ты?

— Я знаю, что Марк неспокоен. Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что это как-то связано со смертью Аркадия Викторовича. Но Марк честный человек, Володя, честный и чистый.

— Ну, Мария...

— Да-да! Я знаю, что говорю! По-моему, он очень боится, что его могут в чем-то таком обвинить. Под влиянием страха Марк способен наделать глупостей. Поэтому мне важно, чтобы ты понял... Одним словом, не надо его подозревать... Ты понимаешь меня?

— Послушай, Мария, — Люсин промокнул платком внезапно вспотевший лоб, — я не спрашиваю тебя, что ты знаешь, больше того — мне бы даже не хотелось выслушивать твои признания. Если ты хочешь сказать мне что-то, я готов тебя выслушать. Готов, но не более! Причем совершенно официально. Но если тебе нечего сказать, то предоставь мне самому делать выводы. Клянусь тебе, что никакой предвзятости по отношению к твоему мужу у меня нет. Меньше всего я хочу обвинить его в чем бы то ни было. Именно его, Мария, потому что он твой муж. И вообще обвинять не моя функция. Мне должно только беспристрастно во всем разобраться, не более.

— Но успокоить его ты можешь? Сделать так, чтобы он не боялся за себя?

— Научи, как. Ты хочешь, чтобы я открыл ему все материалы? Но это должностное преступление, Мария. Грубая ошибка в лучшем случае.

— Ничего такого не надо. Просто скажи ему, что ни в чем плохом его не подозреваешь.

— И он поверит?

— Скажи это мне, и я сумею успокоить его. Мне он поверит.

— Ты хочешь, чтобы я сделал это сейчас? Немедленно?

— Чем скорее, тем лучше.

— Дай мне время, Мария. Сейчас тело Аркадия Викторовича подвергается судебно-медицинской экспертизе. Давай дождемся ее результата. Хорошо? Может быть, тогда я смогу сказать что-то определенное.

— Я очень благодарна тебе, Володя.

— За что?

— За твое обещание. Но больше всего за то, что ты действительно не спешишь обвинять. Теперь я это поняла.

Двойным колокольным переливом проиграл свою нехитрую мелодию электрический звонок.

— Марк! — Мария торопливо загасила сигарету и пошла к дверям.

Люсин взял коробочку с баргузинским соболем на желтой этикетке и нашел спичку, отмеченную огненным пятнышком.

Ее помада, частица ее...

Бросив спичку обратно в коробок, он положил его на место, рядом с розовой причудливой раковиной Карибского моря.

— А вот и я! — сказал Сударевский, довольно потирая руки. — Прошу простить, что заставил ждать, но мы договорились, кажется, в семь? — Он посмотрел на часы: — Я опоздал всего лишь на пять минут, что, конечно, не может служить оправданием.

— Ну что вы, Марк Модестович! — Люсин встал. — Это мне следует просить извинения. Я пришел слишком рано.

— Ради бога! — запротестовал Сударевский.

— Вы меня неправильно поняли! — смеясь, перебил его Люсин. — Время пролетело незаметно, и было бы грешно сетовать на судьбу. Оказалось, что мы с вашей женой давние приятели! Каково? — Он пожал Сударевскому руку и ободряюще подмигнул Марии. — Мир тесен! Хоть это и банально, но он действительно тесен, и это хорошо.

— В самом деле? — Сударевский перевел взгляд с Люсина на жену. Он все еще улыбался, но улыбка казалась застывшей, неживой.

— Я ужасно удивилась! — сказала Мария.

— Я тоже, — подтвердил Люсин. Он не мог понять, обрадовала ли Сударевского новость или, напротив, огорчила.

— Вот сюрприз! — Марк Модестович указал Люсину на стул. — Что же это мы стоим? — Скорее всего, он отнесся к сообщению безучастно. — По рюмашке? — Он потянулся к бутылке.

— Нет, благодарю, — решительно сказал Люсин. — Мы уже причастились.

— Сколько там! — отмахнулась Мария. — Сейчас будем обедать. Ты как любишь мясо: с кровью или прожаренное?

— Я прирожденный хищник, но умоляю, не надо затевать...

— Ничего такого и не затевается, — покачала головой Мария. — Все куплено в «Кулинарии» на первом этаже.

— Полуфабрикаты, — пояснил Сударевский.

— А что делать? — вздохнула Мария. — Хозяйка я, надо признаться, никакая. Зато все может быть подано за пять минут.

— Это самое главное, — сказал Люсин.

— Может быть, вы хотите раньше поговорить? — Вопросительно взглянув на мужа, она повернулась к Люсину: — Как вам удобнее?

— Как прикажут хозяева, — незамедлительно ответил Люсин.

— У вас много вопросов, Владимир Константинович? — нерешительно спросил Сударевский.

— Пожалуй, что не очень. — Люсин озабоченно нахмурился. — Я взял с собой ленты с потенциометра, чтобы с вашей помощью разобраться в методике проведения опытов.

— Вы по-прежнему интересуетесь экспериментами с растениями? — удивился Сударевский. — Вот уж никак не думал, что они вам понадобятся!

— Отчего же? — без особого воодушевления возразил Люсин. — Они меня заинтересовали. Помните, вы как-то сказали мне, что барабан вращается с постоянной скоростью.

— Да. Ну и что?

— В связи с этим у меня мелькнула идея. По-моему, у нас есть шанс привязать записи на ленте ко времени.

— Конечно, — задумчиво протянул Сударевский. — На координатную сетку ничего не стоит нанести равные временные отрезки.

— И каждому пику нервной активности цветка будет соответствовать точное время? — быстро спросил Люсин.

— Разумеется. — Сударевский пожал плечами. — Вас интересует абсолютное время?

— Московское, — кивнул Люсин.

— Но для этого необходима точка отсчета. Вам нужно знать, в котором часу начался опыт?

— Людмила Викторовна говорит, что обычно Ковский уходил в свой кабинет около десяти часов. Так?

— Пожалуй... Иногда раньше, иногда позже, но большей частью он действительно приступал в десять.

— И что же он делал? Включал потенциометр?

— Нет. Потенциометр никогда не выключался. Запись биопотенциалов велась непрерывно.

— С чего же тогда начиналась работа?

— С очень простой вещи: утреннего полива растений.

— Кто именно поливал?

— Чаще всего сам Аркадий Викторович, иногда Людмила Викторовна.

— И как вело себя растение? Вернее, как отражался момент полива на ленте?

— Очень характерным ступенчатым плато.

— Значит, этот факт, простите за бюрократический оборот, документально регистрировался.

— Да. Полив всегда вызывал в растении повышенную биоэлектрическую активность, что весьма четко отражалось на диаграмме.

— Спасибо, Марк Модестович. Это существенная деталь. Мне необходимо отразить ее в протоколе. Могу я просить вас повторить некоторые места нашей беседы уже в официальной форме? Обещаю вам, что оформление протокола займет у нас не более десяти минут.

— Вы полагаете, что я по какой-либо причине могу изменить свои показания? Это ведь так называется, Владимир Константинович, — показания?

— Не совсем. Сейчас я использовал вас, если хотите, как консультанта. Но если то же самое вы расскажете мне уже в роли свидетеля и подпишетесь затем под протоколом... Тогда это будут показания.

— Насколько мне известно, свидетель не может уклониться от дачи показаний?

— Совершенно верно. Но в своем доме, разумеется, вы полный хозяин. С моей стороны было бы просто нетактично настаивать. Считайте, что я только прошу вас оказать мне любезность.

— Какие могут быть разговоры? Весь к вашим услугам. Может быть, нам лучше пройти в мой кабинет?

— Как скажете! — улыбнулся Люсин и взглянул на Марию.

— Пока вы изощрялись в любезностях, — она поднялась и взяла сигареты, — я боялась слово проронить. Сидела тихо, как мышка.

— И напрасно. — Люсин тоже встал.

— Сиди, — кивнула ему Мария. — Можете оставаться тут, я все равно удаляюсь на кухню.

— Еще раз простите, Марк Модестович, — сказал Люсин, когда она вышла, — но время не ждет. — Он нагнулся за портфелем. — Мне самому не совсем ловко, но я ведь не в гости пришел...

— Можете не объяснять. — Сударевский энергично потер руки. — И оставим китайские церемонии. Давайте работать!

— Давайте. — Люсин вынул бланк протокола. — Номер паспорта помните?

— Пожалуйста. — Сударевский достал паспорт из внутреннего кармана обновленного сухой чисткой клетчатого пиджака.

— Прекрасно! — кивком поблагодарил его Люсин. — Готовьтесь теперь дать подпись, что осведомлены об ответственности за дачу ложных показаний, — сказал он, списывая паспортные данные.

— Трепещу, но готов.

— Вот здесь, пожалуйста, — указал Люсин и передал бланк Сударевскому.

— Извольте. — Он мгновенно поставил подпись.

— Теперь я, с вашего позволения, занесу сюда резюме нашей с вами беседы, и, если моя редакция вас удовлетворит, мы продолжим разговор уже для протокола. Идет?

— И это все, что вам нужно?

— На данном этапе.

— С вашего позволения, — подмигнул Сударевский, наливая себе на самое донышко.

— Так будет правильно? — спросил Люсин, отложив ручку.

Сударевский бегло пробежал глазами запись.

— Да. В момент полива на диаграмме действительно всякий раз возникало характерное ступенчатое плато.

— Подпишитесь прямо под этой строчкой, и пойдем дальше.

— Хорошо, — сказал Сударевский. — Раз у вас такой порядок.

— Вот именно, — благодарно улыбнулся Люсин, забирая протокол. — Теперь такой вопрос, Марк Модестович. — Он задумался, подыскивая точную формулировку. — Чисто условно ваши эксперименты носили название «Любовь — Ненависть», не правда ли?

— Совершенно правильно. Но это действительно не более чем условность.

— Можно ли, в таком случае, говорить, что программа «Любовь» вызывала у растений положительные эмоции, а «Ненависть» — отрицательные?

— Пожалуй, — подумав, согласился Сударевский. — По крайней мере, реакции оказывались различными, сугубо специфическими.

— Программу «Ненависть» осуществляли вы?

— Да

— «Любовь» — Аркадий Викторович?

— Совершенно верно.

— Как отражалось на ленте прижигание листа сигаретой?

— Серией зубчатых пиков ниже нулевой линии.

— А плато полива выше нулевой?

— Выше.

— Отличало ли растение Аркадия Викторовича от вас, Людмилу Викторовну — от Аркадия Викторовича?

— Несомненно... После серии прижиганий и раздражений электротоком растение однозначно реагировало на мое приближение.

— Как именно?

— Печатающее устройство регистрировало те же зубчатые пики, что возникали после ожога. Они выходили не столь четко выраженными, но тем не менее достаточно характерными.

— Значит, достаточно было вам только войти в комнату, чтобы растение испустило крик боли?

— Я бы не решился на столь эмоциональную формулировку. — Сударевский попытался скрыть улыбку. — Но, по сути, вы правы. Так оно и было.

— В протоколе эмоций не будет, — сказал Люсин, записывая. — Я попытаюсь соблюсти академическую трактовку... Какова была реакция растения на приближение Аркадия Викторовича?

— Спокойная апериодическая синусоида. — Марк Модестович изобразил пальцем пологие волны.

— Людмилы Викторовны?

— Реакция была схожей, но синусоида скорее затухала.

— Людмила Викторовна сообщила, что растения реагировали на ее физическое и душевное состояние. Это верно?

— Не думаю. Людмила Викторовна женщина сугубо эмоциональная, и ей многое кажется.

— Она говорила, что цветок отзывался на малейшие изменения ее настроения.

— Это скорее из области фантазии. Своего рода самогипноз.

— Но когда она тяжело заболела, разве Аркадий Викторович не поставил у ее изголовья цветок?

— Что-то такое припоминаю.

— И разве не совпала кривая ее температуры с колебаниями биопотенциалов листьев?

— О совпадении и речи быть не может. Это противоречило бы науке... Известные соответствия, конечно, наблюдались, но чтобы совпадение? Нет. Немыслимо.

— Значит, говорить можно лишь об отдельных соответствиях?

— И то осторожно. Слишком мало статистики.

— А какова была реакция на гибель креветок?

— Однозначная. Резкий всплеск вверх. Характерный двойной зубец.

— Всегда?

— Почти всегда.

— Чем вызваны отклонения?

— Случайностью, надо думать, статистикой. Живые объекты редко ведут себя со стопроцентной повторяемостью.

— Были случаи, когда растения не реагировали на смерть креветки?

— Я знаю пять или шесть случаев.

— Чем, по-вашему, это вызвано?

— Опять же статистикой.

— Но за статистикой кроется некое явление, процесс?

— Либо да, либо нет. Не следует забывать, что природа в самой основе своей статистична. Если мы обратимся к элементарным частицам...

— Стоит ли, Марк Модестович?

— Но в основе мироздания действительно заложены квантово-механические процессы, где статистика...

— Боюсь, что здесь я ничего не пойму. Извините... Буду очень вам благодарен, если вы объясните мне статистические отклонения без привлечения квантовой механики.

— Это уже гадание, шаманство. Почем я знаю, по какой причине растение вдруг не прореагировало? Может, оно спало. Или решало какие-то свои дела. Наконец, просто пребывало в дурном настроении. Сами видите, какая это все чушь. Лучше не заниматься гаданием.

— Аркадий Викторович убивал только креветок?

— Да. Рыб ему было жалко.

— А как бы, по вашему мнению, могло отозваться растение на гибель теплокровного организма?

— Таких опытов мы не ставили.

— И все же?

— Я, видите ли, экспериментатор и гаданиями не занимаюсь.

— Хорошо, Марк Модестович, так я и запишу... Тогда еще вопрос: если утренний полив соответствует десяти часам по московскому времени, то и каждое последующее событие, отраженное на ленте, тоже отвечает какому-то строго определенному времени суток? Верно? Я не ошибаюсь?

— Абсолютно, поскольку одно вытекает из другого. Отклонения, кстати, везде будут одинаковыми.

— Поясните, пожалуйста.

— Время первого полива точно не зафиксировано. Мы лишь приближенно приурочили его к десяти часам. Так? Столь же приближенными окажутся и остальные события. Если опыт начался не

в десять часов, а, скажем, в одиннадцать, то и ошибка в определении времени гибели креветки составит ровно плюс один час. Вы согласны?

— Понял вас! Все очень логично... К сожалению, у меня кончается лист, и я вынужден попросить вас еще раз расписаться. Не затруднит?

— Нет проблемы, как говорят англичане.

— Благодарю... Когда вы в последний раз были на даче в Жаворонках? Точнее, когда вы в последний раз ставили с Аркадием Викторовичем опыт?

— За несколько дней до того, как случилось это трагическое событие, Владимир Константинович, за несколько дней. Насколько я помню, вы уже спрашивали меня об этом. Могу лишь сожалеть, если мой ответ вас не устраивает.

— Не устраивает? Но почему?

— Эх, Владимир Константинович, дорогой мой! Я же не слепой и прекрасно понимаю, куда вы гнете. Вам кажется, будто вы располагаете убийственным доказательством против меня. Сейчас вы достанете из портфеля ленту и обвините меня в том, что в день смерти Аркадия Викторовича я был в его кабинете. Разве нет? Сначала вы своими вопросами загнали меня в угол, а теперь вытащите вещественное доказательство и изобличите во лжи.

— Если я правильно понял, вы хотите, чтобы я выложил карты на стол? В принципе я не против открытой игры. Давайте попробуем разобраться вместе. Действительно, у меня в портфеле лежит лента. Ориентируясь на характерный сигнал полива, мы можем разделить ее на отрезки, соответствующие отдельным календарным дням. Последний отрезок соответствует последнему дню жизни Аркадия Викторовича. Лента еще продолжала разматываться, когда ваш учитель уже не дышал. Даже после того, как цветок был опрокинут и один из датчиков, отвечающий четвертому номеру на печатном устройстве, порвался, потенциометр все еще продолжал работать. Опыт все еще длился, несмотря на то что экспериментатор был мертв. Вот так... Вместе с вами мы пришли к тому, что на ленте зарегистрированы вполне объективные процессы, которые могут быть с большой долей вероятности однозначно интерпретированы. Вы сами только что рассказали о том, как реагировало растение на одно лишь ваше появление в лаборатории. Вы сами подтвердили и тот факт, что программа «Ненависть» целиком лежала на вас. Но на участке ленты, запечатлевшей последний опыт Ковского, мы видим ту самую серию зубчатых пиков ниже нулевой линии, о которой вы говорили и которую я назвал криком боли. Как это можно объяснить?

— Покажите мне ленту.

— Сейчас это нецелесообразно.

— Нет? Но почему?

— У меня есть на этот счет кое-какие соображения.

— И это вы называете карты на стол? Боюсь, что плодотворного совместного разбирательства у нас не получится.

— Посмотрим, Марк Модестович. Еще не вечер.

— Я отказываюсь вести с вами дальнейший разговор.

— Это уже не разговор, Марк Модестович, а допрос. Вы ведь сами согласились дать свидетельские показания. И сами же придали нашей беседе столь острый уклон. Я не намеревался сегодня спрашивать вас о пиках боли на последнем отрезке ленты. Но как бы там ни было, а вопрос задан. Вы отказываетесь отвечать на него?

— Нет, не отказываюсь. Я не хочу дать вам лишнее оружие против себя.

— Это разумно. Итак?

— Я не знаю, почему возникли эти зубцы на ленте. Меня в тот день в кабинете не было. И это все, что я могу сказать.

— Такой ответ представляется вам убедительным?

— Решайте сами.

— Ни меня, ни кого-то другого он удовлетворить не может.

— Вы кто по образованию, Владимир Константинович? Я забыл.

— Юрист.

— Ах, юрист! Тогда вы должны понимать, что всплески на ленте — не отпечатки пальцев. Это поисковая научная работа, очень и очень далекая от ваших дел. Юридически сведущий человек не найдет здесь ни улик, ни доказательств. Тут ничего нельзя истолковать однозначно и ничего нельзя использовать для следственной практики. Думаете, я сразу не понял, куда вы клоните? Но я отвечал на ваши вопросы, рассказывал о таких деталях, до которых без меня вы бы не докопались за целый год. Все бы ваши построения разлетелись в прах, умолчи я лишь об одном сигнале утреннего полива! Станете спорить?

— Не стану. Вы действительно очень мне помогли. И я знаю, что все сказанное вами — правда.

— И зачем я, товарищ Люсин, сам сунул голову в приготовленную моими руками петлю? Зачем?

— Вы вновь приглашаете меня предпринять совместный логический анализ?

— Давайте попробуем.

— Прежде всего должен отметить, что вы умный человек, Марк Модестович.

— Покорно благодарю.

— В самом деле умный. Вы правильно сказали, что юридической силы сигналы на ленте не имеют. Как, строго говоря, не имеет ее реакция служебно-розыскной собаки. Собака способствует розыску преступника, но никак не составлению обвинительного заключения. Наш случай хоть и не однозначный, но чем-то схожий. Никто не рискнет выдвигать обвинение против человека на основании каких-то пиков и синусоид, которые могут толковаться и так и эдак. Мы даже не найдем подходящих экспертов, хотя на страницах мировой печати и дебатируются вопросы использования биопотенциалов растений в целях криминалистики. Но согласитесь,

Марк Модестович, последние диаграммы все же дают нам некое указание, которое трудно будет оставить без объяснения. Если хотите, это повод задуматься, покопаться в известном направлении. Вдруг отыщется?! Я имею в виду улики, следы, не подлежащие противоречивому истолкованию. Более того, я могу уже располагать такими уликами! И должен прямо сказать, что вместе с лентой они обладают большой доказательной силой.

— Провоцируете?

— Ни в коем случае. Только обрисовываю общую ситуацию.

— Какие это улики? В чем вы меня обвиняете?

— Об уликах мы еще поговорим. В свое время... На второй ваш вопрос я тоже еще не готов дать окончательный ответ. Могу лишь сказать, что у меня есть веские основания не верить некоторым вашим показаниям.

— Конкретно!

— Если конкретно, то я убежден, что в день смерти Ковского вы были в его лаборатории. Я говорю о его кабинете на даче в Жаворонках.

— Это все?

— Это главное.

— Отсюда только один шаг, чтобы обвинить меня в убийстве.

— Я его не сделал.

— Напрасно! Это ведь так просто!

— Думаю, что вы ошибаетесь. Но как бы там ни было, от ответа на вопрос, что вы делали в доме Ковского в тот последний день, не уйти.

— Я не знаю, какие у вас там есть против меня улики, но лента, повторяю, не доказательство. Она меня не волнует.

— Напрасно.

— Нет, не волнует. Объяснить пики легче легкого. Я могу выдвинуть хоть сто различных вариантов.

— Сделайте одолжение.

— Ковский сам поставил опыт по программе «Ненависть».

— Это противоречит вашим прежним показаниям.

— Ничуть. Отчего бы ему не поставить такой опыт? Я же не был у него целых пять дней. Это не утверждение, а только предположение. Как я могу утверждать что-либо, если не знаю точно? Меня же не было там! Не убеждает?

— Ладно, допустим. Еще варианты есть?

— Сколько угодно! Ковский раскрыл форточку, и на лист с датчиком упал солнечный луч. — К вашему сведению, утреннее солнце богато ультрафиолетом. Поэтому лист мог получить ожог, что и вызвало реакцию, сходную с той, которая возникала при раздражении током или зажженной сигаретой. Как вам это нравится?

— Видимо, научные эксперты признают подобный довод достаточно резонным.

— Вот видите! А что, если реакция цветка вообще была самопроизвольной? Если растению не понравилось, что бактерии в по-

чве вдруг взрывообразно размножились или, напротив, погибли? А вдруг поливная вода содержала не те соли? А что, ежели завелась какая-нибудь личинка и стала пожирать корни? Или проросли вдруг занесенные ветром вредные споры?

— Понятно, Марк Модестович, и достаточно. Меня ваша аргументация убеждает. Не отказываясь от первоначальных сомнений, я вынужден признать, что пики на диаграмме доказательной силой не обладают. Вы удовлетворены?

— А вы?

— И да и нет. Но, по крайней мере, вопрос, казавшийся мне главным, получает достаточное объяснение. Точнее вырисовывается неправомочность самой его постановки. Приношу свои извинения. Наличие пиков боли на последней диаграмме не может быть истолковано однозначно.

— Вы отразите это в протоколе?

— Ваши ответы? Безусловно!

— А ваши выводы?

— Это уже не для протокола. Они останутся в голове.

— Еще вопросы будут?

— Нет, Марк Модестович, спасибо. Прочтите, пожалуйста, и подпишите.

— Давайте. — Он подписал не глядя. — Я вам верю.

— Прочтите все-таки для порядка. Если что не понравится, внесем изменения.

— Нет, все правильно, — сказал Сударевский, бегло проглядев запись. — Жаль лишь, что наш в высшей степени интересный диалог не отражен здесь во всей полноте.

— Сойдет. Главное, чтобы правильно была передана суть, а как мы с вами добирались до истины, никого не касается.

— Считаете, что мы добрались до нее?

— Диалектика учит, что абсолютная истина недостижима, Марк Модестович, хотя мы можем сколь угодно близко приблизиться к ней... Теперь, когда мы покончили с делами, могу сообщить вам приятную новость.

— В самом деле?

— Академик Берендер дал высокий отзыв о вашей работе. Он считает, что она безусловно заслуживает диплома на открытие. Если вы согласны, он готов ходатайствовать о передаче ее на рассмотрение в отделение химических наук.

— Спасибо, Владимир Константинович, за ваши хлопоты и за действительно прекрасное известие. Оценка Александра Петровича крайне лестна и ко многому обязывает, но, не знаю, как вам объяснить, я не согласен. Ради бога, извините меня, но я не хочу.

— Вот уж удивили так удивили! Мои друзья говорят, что это почти верное дело!

— И тем не менее.

— Ну, раз так... Дело, конечно, ваше.

— Хотите знать почему?

— Вы не обязаны объясняться, Марк Модестович. Столь далеко мои служебные полномочия не распространяются.

— Но вы пытались помочь мне не как следователь?

— Конечно же, нет! Просто по-человечески! Наконец, как гражданин... Вы ведь действительно сделали вместе с Ковским большое и важное открытие. В юридическом оформлении этого факта заинтересованы не только вы, но прежде всего наша страна. Этого требуют государственные интересы.

— Вот видите, Владимир Константинович, как вы по-государственному мыслите! Жаль, что те, кого это прямо касается, не берут с вас пример. Им, простите, плевать...

— А вы не о них думайте! Это накипь. Вы лучше на таких, как академик Берендер, ориентируйтесь.

— Поздно. Я, знаете ли, чертовски устал, и мне все равно. Перегорело в душе. Одна зола осталась. Хватит с меня неприятностей. Хочу спокойно пожить. У меня перед глазами, простите, наглядный урок. Да, да, я об Аркадии Викторовиче думаю! Не довольно ли жертв, товарищ майор?

— Вы считаете, что Ковский стал жертвой?

— Результаты вскрытия уже известны? Или это тоже секрет?

— Случай сложный. Труп долго лежал в воде. Заключения судебно-медицинской экспертизы еще нет.

— Так чего же вы дурака тут валяете? Душу выворачиваете? Вы же ведете себя, как последний провокатор!

— Боюсь, вы перебарщиваете, Марк Модестович!

— А вы не перебарщиваете, обвиняя меня в убийстве близкого и дорогого мне человека?

— Я ни разу не произнес слово «обвинение».

— Не обвиняете, так подозреваете!

— Я ни разу не произнес слово «убийство».

— Потому что данных нет, улик этих самых! Были бы — произнесли бы! Но я дам, дам вам материал против себя! Не беспокойтесь! Вас наверняка мучила проблема мотива преступления. Я не ошибся? Так вот, мотив есть: Сударевский убил своего учителя, чтобы сесть на его место. Очень просто! Я принимаю предложение возглавить лабораторию — разве это не веский довод? Как-никак лишних сто тридцать рубчиков в месяц!

— Прекратите истерику! Немедленно прекратите!

— Что?.. Да-да, вы правы, извините меня...

— Принести воды?

— Нет, благодарю вас, не надо.

— Тогда коньяку выпейте.

— Мне от него плохо бывает... Сердцебиение. Еще раз простите. Нервы, знаете ли, не выдержали. Сорвался.

— Вижу, что сорвались. Не знаю только, когда именно. Поэтому вновь решаюсь напомнить вам о предложении академика.

— Нет. Бог с ним, с этим открытием. Тут я пас, говорю со всей ответственностью. Скажете, струсил? Карьерист? Да-да-да! Хватит

с меня. Пора и о себе подумать. О своем здоровье, о диссертации, о лаборатории, наконец. Теперь, когда я точно знаю, что Аркадия Викторовича нет, мне ничто не мешает принять предложение Фомы Андреевича. Даже напротив! Я просто обязан сделать это ради светлого имени Ковского как ближайший друг его и ученик.

— Правильно. Но не в меньшей мере вы обязаны сделать и другое: довести до конца дело всей жизни вашего учителя.

— Его уже довели до конца. Хватит! Можете осуждать меня, но я решил жить. Здесь я делаю уступку своему человеческому естеству. С открытием покончено раз и навсегда!.. И хватит о делах. Не пора ли подумать об обеде? Судя по запахам, процесс приготовления находится в заключительной стадии. Не желаете ли помыть руки?

— После всего, что мы наговорили друг другу, мне одинаково трудно как отказаться от вашего приглашения, так и принять его. Я не хочу обидеть Марию и вас, Марк Модестович, но поймите меня правильно, мне лучше уйти.

— Никаких «уйти»! Одно другого не касается! Вы наш гость, и я ни за что вас не отпущу!

— И все-таки я ухожу.

— Вы, конечно, обиделись! Но я был вне себя. Не обижайтесь, прошу вас!

— Я нисколько не обижаюсь, Марк Модестович, но поверьте мне, так будет лучше... У вас волос на плече. Позвольте сниму...

Глава шестая

ВОЛНА IV

Империя Чингиз-хана. XIII век

В год Зайца[1], когда над государством тангутов Си-Ся пролетел дракон, Темучин вознамерился начать поход на Запад. Но прежде чем поднять на пике с лунным кругом знамя войны — девять черных как сажа лошадиных шкур, — он задумался о жизни и смерти.

Однажды в часы бессонницы Великий хаган понял, что он всего лишь человек. Завоевав Восток и собираясь сильно потеснить или совсем уничтожить Хорезмшаха на Западе, Темучин впервые подумал о конечной цели.

Спору нет, он собрал орды диких кочевников в могущественную империю, которая диктует свою, вернее, его, Темучина, свирепую волю народам и государствам. Нелегко было построить на пепелище древних культур централизованную державу, скованную непререкаемой дисциплиной походного лагеря. Еще труднее оказалось подчинить всех и вся единому закону. Но и это сумел он осуществить.

[1] 1219 год.

Недаром же ныне на теплых еще, дымящихся развалинах завоеванных городов первыми возникают не дворцы, не храмы и даже не хижины, а хошлоны[1] нового правопорядка. Перепись мужчин, ямская почта, налогообложение, мобилизация — вот какие команды выкрикивает покоренным монгольская яса[2]. И это хорошо. Но что потом? Чем больше лошадей, тем труднее согнать их в табун. Мудрый стареющий воитель понимал, что империи, как и люди, дряхлеют и умирают. Рано или поздно, но все созданное им пойдет прахом, и, прежде всего, он сам станет тенгри — уйдет в небо. Впрочем, это лишь так говорят: уйти на небо. Никто не знает, что делается за таинственной гранью, отделяющей тенгри от мира живых. Никто оттуда не возвращался.

По мановению его руки смерть косила сотни и сотни тысяч. Он видел, во что превращаются люди, когда одухотворяющее их начало невидимым паром устремляется в небеса. До сих пор он смотрел на смерть лишь как на необходимейший элемент политики. И только. Радости она не доставляла ему. Убивая, он не испытывал ненависти или каких-то мстительных чувств. Холмы из черепов, насыпанные на страх врагам, воспринимал как неизбежное последствие войн, как необходимое напоминание. Сами по себе они не тешили его тщеславия, не пробуждали темных инстинктов и даже не наталкивали на мысль о собственной участи. Людям свойственно извлекать уроки скорее из единичного, нежели из множественного примера. Не горы трупов, а лишь гибель любимого коня навела Темучина на размышления о смысле и цели бытия. Он думал об этом все чаще, углубленнее, пока не ощутил вдруг странное обмирание под сердцем, и сразу же стало ясно, что его тоже не минует вселенское уничтожение существ. А если так, то зачем тогда все? К чему борьба и многотрудные усилия и какова цена стремления, ради которого он не пощадил даже единокровных братьев? Во имя чего он столько претерпел в жизни — на собственной шкуре совсем еще мальчишкой испытал беспощадную облаву смерти, все ужасы погони изведал, все страхи бегства? И настолько бессмысленными и мелкими показались ему собственные суетные порывы, настолько жалкими завоеванные плоды, что он застонал от неутолимой тоски.

Туманным пятном посветлел дымник юрты, в зарослях дрока пробовали голос ранние пташки, но сжавшая сердце ледяная рука все не отпускала. Темучин тщился во что бы то ни стало найти ответ хоть на один вопрос, но ничего не получалось. Не было ответа. Но даже бессилие, которое он ощутил, уже само по себе много значило для него. Казалось, что после такого необходимо зажить по-новому, как-то совсем иначе; употребить оставшиеся годы — или только дни? — на разрешение самого важного и сокровенного. На мгновение в нем пробудилась жажда деятельности, чуть отогревшая заледеневшую душу. Значит, не все еще потеряно

[1] Хошлон — юрта.

[2] Яса — закон.

и есть хоть какой-нибудь выход из могильного лабиринта, куда само всепожирающее время загоняло его ударами стального бича! Пусть он не видит сейчас этого спасительного выхода, но непременно отыщет его потом, и, может быть, очень скоро, если броситься на поиски с такой же неистовой энергией, которая сокрушала царства. Ведь он властелин! Сокровища его несметны! Он ничего не пожалеет ради достижения единственно верной цели. Без нее не милы победы, горек кумыс и золото подобно золе. Что зароют вместе с ним в могильный курган? Коня, любимое оружие, украшения, горшки с едой... Еще красивые девушки и храбрые бахатуры уйдут под землю, чтобы и там прислуживать хагану. Какая жалкая малость! Какая страшная нелепость! Получается, что он, кому ныне принадлежит весь мир, ничего не сможет взять с собой! Разве мыслимо смириться с этим! И вновь растревоженное бессонницей сознание заметалось по запутанным ходам сумеречного лабиринта. И ни единой спасительной мысли не промелькнуло. Он даже не сумел вообразить себе, какой станет та новая жизнь, в необходимости которой так уверился. Понимал, что надобно быстро и круто все поменять, только не знал, как, где и когда...

Хмурый, с больной головой, поднялся Темучин с жаркого собольего ложа и вышел из шатра. Кэшиктены из личной охраны молча отсалютовали копьями и застыли по обе стороны резной, изукрашенной рисунками против злых духов — оберегами и знаками счастья — двери. Высокий бородатый старик обернулся и оглядел своих гвардейцев долгим оценивающим взглядом. Оба бахатура были из славного рода барласов. Он помнил их еще мальчишками и пил кумыс с их отцами. Каждого кэшиктена хорошо знал и помнил Темучин. Тех, кому доверил охрану собственной жизни, нельзя не знать. Недаром гвардейцы были вознесены даже над армейскими темниками — начальниками десяти тысяч. И они исправно несли службу. Хаган мог спать спокойно: не то что враг, а ласка не прокрадется в его хошлон, летучая мышь не залетит. Но защитят ли его часовые от той, которая без пайцзы[1] и пароля идет куда пожелает и забирает с собой кого захочет? Закон ясно говорит: «Кебтеулы, стоящие на страже у ворот, обязаны рубить голову по самые плечи на отвал всякому, кто попытался бы ночью проникнуть во дворец». Но есть закон над законами и сила над силой. Никто не знает, когда позовет его смерть: ночью или днем, зимой или летом. Ее не остановят ни обереги на хаганской двери, ни сабли стражи. Она не посмотрит ни на черное девятигривое знамя войны, ни на белое мирное знамя. Что ей бунчук Темучина? Его грозная слава, что ей?

Так не лучше ли перекинуться головою в лебеду, чем отойти в юрте? Обнять пропыленные кусты, а не соболий мех? Испустить дух среди вольной степи на мягкой подушке из порубанных тел?

---

[1] Пайцза — золотая пластинка с надписью: «Уполномочен вести дело по повелению правителя по воле Неба».

Раскосые грозные очи хагана мрачно глядят из-под нависших бровей на знатных барласов. Сильные, молодые! Усишки куцыми волосками лишь оттеняют их лица, смуглые от ветра и молодой играющей крови. С любым из них поменялся б великий хаган: отдал бы все мировое величие за одну только молодость. Не глядя. Баш на баш. Но даже если бы мыслима была эта сделка, все равно с ней пришлось бы повременить. Еще Темучин не померился силой с Хорезмом! Еще тангуты и чжурджени ждут своего часа! Зато потом... Но настанет ли оно, это потом?

Подбегает кравчий. Гнет спину дугой, умоляя испить утреннего кумыса.

— Напиток бессмертия! — лепечет разжиревший на царских хлебах бездельник. — Или чял — молоко от молодой верблюдицы? Не угодно ли, суту[1], кубок «бгродарсуна» — хмельного напитка из винограда?

Но Темучин прогоняет назойливого багурчи прочь. Нет, ему ничего не угодно. Когда-то, прильнув к горячей конской шее, он высасывал кровь из отворенной жилы, и соленая терпкая влага заменяла ему и еду и воду из степного колодца. Охмелев, как от рога с тарасуном[2], он зализывал ранку коню и, вскочив в седло, без сна и отдыха скакал от летовки к летовке, собирая бахатуров на большую войну. Теперь не то...

Отогнав стражу, нетерпеливо поигрывая нагайкой, он подзывает черби — управляющего людьми.

— Кто из служителей тенгри последовал за нами в ставку? — спрашивает он.

— Все, наделенный величием. — Черби развертывает исписанный уйгурскими знаками свиток и начинает перечислять: — «Индийские проповедники Шигемюни[3] и тибетские перерожденцы, гебры — огнепоклонники, за приверженность к персидскому учению прозываемые парсами, монахи — несториане, монах — доминиканец, что привез послание короля французов, мулла из Бухары, хазарский раби, заклинатель — чойчжин, лама красной веры, попы из Царьграда...»

— Довольно! — останавливает Темучин.

Степной житель, он поклоняется Солнцу и Небу, матери-Земле и луусам — духам рек и озер. Он одинаково почитает всех иноземных богов и оказывает уважение их служителям. Его нукеры не разоряют ни мечетей, ни церквей, ни пагод. Одной военной дисциплиной нельзя скрепить воедино, словно кадку железным обручем, подвластные народы. Пусть у каждого останется его бог. Он терпеливо сносит все домогательства крикливой шайки жрецов, каждый из которых стремится расположить его именно к своей вере, и никому не говорит «нет». Пока они ссорятся и дерутся между собой,

---

[1] Суту — наделенный величием

[2] Тарасун — молочная водка

[3] Шигемюни — монгольская форма Шакьямуни

он молится всем богам понемножку и выжидает, присматривается. Конечно, единой державе следует дать и единую святыню. Только время еще не пришло. Впереди поход на Хорезм, а там видно будет. Скорее всего, он, Темучин, останется перед тенгри в долгу. Пусть уж Удэгей, сын и наследник, расхлебывает эту кашу. В главном хаган уже успел увериться: секрета бессмертия не знает никто. Что бы там ни нашептывали ему муллы, шаманы, попы и ламы, ни у одного из них лекарства вечной жизни или хотя бы долголетия нет. Обещаниям он больше не верит. И снадобье, которое подсовывают ему время от времени, перестанет глотать. Нет, отравы он не боится. Прежде чем принять новое лекарство, он, как положено, пробует его действие на лекаре и только потом принимает сам. Но ведь не помогает! Чувствует он себя неплохо, нечего небо гневить, однако стоит поднести к лицу серебряное зеркало, как сразу же становится ясно, что все посулы приостановить неумолимое продвижение старости — враки. Он очень постарел за последнее время. Волосы на голове поседели и почти целиком выпали, лоб избороздили глубокие складки, под глазами набрякли темные мешки. А сами глаза еще ничего! Желтые, как у рыси, они по-прежнему молоды и зорки. Недаром же он с пятидесяти шагов сажает стрелу в стрелу. Или лекарства все-таки хоть как-то действуют? Конечно, следовало бы для острастки, дабы не смели дурачить государя, примерно наказать этих лекарей во монашестве. Хотя бы по одному от каждой религии, чтобы никого не обидеть. Но страшно. Даже он, Темучин, не смеет позволить себе сломать хребет монаху, как некогда шаману Кокочу, посмевшему оспаривать верховную власть хагана. Нельзя восстанавливать против себя грозные силы тенгри, которые вертят человеком как хотят. Особенно некстати это именно теперь, когда он решил начать борьбу за вечность. В ней будет дорог любой союзник. Ему, Темучину, все равно, как поступят с его телом потом: сожгут ли по рецептам брахманов или зароют в землю, скормят собакам по тибетскому обряду или отдадут на съедение птицам, как то рекомендуют огнепоклонники. Но пока этого не случилось, он ни с кем не желает враждовать. Коли нельзя взять врага ни стрелой, ни саблей, с ним лучше договориться. Наконец, кто станет лечить Темучина, если он попробует наказать хотя бы одного из этих наглых обманщиков? Все только перепугаются и разбегутся. А ведь среди них попадаются и действительно знающие люди, не только обманщики!

Об одном таком искуснейшем маге и лекаре, даосе по имени Чан-чунь, он наслышан уже давно. Недаром в Китае толкуют, что даосы, не в пример всем прочим, действительно нашли лекарство вечной жизни. Если так, то можно считать, что битва с тенгри выиграна. Он завтра же... нет, не завтра — сегодня, немедленно пошлет к Чан-чуню гонца. Пусть тайши[1] поспешит прибыть в ставку. Погостит, осмотрится и другим даст к себе приглядеться. О, для человека, который сделает его вечным, Темучин ничего не пожале-

[1] Тайши — великий наставник

ет! За каждый лишний день жизни заплатит столько, сколько чудодей сам пожелает. Но говорят, даосы не нуждаются в золоте. Они могут извлекать его из воды, как творог — из молока.

Чан-чунь с готовностью откликнулся на зов Темучина.

— Я иду к местопребыванию государя, что на вершинах реки, для того чтобы прекратить войны и возвратить мир! — ответил он послам.

*

Но этой встрече, от которой оба, по взаимному неведению друг о друге, ожидали столь многого, суждено было состояться лишь спустя три года. Темучин уже не принадлежал себе. Он сам сделался первым пленником собственной всесокрушающей воли и не мог вмешаться в развитие событий, вызванных ею. И случай, слепо бросающий кости судеб, тоже подгонял хагана, не дозволяя выбирать, понуждая действовать.

Расширяя свои границы, владыка Запада и владыка Востока неудержимо неся к роковому соприкосновению, чреватому самыми губительными последствиями. Неизбежное свершилось, когда Хорезмшах завоевал кипчакские степи, а монголы поглотили Северное Семиречье.

Сделавшись соседями, Темучин и Мухаммед, хотели они того или нет, вынуждены были определить свою политику по отношению друг к другу. Вполне понятно, что прежде всего каждый из них пожелал получить о партнере подробные и достоверные сведения.

Именно тогда и решится вопрос о войне или мире. И пусть столкновение между обоими хищниками, ставшими теперь естественными соперниками, было предрешено всем ходом исторического развития, оттянуть его на неопределенный срок еще казалось возможным. Но неразумные, вызывающие действия Мухаммеда вскоре и такую возможность свели на нет.

*

С караваном купцов, которые везли на продажу парчу, шелк и ткань зендани, в ставку хагана прибыл шахский посол Беха ад-дин Рези, человек утонченный, изнеженный и коварный. Никаких конкретных предложений он с собой не привез и в беседе с Темучином ограничился лишь туманными заверениями о мире и взаимовыгодной торговле. Но один из купцов, некто Валчич, тут же вызвал всеобщее возмущение, назначив цену за свои ткани в десять раз большую, чем они стоили ему самому. Темучин распорядился показать купцу хаганские склады, заваленные всевозможной материей. Когда тот своими глазами убедился, что монголы не дикари и знают надлежащую цену всему, его товары конфисковали. Наученные горьким опытом собрата, остальные купцы сложили свое добро к ногам государя, словно приехали не торговать, а привезли

подарки. Тогда Темучин проявил великодушие и разумную твердость. За каждый отрез шитой золотом ткани он дал по золотому балышу — в три раза меньше, чем требовал зарвавшийся Валчич, — за два куска зендани — по серебряному. Столько же уплатили и пристыженному Валчичу. Это был урок дипломатии, наглядный и поучительный. Послу же, которого обласкал и одарил сверх меры, наделенный величием хаган сказал:

— Передай своему государю, что мы считаем его повелителем Запада, а себя — владыкой Востока. И мы желаем, чтобы между нами всегда был мир, а купцы могли свободно ездить по всем государствам. Небо обязало правителей обеспечить безопасность торговли. Это их первейший долг.

Темучин предлагал Хорезмшаху узаконить раздел обозримого мира. Возможно, при благоприятных обстоятельствах обе стороны смогли бы выполнить взятые на себя обязательства и столкновения бы не произошло. Вся беда в том, что независимо от воли государей благоприятно сложиться обстоятельства как раз и не могли.

Свято соблюдая законы вежливости, хаган отправил ко двору Хорезмшаха своих соглядатаев, конечно, наделенных всеми посольскими полномочиями. По обычаю тех времен и для большего удобства, посольство тоже примкнуло к купеческому каравану. Желая польстить мусульманскому фанатику шаху Мухаммеду, Темучин отправил в Хорезм одних только магометан. Более того, во главе миссии он поставил Махмуда, хорезмийца по происхождению, что, несомненно, должно было ублажить шаха. Еще в числе послов находились бухарец Али-ходжа и Юсуф Кенка из Отрары. Подарки они везли с собой богатейшие. Один только величиной с верблюжий горб золотой самородок с китайских гор уже мог составить целое состояние. Он оказался настолько тяжелым, что пришлось везти его на отдельной телеге. Везли и другие золотые вещи, слитки серебра, столь ценимый на Дальнем Востоке нефрит, моржовые клыки, мускус и тончайшую таргу, которую ткали из нежной шерсти верблюжат-альбиносов.

Хорезмшах принял посольство в Бухаре, где весенний воздух особенно целителен, а благоухание цветущих персиков, кизила и миндаля продлевает молодость и открывает для радости сердце.

Хорезмиец Махмуд, стоя вместе с другими на коленях, передал высокое поручение.

— Наш наделенный величием государь и непобедимый полководец, — сказал он, — наслышан о могуществе шаха и его воинской доблести. Вместе с дарами он посылает владыке Хорезма, Мавераннахра и прочих цветущих стран свой братский привет и пожелание долгой жизни на радость счастливым подданным. А еще наделенный величием предлагает шаху хорезмскому заключить договор о вечном мире. Сам он ставит шаха «наравне с самым дорогим из своих сыновей»[1] и выражает уверенность, что в Хорезме известно о победах монголов, особенно же о завоевании Китая, а

[1] Подлинные слова.

также о богатстве народов и стран, составляющих монгольскую державу. Все вышесказанное позволяет надеяться, что установление прочного мира и безопасности торговых путей будет способствовать процветанию обеих сторон.

Шах Мухаммед выслушал послов с непроницаемым видом и, не сказав в ответ ни слова, отпустил их.

Но как только на Бухару опустилась благоуханная непроницаемая ночь, шахский визирь позвал посла-хорезмийца во дворец на тайную беседу. События развивались пока в предусмотренном Темучином порядке.

— Встань, Махмуд. — Хорезмшах сразу же дал понять, что беседа не будет официальной. — И слушай, что мы хотим тебе сказать. У человека только одна родина, и, куда бы ни забросила его судьба, он не смеет забывать свой край, свой город. Разве отцов забывают? Ты помнишь Гургандж? Помнишь родной Хорезмский оазис?

— О великий шах! — Махмуд со слезами на глазах поцеловал пол. — Я покинул родные края еще мальчиком, но сердце все помнит! Я люблю свою родину, да пребудет над ней вечная милость аллаха!

— Как же ты, мусульманин и хорезмиец, можешь служить грязному кяфиру, злоумышляющему против нас, твоего царя?! — Хорезмшах не скрывал вдохновенного гнева. — Как только ты не проглотил свой нечестивый язык, когда осмелился передать нам, что монгол считает нас за сына?! Кто сын, тебя я спрашиваю? Уж не мы ли, повелитель мусульман, в котором течет кровь пророка? Ала ад-дин Мухаммед, потомок Ануш-тегина, должен признать своим отцом язычника-скотовода? В своем ли ты уме, отступник? — Шах рванул себя за бороду. Нечистые, болезненные белки его глаз покраснели от напряжения. — Будешь служить нам, Махмуд? — с угрозой спросил он.

— Приказывайте, повелитель правоверных, — не поднимая лица, прошептал, готовый принять смерть, посол. — Я вам раб.

— Встань, — приказал Хорезмшах, понемногу успокаиваясь. — Монголы действительно так сильны?

— Они не знают страха, ваше величество, и собственная жизнь им не дорога.

— И правда, что они завоевали весь Китай?

— Истинная правда, ваше величество.

— Но даже это не дает права вонючему кяфиру называть нас своим вассалом!

— Лучше бы я и вправду откусил себе язык! — Посол не скрывал своего страха. Он был бледен и сильно вспотел.

— Сколько войска у твоего господина?

— Много, ваше величество, иначе бы ему не удалось завоевать полмира, — честно, хотя и несколько уклончиво ответил Махмуд.

— Не может того быть, чтобы монголы, которые неведомо откуда пришли, собрали большую армию, чем правоверные! Аллах того не допустит!

— Аминь! — Махмуд благочестиво поднял глаза. — У наделенного величием хагана хоть и не счесть воинов, но силы его не идут ни в какое сравнение с армией Хорезма. Ваше величество держит в строю много больше сабель.

— Ты не обманул наших надежд, Махмуд! — Хорезмшах просиял. — Мы так и думали, что наше войско по сравнению с монгольским — как большая река перед ручьем. В тебе мы тоже не ошиблись, благочестивый мусульманин. — Он одарил посла мимолетной улыбкой. — Ты станешь нашим оком в монгольской орде и будешь сообщать нам все, что там происходит. За это мы щедро наградим тебя. Вот возьми. — Хорезмшах бросил послу тяжелый перстень, украшенный невиданного цвета камнем, игравшим в свете факелов подобно самаркандскому вину мусалясу[1]. — Пусть ясный камень будет залогом наших дальнейших неслыханных милостей. Он поможет тебе невидимо присутствовать всюду, где только станут говорить о нашем Хорезме, Махмуд, твоей родине.

Посол спрятал перстень и поцеловал землю перед шахом. Понимал ли он в ту минуту, что его ответ на вопрос о силах монголов сыграет роковую роль в судьбе Хорезма, давшего ему жизнь? Трудно сказать... Но одно он знал твердо: правда стоила бы ему головы. А так он уносил ее из дворца на плечах, в придачу к бесценному камню.

— Завтра мы официально призовем тебя и остальных послов выслушать наш ответ, — сказал Хорезмшах, прежде чем закутанный в черный плащ визирь увел Махмуда. — Мы подпишем договор о дружбе. Что же касается торговых отношений, то с этим не стоит спешить.

Не разгибая спины, посол исчез за парчовой занавесью, которую приподнял перед ним визирь.

...Темучин остался весьма доволен исполненной миссией. Он похвалил послов за гибкость и проявленную ими при заключении договора смекалку. Особо поблагодарил великий хаган Махмуда-хорезмийца.

Оставшись один, Темучин потер шахский камень о белый войлок шатра и долго дивился тому, что тонкие ворсинки притягиваются и прилипают к кольцу, словно намазанные клеем. Он заметил, что войлок не только шевелится, но и потрескивает, как сухие волосья в грозу. Таинственный огонек в кристалле от такого трения, казалось, набирался еще большей пронзительности и силы.

Все радовало хагана в этот день счастливой луны: и договор, который развязывал ему руки для военных действий на Севере, и удачный ответ смышленого посла на вопрос шаха о монгольских силах, и эта сверкающая вещица, которая, если знать нужные заклинания, делает человека невидимым. Но больше всего веселила

---

[1] В. Ян, рассказывая в романе «Чингиз-хан» о тайной встрече Хорезмшаха с послом, говорит, что Махмуд получил жемчужину. Но историк Рашид ад-дин в своем «Сборнике летописей» упоминает именно о камне.

сердце весть о том, как принял напыщенный Мухаммед, его, Темучина, отцовское обращение.

Восстановив в памяти рассказ посла, он с хохотом упал на соболье ложе и стал кататься на животе, визжа и зарываясь лицом в щекочущий мех. За обедом он один съел целого ягненка и выпил вина. Полную чашу, сделанную из черепа ненавистного меркитского князя. Потом он поехал на охоту и бил всех зверей и птиц, каких достала стрела. Не тронул только прародичей — серого волка и красавицу лань. Давненько он не ощущал себя таким бодрым и молодым.

В лагерь прискакал пропахший хвоей и по́том, когда над дымником его юрты зовуще мигала Алтан-года́с[1].

А на другой день в ставку прискакал черный от запекшейся крови и пыли мусульманин. По его словам, он был погонщиком верблюдов в том самом караване, который Темучин отправил во франкские земли через владения Хорезмшаха. Полумертвый от усталости, он все-таки поведал страшные подробности учиненной в пограничном городе Отраре резни.

Караван состоял из пятисот верблюдов, груженных золотом, серебром, китайскими шелками, фарфором, тканью таргу, мехами лис, соболей и бобров, мешочками мускуса, чашами из нефрита и розового хрусталя, бронзовой утварью, безделушками из оникса, яшмы и бамбукового корня — всеми теми редкостными вещами, которые достались героям победоносных набегов на Цинь, Китай и страну чжурдженей. Кроме купцов — четыреста пятьдесят человек, и все как один мусульмане, — в составе его находилось и небольшое посольство во главе с доверенным представителем самого хагана Ухучом. Всех их, в том числе и Ухуна, преспокойно перерезали по приказу каирхана Иналтика, наместника Хорезмшаха, а товары разграбили. Только погонщику чудом удалось уцелеть в кровавом побоище и бежать.

*

Едва ли это могло быть сделано без ведома Хорезмшаха, которому каирхан послал подробное донесение о том, что задержан и разоружен крупный разведывательный отряд потенциального противника.

Для любого азиатского государя подобное событие могло бы стать поводом начать войну. Но Темучин под влиянием чувств, в том числе и таких благородных, как праведный гнев, политических решений не принимал. Дав страстям несколько поутихнуть, он отрядил в Гургандж Ибн-Кефередж Богра чрезвычайного представителя, которого сопровождали два татарина из знатных княжеских родов.

Богру было поручено высказать, однако в умеренных выражениях, упрек Хорезмшаху за вероломство и со всей решительностью

[1] Алтан-годас («Золотая коновязь») — Полярная звезда

потребовать выдачи злодея наместника. Вопрос о возмещении убытков Темучин решил пока не поднимать.

Склонный к крайним поступкам и фанатичный, Мухаммед усмотрел в поведении соседа слабость и неуверенность. Это еще более подстегнуло его неуемную заносчивость, и он, даже не выслушав как следует Богра, отдал его палачу. Татарским же князьям отрезали бороды и палками погнали восвояси.

На сей раз имело место прямое оскорбление, наглый вызов, терпеть который было бы непозволительно.

Возможно, впоследствии монголы сами напали бы на Хорезм, узнав очевидную слабость непомерно раздутой империи. Но как бы там ни было, ныне беду на свою землю навлек сам государь. Он хотел войны и получил ее. Причем такую, о какой ранее и не слыхивал. Другого столь истребительного нашествия, которое довелось изведать Хорезму и Мавераннахру с его несравненными Самаркандом и Бухарой, не знал мир. Блистательный Гурганджа превратился в песок и угли, которые втоптали в землю копыта монгольских коней. Он так и не поднялся после того, как нашествие схлынуло и другие города стали понемногу оправляться; ни тогда, ни потом — через много сотен лет[1].

...Вот по какой причине не встретился с мудрецом Чан-чунем великий хаган в год Зайца, когда этого так возжелал. Зато теперь, подняв белое знамя мира и готовя мало-помалу поход на Си-Ся со сказочно богатыми и таинственными городами Тангут и Хэйжуй[2], он мог подумать и о себе. Это было особенно уместно и неотложно, потому что стал он действительно государем полумира и стукнуло ему шестьдесят семь годов. Возраст более чем почтенный. А если принять во внимание, что хаган послал в черного орла — харабтура поющую в полете, огненную от киновари стрелу и промахнулся, становится понятным, почему разрушитель Гурганджа с таким нетерпением дожидался приезда даосского мудреца.

...Проехав монгольские степи, страну уйгуров, Кульджи и Семиречье, Чан-чунь к ноябрю 1221 года добрался наконец до Сайрама. Переправившись через реки Чу и Талас, а затем и через великую Сыр, он пересек Голодную степь и через северо-восточные ворота въехал в Самарканд. Ему тоже не терпелось встретиться поскорее с хаганом, которого он мечтал склонить к милосердию и терпимости. За долгую дорогу он столько видел горя и разрушения, которые принесли войны, что дал себе слово отвратить сердце государя от кровопролития. И Темучин, и его поверженный соперник Мухаммед, встретивший смерть на диком берегу Каспия, так осквернили землю человеческой кровью, что не хватит и тысячи лет, чтобы она

[1] Нынешний Ургенч — новый город Занесенные песками развалины Древнего Ургенча (Гургандж) многое могли бы рассказать о колыбели индо-иранских народов. Не случайно еще великий Бируни, тысячелетие со дня рождения которого недавно отмечал мир, писал, что в Хорезмском оазисе еще до первого тысячелетия до н. э существовала высочайшая культура.

[2] Хара-Хото

вновь очистилась и могла рождать злаки. Так не довольно ли? Так не пора ли прекратить истребление сынов человеческих?

Повсюду, где успела хоть как-то наладиться мирная жизнь, даосского мудреца встречали радостные, взволнованные толпы. Люди словно предчувствовали, с какой мыслью едет к ужасному Темучину этот худощавый приветливый старичок, прославивший имя свое невиданными чудесами.

Чан-чунь, который, несмотря на мудрость и необъятное знание, до преклонных лет сохранил удивительную наивность, ничего с собой, кроме книг, астрономических инструментов и приборов для герметического искусства алхимии, не вез. Все, что у него было и чем дарили его богатые владыки, он раздавал неимущим и остался на склоне лет бедняком. Но это не мешало хаганским наместникам встречать великого мага как царя.

Отдохнув и повеселившись в неунывающем Самарканде, который он даже воспел в стихах («Весь город наполнен медными сосудами, сияющими, как золото»), Чан-чунь стал собираться в ставку. Уезжать ему не хотелось. Самарканд, где дышалось так вольно и легко, покорил его сердце. Его дворцы с висячими садами, бассейны, затененные сладко шепчущими ивами, шумные базары и величавые минареты — все это показалось философу и поэту чертами забытой, но вновь обретенной родины. Он сразу узнал этот город, хотя ранее не видел его никогда. Жаль было расставаться и с крестьянами, которых он кормил из полученных на дальнюю дорогу запасов. Отощавших за осаду голодных детей он поднимал на ноги своей кашкой, которую варил сам по рецепту, известному ему одному. Труднее всего расставался он именно с этими малышами. Впрочем, он ни с кем и ни с чем не расстался. Поэтам свойственно самое дорогое навсегда уносить в сердце.

В конце апреля Чан-чунь оказался уже на другом берегу Аму. Благо плавучий мост через своенравную реку был уже загодя восстановлен сыном Темучина, Чагатаем. В Кеше к нему, по высочайшему повелению, приставили темника Бугурджи с конвоем в тысячу латников, который и сопровождал гостя на опасном пути через ущелье Железные ворота. Затем даос и вся свита погрузились на корабли, чтобы переплыть Сурхан и Аму. В четырех днях пути от последней переправы находилась ставка.

Наконец они встретились! Это произошло 16 мая.

После традиционного обмена благопожеланиями хаган пригласил долгожданного лекаря и мага в свой шатер и усадил рядом с собой.

Он сам подал ему пиалу с чаем и сам разложил перед ним почетнейшее из угощений — вареную конскую голову, которую вырвал из рук нерасторопного багурчи.

Темучин потчевал мудреца, который сразу пришелся ему по душе своей открытой простотой и приветливостью. Гость ел очень мало и ничего, кроме чая и родниковой воды, не пил, хотя его

угощали и вином, и медом, и кумысом. Он ни разу не сказал «нет», но очевидный отказ его отведать то или иное блюдо был сделан с таким тактом, что не вызывал никакой обиды. Лишь изощреннейшая культура могла выработать такие приемы вести застольную беседу, какими окончательно пленил владыку даос.

Обед закончился. Расторопные слуги быстро собрали остатки и, запалив тонкие курительные палочки — хучжи, оставили Темучина наедине с мудрецом. Умолкли тихие звуки невидимого хура[1]. И тогда хаган напрямик спросил Чан-чуня о том, что его больше всего волновало:

— Какое у тебя есть лекарство для вечной жизни и можешь ли ты мне его дать?

Остальное, невысказанное, Чан-чунь мгновенно прочитал в рысьих глазах властителя, которые остались, но не для даоса, такими же холодными и непроницаемыми, как всегда. В груди Темучина трепетали и замирали самые противоречивые чувства: смятение и радость, мольба и нетерпение, отчаяние и тревога.

«Каким же иссушающе сильным должно быть его разочарование», — подумал мудрец, но ответил незамедлительно с обезоруживающей прямотой:

— Есть средства хранить свою жизнь, но нет лекарства бессмертия.

— Твоя искренность похвальна, — помедлив, ответил хаган, не проявив, однако, ни тени неудовольствия. — Могу лишь сожалеть, что у меня нет такого советника, как ты. Все мне только лгали: христиане, лама-гелюн высшего посвящения и тантрический лама-йогадзари, парсы и даже другие даосы.

— Они не лгали, — мягко возразил Чан-чунь. — Заблуждались.

— Иди ко мне на службу, святой муж. Я дам тебе титул тайши и сделаю гур-хаганом[2].

— Я не служу богам, государь. Я ищу истину.

— Кто тебе мешает искать ее здесь?

— Войны, государь, — грустно улыбнулся мудрец. — Только ты один в состоянии навсегда покончить с ними! Сделай так, — он умоляюще прижал руку к сердцу, — и на земле вновь воцарится золотой век.

— Так не будет, — спокойно и ясно, как некогда ответил ему даос о лекарстве бессмертия, сказал Темучин. — Войны в природе человеческой, и никто не волен тут ничего изменить.

Чан-чунь понял, что надежды нет, и более не настаивал. Он только позволил себе выразить робкую надежду:

— По сторонам дорог разбросаны трупы, прохожие зажимают носы... Десять лет на десять тысяч ли движутся осадные орудия, но рано или поздно войска возвратятся и возродится мир!

---

[1] Хур — смычковый инструмент.

[2] Гур-хаган — верховный жрец.

В юрту долетел приглушенный расстоянием победный клич возвращавшихся с учений нукеров.

— Бурол! Бурол! — приветствовали они своего темника.

Темучин ухмыльнулся и пригласил гостя пересесть в хоймар — почетную северную сторону юрты.

— Ты согласишься дать мне совет, как укрепить свое здоровье? — спросил Темучин.

— Я некоторое время поживу здесь и понаблюдаю за тобой, государь.

— Тебе поставят белый хошлон рядом со мной, святой муж. — Темучин задумался. — А скажи, — спросил он, наматывая бороду на палец, — правда ли, что у даосов есть камень вечности по имени Дань?

— Ты имеешь в виду философский камень? — оживился Чан-чунь. — Это весьма тонкая материя, и каждый толкует ее по-своему. Школа, к которой принадлежу я, ищет сокровища в глубинах человеческой души. Мы понимаем под бессмертием обретение безмятежного спокойствия. И только.

— Это трудно?

— Очень, государь. Дао[1], которое может быть выражено словами, не есть постоянное дао. Имя, которое может быть названо, не есть постоянное имя. Объяснить наши принципы на словах тоже нелегко. Где взять слова? Ведь безымянное есть начало неба и земли, а обладающее именем — мать всех вещей. Поэтому тот, кто свободен от страстей, видит чудесную тайну дао, а кто имеет страсти, видит его только в конечной форме. Те, кто толкуют о лекарстве бессмертия, живут страстями, поверь мне.

— Молись о моем долголетии, мудрый человек. — Хаган положил перед даосом перстень Хорезмшаха: — Когда я умру, это будет тебе памятью обо мне.

— Память уносят в сердце. — Чан-чунь вежливо коснулся груди и наклонил голову. — Какой необыкновенный камень!

— Шаманы называют его яда, вызывающий ветер и дождь.

— Тот, кто знает, не говорит, — меланхолично ответил мудрец словами философа Лао-цзы, — тот, кто говорит, не знает.

— А я назвал его отчигином — князем огня...

— Очень меткое название, — кивнул даос, любуясь винно-огненной игрой граней.

— Ты можешь сказать, когда я умру? — спросил хаган.

— Этого никто не может знать точно, — покачал головой Чан-чунь. — Покажи руку. — Он пощупал пульс и приблизил к глазам заскорузлую ладонь государя. Долго вглядывался в тайные знаки ее линий и наконец сказал: — У тебя еще есть время.

Властитель умер спустя пять лет.

---

[1] Дао — философский принцип.

Покончив с тангутским государством Си-Ся, хаган, как говорится в «Сокровенном сказании», в пятнадцатый день среднего месяца осени года Свиньи, соответствующего месяцу рамазана 624 года[1], он покинул этот тленный мир.

Стал тенгри.

Обнял кустарник.

Глава седамая

СОМА — АМРИТА

Телефонный звонок застал Березовского в самый разгар работы над рукописью. Нехотя отложив в сторону дощечку и осторожно, чтобы не разрушить хаос из книг, журналов и газетных вырезок, в котором он, несмотря ни на что, прекрасно ориентировался, Юра слез с дивана. Сколько раз он давал себе слово не реагировать на звонки, пока не закончит повесть, и каждый раз не мог устоять от искушения. Отключать аппарат он не решался, поскольку им сразу овладевала навязчивая мания угрожающей какой-то изоляции от мира, в котором именно в этот момент начинались лично его, Березовского, затрагивающие процессы. Это мешало спокойному состоянию духа, не давало сосредоточиться. Волей-неволей приходилось вставлять телефонный штекер обратно в безобрывную розетку. И тут же начинались телефонные звонки. Звонили по делу и просто так, редакционные работники и приятели детских лет, коллеги по перу и неожиданные гости, с которыми он успевал подружиться во время бесконечных поездок по стране и за ее пределами. Вздрагивая, как от удара током, он бросал шариковую ручку и кидался к телефону, проклиная свою бесхарактерность и неестественный образ жизни, который доведет его когда-нибудь до нервного расстройства.

— Будьте вы все прокляты раз и навсегда! — ворчал он, нащупывая босой ногой комнатные туфли и запахивая халат. — Перебить на таком месте!.. Хоть бы не забыть: «Ты тоже умрешь, как и все, — грустно сказал даос Темучину». Алло! — гаркнул он в трубку.

— Ты дома? — узнал он голос Миши Холменцова и только хмыкнул. Вопрос был, конечно, совершенно бессмысленным. — Чем занимаешься?

— Да так... Все больше по пустякам, — лениво ответил Березовский, почему-то стыдясь, как всегда, признаться, что пишет.

— Работаешь небось? — деликатно осведомился Миша.

— Как последний буйвол на рисовом болоте.

— Извини, что помешал.

— Пустяки, отец! — радостно заверил приятеля Березовский. — Очень рад, что ты позвонил. — Он действительно обрадо-

[1] 30 августа 1227 года.

вался. — Давно не виделись! Трудишься все? Читал твои новые переводы.

— И как они тебе?

— Блеск, отец, но жалко.

— Чего именно?

— Перлов души твоей. Переводы не должны быть лучше оригиналов.

— Изысканно, — оценил Миша. — А ты их читал, оригиналы?

— Конечно же, нет, отец! Но это чувствуется!

— Тогда все хорошо, — засмеялся Миша. — Я поговорил о тебе с шефом.

— Вот спасибо! Ты меня здорово выручил.

— Он согласился тебя принять. Ты бы не мог к нам сейчас подъехать?

— Что за вопрос? — Промелькнула мысль об оставленной книге, о Темучине, которому надлежит нахмуриться, услышав ответ даоса, но что можно было сделать? Разве не он сам попросил Мишу устроить ему эту аудиенцию? — Сейчас?

— Через часок.

— Лады, отец! Огромное тебе спасибо!

Положив трубку, Юра провел рукой по щеке. За два дня, которые он безвылазно провел на диване, щетина порядком отросла.

— Скажи мне, какая у тебя борода, и я скажу тебе, сколько ты написал, — меланхолично пробормотал он и пошел в ванную бриться. — Но написал я мало, хотя и оброс. Эх, Люсин, знал бы ты, чем я для тебя жертвую!.. «Но разве мой алхимический камень, напитанный розовой росой жизни, не приносит бессмертия?» — хмуро спросил Темучин».

Бритье и туалет заняли у него не больше десяти минут. Но на улице, где моросил мелкий надоедливый дождик, он совершил тактическую ошибку и, вместо того чтобы сразу отправиться на метро, принялся ловить такси. Но «волги» с зелеными огоньками, равно как и безотказные обычно леваки, проносились мимо. Лишь однажды свободное такси притормозило возле него, но шофер, прежде чем даже спросить: «Куда?» — нахально крикнул: «Еще чего захотел!» — и, включив газ, обдал бедного Березовского холодной и мутной водой.

Юра чертыхнулся и, спасая самолюбие, сделал вид, что записывает на ладони номер, который, разумеется, не успел разглядеть. Продолжать охоту в таких условиях было явно бесперспективно, и он, подняв воротник плаща, затрусил к метро. Времени оставалось в обрез.

Доехав до «Дзержинской», он взбежал по эскалатору и понесся по подземному переходу к выходу на проезд Серова, откуда до Армянского переулка было уже рукой подать. Там он и увидел Марию, которая, только что спустившись, видимо, вниз, складывала мокрый зонт прославленной японской фирмы «Три слона».

— Машенька, радость моя, ты ли это? — раскрывая объятия, проворковал Березовский.

— Ой, Юрка! — обрадовалась Мария.

— Сколько лет, сколько зим! — Он поцеловал ее в холодную щеку и потащил к аптечному киоску, чтобы их не затолкала хлынувшая из дверей очередная порция пассажиров.

— Как живешь, Машенька?

— Хорошо. А ты?

— Нормально. Книгу мою получила?

— Конечно, Юрочка! Я ведь даже и не поблагодарила тебя! Ты уж не сердись.

— Вот еще!

— Беспощадный ты человек, Юрочка, и опасный.

— Это еще почему?

— Все как есть описал. Разве так можно?

— Подлинные имена же не названы. Чего же волноваться?

— Все равно всех узнать можно. И меня тоже.

— Но у меня вы все даже лучше, чем в жизни!

— Что правда, то правда. Особенно своего Люсина ты расписал. Не пожалел розовой водицы.

— Кто из нас беспощаден, Мария?

— Правду говорю. Люсин совсем не такой, как ты думаешь. Я сама долго заблуждалась на его счет. Что делать, если мы склонны придумывать себе героев? В жизни он мелкий и злой человечек.

— Опомнись, Мария, что ты несешь? Чем он тебе не угодил?

— Наши пути опять пересеклись, Юра. Ты помнишь моего первого мужа?

— Художника?

— Да. Ты же знаешь, я сама оставила его. Виктор был суетный и пустой человек, но по-своему хороший, не злой. Мне часто кажется, что, если бы Люсин проявил больше терпения и человечности, Виктор остался бы в живых.

— Ты ошибаешься, Маша. Володя здесь ни при чем. Поверь мне! Я знаю все обстоятельства дела. Скорее можно было бы говорить, что Виктор погиб из-за излишней Володиной доброты и щепетильности. Люсину надо было его арестовать.

— Не знаю, не знаю...

— Почему ты вдруг об этом заговорила?

— Я же сказала, что наши пути опять пересеклись... Меня одолевают плохие предчувствия. За этим человеком всегда следует несчастье! Он мелок, эгоистичен, мстителен, вероломен...

— Ты сама на себя не похожа, Машенька! Да что с тобой творится? Володя мой друг, и я очень хорошо его знаю. Он совсем не такой! Что, наконец, между вами произошло? Можешь мне сказать?

— Ах, все это бессмысленно... Просто есть вещи, которые порядочный человек никогда не позволит себе по отношению людей... Ну, что ли, своего круга. Понимаешь?

— Нет. Мне вообще трудно вообразить себе, где и как могли пересечься ваши пути. Насколько я знаю, Володя занимается вещами, очень далекими от тебя и твоего мира.

— Просто мы очень давно не виделись, Юрочка, не говорили. Ты ведь даже не знаешь, что я вышла замуж.

— Честное слово не знаю, Мария-медичка! Разрази меня гром! Поздравляю. Рад за тебя, хоть мне и жаль Генку.

— Мне самой жаль.

— Но прости, при чем здесь Люсин? Какое он имеет ко всему этому отношение?

— Самое непосредственное: он копает под моего мужа.

— В чем его обвиняют?

— Ни мало ни много — в убийстве. Как тебе нравится? И в каком! В убийстве человека, с которым его связывала многолетняя дружба!

— Послушай, послушай... Это не тот ли ученый, который интересовался древними тайнами? Цветы и драгоценные камни! Камень и древо! Греция и Индия!

— Ты знаешь? Конечно, от Люсина?

— Не имеет значения, Мария... Мне кажется, ты напрасно тревожишься. Если твой муж не виноват, ему нечего бояться. Считай, что ему даже повезло: Люсин поможет ему доказать свою невиновность.

— Ты все такой же наивный, Юрка. По-прежнему взираешь на жизнь через розовые очки. Люсин — прежде всего работник уголовного розыска. А ты знаешь, что значит для него нераскрытое убийство?

— Я понимаю твои чувства, Мария, но под влиянием отчаяния ты говоришь страшные слова. По-твоему, Люсин не человек? И вообще живет в безвоздушном пространстве? Да кто ему позволит обвинить невиновного? А прокурорский надзор? А суд, наконец? Я уж не говорю о том, что Володька скорее застрелится, нежели пойдет на такое. Ты его просто не знаешь!

— Я верила ему, Юра, очень верила... А потом муж рассказал мне про то, какая у них была беседа. Так-то вот.

— Я не знаю твоего мужа, Маша, для меня достаточно уже того, что он твой муж, но не кажется ли тебе... Ты не обижайся, но под влиянием страха, отчаяния, безысходности, что ли, людям свойственно искаженное представление о вещах.

— Он нормальный человек.

— Я знаю!

— Ничего-то ты не знаешь, Юрка. Для того лишь, чтобы не дай бог не пошатнулась вера в созданного тобой идола, ты готов допустить, что все сошли с ума.

— Не все, но...

— Проснись, Юрочка!

— Знаешь что? Давай я поговорю с Володькой. Мне он скажет все, как есть, если, конечно, сможет. А потом мы с тобой встретимся и все обговорим! Идет?

— Ничего не получится из этой затеи.

— Собственно, почему?

— Ты не добьешься от него правды. Это носорог, который должен ломиться только вперед. Остановиться он не может, смотреть по сторонам не желает. Он может только топтать... Ты читал Ионеско?

— Вздор! При чем тут Ионеско? Повторяю, Володя мой самый близкий друг. Со мной он не станет темнить.

— А если выяснится, что ты был слеп и твой друг не стоит доброго слова, что тогда?

— Такого просто не может быть, Маша. Это так же абсолютно, как вращение Земли вокруг Солнца. Иначе просто не может быть.

— Что же ты тогда собираешься выяснять?

— Как лучше помочь тебе и твоему мужу.

— Немыслимо. Люсин работает против Марка. Они естественные враги, и тут ничему уже не поможешь.

— Естественные враги? Ей-богу, Маша, это какой-то бред! Да что они не поделили, в конце концов? Из-за чего им враждовать?

— Схема простая: есть труп, есть следователь и есть единственный человек, кого можно обвинить в убийстве. Попробуй решить задачу сам.

— Труп действительно есть? Это и вправду убийство?

— Скорее всего. Вообще кошмарная история! Тело зачем-то похитили, бросили в озеро... И поскольку твой Люсин понятия не имеет, кто это сделал, у него есть один-единственный выход: свалить все на Марка. Нашел козла отпущения.

— Да откуда это следует? Почем ты знаешь, какие выходы есть и каких нет у Люсина? Он ищет, поверь, он только и делает, что ищет истинного убийцу!.. Ты извини, Мария, но мне надо бежать. У тебя есть телефон?

— Конечно.

— Ну-ка, давай. И не вешай носа! Я тебе позвоню на днях. Уверен, что все утрясется. — Он записал телефон и обнял ее. — Будь здорова, Мария. Салют!

Застегнув плащ на все пуговицы, Березовский заспешил под ленивым дождем. Воспользовавшись моментом, когда прервался поток машин и регулировщик повернулся в другую сторону, перелез через ограждение и перебежал улицу. В иное время он заскочил бы в Дом книги или спросил в магазине фарфора алюминиевую фольгу, в которой так хорошо запекается дичь, и уж наверняка потолкался среди рыболовов, закупающих такое неимоверное количество крючков и блесен, что становилось страшно за рыбу. Но сегодня Березовскому явно было не до того. Разговор с Марией произвел на него настолько тягостное впечатление, что захотелось плюнуть на все и повернуть назад. Он с трудом пересилил себя и, словно бросаясь на штурм, решительно завернул за угол.

«И вообще Люсин не следователь, а сыщик», — мелькнула мысль.

В тихом дворике института сладко пахла растревоженная дождем резеда. Серый обелиск в честь русского востоковеда Лазарева, мокрые куртины и чугунные цепи вокруг центральной клумбы не-

вольно навевали мысли о бренности земной жизни. Заметив забившегося под листик шмеля с дрожащими, съежившимися крылышками, Березовский внутренне улыбнулся, немного печально и, как ему показалось, мудро. «До первого солнечного луча», — подумал он, толкая тяжелую дверь.

Миша сразу же провел его в приемную директора.

— Шеф нас ожидает, — кивнул он референту.

Березовскому, знавшему Бободжанова лишь по печатным работам, знаменитый академик представлялся грузным исполином, который только то и делает, что с крайне озабоченным видом листает санскритские или древнеперсидские рукописи.

Но навстречу им поднялся невысокий приветливый человек в темно-синем костюме с депутатским значком на лацкане. На столе перед ним стояли большой пузатый чайник и три пиалы, украшенные синим традиционным орнаментом из цветков хлопчатника.

— Салом-алейкум! — невольно приветствовал его Березовский.

— Ву-алейкум-ассалом! — с улыбкой ответил академик. — Садитесь чай пить.

Березовский церемонно принял пиалу, в которую Бободжанов налил немного золотисто-зеленого, с тонким сенным ароматом чая.

— Девяносто пятый номер! — поспешил выказать себя знатоком Березовский и, зажмурившись, вдохнул освежающий пар.

— У нас только так, — улыбнулся Миша, взяв в руки горячую пиалу. — Сахару?

— Ни за что на свете! — запротестовал Березовский.

— Правильно, — одобрил Бободжанов и налил себе. — Так и надо пить.

За чаепитием говорили не о делах. Бободжанов, как бы между прочим, упомянул о том, что читал Юрины книги и они ему понравились. Березовский, хотя и понимал, что это не более чем проявление вежливости, был польщен.

— Необыкновенный напиток! — Скрывая смущение, он поспешил поднести свеженаполненную пиалу к губам. — Лекарство от всех болезней.

— Амрита! — пошутил Бободжанов, сливая остывший чай. — Искомый вами источник бессмертия.

Березовский понял, что академик, через Мишу, разумеется, уже осведомлен об интересующей их с Люсиным проблеме и приглашает начать разговор.

— Если позволите, Расул Бободжанович, я вас покину. — Холменцов перевернул пиалу и поднялся. — Пришли гранки девятого номера. Надо успеть проглядеть.

— Да-да, Миша, идите, — приветливо кивнул ему академик. — И спасибо, что привели к нам вашего уважаемого друга.

— Мы не прощаемся, — улыбнулся Березовскому Миша. — Зайдешь потом ко мне.

— В связи с чем вас заинтересовали амрита и сома? — спросил Бободжанов, убирая чайный сервиз. — Задумали новую книгу?

— Пока еще и сам не решил, — замялся Березовский. Об истинной цели своих поисков говорить ему было как-то не очень ловко, а врать не хотелось. — Я нахожусь сейчас на такой стадии, когда все интересно и все непонятно. Хочется, Расул Бободжанович, выделить главное, ухватиться за что-то вещественное.

— Но все-таки, почему именно сома? Сокровенное и противоречивое зерно ведических гимнов? Вы, конечно, читали Ригведу?

— В отрывках. — Березовский почувствовал, что краснеет. — И, конечно же, переводных.

— Для создания занимательного сюжета, очевидно, большего и не требуется, — ободрил его Бободжанов. — Значит, вы решили остановиться на соме...

— Видите ли, Расул Бободжанович, сома меня заинтересовала не столько сама по себе, сколько в связи с драгоценными камнями. Недавно мне удалось познакомиться с архивом одного ученого, специалиста по физической химии кристаллов, где я натолкнулся на поразительные вещи...

— Любопытно.

— Насколько я мог понять, в Древней Индии знали сокровенные способы изменения окраски самоцветов. Если верить священным книгам, это каким-то образом было связано с приготовлением напитка из сомы. Вот я и подумал, нет ли здесь и вправду рационального зерна? Что, если жрецы арьев действительно могли с помощью растений придавать алмазам голубые и розовые оттенки?

— В древних памятниках трудно, чрезвычайно трудно отыскать такое рациональное зерно. — Бободжанов с сомнением покачал головой. — Ведические гимны представляют собой сложный синкретический сплав поэзии с мифом, начатков рационального знания — с мистицизмом. Оно и понятно. Не только на Востоке, но и в Европе секреты ремесленного мастерства передавались, подобно древним сказаниям, от поколения к поколению. Это была изустная традиция, незапечатленная тайна, которая распространялась только среди посвященных. Не удивительно, что и в древних памятниках секреты простых деревенских мастеров — всевозможных гончаров, кузнецов и пивоваров — предстают перед нами в облике почти что мистерий. И если бы мы точно не знали, кто именно обжигает горшки, можно было бы подумать, что их обжигают именно боги.

— Совершенно верно! — обрадовался Березовский. — Именно поэтому столь темны и запутанны рецепты алхимиков! За магическими символами драконов, кусающих собственный хвост, воронов и красных львов прячутся элементарные химические реакции.

— В основе вы правы. Но дело в том, что мастерам древности и на самом деле свое ремесло представлялось как некий дар богов, как волшебное действо, в котором строгий ритуал играл едва ли не главенствующую роль.

— Но тот же ритуал, доступный лишь посвященным, способствовал и сохранению тайны! Поэтому столь ревниво оберегали свои секреты алхимики, оружейники, шелководы и виноделы.

— Вот мы и пришли с вами к тому, что в основе всех этих таинственных вещей лежали экономические интересы стран, городов и монастырей. Дамаск торговал булатом, китайцы — фарфором и шелком, Самарканд — непревзойденной бумагой и черным вином мусаляс, а бенедиктинские монахи — ликером.

— И никто не желал потерять свои доходы. Отсюда и тайна, Расул Бободжанович.

— Не просто не желал. Раскрыть тайну было равносильно святотатству. Умельцы одинаково страшились и суда земных владык и гнева небес. Но все равно мало кому удавалось сохранить тайну. Алхимик Бертольд Шварц заново открыл порох, а Бетгер — фарфор, иезуиты украли шелковичных червей, а русский металлург Амосов разгадал технологию дамасской стали.

— Но уверены ли вы, Расул Бободжанович, что все уже разгадано и нет отныне забытых тайн, утраченных секретов?

— Вы бывали в Самарканде? — Академик хитро прищурился и, расстегнув пиджак, сцепил пальцы на животе.

— Много раз.

— Значит, видели мечеть Биби-Ханым, Регистан, Гур-Эмир, любовались синими, голубыми, бирюзовыми, зелеными, как изумруд, изразцами? Вот вам и первая тайна! Попробуйте-ка теперь сделать такие. А греческий огонь? А сухие батареи древнего Вавилона? А человеческий череп, выточенный из глыбы кварца, найденный недавно в Южной Америке? Примерам несть числа. Несмотря на все могущество современной науки, мы лишь сравнительно недавно раскрыли основные принципы исконных ремесел Востока. Но по тонкости, изяществу и ювелирной тщательности изготовления нам куда как далеко до металлургов Индии, издавна умевших выплавлять нержавеющее железо, до тибетских лам, отливавших из бронзы своих многоруких богов, до малайских оружейников, делавших изумительные ножи — крисы из тончайших полосок стали. Нераскрытыми остались и удивительные достижения медиков, алхимиков, стеклодувов. Мы только-только начинаем изучать мумие, с помощью которого великий Ибн-Сина излечивал многие недуги, женьшень и другие чудодейственные препараты, описанные в книге Чжу-Ши. Не расшифрованы важные рецепты алхимиков и даосов, забыты, возможно навсегда, достижения кельтских друидов, александрийских гностиков, пифагорейцев, орфиков. Ждут своего исследователя и триста двадцать пять томов тибетской премудрости — Ганьчжур и Даньчжур. Я просто уверен, что исследователя древней мудрости ожидают удивительнейшие открытия.

— Я слышал, что на холме Афросиаб в Самарканде найдена пряжка из неизвестного металла...

— Возможно. Мне ничего об этом не говорили... Кстати, вы знаете, что означает само слово «Афросиаб»?

— Нет, Расул Бободжанович. — Березовский удивленно поднял брови. — Я думал, это просто географическое название.

— Так зовут царя змей в священной книге древних персов Зенд-Авесте. Тысячи лет прошло, менялись народы и религии, гибли цивилизации, а название осталось. В странах Азии и Африки мне приходилось видеть людей, которых смело можно именовать афросиабами. Далеко не все из них были профессиональными факирами и заклинателями змей, но тем не менее самые ядовитые гадины повиновались им с удивительной кротостью. Причем волшебное искусство их было скорее врожденным, нежели приобретенным... Подумайте как-нибудь на досуге об этом. Может быть, захотите написать интересный рассказ.

— Спасибо, Расул Бободжанович, я обязательно подумаю. Но сейчас меня больше всего интересует сома.

— Тайна бессмертия? — Академик понимающе покачал головой. — Она, скорее, должна была бы интересовать меня, а вы еще очень молодой человек, — пошутил он. — К сожалению, нектар олимпийцев и амрита ведических богов — не более чем красивая выдумка. Алхимики и даосы тоже не открыли бессмертия. Здесь вам не найти рационального зерна.

— Я понимаю.

— Да-да, мой молодой друг, это всего лишь прекрасная мечта. Если хотите, вопль протеста. Человек никогда не мог примириться с тем, что он смертен. Бунтовал против чудовищной, бессмысленной несправедливости судьбы. Может быть, поэтому так легко было верить, будто в жестоком правопорядке жизни есть хоть какая-то отдушина, что хоть небожители бессмертны.

— В Ригведе есть упоминание, что драгоценные камни — это капли застывшей и потерявшей поэтому чудодейственную силу амриты.

— В Ригведе? — Бободжанов ненадолго задумался. — Не припомню такого места. Возможно, оно встретилось вам в Пуранах или поздних Упанишадах.

— Скорее всего, — пробормотал Березовский, не читавший ни Пуран, ни Упанишад. — Не столь важно, где именно... Главное, что какая-то связь между камнями и легендами о соме — амрите все же есть.

— Не обязательно. Здесь может иметь место лишь чисто поэтическая метафора. С чем еще могли сравнить обитатели Древней Индии драгоценные камни, прекрасные, вечные, сверкающие подобно сгущенной крови богов и сокам растений? Ведь амрита для них была пределом совершенства, самой недостижимой и возвышенной драгоценностью мира. Соответствие, таким образом, налицо, но рождено оно не столько причинной связью, сколько аналогией, лежащей буквально на поверхности. Неподвластный времени, превосходящий по твердости все, что только есть на земле, самоцвет уже сам по себе становился олицетворением абсолюта. А если добавить сюда и его баснословную, невообразимую для простого человека стоимость, то уподобление сгущенной амрите не должно удивлять. Люди, наверное, не раз пробовали лечить болезни и старость с помощью самоцветов. Отголоски этого

можно найти в эпосе всех народов. Отсюда же, уверен, возникли и астрологические суеверия о волшебной силе камней, соответствующих тому или иному зодиаку. И поскольку результаты подобной терапии были наверняка более чем скромными, родилось убеждение, что упавшая с неба и затвердевшая амрита просто-напросто утратила свою чудодейственную силу. Как же иначе можно было объяснить тот простой факт, что камни не только не могут побороть старость и отвратить смерть, но даже способны приносить несчастье... В индийских Ведах действительно есть множество упоминаний о камнях. Особенно любили индийцы красные самоцветы. Считалось, что это застывшие капли крови борющихся в небе богов.

— Красные камни — кровь богов, алмазы — амрита, — пробормотал Березовский.

— Вам этого очень хочется? — Бободжанов лениво играл пальцами. — Пусть будет по-вашему. Пишите. Строго мы вас не осудим. Но вообще-то на Востоке, особенно в Индии, Бирме, больше ценили именно красные камни. Говорят даже сейчас, когда делают искусственные кристаллы для всяких лазеров-мазеров, красиво окрашенный рубин ценится дороже бриллианта. Бирманские лалы!

— Кто-то сказал, что красота — не более, чем наглядное проявление целесообразности.

— Сухой человек сказал, — осуждающе покачал головой академик. — Чуждый поэзии.

— Еще я читал, что в индийском эпосе особое место занимал обыкновенный кварц, который издавна считался тайником волшебной энергии. Теперь мы знаем, что кварц отличается особыми, так называемыми пьезоэлектрическими свойствами... Как вы думаете, Расул Бободжанович, не отголоски ли это забытых знаний? Или предчувствие? Одна из тех поразительных догадок, которыми полна история?

— Простое совпадение, думаю. Какое такое забытое знание? Есть люди, которые даже в стихах о битве богов найдут намек на ракеты и атомные космические корабли. Это несерьезно. Апокалипсис тоже толкует о железных птицах. Но при чем тут самолет? Где написано о моторе? О реактивном двигателе? Не уподобляйтесь горе-исследователям, которые, запутавшись в паутине метафор, спекулируют на людском легковерии. Величественные и грозные картины небесных битв мы находим в Пуранах и Ведах, в Бхагаватгите и Рамаяне. Но поверьте мне, боги вооружены не атомными ракетами и не лазерами, а пращами, трезубцами, боевыми дубинками и метательными дисками.

— Я сам читал... — попытался возразить Березовский, но академик не дал ему договорить.

— В переводе читали, а пристрастный переводчик легко становится жертвой самообмана.

— У Ежи Леца есть афоризм: «Он был настолько невежествен, что цитаты из классиков выдумывал сам».

— Вот-вот! — обрадовался Бободжанов. — Цитаты из «Махабхараты», в которых описываются ракеты и атомные корабли, выдуманы. История крепко стоит на плечах археологии. Если бы древние летали на самолетах или ездили в автомобилях, археологи что-нибудь такое да откопали бы. Хотя бы шарикоподшипник или там масляный фильтр грубой очистки. Но я о таких находках не знаю, мне о них не рассказывали. А вам?

— Мне тоже, Расул Бободжанович.

— Ну вот видите! Другое дело — секреты старинных мастеров. Здесь действительно поле деятельности необъятное. Поучиться у них могут представители самых разных профессий. Следует учесть, что дошедшие до нас замечательные предметы материальной культуры отнюдь не считались уникумами в свое время. Это был ширпотреб. Но какой! — Академик только руками развел. — Но почему вы именно камни выбрали? Здесь, насколько мне известно, наши ювелиры далеко вперед ушли. Мастера Древнего Индостана могли бы поучиться у них искусству шлифовки.

— А окраске, Расул Бободжанович?

— Для чего красить камни? Природа сама об этом позаботилась.

— Голубые и особенно красные алмазы ценятся исключительно высоко.

— Красные алмазы? Постойте-постойте... — Бободжанов прикрыл глаза рукой. — О чем-то подобном я, кажется, читал... Алмазы красных оттенков действительно считались в Индии особо священными. В гималайских монастырях их всегда вставляли в урну — третий глаз индуистских, буддийских и джайнистских божеств... Да-да, вы совершенно правы, это определенным образом связано с культом сомы — амриты. Считалось, что красный алмаз дарует долгую жизнь и помогает сосредоточению духа, за которым следует божественное откровение, полное слияния с Брахманом.

— А как вы думаете, Расул Бободжанович, могли жрецы сами окрашивать простые алмазы в красный цвет?

— Современная наука может такое?

— Да, с помощью тяжелых ионов. Но получается, как говорят, не того, грязновато.

— Ионов-мюонов, конечно, древние не знали, но вполне могли додуматься до каких-то других способов. Такое возможно. Это не летательный аппарат.

— А всего лишь сома, — улыбнулся Березовский.

— Сома, — задумчиво повторил академик. — В самом деле, что мы о ней знаем? Не так уж и мало, надо признать. Не так уж и мало...

— Расскажите, пожалуйста, Расул Бободжанович! — Березовский достал блокнот. — Мне это очень важно!

— Если я не ошибаюсь, вся девятая книга Ригведы посвящена описанию одного только божества — Сомы. Подобно огненному богу Агни, Сома многолик и обитает в самых разных местах. И

вообще Сома находится в тесной связи с Агни, которого до сих пор почитают в Гималаях и даже в Японии.

— Значит, Сома — божество? — удивился Березовский. — А я думал, это растение, известное в систематике как асклепия акида или саркостемма виминалис, хотя некоторые полагают, что это эфедра.

— Две ипостаси одного и того же, — успокоил его академик. — Характерная для индуистской мифологии многозначность. Подобно тому как огонь является главным материальным проявлением божественной сущности Агни, растение, о котором вы говорите, олицетворяет Сому. Но если земное проявление Агни было многообразно — огонь согревал и освещал, на костре можно было приготовить пищу, огненные стрелы легко поджигали кровли осажденного города и так далее, — растение сома годилось лишь для одного: из него готовили опьяняющий напиток. Во время жертвоприношений молящиеся пили сому и поили священной влагой светозарного Агни, выливая остатки в пылающий перед алтарем жертвенник. Это была особая форма того самого огнепоклонства, которое распространилось почти по всей Азии. Реликты его можно до сих пор обнаружить в фольклоре и обычаях народов Хорезма, Азербайджана, некоторых районов Таджикии. Не случайно священное растение огнепоклонников называлось «хаома». Последователи Заратустры чтили в нем то же опьяняющее начало. Сома Ригведы и хаома иранской Зенд-Авесты — одно и то же растение, одна и та же божественная ипостась. Видимо, правы те исследователи, которые считают, что культ сомы-хаомы предшествовал обеим религиям и вошел в них как своего рода древнейший пережиток. В Авесте, по крайней мере, есть одно место, которое указывает на то, что Заратустра разрешил употреблять хаому в жертвоприношениях, лишь уступая исконному обычаю... Вот, собственно, и все, что я могу рассказать о соме.

— Огромное спасибо, Расул Бободжанович! — Березовский прижал руку к сердцу. — Но не может быть, чтобы вы ничего больше не знали про сому. Сома действительно растет в горах Индии и Ирана. Когда я читал об этом, то совершенно упустил из виду Иран. И не удивительно! Ваш рассказ про хаому явился для меня полнейшим откровением. Вы видели сому?

— На картинке.

— А я даже в гербарии!

— Значит, это мне следует учиться у вас, а не вам у меня.

— Что вы, Расул Бободжанович! Я же полнейший профан... А как приготовляли священный напиток?

— О! Все, что связано со сбором сомы и приготовлением зелья, было окутано страшной тайной! Лишь по отдельным, разбросанным в священных книгах указаниям можем мы в самых общих чертах реконструировать этот процесс... Сома, вы правильно сказали, родится в горах. Ригведа говорит, что царь Варуна, водворивший солнце в небе и огонь в воде, поместил сому на скалистых вершинах. Подобно огню, сома попала на землю вопреки воле богов. Но если огонь был украден Матаришваном, индийским, грубо говоря,

Прометеем, то сому принес горный орел. Распространение культа сомы по городам и весям Индостана требовало все большего и большего количества этой травы, которая росла только в Кашмире на склонах Гималаев и в горах Ирана. Сому, таким образом, приходилось возить на все большие и большие расстояния. Торговля священной травой становилась прибыльным предприятием. Но гималайские племена, взявшие это дело в свои руки, в отличие от арьев не испытывали к своему товару священного трепета. Важнее всего для них было хорошенько нажиться на странном, с их точки зрения, пристрастии соседних народов к простому цветку. Цены на сому непрерывно росли. Вероятно, из-за этого гималайских торговцев стали считать людьми второго сорта. Впоследствии, когда обычаи обратились в законы о кастах, торговцев сомой включили в одну из самых презренных варн. Они были поставлены в один ряд с ростовщиками, актерами и осквернителями касты. Им строго-настрого запрещалось посещать жертвоприношения, дабы одним своим присутствием не осквернили они душу растения. Древнее поверье гласит, что цветок громогласно кричит и жалуется, когда его срывают, а если совершивший столь презренное дело осмелится войти в храм, дух Сомы утратит силу. Не удивительно, что торговцев сомой туда не пускали. И вообще в глазах поклонника сомы всякий, кто, имея священную траву, не поступал с ней надлежащим образом, выглядел отщепенцем. Весь род людской арьи четко подразделяли на «прессующих» и «непрессующих». Те, кто не гнал из прессованной травы опьяняющего зелья, не заслуживали человеческого отношения. Для арьев они были хуже, чем варвары для римлян. Даже случайная встреча с «непрессующим» требовала немедленного очищения. Постепенно выработался сложный церемониал покупки сомы у «непрессующих». Он может показаться до крайности смешным и нелепым, но надо помнить, что для арьев все было исполнено символического значения. Так, платой за арбу сомы служила обычно корова, причем обязательно рыжая, со светло-карими глазами. Торговца, вероятно, меньше всего интересовали масть и цвет глаз купленной коровы, но покупателю было важно представить сделку в виде своеобразного обмена одной божественной сущности на другую. Понимаете?

— Корова издревле считалась священной?

— Совершенно верно. А строгая канонизация цветов как бы символизировала золотистый оттенок сомы. Вот и получалось, что обычная купля-продажа обретала вид сакральной церемонии. Покупали-то не просто траву, а душу бога, которого, согласно гимну, «не должно вязать, ни за ухо дергать», — обращаться непочтительно.

— У одного исследователя, физико-химика, сома выращивалась в качестве комнатного цветка. Он производил с ним всевозможные опыты.

— Ничего удивительного. Лавр был самым почитаемым растением у греков и римлян, что ничуть не мешает торговать лавровым листом на любом базаре. И в самом деле, какой кабоб без лавра?

— Или уха!

— Вот-вот! — Бободжанов довольно пожевал губами. — Мы даже не подозреваем, что, бросая в уху или харчо лавр, совершаем тем самым один из наиболее священных обрядов древнего мира. Так и с сомой. Для нас это обыкновенное дикое растение, к которому, кстати сказать, надо бы как следует приглядеться фармакологам... Да, самое обыкновенное растение...

— Семейства молочайников, — ввернул Березовский. — У него длинные висячие ветки и безлистый узловатый стебель золотистого оттенка. В волокнистой, как у камыша, внешней оболочке содержится млечный сок. Судя по описанию, он кислый и слегка вяжущий на вкус.

— Так! — Бободжанов вновь с довольным видом заиграл пальцами. — Видимо, из него и готовят жертвенное питье. Сначала выжимают с помощью пресса, затем смешивают с различными снадобьями и дают побродить, а потом и гонят. В сущности, обычное самогоноварение и вместе с тем самый священный и мистический акт брахманской литургии.

— А разве приготовление вина не считалось божественным творчеством Диониса?

— Вот-вот. Но разница в том, что как делается вино мы знаем, а сома... — Бободжанов хитро прищурился.

— ...нет, — досказал за него, как послушный ученик, Березовский.

— Так-то... Гимны Ригведы описывают этот процесс в таких причудливых, нарочито затемненных выражениях, что почти невозможно ничего понять. Хуже алхимических рекомендаций. Виндишман перерыл целые горы литературы, пока разобрался наконец что к чему. По-английски читаете?

— Немного, — скромно ответил Березовский.

— Тогда посмотрите вот это место, — Бободжанов вынул из ящика внушительную монографию в ярко-зеленом, тисненном золотом переплете. Книга была заложена полоской бумаги.

«Растение собирают в горах, в лунную ночь и вырывают с корнем. Оно доставляется к месту жертвоприношения на повозке, запряженной парой коз, и там, на заранее подготовленном месте, которое зовется «вэди», или «сиденье богов», жрецы прессуют его между двух камней. Потом, смочив образовавшуюся массу водой, бросают ее на сито из редкой шерстяной ткани и начинают перебирать руками. Драгоценный сок по каплям стекает в подставленный сосуд, сделанный из священного дерева ашваттха — фикус религиоза. Далее его смешивают с пшеничной мукой и подвергают брожению. Готовый напиток подносится богам три раза в день и испивается брахманами, что является, бесспорно, самым священным и знаменательным приношением древности. Боги, которые незримо присутствовали при изготовлении напитка, жадно выпивают его и приходят в радостное, возбужденное состояние. Сома очищает и животворит, дарует бессмертие и здоровье, он открывает небеса».

— Весьма конкретный рецепт, — сказал Березовский, возвращая книгу. — Даже самому захотелось попробовать.

— Не советую. — Бободжанов положил монографию на край стола. — Ничего хорошего тут нет. Не знаю, что найдут в соме фармакологи, но, судя по описаниям Ригведы, она должна содержать вещества, близкие к ЛСД или мескалину.

— Не может быть! — удивился Березовский. — То есть, простите, Расул Бободжанович, — тотчас опомнился он. — Конечно, все так и есть, как вы говорите... Просто я никак не ожидал, что таинственное растение сома на поверку окажется всего-навсего галлюциногеном, вроде священных грибов ацтеков.

— Не хочу навязывать вам свое мнение. Попробуйте лучше сами составить себе представление о соме из высказываний героев Ригведы. Я попросил наших индологов подобрать соответствующие материалы... И вот какая вырисовывается картина. Все, кто хоть однажды испил сому, превозносят этот огненный животворный напиток, поднимающий дух и веселящий сердце. О чем это свидетельствует?

— Первоначальный алкогольный эффект?

— Допустим, — согласился Бободжанов. — Но пойдем дальше... Веды утверждают, что, кроме священнослужителей, сому дозволяли попробовать очень немногим... Как вы думаете, кому именно?

— Понятия не имею, Расул Бободжанович.

— И никогда не догадаетесь! Желавший причаститься к соме прежде всего должен был доказать, что у него в доме есть запас продовольствия на целых три года. — Академик выдержал красноречивую паузу. — О чем это говорит?

— Имущественный ценз... — нерешительно предположил Березовский.

— Чушь! — Бободжанов довольно потер руки. — Хотя это соображение и могло играть какую-то роль, но все равно чушь! Загвоздка, видимо, в том, что воздействие сомы на отдельно взятого человека было трудно предсказуемо и могло оказаться весьма продолжительным. Человек рисковал, по-видимому, многим. Он мог надолго потерять трудоспособность. Для того и требовался гарантированный запас пищи. Жрецы, таким образом, сводили до минимума отрицательные последствия питья сомы. Умереть с голоду человек не мог, а остальное уже воля богов или собственный страх и риск.

— Потрясающе! — восхитился Березовский. — Нет, Расул Бободжанович, это просто потрясающе!

— По-моему, самая простая логика... Кстати, какой из известных вам препаратов может вызвать столь продолжительное остаточное действие?

— ЛСД. Только ЛСД! Гофман, синтезировавший это вещество и попробовавший его на себе, пишет, что влияние ЛСД на организм может ощущаться в течение многих месяцев.

— Вот-вот. Теперь вы сами себе и ответили.

— Случайного совпадения быть не может?

— Если вы читали статью Гофмана, то должны знать и различные симптомы галлюциногенного опьянения. Верно?

— Совершенно верно, Расул Бободжанович. Я их помню.

— Тогда попытайтесь сравнить их с впечатлениями людей, испивших сому. Начнем с того, что все они в самых восторженных выражениях говорят о каком-то особом приливе жизненной энергии, о сверхчеловеческом ощущении всезнания и всемогущества. Но ощущение это обманчиво. На поверку оно оказывается бредом опоенного опасной отравой человека. В лучшем случае это просто опьянение. Как вам понравится следующий дифирамб? — Бободжанов вынул еще одну книгу, раскрыл на закладке и надел очки: — «Вот думаю я про себя: пойду и корову куплю! И лошадь куплю! Уж не напился ли я сомы? Напиток, как буйный ветер, несет меня по воздуху! Он несет меня, как быстрые кони повозку! Сама собой пришла ко мне песня! Словно теленок к корове. И песню эту я ворочаю в сердце своем, как плотник, надевающий на телегу колеса. Все пять племен мне теперь нипочем! Половина меня больше обоих миров! Мое величие распространяется за пределы Земли и Неба! Хотите, я понесу Землю? А то возьму и разобью ее вдребезги! Никакими словами не описать, как я велик...» Достаточно, полагаю. — Бободжанов положил книгу рядом с первой и снял очки. — Как будто бы хмельное бахвальство немудрящего крестьянина? Но как поразительно напоминает оно рассказ Гофмана о действии ЛСД!

— Почти дословно. — Березовский едва успевал записывать. — Но Гофман видел еще цветные звуки. Господи, как много нужно знать, чтобы понимать историю!

— Долгое время эту исполненную бахвальства песнь толковали в качестве откровения бога-воителя и громовержца Индры. Но сам строй ее, примитивный набор изобразительных средств и сравнений заставляет в том усомниться. Нет, не бог, усладивший себя сомой, вещает свои откровения, а именно простоватый деревенский житель. Недаром Берген приводит слова другого любителя священного зелья, который говорит: «Мы напились сомы и стали бессмертны, мы вступили в мир света и познали богов. Что нам теперь злобное шипение врага? Мы никого не боимся». Совершенно очевидно, что сказать так мог только смертный человек, а не бог. Тем более что в других гимнах люди, пьющие сому и выливающие опивки в жертвенное пламя, откровенно завидуют богам, особенно тому же Индре, который поглощает чудесный напиток целыми бочками. И здесь мы подходим к самому интересному моменту. Возникает вопрос: зачем богам пить сому, когда у них есть амрита — истинное питье небожителей, дарующее мощь и бессмертие? В чем здесь дело? Без амриты боги не только утратили бы бессмертие и могущество, но и самое жизнь. Мир сделался бы необитаемым и холодным, бесплодным, как мертвый камень. Ведь амрита, питье бессмертия, есть не что иное, как дождь и роса, одним словом, Влага с большой буквы, влажное начало, насыщающее всю приро-

ду, питающее жизнь во всех ее проявлениях. Итак, зачем нужна сома, когда уже есть амрита?

— Но ведь амрита — стихия, отвлеченное понятие индуистской философии, тогда как сома — нечто реальное. Ее можно даже попробовать. Человек, вкусивший сомы, легче может вообразить себе, что чувствуют боги, пьющие амриту. Разве не так, Расул Бободжанович?

— Правильно. — Академик одобрительно поцокал языком. — Молодец, писатель! Жертвоприношение в честь сомы на земле символизирует животворное распространение небесного Сомы, иначе говоря — амриты. Шкура буйвола, на которую ставят каменный пресс, — это туча, чреватая дождем, сами камни — громовые стрелы, или ваджры грозовика Индры, сито — небо, которое готово пролить на землю священный напиток, лелеющий жизнь. Таков потаенный смысл всего действа приготовления сомы. Это закон подобия, без которого нельзя понять образ мысли древнего человека.

— Сома выступает как земное подобие амриты!

— Вот-вот! Одно подменяет другое, как шкура — тучу, камень — молнию, а сосуд, в который собирают млечный сок, — поднебесный водоем Самудра. Подобный символизм нельзя упускать из виду, когда работаешь с древними текстами. Он позволяет понять целевую направленность самых, казалось бы, непостижимых и странных действий. В самом деле, возьмем, например, следующее заклинание: «Пей бодрость в небесном Соме, о Индра! Пей ее в том же соме, который люди выжимают на земле!» Вам он понятен, надеюсь!

— Яснее ясного! Что внизу, то и вверху, как на земле, так и на небесах. Изумрудная скрижаль Гермеса Трисмегиста. Закон подобия.

— Тогда попробуем пойти дальше... Вам не надоело?

— Что вы, Расул Бободжанович! Я вам так благодарен! Вы тратите на меня столько драгоценного времени, и мне, право, неудобно... — Березовский смешался и замолчал.

— Ничего. — Бободжанов посмотрел на часы. — У нас еще есть минут восемнадцать, а потом, извините, ученый совет... Теперь, когда мы вооружены знанием закона подобия, тронемся дальше. Отождествление Сомы с водами и растениями позволяет уже иначе взглянуть на его родство с Агни, с чего, собственно, и началась наша беседа. Теперь мы можем прямо сказать, что Сома — тот же огонь, но только жидкий. В этом главное, священнейшее таинство брахманизма. Суть его в том, что огненное, или жизненное, начало проводится в сердцевину растений, в их семя, в человеческий организм, наконец, только посредством воды. Тут, именно тут главный принцип индийской натурфилософии, ее стихийная диалектика, утверждающая борьбу и единство противоположных начал: огня и влаги. На нем построены религиозные учения, этика и повседневный обиход. Он целиком вошел в практику йоги и в основы индо-тибетской медицины. Если хотите узнать об этом более подробно, могу порекомендовать вам пролистать «Религию Вед» того же Бергена, «Сошествие Огня и небесного Напитка» Куна и, пожалуй, Гиллебрандта, те главы его труда, где говорится об Агни

и Соме. Теперь вам будет понятно, почему их всегда поминают вместе. Вопросы будут?

— Только один, Расул Бободжанович. Меня по-прежнему занимает проблема камней. Что вам еще известно о красных алмазах, которые брахманы берегли для самых почитаемых статуй?

— Помните еще, значит, зачем пришли? — Академик надел очки и внимательно, словно увидел впервые, принялся рассматривать гостя. — У вас явно научный склад ума. Ясно сознаете конечную цель и не отходите от главного стержня. Хорошо.

— Я историк по образованию, — окончательно смутился Березовский. — Диссертацию сделал на материале Прованса одиннадцатого — тринадцатого веков. Вальденсы, катары...

— Понятно. Жаль, что вы сразу не сказали, коллега. Не пришлось бы сообщать прописные истины.

— Напротив, Расул Бободжанович! Все, что я сегодня узнал, оказалось для меня абсолютно ново. К сожалению, большинство историков плохо знают Восток.

— История едина. Без Востока нельзя по-настоящему познать и Запад. Это прекрасно показал в последней своей книге покойный академик Конрад. Вы и сами наверняка столкнулись с подобной дилеммой, когда писали свою диссертацию. Сущность альбигойской ереси останется абсолютно нераскрытой без привлечения манихейских концепций. Кстати сказать, пришедшее с Востока учение пророка Мани находится в теснейшей связи не только с катарской ересью, которую католическая реакция попыталась подавить огнем и мечом, но и с установками гностиков, несториан, древней черношапочной верой Тибета. Я не говорю уж о тех тенденциях манихейства, которые легко прослеживаются в Ригведе и Авесте. Да, коллега, история народов земли едина, ибо делалась она на земле, а не на далеких звездах, как нас пытаются уверить в том полуобразованные проповедники космического богоискательства... Но не будем отклоняться от темы. Вы знакомы с пантеоном ламаизма?

— Откровенно говоря, нет. Знаю только, что тибетцы включили в него как своих местных богов, так и брахманистских.

— Как раз в числе таких унаследованных от индуизма персонажей находится бог богатства Кубера, он же Вайсравана — хранитель Севера, Намсарай по-монгольски. Кубера бывает желтым, красным и белым. Обычно его изображают сидящим на льве Арслане с мангустой в левой руке и волшебным камнем Чандамани — в правой. Каждую минуту мангуста выплевывает алмаз. В соответствии с цветом бурхана он тоже может быть желтым, красным и белым. Сравнительно недавно наши товарищи раскопали в Аджинатепе новый зал. Мой ученик, очень способный востоковед Геннадий Бурмин, обнаружил там прелюбопытную фреску. Она изображает Куберу с одной стороны белого, с другой — красного. С такой трактовкой мы сталкиваемся впервые.

— Я знаю Бурмина. Мы с ним дружны.

— Прекрасно! Советую поговорить с ним. Он расскажет вам об уродце Кубере куда более интересные подробности.

— Почему об уродце? — удивился Березовский.

— Такова традиция. Считалось, что богу богатства не нужна красота: он сам может купить любую красоту. Не следует забывать, что Кубера считался еще и царем темных сил, всевозможных демонов. Прелюбопытное божество! Мне приходилось видеть бурятскую танка Куберы — Вайсраваны, на обороте которой по-русски было написано: «Бойся люди Намсару». Так что идея представляется мне плодотворной. Луна и солнце, белый и красный Кубера, белый и красный алмаз. Дерзайте!

— И это как-то связано с сомой?

— Трудно сказать. Во всяком случае, Агни присущ красный цвет, Соме — белый.

— Соме — богу? — уточнил Березовский. — Не растению?

— Как вы сами понимаете, сома — амрита, или точнее вселенская влага — понятие скорее философское, чем ритуальное. Героем культа, героем народного эпоса может стать только личность. И, подобно неистовому Агни, олицетворяющему жаркое пламя, людская фантазии создала Сому — бога жидкого огня, одухотворителя жизни. Но если Агни часто ассоциировался с Солнцем, то Сому пришлось повенчать с Месяцем. Луна, как вы знаете, почти у всех народов являлась синонимом плодотворящей влаги. И действительно, в мифологии позднейшего, эпического периода Сома есть именно Месяц. В Пуранах Месяц прямо называется ковшом амриты. Когда он прибывает и ночи светлеют, боги пьют из него свое бессмертие, когда идет на убыль, к нему приникают питри — души умерших — и высасывают до дна. В ту минуту, когда питри выпивают последнюю каплю, ночь делается непроглядной. Упанишады, которые древнее Пуран, прямо говорят: «Месяц есть царь Сома, пища богов». Таким образом, культ Сомы имеет еще одну грань, астральную. Подобная многозначность не является исключением. Астральные тенденции легко прослеживаются в мифологии Египта и Двуречья. Пирамиды строго ориентированы по странам света, зиккураты служили для астрономических наблюдений и так далее. И если в Древней Индии действительно умели изменять оттенки камней, это могло носить сугубо символический смысл. Возможно, здесь подтверждался исконный принцип «все во всем», лежащий в основе алхимии. Кубера желтый, Кубера белый и Кубера красный многозначен и все-таки един! Сома белый и Агни красный одновременно разделены и слитны, противоположны и неразрывны.

— Но Яма, владыка загробного мира, тоже, кажется, олицетворяет Месяц?

— Равно как и египетский Озирис и персидский Йима.

— Йима и Яма! — Березовский закрыл блокнот. — Хаома и Сома...

— Да, — понял его Бободжанов. — Это одно и то же. Но я не знаю, как вы сможете перекинуть мостик от мифологии к чисто практическим вещам...

— Тоже не знаю. — Березовский не скрывал своей полнейшей растерянности. — Вы преподали мне урок истинной мудрости. Еще час назад мне казалось, что я хоть немного, но знаю о чем-то, хоть вслепую, но все же нащупываю какие-то пути. И вот все рухнуло... Нет даже намека на точку опоры.

— Не беда! Такой точки не нашел даже Архимед, иначе бы он давным-давно опрокинул Землю. — Бободжанов вышел из-за стола. — Мы славно побеседовали. — Он протянул Березовскому руку. — Надеюсь прочесть вскоре вашу новую книгу.

«Что я скажу Володьке? — подумал Березовский, бормоча приличествующие случаю слова. — Это же полный крах! Куда я только полез, самонадеянный болван!» Тут он вспомнил о том, что должен еще поговорить с Люсиным о Марии, и почувствовал себя совершенно подавленным.

Глава восьмая

СЛЕД ГОЛОСА

Люсин сошел с троллейбуса у кинотеатра «Россия». В буфете за углом взял стакан вишневого напитка и бутерброд с колбасой. Стоя возле столика, без особого воодушевления сжевал невзрачный сухой ломтик.

«Падает качество колбасных изделий, — подумал он, поднося к губам стакан. — Равно как и сыров. А что делать? Неизбежные плоды массового производства. Даже Бельгия, как утверждает Дед, это почувствовала. Во всяком случае, топленое масло, которое они нам продают, не вдохновляет. Тиль Уленшпигель ему бы явно не обрадовался. — Он вытер губы бумажной салфеткой и поплелся на бульвар, все еще ощущая во рту кисловатый, прогорклый привкус. — Разум-то уговорить можно, а вот как с желудком быть?»

Деревья уже роняли первые листья. Они падали на скамейки, шурша по дорожке из толченого кирпича, пытались следовать за порывами ветра, но безнадежно отставали, скопляясь в канавках у решеток водостоков.

Люсин поспешил пройти бульвар и свернул к газетному киоску за «Советским спортом», но, заметив на другой стороне улицы Данелию, остановился и призывно махнул рукой.

— Гоги! — громко позвал он, сложив ладони рупором.

Данелия удивленно оглянулся, но толчея у мебельного магазина, где шла запись на какой-то удивительно дешевый гарнитур, помешала ему увидеть приятеля.

— Гоги! — вновь позвал его Люсин и, дождавшись зеленого света, наискосок бросился через улицу.

Только теперь Данелия увидел его и заулыбался.

— Ты чего это пешком? — удивился Люсин. — Никак, твой «жигуленок» улучшенной модели сломался?

— Типун тебе на язык, нехороший человек! — поморщился Данелия. — Машина на стоянке. Я из цирка иду. По твоей милости я сделался там своим человеком.

— После кошмарной истории с кражей питона, — Люсин поцокал языком, — ты самый популярный у них человек, Гоги. Кого же и посылать, как не тебя? Что нового в программе? Арена и вправду как солнечный диск?

— Ладно-ладно. — Данелия ткнул его пальцем под ребро. — Мели, Емеля.

— Ну ты, гений дзюдо! — Люсин поморщился. — Не очень... Больно все-таки.

— Ах, ему больно! А другим, значит, не больно? Ты хоть знаешь, куда меня послал?

— Знаю. Вход справа и вверх по лестнице на второй этаж. Разве ты заблудился?

— Нет, не заблудился. Но первый вопрос, который мне задала вахтерша, был про навоз. Ты только вдумайся хорошенько: про навоз! «Если вы за навозом, гражданин, то вам не сюда надо...» Ты что-нибудь подобное слышал? Или у меня на лице написано, что я пришел за навозом? Похож я на такого? Да?

— Ничего не понимаю, Гоги! — взмолился Люсин. — Какой навоз?

— А я, думаешь, понимал? — Данелия не выдержал и фыркнул от смеха. — Уже потом, когда я все сделал и пошел домой, то есть на работу, мне бросилось в глаза объявление, которое они повесили на воротах Центрального рынка: «Цирк отпускает навоз в неограниченном количестве всем желающим». Каково? И из-за этого меня, Георгия Данелию, чемпиона Москвы по самбо, приняли за какого-то дачника, за цветочного спекулянта, за вонючего выращивателя шампиньонов!

— Бедный, бедный наш цирк! — пригорюнился Люсин. — Финансовые органы не отпустили средств на уборку навоза! Пришлось воззвать к частному сектору... Будем надеяться, что садоводы останутся довольны экзотическим удобрением, которое производят слоны, бегемоты и антилопы-нильгау.

— Когда-нибудь я застрелю тебя, Люсин, — вздохнул Данелия. — С большим удовольствием застрелю.

— Лучше замолвь за меня словечко товарищу Местечкину, чтобы определил в клоуны. С детства обожаю.

— Пожалуй, и вправду так будет спокойнее. Самое тебе место на ковре, у рыжего на подхвате.

— А кроме шуток, Гоги?

— Напрасно время потратил, Володя. — Данелия огорченно поджал губы. — С кем только я не говорил! Не знают у нас факирских фокусов. Что тут будешь делать? Ни Дик Чаташвили, ни Акопян, тоже наш кавказский человек, не могли мне сказать ничего путного, а Игорь Кио так прямо посоветовал взять командировку в Индию, даже рекомендательное письмо пообещал.

— Плохи наши дела.

— Чего хорошего? Лишь однажды мне хоть чуть-чуть, но повезло. Глава знаменитого циркового семейства Беляковых вспомнил, что знал одного артиста, который умел делать знаменитый фокус с манго.

— Это когда дерево в руках прорастает?

— Ага. Прямо на глазах у изумленных зрителей. Все мне твердили, понимаешь, что это, как и классический фокус с канатом, массовый гипноз. Но товарищ Беляков твердо стоит на том, что сам видел, как из кучки земли в руках того артиста проклюнулся росток и затем выросло крохотное деревце.

— Имени артиста он, конечно, не помнит?

— В том-то и дело, что помнит! Он мне даже его телефон дал.

— Чего же ты сразу не сказал?!

— Э, не надо волноваться, Володя! — отмахнулся Данелия. Я уже звонил. К сожалению, товарищу факиру минуло сто лет... Так-то, милый друг. Как ни печально, последний русский факир не очень меня порадовал. Долго рассказывал о том, как путешествовал по Монголии и Тибету, как учился мастерству у персидских дервишей и маньчжурских гадателей. Но на мой конкретный вопрос о фокусе с манго ответил как-то невразумительно. То ли забыл он, как это делается, то ли действительно ничего здесь нет, одна сплошная иллюзия и массовый гипноз. Больше ничем порадовать тебя не могу. — Данелия даже руками развел. — Извини.

— И на том спасибо, Гоги.

— По крайней мере, до места незаметно дошли. — Данелия поставил ногу на ступеньку и, полуобернувшись к Люсину, кивнул на подъезд: — Прошу, маэстро!

— Только после вас, — церемонно отступил в сторону Люсин. — А поговорили действительно интересно.

Раскрыв пропуск, он кивнул дежурному и поспешил к лифту. От его утренней лени и созерцательного настроения не осталось и следа. Словно что-то торопило его здесь и подгоняло, словно электрические часы над входом незримо для постороннего глаза подкалывали его стальными остриями своих стрелок.

Еще в коридоре он услышал, что в кабинете надрывается телефон, и, нашарив в кармане ключ с латунной номерной печаткой на тонкой цепочке, кинулся к двери. Но едва вбежал к себе и протянул руку за трубкой, как звонок жалобно звякнул в последний раз и оборвался, оставив после себя печальное эхо.

«Так и есть — не успел».

Спохватившись, что ключи остались по ту сторону двери, он повернулся и выглянул в коридор.

«Так и есть — валяются на полу! Наверное, от сотрясения...» Люсин поднял связку и, захлопнув ногой дверь, сладко потянулся. Хронический недосып давал себя знать. Во всем теле ощущалась ломотная истома, косточки гриппозно ныли и в глазах резало. Он повесил пиджак на плечики, смочил носовой платок водой из гра-

фина и вытер лицо. Сонливость как будто прошла, но явственнее стала саднящая сухость во рту.

«Колбаса? Или я действительно заболеваю?» — пронеслась мимолетная мысль, но он не прислушался к ней, потому что вновь требовательно заверещал телефонный звонок.

— Слушаю! — сказал он, снимая трубку внутреннего.

— День добрый, Владимир Константинович, Костров беспокоит, — оглушительно задребезжала мембрана.

— Здравствуйте, Вадим Николаевич. — Он несколько отодвинул трубку от уха, чтобы было не так громко. — Как живем-можем?

— Есть новости. Хотелось бы поговорить.

— Я к вам? Или вы ко мне?

— Обычно так спрашивал Петрова Ильф, когда они созванивались на предмет поработать. Могу я к вам.

— Превосходно! — обрадовался Люсин. Ему смертельно не хотелось никуда идти. Прилив беспокойной энергии, который он ощутил в вестибюле, отхлынул. Пузырящаяся пена истаяла и без остатка впиталась в ноздреватый, светлеющий на глазах песок.

«Как бы и на самом деле не заболеть», — подумал он, смыкая воспаленные веки.

Голова приятно покруживалась, его увлекало с собой и ненавязчиво укачивало какое-то сильное течение. Вспыхнули в красноватой мгле колючие бенгальские искры, жидким зеркалом загорелось море, и все наполнилось многоголосым гулом, словно вырвался вдруг на волю шум, запечатанный в морских раковинах. Люсин увидел себя с лунатической улыбкой скользящим сквозь пеструю сутолоку запруженных улиц. Мелькали белозубые улыбки, тропические цветки, приколотые к смоляным волосам, лоснился желтый и густо-фиолетовый шелк одежд. Прямо на него, призывно и плавно покачиваясь, шла женщина с корзиной фруктов на голове, но, прежде чем он успел восхититься тем, как удивительно сочетается фиолетовый цвет ее сари со смуглым лицом и узкой полоской открытого тела, кто-то ухарски свистнул и гаерским голосом прокричал: «Ишь ты, куда надумал! Гриппозным в Бомбей нельзя!» Тут все смешалось, пугающе переместилось и покорежилось, а невидимый голос все выкликал его, Люсина, из толпы: «Ишь ты! Ишь ты! А ну-ка давай отсюда, проваливай!» — «Нет-нет, — пробовал сопротивляться Владимир Константинович. — Это вовсе не грипп никакой, грипп у нас давно отменили приказом горздрава за номером триста шестьдесят шесть, и болею я от колбасы...» Но его даже и слушать не стали. «Чего же ты тогда в санчасть за таблетками побежал? — продолжал публично позорить Люсина нахальный голос. — Видали такого мнительного?» Тут Люсин окончательно сдался и сник. Он и впрямь был очень мнительным человеком, и малейшее недомогание тотчас пробуждало в нем самые худшие опасения. Не боли, не страданий телесных боялся он и даже не смерти, о которой не думал обычно, воспринимая конечную неизбежность ее с равнодушием стоика. Его страшила одна только больница. Он жил одиноко, и для

подобного суеверного почти ужаса, казалось бы, не существовало причин. Но он боялся и знал за собой этот грех, с которым даже не пытался бороться, раз и навсегда признав свое полное поражение. И так ему больно вдруг сделалось, так беззащитно, что он сквозь стиснутые зубы мучительно застонал.

— Что это с вами, дорогой мой? — услышал он сквозь сон.

— А? Кто? — Застигнутый врасплох Люсин уставился на Кострова испуганными неразумными глазами. В ушах засвистел прилив, и с рокотом накатывающейся волны к нему прихлынул напрочь забытый, но тем не менее привычный, неизменный мир. Сузились и стали на свои места оклеенные пластиковыми обоями стены, возникло окно и ветка липы за ним, один за другим повыскакивали из небытия облупившийся сейф, новехонькая финская стенка и, наконец, полированная доска стола, на котором он спал. — Я, кажется, заснул? — Он виновато заморгал, непроизвольно потянулся и вдруг ощутил себя не только здоровым, но и отдохнувшим. — Сколько же я, интересно, проспал? Подумать только: всего семнадцать минут! — Глядя на часы, он покачал головой.

— Иногда бывает достаточно и пяти, — понимающе поддакнул Костров.

— Мне снилось, что я заболел. — Люсин едва поборол зевоту. — Но ничего подобного! — Как мальчишка, демонстрирующий мускулы, он согнул руку в локте. — Здоров!

— Конечно же! — Костров сел напротив. — Просто переутомились.

— Пустяки. — Люсин окончательно пришел в себя. — Какие новости, Вадим Николаевич? — Он притянул к себе перекидной календарь и выдвинул стержень шариковой ручки.

— Помните, вы мне дали некоего Мирзоева?

— Как же, Вадим Николаевич, отлично помню: басмач-антирелигиозник. Он вас заинтересовал?

— Как вы на него вышли?

— Очень просто. Он был в числе тех, кто посещал НИИСК.

— И только-то?

— Нет. Он «Мамонт», то есть, простите, его фамилия начинается на букву «М», а в алфавитном списке, который нашли в лаборатории Ковского, не хватало как раз соответствующей страницы. Ее просто-напросто кто-то вырвал, естественно, мы проявили повышенный интерес к «Мамонтам». Их оказалось четверо. Трое практически вне подозрений.

— Понятно. — Костров распечатал пачку «Тракии».

— Кончились «БТ»? — спросил Люсин, закусывая мундштучок. — Я — как тот бедняк в «Ходже Насреддине», который нюхал дым чужого шашлыка. Что у вас есть на Мирзоева?

— Он определенно связан с гранильной фабрикой.

— Это уже интересно! Похоже, эхолот пишет косяк! А, Вадим Николаевич?

— Скажу даже больше. — Костров глубоко затянулся. Обозначились тени на щеках. — Это именно он периодически звонит Ковской и справляется насчет Аркадия Викторовича.

— Да у вас действительно потрясающие новости! — Люсин бросил мундштучок назад в ящик. — Полагаете, от него все и идет?

— Еще не знаю. Возможно, он только посредник. Если мы сумеем доказать, что в НИИСКе действительно делали из простых алмазов оптические и окрашенные, то он у нас в руках, а там и вся ниточка потянется.

— Попробуем... Но вы уверены, что именно он служит передаточным звеном между мастерской и НИИСКом?

— Абсолютно. Он связан и с теми, и с теми. Наши вышли на него еще до вас. И именно со стороны мастерской. Понимаете? Теперь кольцо замкнулось.

— Ясно... А как вы засекли, что звонил именно он?

— Вот. — Костров вынул из папки несколько зираксных отпечатков, где на сером зернистом фоне явственно виднелись сложные узоры, образованные тонкими пунктирными линиями.

— Что это? — заинтересовался Люсин и разложил отпечатки веером.

— Фонограммы.

— Постойте, постойте, Вадим Николаевич! Это, случайно, не по методу доктора Керста?

— Совершенно справедливо. Пленки с записью телефонных разговоров мы пропустили через звуковой спектрограф Керста.

— А я и не знал, что метод уже внедрен в практику. — Люсин, пряча зевок, прикусил губу. — Вообще-то удивляться нечего. Впервые его использовали в судебном разбирательстве, кажется, еще в шестьдесят шестом году. Но, честно говоря, я просто не ожидал, что он так скоро дойдет до нас. Вот уж сюрприз так сюрприз!.. Напомните мне, пожалуйста, принцип этой штуки. Хочу все знать, как говорится. В порядке самообразования. На будущее.

— Значит, так. — Костров повернул к себе календарь и набросал принципиальную схему. — Всякий произнесенный звук складывается из сотен различных колебаний. Действие прибора основано именно на таком принципе. При анализе звуков прибор «настраивается» на каждую из частот точно так же, как приемник на определенную станцию. Настройка осуществляется магнитной головкой, скользящей вверх и вниз по участку неподвижно закрепленной пленки и за каждый проход отбирающей небольшую группу частот. Настраиваясь на определенную частоту, головка приводит в движение иглу, которая изображает частоту в виде волнистой линии на электрочувствительной бумаге. На полученном таким образом отпечатке вертикальные перемещения показывают частоты. Громкость выражается насыщенностью окраски линии — чем громче, тем точнее линия изображения.

— Голосовой узор столь же индивидуален, как и кожный? — Люсин задумчиво обводил скрепкой причудливые изолинии фонограммы.

— По всей видимости, так. Нельзя, конечно, априорно утверждать, что на земле нет двух людей с одинаковыми голосами, но...

— Более того! Нам точно не известно, что нет двух людей с одинаковыми пальчиками. И что из этого? В картотеках всех стран мира хранятся миллионы отпечатков, и еще не было случая, чтобы среди них нашлись одинаковые. Нет, Вадим Николаевич, фонография замечательная штука! Уверен, что она поможет вывести на чистую воду всяких радиохулиганов и телефонных анонимщиков. Лично я голосую «за».

— Я тоже. — Костров спрятал отпечатки.

— Давайте попробуем прикинуть, чем мы располагаем. — Люсин вырвал из календаря чистый листок. — Насколько я вас понял, неясными остались два момента: источник левых, если можно так сказать, алмазов и механизм превращения их в цветооптические. Так?

— Первый менее важен.

— Конечно. К такому вы, надо думать, привыкли... Значит, все сейчас упирается в институт. — Люсин машинально изобразил круг и тут же перечеркнул его. — Кто делал? Как делал? И в каких отношениях с нашим «Мамонтом» состоял?

— Если вы сумеете дать ответ, мы размотаем весь клубок.

— «Если»... В том-то и дело, что «если». — Люсин закусил губу. — Сегодня я вам ничего не скажу. И завтра, видимо, тоже.

— Но Мирзоев был совершенно определенно связан с Ковским.

— В том-то и дело, что был. — Люсин сделал ударение на последнем слове. — Ковский мертв.

— Можно предположить, что Мирзоев знает и других сотрудников НИИСКа.

— Предположить-то можно, Вадим Николаевич, только звонит-то он все больше на улицу Горького, Аркадия Викторовича спрашивает.

— Возможно, он звонит не только туда.

— Едва ли. — Люсин скомкал листок и бросил его в корзину.

— Почему?

— Простая логика, Вадим Николаевич. Если бы Мирзоев был связан с кем-то еще из НИИСКа, то уже знал бы, что звонить ему некому.

— В «Вечерней Москве» будет извещение о смерти?

— Нет. Мы договорились об этом с Людмилой Викторовной и руководством института.

— Вы уверены, что так надо?

— Честно говоря, нет. — Люсин поежился, словно от холода. — Не уверен.

— Тогда почему?

— Мне казалось, что не стоит ускорять течение событий. Я полагал, что чем позже узнает мой телефонный анонимщик о смерти Ковского, тем больше у нас окажется времени.

— Времени для чего? Чтобы найти его? Но теперь вы знаете, кто он такой. Быть может, стоит, наоборот, поскорее оповестить его, толкнуть на какие-то действия?

— Не знаю, Вадим Николаевич, право, не знаю... Для чего нам, собственно, его провоцировать? Вы же, конечно, взяли его под наблюдение?

— Узнав, что Ковского уже нет, он может кинуться к кому-то другому...

— И навести нас?

— Это бы существенно облегчило наши поиски.

— К сожалению, все это одни лишь предположения. — Люсин встал и пошире распахнул форточку. — «Если» громоздится на «если». Я предпочитаю действовать только тогда, когда ясен результат. В противоположном случае, по-моему, лучше выждать. Это как в медицине: главный принцип — не навреди.

— Разумно, поскольку снижает вероятность проигрыша, малопривлекательно, поелику ведет к неопределенной затяжке времени... Что же нам с вами делать, Владимир Константинович?

— До тех пор, пока я не исчерпаю свои внутренние резервы, несомненно, ждать.

— Вы говорите о НИИСКе? О своем участке?

— Само собой.

— А как мне быть?

— Делайте все, что хотите, — рассмеялся Люсин, — но только так, чтобы не навредить мне.

— Проведем демаркацию. Мирзоев ваш человек?

— Скажем лучше так: наш человек.

— Значит, его не трогать?

— Вы собирались его брать? — огорчился Люсин. — Давайте повременим! Пока линия НИИСКа не подработана, прижать его будет трудно. Может вывернуться.

— Как бы не так! — усмехнулся Костров. — Его контакты с заводом весьма определенны. Как минимум по двум статьям... Но вы правы, для пользы дела следует не торопиться. — Он зажег новую сигарету. — Что слышно на вашем фронте?

— Как обычно, ведем глубокую разведку. Все больше говорим.

— Что показала судебно-медицинская экспертиза?

— Обширный инфаркт миокарда. Смерть наступила в результате тромбоза коронарных артерий. Патологоанатом констатировал некроз обширных участков сердечной мышцы.

— Не ожидали?

— Как вам сказать, Вадим Николаевич... — Люсин отвернулся к окну. — И да, и нет.

— Версия убийства, таким образом, отпадает?

— Опять же, как посмотреть...

— Простите?..

— Я действительно ничего не знаю, Вадим Николаевич. Есть, конечно, какие-то косвенные данные, подозрения, если хотите,

предчувствия даже... Но все пока очень водянисто, сплошной туман. Но одно я знаю твердо: убить можно по-разному. Иногда люди погибают не от пули и не от ножа, а всего лишь от слова. И чем человек тоньше, честнее, тем легче его убить. Когда такие вот уязвимые, незащищенные люди внезапно умирают от разрыва сердца, я невольно спрашиваю себя: «А не произошло ли здесь убийство?» И бывали случаи, когда ответ оказывался утвердительным. Но это все лирика, как говорит один мой приятель. Убийство словом не предусмотрено уголовным кодексом. Да и доказать его было бы очень трудно, хотя именно слово оставляет на сердце те самые пресловутые рубцы, которые сначала четко регистрирует электрокардиограмма, а потом обнаруживает патологоанатом. ЭКГ, впрочем, далеко не всегда успевают снять.

— М-да, грустный случай.

— И все-таки у нас есть основания для оптимизма. Очень часто люди бросают убийственные слова необдуманно. И потом, это не выстрел из пистолета и не ножевой удар.

— Есть еще одна тонкость: смертельное ранение может нанести только близкий человек.

— Чем ближе, тем вернее... Хотя врачи уверяют, что перепалки в троллейбусе или в очередях тоже не проходят бесследно.

— Если так разобраться, жить вообще очень вредно, Владимир Константинович. Нам укорачивают годы шум, задымленность улиц, радиоактивные дожди, сигареты и даже пиво. Я не говорю уж о том, что даже абсолютно благополучный день старит нас ровно на двадцать четыре часа. Поэтому не будем отбивать хлеб у медиков и социологов, а ограничим свои поиски сугубо криминальными рамками. Согласны?

— Другого нам и не дано. Но по чисто психологическим причинам мне нужно знать или хотя бы представлять себе, как оно было. Иначе я не смогу разобраться в этом деле на должном уровне. Соглашаясь в принципе с заключением экспертизы, из которого следует, что гражданин Ковский А. В. умер естественной смертью, я тем не менее хочу знать, кто его убил, если, конечно, подобное действие имело место.

— Очень существенная оговорка. Без нее ваша эффектная, но малодоказательная версия выглядела бы чересчур тенденциозно. Чего вы хотите, короче говоря?

— Абстрагируясь — как бы это поточнее сказать? — от морали, я хочу ясно и точно воссоздать последний день Ковского. Если теперь нам известно, отчего и когда именно он умер, мне хотелось бы узнать еще и как это случилось. Понимаете?

— Боюсь, что вам придется трудновато.

— Не сомневаюсь. Но я буду знать. Нам это просто необходимо. Поверьте мне, что операции с бриллиантами прояснятся тогда как бы сами по себе. Главное — общая непротиворечивая картина. Частности вытекут из нее естественным путем, как следствия из закона.

— Да вы философ!

— Это плохо? — Люсину показалось, что в словах Кострова промелькнула нотка некоторого осуждения. — В прошлый раз мы, по-моему, нашли общий язык.

— Тогда мы стояли на прочных рельсах логики. До того момента, как вы изложили свои соображения относительно того, что Мирзоев был связан только с Ковским, я был с вами согласен. Действительно, логика поступков Мирзоева свидетельствует о том, что он все еще ожидает возвращения Ковского. На основании этого мы можем заключить, что других контактов с НИИСКом у него нет. Здесь все правильно. Но дальше... По-человечески, Владимир Константинович, меня тронула ваша интерпретация экспертизы, но как криминалист я не могу с ней согласиться. Тем более трудно принять мне ваши общефилософские построения. Проще говоря, вы не убедили меня, что нужно ждать. Чего именно ждать? Допустим, вы построите свою четкую, как вы говорите, непротиворечивую картину. И что дальше? Вы уверены, что в ней найдется место для Мирзоева? Для мастера из гранильной, которому он поставляет левое сырье? Для жучков, которые сбывают потом оптические бриллианты валютчикам? Извините, конечно, но я в этом глубоко не уверен.

— И совершенно правы. Но позвольте встречный вопрос... Чем, собственно, вы рискуете, оставляя пока на свободе Мирзоева? Ведь, насколько я понял, речь идет только об этом. Больше я нигде не сковываю вашу инициативу, не так ли?

— У каждого своя метода, Владимир Константинович. Я с глубоким уважением отношусь к вашей концепции, и боже меня упаси советовать вам, как и что делать теперь с делом Ковского. Но есть пограничная зона, о которой мы договорились, и тут мне хотелось бы получить от вас более строгое обоснование. Иначе говоря, я должен быть уверен, что каждый мой шаг, даже самый маленький, сделан потому-то и потому-то, а не просто так.

— А как вы сами думали насчет Мирзоева?

— Я, скорее, склонялся к тому, что его надо брать. Оснований достаточно. Риск, что он вывернется, конечно, существует, но еще больше шансов вывести его на чистую воду. Это существенно продвинуло бы вперед наши поиски и, кстати, помогло бы вам набросать общую картину. Я лично не представляю себе, как вы хотите сделать это без Мирзоева.

— А я и не хочу. Телефонный аноним играет в моей версии весьма значительную роль. Просто до поры до времени меня не очень интересуют подробности. Даже столь существенные, как установление личности этого анонима. Теперь благодаря вам мы это знаем, и очень хорошо, но поверьте, на данном этапе я бы обошелся и так. Логических аргументов в пользу своей точки зрения на задержание Мирзоева я привести не могу, но попрежнему готов ее отстаивать. Мы можем, конечно, вынести спор на суд высшего начальства. Но стоит ли? Тем более, я готов признать, что ваша аргументация заслуживает большего предпочтения.

— Понимаю. — Костров прикурил от окурка новую сигарету. — Собственная интуиция подчас перевешивает логику. Такое бывает. Что же касается третейского судьи, то я этого не люблю. И вообще не хочу идти на конфликт. Давайте все-таки попробуем договориться. Если нужно, я готов спорить еще целый день. Не с целью доказать свою правоту, но в надежде, что у вас появятся более веские доказательства.

— Откуда им взяться, — примирительно буркнул Люсин, — когда их нет.

— Вы говорили, что хотите отработать еще какие-то ходы. Внутренние, как вы сказали, резервы. В интересующем нас плане это что-нибудь даст?

— Трудно сказать заранее, — уклончиво ответил Люсин. — Возможно, что-то такое и прояснится или всплывет новое.

— Сколько вам потребуется времени?

— Два дня, ну, от силы три.

— Хорошо. Через три дня мы вновь собираемся и решаем вопрос, как быть с Мирзоевым. Если вы и тогда не сумеете переубедить меня, мы его берем. Договорились?

— А что делать? — нехотя согласился Люсин. — Жаль, что вы не играете в шахматы.

— Почему? — удивился Костров.

— Чемпиону мира пришлось бы очень плохо.

Глава девятая

ВОЛНА V

Гималаи. XIX век

Оранжевые сполохи взметнулись над снегами остро синевшего вдали хребта Аннапурны. Словно веление неба подхлестнуло маленький караван паломников. Погонщики, отец и сын из племени кхамба, резко принялись покалывать яков острыми палками. Подхлестнул вконец вымотавшуюся лошадь и сам хозяин — староста небольшой тибетской деревушки в долине Кайласы.

Всем хотелось засветло добраться до кедровника на горе богинь Мамо, где можно было укрыться от сырого, пронизывающего ветра, вскипятить перед сном на костре воду и, попивая чай, приправленный цза́мбой[1] и буйволиным маслом, спокойно порассуждать о вечном круговороте жизни. Впрочем, староста Римпочен не слишком стремился утруждать себя заботами о высоких истинах мирового закона причин и следствий. Беды родной, заброшенной в котловине тибетских гор деревушки волновали его куда больше. Не проходило и года, чтобы она не подвергалась опустошительным набегам чуже-

[1] Цзамба — ячменная мука.

земцев: непальцев, гуркхов из Сиккима, разбойников голоков и диких кочевников из монгольских степей. Но самые горькие беды приносили китайские солдаты. Они не только угоняли скот и подчистую забирали запасы продовольствия, но и увозили с собой молодых девушек и детей, которых продавали потом в рабство. Жизнь крестьян стала совершенно невыносимой. Сначала они попытались пожаловаться китайскому амба́ню[1], но жалобщиков нещадно выпороли, а у старосты, предшественника Римпочена, содрали с рук кожу, отчего тот повредился в уме и не мог более исполнять обязанности главы деревенской общины. Оставалось только одно: покинуть деревню и уйти в горы, подальше от жадных чужеземцев. Но не так-то легко бросить родимую землю, где птицы вскормлены телами предков. Да и найдут ли они другую долину, где так же хорошо уродится ячмень и просо и будут тучнеть буйволы на летовках? Где так же будет сладок мед и целительны горные растения: лук, абрикос и крапива?

Три дня и три ночи обсуждали мужчины судьбу селения, но, так ничего и не решив, отправили Римпочена, вновь избранного главу, за советом к сричжа́нгу[2] — отшельнику, живущему в недоступных пещерах горы Чжуонга. Недаром слух о его аскетической жизни и сверхчеловеческой воле, перед которой даже боги склоняются, прокатился по всем надоблачным царствам от Непала до Тибета, от Бутана до Мустанга, Ладака и горных джунглей Сиккимской страны. И вот уже скоро пойдет шестая неделя, как едет к отшельнику кроткий, вечно напуганный и озабоченный Римпочен. За это время он потерял двух лошадей вместе с поклажей, которые сорвались в пропасть, когда после одной лютой ночи обледенела тропа, а также яка, павшего от неизвестной болезни. Были съедены сухие пенки и почти все масло, выпито просяное пиво, заметно поредели запасы цзамбы и сухих овощей. Погонщики с каждым днем становились угрюмее. Их свирепые темные лица не покидало настороженное выражение. Казалось, они чего-то все время ожидают. А до цели оставалось еще не меньше восьми переходов.

Небо впереди, как это часто случается в Гималаях, взорвалось кричащими оттенками такой беспощадной, трагической красноты, что помимо воли накатывались слезы. Староста и погонщики прикоснулись к амулетам и зашептали охранные мантры. Маленький караван достиг леса рододендронов и, пройдя сосновый бор, где из-под ног вспорхнула тройка ярких фазанов, вышел к заснеженному хребту. Начинались унылые пространства вечной зимы.

Ветер дул заунывно и одичало. Казалось, что все давным-давно вымерзло и утонуло в снегу. Мутная пурга над белыми, чуть малиновыми от солнца хребтами и жуткая, безжалостная синева...

Смежив заледенелые ресницы, уйдя головой в плечи, медленно и неслышно, как тени, скользили погонщики к Чертовой горе. Бо-

[1] Амбань — наместник, генерал.

[2] Сричжанг — толкователь книг.

ясь отстать, Римпочен то и дело понукал свою низкорослую монгольскую лошадь. Внизу в неистовом белом дыму ревела желтосвинцовая Ринби. Волокнистые тени неслись над самой землей. Впервые старосте стало по-настоящему жутко. А ведь еще недавно он боялся лишь тигра, притаившегося в лесу, или подстерегающего на заснеженных перевалах сиккимского леопарда. Что все дикие звери перед дымящейся пылью пурги? Никогда тибетец Римпочен не забирался так высоко!

Он стал жаловаться на головную боль и одышку. Наверное, им овладел ла-дуг — жестокая болезнь гор. Один из погонщиков выковырял из-под снега окатанный слюдяной камешек и бросил его старосте.

— Пососи, пройдет, — сурово сказал он.

Яки легли, а за ними и лошади. Староста тоже сел на снег и почувствовал, что у него окоченели ноги. Стащив сапоги, он до красноты натер ступни сухим снегом.

Уже в зеленых сумерках, одолев перевал, спустились они в кедровник, где сразу и заночевали, не согрев даже чаю. Лишь на рассвете разожгли костер и поели. За ночь пала лошадь, и староста пересел на яка. Путь лежал теперь по глянцевитому насту глубокого ущелья. Следить за его белыми извивами было утомительно. Начинала кружиться голова. Но ущелье скоро кончилось, и караван вышел на подветренную сторону горной цепи. Каменный мэньдо́н[1] указывал дорогу к деревне. Над крышами домов и загонами для яков развевались длинные цветные ленты. Ледяная корка сверкала на солнце. Снежное поле казалось покрытым глазурью. Смертный холод под сердцем ослаб. Староста предвкушал уже, как, сидя перед очагом, согреет руки над пламенем. В ослепленных снегом глазах мелькали желтые с голубизной и розоватые пряди. Жгучие золотые трещины жарко перебегали в синеватых угольях.

Но деревня оказалась покинутой. Двери домов опутывали веревки. В пустых загонах валялась запорошенная снегом солома и смерзшийся в камень навоз. Оспа ли заставила жителей сняться с насиженного места, или они ушли от притеснений местного феодала? Бежали от китайских солдат?.. На душе у Римпочена стало еще тоскливее.

Спускаться показалось спервоначалу легче, чем карабкаться на перевал, но голова кружилась. Болезнь гор усиливалась, и Римпочен опасался, что он вот-вот сорвется в пропасть, на дне которой чернели крохотные волоски сосен. Идти все чаще приходилось по голому льду. Каждый шаг давался с трудом. Лишь к вечеру вошли они в великолепный лес, который видели сверху. Но не нашли они приюта среди сосен. Все ущелье оказалось залитым водой. Это таял снег в северо-восточной части хребта. Синяя вода выглядела мертвой. Черные стволы исполинских деревьев падали в нее, медленно

[1] Мэньдон — стена, на которой написано заклинание — мани

смыкаясь где-то в слепящей точке опрокинутого неба, куда жутко, невозможно заглянуть.

Пройдя залитый лес, три человека на тяжело нагруженных яках потянулись вдоль обледенелого канала, на дне которого шумел поток, несущий камни, ломающий где-то внизу можжевельник и пихты. По просьбе Римпочена погонщики остановились под скальным навесом, сплошь поросшим желтыми лишайниками. Развьючив яков, зажгли костер из собранного в пути хвороста. Сварили рис, заправили чай последним куском масла. Укутавшись в меховую чубу и в два одеяла, Римпочен прилег на землю и уперся ногами в один из тюков, чтобы не свалиться в пропасть. После горячей еды он почувствовал себя лучше. Хотелось спать, но его волновали всевозможные страхи, реальные и мнимые. В черно-зеленом небе всю ночь пылали ледяные факелы вещих звезд.

Утро выдалось пасмурное. Дул жестокий северный ветер. Проводники, предвидя снежную бурю, стали неохотно собираться. Повернувшись лицом к священной для буддистов горе, они пропели мантры, и подъем на перевал возобновился. Через три полета стрелы встретилось небольшое, промерзшее до самого дна озерцо. Яки еще двигались, скользя по бугристому льду. Стояла удивительная тишина. Ни шума ветра, ни грохота водопадов. Только ледяная пустыня и черные мохнатые туши яков по ней. Кроткие животные покорно карабкались по обледенелому склону. Может быть, они чувствовали близость смерти?

Вскоре показалось еще одно озеро. Сквозь голубой лед просвечивало множество глубинных пузырей. Эти белые пустоты сверкали в косых лучах солнца чистыми радужными огнями. Люди замерли, пораженные внезапной пугающей красотой, столь нежданной среди заледенелой пустыни.

Оба проводника и хозяин стали на колени, воздавая почет прославленному в священных книгах Сикким Озеру Павлиньих Пятен.

Римпочен слышал, что сюда ходят паломники из самых дальних мест.

Вскоре каравану суждено было наткнуться на бренные останки одного из них...

Притихший на короткое время ветер усилился. Разорванные тучи дикими, взъерошенными табунами неслись в небе, которое прямо на глазах приобретало густой кровавый оттенок.

Кхамба начали нервничать. Часто останавливаясь, они бормотали заклинания и долго смотрели в небо, которое постепенно заволакивалось волокнистой мглой.

— Зачем нам идти дальше? — угрюмо спросил старший погонщик. — Нас ждет смерть в этой страшной пустыне. Еще час, и мы погибнем.

— Где ты видишь смерть? — заволновался староста.

— Посмотри на небо, хозяин. Эти тучи скоро засыпят нас глубоким снегом, из-под которого никому никогда не выбраться. Если

снег пощадит нас здесь, не миновать беды по ту сторону перевала. Давай вернемся.

— Куда нам возвращаться? — беспомощно спросил Римпочен. — Я бы и сам рад вернуться, только куда? Ведь пурга всюду настигнет нас.

Подошел кхамба-сын. Он тоже выглядел хмурым и подавленным.

— Животные волнуются, хозяин, — сказал он. — Идет беда.

— А может, попробуем? — робко спросил староста. — Когда мы выступили из священной рощи Лхамо, все приметы тоже обещали непогоду. Разве не так? Однако ничего не случилось. Погода здесь быстро меняется, и снегопад может пройти стороной.

— Что ты знаешь о Гималаях, староста, — презрительно спросил отец. — Надо уходить.

— А если пойти назад и укрыться за перевалом? — неуверенно предложил староста.

— Почему ты думаешь, что снег не застигнет нас на обратном пути? — обратился молодой кхамба к отцу. — Или не подстережет нас опять? Подумай о том, что нам дважды придется проделать этот проклятый путь... Нет, ничего другого не остается, как быстрее идти вперед. Да будет милость неба над нами!

— Лха-чжя-ло![1] — пробормотал старший кхамба свою обычную молитву и, покачав головой, ткнул яка под хвост заостренным бамбуком.

Животные едва несли поклажу, и людям пришлось тащиться пешком.

Небо как будто и на самом деле благоволило паломникам. Снег так и не пошел, а тучи поредели, и стало светлей. Окрыленные столь явной милостью, люди одолели опаснейший перевал. И только возле обо — кучи камней, оставленной в честь местных духов благодарными путниками, староста начал сдавать. Он бессильно опустился на снег, но тут же испуганно вскочил, увидев глубокий след тибетского длиннохвостого леопарда.

— Смотрите, сах! — прошептал он. — Откуда он здесь? Как он сумел пройти по рыхлому снегу, ни разу не провалившись?

— Это ракша́с[2] в образе саха, — пробормотал молодой погонщик.

Римпочен хотел что-то сказать, но оглушительный гром прокатился над ущельем. Стало вдруг темно, а потом непроглядное небо полыхнуло тяжелым слепящим светом. И завыла, закружилась пурга. Все исчезло в свистящем круговороте каменной пыли и острых ледяных искр.

...Когда Римпочен очнулся и вылез из-под снежного пуха, вокруг дымилась бескрайняя равнина. Шесть ложных солнц сверкали над горными ледниками. В неподвижном воздухе танцевала холодная радужная пыль. От каравана не осталось ни малейшего следа. Глаза сами собой закрывались. Хотелось медленно и неслышно

[1] Дай мне сто лет!

[2] Ракшас — злой демон.

нырнуть под эту невесомую пену и опуститься на самое дно, где так тепло и покойно.

Староста заставил себя встать и побрел на подкашивающихся ногах, проваливаясь по грудь в снег, туда, где за блеском ледников стыла мертвая синева. Голова его пылала лихорадкой, и тело дрожало от холода. Все пути казались одинаково безразличны. Он едва ли сознавал, где находится и куда стремится.

Когда два солнца погасли, а четыре поднялись в зенит, он очутился возле каких-то скал, которые, как узкие ворота, пропустили его в обманчивое пространство, сотканное из преломленного света. Здесь он окончательно ослеп, но продолжал еще некоторое время ползти, пока не уткнулся лицом в колючую полосу, покрытую той жалкой растительностью, которая следует сразу же за снеговой линией. Он понял, что вышел на перевал Самвару. Когда после захода солнца зрение возвратилось к нему, он различил в угасающем голубоватом свечении черный утес, напоминающий парящего орла, о котором столько говорил кхамба. Сходство оказалось так велико, что внушило благоговейный ужас, от которого не леденела кровь в жилах и не шевелились волосы на голове, но находила растерянность, наступала тоска. Бедному тибетцу хотелось молиться и рыдать, но нельзя было ни рыдать, ни молиться.

Твердыня каменных стен лежала внизу. По-разному освещенные солнцем, драконьи хребты суровели пронзительной синью и отливали медной зеленью, слабо светились желтизной ртутных паров. Пленки тумана бросали влажные сумрачные тени. Белые потоки водопадов застыли на отвесных обрывах.

Не хватало сердца, чтобы вместить эту дикую, отрешенную от человека и вечно равнодушную красоту. Тибетец, потрясенный величием Гималаев, чувствовал себя слепым, как крот, немым, как рыба, и крохотным, как самый жалкий муравей. Все здесь превосходило разум. И нерожденные слова умирали в горле перед бездной, которую нельзя измерить даже страхом.

Римпочен увидел «Госпожу белых снегов» — священную для буддистов Чому Канькар, и головой коснулся земли. Ламы говорили, что самая высокая гора мира состоит из трех пиков, и он сразу узнал два усеченных конуса и высочайший купол над ними. Никогда нога человека не ступала на божественную белизну снегов Чомы! К северо-западу за сизым туманом угадывалась индиговая гряда Шар-Кхамбу, к западу, за наполненной синим крахмалом пропастью, лежали невидимые долины.

Лицом к лицу стоял бедный, забитый тибетец перед вечной сутью, для которой не придумано даже названия. Но он чувствовал ее и постигал, потрясенный, исполненный благоговейного ужаса и восхищения. Он не искал никаких слов, потому что любые слова разобьются в этих каменных стенах, как жалкие ледяные сосульки.

И до мельчайшей трещинки была понятна ему лежавшая перед ним синяя ладонь бога. Ничтожнее пылинки, прилепившейся к кончику ногтя ее, чувствовал он себя, но это нисколько не унижало

его. Напротив, ощущая свою неотделимость от горной стихии, он радостно улыбался, и благодарные слезы тихо стекали по его щекам. Он следил, как, застывая, курятся туманы в молчаливой немыслимой синеве, и благодарил всех богов и демонов, которых знал, за то, что они дали ему возможность увидеть такое на пороге смерти.

Без страха и без протеста ожидал тибетец, когда Яма, владыка мертвых, гулко кликнет его в эту синь, в эту стынь, в этот холод и мрак.

Но всесилен круговорот жизни! Согреваясь под высокогорным солнцем, постепенно оттаяло скованное смертельным холодом тело, и душа вслед за ним освободилась от гибельного оцепенения.

Одинокий странник, затерянный в величайшей горной стране мира, среди снегов и мороза, без крупинки цзамбы, без кристалинки соли, упорно хотел жить.

Он примерно знал, куда надо было идти, но не видел дороги. Все утонуло в снегу. Запахнув чубу, он спрятал голову и сел в снег. Помолившись, резко оттолкнулся ногами и понесся по довольно пологому склону. Засвистел в ушах ветер, зашуршал разрезаемый снег, Римпочен понимал, что сможет выжить, если продержится хотя бы несколько дней. Холод и отсутствие жилья его не пугали. Все зависело только от одного: найдет он пропитание или нет. Среди снегов его ожидала голодная смерть. Во что бы то ни стало надо было добраться до леса. Он думал об этом, когда летел вниз в клубах снежной пыли, оставляя за собой голубую извилистую борозду.

Потом он отряхнулся и протер запорошенные глаза. Сложив руки лодочкой, дыханием оттаял замерзшие ресницы. Перед ним расплывалась мутная розовая тьма. Достав из-за пазухи шелковый шарф, тибетец проделал в нем крохотные дырки и завязал глаза, чтобы не ослепнуть навеки. Он мог теперь видеть лишь то, что находилось прямо перед ним. Но различал зато резко и ясно, даже следы мог читать: птичьи крестики, петлистые пути зайцев, широкую дугу снежного леопарда.

По снегу протянулись предвечерние тени. Он сделался чуть фиолетовым, а следы — синими. Римпочен затосковал, что теряет силы гораздо скорее, чем ожидал. Недавнее возбуждение прошло, и он ощущал, что опять начинается озноб и подступает тошнота.

Надвигающаяся ночь могла оказаться последней. Еще два перехода он, может быть, и сумеет сделать, но уже на последнем дыхании. Если же не удастся найти подходящее укрытие, то холод ночи убьет его еще раньше. Теплый ночлег мог дать хоть короткую передышку. У скалы внезапно обозначилась потерянная тропа. Крутыми извивами она сбегала в речную долину. Снеговая граница казалась очень близкой. Римпочен немного приободрился, надеясь вскоре вырваться из снежного плена. Но, хорошенько разглядев лощину внизу, он понял, что его надежда может и не сбыться. Серая змейка реки терялась в синеватой белизне снежной пробки. Расположенный на небольшой высоте перевал был непроходим из-за шинса-пахмо —

ранних снегов. Они исчезают обычно в одну ночь. Но сколь часто неделями приходится дожидаться такой ночи! Когда закат вновь полыхнул душераздирающей краснотой, Римпочен пересек границу снега. Белые линзы попадались еще в тени можжевеловых кустов, но в ямах и рытвинах уже блестела талая вода. Вдоль дороги росли рододендроны и острые колючки с красными ягодами. Ее извивы уводили вниз. Зима осталась за плечами. Реку, за исключением тех мест, где она суживалась и черным стремительным потоком неслась по камням, покрывал мутный желтоватый лед. Тревожно отсвечивали в тоскливом закатном свете склоны горы Чжуонга. Там росли чернoствольные, с серебристой хвоей сосны.

Тибетец сорвал несколько синих можжевеловых ягод. Горячая слюна наполнила рот, острая боль перехватила горло. Все же он заставил себя тщательно разжевать жесткие, отдающие скипидаром ягоды. Может быть, на несколько минут это и уняло тошноту.

Уже в сумерках вышел он на широкую равнину с темнеющим лесом вдали. От перерожденца[1] из Амдо он слышал, что буддийский патриарх Сиккима Лхацунь отдыхал здесь после трудного пути по землям народа лхона, где проповедовал учение. Сидя под исполинским кедром дуншин, лама оглядел голубые холмы, серебристые сосны, и радость овладела его сердцем. Очевидно, тот лес впереди и был священной Рощей Радости, где находились пещеры отшельников.

«Значит, мне не придется спускаться ниже, — с облегчением подумал тибетец, — идти к перевалам, заваленным снегом».

До рощи он добрался уже в сумерках и переночевал в первой попавшейся пещере, где нашел кучу сухой ароматной травы. Засыпая, он почувствовал, что сричжанг находится где-то совсем близко и притягивает его к себе, как магнит послушное железо.

Когда на другое утро Римпочен выполз из пещеры, то сразу же увидел высеченные в голубой скале ступени. Они круто поднимались вверх и пропадали в черной колючей дыре под колоссальным гималайским кедром, увешанным разноцветными ленточками. Казалось, дерево цвело. Скала была источена ходами, гротами и кавернами. Округлые причудливые своды ее бесчисленных пещер казались отшлифованными. В сумрачной их глубине чудились красные мерцающие огоньки. Возможно, это тлели на каменных алтарях курительные палочки. Ни минуты не раздумывая, словно ведомый чужой волей, Римпочен поднялся по лестнице и вошел в пещеру, над которой высился кедр. Переход от яркого утреннего неба к непроглядному сумраку оказался настолько резким, что тибетец вновь ослеп. Но глаза вскоре привыкли, и он увидел аскета, сидящего на охапке соломы в позе Будды. Узкие прямые, как дощечки, ладони его были сложены одна над другой и ребром касались впалого живота. На языке пальцев это означало знак медитации. Широко раскрытые, привыкшие к вечному сумраку гла-

[1] Перерожденец — по буддийским верованиям, человек, в котором воплотилась душа божества или знаменитого ламы.

за переливались стеклянистой влагой. Тибетцу показалось, что сричжанг проницает его насквозь.

Он стоял под слепым и пронзительным взглядом архата, не решаясь пошевелиться. На голове отшельника была красная остроконечная шапка сакьясской секты; меховую выкрашенную в оранжевый цвет чубу он набросил прямо на голое тело. Римпочен ясно видел темную впадину живота, резко обозначенные ключицы и ребра. Они не шевелились: отшельник не дышал. Римпочен стал на колени и пополз к железной нищенской чаше. Он уже собрался опустить туда кусок серебра в семь ланов весом, но рука его замерла в воздухе. В чаше мокли красноватые высокогорные мухоморы, издававшие тонкий запах мускуса и брожения. Римпочен отполз от чаши и, оставив свое приношение возле молитвенной мельницы, благоговейно растянулся на земле. Он знал, что только самые святые и всемогущие ламы пьют настой из ядовитых грибов, который придает им божественную прозорливость и вдохновение. Заклинатель остался недвижимым, как изваяние. Тибетец прошептал молитву и отполз к выходу. Сквозь слезы смотрел он на темную бронзу высохших рук, которые сухой лозой оплетали тугие черные жилы. Он не знал, жив святой или дух его давно уже отлетел от пустой оболочки, покинул ее, как бабочка кокон.

И тогда он услышал смех, скрежещущий, злобный. Солнечно-синее небо за спиной потемнело, и мохнатые снежинки заплясали в нем, как пыль в луче.

— Что тебе здесь нужно? — спросил сричжанг, не разжимая тонких высохших губ.

Тибетцу показалось, что голос да́ми[1] прозвучал откуда-то со стороны.

— Смилуйся, учитель! — повалился он в ноги аскету. — Смилуйся и помоги!

— Дай руку! — Сричжанг больно сдавил ему запястье холодными, твердыми, как дерево, пальцами. — Думай о том, чего просишь. — Он позвонил в серебряный колокольчик. — Закрой глаза.

Римпочен прислушивался к угасавшему звону, который долго не таял под каменными сводами, и думал, думал о бедах злополучной своей деревеньки. Он вспоминал опустошительные набеги голоков, беспощадных китайцев, помешанного Памзана с искалеченными руками, скорбных односельчан и маленький монастырь на скале, с которой ламы выпускают на ветер красных коников счастья.

— О чем же ты просишь? — Отшельник отпустил руку Римпочена. — Жизнь — это всегда страдание. Источник ваших мучений один: желание. Чтобы не страдать, надо от него отрешиться, надо не жить. — Он потянулся за хурдэ, молитвенной мельницей, и раскрутил ее. — Разве поблизости от вашей деревни нет монастыря?

Тихо жужжал серебряный барабан мельницы, приводя в движение сотни заложенных в ней заклинаний.

---

[1] Дами — колдун

Римпочен хотел объяснить сричжангу, что монастырь у них есть и каждая семья отдает туда самого смышленого мальчика. Но кто-то ведь должен и в миру трудиться: носить добрым ламам рис и цзамбу, овощи и молоко, собирать аргал для печек и таскать воду. Он хотел сказать, что они бы давно покинули деревню, если бы не монастырь на каменной круче, где нет ни воды, ни травинки, но только закрыл глаза и уронил голову на грудь. От голода его опять стало мутить. Он беззвучно пошевелил губами и все вдруг забыл: потерял сознание или же просто заснул.

Когда он очнулся, перед ним стояла чашка риса, в которой таял шарик жирного буйволиного масла, и кружка горячего подсоленного чая. Отшельник сидел все в том же положении и вертел хурдэ.

— Как вы слабы! — неприязненно заметил он. — Ваши тела так и корчатся от всевозможных желаний. Ты не ел каких-нибудь три-четыре дня и уже впадаешь в забытье. Не привязывайтесь сердцем к вашим детям, не копите добро и не сожалейте о нем, когда придут ваши притеснители. Научитесь видеть в них благодетелей, которые освобождают вас от желаний, отравляющих бытие. Другого не дано, но разве можете вы следовать по пути спасения? Вы слишком слабы.

— Ты прав, учитель. — Римпочен ел, сдерживая отчаянную дрожь в руках. — Мы слишком для этого слабы. Нет ли возможности умилостивить наших врагов?

— Умилостивить врагов? Китайцы жестоки и корыстолюбивы. Смягчить их нельзя, но можно купить. У вас в деревне наберется пятьсот или даже тысяча ланов, чтобы заплатить амбаню?

— Откуда нам взять столько серебра, учитель? — Не отрываясь от чашки, Римпочен сокрушенно покачал головой. — Мы бедные люди.

— Богатство не в серебре, глупец. Вы бедные потому, что не разучились желать. Вы духом бедны.

— У меня только одно-единственное желание, учитель, — Римпочен вылизал чашку и молитвенно сложил руки, — помочь землякам. Это все, что мне хочется.

— Демон Мара застилает тебе глаза? — Сричжанг по-прежнему говорил не разжимая губ. Его скрипучий размеренный голос долетал до Римпочена как бы с разных сторон. — Одно желание неизбежно влечет за собой другое, часто противоречивое и разрушительное. Это порочный губительный круг, из которого нет выхода.

— Пощади нас, учитель! — взмолился Римпочен.

— Тебе не дано знать последствий вмешательства в предопределенный порядок вещей. Я же, которому открыты концы и начала, вижу, как одно заблуждение цепляется за другое. Где же мне нарушить течение неизбежности? В каком месте сделать попытку остановить то, чему все равно предстоит неизбежно свершиться? Нет, я не могу ухудшить свою карму такой ответственностью. — Сричжанг оставил хурдэ и отпил немного из железной чаши с

настоем мухоморов. Стеклянистый блеск его желтых белков усилился, а зрачки расширились настолько, что поглотили радужку. — Возьми свое серебро, накóрпа[1], и уходи.

— Как же я вернусь домой? Земляки совсем отчаются. — Римпочен поежился под пристальным полубезумным взглядом отшельника.

— А ты и не вернешься. Погибнешь в пути.

Римпочен вздрогнул, и странное убаюкивающее спокойствие снизошло на него. Может быть, впервые в жизни он перестал бояться.

Окинув взглядом пещеру, он увидел высеченную в скале многорукую фигуру Хэваджры, имя которого не произносят. У ног Темного Властелина лежали зеленый барабанчик — дамару, связка сухой золотистой травы и ярко раскрашенный бубен. Разглядев на нем круторогих баранов, луну и зубастых духов, Римпочен догадался, что, несмотря на красную камилавку сакьясской секты, сричжанг привержен еще и к древнему черношапочному шаманству бон-по. Встреча с таким дýгпой[2] всегда опасна, даже если тот и соглашается помочь. Сейчас он напророчил ему, Римпочену, гибель. Что ж, можно и умереть. Авось в последующем рождении вечный строитель возведет для него более счастливый дом. Хорошо бы ему возродиться богатым купцом, который следует по жизни великим шелковым путем. Римпочен поклонился и попятился к выходу.

— Возьми свои деньги, — приказал отшельник.

Староста послушно наклонился, поднял гирьку и завернул ее в шелковый платок. Где ему, простому крестьянину, было понять могущественного колдуна? С раннего детства он только и знал, что работать и повиноваться. Его научили почитать будд и юдамов, лам[3] и князей, солдат и отшельников. Он отдавал им все, что дарила скупая, обильно политая пóтом земля, и благодарил, когда они брали. А брали почти всегда. Князь и солдаты требовали еще и еще, боги равнодушно принимали подношение и молчали, ламы вели себя, как боги. Но случалось, что ламы отвергали дары. Иногда, чтобы накормить голодных, даже раздавали посвященные буддам жертвы. Не оттого ли Шакьямуни вознес их превыше всего, поставил над самими богами.

Получив назад серебро, он принялся униженно благодарить отшельника за щедрость. Но страх навсегда оставил его сердце. Кроткий, почтительный и суеверный крестьянин отныне никого и ничего не боялся. Он готовил себя к великому празднику перерождения. Как знать, может быть, и ему суждено когда-нибудь сделаться мудрецом, перед которым открыты концы и начала, кому дано вязать и разрешать?

— Больше тебе ничего не нужно? — спросил сричжанг.

---

[1] Накорпа — паломник

[2] Дугпа — наставник.

[3] Лама — дословно означает. «выше нет».

— Ты приоткрыл передо мной ненаписанную страницу, добрый учитель. Чего мне еще желать? — Римпочен задумался. — Не оставляй нашу деревню, — попросил он. — А если подвернется случай, пошли землякам мудрый совет.

— Случай никогда не подворачивается. — В руке отшельника опять зажужжало хурдэ, вознося в небеса миллионы непроизнесенных мани. — Потому что случайностей не бывает.

— Тебе лучше знать, учитель.

— Но предопределение можно изменить, если кто-то согласится осложнить свою карму ответственностью. Ты согласишься, староста?

— Как прикажешь, мудрый.

— Я никогда не приказываю и ни о чем не прошу. Делай как знаешь. Если берешь на себя ответственность, не доискиваясь до ее сути, которую все равно невозможно постичь, я помогу вам.

— Хорошо, учитель. — Римпочен опустился на колени. — Беру.

— Да будет земля свидетелем, — пробормотал отшельник, опуская на холодный камень пещеры средний палец правой руки. — Клянись.

— Клянусь! — Римпочен последовал его примеру.

— Я трижды приду к тебе на помощь, — пообещал сричжанг, вынимая из уха золотой алу́н[1] с камнем, который налился в пыльных световых струях вишневой густотой. — Возьми себе. Когда вернешься на родину, позовешь.

— Я вернусь?

— Теперь вернешься. — Жестокие блики промелькнули в расширенных зрачках отшельника. — Но будь осмотрителен. Отныне ты и только ты отвечаешь за все последствия своих желаний...

Обратный путь Римпочен проделал словно во сне. Он позабыл про то, как покинул пещеру, как заблудился в Роще Радости и вышел к реке. Трудные перевалы мгновенно ускользали из памяти, едва он, закончив восхождение, бросал благодарственный камень в обо. Он даже не помнил, где и когда купил пару яков, навьюченных тюками с провизией. И лишь теперь, когда до деревни осталось рукой подать, Римпочен, пробудившись от странного оцепенения, удивленно оглядывался вокруг. Он действительно возвратился! Вот знакомая в ржавых железистых разводах скала, похожая на черепаху, вот родник и сбегающий в пропасть ручей! На дне ее, кажется, валялся выбеленный скелет яка, над которым многие месяцы кружил гриф. Так и есть! Белые полукольца ребер лежат на том же месте. Правда, их порядком завалило щебнем, но старый гриф тут как тут и, ожидая добычи, купается в восходящих потоках.

Римпочен вынул узелок с серебром и подивился тому, что не истратил ни единого лана. Откуда же взялись тогда яки, тюки? Или

[1] Алун — мужская серьга в виде плоского кольца, которую носили в левом ухе.

он встретил на обратной дороге свой караван? Пелена в голове, туманная красная пелена...

Ничего-то он не помнит, ничего не может понять!

Удушливую каменную пыль поднимают лохматые яки. Медленно, шаг за шагом приближается он к дому. Вот кремнистая тропа огибает знакомое дерево — столетний, искалеченный бурей абрикос. Тянутся в синеву лепестки полураскрытых цветков. Горные осы над ними так убаюкивающе гудят...

Срывались с обрывов лавины, обрушивались источенные водой ледники, огненные драконы вспарывали наполненное дождем небесное брюхо, а окаменевшее дерево, упорно цепляясь за скалу, залечивало раны, выбрасывало новые побеги весной. Это ли не вечность?

Сразу же за абрикосом открылся мэньдон, сложенный из серо-коричневых сланцевых плит. На нем написаны мани и нарисованы вертикальные полосы желтых и красных уставных цветов. Потом показался и суровый, величественный, как сами горы, субурган, на котором застыл в небесном полете красный облачногривый конь — трудное горное счастье, которое никогда не прилетает само.

А там пошли заросли кизила, сквозь которые пробивалась тропка, ведущая к монастырю.

И тут Римпочена словно раскаленным железом ожгло. Он снял с шеи гау — коробочку для амулета — и вынул оттуда подарок отшельника. Фиолетовыми бликами заиграл камешек под горным солнцем.

«Что же это я? — покачал головой Римпочен. — Не с пустыми же руками возвращаться, в самом деле! Люди ждут, а что я везу им? С чем приехал? Сричжанг мудро посоветовал откупиться. Стоит подарить амбаню пятьсот... нет, лучше тысячу ланов, и он не только запретит солдатам нас обижать, но и караулы у деревни поставит, чтоб другим неповадно было. И ничего другого нам не надо. Только тысячу ланов для китайца».

— Слышишь, сричжанг? — тихо позвал он, разглядывая диковинный камень. — Всего тысячу. — И подумал, что алун отшельника не удастся, наверное, продать за такую сумму.

Вблизи субургана, за которым начинался спуск в долину, до него долетели отдаленные музыкальные такты. В селении праздновали какое-то радостное событие: звенели медные тарелки и гонги, трубили раковины, глухо рокотали барабаны.

«Что это может быть? — заинтересовался староста. — По какому случаю ликование?»

А потом опять все пошло как во сне. Только сон этот стал подобен гнетущему кошмару, который нагоняют на человека голодные духи — преты и читипати, хранители могил.

Едва завидели люди своего старосту, как музыка смолкла. Ламские ученики в высоких гребенчатых шапках опустили трубы, положили на землю кимвалы и барабанчики. В скорбном молчании раздалась не остывшая от возбуждения толпа, когда Римпочен, кланяясь на обе стороны, протрусил на яке.

— Что случилось у вас? — предчувствуя недоброе, спросил он и спрыгнул на землю.

Люди молча отводили глаза, неловко переминались с ноги на ногу.

— Отчего перестала играть музыка? — Завидев стоявшего в задних рядах деревенского мудреца, Римпочен приветливо помахал ему рукой: — Эй, Дордже! Объясни хоть ты, что тут происходит?

— Ох-хо-хо! — простонал хромоногий старик и заковылял к Римпочену. — Обычно дети пугают своим плачем, а старики — своей смертью, а у нас все не как у людей. Иди домой, там узнаешь.

— Жена? — испугался староста.

— Скажи ему, Дордже! — зашептали люди. — Пусть узнает.

— Смерть посетила тебя, Римпочен, — скорбно закивал старик. — Тантрический лама готовит сейчас в дорогу твоего сына.

Римпочен медленно опустился на пыльную землю.

— Где падаль, туда собираются собаки, где горе, туда собираются ламы. — Старик помог ему подняться.

— Как это случилось? — глотая слезы, спросил староста.

— О человеке суди, пока он дитя, о коне — пока он жеребенок. Твой мальчик отдал жизнь за деревню, Римпочен. Ты не должен о нем плакать. Через сорок девять дней он вновь родится для счастливой жизни. А произошло вот что. — Старик оглянулся на следовавшую за ними толпу. — Идите домой! — повелительно крикнул он. — Пусть только кто-нибудь отведет яков. — Он обнял старосту. — Маленький Шяр провалился на пустыре в глубокую яму и разбил себе голову. Когда его вытащили, он уже не дышал. Кого боги возлюбят, тому посылают быструю смерть.

— За что мне такое горе, Дордже? — Глаза Римпочена оставались сухими. — Разве я не радовался, когда мой первый ушел в монахи? Я сам отдал его небу, Дордже! А где мои дочери? Одна умерла от черной оспы, другую угнали китайцы. И вот я узнаю, что больше нет моего Шяра! Зачем мне жить? Я остался совсем одиноким.

— Разлука с живыми хуже разлуки с умершим. Перетерпи эту смерть. Она спасла всех нас.

— Какое мне дело? И почему ты так говоришь?

— Твой Шяр был похож на тебя, Римпочен. От маленького камня и большой камень загрохочет, маленькими поступками великое достигается... В той пещере нашли разбитый горшок с серебряными монетами. Подумать только, тысяча ланов серебра! Целый клад! Теперь мы сможем купить себе покой. Китайцы перестанут угонять наших детей. Вот почему у нас в деревне сегодня и горе и праздник.

— Праздник, — повторил Римпочен, плохо понимая, о чем толкует мудрец. — Так ты сказал, тысяча ланов?

— Ровно тысяча ланов серебра!

— Оставь меня, — попросил староста. — И вы тоже оставьте меня! — крикнул он стоявшим в отдалении молчаливым землякам. — Мне нужно побыть одному.

Когда люди повернулись и разбрелись, а хромой Дордже скрылся за общинным домом, сложенным из черного плитняка, староста схватил алун и, прижав его к сердцу, прошептал:

— Хочу, чтобы мой мальчик опять бегал по двору. Больше мне ничего не нужно.

Каменная четырехугольная башня с чуть сходящимися к плоской крыше стенами уже виднелась в конце пыльной дороги. Как и все тибетские дома, она была похожа и на суровую скалу и на скорбный обелиск.

Едва Римпочен, нагнув голову, вбежал во внутренний дворик, как навстречу ему, раскинув ручонки, кинулся сын. Глаза мальчика были закрыты, темная кровь запеклась на лице. Он метался по двору, слепо ища отца. Римпочен, не спуская напряженного взгляда с его головки, медленно отступил назад. Ни жены, лежащей ничком на земле, ни испуганных лам, затаившихся под навесом, он, казалось, не заметил. Ударившись о притолоку, наклонил голову, но не остановился, а продолжал пятиться, бормоча охранительные молитвы.

— Пусть все останется, как прежде, — прошептал он в кулак, в котором горел, как раскаленный уголек, камень алуна, и потерял сознание.

Когда он очнулся и вполз в дом, его встретила траурная тишина. Безмолвная жена помешивала в кипящем огне чай, тантрический лама читал над маленьким тельцем, покрытым саваном, молитвы, а ламский ученик окуривал комнату благовонным дымом.

Римпочен разжал кулак и медленно опустил руку. Алуна не было.

...Узкие, широко расставленные глаза сричжанга смотрели на него без насмешки и злобы. Отшельник пребывал в полной неподвижности, неотличимый от тех раскрашенных мумий, в которые рано или поздно превращаются все знаменитые ламы, прославившие себя милосердием и чудесами. Холодно было в пещере, мертво. Пыльные струи дневного света почти не достигали угла, где покоился сричжанг, но алун, тяжело удливший ему мочку левого уха, мерцал, как звезда войны.

— Чего тебе еще надо? — Аскет впервые раскрыл рот, с почти незаметными из-за покрывавшего их черного лака зубами. — Убирайся!

*

Такова легенда о серьге трех желаний. Впоследствии она трансформировалась в широко распространенную на Востоке притчу о руке обезьяны, которая, исполнив желания, бесследно исчезает. Возможно, известную роль здесь сыграл и миф о царе обезьян Ханумане, чей лик ужасен, а сокровища неисчислимы. Но как бы там ни было, красный камень действительно никогда не задерживался надолго в одних руках и мало кому приносил удачу. Его временный владелец не мог уже быть спокоен ни за себя, ни за

своих близких. В лучшем случае сокровище просто похищали, но куда чаще за него приходилось расплачиваться жизнью. Даже султанам и махараджам не удавалось надолго сохранить у себя красный алмаз.

Но такова участь всех знаменитых камней. Несравненный «Орлов», украсивший бриллиантовый скипетр дома Романовых, тоже прошел через множество рук, оставляя за собой кровь и слезы. Сотни лет мерцал он во лбу миросоздателя Брахмы, чье творение поддерживает Вишну и разрушает во имя грядущего созидания неистовый Шива, пока не зашел в пещерный храм шах Надир. Не безвестный вор, а сам персидский царь вырвал из каменной глазницы сияющее око и спрятал его в сокровищнице. Но шаха вскоре зарезали, а камень присвоил французский гренадер, утопивший его в кровоточащей ране на бедре. Что случилось с гренадером потом, история умалчивает. Скорее всего, он остался на всю жизнь хромым, если, конечно, не угодил в тюрьму или того хуже — на виселицу. Алмаз же с тех пор пошел по рукам, пока не достался одному из фаворитов Екатерины Второй.

Как поразительно судьба этого камня напоминает нашу невыдуманную историю. И разве не о том же толкует древняя легенда о камне желаний? Высеченная на стелле у ворот карликового гималайского королевства Мустанг, она напоминает о простой истине: жизнь и радость, достоинство и покой еще никому не удалось купить за деньги. Массивная диоритовая стелла покоится на панцире исполинской каменной черепахи, которая является символом не только долголетия, но и мудрости.

Глава десятая

ПОЛЬЗА СОМНЕНИЯ

Люсин догадывался, что человеческой жизнью управляет таинственный «закон тельняшки», согласно которому светлые полосы чередуются с темными. Похоже было, что наступала как раз такая грустная полоса. Неприятности начались с самого утра. Первонаперво едва не сгорела электробритва, которую кто-то, не иначе домовой, поскольку сам Люсин этого не делал, переключил на 127 вольт. Пока он, морщась от едкого чада перегретой смазки, возился с бритвой, сбежал кофе. Печальное это происшествие не только существенно обогатило набор запахов, но, что гораздо хуже, оставило Люсина без завтрака: сварить новую порцию не позволяло время, а есть всухомятку черствый хлеб с запотевшим сыром не хотелось. Но за мелкими неурядицами быта он еще не усмотрел злобную стрелу Аримана, темное облачко на безмятежном жизненном горизонте. Даже когда позвонил Березовский и в обтекаемых выражениях сообщил о своей встрече с Марией, Люсин не понял, что вступает в полосу неудач. Лишь немного спустя, блуждая по

квартире в поисках невесть куда запропастившегося служебного удостоверения, он восстановил в памяти все интонации разговора и встревожился. Стало ему тоскливо и смутно.

Разумеется, Юрка не упрекал и не требовал объяснений, но за явно продуманными, точно взвешенными словами его ощущалась горечь. Словно он был поражен в самое сердце, подавлен, разочарован. Они договорились тогда встретиться и во всем хорошенько разобраться. Но потом, припоминая, как все было, Люсин почувствовал, что Березовский уже составил законченное мнение. И это было обиднее всего...

На работе, куда Люсин добрался с некоторым опозданием, цепь злоключений не прервалась. Позвонил Дед и выдал ему очередной разнос. Сначала Люсин даже не мог понять, в чем дело. Мысли его были где-то далеко-далеко...

— Ты почему это выгораживаешь поджигателей? — с ходу ошарашил его генерал. — Почему суешься куда не следует?

— Не понял, — машинально ответил Люсин, но сразу же спохватился и забеспокоился, что Дед может обидеться. — О каких поджигателях речь, Григорий Степанович? — кротко осведомился он.

— Не строй из себя... невинность, Люсин! — окончательно рассердился генерал. — На каком основании ты вмешиваешься? Мне только что звонили пожарники!

— Вон оно что! — Люсин сообразил, откуда дует ветер. — Не вмешивался я, Григорий Степанович, в их дела! Просто случилось так, что интересы пересеклись. Зализняк и Потапов, которых они подозревают в поджоге, проходят по делу Ковского...

— Вот и занимайся им! — в сердцах оборвал его генерал. — А решать, кто мог поджечь торф, а кто нет, предоставь другим. Понял?.. Усвоили, Владимир Константинович?

— Никак нет, — внутренне закипая, сквозь зубы процедил Люсин. — Позвольте, товарищ генерал, объяснить.

— Слушаю вас.

— В ходе проверки всех обстоятельств, при которых Зализняк и Потапов похитили, а затем утопили в озере труп, мне пришлось волей-неволей заняться и этим пожаром. Мы опросили десятки свидетелей, говорили с метеорологами, работниками торфопредприятия, с теми же товарищами из пожарной охраны. Так что мнение, которое я высказал, взято не с потолка. Торфяник, вне всяких сомнений, загорелся почти одновременно в нескольких местах. От костра же, который развели Зализняк и Потапов, как максимум могло вспыхнуть только второе поле. Они далеко не ангелы, но незачем валить на них чужие грехи.

— Это все?

— В общих чертах... Могу лишь добавить, что почти в одно время с пожаром на Классоне загорелось и на болоте Васильевский мох. Выходит, и тут наши прохиндеи постарались? Абсурд же так думать, Григорий Степанович. Просто совпали самые разнородные обстоятельства... Специалисты говорят, что подобное наблюдалось

только при Иване Грозном. Тогда тоже в одночасье воспламенились болота вокруг Москвы.

— Теперь я окончательно убежден в том, что жалоба на ваши неправильные действия вполне обоснованна, — отчеканил генерал. — Прошу, Владимир Константинович, в оперативную работу пожарников впредь не вмешиваться.

— Слушаюсь! — отчужденно сказал Люсин после долгой паузы. — Я все понял.

— Говори яснее. Чего ты еще хочешь?.. Иван Грозный, видите ли!

— Мне трудно будет согласиться с тем, что людей, предположительно виновных в непредумышленном поджоге, обвиняют в куда более серьезном преступлении. Может, и это меня не касается, товарищ генерал?

— Кому ты втираешь очки? Я ли тебя не знаю? Ведь одно дело высказать и даже отстаивать свое мнение, другое — предпринимать самостоятельные действия, на которые тебя никто не уполномочил. Разница есть? Согласен?

— Виноват, товарищ генерал. Возможно, я действительно слишком рьяно отстаивал свою правоту и где-то даже переборщил, но ведь речь-то идет о судьбах людей.

— Знаю я этих людей... Клейма поставить негде.

— Принципиально...

— Да-да, объясни мне, пожалуйста, этот свой принцип! По-человечески объясни. Ты же далеко не всегда такой щепетильный, такой правдоискатель. В чем тут дело?

— Ей-богу, ни в чем, Григорий Степанович! — взмолился Люсин. — Просто они такие дураки, эти Потапов и Зализняк, что руки опускаются! Если разрешите, я сейчас зайду и покажу вам...

— Не надо, — холодно остановил его генерал. — У тебя работы много. И вообще попридержи эмоции. Не нужно эмоций. Излагай факты лучше. А главное, ограничь свои розыскные действия порученным делом. Оно у тебя и без того многогранным получается. И физики и лирики, Иван Грозный! Эрудит нашелся... Я еще вот что хотел сказать. В порядке совета. Добиваясь нужных показаний, не стремись выдавать авансы. Это я так, на всякий случай.

Люсин вздохнул и медленно опустил трубку. Что он мог возразить? Дед отколошматил его по всем статьям. Оставалось только терпеть...

Люсин привык к тому, что в разговоре генерал то и дело меняет интонацию, переходя с дружески-доверительного тона на официальный или ворчливо-назидательный. Этим он подчеркивал свое личное отношение к обсуждаемому предмету, избегая, однако, прямых оценок, которые казались ему грубым администрированием. Каждый, в конце концов, был волен понимать его по-своему. Он не закрывал глаза на то, что нехитрый голосовой код, равно как и переходы в обращении с «вы» на «ты», всеми в отделе воспринимались совершенно однозначно. Но даже ясно выраженное мнение

начальства — все-таки мнение, а не приказ. По крайней мере, его позволялось обсуждать. Зато когда Григорий Степанович ровным будничным тоном говорил, что надо сделать то-то и то-то, оставалось только одно: исполнять. Молчаливо подразумевалось, что никто не подозревает о наивных хитростях генерала. И только Люсин с его стихийной склонностью к подражанию платил начальству той же монетой. Он не только подчеркнуто не скрывал того, что генерал называл эмоциями, но чутко реагировал на все интонационные нюансы и в известную минуту даже переходил на «ты». Сначала Григорий Степанович посчитал его нахалом, потом «штукарем-обезьянником», но в конце концов привык и смирился. Впрочем, смирился ли? Люсин подумал, что Деду, помимо всего прочего, еще и чисто по-человечески было очень приятно вот так, культурненько, его отшлепать. А что делать? Заслуженно, и не придерешься. Люсин совсем было пригорюнился, но в кабинет лениво вошел Крелин, и сразу же стало ясно, что обозначилась светлая полоса.

— Вот и все, миленький. — Он небрежно бросил на стол свернутый в трубку листок. — Гамма-спектры волос идентичны.

— Абсолютно? — Люсин нетерпеливо развернул миллиметровку с графиками. — Ху ис ху?[1]

— И неукоснительно. — Крелин обвел верхний спектр пальцем. — Это волос, найденный на трупе, а это...

— Другой! — добавил Люсин. — Действительно, очень похоже... Можно даже сказать, копия.

— По ординате отложена интенсивность гамма-излучения, — принялся объяснять Крелин. — По абсциссе — энергия в мегаэлектронвольтах. Положение пиков на спектрах характеризует, какие химические элементы присутствуют в пробе. Процентное их содержание определяется высотой пика. Видишь, какие четкие зубцы? Что твои Гималаи.

— Угу, мощный, видно, поток нейтронов. Облучали в атомном реакторе?

— А как же! На том стоим, — с гордостью ответил Крелин. — Теперь все пробы будем облучать только так. Нам и часы выделили.

— Отменно... Ну, поздравляю, Яша! Твоя заслуга... А скажи, Наполеона действительно англичане мышьяком отравили?

— Подчитал, значит, литературу по активации? — усмехнулся Крелин. — Не знаю, как насчет англичан, но, судя по тому, что в волосах у Наполеона оказалось в тринадцать раз больше мышьяка, чем положено, его действительно отравили. Сомнений нет... Больше того, неравномерное распределение элемента по длине волоса свидетельствует о том, что яд давался постоянно в течение последних месяцев жизни.

— Значит, англичане! — убежденно заключил Люсин. — Кто же еще?

---

[1] Кто есть кто? *(англ.)*

— Монталон, который должен был наследовать Бонапарту.

— Веские доводы, Яша, ничего не скажешь... И кто их приводит?

— Англичане.

— То-то и оно! А знаешь, я с детства был влюблен в Наполеона. Даже Андрей Болконский мне нравился потому, что преклонялся перед ним.

— Вначале. Потом он, кажется, разочаровался.

— Я вижу здесь явный авторский произвол. Толстой не благоволил и Бонапарту... К Шекспиру, кстати сказать, тоже.

— Мы с тобой такие интеллектуалы, Володя, что самое время теперь поговорить о кошмарной судьбе Эрика Четырнадцатого.

— Кто такой? Почему не знаю?

— Шведский король, которого сверг с престола братик.

— Проходит по нашему делу? — К Люсину понемногу возвращалось хорошее настроение. — Тоже волосики?

— Они самые. Шведы недавно провели активационный анализ.

— Опять арсеникум?

— Нет, мышьяк оказался в норме. Зато ртути больше, чем надо.

— Бедный король! — посочувствовал Люсин. — У него должны были выкрошиться зубы. — Он разгладил свернувшуюся миллиметровку. — Но вернемся к нашим баранам. Какие тут у тебя пики?.. Ага! Германий, хром, бром, в самом конце натрий, а тут аурум — сто девяносто восемь. В волосах и золото есть?

— Довольно много, а рядом, — Крелин указал на небольшой пик, — медь. В обоих случаях процентное содержание элементов одинаково. В пределах погрешности измерений, само собой... Смело можешь добиваться постановления об аресте. Волос на горле жертвы — убийственная улика.

— Жертвы? Смерть наступила в результате инфаркта, — напомнил Люсин.

— Требуй повторную экспертизу. Кстати, надо будет провести анализ волос Ковского на яд...

— Делай как знаешь, Яша. Тут я даю тебе карт-бланш. Но с арестом спешить все же не будем. Никогда не поздно.

— Пальчики ты у этого субчика взял? Это его сигаретка там, у калитки?

— Видимо, его. — Люсин мимолетно вспомнил о предстоящей встрече с Юркой. — Я даже уверен, что его! Ответ из лаборатории будет завтра.

— А что это за цирк с помадой? Что-нибудь прояснилось?

— Яснее ясного, — буркнул Люсин. — Только непосредственно к делу не относится... И без того нет сомнений, что Сударевский был в тот день на даче. Да что толку? С достаточной уверенностью его можно обвинить пока только в лжесвидетельстве по статье сто восемьдесят первой.

— Для начала и то хорошо. Ему придется спешно менять показания, и ты неизбежно загонишь его в угол. Честное слово, Володя, есть реальный шанс быстро закончить дело. Не понимаю, зачем ты

медлишь. — Крелин постучал указательным пальцем по миллиметровке со спектрами: — У тебя на руках великолепный козырь.

— Знаю, Яша, спасибо тебе, но я все же повременю. Не сердись. И не надо давить на меня. Ладно? Есть одна важная деталь, которая заставляет действовать только наверняка. Иначе можно наломать таких дров...

— Я давить не буду, но Дед, того и гляди, предъявит тебе счет. Будь готов, по крайней мере. Мне он уже намекал, что мой шеф припас работенку. Пора возвращаться в свою стаю.

— Учту.

— Тебя что-то волнует, Володя? — Крелин участливо придвинулся. — Вскрылись новые обстоятельства?

— Волнует-то меня многое. На то и живем, чтобы волноваться... Ничего я тут не понимаю, Яша, и это, пожалуй, самое страшное. Если эксперты не ошибаются и Ковский действительно умер своей смертью, то откуда вся эта муть? Почему темнит Сударевский? Если здесь убийство, то кто убийца? Этот научный хорек? Сомнительно что-то... Наконец, стекольщики чертовы из ума не выходят! Действительно тут дикое, идиотское совпадение или нечто совсем иное, похуже? Ты веришь им?

— Не знаю, Володя... Глеб просил тебе передать, что был у Потапова в больнице, и тот в основном подтверждает показания Зализняка. Серьезных расхождений, во всяком случае, нет.

— Они могли обо всем договориться заранее.

— Могли, конечно... Сударевского по фотографии ни тот, ни другой не опознали.

— И это ни о чем не говорит. Мог иметь место предварительный сговор. — Люсин, не задумываясь, выбрасывал свои многократно отшлифованные в мозгу контрдоводы. На слух они показались ему даже более убедительными. — Сколько «за», столько и «против».

— Но где смысл, Володя? Где побудительная причина? Я могу задать тебе еще десяток вопросов... Что общего может быть у Сударевского с этим Стекольщиком? Как мог такой человек довериться уголовнику? Я о целесообразности говорю, не о моральной подоплеке... Наконец, с какой стати профессиональный домушник влипает в столь сомнительную историю?

— По дурости. Из-за корысти.

— Не видно пока корысти, миленький. Дурь — она прет, что верно, то верно, а вот корысть найти не могу... Это же надо такой балаган затеять! Протекторы на мотоциклете сменили, номер перекрасили. Хоть в криминалистический музей их «яву» передавай!

— Это мы теперь с тобой веселимся, Яша, — Люсии нашарил в ящике мундштучок, — а ты попробуй взглянуть на этот балаган с другой точки зрения. Ведь что там ни говори, а тело обнаружили совершенно случайно. Не будь пожара и не обмелей Топическое озеро, оно бы и по сей час там лежало. Хотел бы я тогда на нас с тобой посмотреть. Уверяю, нам было бы не до веселья. Теперь,

когда мы восстановили весь ход событий, мы чувствуем себя на коне. Удивляемся идиотизму стекольщиков, как в открытой книге читаем. Но не наткнись пожарники на труп, все предстало бы совершенно в ином свете. Идиотские поступки обернулись бы хитростью, изощренной предусмотрительностью. Скажи, нет?

— Скажу, — подумав, ответил Крелин. — Насчет трупа ты, видимо, прав, в остальном же — нет. На стекольщиков мы бы и так вышли. Ну еще день, другой, и они были бы, как говорится, у нас в кармане.

— Допустим. — Люсин вынужден был согласиться, и это его ободрило. — А дальше что? Представь себе, что они не раскололись. Шины новые, ботинки новые, свидетелей нет и трупа тоже нет. Даже группа крови, как назло, у Ковского и Зализняка совпадает. Картинка?

— Это несерьезно. — Крелин сделал вид, что зевает. — Такого просто не может быть. У нас в руках было вполне достаточно фактов, чтобы найти их и припереть к стене. В любом случае мы бы знали то, что знаем теперь. Просто пришлось бы затратить больше времени и сил.

— Логично. — Люсин довольно потер руки. — Если бы столь же убедительно можно было отвести и версию о предварительном сговоре с Сударевским!

— Не версию — всего лишь домысел, в лучшем случае — предположение.

— Мне тоже хочется так думать. Положа руку на сердце, ты веришь стекольщикам?

— Не знаю. — Крелин отрешенно уставился в потолок. — В общем, скорее да, чем нет.

— Почему?

— Тут чистая психология, и потому возможна ошибка... Все же мне кажется, что к смерти Ковского они не причастны. Объяснение, которое они дали своим поступкам, слишком неправдоподобно, чтобы оказаться ложью. Именно поэтому я склонен ему поверить.

— Парадокс.

— Неважно. Согласись, что люди все же стремятся придать лжи правдоподобный вид. Эти же намертво стоят на своем, невзирая на очевидную, чудовищно смехотворную нелогичность. Похоже, они действительно перепугались... На твоем месте я бы больше не думал о них. Сосредоточь лучше основное внимание на Сударевском. Чует мое сердце, у него найдется что рассказать.

— Ты забыл о «Мамонте».

— И «Мамонта» надо немедленно брать! Костров абсолютно прав. Я не понимаю, чего ты ждешь. На мой взгляд, ситуация дозрела и самое время предпринять решительные меры. Уверен, что эти двое помогут тебе разрешить все вопросы.

— Если только они знают друг друга, в чем я очень сомневаюсь.

— Почему?

— «Мамонт» ни разу не звонил Сударевскому.

— Но в лабораторию он звонил?

— И всегда спрашивал Аркадия Викторовича.

— Все равно вопрос остается открытым.

— К сожалению. Мы не должны поэтому игнорировать и возможную причастность Ковского к операциям в гранильной мастерской. В этом случае вся история предстает перед нами в совершенно ином свете. Я не считаю, что ситуация дозрела. И если «Мамонта» еще можно прощупать ввиду его несомненной причастности к фокусам с камешками, то Сударевского пока лучше оставить в покое. Волоски, конечно, сильный козырь, но для хорошего покера этого маловато.

— Ты допускаешь все-таки, что Ковский принимал участие в алмазном бизнесе?

— А куда от фактов денешься, товарищ дорогой? Превращать обычные алмазы в оптические мог только он один. И «Мамонта» опять же со счетов не скинешь. Фигура достаточно одиозная... Другое дело, насколько тут замешана корыстная заинтересованность. На этот вопрос нам еще предстоит ответить... Вот какие наши дела, Яша.

— Что я могу тебе сказать? В целом позиции у тебя железные. Есть уязвимые места, не без того, конечно, но архитектоника расследования, его логический каркас выглядят безупречно. Можешь стоять на своем. К советам прислушивайся, но давить на себя не позволяй.

— Я рад, Яша, что ты так считаешь. По-настоящему рад, без дураков.

— Что ты собираешься предпринять дальше?

— Если бы я знал! — Люсин аккуратно сложил и спрятал в папку листок со спектрами. — Тут ты действительно попал в самое больное место. Надо, надо что-то такое делать, чувствую... Только что именно? Не скрою, я очень ждал твои анализы. Очень! Но теперь вижу: они ничего не прояснили. Скорее, усложнили мое положение. Это действительно большой козырь, но тем страшнее, Яша, преждевременно выбросить его на стол. С другой стороны, и опоздать не хочется. Боюсь, что сотворю непоправимую глупость, продешевить опасаюсь.

— Не знаю, что тебе и посоветовать.

— Э, нет, милый человек, ты уж меня не покидай. Мысли, Яков, шевели мозгами! Того и гляди, объявится Костров, и, хочешь не хочешь, придется действовать.

— Чего же лучше? Если ты не решаешься ускорить течение событий, пусть это сделает он. А там поглядим.

— Легко сказать! Когда события начнут управлять нами, только и глядеть останется. Сделать все равно ничего не сможем. Поздно... Не готов я отдать ему Мирзоева, хоть режь! А отдавать придется. Уговор дороже казанков.

— Попробуй его убедить.

— Как? Кроме твоих гамма-спектров, ничего у меня за эти дни не прибавилось.

— Так уж и ничего? Твои позиции показались мне довольно крепкими.

— У него своя задача! Если только я не сумею обосновать, что арест Мирзоева способен существенно осложнить обстановку, он пошлет меня куда подалее и будет прав.

— Конечно. Несравненно легче доказать, что «Мамонта» как раз, напротив, надо брать. И притом незамедлительно.

— Хорошо тебе рассуждать...

— Хотел бы я встретить человека, который мне позавидует. Мне всегда хорошо, — не стал спорить Крелии. — Оттого я никому не завидую. Неужели ты так ничего и не сделал за все три дня? Никогда не поверю.

— Представь себе.

— Скажи откровенно, Володя, чего ты ждешь? На что надеешься?

— Только тебе, Яша, потому что другие меня обсмеют. Все эти дни я ложусь спать и встаю утром с ощущением, что должно случиться нечто такое... Не знаю, как тебе объяснить. Это не предчувствие и не предвидение, а именно ощущение. Понимаешь? Хотя проистекает оно не столько от подсознания, сколько из трезвой оценки положения. Обязательно должно что-то случиться!

— «Картинка» возникла? — Крелин понимающе ухмыльнулся. — Так и говори. Давай займемся психоанализом.

— Нет, не «картинка». Здесь другое... Во-первых, я совершенно трезво отдаю себе отчет в том, что не идти вперед — значит идти назад. Нон прогрэди эст рэгреди, как говорится. Я бы и шел себе, если бы только знал куда. Во-вторых, и, пожалуй, это главное, мы слишком крепко обложили Сударевского, чтобы ничего не произошло. Он слишком умный человек, чтобы не видеть, как медленно и неумолимо смыкается кольцо. Конечно же, он все видит и очень нервничает. Как ты думаешь, может в таких обстоятельствах человек решиться на какой-нибудь смелый или даже отчаянный шаг?

— Ты точно знаешь, что он нервничает?

— Будь уверен! Еще как нервничает!

— Но что он может предпринять?

— Понятия не имею. Но я не я буду, если он не попытается перепрыгнуть через флажки. В том, что время работает не на него, он уже убедился. Я ему в этом немножко помог...

— Поймал на слове?

— Не только...

— Ты уверен, что события начнутся именно на этом фронте?

— Ни в чем я не уверен. — Люсин рассеянно покачал головой. — Но думаю, что первым не выдержит именно Сударевский. Оттого мне так и не хочется трогать «Мамонта». Он же ничего еще толком не знает! Возможно, тоже нервничает, догадывается о чем-то... Но то, что уже вовсю идет облава, он вряд ли понимает.

— Намекни.

— Как?

— Можно разрешить публикацию о смерти Ковского.

— Я не уверен, что он читает «Вечерку».

— Тогда пусть Людмила Викторовна скажет, как только он позвонит. Право, это будет не так плохо. Костров может пойти на подобный эксперимент.

— Поздно. Сударевский все равно его опередит. Вот уж кто созрел так созрел.

— Тебе виднее. Но мне кажется, что именно в таких обстоятельствах будет лучше, если «Мамонтом» займется Костров.

Люсин хотел возразить, но его отвлек телефонный звонок.

— Вот и Костров, — пробормотал он, снимая трубку. — Легок на помине... Люсин слушает!

— Приветствую вас, Владимир Константинович! — послышался в трубке низкий голос. — Полковник Дориков беспокоит.

— Ага! Добрый день! — обрадовался старому знакомому Люсин. — Никак, сегодня ваше дежурство?

— Точно так, Владимир Константинович, и есть для вас новости. Сегодня ночью при попытке ограбления квартиры Ковских задержан один... Интересуетесь?

— И еще как! Сейчас еду... При каких обстоятельствах взяли?

— Так у Ковских сигнализация, оказывается, была установлена. Опергруппа прибыла через семь минут. Из отделения нам только утром сообщили, так что извините за промедление. Пока разобрались...

— Понятно, Геннадий Карпович. Не имеет значения. Так он сейчас в отделении?

— Точно.

— Тогда я прямо туда. Огромное вам спасибо! За мной бутылка армянского.

— Что случилось? — осведомился Крелин, когда Люсин закончил разговор. — Кого взяли?

— Поехали, поехали! По дороге расскажу. — Люсин уже похлопывал себя по карманам в поисках ключей, которые преспокойно лежали на сейфе. — Задержан, понимаешь, один субчик, пытавшийся залезть в квартиру Ковских на улице Горького. И как это я упустил из виду такой вариант? — Он увидел наконец ключи и запер сейф. — Спасибо Людмиле Викторовне! Это она, конечно, предусмотрительная женщина, догадалась установить сигнализацию от воров...

— Ну и везучий ты, черт! — Крелин крепко хлопнул Люсина по спине. — Даже противно.

Глава одиннадцатая

НАСЛЕДНИК

Настало время полуденной молитвы салят аз-зухр. Так осквернит ли Мир-Джафар уста ложью? Нет, я скажу вам всю правду. Вы, конечно, думаете, что перед вами сидит отпетый бандит и мошенник, продувная бестия? Нет, неверно. Чего скрывать? Мир-Джафар Мирзоев был великий грешник. Но он умер, его уже нет, осталась лишь

бледная тень, одинокий, несчастный старик, которому негде приклонить голову. Что впереди у меня? Могила. Что у меня за плечами? Боюсь обернуться. Мне стыдно взглянуть назад. Я обижал и обманывал людей, себя самого обманул, когда поносил слово аллаха. Но, как сказано в Коране, «душа может веровать только по изволению бога». И еще: «Кто хочет, уверует; кто хочет, будет неверным» — восемнадцатая сура, двадцать восьмой стих. Это про меня. Я хотел заблуждаться и заблуждался, а потом опять уверовал. Теперь же мне надлежит очистить душу. За ошибки молодости я расплатился с лихвой. И готов держать ответ за новые грехи. В чем я опять виноват? Забрался в чужую квартиру? Но я там и нитки не взял! Мир-Джафар не вор, извините! Он пришел за своим, долг получить пришел. Меня про алмазы все спрашивают: где купил, кому продал? Так ведь купил же — не украл! Еще деды моих дедов собирали камни, отец собирал. Одни марки копят, другие — бутылки заграничные, третьи — золотые монеты. Что кому мило! Если Мирзоев коллекционирует алмазы, так он уже валютчик, бандит? Его надо в тюрьму? Алмаз, между прочим, символ благородства и чистоты...

Вы хотели знать обо мне все? Вы узнаете... Я так понимаю, судить надо с учетом личности человека, всей его жизни и чистосердечности раскаяния. Раскаяние, оно, как вера, опускается к нам с небес. Это устремленность души к вечным истинам, а потому я не чувствую страха, не боюсь. Чего бояться? Там, куда меня непременно пошлют, я уже был, за басмачество. Это не рай. Будь там гурии, они ходили бы в телогрейках. Но старый Мир-Джафар может помереть и там. Какая разница? Если же дадут немного и я увижу еще, как цветет урюк, спасибо.

Давайте же разберемся, кто такой Мир-Джафар, в чем его вина перед нашей страной, кого он обижал и кто его обидел. Для вас слово «басмач» — это синоним разбойника и убийцы. Не стану оспаривать. Но вы хоть однажды задумались над тем, как становились басмачами? Я знаю, что вину свою искупил и судить меня будут совсем за другое. Но дела людские записаны на тщательно охраняемой скрижали еще до начала мира. Из песни слова не выкинешь, а жизнь — песня, даже если это паскудная жизнь. Я был очень скромным, богобоязненным юношей и выбрал путь веры. Мне не исполнилось еще и пятнадцати лет, как я стал мюридом — послушником святого ишана. Что знаете вы, охотники за слабыми грешниками, о суфи — людях, выбравших плащи из белой шерсти?

Ничего вы не знаете. Никогда не понять вам, что значит для мюрида наставник! У каждого человека на этой земле есть наставник. У вас тоже есть, и не один, хоть вы большой человек. Но власть даже самого большого начальника над начальниками ничто в сравнении с властью Ишана над своими мюридами. Закон учит: послушник для ишана — только труп в руках обмывальщика. Нам говорили, что мир — всего лишь зеркало, в котором смутно мерещится иное бытие, лишь обманчивая видимость. И только старец — святой носитель таинственной власти, унаследованной от самого Му-

хаммеда, способен снять пелену с наших глаз. Мы повиновались, как бессловесные невольники. Если ишан говорил «убей» — убивали, «умри» — шли умирать. У нас не было ничего своего: душа принадлежала аллаху, тело — ишану. Вы хоть знаете, как выглядели дервиши? Рваный плащ, остроконечный колпак, посох да кокосовая чашка для подаяний. Босиком мы бродили по раскаленным и пыльным дорогам мусульманского мира. Ночевали в пустынях, где от холода жалуется и плачет под луной шакал. Пили мутную горькую воду солончаковых колодцев. Чашка плова и горсть фиников только снились нам. И, просыпаясь от стужи и голода, мы перебирали четки, шептали очистительную молитву. Но шли и шли по миру, которого нет, смиряя сердца, держа открытыми глаза и уши. Все, что видели и слышали, в урочный день доносили святому старцу. Он знал все тайны дворцов и хижин, знал, что творится за каждым дувалом, за высокой зубчатой стеной арка. И поэтому могущество старца, его тайная всеведущая власть были безграничны. О! Послушников-дервишей боялись и почитали. Когда мы входили в города, стража кланялась нам, а люди уступали дорогу на улицах. Мы шли по базару, и каждый спешил с подношением: кто с лепешкой, кто с дыней, кто с дымящейся пиалой. На дело веры жертвовали деньги: кто сколько мог. В наших чашах звенела не только медь. Но мы никого не благодарили. Оставляя пыльные следы босых ступней, топтали дорогие ковры, выставленные на продажу, порой опрокидывали корзину с персиками или блюдо с пирожками, если замешкавшийся торговец не успевал их убрать с нашего пути. И никто не смел жаловаться. Люди знали, что их мир для нас только иллюзия, и боялись страшного проклятия дервишей. Странники бога, мы покинули родные дома и пошли куда глаза глядят, не ведая иных занятий, кроме поста и молитв, одинаково равнодушно приемля огрызок сухой лепешки и сочащуюся медом пахлаву.

И вдруг все кончилось. Как лента в кино оборвалась. Мир вокруг нас действительно оказался подобным сну, потому что все вдруг зашаталось и стало разваливаться. И тогда ишаны сказали, что приходит лихая пора. В Бухаре установилась власть неверных-кяфиров, повсюду торжествует чернь. Мы узнали, что по всей России убивают уважаемых людей, расхищают чужое имущество, оскверняют мечети и даже самовольно делят землю, которая, по воле аллаха, переходит только от отца к сыну. Нам нечего было терять, нечего защищать. Мы были нищими. И если все мираж — дома, сады, хлопковые поля, облигации, — так надо ли удивляться, что он тает теперь, как утренний туман? Из ничего пришло, в никуда и уйдет. Так думали мы, но не так чувствовали. Живой человек все же не труп в руках обмывальщика, даже если он и стремится уподобиться трупу. У каждого из нас была своя семья, дом. Мы хоть и покинули их, но не забыли родимые кишлаки, землю, завещанную от дедов, улыбки близких. Они жили в наших сердцах даже в часы удивительных откровений, когда казалось, что аллах уносит тебя к себе. Пусть мы отреклись от мира, от дома, от радости и не было для нас иной реальности, кроме беспощад-

ной воли ишана, но мы ничего не забыли. И сердца наши наполнились гневом. Нас всегда учили смирять чувства. За приверженность к иллюзиям мира сажали на хлеб и воду в сырой, кишащий клопами подвал. А тут впервые наставник не сделал нам выговора, когда мы окружили его, глотая слезы. Он только сыпал соль на открытые раны. Мы узнали, что разгоняют медресе, где учат понимать слово аллаха, и закрывают ханаки — приют странствующих дервишей. И впрямь наступало царство иблиса.

«Вы тоже не сможете жить по-прежнему! — сурово, как сейчас помню, сказал ишан. — Объявлен новый закон: «Кто не работает, тот не ест». Все слышали? Все поняли? «Кто не работает, тот не ест»! Каждый из вас должен будет взять кетмень и отправиться обрабатывать отнятую у отцов землю. Только тогда вас будут кормить. Но вы потеряете благодать суфи, поскольку не сможете выполнять предписанные правила, у вас не будет даже времени на молитву. От восхода и до заката будете гнуть спину на полях, где каждый ком земли солон от пота дедов. Только тогда вы заслужите у новой власти право на хлеб. Аллах наделил этим естественным правом всякую живую тварь, последнюю собаку, которая живет на мазаре, а вам его придется теперь заработать. Чтобы не подохнуть с голоду, станете работать на того, кто у аллаха отнял мечети, отобрал у мужей жен, кто грабит и убивает».

«Лучше и впрямь подохнуть с голоду!» — в один голос крикнули мы. «Благочестивы те, которые веруют в бога в последний день», — сложив руки, напомнил нам священные слова ишан Барат-Гиш. — Шариат запрещает самоубийство. Пусть лучше сгинут неверные, будет священная война, и вы встанете под зеленое знамя. Павших унесет в сады аллаха крылатый Джебраил, уцелевшим наградой будет вновь обретенный путь суфи, выше, непостижимее которого нет ничего. И все вы навеки останетесь в памяти народа, избавители от позора, посланцы священной воли».

Так очутился я в банде Ибрагим-бека, да будет проклято имя его. Страшный, жестокий был человек! Но очень богобоязненный. Старцев почитал, прислушивался к советам богословов. Недаром при нем постоянно находились домулла Дана-хан, святые ишаны Сулейман-судур, Иса-хан и потомок пророка Султан. От одного взгляда Ибрагим-бека у людей поджилки тряслись, он собственноручно рубил головы и выкалывал глаза, но перед ишанами благоговел и становился кротким, словно овечка. Как и для всех нас, они были для него простого мюрида, «пирами» — духовными отцами и покровителями. В знак особого благоволения пиры изготовили несколько талисманов, которые должны были уберечь Ибрагим-бека от вражеской пули. Сам бухарский эмир Сеид Алим-хан прислал ему охранный камень, а ишан Султан отдал собственный талисман, считавшийся в мусульманском мире особенно чудотворным. И этот подарок Султана — изречение из Корана, написанное самим пигимбаром, потомком пророка, курбаши ценил превыше всего. Он зашил его вместе с камнем эмира, дарующим долголетие, в кожаный мешочек и повесил се-

бе на шею. До последнего дня свято верил Ибрагим-бек в необоримую силу своих талисманов, до последней минуты надеялся, что они вызволят его из беды. Справедливости ради надо сказать, что, когда его арестовали и повезли на суд в Ташкент, кожаного мешочка при нем уже не было. Как знать, может быть, именно он и сохранил жизнь другому мюриду святого ишана Султана из Дарваза, то есть мне? Но нет, спасением я обязан самому себе и справедливости судьи. Народный суд, приговоривший Ибрагим-бека к высшей мере, учел, что Мир-Джафар никого не резал, не пытал, а если когда и угонял через границу колхозные табуны, то делал это не по своей воле. И мне, который был с Ибрагим-беком с того самого дня, когда в кишлаке Кара-камар курбаши поклялся под знаменем эмира быть беспощадным, присудили тогда всего пять лет. Спасибо. Отсидел только три. За это тоже спасибо. Обязательно надо принимать во внимание личность подсудимого, его биографию...

Вспоминаю клятву Ибрагим-бека. «Вы провозгласили меня командующим войсками ислама, — обратился он к посланцам эмира, ишанам и баям. — Как наместник эмира, обещаю вам воевать с большевиками до полной победы. Все противники моей армии должны быть уничтожены, а их имущество конфисковано». Он поцеловал край знамени, и пиры тут же произвели ревайят, утвердили его.

Короче говоря, объявили все планы и намерения курбаши полностью согласными с кораном и шариатом. Так началась священная война, газават, против русских и кяфиров — большевиков. Но мы, скромные дервиши, служители истины, с горечью убедились, что прежде всего курбаши начал воевать с народом. Ремесленников, купцов и дехкан обложили непосильным налогом. Забирали все: скот, зерно, шкурки, мату на халаты, даже домашнюю утварь. Деньги взимали с каждой глинобитной кибитки. Последний бедняк должен был выложить от десяти до шестидесяти таньга. Если денег не находилось, забирали все, что было в доме, даже старую кошму. Оставались одни голые стены. Во имя священной войны курбаши готов был разорить единоверцев. А что он мог сделать? В то время за револьвер просили целых пятьсот таньга! В десять раз дороже хорошей овцы! А курбаши требовалось видимо-невидимо всякого оружия, амуниции, боеприпасов. Вот он и свирепствовал, драл с живого и с мертвого, чтобы только купить у англичан побольше пулеметов и одиннадцатизарядных винтовок. Инглиз-аскеры хоть и тоже не любили большевиков, но денежки считать умели: бесплатно ничего не давали. За каждую винтовку приходилось платить. Поэтому обирали всех: и богатых и бедных. Но страшнее всего было не это. Все-таки кошелек — не жизнь, хоть многим он и дороже жизни. Не только мы, мюриды, но и святые старцы поддавались иллюзорным соблазнам мира. Некоторые пошли нехорошим, кровавым путем. Даже прямой потомок Мухаммеда пигимбар Султан собрал отряд в шестьсот сабель и сам сделался курбаши! Виданное ли дело? Очень скверно. Тогда я впервые усомнился в святости старцев и в разумности правопорядка на земле и на небесах. Но на открытый

бунт не решился. Мы хорошо знали, как расправляется Ибрагим-бек с вероотступниками! Муллу Алимухаммеда из кишлака в Гиссарской долине убили только за то, что он осмелился назвать кровопролитие не угодной аллаху затеей. Ему содрали кожу с лица и отрезали язык, а после уже изрубили саблями. Я тогда же решил бежать из армии Ибрагим-бека. Да только куда? Кяфиров-большевиков, о которых рассказывали столько ужасов, я страшился, инглезам же был просто не нужен. Так и мыкался несчастный дервиш... Потом, когда все осталось позади и я, отбыв положенный срок, стал полноправным советским человеком, мой рассказ об этих незабываемых днях поместили в республиканской газете. Я и сам не заметил, как стал наставником молодежи. Мои воспоминания о жестоком Ибрагим-беке, о забывших бога ишанах, о преступлениях басмачей помогали людям строить новую жизнь. А уж Мир-Джафар полюбил эту жизнь всем израненным сердцем! Возненавидев прошлое, я проклял нечестивых служителей аллаха — раболепных прислужников баев, угнетателей трудового народа. Мои скромные заслуги высоко оценила новая власть, и я — подумать только! — стал заместителем директора краеведческого музея по антирелигиозной пропаганде!

Хорошо-хорошо! Все понимаю! Вы хотите больше узнать о последних годах моей жизни, о прискорбном стечении обстоятельств, которые привели меня в чужую квартиру. Я ничего не утаю. Мне стыдно, что люди могут принять меня за вора! Мир-Джафар за всю жизнь только однажды украл. Об этом вам надо знать. Все связано в человеческой жизни. Коран повелевает отсекать вору кисть руки. Я стал вором. Отныне имя мне было «сарик». Лучше бы мне отсекли тогда руку! Тот памятный случай, хотя и взял я вещь, принадлежащую моим дедам, повлек за собой последний, неправильный мой поступок. Люди малодушны, говорит пророк, слабы, торопливы. Я поторопился...

Однажды во время боя с пограничниками Ибрагим-бек чуть не погиб. Пуля ударила его в грудь. Он пошатнулся и, побледнев, зажал рану. Я ехал с ним стремя в стремя и все видел. Пригнувшись к луке, он дал коню шпоры и повернул назад. Мы отступили за кордон, даже не подобрав раненых, не взяв убитых, чтобы похоронить их согласно обряду. Ибрагим-бек скакал впереди всех, не отнимая руки от простреленного халата. Сзади стучал пулемет, нестройно трещали винтовочные выстрелы. Я не смотрел по сторонам, но слышал, как на всем скаку падали наши люди и лошади некоторое время волочили их по гремящему щебню. Ибрагим-бек остановился только за перевалом. Выпрямившись в седле, он медленно отнял от груди руку и широко растопырил пальцы. Крови не было. «Аллах акбар!» — прошептал курбаши и полез за пазуху. Оказалось, что ружейная пуля, которая, видимо, была на излете, застряла в кожаном мешочке с камнем и талисманом. Ибрагим-бек вытащил ее зубами и, засмеявшись, подкинул на ладони. «Велик аллах!» — вновь прошептал он и слез с коня, чтобы вознести салят альхаджа — молитву об исполнении желаний. Ему расстелили ков-

рик, и, благоговейно поцеловав мешочек, он опустился на колени. Не знаю, молился ли когда-нибудь этот ревностный в вере человек более горячо! Все мы попадали на колени, чтобы возблагодарить аллаха за явленное нам доказательство благоволения неба. И вновь был дан знак свыше, только понять его мог один Мир-Джафар. Склоняясь до земли, я случайно заметил, как в порыве благоговейного трепета Ибрагим-бек выпустил зажатый в руке мешочек и схватил четки. Из черной, пробитой пулей дыры, выкатилась сверкающая, как искра жгучая, капля и застыла, переливаясь на солнце. Казалось, что камень прожжет ковер. Мне ли было не узнать этот камень, хотя я никогда не видел его? Несравненный, единственный в мире Нар-Хамр, или камень огня и вина, лежал от меня на расстоянии вытянутой руки. Когда великий завоеватель Тимур-Хромой залил кровью и предал огню побежденную страну, моего пращура, несравненного мастера Свами, вместе с другими искусными умельцами Тимур, мир праху его, забрал к себе в Самарканд. Во имя славы и процветания своей столицы, ставшей первым городом мира, он, не щадивший даже грудных младенцев, оставлял жизнь ремесленникам. Так уста[1] Свами в толпе невольников был уведен на чужбину. Вскоре он сделался признанным ювелиром, любимцем первой жены Тимура, китайской царевны Биби-ханым, и уже как свободный человек правоверный Самид дал жизнь нашему роду. Чудесный камень огня и вина, дарующий мудрость и долголетие, который он унес с собой на чужбину, достался, когда аллах взял Самида в свой сад, его старшему сыну. Так переходил он от старшего в роде к наследнику дома и состояния, пока прадед последнего из бухарских эмиров не заточил моего деда в зиджан — тюрьму без света, где узников грызли по ночам страшные крысы. Мой прадед Худайберген, да покоится он с миром, больше жизни любил сына и отдал чудесный камень хану в обмен на жизнь первенца. Расставшись с алмазом огня и вина, Худайберген забросил ювелирное дело и стал торговать самоцветами. С той поры камень хранился у ханов, а мы сделались купцами. Мой отец был купцом и мой старший брат, да будут благословенны их имена, тоже продавал камни. Так суждено мне было встретить и в ту же минуту узнать чудесную реликвию, память о которой бережно хранили мои предки. Видно, очень крепко надеялся свергнутый с престола Сеид Алим-хан на армию Ибрагим-бека, если отдал ему такую драгоценность! А может, эмир даже и не знал настоящей цены доставшегося ему сокровища. Отец, помню, рассказывал, что в юности Алим-хан чуть не проиграл наш камень в карты князю Юсупову, с которым учился в пажеском корпусе...

Я не успел ни подумать, ни оглянуться, как моя рука, словно быстрая, как молния, стрела-змея, метнулась к камню. Я зажал его в горячий и потный кулак и, обессилев, распростерся на коврике. Если кто и смотрел на нас со стороны, наверно, подумал, что я изнемог в

[1] Уста — мастер.

благочестивом рвении. Мое сердце билось у горла и срывалось к ногам. Я чувствовал, что умираю. Все во мне окаменело, как высохшая на солнце глина. Не помню, как и сумел разжать кулак и схватить камень губами. Как смог совершить итидаль — выпрямиться после молитвенного поклона и встать. Скатав коврики, мы тронулись дальше зализывать раны. Собирать силы для нового набега. Я старался не попадаться на глаза Ибрагим-беку. Но он в тот день не хватился пропажи. Лишь на следующее утро, собираясь зашить мешочек, курбаши обнаружил, что камень пропал. Впервые увидел я, что этот демон в человеческом облике плачет. Он рыдал, как женщина, ползал по земле и разрывал на себе одежды. Он катался и выл, как раненый барс, до крови когтя свои щеки и лоб. Перепуганные ишаны не знали, что и делать. Султан, подаривший курбаши свой талисман с шахадой: «Нет божества, кроме аллаха», первым нашелся, что надо делать. Когда Ибрагим-бек подполз и стал целовать ему ноги, ишан пнул его, как последнего пса. «Встань, неверный! — повелительно крикнул Султан. — Перестань выть, сын греха!» Курбаши покорно поднялся и, дрожа, как ивовый лист, принялся жаловаться. «Теперь я беззащитен! — причитал он. — Паду от первой же пули в первом бою». — «Дурак! — презрительно усмехнулся Султан. — Тебя спас не камень, а священная шахада пророка. Пока она с тобой, ни один волос не упадет с твоей головы! А камень долголетия, фасик[1], чтоб ты знал, волшебный. Он не терпит соприкосновения с металлом. Как только его коснулась пуля, он испарился и улетел в пустыню. Теперь им владеют джинны черных песков, где он и пребудет до скончания мира. Но все благие свойства его перешли теперь к пуле, которая оказалась бессильной тебя поразить. Зашей ее вместе с шахадой и ничего не бойся, победитель неверных, ты неуязвим». И когда Султан увидел, что курбаши ожил от его слов и пришел в себя, заговорил с ним, как всегда, уважительно и мягко: «А теперь, сын мой, соверши омовение и покажись армии. Пусть все увидят, что гроза нечестивых большевиков цел и невредим».

Вот при каких обстоятельствах вернулся ко мне наш замечательный камень. Поистине я усмотрел в том волю неба...

Как был пленен Ибрагим-бек, вы, наверное, знаете, а если нет, вам это не интересно. Он давно мертв, и память о нем развеялась. Таков удел людской. Могущественные и слабые, богатые и бедные, добрые и злые — все мы уходим в первозданную глину, из которой аллах вылепил первого человека. Но пока живешь, все на что-то надеешься, цепляешься за вещи, имя которым тлен. Зачем я взял тогда этот камень?.. Но так или иначе, он остался со мной. Мне удалось пронести его через все невзгоды и превратности жизни. Отбыв наказание, я вернулся в родные края и тихо зажил, творя по мере сил добро. Рассказывал пытливым и юным о проклятом прошлом, раскрывал глаза заблуждающимся на религиозный дурман. В исправдоме я научился русской грамоте и даже стал понемногу пописывать.

[1] Фасик — нечестивый.

Когда же начал работать в краеведческом музее, то мои заметки уже печатались в газетах, а редакция журнала «Безбожник» признала меня своим селькором. Да-да! Уважаемым человеком стал бывший мюрид Мир-Джафар! Все было бы хорошо, если бы не постоянно гложущая забота о камне. Она не давала мне покоя ни днем, ни ночью. Очень хотелось проверить, тот ли это самый Нар-Хамр. Наш ли родовой это алмаз? Все-таки окончательной уверенности у меня не было, я сомневался! Легко сказать — проверить, а как? Мои деды превратились в глину, и у кого мне было спросить? И все же способ определить подлинность алмаза существовал. В семейном предании о камне рассказывалось и о волшебной траве, которая называется «хом». Она растет высоко в горах, и найти ее очень трудно. Помню, еще дед говорил, что только однажды встретил хом на вершинах Памиро-Алая. Он искал ее по всему свету. Объездил всю Индию, побывал в Персии и в Китае, а нашел почти у себя под боком, в заповедном месте Семи Озер. Могу более подробно объяснить, где находится это место. Есть такая стремительная река Шинг. Она течет с горных вершин, на которых лежит никогда не тающий лед. Более чистой воды нет нигде в мире. Только одно озеро из семи братьев может сравниться прозрачностью с горной рекой, течение которой уносит даже большие камни. Старики говорят, что поэты различают в водах Шинга восемь оттенков синего цвета — от зеленоватой монгольской бирюзы до бадахшанского лазурита, синее которого ничего не может быть. Но Синее, или Второе, озеро — оно называется еще и так, потому что выше в горах есть Первое, с красной, как кровь, водой, — много богаче. Зоркий глаз найдет в нем семнадцать синих тонов, неуловимо перетекающих один в другой, как лоск на хвосте павлина. Оно глубоко, но так прозрачно, что даже мельчайшая крупинка песка и та видна. Но это мертвое озеро. В нем не заводится рыба и не растет водяная трава. Птицы не садятся на его берега, не приходят на водопой звери. Никто не раскладывал возле Синего озера молитвенный коврик, потому что идет о нем худая слава. Рассказывают, что все, кто пытались искупаться в его ледяной воде, вскорости умирали от непонятной болезни. В горном кишлаке, который, как и река, именуется Шинг, любой мальчишка покажет дорогу к озерам. Она начинается у отвесной скалы, розовой на восходе и фиолетовой, как аметист, в часы молитвы заката, и круто уходит вверх. Надо пройти мимо шести озер. На полпути между Синим и Красным откроется щебенистая осыпь и зубчатая гряда наверху, за которой начинается спуск в ущелье, заваленное серыми окатанными глыбами. Там в укромных расщелинах, где среди пятен лишайника можно найти черное мумие исцеляющее сорок девять болезней, и растет трава хом. Узнать ее очень легко: стоит сломать ветку, как она заплачет кровавым молоком.

Мир-Джафар ничего не утаит. Расскажу все, что знаю! Вот какой человек Мир-Джафар. Его понимать надо. Никакой суд не может заставить меня открыть семейную тайну. Я делаю это совершенно добровольно. Навстречу иду... Но и меня понять надо. Мне

тоже навстречу надо пойти. Зачем все эти разговоры: купил-продал, в квартиру залез? Какое они имеют отношение? Никакого! Нет-нет, я все объясню: и как в квартире оказался, и какие камни для научных опытов приносил. И о мастере Попове из гранильного цеха тоже могу рассказать. Пожалуйста... Тоже мне большая птица — какой-то гранильщик! Кому это интересно? Вам? Хорошо. Пусть будет интересно... А о траве хом больше не надо? Как молоко собирать и что потом делать не надо?.. Вот видите! К человеку тоже необходимо снисходительность проявить. Закон законом. Мало ли какие законы есть? Человека видеть надо. А потом, ведь даже самый неправильный закон можно правильно повернуть. Разве не так? То есть я знаю, что все законы правильные! Какой может быть разговор? Но ведь на все случаи жизни законов не хватит. Есть законы, которые плохо подходят к редким случаям жизни. Зачем же живого человека под такие статьи подгонять? Верблюд не может пролезть в игольное ушко. По-хорошему решать надо. Если я помогаю, пусть и мне помогут. Как же иначе?

Ладно, если вас так интересует, каким образом я попал к профессору химических наук Ковскому, могу рассказать. Кажется, я уже говорил, что камень не давал мне покоя. Да, таким манером... Жил я себе честной жизнью и начал потихоньку интересоваться травой хом. Стариков расспрашивал, книжки в библиотеке стал брать, научные журналы читать. И вот совсем недавно попадается книжка писателя Радия Рогова «Огонь и вино Венеры». При чем тут, думаю, Венера? Но книжку купил. Прочел и чуть в обморок не упал! Все, что, как святыня, хранилось у нас в роду, печатается для всеобщего сведения! Откуда, думаю, Рогов этот про хом узнал? Про то, как загораются в его молоке настоящие, царские алмазы, которые только так и можно отличить? Очень я удивился. Не иначе, подумал, писатель долго в Индии жил, старинные притчи собирал. У него и вправду все про Индию говорится, даже трава хом на индийский манер сомой называется. Очень интересно было читать про то, как давным-давно на землю космический корабль упал. Взрыв был такой, что целый материк в океан погрузился вместе со всеми городами и людьми. Почти никто не уцелел. Лишь несколько человек на лодках спаслись. Ничего с собой эти люди не взяли, только одни семена, чтобы, значит, на новом месте посеять хом. Откуда, думаю, он все так хорошо узнал? Очень я заинтересовался. Нашел адрес Рогова и поехал к нему в Ленинград. Я ожидал встретить мудрого аксакала, а он юношей оказался. Но ничего, поговорили и так. Радий Рогов сразу признался, что ничего такого на самом деле не происходило и все он из головы сочинил. «На звезде Эль-Зухр, Венера по-вашему, получается, нет людей?» — спрашиваю. «Нет, — отвечает. — Это твердо установленный научный факт. Давление, температура и газовый состав атмосферы неблагоприятны для жизни». — «Зачем тогда пишешь?» — думаю. «И сома на Венере не растет, уважаемый писатель?» — докапываюсь до истины. «Конечно, — смеется он. — Это же фантастический вымысел: Венера,

Атлантида, огненное вино». — «Извините, — говорю. — Какой такой вымысел? Вашу сому, по-настоящему она травой хом называется, я вот этими руками в горах собирал! Огонь-вино из нее делал, алмазы в нем купал». Очень он тогда удивился. «Вам, — говорит, — совершенно необходимо связаться с профессором Ковским Аркадием Викторовичем! Это он мне сюжет подсказал. Все, что у меня в книге про алмазы и сому написано, — от него. Остальное — фантазия». — «Где живет профессор?» — интересуюсь. «В Москве. — Радий Рогов тут же адресок писать стал. — Я вам рекомендательное письмо дам». Хороший человек, думаю, хоть и выдумщик. Таким манером и попал я к Аркадию Викторовичу. От Ленинграда до Москвы рукой подать... Мы с профессором быстро общий язык нашли. Вот он действительно мудрый человек! Настоящий светоч знания. Я даже удивился. Не то что я сам — мой отец, мой дед так в камнях не разбирались, как этот профессор! Долго он меня обо всем расспрашивал, способ приготовления молока записал, свои рецепты показал. Договорились мы вместе работать. Он даже обещал в Москву меня забрать, к себе в институт определить. «Зачем? — говорю. — Я и так в Москве чуть ли не месяцами живу. Работать будем, а зарплаты не надо, есть у меня зарплата». Профессор обрадовался, стал объяснять, как в Москве все трудно устроить: прописка, жилплощадь... Попросил, чтоб я ему хом вместе с корнем выкопал и в горшок посадил. «Осенью, — говорю, — можно, но не раньше. Пусть он у меня потом перезимует, а весной, даст бог, привезу». Свое обещание я выполнил, привез этой весной траву. Да, именно этой весной, шестого марта... Как профессор окрашивал камни? Понятия не имею! С травой хом он только-только работать начинал. У него свой способ был, научный. Я в этом деле не разбираюсь. В молоке травы хом алмаз месяцами купать надо было, пока он не созревал, а сейчас чик-чик — и готово. Атомы! Помню, дед рассказывал, что из каждых сорока алмазов только один выходил шахский. На твердость, на игру его ничем от простого не отличишь. Только огонь-вино помогало найти среди лун настоящее солнце. За красный алмаз платили большие деньги!..

Я на этом наживался? Нехорошо ловить человека на слове. Нельзя так поворачивать дело. Вы знаете мою жизнь, тайну нашего рода, и говорите такие вещи. Я работал с профессором не ради заработка. Мне было просто интересно! А если камень-другой из моей коллекции становился от этого лучше, то ничего страшного. Нет, я не продавал камни, а только менялся с другими коллекционерами. Хорошо, я согласен, мы еще к этому вернемся.

Профессор сказал, что его чрезвычайно интересует трава хом. Он будет ее долго изучать и вновь откроет все, что было забыто. «Разработанный нами метод, — сказал он, — лучше, чем все более ранние способы, но мне необходимо понять, зачем древним понадобились оптические алмазы. При том уровне культуры применить их было просто немыслимо. Здесь либо отголоски утраченных знаний, что маловероятно, либо интуитивное постижение сверхчувственных ис-

тин». Я очень хорошо запомнил его слова. Мне стало ясно, что профессор интересуется травой хом не для работы, а для души. Такому бескорыстному человеку я смело мог доверить все наши секреты, тем более передать камни для научных опытов... Какие опыты? Какие камни? Профессор как-то посетовал, что ему не хватает, по его выражению, опытного материала. «Алмазы штука дефицитная, — пожаловался он, — выколачивать их трудно. Приходится клянчить по знакомым. Впрочем, теперь это уже не проблема. Сами навязывают. Я же возвращаю камни в улучшенном виде». Он правду сказал. В его руках самый низкосортный алмаз превращался в ювелирный высшей категории. Он умел устранять пузырьки и посторонние включения, давал голубую, розовую и даже зеленую воду. Настоящий волшебник! В старину наверняка сделался бы миллионером.

Сколько камней я ему передал? Точно не помню. Не так много.

Вы говорите: от двадцати до тридцати? Значит, вы знаете лучше меня. Откуда мне взять столько? Нет, я дал для опытов значительно меньше.

Все ли камни получил обратно? За исключением одного. Поэтому я и сижу теперь здесь...

Могу рассказать более подробно. Во второй половине мая я вновь приехал в Москву и, конечно, сразу же позвонил профессору.

Куда позвонил? В институт... Профессор пригласил меня к себе в лабораторию. Обещал показать, как искусственно делают рубины. Большую силу забрала наука! О таких громадных самоцветах мне даже слышать не приходилось. Растут, как тюльпаны весной в пустыне Кара. В мое время за один такой камень полханства можно было купить. Неужели и алмазы так делать будут? Посмотрел я на печи, в которых камни, как лепешки на тандыре, пекут и расстроился. Для чего мы свои секреты больше жизни хранили? Не только роду конец пришел — я последний, — но и всему делу. Видел бы такое мой дед! Думаю, он умер бы от горя. Показал я тогда профессору свое сокровище и спросил: «А такой сделать можешь?» Взял он камень в руки, очки на лоб поднял и стал разглядывать. Вдруг смотрю, а у него пальцы дрожат. «Откуда он у вас? — спрашивает, а сам глаз от камня отвести не может. — Или я ничего не понимаю, но, по-моему, это истинный «Красный Лев». — «Нет, — возражаю, — этот камень называется «Огонь-Вино», товарищ профессор». — «Не имеет значения. — Он близко-близко алмаз к глазам поднес и все вертит его, любуется. — «Слеза Заратуштры», «Урна Шивы», «Звезда Суламифь»... Какая разница?» — «Разница, — отвечаю, — есть, потому что алмаз с незапамятных времен у нас в роду хранится». Он спорить не стал, улыбнулся и пригласил в кабинет пройти, спокойно поговорить. «Значит, не можете такой сделать?» — опять спросил я. «Мы вообще алмазов не делаем. Вы же знаете». — «А окрасить так сумеете?» — не отставал я. Уж очень мне хотелось, чтобы он не сумел. Пусть хоть что-то на земле остается недоступное людям! Но он сказал: «Попробуем». — «Отчего же раньше не попробовали?» — интересуюсь. «Просто не зна-

ли, как он выглядит, — принялся объяснять Аркадий Викторович. — Если вы согласитесь дать мне его на некоторое время, я попробую сделать такой же». Я давал ему камни и всегда получал их назад в улучшенном виде. Но этот?! Я заколебался. Профессор, по-видимому, понял, что я думаю, и говорит: «Не беспокойтесь, с ним ничего не случится. Испортить такое совершенство было бы кощунством. Алмаз нужен мне только как образец. Я вам расписку сейчас напишу». — «Какую еще расписку? — обиделся я. — Разве мы друг другу не доверяем?» Но он стоял на своем: «Тибетцам он известен как камень «Чандамани», катары называли его «Сердцем Мани», индийцы — «Красным Яйцом». За всю историю человечества подобное чудо встречалось, может быть, пять или шесть раз. Не знаю, есть ли сейчас где-нибудь похожий камень. Его даже оценить невозможно». — «Тем более не надо расписки, — засмеялся я. — Если камень испортится, у вас все равно денег не хватит расплатиться». — «Не испортится. За это я ручаюсь вам головой». — «Тогда все хорошо. — Я протянул ему алмаз. — Берите камень, изучайте на здоровье. Когда научитесь, сделайте мне для коллекции один-другой. Я пока белые вам подберу». Он согласился и позвал помощника камень показывать.

Какого помощника? Совершенно верно, этого, что на фотографии, курчавого... Профессор тот прямо на одной ножке прыгал, как ребенок радовался. «Чудо! Чудо! — твердит. — Бесценное сокровище! Тайна тысячелетий...» Помощник же особого восторга не выказал, но, по всему было видно, заинтересовался. Говорил он больше по-научному, и я почти ничего не запомнил. Рефракция там, шкала Мооса и прочая ерунда. Сразу видно — ничего человек не понимает. Одним словом, оставил я им свой дивный алмаз и уехал из Москвы.

Куда именно? К себе на родину, куда же еще.

Да, совершенно верно, все это время я пробыл там. В столицу, как и уговорились с профессором, я возвратился в начале месяца.

Точнее? Если точнее, то я прилетел в Шереметьево в десять часов пятнадцать минут.

Да, именно в этот день. Я хорошо помню. Да, именно в четверг, а не в среду.

Могу ли я это доказать? Конечно, могу! У меня и билет на самолет сохранился. Как же иначе? Отчет о командировке давать надо? Так что в среду я был еще у себя дома. Подтвердить это могут все.

Кто конкретно? Секретарь нашего отделения общества «Знание» Олимпия Моисеевна — раз, референт товарищ Хамидов — два, даже начальник нашей милиции, который попросил меня передать родственникам корзину персиков! Хватит?

Очень хорошо получилось, что меня хоть в таком деле не подозревают. А что, профессора действительно убили? Ай-вай, какие люди есть! На такого человека руку поднять...

Откуда я узнал об этом? Очень просто. Позвонил Аркадию Викторовичу домой. Сначала никто не ответил, потом какая-то женщина сказала, что профессор в командировке. Я удивился. Какая

вдруг командировка? Дня за два до отлета я с ним по телефону говорил, ни о какой командировке и речи не было. Все в порядке, сказал, приезжать велел. Но всякое, конечно, бывает...

Подождал я день-другой и опять позвонил. Снова в командировке! Где? Почему? Не говорят. В институт позвонил — тоже никто не отвечает. Как помощника звать, не запомнил, кого спросить — не знаю. Что делать? Стал звонить каждый день. Беспокоиться стал, волноваться. Не хотелось думать, что профессор меня обманывает, но всякое в жизни случается. Все люди, все человеки. Может, потерял мой алмаз? Или испортил, когда анализы делал? Почем я знаю? Решил в институт пойти.

Когда именно? Позавчера. С утра пошел. У проходной остановился и стал помощника поджидать. Лицо-то я хорошо запомнил. Больше часа стоял. Все прошли, а его все нет. Я уже уходить решил, как, гляжу, идет, портфелем размахивает. Остановил я его, поздоровался, а он меня узнавать не хочет. Забыл! Но я ему живо напомнил, кто я такой... Вспомнил. Засуетился, залебезил, потащил в сторону. «Понимаете, — говорит, — случилось страшное несчастье. Убили нашего Аркадия Викторовича». Я так и обомлел. «Как убили? — кричу. — Когда убили? И где теперь мой алмаз?» — «Ничего еще не известно, — он отвечает. — Идет расследование, а где находится алмаз, понятия не имею. В лаборатории его, во всяком случае, нет. Аркадий Викторович унес его с собой. Наверное, он лежит у него где-нибудь дома, в кабинете. Аркадий Викторович и дома работал». Я стою как громом пораженный. Что делать? «Как же так? — спрашиваю. — Как мне теперь быть?» — «Ничего не знаю, — говорит. — Рад бы, но ничем не могу вам помочь. Подождите». — «Чего именно и сколько?» — «Недели две. — Он долго размышлял, прежде чем ответить, по всему было видно, обмозговывал что-то, прикидывал. — Да, две недели. Не больше. Честь честью похороним Аркадия Викторовича, разберем его архивы, и даю вам слово, что алмаз отыщется. Могу поручиться».

А чем он может мне поручиться? Не верю я ему, и все тут! «Почему же, — говорю, — по телефону отвечают, что профессор в командировке?» — «В самом деле? — удивился он. — Не знаю... Вообще сестра Аркадия Викторовича женщина очень странная. Я бы не советовал вам к ней обращаться. Понимаете, у нее... как бы это поточнее сказать... не все дома. Лучше про алмаз и не заикайтесь, не то можете распроститься с ним навсегда». — «Почему так?» — «Дело ваше, конечно, но послушайтесь моего совета и запаситесь терпением. Обещаю вам, что через две недели все устроится». Дались ему эти две недели, думаю. Что устроится? Как? «Где живет профессор?» — спрашиваю. Он поморщился, потоптался с минуту, но адрес дал. «Я вас предупредил. — Даже пальцем мне погрозил: — Пеняйте теперь на себя».

Какой адрес? Квартиры профессора. На улице Горького... Дачи? Нет, о даче я ничего не знаю. Никто мне не говорил. Сестра живет теперь на даче? Не знал...

Вот и все. Больше я ничего не знаю... Как очутился в квартире? Совершенно случайно. На другой день после разговора с помощником я решил все же съездить на квартиру... Почему выбрал столь позднее время? А чтобы наверняка застать. Днем звоню-звоню, никто к телефону не подходит. Не знал же я, что она на даче... В общем, нашел я дом, поднялся на лифте на шестой этаж и остановился перед дверью. Собрался с духом, нажал кнопку звонка и стал ноги вытирать о резиновый коврик. Слышу, под ковриком что-то звякает. Сначала я внимания на это не обратил, знай давлю себе кнопку. Но время идет, никто мне не открывает, и что дальше делать, не знаю. Ни о чем таком не думая, нагнулся я и заглянул под коврик. Смотрю — ключи! А дальше все случилось как во сне. Поднял я их, подкинул на ладони и, одним словом, отпер дверь и в квартиру вошел. Что было дальше, не помню. Я только свою вещь хотел назад получить. Больше ничего меня не интересовало... Как я искал? Где? Теперь это трудно восстановить. Не знаю даже, сколько времени пробыл в квартире... А когда милиция нагрянула, я не сопротивлялся и не пытался убежать. Это тоже необходимо учесть!..

В каких отношениях я был с мастером Поповым из гранильного цеха? Ни в каких. Иногда давал ему камень-другой, чтобы он по блату, как говорят, его обработал.

Нехорошо, конечно, но ничего тут страшного нет. Ты мне поможешь, я — тебе. Государству никакого убытка тут нет.

Зачем мне ограненные бриллианты? Странный вопрос! Я ведь именно такие и собираю. Меняться бриллиантами тоже легче. По крайней мере знаешь, что сколько стоит. И, конечно, мне было приятно, когда огранка получалась по первой категории. Кому не хочется, чтобы его вещь стоила дороже?

Вас интересует, где я доставал необработанные алмазы? Неужели мы будем тратить ваше драгоценное время на подобные пустяки? Спросите лучше филателистов, где они берут свои марки. А монеты, думаете, с неба падают? Мы меняемся, покупаем, достаем, наконец, всеми правдами и неправдами... Очень трудно бывает объяснить точно, где, когда, у кого.

Нет, сейчас я никак не могу вспомнить. Если можно, отпустите меня отдохнуть.

Подписать протокол? Мне надо подумать. Я всегда готов помогать людям, но люблю, когда и мне идут навстречу. Сурово наказать Мирзоева для вас, я вижу, не самое главное. Поэтому я надеюсь, что мы сумеем найти точки соприкосновения и поможем друг другу. Люди, как сказано в Коране, «не будут обижены на толщину плевы на финиковой косточке».

Глава двенадцатая

ВЫНУЖДЕННЫЙ СОЮЗ

Тяжело дались Сударевскому восемь коротких шажков от двери до стола, за которым, как пифия на треножнике, восседала Марья Николаевна. Не поднимая головы от стрекочущих клавиш «Рейнметалла», она искоса глянула на оробевшего и. о. завлаба и, не отвечая на приветствие, которого вполне могла не расслышать, продолжала печатать. Марку Модестовичу показалось, что вся приемная следила за ним с осуждающей насмешкой. И он сам, страдая, как бы со стороны взирал на свое совершенно невозможное поведение, угодливое и развязное одновременно. В действительности же все выглядело вполне благопристойно. Он вошел с видом уверенно-деловитым, пробормотал какие-то вежливые слова и, наклонившись над Марьей, заворковал:

— Зашел попрощаться, Марья Николаевна, перед отлетом в Амстердам... Не будет ли каких поручений?

— Куда-куда? — Ее пальцы замерли в неподвижном парении над клавиатурой.

— На конгресс в Нидерланды, Марья Николаевна. Может, сувенирчик какой? Европа все-таки...

— А! — Она настолько оттаяла, что даже подняла голову. — Ну что ж, привезите какую-нибудь безделушку.

— Непременно! — просиял Сударевский. — К Фоме Андреевичу можно? Мне только на секунду.

— У него сейчас Дузе. Как только выйдет, я вас пропущу.

— Большое спасибо, Марья Николаевна, я обожду.

Сударевский хотел отойти в сторонку, так как секретарша вновь застучала на машинке, но она остановила его вопросом:

— Как схоронили?

— Аркадия Викторовича? Хорошо. Я хотел сказать, — спохватился Марк Модестович, — обыкновенно.

— Народу много было?

— Не особенно...

— Цветы? Музыка?

— Все, как положено, Марья Николаевна.

— Речи были?

— Нет, речей как раз и не было... Как-то так получилось...

— Почему? Разве не вас от института выделили? Вот вы бы и выступили.

— Понимаете, Марья Николаевна... — Он наклонился еще ниже и зашептал ей в самое ухо: — Обстановка создалась не совсем подходящая... Людмила Викторовна так убивалась, так плакала...

— Удивительно люди притворяться умеют! — Марья Николаевна осуждающе поджала бескровные губы. — Рыдать рыдают, а про себя только о наследстве и беспокоятся. Имущества после него, чай, много осталось?.. Дача?

— По всей видимости, — уклончиво промямлил Сударевский. — Я не интересовался.

Из директорского кабинета, опираясь на палочку, вышла монументальная дама. Грудь ее, видимо, от пережитого волнения вздымалась тяжело и порывисто.

— Идите теперь вы, — распорядилась Марья Николаевна и даже подтолкнула Сударевского в бок, укротив безмолвный протест очереди ледяным, ускользающим взором.

Рыженький научный сотрудник, сидевший у самой заветной двери, хоть и не удержался от разочарованного вздоха, но вынужден был вновь опуститься на стул. Свой протест новоявленному фавориту он выразил тем, что демонстративно раскрыл папку, полную всевозможных бумаг.

Да, Марк Модестович не держал в руках неотложных, требующих подписи отношений в «Академснаб» и «Главизотоп», но зато у него в кармане лежал огненный общегражданский паспорт с посольской визой, билет Аэрофлота на рейс «SU-169» Москва — Амстердам и скромный чек, который можно было учесть в одном из самых солидных банков.

Только что раздираемый противоречивыми комплексами неполноценности и гордыни, но обогретый милостивым отношением всемогущей Марьи, Сударевский совершенно преобразился. В тамбур, ведущий в директорский кабинет, он вступил с победоносной улыбкой человека, которому все удастся.

— Разрешите, Фома Андреевич? — интимным тоном осведомился он и без промедления ступил на ковровую дорожку. — Я только на одну минуточку. Пришел за последними указаниями.

— Отбываете, значит? — Вопреки ожиданиям, директор особой приветливости не выказал. — Так-так...

— Хотелось бы выслушать напутствия. — Марк Модестович смущенно потер руки и покосился на стул.

— Вы у нас человек самостоятельный. — Фома Андреевич не вышел из-за стола поздороваться и не спешил предложить место. — Даже не знаю, как с вами и быть...

— Что-нибудь случилось?! — внутренне так и обмер Сударевский.

— Вам лучше знать, Марк... э-э... Модестович. — Директор сделал вид, что заинтересовался вдруг лежащей перед ним на стекле сапфировой призмой. — Удивлен, что вас интересуют еще мои советы. Н-да, весьма удивлен.

— Ничего не понимаю! — Сударевский не слышал, как неузнаваемо вдруг изменился его голос. — Фома Андреевич, ради бога...

— Любите вы, голубчик, сюрпризы подносить, ничего не скажешь. И ведь когда, главное? Под самый занавес!

— Да в чем дело, Фома Андреевич? — взмолился Сударевский. — Это по поводу командировки?

— На загранпоездке жизнь не кончается. А вы, как я погляжу, только сегодняшним днем и живете. Будущее вас не особенно волнует.

— Что вы, Фома Андреевич! — Сударевский облегченно перевел дух. — Как можно?

— Лишь бы сейчас кусок урвать, а там хоть трава не расти, — буркнул директор и отвернулся. — Умнее всех быть хотите?

— Почему? — Сударевский, как набедокуривший школьник, захлопал глазами. Он вновь отчаянно взволновался и уже не отдавал себе отчета в том, что говорит. — Я не знаю, что вам наговорили про меня, Фома Андреевич, но поверьте... — Он смешался и потерял нить разговора.

— Ну-ну, — подбодрил его Фома Андреевич, — продолжайте... А то только рот разеваете, словно рыба какая, и молчите. Я бы на вашем месте себя иначе вел. Н-да... Что вы там опять затеваете с этим горе-открытием?

— Я? — изумился Марк Модестович. — Понятия не имею! — Он даже порозовел то ли от радости, что туманные угрозы обернулись таким, в сущности, пустяком, то ли от благородного негодования. — Клянусь вам!

— Значит, вы единственный, кто не в курсе. — По тому, как Фома Андреевич нетерпеливо дернул плечом, Сударевский понял, насколько тот раздосадован.

— Я здесь абсолютно ни при чем! — поспешил он заверить директора.

— А кто? — Фома Андреевич брезгливо поежился. — Может быть, ваш соавтор? По всем секциям звон идет, а он, видите ли, не в курсе. Все утро только вами и занимаюсь.

— Мной? — вновь переспросил Сударевский, но, прежде чем успел сообразить, что это глупо и неуместно, вспомнил про взволнованную Дузе, с которой только что повстречался в приемной. — Боюсь, что вышло недоразумение, Фома Андреевич, — с достоинством закончил он и решительно сел на ближайший стул. — Или меня просто-напросто оклеветали. Такие любители всегда найдутся.

— Клевете не поверю. — Фома Андреевич для пущей убедительности постучал кристаллом по стеклу. — И вообще наушников не терплю!

— Я знаю, — подтвердил Сударевский, хотя и был уверен в обратном.

— Но чудес на свете не бывает... Как вы попали к Берендеру?

— Кто это? — Марк Модестович сделал вид, будто силится припомнить. — Ах, этот! Академик?

— Он самый. — Фома Андреевич неприязненно пожевал губами. — Такой же универсал, как ваш покойный покровитель. И швец, и жнец, и на дуде игрец. Говорят, он даже стишата кропает... Да притом еще по-французски! Тоже мне Леонардо да Винчи!

— Я с ним не знаком, — отчеканил Сударевский.

— Факты свидетельствуют иное. — Фома Андреевич бросил кристалл в кокосовую чашку.

— Какие факты, Фома Андреевич? — с печальным смирением осведомился Марк Модестович.

— Я бы еще мог усомниться в правильности сигналов, если бы мне буквально пять минут назад не позвонил Геокакаян. — Директор выжидательно примолк.

— Не улавливаю связи. — Сударевский уже полностью владел собой.

Основная причина тревоги явно отпала: зарубежному вояжу ничто не препятствовало. Последствия же неприятного объяснения с Фомой Андреевичем волновали его меньше всего. Разговор, однако, следовало, по возможности, закончить к обоюдному удовлетворению.

— Что общего может быть у меня с этим мерзейшим интриганом?

— Как? — Фома Андреевич озадаченно поднял брови и даже ладонь к уху приставил, словно хотел получше расслышать. — Эка вы его! — Он усмехнулся и удовлетворенно кивнул. — Интриган там он или нет, неважно. Главное, что все в один голос твердят, будто Берендер встал на вашу защиту. Вы что, работу ему показывали?

— Никогда в жизни!

— Откуда же он прознал?

— Ума не приложу. — Сударевский развел руками. — А это верно?

— Похоже на то. — Фома Андреевич заметно оттаял. — Но вы ему ничего не посылали?

— Абсолютно.

— Странно. — Директор задумался. — Кто же ему тогда напел?

— А что вообще случилось, Фома Андреевич?

— Значит, вы на самом деле ничего не знаете?

— Да откуда мне знать? Я только то и делал, что занимался подготовкой к конгрессу! Куча же дел, Фома Андреевич! А тут еще милиционер этот... Ну, вы знаете, который Ковским занимался... Покоя не дает. Все чего-то ищет, вынюхивает...

— Дело в том, что Берендер поднял шум. Он повсюду превозносит вашу работу и требует, чтобы ее передали химикам. Надеюсь, вы понимаете, какой может получиться скандал? Не хватает нам восстановить против себя еще одно отделение!

— Я к этому совершенно непричастен. Берендеру своей работы не давал и не просил его вмешиваться. Могу подтвердить это когда и где угодно, хоть устно, хоть письменно.

— Я бы посоветовал вам написать в комитет письмо. — Фома Андреевич сменил гнев на милость. — Это бы окончательно положило конец всяческим кривотолкам. Я уж не говорю о том, что избавило бы нас от непрошеных благодетелей.

— Хоть сейчас, Фома Андреевич! — с готовностью откликнулся Сударевский. — Какое письмо?

— Словом, вы, такой-то и такой-то, — директор явно успел заранее обдумать текст, — просите вернуть вам все материалы открытия для доработки.

— Чего вдруг? — спросил Сударевский, входя во вкус игры. — Бились-бились, а тут, когда вмешались такие силы, взяли и затрубили отбой. Не покажется ли это странным?

— Не покажется. Поверьте, все будут только рады закрыть это кляузное дело.

— Кляузное с чьей стороны?

— Мне казалось, мы понимаем друг друга, — многозначительно нахмурился Фома Андреевич.

— Несомненно! — поторопился успокоить его Сударевский. — Просто я хочу получше уяснить себе, как должно выглядеть мое письмо.

Беседа и впрямь принимала забавный характер. Она доставляла Сударевскому ранее недоступное наслаждение. «Как жаль, — думал он, — что этот боров так ничего и не поймет. Но что с него возьмешь? На то он и Дубовец!»

— Вы напишите, Марк Модестович, — в голосе Фомы Андреевича Сударевский уловил непривычные бархатные нотки, — что хотите пересмотреть свои выводы в свете, так сказать, новых данных. Верно? Вы же действительно продолжаете работать?

— Само собой.

— А раз так, то, получив новые результаты, вы хотите подвергнуть пересмотру всю свою концепцию. Это вполне естественно для всякого честного исследователя, уверяю вас. Ну как?

— Вполне. — Сударевский даже руку к груди прижал. — Никто и не пикнет.

— Постепенно все забудется, успокоится, вы защитите диссертацию, а там посмотрим... Чем черт не шутит? Может, и вернемся тогда к вашему открытию, на новом витке спирали. На ином... как бы это поточнее сказать... качественном уровне.

— Лично я уже поставил на этом крест, — сказал Сударевский и вдруг почувствовал, что ему наскучила эта двусмысленная игра. Пора было кончать. Впереди предстояли нелегкие испытания. Так стоило ли попусту расходовать силы?

— Не зарекайтесь, — покровительственно кивнул Фома Андреевич. — Ситуация меняется, и мы, я уверен, возвратимся к вашей работе. На иной основе, разумеется... Все-таки у вашего метода есть будущее. Недаром Берендер так раскричался. Что-что, а чутье у него не ослабло. Если он говорит, что овчинка стоит выделки, то будьте уверены, работа действительно имеет большое научное и практическое значение... Поверьте мне, что я не стал бы с вами говорить так, если бы не был уверен в конечной победе истины. Это только в фельетонах можно прочесть о всяческих противниках научного прогресса, зажимщиках передового опыта и ретроградах. Вы умный человек и понимаете, что в жизни все значительно сложнее. На каком-то этапе приходится и отступать, из тактических соображений отказываться даже от собственного детища. Но в исторической перспективе истина всегда пробивает себе дорогу. Можете не сомневаться.

— Я и не сомневаюсь.

— Теперь, когда претендовать на установление новой, объективно существующей в природе закономерности можете вы один... — Фома Андреевич выдержал необходимую паузу и, убе-

дившись, что собеседник правильно его понял, продолжал: — Следует быть вдвойне осторожным. Пусть у товарищей, которых Ковский так неразумно против себя восстановил, сформируется о вас новое мнение. Как говорится, о мертвых либо хорошо, либо ничего... Одним словом, я уверен, что скромный молодой исследователь, который нашел в себе силы и мужество преодолеть давление авторитета и собственные, можно сказать, заблуждения, встретит совершенно иной прием. Вы меня, надеюсь, поняли?

— Не совсем, Фома Андреевич. — Сударевскому хотелось, чтобы директор высказался более определенно. — Извините.

— Забудьте прошлое.

— Уже забыл.

— И прелестно. Добавьте побольше новых данных, переиначьте что-нибудь, и через год-другой пишите себе новую заявку на новое открытие. Формулу, разумеется, придется видоизменить. Теперь, надеюсь, ясно?

— Абсолютно. — Сударевский украдкой посмотрел на часы.

«Даже если я откровенно, без обиняков, растолкую ему, как и что, — подумал Марк Модестович, — он же все равно ничего не поймет. Не допустит до себя, просто-напросто отметет. Вот ведь в чем курьез! Он живет в вымышленном мире, за частоколом интриг, и совершенно потерял чувство реальности. Терять мне нечего, меня теперь не остановишь, и я мог бы позволить себе пять минут откровенности. Это были бы прекрасные пять минут, возможно, самые лучшие в жизни, если бы только удалось его пронять. Но нет! Оставь надежду всяк сюда входящий. Все отскочит назад. Как горох об стенку. Он неуязвим. Стоит ли тогда метать бисер? Да и не мне, если быть честным перед самим собой, тратить силы на перевоспитание Дубовца. Пусть другие займутся потом выжиганием по дереву. Этот Люсин прав, говоря, что никогда не следует забывать об окружающих. Мы действительно живем не в вакууме, и нас окружают не бессловесные тени, а живые люди, наблюдательные, любопытные, понимающие. Нет, милейший Фома, даже если я полностью пойду у тебя на поводу, все равно ничего не получится. Нам просто не позволят отколоть подобный номер. Такие вещи не проходят, и все тут. Не будь даже всемогущего Берендера, кто-нибудь обязательно окажется на нашем пути. Может быть, это будет незаметная лаборанточка или безымянный эксперт, который однажды хоть краем уха слышал фамилию Ковского; даже твой сегодняшний союзник и то завтра не упустит случая подставить тебе ножку».

— ...достойно представлять наш институт на международном форуме, — из дальнего далека долетели до него слова директора.

— Приложу все усилия, Фома Андреевич, — ответил он как автомат.

— Не сомневаюсь. — Директор нашел уместным пожать Сударевскому руку.

— Большое спасибо! — Марк Модестович вскочил и приготовился прощаться. Хорошо, что он все-таки промолчал! Никогда не

следует сжигать за собой мосты. Кто знает, как обернется дело. По существу, он же еще ничего не решил. Во всяком случае, это не окончательное решение. Там видно будет...

— Может, у вас есть какие-нибудь поручения, Фома Андреевич? Или пожелания?

— Пожелания? — Директор озадаченно пожевал губами. — Успеха разве что?.. Ван-Кревелину мой привет. Жаль, я подарочек ему не успел приготовить, а следовало бы...

— Не беспокойтесь, Фома Андреевич, я все равно побегу сейчас покупать сувениры.

— Вот и хорошо... Только, знаете ли, не надо этого... как его... палеха, водки, матрешки всякие... Я в прошлый раз возил.

— Понимаю. Подберем что-нибудь пооригинальнее.

— Тот милиционер, говорите, вас еще донимает? Что там слышно у них насчет убийства? Нашли кого?

— У меня создалось впечатление, что не нашли. Поэтому и не оставляют в покое наш институт.

— Мы-то тут при чем?

— В том-то и дело! Но самое пикантное в этой истории то, что Аркадий Викторович, судя по всему, умер своей смертью.

— А мне говорили, что его убили.

— Так думал сначала следователь, но судебно-медицинская экспертиза не подтвердила. Аркадий Викторович скончался от инфаркта.

— Ничего не понимаю! Откуда тогда весь сыр-бор? Похищение? Уголовщина всякая?

— Тут много неясного, Фома Андреевич. Похоже, что вокруг Ковских действительно вертелись всякие темные личности. На похоронах я узнал, что позавчера ограбили московскую квартиру Аркадия Викторовича. У Людмилы Викторовны и без того достаточно горя. Бедная женщина! Куда только милиция смотрит? Я ей посоветовал жалобу на следователя подать. Чего церемониться, в самом деле! Вместо того чтобы травмировать людей, он бы лучше принял меры для защиты их собственности.

— Правильно! — обрадовался директор. — Уж эти наши доморощенные шерлоки холмсы!.. Помню я этого молокососа, что к нам приходил, как же! Открыл он хоть что-нибудь? Поймал кого? А ведь сколько времени понапрасну отнял! Нет, это вы хорошо ей присоветовали. Пускай его хорошенько приструнят.

— Если бы и вы еще, Фома Андреевич, со своей стороны...

— Нет. — Директор понял его с полуслова. — Мне-то чего туда соваться? А вот в институт к себе я их больше не пущу. Нечего дурака-то валять... Ну, Марк Модестович, в добрый, как говорится, час, ни пуха вам, ни пера.

Глава тринадцатая

ВОЛНА VI

Индия. Конец XIV века

Подобно птицам, брахманы рождаются дважды. Они приходят в мир, как все люди, но переживают второе рождение, когда надевают священный шнурок избранной ва́рны[1]. После упанаяны — праздника посвящения — Гунашарман стал полноправным членом брахманской общины. Он начал изучать Веды, и окружающее предстало перед ним в ином освещении. Это и впрямь было похоже на новое рождение. Птенец начинает по-настоящему жить с той минуты, когда пробивает затвердевшим клювиком скорлупу. Человек становится человеком не прежде, чем проснется в нем неистребимая жажда познавать. Веды раскрыли перед Гунашарманом смысл и цель существования, указали ему место в бесконечном — ибо нет ни конца, ни начала у колеса — круговороте материи и духа. «Смертный созревает, как зерно, и рождается, как посев».

Когда Гунашарман впервые осознал, что он тоже, как и все, смертен, то не ощутил ни смятения, ни тоски, а лишь растерянность и бесплодное тягостное недоумение.

— Зачем тогда я? — спросил он гу́ру[2], не находя нужных слов и от этого мучаясь. — Зачем ты? Зачем все: горы и лес, деревья и камни?

— Ради познания. Познай все это, — гуру широким жестом обвел горизонт, на котором синели поросшие лесом горы, — и ты поймешь. Вопросы порождают твое неутомимое познание. Насыть его, и они разрешатся сами собой.

— Оно здесь? — Гунашарман указал на сердце.

— Везде, — объяснил учитель. — Это одухотворяющий огонь. Это Атман — носитель познания.

— А как он выглядит?

— Никак. Он способен познать все, но сам не может быть познан разумом. Он не твердый и не мягкий, не длинный и не короткий, не ветер, не пространство, он без вкуса, без запаха, без глаз, без слуха, без дара речи и мышления, без дыхания, без меры. Он непостижим, он нети нети — ни то и ни это. Атман не исчезает в огне погребального костра, а сливается с Брахманом, всеобщим первоначалом, стоящим над богами и силами. Возвышенный и всемогущий Брахман проницает всю Вселенную и является одновременно частью тебя самого. Он все и ты тоже, твое тоскующее, беспокойное «я».

— Это трудно понять, гуру.

— Понять вообще нельзя, можно лишь ощутить. Только в оцепенении йогической сосредоточенности ты постигнешь Брахма-

[1] Варна (буквально «цвет») — каста

[2] Гуру — учитель

на, только в экстазе Сомы почувствуешь единство души со всемогущим космическим первоначалом. Мысль о единстве Атмана и Брахмана повергнет тебя в изумление и восторг. Упанишады учат, что только постигнувший это невыразимое единство будет освобожден от дальнейшего круговорота жизни. Такой человек, соединившись с Брахманом, вознесется над радостью и печалью, над жизнью и смертью. Это сродни прекрасному сновидению. Во сне человеческий дух свободен, он парит, как коршун Гаруда, над временем и пространством. Но есть и другой сон, подобный глубокому обмороку, почти неотличимый от смерти. Лишь отшельники, достигшие высочайшей концентрации воли, способны погрузиться в него. В этом положении человек может пробыть неопределенно долго, не нуждаясь в пище, воде и дыхании. Ты ведь видел аскетов, которых зарывали в землю на сорок дней, бра́хмачарин?[1]

— Видел, гуру.

— Опыт души в таком состоянии не поддается описанию, но Брахман находится еще дальше, по ту сторону подобного смерти сна. Кто достигнет Брахмана, тот свободен.

— Навсегда?

— Навсегда.

— Но не есть ли это просто несуществование, просто смерть, которую ты зачем-то зовешь иначе, о гуру?

— Напрасно стремишься ты непостижимое объять мыслью, выразить невыразимое речью. Принеси-ка лучше фигу с того дерева.

Гунашарман сбежал с зеленого холма, на котором они сидели, подпрыгнул и сорвал с ветки спелый плод.

— Вот, гуру. — Он положил фигу у ног учителя и, поправив шнур на левом плече, опустился на траву.

Гуру разломил плод на две половинки. Свежая, благоухающая мякоть и ряды семян в середине увлажнились росинками клейкого сока.

— Раскуси это, — выковыривая окаменевшим ногтем крохотное семечко, сказал учитель. Его худое, иссушенное солнцем тело, казалось, было выточено из затвердевшего дерева и выглядело почти черным в сравнении с дхоти — белой тряпкой, покрывающей бедра.

Гунашарман почему-то подумал, что гуру никогда не умрет, а только окончательно высохнет, как старая лиана.

— Что ты видишь в семени? — спросил учитель.

— Ничего.

— То, что ты называешь «ничего», и является сутью, которая скрывает в себе могучее дерево. В урочный час оно вырастет из земли и принесет сладкие плоды. Так и Атман, который невидим в нас, сколько бы мы ни дробили на части тело. Поэтому запомни: тат твамаси — ты есть то. Как соль, растворенная в воде, делает океан соленым, а сама остается непостижимой, так все сущее имеет

[1] Брахмачарин — ученик брахмача

свою основу и свое истинное бытие в единой, непостижимой вселенской сущности, которая содержится во всем.

Ученик хотел возразить, что соль в океане легко добыть выпариванием и уже по одной этой причине она вполне доступна органам чувств, но не посмел.

И все же он запомнил тот день, наполненный смолистым ароматом лесов и журчанием ручьев среди белых камней, в сердце своем сохранил мудрые слова учителя. Никогда потом истина уже не казалась ему столь близкой, как на том зеленом холме посреди залитой солнцем долины. Лишь сейчас, на лесной поляне под полуночными звездами ему было дано вновь ощутить предчувствие озарения. Оно коснулось его неслышным совиным крылом и пропало.

Гунашарман подбросил в огонь сухие ветви карникары — дерева, цветы которого лишены запаха, и кору сандала, чей душистый аромат стесняет дыхание. Сома в герметическом сосуде из обожженной глины заклокотал, его летучие пары устремились в кольца змеевика, чтобы загустеть в холоде ночи и, подобно росе, возвратиться в кипящее чрево. Многократная перегонка в замкнутом сосуде не должна была прекращаться ни на мгновение и длилась уже сто семь дней. В ту минуту, как заступил на дежурство Гунашарман, пошел сто восьмой. До прибытия заревой колесницы Ашвинов «Красное Яйцо» должно было окончательно созреть.

С того дня, когда юный Гунашарман отличился проникновенным знанием Атхарваведы, продляющей жизнь, и был допущен к мистериям Сомы, семь раз усыхала и вновь наливалась амритой лунная чаша. За это время он в совершенстве постиг иносказательный язык жрецов небесного Сомы, который рожками вверх плыл теперь над джунглями по туманным волнам, и сомы земного, чьи душистые охапки смутно золотились возле каменного жертвенника.

Здесь, на залитой лунным светом поляне, никто не называл владыку жизненного огня по имени.

Когда из красного сока, смешанного с медом и молоком, выпадал осадок, жрец благоговейно шептал:

— Он сел.

Гунашарман, на которого впервые возложили почетную обязанность поддерживать огонь в очаге, сразу же понял, что произошло, и перестал раздувать пламя, или, говоря на языке посвященных, «сложил крылья».

— Готовь ему ложе, — приказал потом жрец.

И Гунашарман стремглав бросился за деревянной чашей, в которой собирают очищенную в сите из овечьей шерсти небесную влагу.

И вот теперь, в полном одиночестве, сидит он у очага, прислушиваясь к бурлению сомы. Он неоднократно видел, как «десять тоненьких сестер», то есть руки жреца, выжимали давильным камнем едкий сок золотого цветка, растущего в долинах Шарьянаваты; отмывали его «в реках» — в тонкой струйке воды; смешав с божественными дарами пчелы и коровы, ставили на огонь. И все же он

не перестает вздрагивать каждый раз, когда тихий голос жреца зовет его подбросить в очаг сучья:

«Сухие растения!»

Гунашарману кажется, что он опять слышит голос, от которого при одном лишь воспоминании становится зябко. Или это ветер холодит ему затылок? Он покорно подкладывает в огонь ломкий хворост и поворачивается спиной к очагу. Песня Сомы в глиняной реторте убаюкивает. Глазам, завороженным пляской огня, мрак кажется непроглядным.

В джунглях шелестит влажная листва. Приглушенно кричат после ночной охоты совы. Изредка потрескивает на деревьях кора. Когда глаза привыкают к темноте, начинает проявляться лунный лоск кожистых листьев. Неясными пятнами возникают белые душистые цветки лианы мадхави, вокруг которых гудят мохнатые ночные бабочки и бронзовые жуки.

«Как много выпили амриты бессмертные! — Юный брахман следит за тонким серпом ущербного месяца. — Скоро ночи станут совсем темными».

Он никак не может припомнить удивительное ощущение полета, которое только что на миг захватило его, увлекло в головокружительные выси и вдруг изгладилось, оставив в душе обидное разочарование. Что это было? Но как черные занавеси задернулись в памяти: ни осознать, ни вспомнить.

Прямо над головой медленно крутится Ка́рттика[1] и тревожно пульсирует над стеной мрака Картике́я[2] — символ пожаров и бед. Так что ж это все-таки было? Он складывает ладони и поднимает их на уровень лица. Но и эта мудра анджали не помогает ему. Он все навсегда позабыл.

«Сухие растения», — напоминает вновь голос внутри.

Он с треском ломает сучья и бросает их в ненасытное пламя. Довольно клокочет сома в сосуде, свистят и покрапывают в змеевике его пары. Но вдруг леденящий кровь рев тигра прокатывается по джунглям и заглушает все звуки. И долго молчит потом притаившаяся ночь.

Чтобы подбодрить себя, Гунашарман затягивает вполголоса песнь в честь своего божества, в которой только и можно называть его имя:

Где трением добывается огонь,
Где поднимается ветер,
Где переливается сома,
Там рождается разум[3]

Рождается разум? Не эта ли мысль промелькнула как молния во мраке его немоты? Он же ничего не знает о том, что творится в клокочущем сосуде из обожженной глины! Вообще не задумывался

[1] Карттика — Плеяды.

[2] Картикея — Марс

[3] Отрывок из Шветашватар Упанишады, III, 6.

над тем, для чего многократно перегоняют и дистиллируют сок, который призван освящать огни и веселить душу. В самом деле, зачем? Что найдет главный жрец, когда отобьет поутру узкое горло сосуда? Это тайна. Святая святых. Ее раскроют перед ним в урочный час высшего посвящения, когда придет его черед занять жреческое место у каменного алтаря. Но это случится не скоро, а пока надо смиренно ждать и, ни о чем не спрашивая, учиться терпению. Когда Ушас, утренняя звезда, зазеленеет над джунглями, он уйдет в деревню, так ничего и не узнав о «Красном Яйце», которое созрело в жаре Сомы и Сурьи. «Дочь Сурьи родится из капли»[1]. Это единственное, что ему известно. На сто восьмой день в этом самом узкогорлом кувшине Луна превратится в Солнце.

А что сие означает? Великое и животворное единение противоположных начал?

Гунашарман помнит сокровенную мистерию, исполнителями которой были главный брахман и самая юная из храмовых танцовщиц. Такая ритуальная церемония всегда предшествовала приготовлению сомы, символизируя рождение огня из влаги... Но хоть бы одним глазком взглянуть на это «Красное Яйцо»...

Незаметно растаяла ночь. Заглушая беспечную птичью разноголосицу, затрещали кузнечики и цикады. Потом прогудела, как надтреснутый колокол, и неожиданно умолкла кукушка кокил — вестник любви.

Гунашарман удивился, когда в назначенный час никто не пришел его сменить. Он так и не уловил, сколько ни прислушивался, приглушенных ударов барабана. Деревенский мриданга молчал утром, когда земледельцев-вайшиев созывают на полевые работы, не заговорил он и в полуденный зной. Брахмачарин не знал, что и подумать. Поев немного холодного риса, он запил его водой и забрался в пятнистую тень древовидного папоротника. Сладкая, расслабляющая сонливость одолела его. Лишь забота об очаге не позволяла заснуть. Он совершил утреннее омовение и, сделав несколько дыхательных упражнений, разогнал сон. От очага решил не отходить до прихода смены.

Но когда ветер со стороны деревни донес горький, царапающий горло запах гари, Гунашарман понял, что никто сюда не придет. Недаром так воспаленно горела над лесом кровавая звезда Картикея! Очевидно, несметные полчища Тимура-Хромого сломили сопротивление индусов и огнепоклонников-гебров и сумели переправиться через реку Джаун. Ни горы, ни леса не остановили варваров — млеччха. Они прорубили дорогу сквозь джунгли и ворвались в ущелье между горами Кука и Суалик.

Гунашарман представил себе раскосых чужеземцев, крепко сидящих на лошадях ахалтекинской и монгольской породы, и зажму-

[1] Дочь Сурьи — (Suryasya duhita), то есть дословно «дочь Солнца», означает «солнечное искуство», капля (indu) — частое наименование Сомы в Ригведе и одно из названий Луны

рился, чтобы сдержать слезы. Он слышал рассказы о том, как свирепые джагатаи с саблей в правой и с факелом в левой руке рубили сплеча, как с диким гиканьем летели через деревни, поджигая соломенные крыши хижин. Нет, он не ошибся, почуяв в горестном ветре запах родного пепелища. То, чего со страхом ожидала вся долина — раджа и рани в крепости, брахманы в храмах, крестьяне в деревнях, — свершилось. Хромоногий вновь будет играть отрубленными головами, на скаку загоняя их в лунки клюшкой из железного дерева.

Со всех сторон слетится на пир воронье, и по задымленным пыльным дорогам потянутся толпы скованных цепью рабов.

Когда Гунашарман понял, что остался совсем один и никто из жрецов Сомы более не проберется тайной тропой на священную поляну, он спокойно загасил в очаге угли. Отныне он один нес ответственность за сокровище, о котором ничего не знал. Пока сосуд остывал, юноша собрал ритуальную утварь и вместе с давильными камнями перенес ее в джунгли, где и схоронил все в дупле старой смоковницы. Потом он бережно снял с очага теплый еще кувшин и, сгибаясь от тяжести, перетащил его к жертвеннику. Гимнам и мантрам, сопровождающим сокровенную церемонию освобождения дочери Сурьи из плена, его не обучили. На всякий случай он, прежде чем отсоединить змеевик, спел «Космический жар», в котором были подходящие случаю слова:

Солнце и луну сотворил[1]

Согнав с жертвенника изумрудную ящерицу, Гунашарман поднял камень и резким, точным ударом отбил горловину. Из кувшина вырвались зеленоватые удушливые пары. Задержав дыхание, дерзкий брахмачарин наклонил сосуд и подставил под бурую дымящуюся струю сито. Во что только превратилось за сто восемь дней благоуханное молоко сомы? Маслянистая едкая жидкость, подобно степному пожару, обуглила овечью шерсть. Просачиваясь сквозь сито, она стекала на красную почву и по каменному желобу убегала в подземный резервуар. Насекомые, которые обычно сползались на запах сомы, теперь разбегались по норам и трещинам; кого настигала тягучая бурая струйка, сразу замирали и обугливались. Не уберегласъ и любопытная ящерица, забравшаяся в желоб. Она едва успела выскочить, волоча за собой удлиняющиеся клейкие нити, но, не добежав даже до ближайшего куста, судорожно забилась в пыли и затихла.

Сосуд опустел, и Гунашарман понес сито, наполненное скользкой жижей, к источнику. В холодной ключевой воде грязь вспухла и запузырилась. Сначала быстрый поток унес пену и слизь, потом подхватил мелкую взвесь, и тогда стало видно, что на дне тяжело провисающего сита лежит рыхлый фиолетово-черный комок. Когда промывные воды посветлели и опаленная шерсть стала обретать

[1] Ригведа, «Космический жар», X, 190

сероватый оттенок, сделавшийся в одночасье таким одиноким, брахмачарин бережно вынул оставшийся в сите ком. Холодный и разбухший, он легко крошился в руке. Осторожно перетирая пальцами податливую массу, Гунашарман присел возле источника.

Неистовое солнце многоцветно дробилось в бурлящем зеркале крохотного водоема. Из джунглей тянуло прелью и жарким смрадом болот. Где-то совсем близко кричали сизые цапли. Юркие оранжевые обезьяны перелетали с дерева на дерево, раскачиваясь на упругих канатах лиан, и бабочки необыкновенными цветами раскрывались вокруг посреди опутанного бледными присосками воздушного корневища. Как пестра и великолепна была эта вечно ликующая неуемная жизнь! Гунашарман зажмурился. Мертвый щекочущий дым невидимо просачивался сквозь горячую сырость непроходимого леса. Это горел, не сгорая, погребальный костер, унося в невыразимое ничто родных и близких. Он знал, что, покуда дышит, будет чувствовать эту гарь.

В пальцах остался твердый неровный шарик. Брахмачарин с трудом раскрыл полные слез глаза и тут же вновь зажмурился, ослепленный нестерпимым блеском изломанной алой искры. Шарик выскользнул и закатился в траву. Но долго искать его не пришлось. Ослепленный слезами, Гунашарман упал перед слетевшей с неба звездой на колени.

— Джьоткраса[1], — благоговейно прошептал он, накрывая драгоценность ладонью.

Вспомнились аллегорические рассказы гуру и туманные намеки брахманов о тройственном единении Сомы, Индры и Сурьи. Гунашарман попытался запеть благодарственный гимн, но память о мертвых сдавила горло, и, упав лицом в красную от пыли траву, он разрыдался по-детски открыто и безутешно.

Соки Сомы потекли, стремительные
Выжатые капли,
Как капли дождя — на землю,
Соки Сомы полились к Индре[2]

Никого из тех, кто вскормил и воспитал дважды рожденного, не было уже на земле. Каплей расплавленного металла прожигал ему руку джьоткраса, которого он никогда раньше не видел, но сразу узнал.

...Ночь застала Гунашармана глубоко в джунглях. По тайным тропинкам уходил он все дальше от родных мест, где пировали победу барласы и джагатаи хромого тюрка. Узкий серп отощавшего небесного Сомы едва проглядывал сквозь многоярусную крышу великого леса. Только на полянах и у ручьев неверный фосфорический отблеск трогал резные листья папоротников или стеклянный

[1] Джьоткраса — буквально «излучающий свет» Это о нем говорит великий индийский писатель Сомадева (XI век) «Сверкающий ярче двенадцати солнц»

[2] Ригведа, «Гимн Соме», IX, 17

узор настороженной паутины. Кувыркались выдры в черных ручьях, глотая лунное отражение и не в силах напиться светом. Их игривому плеску вторили серебристые рулады древесных лягушек и звонкая прерывистая капель срывающихся с листьев пиявок. Ночной лес справлял тайный праздник последней фазы луны. Его наполняли неразличимые шорохи и шумы. Падали в кишащий клопами перегной перезрелые плоды. Водяные змеи скользили, как по льду, с одного берега на другой. Чешуйчатые ящеры подрывали растревоженный муравейник. И страшные совы терзали когтями летучих мышей, ловя всевидящими очами последние призраки зодиакального света.

Сколько невидимых глаз следили из темноты за одиноким путником! В жалком дхоти, с посохом и узелком в руках, он казался таким неприкаянным и беззащитным, что великий лес пропустил его сквозь заповедные дебри, не причинив вреда. Даже замшелый, заляпанный жидкой грязью крокодил не пошевелился, когда босая человечья ступня соскользнула с его плоской пупырчатой головы. Он только приоткрыл глаз, мелькнувший, как угасающая лучина. Но Гунашарман ничего не заметил. Он шел, завороженный скупым сиянием джунглей, прислушиваясь к далекому звону пятиструнной ви́ны, который все явственнее вплетался в таинственный ропот леса. Петлявшая в зарослях тропа постепенно расширилась и стала тверже. Все реже и реже натруженные ноги давили обжигающих скользких улиток, и стальные шипы перестали тиранить пятки. Лес неожиданно кончился, и Гунашарман вышел на большую наезженную дорогу. Вина звенела совсем уже близко. Он шел на ее призыв, различая во тьме только уплощенный смазанный силуэт большого раскидистого дерева. Лишь войдя в непроглядную его сень, он увидел белый цветок лианы и промелькнувшую белозубую улыбку. И в это мгновение острый сияющий серп пронзил летучее облачко.

— Кто ты? — спросил он сидевшую под деревом женщину, которая все продолжала тревожить заунывные струны. — Почему я почти не вижу тебя?

— Я смугла, — отвечала она, смеясь, а вина в ее руках стонала и жаловалась, обещая покой и надежду, но только потом, потом. — И на мне черное одеяние.

— Цвет ночи.

— И цвет любви. Присядь, чужестранец, передохни.

— Как тебя зовут?

— Ша́нти[1], и мне четырнадцать лет. Откуда ты, путник?

— Я жил в долине Суалик. Теперь туда пришел Тимур-Хромой, и у меня никого не осталось на свете.

— Бедный! Мне так тебя жаль! — Девушка перестала играть.

— Ты не только спокойствие, — Гунашарман коснулся ее руки, — ты и радость. Вина, луна в зените и ты... Разве это не утешение?

[1] Шанти — спокойствие

— Пойдем со мной, юноша. Я омою тебя, умащу благовониями и накормлю.

— Какой ты варны? — настороженно спросил молодой брахман, отдергивая руку.

— Мы шудру, — она засмеялась, — рождаемся лишь однажды.

— Тогда мне нельзя с тобой. Как жаль, что ты из варны прислужников!

— О, конечно! — С вызовом она ударила по струнам. — Ведь ты же брахман! «Из живых существ наилучшими считаются одушевленные, между одушевленными — разумные, между разумными — люди, между людьми — брахманы»[1]. Разве не так?

— Да, таков закон.

— Что за дело тебе до законов, — она вскочила с места, — когда ты сам грязен и нищ, как последний неприкасаемый?! Твоя деревня сожжена, и ее жители перебиты, а ты все думаешь о своем брахманстве! Слепой крот! Или ты и вправду веришь, что «брахман — ученый или неученый — великое божество»?[2]

— Таков закон, установленный прародителем человечества, — уже мягче повторил он. — Не сердись, девушка-шудра. Мне нельзя есть твой рис.

— А любить тебе можно? — Распахнув чóли[3], она подступила к нему. Лунная пыль дрожала на тонких ее плечах.

— Мне ничего нельзя, — грустно ответил юноша. — Будь и ты смиренна. Закон говорит, что шудра, если он чистый, послушный высшим, мягкий в речи, свободный от гордости и всегда прибегающий к покровительству брахмана, может получить в новой жизни высшее рождение. Поэтому не горюй и надейся.

— Дурак ты, дурак, — она отступила в тень, — хоть и дважды рожденный. Что мне за дело до другой жизни? Ведь в том существовании буду уже не я. И ты станешь другим. Неужели ты не чувствуешь, что гибнет весь наш мир и вся твоя брахманская глупость вместе с ним? Завтра или послезавтра хромой тюрок доберется и сюда. Милостивая матерь Кали, будь свидетельницей! — Девушка гневно притопнула ногой. — Я не так хотела провести последнюю ночь перед концом света, но боги распорядились по-своему. Значит, так тому и быть! Пеняй на себя, тщедушный брахман.

— Ты напрасно гневаешься, — примирительно заметил он, — никто не виноват в том, что люди принадлежат к разным варнам. Ни ты, ни я, ни боги. Так было от начала мира и так есть.

— Но так не будет, когда тюрок свалит наши тела в одну кучу!

— И очень жаль, потому что и в смерти каждому положен отдельный костер.

— Вот заладил! — Она ударила кулачком по стволу. — Что с тобой говорить, желторотый вороненок! Тебе, наверное, невдомек,

---

[1] «Законы Ману» I, 96 и IX, 317

[2] Там же

[3] Чоли — короткая блузка, завязывающаяся спереди

что можно жить иначе? Очень весело, хоть и беззаконно, не ведая ни запретов, ни каст?

— Это греховная жизнь, и тяжкая последует за нее расплата.

— Пусть так, но она не хуже твоей... Что ж, пеняй на себя, набитый мертвой премудростью вороненок, ты сам во всем виноват. — Девушка подняла с земли вину. — Я этого не хотела.

— О чем ты, девушка-шудра?

— Так, пустяки, хорошенький брахманчик. — Она зацепила ноготком струну и резко отпустила ее. — Куда ты идешь?

— В город, — ответил он, прислушиваясь к дрожащему звуку. — Хочу примкнуть к тамошней общине жрецов. У меня до них дело.

— А денежки у тебя есть?

— Ни единой паны.

— Иди по этой дороге, никуда не сворачивая, и к утру ты встретишь людей, у которых сможешь поесть, не оскверняя себя.

— Спасибо, девушка-шудра, оставайся с миром.

— Иди и ты с миром, глупый брахманчик. — Она отвернулась и стала перебирать струны.

Под тоскливый напев вины, в котором не звучала уже и отдаленная надежда, Гунашарман вышел вновь на дорогу и скоро скрылся из глаз.

Он не услышал, как оборвалась печальная песня и девушка изо всех сил ударила по струнам. На троекратный трагический крик вины жалобным воем отозвались откуда-то голодные красные волки. С детства приученный к бесстрастию, он спокойно шагал по еще не совсем остывшей пыли, заглушив в сердце тоску и боль невозвратимой утраты. А девушку-шудру он выбросил из головы, как только перестал различать напев вины. И зачем ему было думать о ней, когда в кромешной тени дерева не разглядел он на ее груди и щеках выжженное клеймо тхагов — страшных служителей богини Бхавани?

Он даже не обернулся, когда в нескольких шагах позади него бесшумно выпрыгнула на дорогу странная многорукая тень. Зловеще искажаясь в наезженных колеях, она быстро настигла Гунашармана и вдруг раздвоилась прямо у него за спиной. Он не успел даже вскрикнуть, когда два угрюмых бородача намертво сдавили ему запястья. Испуганно глянул налево-направо, увидел заступ в руке у одного грабителя и белый платок — у другого, но ничего не успел понять от острой удушливой боли, которая сломала ему горло. И сразу все кончилось.

— Готово, — сказал душитель, тхаг, вытаскивая платок из-под бессильно запрокинутой головы молодого брахмана. — Обыщи его, Свами.

Тот, кого он так назвал, нагнулся и поднял с земли узелок.

— Ничего, — сказал он, вытряхивая на дорогу слипшиеся комочки холодного риса и кокосовую чашку для воды.

— А здесь? — Его напарник принялся ощупывать дхоти. — Ого! — воскликнул он, вытаскивая камешек, сверкавший даже в

ночи. — Это, кажется, по твоей части, Свами! — И засмеялся: — Смотри не обожгись.

— Ему цены нет, — покачал головой Свами. — И потому его нелегко будет сбыть с рук.

Он засунул камень за щеку и, сойдя с дороги, принялся рыть могилу, как того требовали неписаные правила его преступной секты.

Багровеющий серп закатывался, и близился новый день священного месяца ихалгуп по индийскому календарю. Он соответствовал вторнику восемнадцатого числа месяца джумади ал-ахира 801 года Хиджры[1], от которой отсчитывал время завоеватель мира Тимур.

Вот как описал этот день Гийасаддин Али, льстивый летописец Железного Хромца:

«Победоносное войско сделало набег на это селение. Индусы, распростившись со своим достоянием, сами подожгли свое селение и убежали. Свершилось (все) по речению небесного откровения: «Они разрушили дома свои своими руками и руками верующих». Солдаты захватили в этом селении много фуража и продовольствия. В тот же день, в полуденное время, был сделан набег на два других селения, лежавших неподалеку от первого, из которых извлекли много зерна и съестных припасов. Индусы, закрепившиеся в (ущелье) той горы, были людьми выдающимися на арене отваги и возмущения и руководителями на стоянках неустрашимости и кровопролития. Не ценя своей головы, которая есть капитал жизни, они признавали риск жизнью и отчаянность по существу доблестью и выигрышем ставки в игре».

Можно сомневаться, насколько правдиво утверждение летописца, что индусы сами подожгли свои дома, но доблесть и самопожертвование, с которыми встретил индийский народ вторжение чужеземцев, несомненны.

Среди тысяч пленных, захваченных в этот день, оказался и душитель Свами. Он быстро смекнул, что сможет избежать смерти, если назовется ремесленником. На вопрос темника Хусайна Маликкуджи о его занятии, он без колебаний ответил:

— Ювелир, притом очень искусный, ваше высочество.

По личному распоряжению его хаганского величества эмира Тимура он был отправлен в Самарканд, дабы приумножил трудами своими неподражаемый блеск жемчужины света.

Глава четырнадцатая

ОПЕРАТИВНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Приблизительно в то самое время, когда Сударевский почти со слезами на глазах благодарил своего директора и многословно прощался с ним, в кабинете генерала началось оперативное совещание. Присутствовали: подполковник Костров, майор Данелия, капитан

[1] 25 февраля 1399 года.

Крелин, слушатель высшей школы МВД Логинов и в качестве консультанта по вопросам печати член Союза писателей СССР Березовский. Докладывал Люсин.

— На этом чертеже, — объяснял он, водя указкой вдоль длинного, прикнопленного к стене ватманского листа, — предположительно представлен последний день жизни Аркадия Викторовича Ковского. Авторитетные отзывы ведущих ботаников, заключения наших экспертов, а также опыты, специально поставленные по нашей просьбе во Всесоюзном институте лекарственных растений, конечно, не позволяют интерпретировать колебания электрических потенциалов корня и листьев растения достаточно однозначно, но, прежде чем перейти к традиционным вещественным доказательствам, я все же позволю себе сделать такую попытку. На представленном графике, построенном по данным, снятым с ленты электронного потенциометра, который находился в кабинете Ковского на даче в Жаворонках, эти колебания даны во времени. На ординате, таким образом, отложена интенсивность сигнала, на абсциссе — время в часах. Точка отсчета, отвечающая началу координат, взята на основании свидетельских показаний близких Аркадию Викторовичу людей. Условно она соответствует десяти часам утра. Учитывая возможную погрешность, мы приняли величину отклонений точности плюс-минус один час. Таким образом, и все последующие, отраженные на этом графике события могут отклоняться от указанных на абсциссе временных интервалов на один час.

Костров. Мне все же не совсем ясны основы, на которых базируются все ваши построения. Если я могу еще принять за объективно существующие показатели такой параметр, как, скажем, электрический потенциал листа, то термин «восприятия растения» или тем более «ощущения» мне представляется недоказательным.

Генерал. Правильное замечание.

Люсин. Хочу еще раз подчеркнуть, что это было сказано лишь для более образного понимания. Действительно, в вводной части своего выступления я употребил слово «восприятие», но под ним следует понимать только изменение потенциала в ответ на раздражение. На этом графике, повторяю, нет иного параметра. Только электрический потенциал! Мое обещание продемонстрировать здесь последний день Ковского, отраженный в зеркале растения, конечно же, своего рода литературная гипербола.

Березовский. Скорее, метафора.

Люсин. Конечно, метафора. Но тем не менее вы видите здесь именно графическую запись последних часов Аркадия Викторовича.

Крелин. Запись его опытов. Это своего рода тетрадь, лабораторный дневник. Объективное отражение манипуляций с растением. Потенциометр-то включал сам Ковский. Тут цветок ни при чем.

Люсин. Совершенно верно. Но здесь нечто большее, чем лабораторная тетрадь исследователя. Как мы увидим далее, она продолжала писаться и после его смерти. Если вопросов больше нет, я продолжу.

Костров. Вы назвали растение сомой. Научное его название известно?

Люсин. Известно. Попрошу товарища Березовского ответить подполковнику.

Березовский. Асклепия акида, или саркостемма виминалис. Хочу указать на первое название. Оно образовано от собственного имени Асклепий. Так звали древнеегипетского жреца, прославившегося необыкновенным искусством врачевания. Впоследствии его отождествили с богом мудрости Тотом, или Гермесом Трисметистом по-гречески. Кстати, греческое «Эскулап» тоже образовано от имени Асклепий. Лично мне подобные соответствия представляются весьма любопытными. Впрочем, по некоторым данным, сома — это эфедра.

Люсин. Благодарю, Юра. Еще вопросы?.. Нет? Тогда продолжим. Согласно тем же свидетельским показаниям, рабочий день Ковского начинался с утреннего полива цветов. Характерный всплеск на кривой как раз и отражает подобную процедуру.

Костров. Подобный пик характерен исключительно для нее?

Люсин. Насколько мы можем судить, да. Опыты, поставленные в лабораториях ВИЛРа, это подтвердили.

Костров. Очень хорошо. Извините, что прервал.

Люсин. Реакция, которую опять же чисто условно можно характеризовать как удовлетворение — на самом же деле это просто насыщение влагой, — продолжалась восемь минут. Далее запись потенциалов приняла обычный вид. Как я уже упоминал, программа опытов, которые проводил Аркадий Викторович совместно со своим помощником, состояла из двух частей. Названия их: «Любовь» и «Ненависть» даны самими исследователями. Речь идет, таким образом, о воздействиях, которые вызывают у растения положительную или отрицательную реакцию. Впрочем, и эти понятия чисто условны, поскольку нервных клеток у растения, как известно, нет. На нашем графике плюс-реакция характеризуется падением интенсивности сигнала, минус — возрастанием. В десять часов восемь минут сигнал выровнялся и приблизился к нулевой линии.

Генерал. Объясните, что представляет собой эта линия.

Люсин. Она характеризует среднестатистическую интенсивность сигнала в условиях, когда никаких воздействий на растение не оказывается. На графике ясно видно, что кривая колеблется около нулевой до тринадцати сорока условного времени. С этого момента она начинает медленно падать.

Данелия. С чем это связано?

Люсин. Точного ответа мы не нашли. Возможно, исследователь протер листья растения настоем табака, чтобы отвадить тлей, возможно, прорезался новый побег или в окно заглянуло солнце. Согласно некоторым показаниям, цветок проявлял плюс-реакцию, когда к нему просто подходили близко.

Крелин. Приятные люди, как выражается сестра Ковского.

Люсин. Да, люди, которые воздействовали положительными раздражителями: поливали, удобряли, ухаживали, одним словом.

Костров. Неужели растение различало людей?

Люсин. ВИЛР, куда мы передали все цветы Ковского, это не подтверждает. И вообще следует отметить, что столь четкой реакции, как на раздражения плюс — минус, не наблюдается. Очевидно, цветок реагирует не на одного человека, а на полив, который он производит.

Костров. Без стопроцентной повторяемости трудно говорить о юридической силе.

Генерал. Об этом вопрос пока не стоит.

Костров. И вряд ли когда-либо будет стоять.

Крелин. Совершенно верно, товарищ генерал. Мы просим рассматривать представленную зависимость только в качестве дополнения к следственной версии.

Данелия. В качестве одного из пунктов дополнения? Я так понимаю?

Люсин. Совершенно верно. В качестве одного из пунктов. Итак, в промежутке десять ноль восемь — тринадцать сорок растением, по всей видимости, никто не занимался. Потом неизвестное нам воздействие вызвало слабую плюс-реакцию, которая, медленно затухая, продолжалась до примерно четырнадцати часов. Затем исследователь, надо полагать, приступил к экспериментам.

Генерал. Если судить по такому могучему взлету, то налицо явная минус-реакция. Правильно?

Люсин. Так точно, товарищ генерал.

Генерал. Но вы, Владимир Константинович, кажется, утверждали, что Ковский проводил только программу «Любовь»? Нет ли здесь противоречия? Или мы видим тут уже работу Сударевского?

Люсин. Виноват! Я забыл доложить, что, кроме общей программы «Любовь — Ненависть», проводились и опыты, в которых на растение воздействовали косвенным образом. Исследователь изучал, как меняется интенсивность сигнала в присутствии живых существ и всякого рода минералов. В частности, большое значение придавалось опытам с креветками, которые якобы доказали, что растение реагирует на смерть живого существа.

Костров. В самом деле доказали?

Люсин. У нас есть основания сомневаться. По-моему, Ковский принимал следствия за причину. Специалисты в один голос говорят о чрезвычайно высокой чувствительности растений к малейшим изменениям среды: температуры, солевого состава, магнитного поля и так далее.

Костров. Но растение чувствовало гибель креветок?

Люсин. Обращаю ваше внимание, что слово «чувствовало» произнесли вы сами.

Крелин. Еще в тридцатые годы профессор Гурвич обнаружил так называемое некробиотическое излучение, которое испускают живые клетки в момент гибели.

Люсин. Не наше дело заниматься научным истолкованием фактов. Специалисты считают, что реакция вызвана не гибелью кревет-

ки, как таковой, а всего лишь воздействием хлороформа. Банку-то экспериментатор ставил в непосредственной близости с цветком!

Генерал. Значит, вы полагаете, что в четырнадцать часов Ковский приступил к опытам с креветками? Другого истолкования этим горбам на графике вы не даете?

Люсин. Нет, не даю. Судя по кривой, вблизи растения были умерщвлены в банке с хлороформом пять пресноводных креветок. Минус-реакция растения исключительно показательна. Сами исследователи называли такие характеристические взлеты взрывом ужаса и протеста. Я, разумеется, воздерживаюсь от повторения столь одиозных терминов. Но упомянуть о них считаю необходимым. Пики интенсивности, якобы вызванные гибелью живого существа, нельзя спутать с пиками минус-реакции, следовавшими за прижиганием листьев и раздражением их слабым током. Свидетель Сударевский это обстоятельство подтвердил. Показания его запротоколированы и надлежащим образом оформлены. Далее я покажу, почему мы придаем этому столь существенное значение.

Костров. Известны ли другие случаи использования чувствительности растений в следственной практике?

Крелин. Известны. В настоящее время вопрос интенсивно дискутируется в периодической литературе. Мнения крайне противоречивы: от безудержно восторженных до крайне отрицательных. Если вас интересует, могу дать подробную библиографическую справку.

Костров. Спасибо. Вопрос интересует меня лишь в принципе.

Данелия. И меня тоже. Может ли растение определить убийцу?

Крелин. Некоторые зарубежные авторы считают, что может. Но для этого оно должно находиться в комплекте с регистрирующими приборами, как это имело место в нашем случае. В отечественной литературе распространено противоположное мнение.

Люсин. Среди полученных нами отзывов есть и такие, где прямо сказано, что все разговоры об ощущении растений — вздор.

Генерал. Вопрос весьма интересный, и, я думаю, к нему надо будет еще вернуться. Мне тоже представляется бредовой идея так называемой тайной жизни цветов. Но их поразительная чувствительность ко всяким воздействиям — воде, солнцу, воздуху — бесспорна и никогда не вызывала сомнений. Продолжайте, Владимир Константинович.

Люсин. Минус-реакция, вызванная поочередным усыплением пяти креветок, продолжалась, как это видно, девяносто с лишним минут. Лишь к шестнадцати часам сигнал опустился до среднестатистического значения. Исследователи называли этот участок, ограниченный медленно убывающей кривой и нулевой линией, «областью релаксации». В разговоре они, однако, говорили о «глубине впечатления». Следуя далее вдоль оси времени, мы обнаруживаем еще одну характерную реакцию растения. Я имею в виду этот плюс-импульс, отвечающий примерно семнадцати часам тридцати пяти минутам. Совершенно очевидно, что он почти неотличим от начального импульса вблизи десяти часов утра.

Д а н е л и я. Опять цветы поливал.

Л ю с и н. Совершенно справедливо. Это вечерний полив. Обычно, как показала сестра Аркадия Викторовича, они поливали цветы между семнадцатью и восемнадцатью часами. Здесь я вижу лишнее доказательство правильности сделанного выбора точки отсчета. Отклонение точности в нашем случае не превышает плюс-минус тридцать минут. Теперь мы подходим к наиболее важному моменту. Вечерний полив — чрезвычайно интересный для нас рубеж. Прежде всего потому, что он свидетельствует об окончании эксперимента. Не приходится сомневаться, что после вечернего полива Аркадий Викторович больше к растению не прикасался. Это подтверждается как свидетельскими показаниями, так и анализом лент предыдущих опытов. Но в тот последний день жизни он почему-то нарушил свое правило. Попробуем проанализировать почему. Для начала обратимся все к той же кривой. Полив и последовавшее за ним активное насыщение влагой, о чем свидетельствует характерное плато на графике, не стал последним событием в дневной жизни растения. Раньше, проанализировав любую ленту предыдущих дней, мы бы обнаружили на ней еще только два события: одно из них — наступление темноты, другое — сон. В обоих случаях сигналы получаются достаточно характерными, чтобы их не спутать ни с чем иным. Оно и понятно: с наступлением темноты, как известно, прекращается фотосинтез, и растение переходит с одного режима на другой. Если днем зеленые листья поглощают углекислый газ и выделяют кислород, то в ночное время, наоборот, дышат кислородом и выпускают углекислоту. Речь, таким образом, идет уже не о каких-то искусственных раздражителях, а о физико-химических, чисто биологических, наконец, процессах. Не удивительно, что они нашли столь адекватное выражение и на кривой потенциалов. Итак, мы знаем достоверно, что в роковой день опыты с растением не закончились с вечерним поливом. Прежде чем стало темно, а темнота в тот день наступила в двадцать один сорок семь — прошу в этой связи обратить внимание на падение импульса вблизи двадцати двух часов, — растению предстояло пережить еще четыре события. Забегая вперед, скажу, что и на этом не кончаются незапланированные испытания. Последнее из них вскоре прервет сон растения и в конечном итоге его жизнь. Но прежде проанализируем характер первых четырех точек. Вскоре после полива, где-то около восемнадцати часов, растение испытало воздействие, характерное для раздражителей программы «Ненависть». Правда, взлет кривой здесь не столь стремителен, как при раздражении листьев током, и продолжительность минус-реакции тоже короче, но эффект налицо. Раньше подобное наблюдалось только при контакте с исполнителем программы «Ненависть». Если стать на точку зрения экспериментаторов, то у нас есть все основания предположить, что и в тот день, около восемнадцати часов, Сударевский вошел в кабинет.

К о с т р о в. А что он сам по этому поводу говорит?

Г е н е р а л. Отрицает. Слушаем вас, Владимир Константинович.

Л ю с и н. Я продолжаю. Двинемся далее вдоль оси времени. В точке, соответствующей восемнадцати часам десяти минутам, кривая стремительно летит вниз. Экстраординарная, нигде ранее не зарегистрированная плюс-реакция. Профессор Ковский, к сожалению, ее нам не прокомментирует, старший научный сотрудник Сударевский, естественно, тоже, поскольку утверждает, что вообще не был в тот день на даче. Лично я не рискну прибегнуть к лексикону исследователей и назвать это взрывом восторга. Чем все-таки вызван загадочный взрыв, последовавший вскоре за предполагаемым приходом Сударевского? Здесь мы поневоле встаем на шаткую палубу домыслов. Ничего конкретного не известно. Но если вспомнить все, что мы знаем о загадочном алмазе винно-красного цвета, то невольно рождается любопытное сопоставление. Разве не с помощью сомы-хаомы можно обнаружить истинно шахский камень? Легендарный «Огонь-Вино»? Разве не с помощью сомы-хаомы бесцветный алмаз обретает окраску? «Белая Луна» превращается в «Красное Солнце»? А если учесть, что всего несколько дней назад Мирзоев передал такой камень Ковскому, то все становится на свои места, Ковский взял камень для физико-химического исследования, но мог ли он удержаться при этом от опыта с сомой? Да ни за что на свете! Я совершенно уверен, что он экспериментировал с цветком и камнем до тех пор, пока не получил необходимых, скажу больше — потрясающих результатов! И когда в тот роковой день пришел Сударевский, он продемонстрировал их ему. Опыт безусловно удался. Мы можем лишь гадать, в чем именно он заключался, но одно из его последствий налицо: это невообразимый взрыв плюс-реакции, который вы видите здесь. Но последуем дальше. Третий пункт на кривой следует вскоре после того, как импульс возрос до среднестатистического. В восемнадцать двадцать семь растение успокоилось, а ровно через две с половиной минуты кривая резко рванулась вверх. Чем вызвана такая минус-реакция? По рисунку импульса она похожа на те пять, как назвал их товарищ генерал, горбов, которые возникали один за другим по мере того, как падали в хлороформ живые креветки. Подобное предположение получает подтверждение еще через восемь минут. Вновь следует всплеск негативной минус-реакции, взрыв ужаса, как говаривал покойный Аркадий Викторович, и протеста. Да, теперь мы можем говорить о Ковском как о покойнике. Не имеет значения, что на кривой потенциалов импульс, свидетельствующий о смерти человека, неотличим от сигнала, который отобразило печатающее устройство, когда креветка легла в хлороформ. Можно лишь предположить, что экспериментатор, перед тем как упасть, возможно, пытался схватиться за подоконник, задел рычажок и открыл банку. Наш свидетель — всего лишь растение, примитивный объект, почти автоматически регистрирующий проникновение ядовитых паров. Лишь чисто случайно это связано со смертью. В принципе мы можем вообще отбросить растение из нашего поля зрения. Потенциометрические ленты говорят сами за себя. Мы знаем время, в которое Ковский включил прибор, и знаем, что выключить тумблер он уже не

сумел. В дополнение к бесспорным уликам это и без того складывается в законченную картину. Таковы факты и таково возможное, видимо, не всегда убедительное, их истолкование. Обратимся теперь к другим фактам и к другим домыслам и попробуем проследить, насколько укладываются они в нарисованную здесь схему.

Логинов. Приблизительно в пятнадцать часов на соседнем участке залег Зализняк и повел наблюдение. Где-то рядом был и Потапов.

Люсин. Правильно. О деятельности Стекольщика нам еще предстоит говорить, пока же будем просто помнить, что он лежит в кустах и следит за домом Ковских. Нас в данном случае больше интересует все-таки Сударевский. Он прибыл около восемнадцати часов...

Костров. Предположительно прибыл!

Люсин. Ошибаетесь, Вадим Николаевич. Мы располагаем неопровержимыми уликами пребывания Сударевского, которые никакого отношения к спорным опытам с растением не имеют. Кривая импульсов позволяет лишь уточнить время. Восемнадцать часов. С тем, что время определено приблизительно, я согласен.

Костров. Вы правы. Улики говорят сами за себя.

Люсин. Итак, остановимся на том, что в восемнадцать часов Марк Модестович появился в кабинете. После того как шеф продемонстрировал ему свои достижения, между ними начался неизбежный обмен мнениями. Возможно, даже спор.

Крелин. Научная дискуссия.

Люсин. Да, научная дискуссия... Потом случилось нечто такое, что привело Аркадия Викторовича к обширному инфаркту и последовавшей вскоре смерти. Что же это могло быть?

Генерал. Для начала ничего особенного. Для меня так первый звоночек прозвенел, когда я тихо-мирно квасил на зиму капусту.

Люсин. Очень может быть. Я готов допустить, что между Ковским и его учеником ничего не было. Они, как вы говорите, тихо-мирно беседовали на научные темы, но случился внезапный приступ и так далее... Доказать, что все проистекало совсем не так, а по-иному, я не смогу, но это не мешает мне высказать свою точку зрения. Я не только не согласен с тем, что разговор на научные темы протекал тихо-мирно, но, напротив, убежден, что именно тогда Сударевский сделал или, вернее, сказал нечто такое... короче говоря, инфаркт не был беспричинным.

Костров. Помнится мне, вы говорили об убийстве словом. Яркое выражение. Запоминается.

Люсин. Я старался избегать ярких выражений, не допускать эмоциональной окраски, которую в нашем деле не слишком приветствуют. Но раз уж зашла речь, я готов повторить, что в нашем случае имело место именно такое убийство словом. Попробуем логически воссоздать всю картину.

Крелин. Только не увлекайся.

Люсин. Хорошо. Я буду придерживаться фактов... Как известно, к интересующему нас дню резко обострилась ситуация вокруг

заявки на открытие, поданной совместно Ковским и Сударевским. Новое всегда рано или поздно пробивает себе путь. Это общеизвестно. Но не секрет и другое: новое всегда пробивается с боем.

Генерал. Да еще с каким!

Люсин. Такова природа нового. Такова, если угодно, диалектическая сущность прогресса. Новое созревает в недрах старых форм и в борьбе, через отрицание старого, выковывает свой новый облик. Эти слова не мои. Они принадлежат профессору Лосеву, который читал у нас на юрфаке диамат. Я их просто запомнил... Не вдаваясь в суть взаимоотношений авторов заявки с коллегами и руководством института, экспертами из комитета и членами авторитетных научных комиссий, могу лишь сказать, что отношения эти не были простыми. Виноваты здесь, видимо, обе стороны. Но взаимоотношения изобретателя с экспертом никогда и нигде не были простыми и легкими. Новое всегда приходится, повторяю, пробивать. Изобрести — это в лучшем случае полдела. Доказать, пробить, убедить недоверчивых и сомневающихся — вот истинная задача. Она требует от изобретателя упорства, бойцовских качеств, не надо бояться этого слова, оптимизма и невероятного терпения. Оба наши заявителя, насколько можно судить, ничем подобным не обладали. А если добавить сюда и элементарное невезение, то, сами понимаете, ситуация получается достаточно сложная. Я уж не говорю о том, что открытие, как на беду, попало к не очень порядочным людям. Такое, к сожалению, тоже встречается. Не будем закрывать на это глаза!

Генерал. Что это ты нас пугать начал? Призываешь не закрывать глаза, не пугаться! Тоже нашел пугливых!

Дружный смех

Люсин. Прошу прощения.

Генерал. И вообще пора брать быка за рога.

Люсин. В родео участия не принимал, но попробую взять. На острую, чреватую многими осложнениями ситуацию соавторы реагировали по-разному. Если для основного творца это открытие было итогом всей жизни, творческим синтезом, в котором слились знания и увлечения, работа и хобби, то для его ученика все обстояло не столь сложно. Он мог взвешивать все «за» и «против», более трезво оценивать как положительные, так и отрицательные последствия борьбы за научную истину. Отрицательный баланс оказался весомее. Помимо завистников и недоброжелателей, которые есть у каждого, на него ополчились и кое-кто из китов. Повисла в воздухе многолистная монография, вылетела из сборника статья, на которую пришел отрицательный отзыв, и так далее. Руководство института, на которое тоже стали оказывать некоторое давление, видимо, дало понять, что дальше так продолжаться не может. Положение соавторов осложнилось. Журавль в небе показался далеким как никогда, а синица в руках начала трепыхаться и клевать пальцы — того и гляди, упорхнет. Сама собой напрашивалась мысль о выборе. Ковскому с его устойчивой научной репутацией терять было, в сущности, нече-

го. В членкоры он не лез, а профессорское звание, в котором ему отказали, не так уж его и волновало. Зарплата от этого не зависела.

Генерал. Слабый аргумент.

Люсин. Даже если он и переживал из-за неожиданного афронта, то не так сильно, как Сударевский. Подумаешь, не дали профессора! В крайнем случае это можно рассматривать как болезненный укол по самолюбию, не более. Другое дело докторская диссертация. Для Сударевского поворот от ворот явился куда более чувствительным ударом. Он мог воспринять его почти как крушение. Если не всей жизни, то карьеры наверняка. Сегодня вернули диссертацию, а завтра, глядишь, забаллатируют на очередном конкурсе. Поэтому если Ковский не мог отказаться от борьбы в силу своего характера научной репутации, образа мышления, наконец, не говоря уж о том, что терять ему было нечего, то склонный к соглашательству Сударевский готовился при первом удобном случае капитулировать. Как мы знаем, он так и сделал, причем на достаточно выгодных условиях. В разговоре со мной он этого даже не скрывал. Его не смогло поколебать даже известие о восторженной реакции на работу академика Берендера. А ведь это обещало решительный перелом, почти гарантированный успех, награду за все усилия. Я думаю, у нас в стране не много найдется таких ученых, которые поступили бы в аналогичных обстоятельствах так, как Сударевский. Любой другой на его месте пошел бы до конца и победил. Но он, трезво и холодно все рассчитав, предпочел предательство. Иначе его поступок и не назовешь. Особенно теперь, когда следовало отстаивать свою правоту ради одной лишь памяти об учителе. Но в том-то и беда, что Ковский был слишком снисходителен к ученику. Марк Модестович во многом, конечно, ему помог, но ведь само открытие сделал не он. Это была не его работа и не его боль. Поэтому он так легко и сдался. Тем более что за капитуляцию говорил и чисто бухгалтерский расчет. Что выигрывал Сударевский, если бы открытие было признано? Не очень громкую славу и пару тысчонок. А что он получит теперь? Докторскую и должность завлаба, что гарантирует ему ежемесячный оклад в пятьсот рубликов до самой пенсии. О спокойной жизни я уж и не говорю. Вот почему я уверен, что в тот момент, когда восторженный, увлекающийся Аркадий Викторович продемонстрировал любимому ученику очередной триумф, тот мог со спокойной душой заявить о своем отказе от дальнейшей борьбы. Не сомневаюсь, что сказано это было самым почтительным тоном, в самых корректных выражениях. Результат предугадать нетрудно. Он налицо, этот трагический результат. Я не имею оснований обвинять Сударевского в убийстве, но я уверен, что он убийца. Аркадия Викторовича сразило слово ученика.

Костров. Эффектно, но не слишком убедительно.

Генерал. Я бы сказал иначе: очень убедительно, но недостаточно пока доказательств.

Люсин. Конечно, если рассматривать в отрыве от всех последующих действий. Но мы попробуем рассмотреть все вместе. Вспомните, как повел себя Сударевский, когда увидел, что Аркадий

Викторович упал. Он попытался помочь ему? Не знаю. Возможно, и попытался. Он позвал на помощь? С уверенностью можно сказать: нет! Напротив, он действовал, словно действительно стал убийцей. По имеющимся уликам мы можем проследить теперь каждый его шаг. Начиная с того, первого, когда он наклонился над умирающим, а возможно, и мертвым уже учителем. Зачем он так поступил? Было ли то проявлением естественного сострадания? Растерянности? Или он чего-то искал? Наконец, просто захотел убедиться, что учитель мертв? Определенного ответа мы не получим. Попробуйте припомнить хотя бы, как он курил. Здесь, в комнате, возле трупа, и там, у калитки, уже успокаиваясь и подстерегая удобный момент, чтобы незамеченным уйти из дома, где его считали своим. Реконструируйте эти сцены, и вы увидите человека безусловно взволнованного, но тем не менее прекрасно владеющего собой, человека, преследующего одну-единственную цель, почти одержимого. Что же это за цель?

Генерал. Почему этот ваш Стекольщик не опознал Сударевского? Он же наблюдал за дачей и раньше и в тот день?

Люсин. К гостям он не присматривался, а дом Ковских посещали многие.

Генерал. Но в тот день, за несколько часов до дела?

Крелин. По-моему, тут все ясно. Сударевский находился в доме как раз в тот промежуток времени, когда Зализняк следовал на некотором отдалении за Людмилой Викторовной, чтобы своими глазами увидеть, как она сядет в московскую электричку.

Логинов. Он даже не уследил за тем, как вышел Ковский.

Генерал. И не мог уследить, поскольку тот никуда не выходил.

Логинов. Простите, я неточно выразился. Он не видел, как хозяин покинул дом, но это его ничуть не взволновало. Он был просто уверен, что Ковский, как обычно, уедет вечером.

Генерал. Ну и что?

Логинов. Очень просто. Зализняк навряд ли так уж бдительно следил за домом в те часы. Проводив Людмилу Викторовну, он перестал волноваться. Все шло как надо.

Генерал. Резонно.

Люсин. Прежде чем продолжить анализ поведения Сударевского в те часы, точнее, в те считанные минуты, я хочу попросить товарища Кострова сказать несколько слов о его взаимоотношениях с Мирзоевым.

Костров. Если мы с вами не ошибаемся, Владимир Константинович, то взаимоотношений, как таковых, просто не было. Не так ли? Только эпизодические контакты.

Люсин. Эпизодические по краткости, «судьбоносные» по их последствиям.

Костров. Я уже докладывал здесь о связях Мирзоева с гранильным цехом. Он поставлял мастеру Попову необработанные алмазы и недостаточно хорошо ограненные бриллианты, которым тот придавал товарный вид, по высшему классу. Через разветвленную сеть посредников Мирзоев сбывал потом все эти «маркизы», «принцессы» и «сер-

дечки». Взаимоотношения, как видите, простые и ясные. С некоторых пор поставляемое на завод сырье, а следовательно, и готовая продукция претерпели изменение. Причем в лучшую сторону. На «черный рынок» стали поступать все больше оптические бриллианты, сначала голубой воды, а затем розовые и зеленые. Прибыли фирмы возросли до пятисот процентов на карат. Источник цветных алмазов вам известен. Это НИИСК, лаборатория Ковского. В институте алмазной тематикой не занимались, и Ковскому приходилось брать материал для опытов где попало. Сначала у знакомых, потом знакомых знакомых и так далее. По-видимому, мы должны согласиться с доводами Владимира Константиновича, что профессора интересовал лишь сам процесс эксперимента. Куда потом девались окрашенные им камушки, его совершенно не интересовало. Знакомые были довольны, знакомые знакомых, видимо, тоже. Не исключено, что кто-то из них и извлек потом материальную выгоду. Подруга сестры Ковского, некая гражданка Чарская, продала перекупщикам два голубых камня. Надо думать, внакладе не осталась. Но это все пустячки, случайные эпизоды. С появлением на сцене Мирзоева картина существенно меняется. Дело приобретает почти индустриальный масштаб, и вся продукция поступает теперь только на «черный рынок». Поистине диву даешься, как слепы бывают иной раз люди! Неужели Ковскому и в голову не пришло хотя бы поинтересоваться, откуда у его нового знакомого такие неисчерпаемые источники алмазов?

Генерал. Сколько окрашенных камней попало на «черный рынок»?

Костров. По нашим ориентировочным прикидкам, от двадцати до тридцати.

Генерал. Большие?

Костров. Самый крупный — около шести каратов.

Люсин. Вы находите в действиях старухи Чарской состав преступления, Вадим Николаевич?

Костров. Строго говоря, да. Но, учитывая ее возраст и продажу собственных камней, привлекать ее не будем. Но в качестве свидетельницы по делу Мирзоева я ее допрошу. Или у вас есть возражения?

Крелин. Нисколько.

Люсин. Никаких, Вадим Николаевич, ровным счетом никаких.

Данелия. Вера Фабиановна его старая любовь.

Генерал. Георгий!

Данелия. Виноват, товарищ генерал.

Березовский. Извините меня за вмешательство, товарищ генерал, но мне кажется, это правильно: к людям должен быть индивидуальный подход. Вера Фабиановна человек старого закала, и спрос с нее не велик. И если она не принесла большого вреда...

Генерал. Мы обязательно учтем ваше мнение, а пока не будем отклоняться. С Чарской все?

Люсин. Она, кстати сказать, затевает обмен квартиры. Хочет съезжаться со Львом Минеевичем.

Генерал. В самом деле? Необыкновенно интересно! Вы, конечно, готовы оказать помощь?

Люсин. Не упущу такой возможности! Извините, товарищ генерал.

Генерал. Теперь, надеюсь, с посторонними темами покончено? Продолжайте, пожалуйста, Вадим Николаевич.

Костров. Собственно, я уже подошел к концу. Остается рассказать лишь о том, как в однин из последних наездов Мирзоев передал Ковскому уникальный бриллиант винно-красной воды. При этой сцене присутствовал Сударевский.

Люсин. Еще раз они встретились у проходной НИИСКа. Узнав о смерти Аркадия Викторовича, Мирзоев пришел за своим сокровищем. Пришел к Сударевскому. Прямым следствием этого рандеву явился налет на квартиру Ковских. О чем они говорили, неизвестно, но стремительность дальнейших поступков Мирзоева заставляет задуматься: уж не подтолкнул ли его Марк Модестович на такую акцию?

Генерал. Зачем?

Люсин. Чтобы замести свои собственные следы, переключить наше пристальное внимание на другой объект. Не в пример профессору, Сударевский сразу понял, что собой представляет Мирзоев, что он за птица. Рассуждать он мог примерно так: «Если подсунуть следователю Мирзоева, то пожива будет наверняка, пойдут копать все дальше, глубже, и станет не до меня».

Генерал. А для чего это ему? Ваши предположения имели бы больший смысл, если бы нашлось хоть одно доказательство уголовного деяния. Но такового нет! В чем вы оба подозреваете Сударевского? Покамест ему нельзя предъявить никаких обвинений. Забудем на время о проблемах морального плана. Меня сейчас интересует только криминал. Где криминал?

Люсин. К этому мы и хотим подойти. Все поступки Сударевского, все его поведение становится понятным лишь при условии, что преступное деяние имело место. Причем именно в тот самый день, в узком отрезке времени восемнадцать—девятнадцать часов.

Генерал. Он же не убивал Ковского?

Люсин. Физически — нет.

Генерал. Я попросил уже не касаться пока моральной стороны дела! Значит, не убивал? Что же он тогда сделал?

Костров. Вероятно, мы бы с большей уверенностью могли судить о его поступках, если бы получили точный ответ на один-единственный вопрос.

Генерал. Что это за вопрос?

Костров. Куда все-таки девался красный бриллиант? Могу вас уверить, что мы с Владимиром Константиновичем искали очень тщательно.

Генерал. Надеюсь... Каковы ваши предположения?

Костров. Прежде всего следует до конца выслушать Владимира Константиновича.

Л ю с и н. Что ж, мне осталось досказать самую малость. Для полноты картины, ради окончательной ее завершенности. Хочу обратить ваше внимание на последний участок кривой. Этот взлет вверх свидетельствует о мощной минус-реакции растения. Скачок потенциала настолько интенсивен, что не поддается расшифровке. Ничего подобного ранее не случалось. У нас просто нет материала для сравнения. Тем не менее я знаю, что произошло. Взлет отрицательной реакции наблюдался около двадцати трех часов. Именно тогда Зализняк-Стекольщик залез в окно и неловким движением опрокинул цветок. Мы видим здесь последний сигнал растения, последнюю минус-реакцию на внешний мир. Я не сомневаюсь, что Аркадий Викторович сравнил бы ее с воплем боли, с предсмертным стоном. Но когда это случилось, он был мертв уже четыре часа. Вот и вся информация, которую возможно извлечь из графика на его последнем участке. Совсем немного. Не более, чем заключительная точка над «i», но она лишний раз позволяет нам убедиться в правильности выбранной точки отсчета времени.

Г е н е р а л. Это производит впечатление. Несомненно. Как ваше мнение, Вадим Николаевич?

К о с т р о в. За исключением некоторых деталей, точнее, их интерпретации я согласен с Владимиром Константиновичем. Версия, которую подработала его группа, опирается на солидный фактический материал. Не все, должен признаться, одинаково легко принять. Порой просто теряешь ориентировку и перестаешь отличать достоинства от недостатков. Простите за парадокс, но недостатки оперативного метода Владимира Константиновича лишь наиболее выгодно оттеняют его неоспоримые достоинства. Новое всегда непривычно и, вполне понятно, вызывает сомнения.

Г е н е р а л. Только что здесь говорили о диалектике нового и старого в более сильных выражениях.

К о с т р о в. Я не употребил слово «протест» отнюдь не из деликатности. В ряде случаев мне действительно трудно было принять аргументацию товарища Люсина, но еще труднее оказалось ее опровергнуть. Сомнение, по-моему, наиболее подходящее тут слово. Историческая подоплека, пожалуй, наиболее уязвимое место в предложенной схеме. Сообщение товарища Березовского, не скрою, произвело на меня ошеломляющее впечатление. Оно было захватывающе интересным. Но слишком уж бросаются в глаза «белые пятна». К счастью, предыстория обсуждаемых нами событий не оказывает влияния на принятие конкретных решений, во всяком случае — определяющего. Я не понимаю, каким образом древние могли практически использовать оптические свойства алмазов. Мне трудно представить себе, как с помощью растительных соков окрашивали они камни в красный и голубой цвета. Но поскольку я достоверно знаю, что с помощью современных методов тяжелых ионов подобные чудеса вполне осуществимы, можно не волноваться. Я сам очень люблю историю, но сейчас я искренне рад, что ее загадки и загадки криминалистической практики далеко не одно-

значны. Будь иначе, мы бы просто не сдвинулись с места. А так все решается сравнительно безболезненно. Мы избежим тупика, если забудем о тайнах древней истории и предоставим решать их специалистам. Эксперименты, которые ставил Ковский дома, отнесем к категории невинного хобби. По-моему, товарищ Люсин пришел к точно таким же выводам, другого выхода просто не существует.

Генерал. Что скажете, Владимир Константинович?

Люсин. Выход действительно один. Он сопряжен с сознательным упрощением, чреват некоторыми издержками, но ничего не попишешь — другого не дано. Смешно закрывать глаза на самые волнующие загадки и делать вид, будто нам вовсе не интересно. Нет, нам очень интересно! Не только для истории, не только ради прогресса современной науки, но и в интересах следствия очень важно было бы знать, какой опыт поставил с цветком и кристаллом Аркадий Викторович в свой последний день.

Крелин. И воспроизвести его.

Люсин. Вот именно! Воспроизвести.

Данелия. Сударевский, вероятно, единственный, кто может в этом помочь. Наверное, не захочет.

Люсин. Это уже другой вопрос... Грубое упрощение, на которое мы волей-неволей пошли, позволяет быстро идти вперед. Но оно мстит нам на каждом шагу и долго еще будет мстить. Наше предположение, что хотя бы та же плюс-вспышка вызвана именно экспериментом с красным алмазом, не подтверждено никакими юридическими доказательствами. Я даже не заикнулся о нем, когда говорил с товарищами из ВИЛРа. Что мне было сказать? А теперь представьте себе, что мы сумели воспроизвести опыт Ковского! Тото и оно... Крелин в самое яблочко попал. Нет, я не столь оптимистичен, как подполковник Костров. «Белое пятно» в прошлом — источник загадок сегодняшнего дня. Но тут Вадим Николаевич совершенно прав — упрощение диктовалось неизбежностью. Воленсноленс. Главное сейчас все-таки темпы.

Генерал. Упрощать так упрощать! Разъясните-ка, что все-таки представляет собой красный камень. Но уже без тумана. Лучше Юрия Березовского вам все равно не рассказать. Поэтому довольно легенд. Дайте мне факты.

Костров. Показания Мирзоева — это пока единственное, чем мы располагаем. По его словам, бриллиант весит шесть и семьдесят пять сотых карата, огранка — староиндийская, площадка, вода — необыкновенного винно-красного оттенка.

Генерал. Сколько, например, может стоить такой камень на мировом рынке?

Костров. Ориентировочно около шести тысяч долларов за карат.

Генерал. А целиком?

Костров. Четверть миллиона.

Генерал. Солидно.

Костров. Если подтвердится, что бриллиант действительно с историей, то стоимость еще возрастет. Именные камни ценятся

гораздо дороже своего веса. В этой связи нам следует выразить благодарность товарищу Березовскому за проведенные им исследования. Простите за сравнение, но уникальный алмаз без истории — все равно что хороший пес без паспорта. История, повторяю, увеличивает ценность камней. Разумеется, достоверная история, не одни только легенды. У нас нет никаких доказательств, что все эти мифические эпизоды относятся к одному и тому же объекту.

Генерал. Логичнее предположить, что подобных самоцветов было несколько. Как вы полагаете, клиентура Мирзоева располагала оборудованием для проверки оптических свойств?

Костров. Сомневаюсь. Такая купля-продажа, сопряженная с опасностью накрыться, не располагает к длительным церемониям. А камешков, конечно, было предостаточно. Технология налаженная.

Генерал. Тогда возникает некоторое несоответствие. Зачем, спрашивается, превращать простые алмазы в оптические, если это, так сказать, не находит товарного выражения? Я современность имею в виду, не старинную выварку в соме-хаоме.

Люсин. Извините, товарищ генерал, позвольте мне... Оптические свойства камням придавал Ковский. Ведь так? А он вряд ли делал это с меркантильными целями. Его интересовала сама возможность.

Генерал. Допустим, хотя я с трудом воспринимаю гипотезы, базирующиеся на гипотезах.

Костров. Мне кажется, все объясняется куда проще. По-моему, Ковский специально и не задавался целью обязательно превращать все алмазы в оптические. Оптический эффект возник не преднамеренно, а как следствие окрашивания.

Генерал. Извините, Вадим Николаевич, не улавливаю.

Костров. Я сейчас поясню. Оптика — явление сравнительно новое для алмазов, поэтому и возникает недопонимание. Впервые алмазы-полупроводники обнаружились в африканских копях лет двадцать назад. Ученые склоняются к тому, что полупроводниковый эффект порождают именно примеси, о составе которых нет пока единого мнения. Окраска — верное и почти безошибочное свидетельство полупроводниковых или, как еще говорят, оптических свойств. Весьма показательно, что кристаллы германия и кремния, на которых базируется вся современная электроника, обладают именно алмазоподобной структурой. Ученые, с которыми я консультировался, уверены, что алмаз далеко превзойдет традиционные полупроводники. К сожалению, оптические алмазы встречаются исключительно редко. Отсюда, кстати, и повышенный спрос на них. Так что открытие товарища Ковского представляется мне как нельзя более своевременным. Особенно если учесть, что наши якутские камни лишены оптических свойств. Надеюсь, теперь понятно, почему окрашенные Ковским алмазы становились полупроводниками?

Люсин. Скажите, Вадим Николаевич, а вам приходилось видеть приборы, построенные на оптических алмазах?

Костров. Приходилось. В Институте кристаллографии. Тоненькая пластинка оптического алмаза заменяет собой громадную

схему на обычных транзисторах. Примечательно, что с виду такая пластинка удивительно напоминает табличку древнеиндийской огранки. ЭВМ в перстне, так сказать.

Березовский. Как жаль, что я не знал этого раньше!

Костров. Нашелся бы алмаз, а паспорт дополнить никогда не поздно.

Генерал. Выходит, что все окрашенные экземпляры одновременно и полупроводники?

Костров. По всей видимости, так. Не сомневаюсь, что уникальный индиговый бриллиант «Гоппе» тоже на поверку окажется оптическим.

Генерал. Не в курсе?

Костров. Простите, товарищ генерал. К делу не относится, лирическое отступление. Опять же в период такого отступления могу повторить, что ЭВМ на алмазе мыслятся размером с перстень. В отличие от кремния и германия, алмазная схема не боится перегрева и не нуждается в громоздких охлаждающих устройствах. Я это говорю к тому, что в настоящее время алмазный бизнес наносит народному хозяйству особый вред. Мы должны приложить все старания, чтобы найти красный камень. Такие фирмы, как «Гавернмент дайамонд оффис», «Сьерра-Леоне селекшн траст» и «Уэст Африка дайамонд корпорейшн» вдвое повысили оптовые цены на оптические алмазы, а крупнейшая монополия «Де Бирс» собирается взвинтить их еще выше.

Крелин. Коль скоро у нас пошел более-менее отвлеченный разговор, мне бы хотелось уяснить для себя одну вещь. Вы позволите, товарищ генерал?

Генерал. Прошу вас.

Крелин. Скажи нам, Люсин, как ты думаешь, чем был вызван тот пик плюс-реакции, о котором ты докладывал?

Люсин. Не берусь объяснить. Многие подробности опыта еще не выяснены. Специалисты, с которыми я советовался, тоже не дали по этому поводу конкретного заключения. Однако все они, я говорю о ВИЛРе, стоят на том, что хлорофилловые клетки живого растения обладают фотоэлектрическими свойствами. Возможно, они вступают в какую-то физическую взаимосвязь с неспаренными электронами, как сказал академик Берендер, вызывающими красную окраску алмаза. Я совершенно согласен с Вадимом Николаевичем, что камень во что бы то ни стало надо найти. И не столько из-за его рыночной стоимости, сколько потому, что в нем ключ к замечательным открытиям Ковского.

Генерал. Как, вы говорили, он называется? «Огонь-Вино»?

Люсин. У него слишком много имен, товарищ генерал. Как у отпетого рецидивиста.

Костров. Сведения, почерпнутые из исторических хроник, легенд и священных книг, не позволяют с уверенностью судить, что речь идет об одном и том же камне. Возможно, их было несколько, но очень похожих. В этом вопросе, насколько я понял, все мы едины.

Генерал. И каждый из них считался магическим?

Л ю с и н. Во все времена и у всех народов. Коротко легендарные свойства камня укладываются в такую систему: дарует бессмертие или, по меньшей мере, долголетие и сверхчеловеческую мудрость, открывает завесу прошлого и будущего, лечит от всех болезней и способствует превращению металлов.

Г е н е р а л. Ишь ты! Прямо философский камень!

К о с т р о в. Это в порядке вещей. Вплоть до нового времени каждый мало-мальски ценный кристалл наделялся чудесными свойствами. Аметист, по-гречески это означает «непьяный», предохранял от излишеств застолья и оберегал от действия яда, равно как и бирюза, с которой не расставался Иоанн Безземельный, вечно опасавшийся, что ему подсыпят отраву; рубин останавливал кровотечение, яшма излечивала от лихорадки и эпилепсии; изумруд открывал будущее, недаром Нерон пытался прочесть свою судьбу в зеленом кристалле; топаз усмирял морские бури, и так до бесконечности. Надо ли удивляться, что царю камней алмазу приписывались все мыслимые и немыслимые совершенства? Особенно такому — необыкновенно редкостного цвета?

Б е р е з о в с к и й. Разрешите маленькую справку? Легенда о «Красном Льве» живет и поныне. Мне хочется процитировать небольшой отрывок из книги известного физика-атомщика и писателя Бержье «Промышленный шпионаж». В русском переводе она была издана в семьдесят втором году издательством «Международные отношения». Вот что говорится на сорок пятой странице: «Может быть, следовало бы придать больше значения рассуждениям алхимиков о так называемых вторичных металлах. Так, например, некоторые из них стремились превратить в золото не обычное олово, а «олово с зеленым свечением». Если предположить, что олово с зеленым свечением — это таллий, который похож на олово и в огне светится зеленым светом, то, может быть, мы будем иметь объяснение этого секрета. Дело в том, что достаточно таллию потерять альфа-частицу, чтобы превратиться в золото. И, вероятно, философский камень — это катализатор, который может, между прочим, вызвать это явление. Большего пока об этом сказать невозможно. И в наши дни шпионы интересуются некоторыми алхимиками, которые и поныне здравствуют. Мне известны крупные компании, которые безуспешно пытались подвергнуть анализу старательно выкраденные образцы, которые предлагались как философский камень, то есть ядерный катализатор, позволяющий производить превращения (трансмутации). Я видел два таких образца, которые выглядели как куски красного стекла. Методы химических и физических анализов дали столь противоречивые результаты, что на их применении не настаивали. Проблема остается нерешенной».

К р е л и н. Любопытно!

Б е р е з о в с к и й. Оставим на совести автора это действительно чрезвычайно любопытное сообщение. Но я хочу сказать о другом. Можно верить или не верить легендам и мифам — дело вкуса, — не надо только думать, что они навсегда остались в далеком про-

шлом. Каждый век либо творит свои мифы, либо обновляет древние. Процитированный отрывок и являет как раз пример такой обновленной мифологии.

Л ю с и н. В показаниях Мирзоева современная легенда тоже нашла достойное место.

К о с т р о в. Причем легенда далеко не лучшего сорта. Я с удовольствием выслушал историю про «Огонь-Вино», но решительно запротестовал, когда на мой вопрос, откуда он достает алмазы, Мирзоев стал рассказывать сказки.

Смех.

Г е н е р а л. Я думаю, пора подвести итоги. Какие будут предложения насчет дальнейших действий?

К о с т р о в. Здесь мы, к моему глубокому сожалению, решительно расходимся во мнениях с Владимиром Константиновичем.

Г е н е р а л. Дело ведет он.

К о с т р о в. Поэтому я и не смею настаивать. Но у меня своя точка зрения.

Г е н е р а л. Прошу, Вадим Николаевич, выскажитесь. Для чего же еще мы тогда собрались?

К о с т р о в. На данной стадии я бы взял Сударевского.

Д а н е л и я. Я тоже так считаю.

Г е н е р а л. А вы, Владимир Константинович, конечно, не согласны?

Л ю с и н. Решительно не согласен. Прежде всего я не представляю себе, какие обвинения можно выдвинуть против Марка Модестовича. Повторная судебно-медицинская экспертиза снимает все подозрения в убийстве. Остальное — лирика. Разумеется, на данной, как выразился подполковник Костров, стадии расследования. Такова, товарищи, чисто формальная сторона. Но не она явилась определяющей в принятом мною решении. Главное заключается в том, что я хочу подождать естественного завершения протекающих ныне необратимых процессов. Я понимаю, что выразился довольно туманно. Не имеет значения. Просто я предпочитаю ждать. Колос должен созреть.

Г е н е р а л. Смотрите не переиграйте. Иногда бывает полезно вовремя вмешаться и прервать, как вы сказали, процесс, не допустить необратимых изменений. Не доводить до крайностей.

Л ю с и н. Если я правильно понял, товарищ генерал, определенного мнения вы не высказываете?

Г е н е р а л. Смотрите, Люсин, не перегните палку.

Л ю с и н. Постараюсь, товарищ генерал. Но я рискну остаться при своем. За убийство, пусть только словом, должно последовать воздаяние. Иначе наше ремесло аморально.

Глава пятнадцатая

ШЕРЕМЕТЬЕВСКАЯ ТАМОЖНЯ

Как только машина остановилась у стеклянного фронтона Шереметьево-1, Сударевский торопливо сунул таксисту заранее приготовленную пятерку и распахнул дверцу.

— Куда ты так спешишь! — Мария поправила прическу и, легко коснувшись его предупредительно протянутой руки, ступила на тротуар. — У нас еще бездна времени. — Непроизвольно заглянув в тусклую глубину зеркального стекла, она отметила, что одиннадцатисантиметровые каблуки, пожалуй, делают ее чересчур высокой. Это стало абсолютно ясно, когда Марк, взяв из багажника чемодан, встал рядом с ней, и она впервые заметила, что выше его на полголовы. Дизайнер салона «Клерже» немного переборщил.

— Быстро доехали, — сказал Сударевский, пропуская ее вперед. — Придется тебе поскучать со мною еще пятнадцать минут.

— Пятнадцать? — Она приветливо улыбнулась продавщице сувениров и помахала рукой буфетчице. — Верных сорок. Хочешь чашечку «эспрессо», дорогой? Надя сейчас нам сделает. — Она повлекла его к буфетной стойке.

— Погоди, — растерянно озираясь, удержал он ее. — Стоит ли? Пройти таможню надо как минимум за час до отлета.

— Кто тебе сказал? — Она сняла с плеча сумку из жатой искусственной кожи, сверкающей, как паюсная икра. — Никогда не верь тому, что написано в билете.

— Тебе, конечно, виднее, — промямлил он, ставя чемодан и туго набитый портфель на пол. — Но все-таки...

Она раскрыла пудреницу с овальным зеркальцем, выдвинула из золоченого туба столбик помады и уверенным эластичным нажимом подкрасила губы.

— Не забудь зайти к Нелли и Петру Никодимовичу. У них машина, и он повозит тебя по городу. Там есть на что посмотреть.

— Я думаю!

— Адрес я положила в бумажник. Они живут возле самой биржи. Найти очень легко... Черный хлеб отдашь прямо в аэропорту. Наш представитель встречает каждый самолет.

— Я тебе обязательно позвоню. — Он крепко сжал ее руки. — Слышишь?

— Это же безумно дорого. — Она погладила его по щеке. — Лучше поезди по стране, сходи в театр и обязательно посмотри «Механический апельсин» Кубрика.

— Я все же позвоню, — с непривычной настойчивостью сказал он.

— Подумаешь, две недели! — Она беспечно тряхнула головой. — Не заметишь, как пролетит время.

— Мало ли что...

— Ерунда! Или ты боишься лететь, трусишка?

— Слушай, Мари, ты же знаешь тут всех?

— Более-менее.

— А таможенников?

— Кое-кого. Зачем тебе?

— Ты можешь сказать им, чтобы они ко мне не очень там придирались? — Он выпустил ее руки.

— Могу, конечно... но зачем? Кому ты нужен, глупышка?

— Ах, ты ничего не понимаешь, Мари! — Он губами взял сигарету из пачки. — Я же везу камни.

— Подумаешь! Ведь официально...

— Конечно. У меня даже письмо к начальнику таможни есть, но... Одним словом, если можешь, скажи им что-нибудь. Терпеть не могу, когда перетряхивают чемоданы!

— Не нервничай. — Она вновь провела рукой по его щеке. — Никому и в голову не придет перетряхивать твои вещи. Ты едешь в служебную командировку, везешь на выставку продукцию своей фирмы. Разве не так? А если тебя попросят все-таки открыть чемодан, то ничего страшного. Подумаешь! На самолет ты, во всяком случае, не опоздаешь. И вообще успокойся. А то волнуешься по любому поводу, словно и впрямь контрабанду везешь! — И засмеялась.

— Полагаешь? — Он торопливо закурил и посмотрел на часы. — Тебе, конечно, виднее...

— Хочешь, провожу до самого трапа? Меня пропустят. А с таможенниками я тебя просто-напросто познакомлю. Скажу: «Это мой муж». По крайней мере в очереди стоять не придется.

— Не надо. — Он швырнул недокуренную сигарету в урну. — Ты права, и никому ничего не надо говорить! Просто знай, что я тебя люблю.

— И я тебя.

— Я тебя очень люблю. И что бы ни случилось...

— Глупенький! — засмеялась она. — Ну иди, не томись... Выпей перед отлетом кофе и рюмочку коньяку. Это на втором этаже.

— Я позвоню тебе. — Он нагнулся за чемоданом.

— Попроси наших ребят. У них прямая связь с Шереметьевом.

— Ну вот... — Он потянулся к жене и, переложив чемоданчик из одной руки в другую, неловко поцеловал ее.

— Портфель! — напомнила она.

— Ах, да! — Он подхватил портфель. — Ну?

— До скорого, милый. — Она на миг прижалась к нему. — Когда будешь лететь назад, скажи пилоту, чтобы мне сообщили. Я тебя встречу.

Он молча проглотил слюну, затравленно улыбнулся и решительным шагом направился к регистрационному входу. Обогнув барьер из никелированных труб, он толкнул дверь ногой и боком протиснулся в ярко освещенный зал. Поставив вещи, оглянулся по сторонам.

Прямо перед ним находилась стойка с весами, у которой уже образовалась небольшая очередь, справа в глубине виднелись турникеты и застекленные кабинки с пограничниками, слева торопливо заполняли, стоя за конторками, какие-то листки пассажиры.

Марк Модестович несколько растерялся, но быстро сообразил, что надо делать, и остановился у ближайшей конторки, несколько потревожив тощую и длинную, как жердь, леди с мохнатой шавкой на поводке. Женщина в белом халате, сидящая за столиком санэпидемконтроля, неодобрительно косилась на не в меру резвую и голосистую собачонку. Чужой и далекой предстала перед Марком Модестовичем очередь у багажных весов, надменная дама в долгополой безрукавке с ее противной лупоглазой собачкой, даже вполне будничная докторша за столом. Промелькнула мысль послать все это куда-нибудь подальше, пока не поздно, пока не сделан последний решительный шаг...

Он нашел в одном из отделений отпечатанный на русском языке бланк и, обмакнув казенную со скверным пером ручку, принялся заполнять декларацию. Фамилия, имя, отчество, гражданство и пункт следования, советская и иностранная валюта, оружие — тут все предельно ясно и просто. Банковский чек, мелочь на дорожные расходы, пара красных десяток... Остальное — нет, нет и нет. Драгоценностей тоже нет! Разве можно считать драгоценностями выставочные образцы? Синтетическим путем полученные кристаллы?

Значит, так: паспорт, билет, справка из Внешторгбанка и письмо в шереметьевскую таможню на бланке НИИСКа — все на месте.

Помахивая декларацией, чтобы поскорее просохли чернила, зажав в одной руке и чемодан и портфель, Сударевский встал в очередь. Изящные, но несколько бестолковые девицы в форменных синих жакетах слишком долго, как показалось ему, оформляли билеты и постоянно что-то путали. Не лучше были и пассажиры. Галдели на разных языках, отвлекали девиц от работы бесконечными расспросами, спорили относительно ручной клади. Но очередь, как ни удивительно, все же двигалась. То и дело пружинно вздыхала платформа весов, и упругая черная стрелка с легким звоном отскакивала к нулю, когда здоровый мужик в комбинезоне снимал очередную порцию чемоданов, саквояжей и ящиков. Он не принимал участия в оживленном разговоре на посторонние темы и, не теряя времени даром, аккуратно привязывал бирки, выстраивал багаж в линию.

Но и он раздражал сегодня Марка Модестовича. Чем? Трудно сказать. Быть может, непривычной своей деловитостью, от которой хотелось бежать. Быть может, просто затрапезным комбинезоном, который так не шел к окружающему бомонду.

Наконец настала минута, когда Сударевский, получив квитанцию на чемодан и ярлык с надписью «incabin», который следовало надеть на ручку портфеля, перешел вдоль стойки к таможенному контролю.

Его встретила хрупкая миниатюрная красавица с пышными золотисто-рыжими волосами (элегантная униформа и золотые звезды в петлицах удивительно шли ей). Она приветливо улыбнулась и взяла у него декларацию.

— Извините, — мягко сказала она, возвращая листок, — прочерк делать не полагается; следует писать: «нет, нет, нет». — И подвинула шариковую ручку.

— Сейчас, сейчас! — засуетился Сударевский и, надев очки, принялся подправлять декларацию.

— Укажите ваш чемодан, — осведомилась между тем таможенница.

— Вон тот, клетчатый. — Марк Модестович показал пальцем. — С левого края.

— Хорошо. — Она изящно наклонилась и поставила на торце меловой крестик. — Больше ничего нет?

— Только портфель. — Сударевский с готовностью водрузил его на стойку. — У меня письмецо для вашего начальства.

— Справка на валюту есть?

— А как же! — Он торопливо раскрыл паспорт, в котором лежала бумажка из Внешторгбанка.

— Спасибо, не надо. — Она вновь одарила его профессиональной улыбкой кинозвезды. — Раскройте, пожалуйста, портфель.

— Как? — сразу не понял Сударевский. — Портфель?.. Ах, раскрыть! — Трясущимися руками он отстегнул замки. — Вот...

— Что у вас там?

— Да так... пустяки разные, служебные материалы.

— Выложите, пожалуйста, все на стол.

Он стал выгребать из портфеля нехитрые свои пожитки: две бутылки «Столичной», носовые платки, полиэтиленовый пакет со значками, полдюжины расписных матрешек, завернутую в кальку буханку черного хлеба, папки с бумагами, носки и электробритву.

Ему казалось, что это длится бесконечно долго и движения его чудовищно замедленны, как у космонавта на лунной поверхности. В действительности же он опорожнил портфель за какие-то секунды, стремительно, судорожно.

Золотоволосая красавица, казалось, не обращала на него никакого внимания, смотрела себе под ноги, то ли обдумывая что-то свое, то ли любуясь лакированными туфельками. К его вещам она даже не прикоснулась.

— Готово? — Она точно очнулась от зачарованного сна. — Так, так... Что внутри? — и показала глазами на черный пластмассовый футляр.

— Я же вам говорю! — зачем-то осерчал Марк Модестович. — Образцы это! В письме все сказано!

— Синтетические кристаллы? — Она мельком глянула на бумагу. — Покажите их мне, будьте любезны.

— Пожалуйста! — Марк Модестович непослушными пальцами попытался нащупать запорное колесико. — Сколько угодно. Надо так надо, — лепетал он, тужась раскрыть футляр.

— Дайте-ка я сама, — пришла она ему на помощь.

— Как угодно. — Он отступил в сторону и с независимым видом скрестил на груди руки.

— Ого сколько! — заинтересовалась она, снимая крышку. — И какие красивенькие! Просто прелесть!

Он ничего не ответил. Стоял себе молча и смотрел, как перебирает она тоненькими пальчиками разноцветные яркие камни, колдовскими звездами вспыхивающие под резким люминесцентным светом.

Недоразумение? Досадная случайность?

Он еще уговаривал себя, что все может обойтись, но уже знал: нет, не обойдется. Странное спокойствие вдруг снизошло на него. Гулкое, трепещущее сердце оборвалось и замерло, волнение осело и даже нога перестала выбивать прерывистую тревожную дробь. Только во рту стало горько, как от желчи, и пересохли разом похолодевшие губы.

— Тоже образец? — Мизинчиком она отделила от сверкающей груды красноватый камешек.

По сравнению с массивными цилиндрами рубиновых стержней с кроваво сверкающими крупными гранями шпинелей и альмандинов он казался невзрачным карликом. Но тень, которую он бросал на полированную доску стола, была подобна живому языку пламени, густой струе терпкого вина, пахнущего солнцем и солями земли.

— Не нравится? — Марк Модестович даже сумел улыбнуться.

— Совсем напротив. Очень даже нравится.

— У вас неплохой вкус.

— Да. Я предпочитаю натуральные камни.

— Синтетические кристаллы ничем от них не отличаются.

— И этот?

— И он.

— Вы даже алмазы делаете?

— Наука не стоит на месте. Худо-бедно, а идем вперед.

— Так, значит? А мне почему-то показалось, что пятитесь назад.

— Интересно бы узнать. — Он все улыбался слепой, окаменевшей улыбкой. — Люблю парадоксы.

— Очевидно, староиндийская огранка как раз и есть такой парадокс?

— Вы знаток. Отдаю вам должное. — Он картинно расшаркался. — Мы, ученые, любим иногда повеселиться, пошутить. Физики-лирики...

— В самом деле?

— Ну конечно!

Она вынула из кармашка монокль и, повернув камень к свету, стала его рассматривать.

— Он огранен по самым твердым плоскостям.

— Что?! — Этого Сударевский меньше всего ожидал. Его обдало яростным жаром, так что даже уши и те загорелись. Но тут же бросило в холод. Надежды не было и быть не могло.

— Невероятно, но факт! — Она медленно поворачивала в руке камень. — Его выточили вопреки всем законам симметрии. Он просто не имеет права существовать!

— Вы уверены?

— Я ведь действительно знаток, — сказала она без улыбки и спрятала монокль.

— Тогда вы должны понять, — хватаясь за последнюю соломинку, он приблизился к ней почти вплотную, — должны понять, что мне есть чем похвастаться в Амстердаме.

— Нет. — Она тихо покачала головой. — Отшлифовать алмаз по наиболее твердым граням немыслимо.

— Тем и сильна наука, что делает невозможное.

— Боюсь, наша интересная беседа несколько затянулась. — Она бросила взгляд на пассажиров, которые с любопытством прислушивались к разговору.

— Мне тоже так кажется. — Он принялся укладывать вещи. — Я вам больше не нужен?

— Н-нет. — Она медленно покачала головой. — Я вынуждена просить вас немного задержаться. Пожалуйста... — И предупредительно подняла стойку.

— Куда? — только и спросил он.

— Нам необходимо оформить протокол.

— Зачем? Какой еще протокол? — Неожиданно он ощутил страшную неловкость и заговорил шепотом.

— Оформить эту... находку, — не сразу подыскала она нужное слово.

— Какую находку?! — Он еще пытался разыгрывать недоумение, возмущение, наконец, хотя и ощущал всем телом, что все кончено. — Это же экспонат!

— Пусть будет экспонат, — согласилась она, пропуская его вперед. — Туда, пожалуйста, — кивнула на неприметную дверь в перегородке, отделяющей служебные помещения от зала. — Кстати, какова его плотность?

Вопрос прозвучал настолько неожиданно, что Сударевский вздрогнул.

— Плотность? — переспросил он, останавливаясь. — Обычная, надо полагать. Три, пятьдесят два.

— Едва ли. — Она тоже остановилась. — Окрашенные алмазы плотнее бесцветных: зеленые — три, пятьсот двадцать три; розовые — три, пятьсот тридцать; оранжевые — три, пятьсот пятьдесят... Этот же наверняка еще тяжелее. — И с грустным укором заключила: — Вам бы следовало знать.

Когда примерно через час Люсин, раздвинув портьеры, вышел из регистрационного зала, то первая, кого он увидел, была Мария, веселая, беззаботная. Она сидела за стойкой вполоборота к нему и, оживленно болтая с молоденькой стюардессой, пила кофе. Ощутив на себе его взгляд, она медленно обернулась и тихо опустила чашку, так и не донеся ее до губ. Ему бросилось в глаза, как вспыхнули вдруг эти карминные губы, когда отхлынула от лица кровь.

Он быстро поклонился и заспешил к выходу, ссутулившись и все больше, по мере того как уходил, склоняя голову. Ему казалось, что в спину бьет пулемет.

СОДЕРЖАНИЕ

СКАМБХА — ОСНОВА МИРА 7
САНКХЬЯ — ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ 99
САМСАРА — КРУГОВОРОТ БЫТИЯ 229